This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Slav 4341.2

Harvard College Library

FROM THE FUND OF

CHARLES MINOT

(Class of 1828).

Received 16 Oct. 1900.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

Д. В. ГРИГОРОВИЧА

въ 12 томахъ.

3-е, вновь пересмотрѣнное и исправленное авторомъ изданіе.

ТОМЪ СЕДЬМОЙ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1896.

Slav 4341.2

HARVARD COLLEGE
OCT 16 1900
LIBRARY

Minot fund

Дозволено цензурою СПБ. 21 февраля 1896 г.

Типографія А. Ф. МАРКСА, Средняя Подъяческая, д. № 1.

СОЧИНЕНІЯ

Д. В. Григоровича.

VII.

ПРОХОЖІЙ.

(СВЯТОЧНЫЙ РАЗСКАЗЪ.)

I.

...Да, поистинѣ, это была страшная ночь! Старики говорили правду: такая ночь могла только выпасть на долю *Васильеву вечеру*. И въ самомъ дѣлѣ, всѣмъ и каждому чудилось что-то недоброе въ суровомъ, непреклонномъ голосѣ бури. Изъ пустого не стали бы выводить страховъ (этакъ, пожалуй, пришлось бы бояться каждой метели, а между тѣмъ, и всей-то зимы никто не боится)! Всякій знаетъ, что зима ходитъ въ медвѣжьей шкурѣ, стучится по крышамъ и угламъ, и будитъ бабъ топить ночью печи: идетъ ли она по полю—за ней вереницами ходятъ метели и просятъ у нея дѣла; идетъ ли по лѣсу—сыплетъ изъ рукава иней; идетъ ли по рѣкѣ—куетъ воду подъ слѣдомъ на три аршина,—и что жъ?—всякій встрѣтившійся съ нею прикутается только въ овчину, повернется спиною, да идетъ на полати! На этотъ разъ, однакожъ, иное было дѣло.

Посреди свиста и завыванія вѣтра, внятно слышались дикіе голоса и стоны, то пѣвучіе и какъ будто терявшіеся въ отдаленіи за гумнами, то отрывчатые, пронзительные, раздававшіеся у самыхъ воротъ и оконъ и забравшіеся даже въ трубы и запечья. Выходитъ ли кто на улицу—передъ нимъ носились незнакомые, чуждые образы; изъ мрака и вихрей возникали то и дѣло страшные, никому невѣдомые лики... Да, старики говорили правду, когда, прислушиваясь чуткимъ ухомъ къ реву метели, утверждали они, что буря бурѣ рознь, и что шишига, или

вѣдьма, или нечистая сила (что все одно) играла теперь свадьбу, возвращаясь съ гулянокъ. Но хорошо имъ было такъ-то разговаривать, сидя на горячей печкѣ. Что имъ дѣлалось, посреди веселья, криковъ ребятъ и шумнаго говора гостей, наполнявшихъ избу! (Въ Васильевъ вечеръ, какъ вѣдомо, одна только буря злится да хмурится). Студеный вѣтеръ не проникалъ ихъ до костей нестерпимымъ ознобомъ, снѣжныя хлопья не залипали имъ очи, шипящіе вихри не рвали на части ихъ одежды, не опрокидывали ихъ въ снѣжные намёты... какъ это дѣйствительно было съ однимъ бѣднякомъ, прохожимъ, брошеннымъ въ эту ночь посреди поля, далеко отъ жилья и голоса человѣческаго.

Много грозныхъ ночей застигало прохожаго, много вьюгъ и непогодъ вынесла сѣдая голова его,—но такой ночи онъ никогда еще не видывалъ. Затерянный посреди сугробовъ, по колѣна въ снѣгу, онъ тщетно озирался по сторонамъ, или ощупывалъ костылемъ дорогу: метель и сумракъ сливали небо съ землею, снѣжныя горы, взрываемыя могучимъ вѣтромъ, двигались какъ волны морскія, и то разсыпались въ обледенѣломъ воздухѣ, то застилали дорогу; гулъ, ревъ и смятеніе наполняли окрестность. Напрасно также силился онъ подать голосъ: крикъ застывалъ на губахъ его и не достигалъ ни до чьего слуха: грозный ревъ бури одинъ подавалъ о себѣ вѣсть въ мрачной пустынѣ. Отчаяніе начинало уже проникать въ душу путника, страшныя думы бродили въ головѣ его и воплощались въ видѣнія: на-дняхъ знакомый мужичокъ застигнутый такою же точно погодой, сбился съ пути на собственномъ гумнѣ своемъ, и на другой день, объ утро нашли его замерзшаго подъ плетнемъ собственнаго огорода; третьяго дня постигла такая же участь бабу, которая не могла найти околицы; вечоръ еще посреди самой улицы нашли мертвую калѣку-перехожую, которая за метелью не различила избушекъ...

Такъ думалъ прохожій; а вьюга, между тѣмъ, съ часу на часъ подымалась сильнѣе и сильнѣе. Вотъ повернула она, поднялась хребтомъ на пригоркѣ, закрутилась вихремъ, пронеслась надъ головой путника, загудѣла въ поляхъ и ударила на деревню. Вздрогнули бѣдныя лачужки, внезапно пробужденныя отъ сна посреди темной холодной ночи; замирая отъ страха, онѣ тѣсно прижались другъ къ дружкѣ, закутались до верху своимъ снѣж-

нымъ покровомъ, прилегли на-бокъ и трепетно ждутъ лютаго вихря. Но вихрь, привыкшій къ простору, рвется и мечется пуще прежняго въ тѣсныхъ закоулкахъ и улицахъ. Разбитый на части, онъ, разомъ со всѣхъ сторонъ, нападаетъ на лачужки, всползаетъ на шаткія стѣны, гудитъ въ стропилахъ, ломаетъ тамъ сучья, срываетъ воробьиныя гнѣзда, сверлитъ кровлю и, выхвативъ клокъ соломы, бросается на кровлю, силясь сбросить пѣтушка или конька на макушкѣ; и тогда какъ одна часть бури реветъ вокругъ дома, другая уже давно проползла шипящею змѣею подъ ворота, ринулась въ клѣти и сараи, обѣжала навѣсы, и, не найдя тамъ, вѣроятно, ничего, кромѣ вьющагося снѣга, напала на беззащитную жучку, свернувшуюся клубкомъ подъ рогожей... Но вотъ вихрь прилегъ наземь, загудѣлъ вдоль плетня, украдкою подобрался къ калиткѣ, поднялся на дыбы, сорвалъ ее съ петель, бросился на улицу, присоединился къ другому, третьему, и снова грозный ревъ наполняетъ окрестность...

Но что до этого! По всему крещеному міру не было все-таки бѣдной избенки, не было такого скромнаго уголка, гдѣ бы не раздавались веселыя пѣсни, гдѣ бы не было тепло и пріятно! Тамъ—шумная толпа ребятишекъ рѣзво прыгаетъ по лавкамъ и нарамъ, выбрасывая изъ рукава нарочно припасенныя про случай хлѣбныя зерна и звонко распѣвая: „Уроди, Боже, всякаго хлѣбца, по закорму, что по закорму, да по великому, а и стало бы того хлѣбушка на весь міръ крещеный!..“ Между тѣмъ, старшая хозяйка дома,—мать или тетка,—отбиваясь одной рукою отъ колючихъ иглъ овса и гречи, пущенныхъ въ нее какъ бы нечаянно шаловливымъ парнемъ, другою приподнявъ надъ головою зажженную лучину, суетливо ходитъ взадъ и впередъ и набожно подбираетъ зерна въ лукошко для будущаго посѣва. Остальные члены семьи, кто усѣвшись подъ иконы, кто стоя въ углу, молча, но весело глядятъ на совершеніе обряда; даже старая подслѣповатая бабушка, много лѣтъ не сходившая съ печки, свѣсилась на перекладину поглядѣть на внучекъ. — на семейную радость!

Въ другой избѣ крики и хохотъ раздаются еще громче. Рой молодыхъ дѣвокъ натискался въ избу. Двери плотно заперты; окно на улицу завѣшено прорванной понявой. Одна изъ дѣвокъ—самая вострая—стоитъ на-слуху въ сѣнечкахъ: не идетъ ли кто. Остальныя заняты дѣломъ:

кто повязываетъ на голову войлокъ, обвитый вокругъ палки, кто натягиваетъ армякъ или покрываетъ маленькую головку неуклюжей шапкой, обтыканной по краямъ, ради смѣха, льняными прядями, обсыпанными мукою; кто прикутывается въ овчину, вывороченную наизнанку,—это ряженые! Хохотъ, визгъ, шушуканье, писк не прерываются ни на минуту. Надо же весело справить послѣдній день Васильева вечера! Въ третьей избѣ громкій говоръ и восклицанія смѣнились на минуту молчанкою. Ребята, бабы, большіе и малые, всѣ пришипились. Тамъ, подъ сладкій шумокъ веретена и прялки, тянутся мѣрныя розсказни старика-дѣда. Семейка сѣла въ кружокъ, и, пригнувшись къ одной лучинѣ, не пропускаетъ ни одного звука, ни одного движенія разсказчика. Разсказъ, прерываемый трескомъ мороза, который стучитъ въ углы и заборы, благополучно дотянулся, однакожъ, за полночь. Лучина скоро угаснетъ. И тогда вся семья, женатые и холостые, большіе и малые, заползутъ на печку и предадутся мирному отдыху, нимало не заботясь, что вьюга реветъ и завываетъ въ полѣ и вокругъ дома...

О! счастливъ, сто разъ счастливъ тотъ, у кого въ такую ночь родной кровъ, родная семья и теплая печка!.. Такъ, по крайней мѣрѣ, думалъ... но не до того, впрочемъ, было прохожему, чтобы умомъ раскидывать! Отчаянье уже давно завладѣло его душою. И если какія-нибудь мысли и приходили ему въ голову,—имъ все-таки не время теперь было опредѣляться въ ясную думу; онѣ мелькали передъ нимъ такъ же быстро, какъ снѣжныя хлопья, несомыя лютою метелью, посреди которой стоялъ онъ съ обнаженною сѣдою головою и замирающимъ сердцемъ, — и такъ же быстро уносились и смѣнялись другими мыслями, какъ одинъ вихрь смѣнялся другими вихрями...

Силы начинали покидать его. Онъ провелъ окоченѣвшею ладонью по мерзлымъ волосамъ, окинулъ мутными глазами окрестность и крикнулъ еще разъ. Но крикъ снова замеръ на помертвѣлыхъ устахъ его.

Прохожій медленно опустился въ сугробъ и трепетною рукою сотворилъ крестное знаменіе. Буря, между тѣмъ, пронеслась мимо: все какъ будто на минуту стихло... и вдругъ нежданно, въ сторонѣ, послышался лай собаки... Нѣтъ, это не обманъ—лай повторился въ другой и третій разъ... Застывшее сердце старика встрепенулось; онъ рванулся впередъ, простеръ руки и пошелъ на-слухъ...

Немного погодя, ощупалъ онъ сараи, и вскорѣ изъ-за угла мелькнули передъ нимъ привѣтливые огоньки избушекъ.

II.

Хозяинъ въ дому—какъ Адамъ въ раю,
Виноградье красно-зеленое.
Хозяйка въ дому—какъ оладья въ меду,
Виноградье красно-зеленое.
Малыя дѣтушки—какъ олябышки,
Виноградье красно-зеленое!

Народная пѣсня.

— Ахъ вы, пострѣлы вы этакіе!.. Вишь заладили: пусти да пусти на улицу! Уйметесь вы, али нѣтъ?.. закричала въ сотый разъ старостиха, подбѣгая дробнымъ шажкомъ къ нѣсколькимъ парнишкамъ и дѣвчонкамъ, которые стояли у дверей и голосили на всю избу.—Молчать! вотъ я вамъ погуляю!.. Молчать, говорятъ!.. прибавила она, внезапно останавливаясь надъ маленькою толпою съ распростертыми въ воздухѣ руками, какъ коршунъ надъ стадомъ утятъ.

Но ребятишки успѣли уже выхватить изъ среды своей младшаго брата, неуклюжаго карапузика лѣтъ пяти, съ огромнымъ кускомъ ржаной лепешки во рту, выставили его впередъ и, прежде чѣмъ руки матери опустились книзу, отступили въ уголъ.

— Это Филька кричалъ, а не мы... проговорили они въ одинъ голосъ, тискаясь другъ на дружку.

— То-то—Филька, я вамъ дамъ Фильку, смотрите вы у меня! произнесла старуха, отступая въ свою очередь и грозя въ уголъ.

Она повернулась къ нимъ спиною и мгновенно обратила вскипѣвшую досаду на старшую дочь — дѣвушку лѣтъ семнадцати, сидѣвшую на лавочкѣ, подлѣ окна.

— Ну, чего ты сидишь,—ноги-то развѣсила, начала старуха, принимаясь снова размахивать руками,—что сидишь?.. Неушто не видишь — лучину надо поправить, словно махонькая какая: все ей скажи, да скажи, сама разума не приложитъ!..

Дѣвушка встала, молча вынула изъ горшка новую лучинку, зажгла ее, подержала огнемъ книзу, заложила въ свѣтецъ, и сѣла со вздохомъ на прежнее мѣсто. Дурное расположеніе старухи нимало, однакожъ, не измѣнилось. Волненіе и досада проглядывали попрежнему въ каждомъ

ея движенiи. Она суетливо подошла къ окну, прислушалась сначала къ реву бури, которая сердито завывала на улицѣ,—потомъ вернулась на середину избы и, обнаруживая сильное нетерпѣніе, начала вслушиваться въ храпѣнье, раздававшееся съ печки.

— Левонычъ, а Левонычъ, заговорила она, наконецъ, топнувъ ногою и устремляя глаза на рыжую бороду, которая выглядывала вострымъ клиномъ изъ-за края печки.— Левонычъ, слышь, говорятъ, вставай! Ну чего ты, въ самомъ-то дѣлѣ, разлегся, словно съ устали; полночи дожидаешься, что ли? Вставай, говорятъ!

— О-о-о! Господи!.. Господи!.. Чего тебѣ, ну? отозвался староста, зѣвая и потягиваясь.

— Тьфу, увалень! прости Господи! Тебѣ что? тебѣ что?.. подхватила она съ сердцемъ и стараясь передразнить его,—тебѣ что?.. Самъ наказывалъ будить; память заспалъ, что ли? Я, чай, у Савелiя давно завечеряли; ты думаешь— староста, такъ и ждать тебя станутъ,—нешто возьмешь; вставай, говорятъ!

— Ммм... простоналъ староста, переваливаясь на другой бокъ; при этомъ борода его исчезла и на мѣстѣ ея показалась багровая, глянцовитая лысина, на которой свѣтъ лучины отразился какъ въ стеклѣ.

— Слышь, говорятъ, понавѣдались за тобою отъ Савелья, сказываютъ и мельникъ тамъ, и понамарь, крикнула она, обнаруживая крайнее нетерпѣніе.

Но на этотъ разъ лысину покрылъ овчинный полушубокъ, и уже старостиха ничего не услышала, кромѣ удушливаго храпа и сопѣнья.

Старостиха была баба норовистая и ни въ чемъ не терпѣла супротивности. Не раздумывая долго, она бросилась къ печкѣ и занесла уже правую руку въ стремечко, съ твердымъ намѣренiемъ стащить соннаго старосту на полъ, какъ въ эту самую минуту раздалась стукотня въ окнѣ, и, вслѣдъ за тѣмъ, кто-то запѣлъ тоненькимъ голосомъ:

Коляда, коляда!
Пришла коляда!
Мы ходили, мы искали
По всѣмъ дворамъ, по проулочкамъ...

— Мамка, пусти къ ребятамъ на улицу! заголосили въ то же время ребятишки, выступая изъ угла, — пусти хоша поглядѣть...

— Цыцъ, окаянные! цыцъ! крикнула старостиха, ухватившись второпяхъ за ногу мужа и поворачивая назадъ голову.

— Мамка, мамка!.. заголосили громче парнишки, подстрекаемые пѣніемъ за окномъ, которое не умолкало,— пусти поглядѣть на ребятъ...

Но старостиха не дослышала далѣе; она соскочила наземь, схватила вѣникъ и со всѣхъ ногъ метнулась въ уголъ. Ребятишки снова выставили впередъ Фильку. Но на этотъ разъ дѣло обошлось иначе. Старуха ухватила своего любимца за шиворотъ, вѣникъ зашипѣлъ, Филька испустилъ пронзительный крикъ и болтнулъ въ воздухѣ ногами.

— Вотъ тебѣ, вотъ тебѣ!.. проговорила мать, скрѣпляя каждое слово новымъ ударомъ, — ну, перестань же, перестань, присовокупила она, смягчая неожиданно голосъ и увлекая его къ столу, — перестань, говорятъ; на пирожка, на пирожка, продолжала старуха, суя ему подъ носъ кусокъ,—на пирожка... А, такъ ты не хочешь, пострѣлъ, не хочешь... на же тебѣ, на тебѣ!—и вѣникъ снова зашипѣлъ въ воздухѣ.—Ну, на пирожка... возьми... о! о! уймешься ты али нѣтъ?! опять!.. постой же, постой...

И вѣникъ поднялся уже въ третій разъ, какъ за окномъ раздался новый стукъ, но только сильнѣе прежняго, и тотъ же голосъ запѣлъ, но только настойчивѣе:

Чанны ворота!
Посконна борода.
Кричать ли Авсень?..

— Матушка, подай имъ хоть лепешку, сказала старшая дочь, робко взглядывая на мать и потомъ обращая съ любопытствомъ живые черные глаза свои на окно,— они, матушка, такъ-то хуже не отстанутъ...

— Не отстанутъ! ахъ, ты дура, дура! крикнула старостиха, бросая Фильку и останавливаясь впопыхахъ посередь избы,—а вотъ погоди, я имъ дамъ лепешку...

Но шумъ подъ окномъ обратился уже въ неистовые крики, сопровождаемые присвистываньемъ, прищелкиваньемъ, и голосъ распѣвалъ во все горло:

Чанны ворота,
Посконна борода,
Честь была тебѣ пропѣта,
Подавай лепешку
Въ заднее окошко!

Присоединенный къ этому вой Фильки и ревъ остальныхъ дѣтей остервенили въ конецъ старуху; и Богъ вѣсть, чѣмъ бы все это кончилось, если бъ не голосъ старосты, который раздался почти въ то же время съ печки:

— Старуха... о! о! что у васъ тамъ такое? соснуть не дадутъ... никакъ колядки задумали пѣть... гони ихъ...

— А самъ-то ты что лежишь на печкѣ, увалень ты этакой. Бьюсь не добьюсь поднять его на ноги; тьфу!..

— Старый чортъ, подай пирога,
Не дашь пирога—изрубимъ ворота.
Авсень!..

раздалось подъ окномъ.

— Вишь, черти! вымолвилъ староста, подпираясь локтемъ и лѣниво потирая лысину,—поди, уйми ихъ, старуха, чего стоишь?

Старостиха подняла окно и высунулась на улицу; но почти въ ту же минуту отскочила на середину избы. Нѣсколько комковъ снѣгу влетѣли вслѣдъ за нею.

— Ухъ! окаянные! ухъ, дьяволы! завопила старуха, протирая глаза и метаясь, какъ угорѣлая, изъ угла въ другой, — гдѣ кочерга?.. гдѣ? а все ты, увалень! лежитъ себѣ, словно съ ногъ смотался, — не шелохнется, хоть домъ гори.

— На будущій годъ
Осиновый тебѣ гробъ...

крикнулъ кто-то звучнымъ голосомъ, ударивъ кулакомъ въ оконную раму.

— А вотъ погоди, погоди, проговорилъ староста, спускаясь, наконецъ, съ печки,—дамъ тебѣ осиновый гробъ; это, я знаю, все Гришка Силаевъ озорничаетъ; погоди, я тебѣ шею накостыляю, заключилъ онъ, ставъ на полъ и протирая глаза.—Вы чего?.. Ну, чего воете?

— Тятька, пусти насъ на улицу! жалобно отозвались ребята.

— На улицу!—прытки добре; слышите, погода какая, замерзнуть небось хочется... Парашка, давай кушакъ да шапку — они, кажись, на лавкѣ подъ образами — давай, пора идти, я, чай, и взаправду у Савелія завечеряли... промолвилъ онъ, обращая сонные глаза на старшую дочь, которая во все это время такъ же неподвижно сидѣла на лавочкѣ, изрѣдка лишь завистливо поглядывая на уличное окно.

— Ну, вотъ, давно бы такъ, ступай-ка, ступай!.. и то

два раза спрашивали, сказала старуха, торопливо подавая варежки.

— Вотъ что, хозяйка, вымолвилъ мужъ, останавливаясь у двери, — смотри безъ меня никого не пущай въ избу; неравно ряженые придутъ,—гони ихъ въ три шеи... Повадились нынче таскаться... А пуще всего не пущай Домну. Чтобъ и духу ея здѣсь не было...

— Чего ей ходить-то, недовольнымъ голосомъ возразила жена,—небось, не придетъ... Да вотъ постой, я припру за тобой шестомъ калитку...

Сказавъ это, она набросила полушубокъ на плеча, и ворча что-то подъ носъ, поплелась за мужемъ. Очутившись на крылечкѣ, староста остановился, ошеломленный стужею и вѣтромъ, который съ такой силой мутилъ по двору снѣгъ, что нельзя было различить навѣсовъ.

— Ухъ! морозно добрѣ стало, старуха... ухъ... ишь какъ ее, погодка-то, разгулялась... у!..

Онъ ухватился обѣими руками за шапку и попятился назадъ.

— Ну вотъ еще что выдумалъ! первинка тебѣ, небось; ступай, ступай; тебѣ такъ спросонья почудилось; вѣстимо вѣтеръ гудетъ, — зимнее дѣло; ступай, у Савелія давно уже, я, чай, завечеряли, — ступай, говорю, не срамись...

И, вцѣпившись въ мужнинъ кожухъ, она почти силою стащила его съ крылечка и повлекла по двору.

Пробравшись къ воротамъ, она отворила калитку, оглянулась во всѣ стороны и, наконецъ, вытолкнула мужа на улицу. Видно было, что она ждала кого-то и боялась, чтобы мужъ не встрѣтился съ гостемъ. Какъ только шаги его заглушились ревомъ бури, лицо старостихи просвѣтлѣло; вопреки обѣщанію, она отворила настежь калитку и вернулась въ избу.

— Ну, что жъ ты, Параша, сидишь? Отецъ ушелъ, и ты ступай на улицу, сказала она, неожиданно обращая рѣчь къ старшей дочери.

— Я думала, матушка, ты не велишь... отвѣчала дѣвушка, радостно вставая съ мѣста.

— Мамка, пусти и насъ! произнесъ сквозь слезы голосъ изъ угла.

— Што-о-о!.. воскликнула старуха, быстро поворачиваясь къ углу.

Злосчастный Филька снова предсталъ было передъ ма-

терью, но съ тою, однакожъ, разницею, что на этотъ разъ онъ сильно упирался ногами, кричалъ во все горло и отбивался руками и ногами отъ рукъ сестеръ и братьевъ, которые за него прятались.

— Чего вы, пострѣлы, все его впередъ суете? я нешто не вижу?.. подь сюда, касатикъ, заключила старостиха, гладя по головѣ своего любимца и закутывая его въ то же время въ полушубокъ.—Ну, крикнула она, взглядывая нерѣшительно на уголъ,—ступайте на улицу!..

Радостный крикъ, единодушно вырвавшійся изъ угла, былъ единственнымъ отвѣтомъ.

— Цыцъ, пострѣлы! задребезжала старуха, затыкая сначала уши и пускаясь потомъ вдогонку то за однимъ, то за другимъ,—цыцъ! никого не пущу... тьфу, окаянные, прости Господи!—пошли вонъ!.. А ты, моя касатушка, не смѣй у меня шляться по улицѣ! прибавила она, повертываясь къ Парашѣ, которая взялась уже за скобку двери,—будь довольна, что изъ избы-то тебя выпустили... не стать же тебѣ шаламберничать съ ребятами; сиди у воротъ, шагу не смѣй ступить безъ спросу!...

Дѣвушка, не ожидавшая, вѣроятно, такого притѣсненія, опустила къ полу веселое свое личико и молча послѣдовала за своими братьями и сестрами, голоса которыхъ раздавались уже за воротами.

III.

Ахъ ты, Домна Домна...
... — баба ты удáлая!

Народная пѣсня.

Секунду спустя, старостиха осталась одна-одинешенька посреди избы. Этого только, казалось, и добивалась она такъ долго. Ворчливое выраженіе на лицѣ ея мигомъ смѣнилось какою-то довольною заботливостью. Она бросилась къ печкѣ, вынула одинъ за другимъ нѣсколько горшковъ, поставила ихъ на столъ противъ образовъ и приготовила все нужное для сытной трапезы; послѣ этого, старуха поспѣшно набросила на голову старый зипунъ, зажгла лучину, и, заслоняя ее ладонью отъ вѣтра, вышла въ сѣни. Тутъ пригнула она на-бокъ голову и стала внимательно вслушиваться; убѣдившись, что слышанный ею шумъ происходилъ единственно отъ бури, — старуха захлопнула дверь на крылечко и вошла въ каморку или чуланъ, при-

лѣпленный, какъ ласточье гнѣздо, къ одному изъ угловъ сѣней. Сквозь щели этого чулана, сколоченнаго живьемъ изъ досокъ, не только проходилъ свободно вѣтеръ, но даже сѣялся въ изобиліи снѣгъ, и многихъ трудовъ стоило старостихѣ найти укромное мѣсто для лучины; приткнувъ ее, наконецъ, кой-какъ за пустую бочку, она вытащила изъ-подъ нары сундучокъ, отворила его съ помощью витого ключика и принялась выкладывать на полъ разное добро: поочередно выступили, одна за другою, старыя понявы, куски холста, мотки, коты, низанные бисеромъ подзатыльники и, наконецъ, полотенца; добравшись до послѣднихъ, старуха бережно отложила два изъ нихъ въ сторону и продолжала разбирать свое имущество. Она уже подбиралась къ самому дну сундучка, какъ вдругъ на крылечкѣ послышалось топанье чьихъ-то ногъ; старостиха насторожила слухъ и затаила дыханіе. Раздавшійся немного погодя кашель возвратилъ, однакожъ, спокойствіе на лицо ея; откашлянувшись въ свой чередъ, она сунула подъ мышку отложенныя два полотенца и, приподнявъ надъ головою лучину, вернулась въ сѣни; задвижка щелкнула, дверь на крылечко отворилась и въ сѣни вошла, покрякивая и оттаптывая ноги, дюжая, плечистая баба съ пухлыми щеками и крошечными черными глазками, которые бѣгали какъ мышенки, несмотря на то, что имъ, очевидно, тѣсно становилось посреди многочисленныхъ складокъ, образовавшихся отъ наплывшаго жиру. Въ одной рукѣ держала она довольно полновѣсный горшокъ, прикрытый тряпицею; другая рука ея придерживала на груди прорванную шубейку, которая прикрывала ей плечи и голову. Увидя передъ собой старостиху, дюжая баба приподняла горшокъ такъ, чтобы онъ бросился ей тотчасъ же въ глаза, и поклонилась.

— Здравствуй, Домна Емельяновна, добро пожаловать! произнесла та, кланяясь въ свою очередь.

Вслѣдъ затѣмъ, она прикрыла полою зипуна лучину и отошла немного въ сторону.

— А что, касатушка, никого у васъ нѣтъ? прохрипѣла Домна, осматриваясь нерѣшительно на стороны.

— Никого, родная, всѣ, и малы, и велики, со двора ушли, отвѣчала старостиха, утвердительно моргая глазами.

Услыша это, гостья мгновенно пріободрилась, отряхнула снѣгъ, покрывавшій шубейку, постучала ногами объ полъ и оправилась. Послѣ того, она повернулась спиною

къ хозяйкѣ и, обмакнувъ нѣсколько разъ сряду жирную ладонь свою въ горшокъ, принялась опрыскивать какою-то жидкостью притолку, стѣны сѣнечекъ и порогъ, нашептывая что-то подъ носъ. Старостиха стояла во все это время въ углу, какъ стопочка, и только моргала глазами: сморщенное лицо ея поворачивалось и слѣдило, однакожъ, подобострастно за каждымъ движеніемъ гостьи. Наконецъ, она проворно вынула одно полотенце и, улучивъ минуту, когда Домна окончила причитаніе, подала его съ поклономъ.

Ощупавъ полотенце, Домна снова повернулась спиною, покосилась на старуху и, сдѣлавъ видъ, какъ будто обтираетъ имъ спрыснутые дверь и полъ, спрятала его за пазуху. Послѣ того, она закрыла горшокъ, поставила его на полъ и подошла къ старостихѣ, какъ ни въ чемъ не бывало *).

— Спасибо тебѣ, Домна Емельяновна, что понавѣдалась, сказала старостиха, отвѣшивая маховой поклонъ,— а я уже чаяла, касатка, ты за метелью-то не зайдешь ко мнѣ; выходила за ворота, смотрю: гудетъ погода; нѣтъ, думаю, не бывать тебѣ...

— И-и-и... Христосъ съ тобою, съ чего жъ не бывать? ужъ коли посулила, стало приду, отвѣчала скороговоркою Домна,—да и пригоже ли дѣло, родная, солгать въ такую пору...

— То-то, болѣзная... зайди въ избу, Емельяновна — отогрѣйся.

— Спасибо тебѣ на ласковомъ словѣ, отвѣчала Домна.

Старостиха отворила дверь, и обѣ вошли въ избу.

Хозяйка засуетилась у печки и, пригласивъ гостью присѣсть къ образамъ, поставила передъ ней скляницу, заткнутую ветошью, вмѣстѣ съ толстенькимъ стаканчикомъ, вертѣвшимся на донышкѣ какъ волчокъ. Гостья не долго отнѣкивалась, выпила вино бычкомъ, т.-е. однимъ духомъ до послѣдней капельки и, кашлянувъ, закусила пирожкомъ съ кашей.

Вообще, должно сказать, Домна не была бабою ломливой или привередливой. Баба она была бойкая, вострая!

---

*) Обрядъ этотъ совершается на Васильевъ вечеръ и извѣстенъ въ Великороссіи подъ названіемъ: *смываніе лихоманокъ*. Смываніе производится (какъ увѣряютъ, по крайней мѣрѣ, плутовки, пользующіяся довѣріемъ поселянъ) снадобьемъ изъ четверговой соли, золы изъ семи печей и угля, выкопаннаго въ Ивановъ день изъ-подъ чернобыльника.

Да и можно ли, по-настоящему, быть иначе сиротѣ безпріютной, вдовѣ безпомощной? Извѣстно, живешь мірскимъ состраданіемъ, пробавляешься чужими крохами, тутъ всякій, того и смотри, сядетъ тебѣ на плечи, да еще спасибо скажешь, коли къ шею не наколотятъ. Домна знала это какъ нельзя лучше, а потому, желая избѣгнуть, по возможности, сиротской невзгоды и норовила всегда сама сѣсть на чужія плечи. „И будь безъ хвоста, да не кажися кургузъ“, говоритъ пословица. И такъ ловко повела она свое дѣльце, что никто не пенялъ на нее; каждый, напротивъ, встрѣчалъ ее съ поклономъ и принималъ съ почетомъ. Съ уголька ли спрыснуть, заговорить ли отъ пострѣла, смыть ли лихоманку, — вездѣ и всегда она одна. Незадолго еще до настоящаго времени, слыла она первою запѣвалкою и хороводницею во всемъ околоткѣ, никто не подлаживалъ такъ складно подъ пѣсню въ обломокъ косы, никто не выплясывалъ и не разводилъ такъ ловко руками, ничей голосъ не раздавался звучнѣе; но съ тѣхъ поръ, какъ надорвала она горло на гулянкѣ въ день приходскаго праздника, и голосъ ея, дребезжавшій на всеобщее удивленіе, какъ неподмазанное колесо, захрипѣлъ какъ у опоенной клячи,—слава ея въ околоткѣ стала еще почетнѣе. Лѣшій ее знаетъ, какъ она это дѣлала, — но теперь въ сосѣднихъ деревняхъ безъ Домны — что безъ праваго глаза. Безъ нея не обходится ни одна свадьба, потому что, не будь Домны, и свадьбѣ бы не состояться; она поклонилась отцу, поклонилась матери, и уладила дѣльце; на пирахъ является она бабкою-позываткой: — первая затѣваетъ пляску, первая пьетъ сусло и бражку. Въ зимніе, долгіе вечера Домна — не баба, а просто золото. Она все знаетъ: кто хочетъ или задумалъ только жениться, кого замужъ выдаютъ, гдѣ и за что поссорились люди; тамъ строчитъ она сказку узорчатую, тутъ поворожитъ, здѣсь спрыснетъ студенцемъ,—словомъ, на все про все. И крова, кажись, нѣту, мужа нѣту—сирота какъ есть круглая, а живетъ себѣ припѣваючи. Да и о чемъ тужить? Сама не разъ говорила Домна: — „И то правда, касатушки, подъ окошечкомъ выпрошу, подъ третьимъ высплюсь,—поддевочка-то сѣра, да волюшка-то своя!..“

Такъ вотъ какова была гостья старостихи.

— Ну, что, касатка, я чай, у сосѣдей была? спросила старостиха, придвигая къ ней пирогъ.

— Какъ же, родная, скороговоркою отвѣчала Домна,

косясь однимъ глазомъ на скляницу, другимъ на чашку съ гороховымъ киселемъ, — когда жъ и быть-то какъ не нынче? кому охота напустить къ себѣ въ домъ злую лихость? Та—Домна Емельяновна, пособи, другая также! — Ну, я не отнѣкиваюсь отъ добраго дѣла; вѣстимо, долго ли накликать бѣду; о-охъ! знамо не простой день, касатка,— Васильевъ вечеръ... Нонѣ, болѣзная ты моя, лихоманку-то выпираетъ изъ преисподней морозомъ... Вотъ она и снуетъ, окаянная, по свѣту,—ищетъ виноватыхъ; гдѣ теплая изба, туда и она... притаится, это, за простѣнокъ, али притолку, и ждетъ, нечисть, не подвернется ли кто... Я сама ихъ видала, всѣхъ сестеръ видала... ужъ въ чемъ, кажись, только душа есть: тощія, слѣпыя, безрукія такія... а не смой изъ дому — затрясутъ, поди, до смерти, завиралась Домна, надламывая пирожка и взглядывая на старостиху, которая сидѣла противъ нея на лавочкѣ и, прищурившись, какъ кошка на печкѣ, мотала въ тягостномъ раздумьи головою.

— Вотъ, скажу тебѣ, продолжала Домна, — видѣла я мужика въ Груздочкахъ, такъ ужъ подлинно жалости подобно... И здоровъ былъ, и рослъ, что хмелина въ весну, а какъ напала, это, она на него,—похирѣлъ, словно трава подкошоная... А все отъ того, что жена его поартачилась, да не пустила смыть лихоманку въ Васильевъ вечеръ...

— Ахти, касатки, эки дѣла какія; что жъ она, — недобрая мать,—злобу какую на мужа-то имѣла?.. спросила старостиха.

— А кто ее знаетъ, я не мало ее тогда уговаривала...

— Да что жъ ты, родная, не пьешь, не ѣшь ничего... произнесла хозяйка, принимаясь суетиться, — не позорь нашего хлѣба-соли... выпей еще стаканчикъ...

— Спасибо тебѣ на ласковомъ словѣ, отвѣчала Домна, радостно принимая приглашеніе,—ну, такъ вотъ, родная, какъ почала она трясти его, трясла ужъ она, это, трясла, чуть не до смерти; насилу отшептали, совсѣмъ-было сгибъ человѣкъ... Да постой, не нынче, такъ завтра у насъ въ деревнѣ прилучится такое дѣло,—коли еще не хуже...

— О-охъ! произнесла старостиха, со страхомъ озираясь на сторону,—что жъ такое, родная?..

— А вотъ что, отвѣчала Домна, отдувая багровыя свои щеки,— захожу это я нынче, объ утро, къ Василисѣ, сосѣдкѣ твоей, — вѣстимо, касатка, не изъ корысти какой, чтобъ мнѣ сошлось что за хлопоты, захожу къ ней, — а

такъ, по простотѣ моей сиротской, извѣстно, люди бѣдные, нешто съ нихъ возьмешь... Маешься ты, говорю, Василиса, со своимъ сыномъ; дай, говорю, отведу я отъ него нечистую силу, нынче только, говорю, и можно образумить ка́женника—сама, чай, вѣдаешь день какой,—куда-те! и слышать не хочетъ; да это бы еще нешто, Богъ съ ней, а то, туда же окрысилась на меня: вы, говоритъ, по деревнѣ про сына пустили толки, то да се... Ну, думаю себѣ, дѣлай какъ знаешь, сама напослѣдяхъ спокаешься, не сдобровать тебѣ съ твоимъ ка́женникомъ!.. *).

Тутъ Домна покосилась украдкой на старостиху и сказала, понизивъ голосъ:

— Ты, касатка, не подпущай его, смотри, близко къ дому, я давно хотѣла съ тобой, на досугѣ, глазъ-на-глазъ поговорить...

Старостиха насторожила уши.

— Онъ, слышала я отъ добрыхъ людей, продолжала таинственно Домна,—за твоей дочкой увивается... избави Господи!.. У ка́женниковъ дурной глазъ! того и смотри испортитъ дѣвку...

— Что ты, касатка,—охъ!.. Да подступись онъ только... Да я и ему-то, и его матери-то всѣ глаза выплюю!.. возразила съ негодованіемъ старостиха. — Я, родная, какъ только провѣдала про эвто дѣло, и дочь-то не пускаю со двора, зарокомъ наказала не ходить за ворота...

— То-то, болѣзная, я не въ проносъ говорю тебѣ такое слово; ты дѣвку-то свою не пущай, а онъ, окаянный, все возьметъ свое, коли заберетъ на умъ — напуститъ на нее лихость,—а ты, поди, плачь, тоскуй опосля... Помоему, до грѣха, надо отвадить его, какъ ни на есть, отъ нея, чтобы дѣвка-то опостыла ему,—безъ этого не миновать вамъ бѣды... Ужъ лучше, коли на то пошло, продайте вы ее въ чужую деревню, я и женишка пріищу. Такого ли жениха вамъ надыть! Да ему и въ ротъ не вкинется и во снѣ не приснится такое счастье... Она у тебя пригожѣе всѣхъ молодицъ села... Вотъ довѣдалась я (люди добрые сказывали), и она, Василиса-то, на то же норовитъ; стану, говоритъ, просить барина!.. Пригодное ли дѣло, касатка, вамъ съ ними родниться? шишь-голь, да и полно! Вамъ просвѣту не дадутъ: вишь, скажутъ, пород-

*) *Ка́женникомъ* называютъ въ деревняхъ человѣка, одержимаго душевною тоскою иногда просто безъ причины. Не ходитъ парень въ хороводы, ну и ка́женникъ!

нились съ кѣмъ!.. Вѣстимо, кто про что: другому и крохи пропустить нечѣмъ,—да добрый человѣкъ, а этотъ, болѣзная ты моя, каженникъ! Ужъ что это за человѣкъ: чурается добрыхъ людей, словно собакъ паршивыхъ, ни съ кѣмъ слова не промолвитъ, ни въ пляску, ни въ пѣсни... я тебѣ говорю: отлучи ты его, до бѣды, отъ дѣвки-то!..

— О-охъ! я и сама о томъ думаю, касатушка... помоги, Домна Емельяновна, произнесла съ явнымъ безпокойствомъ старостиха,—рада служить тебѣ всѣмъ добромъ, — отведи ты его, Богъ съ нимъ, отъ моей дочери.

Тутъ старостиха привстала съ лавки, поклонилась гостьѣ и положила передъ ней на столъ второе полотенце.

— Спасибо тебѣ на ласковомъ словѣ, отвѣчала Домна, спрятавъ полотенце, какъ бы невзначай, за пазуху;—рада и я служить тебѣ,—изволь, помогу; слушай...

И Домна подсѣла уже къ старостихѣ и прильнула къ ея уху; но въ эту самую минуту раздался такой сильный ударъ въ ворота, что обѣ бабы невольно подпрыгнули на лавочкѣ.

— Охъ, родная! воскликнула Домна, бросаясь впопыхахъ изъ одного угла въ другой, — никакъ мужъ твой идетъ, вотъ накликали бѣду!..

Старостиха въ это время подбѣжала къ окну, подняла его и взглянула на улицу.

— Нѣтъ, касатка, не онъ, крикнула она, просовываясь въ избу и обращаясь къ Домнѣ, которая стояла уже въ дверяхъ,—не онъ: вѣтеръ сорвалъ доску съ надворотни,—не бойся,—онъ у Савелія на вечеринкѣ и не скоро вернется,—сиди безъ опаски...

— Охъ, касатка, всполохнулась я добре, вымолвила гостья, отдуваясь и прикладывая ладонь къ лѣвому боку,—ну, кабы онъ, бѣда, думаю; — серчаетъ онъ на меня... а сама не знаю за что... провалиться мнѣ, стамши, коли знаю...

Но рѣчь Домны снова была прервана такимъ страшнымъ грохотомъ подъ воротами, у плетней и подъ навѣсами, какъ будто буря, собравъ всѣ силы свои, разомъ ударила на избу старосты.

— Съ нами крестная сила! пробормотала хозяйка дома, творя крестное знаменіе.

— Охъ, не къ добру, родная, проговорила Домна, крестясь въ свою очередь,—слышь, какъ вдругъ все загудѣло... Охъ, вотъ такъ-то, какъ шла я къ тебѣ... иду,

вдругъ, отколѣ ни возьмись, замело меня совсѣмъ и зги не видно; куда идти, думаю, и сама не знаю; стою это я, касатка, слышу, кто-то словно подлѣ меня всплакался... да жалостливо такъ... Охъ, не къ добру...

Мало-по-малу, однакоже, и хозяйка, и гостья успокоились. Буря пронеслась мимо. Старостиха бережно заперла двери и снова сѣла на лавочку; Домна откашлянулась, нагнулась къ ея уху и стала что-то нашептывать.

IV.

Чижикъ-пыжикъ у воротъ,
Воробышекъ махонькой...
Эхъ, братцы, мало насъ!
Голубчики, немножко...
Иванъ сударь, поди къ намъ,
Андреевичъ, приступись...

Народная пѣсня.

Парашѣ страхъ, однакожъ, прискучило сидѣть подъ окнами своей избушки. Въ первое время послѣ того, какъ проводила она маленькихъ сестеръ и братьевъ за ворота, ее радовало, что привелось, по крайней мѣрѣ, разъ посидѣть свободно на улицѣ, что, можетъ статься, удастся хоть издали прислушаться къ веселымъ пѣснямъ подругъ; полная такихъ мыслей, она не замѣчала скуки, пока, наконецъ, не увидѣла ясно, что ожиданія обманули ее. Сколько ни напрягала она вниманія, всюду слышался ревъ бури, которая, врываясь поминутно въ деревню, грозно завывала, метаясь изъ конца въ конецъ улицы; глухая ночь царствовала повсюду; изрѣдка лишь, проникая мракъ, сквозь снѣжную сѣть, мелькали кое-гдѣ, какъ искры, огоньки дальнихъ избушекъ. Параша не понимала, куда такъ скоро могла дѣться рѣзвая толпа ребятъ и дѣвушекъ, недавно еще шумѣвшихъ подъ ея окнами.

„Неужто запугали ихъ метель и холодъ?“ подумала она, стараясь проникнуть въ сотый разъ темноту, ее окружавшую; „чего жъ тутъ бояться?.. О! если бы только дали мнѣ волю присоединиться къ нимъ, я бы всѣхъ ихъ пристыдила. А можетъ быть, они забились въ избы, не страха ради, а ради забавы... Я, чай, гадаютъ они, или наряжаются... куда какъ весело!..“ Параша взглянула на окно своей избушки и загрустила еще сильнѣе прежняго. Не смѣя ослушаться матери, но со всѣмъ тѣмъ не желая вернуться въ скучную избу, она подошла къ заваленкѣ,

оттоптала снѣгъ въ углу, между стѣною и выступомъ бревенъ, прикуталась съ головою подъ овчиннымъ своимъ тулупчикомъ и, съежившись клубочкомъ, какъ котенокъ, закрывъ глаза, принялась съ горя умомъ раскидывать. Она мысленно переносилась въ каждую избу; тамъ невидимкою присутствуетъ она посреди веселаго сборища; тутъ прислушивается къ говору парней, здѣсь подруги наряжаютъ ее: она смотрится въ крошечное оправленное зеркальце, глядитъ и глазамъ не вѣритъ, какъ пристала къ ней высокая шапка съ золотомъ, синій кафтанъ и красная рубаха съ пестрыми ластовицами; въ другомъ мѣстѣ... но не перечесть всего, о чемъ думаетъ молоденькая дѣвушка. Кончилось тѣмъ, что Параша не утерпѣла, сбросила съ головы овчину, заглянула въ окно къ матери и, убѣдившись, вѣроятно, что съ этой стороны не предстояло опасности, соскочила съ заваленки и украдкою подобралась къ сосѣдней избѣ.

Изба эта,—хилая лачужка, занесенная почти до верху снѣгомъ, отдѣлялась всего-на-все отъ избы старосты длиннымъ навѣсомъ, а Парашѣ стоило сдѣлать нѣсколько прыжковъ, чтобы очутиться подъ единственнымъ ея окошкомъ.

Дѣвушка прильнула свѣженькимъ своимъ личикомъ къ стеклу, сквозь которое проникалъ огонекъ, и, затаивъ дыханіе, долго смотрѣла во внутренность избушки. Но и тутъ, казалось, ожиданія обманули ее. Параша нахмурила тоненькія свои брови и думала уже вернуться назадъ, когда совершенно неожиданно до слуха ея коснулся чей-то тоненькій голосокъ. Голосъ выходилъ изъ-за ближайшаго овина; Параша притаилась въ уголъ и стала вслушиваться; голосъ, очевидно принадлежавшій женщинѣ, напѣвалъ, между тѣмъ, протяжно:

Ай звѣзды, звѣзды,
Звѣздочки!
Всѣ вы, звѣздочки,
Одной матушки,
Бѣлрумяны вы
И дородливы!..
Гляньте, выгляньте
Въ эту поченьку!..

„Это, должно быть, кузнецова Дунька загадываетъ себѣ счастье...“ подумала Параша, „но гдѣ же видитъ она звѣзды?“ продолжала она, закутываясь въ тулупчикъ и поднимая кверху голову; „ухъ! какъ темно и страшно...

ну, долго же придется ей ждать звѣздочку... А что, всѣ вѣдь нынче гадаютъ... дай-ка и я себѣ загадаю... что-то мнѣ выпадетъ?" Послѣднее заключила она, стоя уже подлѣ своей избы; она оглянулась сначала на всѣ стороны, потомъ обратилась снова почему-то къ сосѣдней лачужкѣ и произнесла нараспѣвъ:

Взалай, взалай, собаченка,
Взалай, сѣренькій Волчокъ!
Гдѣ собачка залаетъ,
Тамъ и мой суженой...

Но каково же было удивленіе дѣвушки, когда съ сосѣдняго двора, какъ нарочно, отозвался лай собаки. Лай замолкъ, а Параша все еще стояла, какъ прикованная на мѣстѣ; сердце ея билось сильнѣе: не довѣряя своему слуху, она готовилась повторить пѣсню; но голоса и хохотъ, раздавшіеся внезапно съ другого конца улицы, привлекли ея вниманіе.

— Тащи каженника, тащи его! что онъ взаправду артачится... Тащи его, ребятушки, пущай наряжается съ нами... тащи его, не слушай! кричалъ кто-то, надрываясь со смѣху.

Параша бросилась сломя голову на заваленку, вытянула впередъ голову и, казалось, боялась проронить одно слово. Голоса и хохотъ приближались съ каждою минутой; вскорѣ различила она толпу, которая направлялась прямо къ ея избѣ.

— Ребята, никакъ у старосты огонь! катай туда! закричалъ тотъ же голосъ, по которому Параша тотчасъ же узнала перваго озорника деревни, Гришку Силаева.— Полно тебѣ, Алешка, козыриться, не топырься, сказано, что не выпустимъ, такъ стало, такъ и будетъ; полно тебѣ слыть каженникомъ, пришло время развернуться, мы изъ тебя дурь-то вызовемъ... Тсс! тише, ребята, нигу-гу; дѣвки, полно вамъ шушукаться, никакъ кто-то сидитъ у старосты на заваленкѣ...

— Дѣвушки, касатушки... охъ!.. заговорило въ одно время нѣсколько тоненькихъ голосковъ.

— Ну, чего вы жметесь другъ къ дружкѣ, чего? небось, не съѣдятъ, шепнулъ Гришка Силаевъ,—ступайте за мной...

И толпа наряженныхъ, стиснувшись въ одну плотную кучку, пододвинулась ближе. Гришка сдѣлалъ шагъ впередъ и вдругъ залился звонкимъ, дребезжащимъ хохотомъ.

— Э! такъ это вотъ кто! здравствуй, старостина дочка, произнесъ онъ, снимая обѣими руками шапку и кланяясь Парашѣ чуть не въ ноги.

— Дѣвушки, касатушки, и вправду она! воскликнули дѣвушки, окружая подругу.—Что́ ты здѣсь дѣлаешь? пойдемъ съ нами, полно тебѣ сидѣть; смотри какъ мы нарядились! пойдемъ!..

— Нѣтъ, мнѣ нельзя... я и рада бы, да право нельзя, касатушки... того и смотри матушка позоветъ... отвѣчала Параша, заглядывая вправо и влѣво, и какъ бы желая различить кого-то въ толпѣ.

— А развѣ матушка твоя дома? спросилъ Гришка.

— Дома.

— И отецъ дома?

— Нѣтъ, отецъ у Савелія на вечеринкѣ.

Гришка радостно хлопнулъ въ ладоши, прыгнулъ на заваленку и столкнулся носъ съ носомъ со старостихою, которая совершенно неожиданно отворила окно и высунулась на улицу. Гришка свистнулъ и бросился въ самую середину толпы, которая откинулась въ сторону.

— Ахъ вы, проклятые!.. Кто тамъ?.. Чего вамъ надыть?.. Пошли прочь, окаянные!.. Парашка! Парашка! что-те не докличешься... ступай въ избу, гдѣ ты? о! постой, я тебя проучу.

Парашка откликнулась, набросила на голову полушубокъ и, вздохнувъ, отправилась къ воротамъ.

— Параша! крикнулъ ей вслѣдъ Гришка,—кланяйся маменькѣ, цѣлуй у ней ручки; скажи, что всѣ молъ мы, слава Богу, здоровы и ей того мы желаемъ...

— Ахъ ты охлестышъ поганый! взглянула старостиха, высовываясь по грудь изъ окна,—погоди, постой, я тебѣ дамъ знать!

— Что ты, маменька, глотку-то дерешь?.. не обижайся, за добрымъ дѣломъ къ тебѣ, родная... отозвался Гришка, пробираясь украдкой съ огромнымъ комкомъ снѣга подъ полою,—приходили звать тебя въ гости; неравно обознаешься; ищи ты насъ вотъ какъ: ворота дощатые, собака новая, въ избѣ два окна, какъ найдешь, прямо придешь! заключилъ онъ, пуская комокъ въ старостиху, которая успѣла, однакожъ, во-время захлопнуть окно.

Толпа захохотала.

— Эхъ, промахнулся! произнесъ Гришка, отряхая руки,—а жаль, кабы не обмишурился, было бы чѣмъ

закусить... ишь ее, баба-яга какая... Ребята, на зло же ей, слушай: старосты нѣтъ, пойдемте къ ней въ избу... выворотимъ каженнику овчину, онъ будетъ медвѣдемъ, а я вожакомъ; ладно, что ли? Ну, Михайло Иванычъ, поворачивайся, да не пять глаза въ стороны, сказано не выпустимъ, пойдешь съ нами! прибавилъ онъ, стаскивая полушубокъ съ плечъ молодого парня, который, впрочемъ, довольно охотно поддавался.

— А ну, быть стало по-вашему! неожиданно воскликнулъ молодой парень, отрывая глаза отъ старостина окна и принимая какъ будто рѣшительное намѣреніе,—давайте овчину, я самъ выворочу... Ну, такъ, ладно что ли! заключилъ онъ, просовывая руки въ рукава вывороченной овчины и тяжело поворачиваясь передъ толпою, которая разразилась звонкимъ смѣхомъ.

— Ай да молодецъ! заревѣлъ Гришка, топая въ восторгѣ ногами. — Я вамъ говорилъ: на него только наговорили, какой онъ каженникъ! Давай другую овчину, закутаемъ ему голову! Такъ. Ну-ка-сь, Михайло Иванычъ: а какъ ребята за горохомъ хаживали... ну-у-у!.. ай да Алеха! Я говорилъ вамъ, не сплохуетъ! Онъ только прикидывался тихоней, а они ему вѣрили... Ребята, стойте! крикнулъ Гришка, останавливая толпу, которая уже двинулась къ воротамъ старостиной избы,—стойте; по-моему вотъ что: дайте ей, старой вѣдьмѣ, опомниться; она теперь взбеленилась, такъ ужъ заодно придется ей серчать... дадимъ-ка ей лучше простыть, да тогда, на спокоѣ-то, и потревожимъ ее, пущай-де знаетъ! Пойдемте, какъ есть, слѣдомъ къ Савелью, теперь пиръ горой; народу тамъ гибель, потѣшимся на славу, а тамъ сюда добро пожаловать... такъ, что ли?..

— Пойдемте, пойдемте! отозвались всѣ разомъ.

И толпа, повернувшись лицомъ къ вѣтру, весело понеслась за Гришкой на другой конецъ деревни. Но не достигла она и половины дороги, какъ вдругъ буря, смолкнувшая на время, снова ударила всей своей силой; все помутилось вокругъ, и ряженые наши не успѣли сдѣлать одного шагу, какъ уже увидѣли себя окруженными со всѣхъ сторонъ вихремъ.

— Держись, не вались! крикнулъ Гришка, сгибаясь въ три погибели и становясь спиною къ метели,—наша возьметъ, стой крѣпче, не робѣй! Эй вы, любушки-голубушки,

присовокупилъ онъ, пробираясь къ дѣвушкамъ,—что пришипились? играйте пѣсни!..

— Полно тебѣ, Гришка... Охъ, дѣвушки, страшно! охъ, касатушки, страшно! раздавалось то съ одной стороны, то съ другой.

— Страшно... у! у! у!.. произнесъ Гришка, становясь на четвереньки и принимаясь то хрюкать свиньею, то выть волкомъ.—Ой! дѣвушки, смотрите-ка, смотрите... вонъ вѣдьма на помелѣ ѣдетъ, ей-ей вѣдьма, у! смотри, сторонись,—хвостомъ зацѣпитъ.

Дѣвушки, прятавшіяся другъ за дружкою, подняли головы и вдругъ испустили пронзительный крикъ. Въ сторонѣ, за метелью, послышался дѣйствительно чей-то прерывающійся, замирающій стонъ... Въ эту самую минуту вѣтеръ рванулъ сильнѣе, вихрь пронесся мимо, и въ мутныхъ волнахъ снѣга, между сугробами, показался страшный образъ старика съ распростертыми впередъ руками.

Но толпа успѣла уже разбѣжаться во всѣ стороны.

V.

За дубовы столы,
За набранные,
На сосновыхъ скамьяхъ,
Сѣли званые.
На столахъ—куръ, гусей
Много жареныхъ,
Пироговъ, ветчины
Блюда полныя!

А. В. Кольцовъ.

Между тѣмъ, пирушка у Савелія шла на славу; народу всякаго, званаго и незванаго, набралось къ нему такое множество, что, кажись, пришелъ бы еще одинъ человѣкъ, такъ и мѣста бы ему недостало. Даже подъ самымъ потолкомъ торчали головы; послѣднія, впрочемъ, принадлежали бо̀льшею частью малолѣтнимъ парнишкамъ и дѣвчонкамъ, которые, будучи изгоняемы отовсюду, рѣшительно не знали уже куда приткнуться. И какъ, въ самомъ дѣлѣ, сидѣть дома, когда у сосѣда вечеринка, да еще въ какое время — въ святки? Того и смотри нагрянутъ ряженые, пойдутъ пляски, пѣсни... деревенскимъ ребятамъ все въ диковинку! И вотъ, томимые любопытствомъ, пробираются они сквозь перекрестный огонь пинковъ и подзатыльниковъ, карабкаются на лавки, вползаютъ на печку и полати, мостятся другъ на дружку, лишь бы поглядѣть на

веселье. Между ними попадаются такіе бойкіе, которые, не зная, куда дѣвать маленькаго братишку, заснувшаго у нихъ на рукахъ, забрались вмѣстѣ съ нимъ на зыбкую перекладину, и висятъ себѣ, какъ ни въ чемъ не бывало!

Въ избѣ жарко какъ на полкѣ; никто, однакожъ, не думаетъ отступать къ двери; каждый, напротивъ того, норовитъ изо всей мочи какъ бы протискаться впередъ, къ красному углу, гдѣ происходитъ угощеніе. Тамъ, за столомъ, покрытымъ рядномъ, обложеннымъ по краямъ ложками и обломками пироговъ и хлѣба, сидѣли гости званые и почетные. На самомъ первомъ мѣстѣ, подъ образами, въ которыхъ дробился свѣтъ восковой свѣчки вмѣстѣ со свѣтомъ сальнаго огарка, воздвигнутаго на столѣ, бросался прежде всего въ глаза мельникъ и жена его, оба толстые, оба красные, какъ очищенная свекла. Подлѣ нихъ, по правую руку, сидѣлъ понамарь изъ чужой вотчины, долговязый, рябой какъ кукушка, косой какъ заяцъ, съ вострымъ обточеннымъ носомъ и коротенькой взъерошенной косичкой на затылкѣ; жаръ дѣйствовалъ на него совсѣмъ иначе, чѣмъ на мельника: онъ, казалось, сушилъ и коробилъ его какъ щепку. Подлѣ понамаря сидѣлъ сотскій, — крошечный, мозглявый старикашка лѣтъ семидесяти-пяти, но живой и вертлявый, щупавшій поминутно то медаль на груди форменной инвалидной шинели, то дергавшій себя за кончики сѣдыхъ волосъ, изрѣдка торчавшихъ по обѣимъ сторонамъ лысины; слезливые глаза его щурились постоянно, тогда какъ ротъ, украшенный однѣми деснами, былъ постоянно открытъ и сохранялъ такое выраженіе, какъ будто сотскаго парилъ кто-то сзади наижесточайшимъ образомъ самымъ жгучимъ вѣникомъ. По лѣвую руку мельника находился знакомый уже намъ староста и рядомъ съ нимъ хозяинъ дома — рыжій, плечистый мужикъ, такой же толстый почти, какъ мельничиха. Съ обоихъ потъ катилъ градомъ, по оба не замѣчали этого и, казалось, были очень довольны сосѣдствомъ другъ друга, потому что то и дѣло обнимались. По обѣимъ сторонамъ описанныхъ лицъ, на лавочкахъ, подлѣ стола и немного поодаль, сидѣли еще гости, тоже званые, но менѣе почетные. Тутъ были старики, и молодые, и бабы съ ихъ ребятами; всѣ они расположились семьями: гдѣ мужъ съ женой, гдѣ старуха со снохой. Каждая семья явилась въ гости съ своей чашкой и ложкой; радушіе хозяевъ ограничивалось снабженіемъ съѣстного, и такъ какъ

хозяйка приготовила кисленькаго и солененькаго вволю, а хозяинъ припасъ чѣмъ и ротъ прополоснуть, то гости были очень довольны. Немолчный говоръ, восклицанія, хохотъ, раздававшіеся вокругъ стола, свидѣтельствовали о довольствѣ присутствующихъ. Но всѣхъ довольнѣе былъ, повидимому, все-таки самъ хозяинъ.

— Александръ Елисѣичъ, сватъ! кумушка Матрена Алексѣевна! Кондратій Захарычъ! еще стаканчикъ, милости просимъ, понатужьтесь маленько... кричалъ Савелій, приподнимаясь поминутно со штофомъ въ одной рукѣ, со стаканомъ въ другой, и кланяясь поочередно каждому изъ гостей своихъ.—Александръ Елисѣичъ, что жъ ты, откушай,—полно тебѣ отнѣкиваться, ну, хошь пригубь, прибавилъ онъ, обращаясь настойчивѣе къ мельнику, который пыхтѣлъ, какъ быкъ, взбирающійся на гору.

— О-охъ! не много ли, примѣрно, будетъ, Савелій Трофимычъ, отвѣчалъ гость, но взялъ, однакожъ, стаканъ, тягостно возвелъ къ потолку тусклые, водянистые глаза свои, испустилъ страдальческій вздохъ и, проговоривъ: „Господи, прости намъ прегрѣшенія наши!“ выпилъ все до капельки.

— Гости дорогіе, милости просимъ! Данила Левонычъ, ты что? Аль боишься уста опорочить? Пей, да подноси сосѣду, продолжалъ Савелій, передавая штофъ старостѣ и подмигивая на понамаря, который сидѣлъ, раскрывъ ротъ какъ птица, умирающая отъ жажды, что̀ не мѣшало ему, однакожъ, усердно вертѣть лѣвымъ глазомъ вокругъ мельничихи.—Дядя, а дядя, дядя Щеголевъ! полно тебѣ раздобарывать, успѣешь еще наговориться... Эхъ, а еще куражился: всѣхъ, говорилъ, положу лоскомъ! что жъ ты?.. Храбръ, видно, на словахъ! заключилъ Савелій, протягивая руку къ сотскому, который разсказывалъ что-то мельнику.

— Подноси, подноси знай, да не обноси, захрипѣлъ старикашка, заливаясь удушливымъ, разбитымъ смѣхомъ; онъ взялъ стаканъ, бодро привсталъ съ мѣста, произнесъ: „всѣмъ гостямъ на бесѣду и во здравіе!“ выпилъ вино, крякнулъ и постучалъ себя стаканомъ въ голову.

— Вишь, балагуръ, занятный какой; ай-да Щеголевъ! раздалось со всѣхъ концовъ посреди хохота.

— Такъ какъ же тяжко, примѣрно, вамъ было въ ту пору? спросилъ мельникъ, когда усѣлся Щеголевъ.

— А ты думаешь какъ? возразилъ Щеголевъ, бодрив-

шійся и дѣлавшійся словоохотливѣе по мѣрѣ того, какъ штофы пустѣли; куда жутко пришлось: народъ весь разбѣжался; избы, знаешь ты, супостатъ разорилъ, очистилъ все до послѣдняго зернышка; сами прохарчились... захочешь пирожка, ладно молъ, — льду пососешь; захочешь щецъ,—водицы похлебай, а другого и не спрашивай!..

— А что, примѣрно, бывалъ самъ въ сраженіи? перебилъ мельникъ, выставляя впередъ подбородокъ и осѣняя ротъ крестнымъ знаменіемъ.

— И-и... Александръ Елисѣичъ, спросите, гдѣ онъ только не былъ, какихъ сраженій не видалъ, ходилъ подъ Кутузовымъ противъ француза, подлинно любопытствія всякаго достойно! произнесъ понамарь, значительно обводя косыми глазами компанію и потомъ стараясь снова остановить ихъ на мельничихѣ, которая переминалась на одномъ мѣстѣ, какъ откормленная гусыня.

— Такъ ты Кутузова-то видалъ? сказываютъ, сильный, примѣрно, былъ человѣкъ... спросилъ мельникъ, глубокомысленно насупивая брови.

— Кутузова-то! воскликнулъ Щеголевъ, заливаясь снова разбитымъ своимъ смѣхомъ и хорохорясь несравненно болѣе прежняго. — А ты думаешь какъ! Какъ сядетъ бывало на коня... ухъ! ничего, говоритъ, не боюсь! Самъ батюшка-царь его жаловалъ, разъ на парадѣ собственноручно цѣловалъ его. Русакъ былъ, настоящій русакъ! Кутузовъ, говоритъ ему, возьми себѣ за услуги твои Смоленское... возьми ужъ, говоритъ, и Голенищева въ придачу! Вотъ такъ настоящій былъ воинъ! Ничего, говоритъ, не боюсь! Куда ни покажется,—такъ лоскомъ и кладетъ супостата! Какъ ты думаешь: самъ на конѣ сидитъ, а надъ нимъ, слышь ты, орелъ летитъ... ничего, говоритъ, не боюсь!..

— Ну, а самъ-то ты, самъ, бывалъ въ сраженіяхъ? Страшно чай? продолжалъ разспрашивать Александръ Елисѣичъ.

— Чего страшно! ничего не страшно: французъ ли, супостатъ ли... пали, да и только! Бей его, врага-супостата! крикнулъ Щеголевъ, ударивъ кулакомъ по столу.

— Я чай, въ пушку ударили? вымолвилъ понамарь, взглядывая изъ-за мельничихи.

— Въ пушки ударили, въ барабаны забили, — пули и картечи летѣли намъ навстрѣчу! подхватилъ Щеголевъ, отчаянно потряхивая головою, въ которой начинала уже бродить нескладица.

— Лександръ Елисѣичъ, еще стаканчикъ, полно тебѣ спесивиться,—откушай! перебилъ Савелій.

— Нѣтъ, Савелій Трофимычъ, надо настоящимъ дѣломъ разсуждать, ей-ей, примѣрно не по моготѣ...

— Кондратій Захарычъ, милости просимъ!

— Много довольны, кушайте сами; много довольны вашимъ угощеніемъ, отвѣчалъ попамарь, принимая стаканъ и раскланиваясь на стороны.

— Кума Матрена Алексѣевна, не обезсудь, просимъ покорно, продолжалъ хозяинъ, осклабляя зубы на мельничиху, которая сидѣла, понуривъ голову, съ видомъ крайняго изнеможенія,—понатужьтесь еще; дай тебѣ Господи долго жить, да съ нами хлѣбъ-соль водить...

Мельничиха допила вино, потупила глаза и прокатила стаканъ по столу, что̀ значило, что она напрямикъ отказывалась.

— Сватъ Данила, угощайтесь, — ну, первинка тебѣ, что ли!..

— Такъ и быть, согрѣшу,—обижу свою душу,—выпью во здравіе и многолѣтіе!..

— Вотъ такъ-то... Эй, Авдотья, давай перемѣну! крикнулъ хозяинъ, упираясь спиною и локтями въ толпу, которая чуть не сидѣла на его шеѣ, и оборачиваясь назадъ къ печкѣ, гдѣ слышался пискливый говоръ бабъ и звяканье горшковъ.

— Сейчасъ! отозвался пронзительный голосъ, прокрывшій на минуту шумъ гостей.

Вслѣдъ затѣмъ послышались звуки, похожіе на то, когда ломаютъ щепки, но означавшіе въ сущности, что хозяйка отвѣсила нѣсколько подзатыльниковъ ребятамъ, осаждавшимъ блюда. Минуту спустя, изъ середины толпы выступила жена Савелія, сопровождаемая двумя снохами, державшими въ каждой рукѣ по огромной чашкѣ.

— Куманекъ, сватушка, кушайте, угощайтесь, милости просимъ; кумушка, Матрена Алексѣевна, прикушай, касатка, ты у насъ дорогая гостьюшка, сказала хозяйка, сухая, высокая баба съ сморщеннымъ лицомъ и провалившимися губами, которыя корчились и ежились, чтобы произвести привѣтливую улыбку. — Кушайте, родные вы мои,—не судите хлѣбъ-соль, уклонялись, угощаючи васъ, продолжала она, отвѣшивая маховой поклонъ мельничихѣ, тогда какъ обѣ снохи подставляли чашки гостямъ, сидѣвшимъ со своими ложками на лавкахъ.

— Много довольны вашимъ хлѣбомъ и солью! спасибо за ласки и угощенье, дай тебѣ и дѣткамъ твоимъ всяческаго благополучія отъ Царя Небеснаго! раздалось отовсюду.

— Авдотья, давай перемѣну! крикнулъ снова Савелій, начинавшій покачиваться во всѣ стороны, несмотря на то, что сильно упирался на старосту.

— Кумушка, Матрена Алексѣевна, не побрезгай, возьми хоть орѣшковъ, хоть орѣшковъ возьми... говорила хозяйка, кланяясь и поднося чашку съ орѣхами мельничихѣ.—Возьми, не прогнѣвайся, возьми, ужотко дѣткамъ твоимъ зубки позабавить, себѣ на потѣху...

— Пули и картечи... летѣли... къ намъ навстрѣчу! пробормоталъ неожиданно Щеголевъ, поднимая голову.

— Ну, Господь съ тобой, касатикъ, отвѣчала хозяйка,— кушай во здравіе!..

— Авдотья, давай перемѣну! крикнулъ снова Савелій.— Эге... ге... братъ Щеголевъ, присовокупилъ онъ, размахивая руками предъ сотскимъ, который клевалъ носомъ корку пирога, — что жъ ты хотѣлъ-то всѣхъ лоскомъ положить?..

— Давай!.. прохрипѣлъ Щеголевъ, болтнувъ головою, какъ будто кто далъ ему подзатыльника. — Ничего не боюсь!.. пули... картечи... летѣли...

— Эй, Кондратій Захарычъ, о чемъ вы тутъ толмачите? заключилъ Савелій, махнувъ рукою и поворачиваясь къ понамарю, который разговаривалъ съ мельникомъ.

— А вотъ, Александръ Елисѣичъ разсказывалъ, какой случай вышелъ съ шушеловскимъ мужикомъ, Кириллой Власовымъ; небось ты его знаешь?

— Трафилось видѣть. А что за случай такой?

— Да не сегодня, такъ завтра помретъ, за попомъ посылали...

— Ой ли? да съ чего такъ?.. спросило нѣсколько голосовъ.

— Разскажи, Александръ Елисѣичъ, шепнулъ понамарь, любознательно вглядываясь однимъ глазомъ въ мельника, тогда какъ другой глазъ не менѣе любознательно вновь устремился на мельничиху.

— А вотъ что, началъ мельникъ, останавливаясь на каждомъ словѣ, чтобы перевести одышку,—недѣли три тому будетъ, пошелъ какъ-то Кирилла на Каменскую мельницу; дѣло было къ вечеру, гораздо ужъ смеркалось; взялъ, примѣрно, шапку, пошелъ. Пришелъ, примѣрно,

на мельницу, помолотился, взялъ мѣшокъ съ мукой и идетъ домой. Время стояло, какъ нынче, метель, примѣрно, такая буря, — зги не видать, продолжалъ Александръ Елисѣичъ, посматривая поочередно то на того, то на другого, тогда какъ присутствующіе, подстрекаемые любопытствомъ, двигались къ нему и вытягивали шеи;— вотъ сталъ онъ подходить къ лѣсу, миновалъ было половину, вдругъ слышитъ, кто-то кликнулъ его по имени. „Кирила Власовъ!“ зоветъ, примѣрно, какъ словно какой знакомый человѣкъ, либо сродственникъ... Онъ глядь— никого... Въ другой разъ, онъ опять остановился,—опять никого... „Кто тамъ?“—крикнулъ. Никто, примѣрно, не откликается... Чтой-то за диво!.. Вотъ онъ опять пошелъ; что ни шагъ ступитъ, зоветъ его кто-то по имени да и полно!.. Вотъ приходитъ онъ домой; сѣлъ, поѣлъ, легъ на печку — не спится... словно, говоритъ, мутить меня стало... Ну, нечего дѣлать, всталъ это онъ, сѣлъ на лавку и сталъ, примѣрно, сумлѣваться... Кто, говоритъ, звалъ меня въ лѣсу?.. Сталъ это онъ такъ-то сумлѣваться, вдругъ слышитъ—стучатъ въ окно... Кто? говоритъ, — кого надыть?.. „Пусти, Власычъ, пусти, примѣрно, переночевать!“ отозвалось за окномъ. Какъ услыхалъ, говоритъ, такъ индо по закожью меня и дернуло, вся кровь, говоритъ, запечаталась во мнѣ... слышу, говоритъ, тотъ же голосъ, что звалъ меня въ лѣсу...

— Подлинно диковинное дѣло и всякаго любопытствія достойно! произнесъ со вздохомъ понамарь, обращая на этотъ разъ оба глаза на сосѣдку. Но только что успѣлъ онъ это сдѣлать, какъ оба глаза его вмѣстѣ съ глазами мельника и всѣхъ присутствующихъ устремились въ одно мгновеніе на уличное окно.

Въ окнѣ послышался стукъ. Всѣ оглянулись и невольно попятились назадъ. Стукъ въ окнѣ повторился.

— Ну, чего вы?.. крикнулъ Савелій, обращаясь къ бабамъ, которыя съ визгомъ побросались въ сторону.—Кума! Матрена Алексѣевна! полно тебѣ! присовокупилъ онъ, вставъ съ мѣста и подталкивая мельничиху, которая повалилась всею тяжестью на сотскаго и притиснула долговязыя ноги понамаря, успѣвшаго уже прыгнуть на лавку.—Ну, чего вы! экъ! ишь ихъ! (Тутъ Савелій повернулся назадъ къ двери, гдѣ происходила какая-то каша, въ которой все двигалось, кричало и тискалось). Куда вы?—стойте, я погляжу пойду!..

Савелій сдѣлалъ шагъ къ окну, но стукъ раздался снова, сопровождаемый на этотъ разъ голосомъ, отъ котораго вздрогнули въ самыхъ дальнихъ углахъ избы.

— О-охъ! касатикъ, Савелій Трофимычъ, не ходи! съ нами крестная сила! проговорила хозяйка, вцѣпившись въ мужнину рубаху.

— Кто тамъ? крикнулъ, что есть мочи, Савелій.

— Про-хо-жій... отвѣчалъ дрожащій, прерывающійся голосъ.

— Чего надыть? гаркнулъ Савелій.

— Пусти... перено... чевать... озябъ... отвѣчалъ голосъ, заглушаемый ревомъ метели.

— Ступай, ступай! коли ты добрый человѣкъ, сердито отозвался Савелій, дѣлая шагъ къ окну. — Ступай, по добру, по здорову, много васъ шляется; проваливай, проваливай... здѣсь не мѣсто, ступай!.. Эй, Александръ Елисѣевъ, Данило! кума! гости дорогіе! что жъ вы, аль не слышите? чего всполохнулись! это, должно быть, какой-нибудь христарадникъ, а вы и взаправду подумали... садитесь, милости просимъ... ишь нашелъ время таскаться, да грызть окна...

— Да ты, касатикъ, посмотри въ окно! сказала хозяйка, робко выглядывая изъ толпы.

— Чего смотрѣть! говорятъ тебѣ толкомъ—нищенка!

— Охъ, нѣтъ, родной, нѣтъ, Савелій Трофимычъ, обойди-ка вокругъ двора, оно вѣрнѣе, обойди, касатикъ! раздалось въ толпѣ бабъ.

— Ну, пошли... съ вами не столкуешь!.. Эй, Александръ Елисѣичъ, сватъ Данило, Кондратій Захарычъ, полно вамъ; кума, Матрена Алексѣевна, просимъ покорно, просимъ не сумлѣваться, чего вы взаправду переполошились, садитесь! говорилъ Савелій, усаживая гостей, которые, не слыша болѣе шума за окномъ, начинали мало-по-малу ободрятьсяся.—Авдотья, давай перемѣну!..

Гости, ободренные окончательно тишиною, водворившеюся за окномъ, усѣлись попрежнему на свои мѣста; мельничиха освободила задыхающагося Щеголева, понамарь завертѣлъ снова лѣвымъ глазомъ вокругъ сосѣдки, на столѣ появились два новые штофа, снохи перемѣнили чашки на ковши съ сусломъ и брагою, и веселая вечеринка, прерванная на время, продолжалась на славу радушнымъ хозяевамъ.

VI.

Ахъ, ты сѣй, мати, мучину, пеки пироги,
Слава!
Какъ къ тебѣ будутъ гости нечаянные.
Слава!
Какъ нечаянные и незванные,
Слава!
Къ тебѣ будутъ гости, ко мнѣ женихи!..
Слава!

Народная пѣсня.

— Ребята!.. эй!.. гдѣ вы? крикнулъ Гришка Силаевъ, останавливаясь на другомъ концѣ улицы и оглядываясь во всѣ стороны.

Онъ приложилъ указательные пальцы обѣихъ рукъ къ губамъ, испустилъ дребезжащій, пронзительный свистъ и сталъ прислушиваться.

— Кто тутъ? робко отозвалось нѣсколько тоненькихъ голосковъ подлѣ сосѣднихъ воротъ.

Гришка повернулся къ воротамъ и свистнулъ во второй разъ.

— Гришка, ты? повторили тѣ же голоса, и вслѣдъ затѣмъ изъ-за саней выглянула сначала одна голова, потомъ другая и, наконецъ, показался парень и нѣсколько дѣвушекъ.

— Я, я... ступайте сюда, не бойтесь... кто это?—воскликнулъ Гришка, достигая ихъ однимъ прыжкомъ и принимаясь ощупывать круглое лицо парня.—Э-э! Петрушка Глазунъ! смотри ты, куда затесался,—съ дѣвками!..

— Я нарочно побѣжалъ съ ними... онѣ, вишь, задумали по домамъ разойтись...

— Ну, ладно, ладно, пойдемте!..

— Охъ, касатушки, страшно, охъ, дѣвушки, страшно! Гришка, куда ты насъ тащишь! а ну какъ опять встрѣнется... проговорили дѣвушки, прижимаясь другъ къ дружкѣ и боязливо выглядывая изъ-за полушубковъ.

— Ну, вотъ, полно вамъ ломаться, пойдемте; лихъ его, пущай встрѣнется; вы и взаправду думаете лѣшій какой, али вѣдьма...

— Вѣстимо, чего бояться, произнесъ въ сторонѣ мягкій голосъ, по которому всѣ присутствующіе узнали тотчасъ же Алексѣя каженника,—должно-быть, намъ такъ почу-

дилось, а не то вѣрно какой-нибудь побирушка, прибавилъ онъ, присоединялсь къ толпѣ.

— Ай да Алёха! молодца, право-слово—молодца! Дѣвки! скажите: съ чего онъ такъ расходился? отколѣ прыть взялась?.. Ну, идемте, что ли?..

И Гришка, сопровождаемый дѣвками, Петрушкой и Алексѣемъ, который еле-еле передвигалъ ноги, запрятанныя въ рукава вывороченнаго полушубка, сталъ пробираться подлѣ избъ.

— Эй, ребята, дѣвки! выходите, полно вамъ! кричалъ онъ, останавливаясь поминутно и оглядываясь на стороны.

— Кто тамъ!..

— Выходи, — чего спрашиваешь, — ступай, такъ увидишь!

— Да какъ же звать?..

— Зовутъ зовуткой, а величаютъ уткой!

Раздавался хохотъ, и толпа увеличивалась новымъ озорникомъ. Такимъ образомъ, разбѣжавшіеся парни и дѣвки примыкали одинъ за другимъ къ ряженымъ, и толпа не успѣла дойти до конца деревни, какъ уже почти всѣ оказались налицо.

— Чего оглядываетесь на стороны! небось, лѣшій-то давно лыжи навострилъ, — такъ испужали его наши дѣвки, — куда прытки голосить! — сказалъ Гришка, останавливая толпу,—ну, всѣ ли здѣсь?.. Бука, ступай сюда; ты, коза, пойдешь слѣдомъ за букой; каженникъ, становись здѣсь, я тебя поведу; а за нимъ баба-яга; баба-яга... ну поворачивайся, да смотри не плошай... прибавилъ онъ, повертывая за плечи долговязаго парня въ понявѣ, съ платкомъ на головѣ и сидящаго верхомъ на помелѣ.

— А куда намъ идти-то? спросилъ кто-то.

— Сказано, къ Савелію.

— Нѣтъ, ребята, — слушай, Гришка! пойдемте лучше въ другую избу,—туда не проберешься; я было-сунулся— куда-те: въ сѣняхъ народъ стоитъ...

— И то, пойдемте-ка лучше, коли ужъ идти, пойдемте къ старостѣ, какъ прежде хотѣли, вымолвилъ Алексѣй.

— Слышь, ребята, слышь, что говоритъ каженникъ; ай да Алёха! закричалъ Гришка, — что-то, братцы, я замѣтилъ, больно онъ расходился нынче; никогда такого не бывало!.. должно быть не спроста... Слышь, какъ его раззадориваетъ идти къ старостѣ; ужъ не Парашка ли тому виною... пойдемъ да пойдемъ!.. А ну, быть, какъ

сказалъ ка́женникъ, — качай!.. И Гришка, подпершись въ бока, выступилъ впередъ и запѣлъ, приплясывая:

Чижикъ, пыжикъ у воротъ,
Воробышекъ махонькій...
Эхъ, братцы, мало насъ,
Голубчики, немножко!..

— Тише, Гришка, что ты орешь!—услышитъ старостиха, не пуститъ насъ...

— Небось! метель гудитъ—не услышитъ! Смотри только, ребятушки, не обознаться бы намъ...

— Ну вотъ! тише, говорятъ! развѣ не видишь, — вотъ и изба...

— Ребята, стой! шепнулъ Гришка, снова останавливая толпу;—у старосты огонь, поглядите, кто у нихъ въ избѣ; не вернулся ли хозяинъ!..

— Нѣтъ, вижу! отвѣчалъ такъ же тихо Петрушка, взобравшійся на заваленку,—никого нѣтъ; сидятъ старуха да дочь...

— Ладно, подбирайся къ воротамъ; тихонько, смотри... такъ, ладно... Братцы, никакъ калитка-то заперта... стой! Кто изъ васъ цѣпкій,—полѣзай черезъ ворота, да сними запоръ.

— Давай я полѣзу, сказалъ Алексѣй, двигаясь къ воротамъ.

— Нѣтъ, ты и коза не трогайтесь съ мѣста; Петрушка, ступай сюда! шепнулъ Гришка, подставляя спину.

Петрушкѣ чехарда была въ привычку; онъ прыгнулъ на плечи товарища, уцѣпился руками за перекладину воротъ, и, минуту спустя, бухнулся въ сугробъ, по ту сторону воротъ. Шестъ, припиравшій калитку, былъ снятъ, и толпа, затаивъ дыханіе, начала пробираться по двору старосты къ крылечку.

— Тсссс... произнесъ Гришка, останавливаясь на крылечкѣ и подымая руку кверху,—дверь заперта изнутри!.. ничего, молчи, я дѣло справлю: смотри только, какъ свистну, всѣ за мной въ одну плетеницу, да не робѣй, дружно!

Сказавъ это, онъ ударилъ кулакомъ въ дверь. Минуту спустя, въ сѣняхъ послышались шаги.

— Кто тамъ? спросила хозяйка.

— Отворяй! отвѣчалъ Григорій, поддѣлываясь подъ голосъ старосты.

— Ты, Левонычъ?..

— Отворяй, говорятъ... аль не признала? продолжалъ Гришка, стараясь прикинуться пьянымъ.

Старуха проворчала что-то сквозь зубы и загремѣла запоромъ; вслѣдъ затѣмъ она выглянула на крылечко, но въ ту же секунду надъ самымъ ея ухомъ раздался пронзительный свистъ, и не успѣла она крикнуть, какъ уже толпа ринулась въ сѣни, сшибла ее съ ногъ и ударилась съ визгомъ и хохотомъ въ избу.

— Ай, батюшки, рѣжутъ! ай, касатики, рѣжутъ! завопила старуха, бросаясь какъ угорѣлая въ уголъ сѣнечекъ и забиваясь между корытами и досками...

Страхъ ея не былъ однакожъ продолжителенъ; заслышавъ пѣсни, пляски и хохотъ, раздавшіеся въ избѣ, она высвободилась изъ засады и кинулась къ растворенной настежь двери. Увидя толпу ряженыхъ и дочь, стоявшую посреди ихъ съ веселымъ, смѣющимся лицомъ, старостиха окинула глазами сѣни, — но не найдя, вѣроятно, ни кочерги, ни полѣна, метнулась въ избу и прямо повалилась на медвѣдя, который переминался съ ноги на ногу, стоя передъ Парашею.

— Ахъ, ты, разбойникъ! ахъ, ты, окаянный! взвизгнула она, принимаясь тормошить медвѣдя, который не двигался съ мѣста, не сводилъ глазъ съ дѣвушки и, казалось, не замѣчалъ, что происходило вокругъ.

— У... у... у! захрипѣлъ бука, вынырнулъ неожиданно изъ-за медвѣдя и, ставъ между нимъ и старостихою, простеръ къ ней руки, обернутыя соломой.

— Бя... бя... бя! затрещала коза, дергая ее сзади.

— Бу... у... у... ревѣлъ быкъ, пыряя ее рогами.

— Кудахъ! кудахъ, ирр... ирр... зашипѣлъ, откуда ни возьмись, журавль, то-есть долговязый, плечистый парень, у котораго рука была притянута къ головѣ и все это окутано было рогожей, — ирр... присовокупилъ журавль, тыкая ее въ бокъ веретеномъ, изображавшимъ клювъ.

— Пострѣлы! черти! собаки! вопила старостиха, отбиваясь руками и ногами.

— Полно, тетенька, не серчай, запищала скороговоркою баба-яга, заметая слѣдъ помеломъ и смѣло наступая на старуху, которая задыхалась отъ злобы;—слушай: загадаю тебѣ загадку: двое идутъ, двое несутъ, самъ-треть поетъ... Не любо?.. изволь другую; подъ лѣсомъ-лѣсомъ нестрыя колеса висятъ; дѣвицъ украшаютъ, молодцовъ дразнятъ... Не угадала?.. Серьги, тетенька, серьги.

— Поди прочь, лѣшій! крикнула старостиха, замахиваясь обѣими руками на бабу-ягу, но, оглушенная визгомъ и хохотомъ, въ ту же минуту обратилась къ толпѣ дѣвушекъ. — А вы, безстыжія! погоди, постой! о! Грушка Дороееева, я тебя признала,—ахъ ты, срамница! прибавила она, бросаясь на толстенькую дѣвушку, прятавшуюся за подругъ; но Груша нырнула въ толпу, толпа раздвинулась и старостиха прямехонько наткнулась на Гришку, козу и медвѣдя, которые вертѣлись вокругъ ея дочери.

— Ну-ко-сь, Михайло Иванычъ, заговорилъ Гришка, размахивая палкою такъ ловко, что старостиха никакъ не могла приступиться,—потѣшь, покажи господамъ честнымъ и хозяйкѣ дорогой, какъ малые ребята горохъ воровали... А ну, поворачивайся! крикнулъ онъ, дернувъ за веревку, привязанную къ поясу медвѣдя, который все-таки не двигался съ мѣста и не отрывалъ глазъ отъ Параши. — А ну, ну, полно, аль приворожила тебя красная дѣвушка... ну, коза, валяй, начинай!.. Михайло Иванычъ, что жъ ты взаправду уставился, не кобенься, кланяйся хозяюшкѣ молодой, да въ самыя ножки! присовокупилъ Гришка, опуская палку на плечо медвѣдя, который на этотъ разъ повалился охотно въ ноги Парашѣ.—Такъ: ну, коза, живо!..

Тутъ Гришка, продолжая размахивать палкой, пустился въ присядку вмѣстѣ съ козою, припѣвая скороговоркою:

Антопъ козу ведетъ,
Антонова коза нейдетъ;
А онъ ее подгоняетъ,
А она хвостикъ поднимаетъ...
Онъ ее вожжами,
Она его рогами...

Старостиха кричала, бранилась, но уже никто ея не слушалъ; все вокругъ нея заплясало, завертѣлось, и трудно опредѣлить, чѣмъ бы кончилась потѣха, если бы въ самомъ разгарѣ суматохи не раздалось внезапно изъ сѣней:

— Староста идетъ!...

Казалось, громъ, упавшій въ эту минуту на избу, не произвелъ бы такого дѣйствія на присутствующихъ. Раздался оглушительный визгъ; баба-яга бросила помело, Гришка палку, журавль веретено, и всѣ, перепрыгивая другъ черезъ дружку, какъ бараны, побросались въ дверь, преслѣдуемые старостихою, у которой, откуда ни возьмись, явилась въ рукахъ кочерга.

— А! разбойники! что' взяли! что взяли!.. — кричала она, нападая съ яростью на бѣглецовъ и не замѣчая впопыхахъ медвѣдя, который, запутавшись въ своихъ овчинахъ, стоялъ посреди избы и оглядывалъ со страхомъ углы и лавки.

— Что взяли! — продолжала старостиха, врываясь въ сѣни,—Левонычъ! Левонычъ! держи ихъ, не пущай, смотри держи разбойниковъ!..

Медвѣдь быстро оглянулся на дверь и сбросилъ овчину, покрывавшую голову.

— Параша, это я! не бойся... произнесъ онъ, обращаясь къ дѣвушкѣ, которая боязливо пятилась къ печкѣ,—спрячь меня! видитъ Богъ, для одной тебя пришелъ къ вамъ... Слышь, отецъ идетъ! — прибавилъ онъ, высвобождая одну ногу изъ рукава овчины.

Страхъ Параши прошелъ, повидимому, тотчасъ же, какъ только медвѣдь показалъ настоящую свою голову. Раздумывать долго нельзя было; голосъ старосты и жены его приближался и слышался уже на крылечкѣ. Надо было на что-нибудь рѣшиться... Дѣвушка взглянула еще разъ на парня и указала ему подъ лавку. Едва Алексѣй успѣлъ спрятать свои ноги, какъ староста и жена его вошли въ избу. Глаза Данилы блуждали неопредѣленно во всѣ стороны, и вообще на опухшемъ лицѣ его изображалась сильная тревога.

— Ну, чего ты уставился? что глаза-то выпучилъ?.. Тьфу! прости Господи! — произнесла старуха, бросая съ сердцемъ кочергу,—кричу ему: держи ихъ, не пущай!..

— Охъ... дай духъ перевести... мнѣ почудилось... перебилъ староста, протирая глаза.

— То-то, спьяна-то черти знать тебѣ показались!.. Толкомъ говорятъ—ребята были, чтобъ ихъ собаки поѣли! Пришли, давай, разбойники, все вверхъ дномъ вертѣть; содомъ такой подняли, проклятые...

— Погоди... стой! я съ ними справлюсь; ты скажи только, кто да кто былъ, — произнесъ не совсѣмъ твердо староста, у котораго хмель отшибалъ нѣсколько языкъ и память.

— Извѣстно, кому больше, какъ не Гришкѣ Силаеву; проклятый такой, чтобъ ему...

— Ладно, ладно... а вѣдь мнѣ почудилось... У Савелія, слышь ты, такую диковину разсказывали... иду я такъ-то домой, втемяшилось мнѣ это въ голову... а тутъ они, про-

клятые, понагрянули... не думалъ, не гадалъ... Да постой, я имъ задамъ завтра таску, особливо Гришкѣ... я давно запримѣтилъ.

Староста не докончилъ рѣчи; голова его откинулась назадъ, ротъ искривился, глаза выкатились какъ горошки и остановились на одной точкѣ. Увидя что-то мохнатое, выползавшее изъ-подъ лавки, старуха съ визгомъ вцѣпилась въ мужа. Одна Параша не тронулась съ мѣста; она опустила только зардѣвшееся лицо свое и принялась перебирать край передника.

Алексѣй вышелъ изъ своей прятки и всталъ на ноги. Данило повалился на лавку; старуха закрыла лицо руками и послѣдовала его примѣру.

— Данило Левонычъ, тетушка Анна, не пужайтесь! это я... произнесъ Алексѣй, дѣлая шагъ впередъ.

Заслыша знакомый голосъ, мужъ и жена подняли голову.

— Какъ!.. ахъ ты, окаянный! воскликнула старостиха, мгновенно приходя въ себя.—Левонычъ, хватай его!..

— Каженникъ!.. проговорилъ староста, протирая глаза и тяжело подымаясь съ мѣста.

— Хватай его, держи! голосила старуха, принимаясь толкать мужа.

— Полноте вамъ сомнѣваться... сказалъ не совсѣмъ твердымъ голосомъ Алексѣй,—я не воръ какой, не убѣгу отъ васъ, самъ дамся въ руки...

— Чего тебѣ надыть? заревѣлъ Данило, грозно подходя къ парню.

— А! такъ вотъ какъ! крикнула старостиха, кидаясь на дочь, такъ вотъ ты какими дѣлами... погоди, я съ тобой справлюсь!

— Тетушка Анна, не тронь ее... сказалъ Алексѣй, становясь между дочерью и матерью,—видитъ Богъ, она не причастна.... я во всемъ причиной, и винюсь передъ вами...

— А вотъ погоди, ты у меня скажешь, зачѣмъ затесался подъ лавку, вымолвилъ староста, хватая парня.

— Погоди, дядя Данило, постой, не замай,—я винюсь и безъ того...—пришелъ съ ребятами къ тебѣ; думали позабавиться, пѣсни поиграть... кричатъ: ты идешь... всѣ вонъ кинулись, я одинъ не поспѣлъ,—вотъ и вся вина моя... а она, дочь твоя, Данило Левонычъ, видитъ Богъ, ни въ чемъ не причастна!..

— Да ты, дурень ты этакой, что̀ его слушаешь! тащи

его въ сѣни... дай ему таску, чтобъ помнилъ впередъ... тащи его... ахъ ты охаверникъ, каженникъ проклятый!.. постой, я тебѣ дамъ знать... голосила старостиха, подталкивая Алексѣя въ спину, тогда какъ мужъ тащилъ его въ сѣни,—такъ, такъ, такъ, хорошенько ему, разбойнику!..

Увѣщеваніе и разговоры были напрасны; староста и жена его стащили бѣднаго Алексѣя на дворъ и вскорѣ послышался шумъ свалки.

— Ну, теперь я съ тобой поговорю, начала старостиха, торопливо вбѣгая въ избу,—ахъ ты, срамница ты этакая!.. Да гдѣ она?.. Парашка! крикнула она, оглядываясь во всѣ стороны. Увидя дочь, которая стояла на лавочкѣ и, просунувшись по поясъ въ окно, глядѣла на улицу, старуха пришла въ неописанную ярость.

— Что ты тутъ дѣлаешь? взвизгнула она, втаскивая ее въ избу и замахиваясь обѣими руками.

— Безъ тебя, матушка, постучали въ окно... я отворила... какой-то человѣкъ...

— Какой человѣкъ?..

— Должно-быть, нищенка...

— Какой тамъ еще лѣшій?.. произнесъ староста, входя въ это время въ избу.

— Нищенка, батюшка, отвѣчала Параша, — просится переночевать...

— А! это, должно-быть, тотъ самый, что стучался къ Савелью, да всѣхъ насъ переполошилъ, проговорилъ Данило, нетерпѣливо подходя къ окну, въ которомъ мелькнула блѣдная тѣнь человѣка.—Погоди же; я тебя выучу таскаться по ночамъ... Чего тебѣ надо? крикнулъ онъ, просовывая голову на улицу. — Отваливай, отваливай отселева, коли не хочешь, чтобы я проводилъ! Вишь, нашелъ постоялый дворъ, въ какую пору таскаться выдумалъ... Погоди, я еще узнаю завтра, что ты за человѣкъ такой!.. Ступай, ступай!.. Вишь, взаправду, повадились таскаться, промолвилъ староста, захлопывая окно, — прогнали съ одного двора чуть не взашей, нѣтъ—въ другой лѣзетъ... И добро бы время какое, а то метель, вьюга, стужа... Тутъ и собака, кажись, лежитъ—не шелохнется, а онъ слоняется, да окна грызетъ... О-охъ! заключилъ Данило, зѣвая и разваливаясь на печкѣ.

VII.

Мы ходили, мы искали
Коляду, коляду,
По всѣмъ дворамъ по проулочнамъ,
Нашли коляду
У Василисина двора.
Здравствуй хозяинъ со хозяюшкой,
На долги вѣка, на многи лѣта!

Народная пѣсня.

„Вотъ не было тоски и печали!“ подумалъ Алексѣй, выходя изъ старостиныхъ воротъ на улицу; „все какъ есть, все теперь пропало!“ продолжалъ онъ, равнодушно шагая по сугробамъ и не обращая вниманія на студеный вѣтеръ, который гналъ ему въ лицо цѣлое море снѣгу! „и зачѣмъ было итти къ нимъ въ избу?.. Какъ словно не зналъ я, не видалъ,—не вернуть этимъ пропавшаго дѣла. Коли прежде зарокомъ не велѣли ей молвить слова,—бѣгала она отъ меня, какъ отъ волка; теперь, стало, и подавно ждать нечего... Эхъ, загубилъ я въ конецъ свою голову!..“

Раздумывая такимъ образомъ, онъ не замѣтилъ какъ очутился подъ воротами своей избенки. Изъ слухового окна все еще мелькалъ огонекъ, и Алексѣй, не ожидавшій застать старуху-мать на ногахъ, поспѣшилъ въ избу. Но старушка предупредила ее; она давно сидѣла настороже, прислушиваясь къ малѣйшему шуму и шороху. Чуткій слухъ не обманулъ его. Заслышавъ знакомые шаги, она суетливо поправила платокъ на головѣ, взяла лучину и, прежде чѣмъ сынъ успѣлъ пройти дворъ, стояла ужъ въ сѣнечкахъ.

— Охъ, родной мой, куда это ты запропастился? произнесла она, выбѣгая на крылечко и заслоняя дрожащею ладонью лучинку. — Ужъ я ждала-ждала; время, думаю, не доброе, не прилучилось ли чего, помилуй Богъ...

— Нѣтъ, матушка, ничего, весело отвѣчалъ Алексѣй, взбираясь по ступенькамъ.

— То-то, родной... а я сижу такъ-то, да думаю...

И старушка, улучивъ минуту, когда парень прошелъ мимо, взяла лучину въ лѣвую руку, взглянула на сына и, отвернувшись нѣсколько въ сторону, сотворила крестное знаменіе. Послѣ этого она догнала его, и оба вошли въ избу.

Избенка была крошечная: стѣны ея, перекосившіяся во многихъ мѣстахъ и прокопченыя дымомъ, были такъ черны, что даже съ помощью лучины едва-едва можно было различить что-нибудь въ углахъ. Но, несмотря на то, вездѣ, куда только проникалъ глазъ, виднѣлись слѣды заботливости и строгаго порядка; все показывало, что старушка была добрая, радѣтельная хозяйка. Ничто не валялось зря, гдѣ ни попало, все было прибрано къ мѣсту, земляной полъ былъ чисто-начисто выметенъ; и хотя во всемъ виднѣлась страшная бѣдность, но все-таки лачужка Василисы глядѣла какъ-то уютнѣе, привѣтливѣе, теплѣе многихъ сосѣднихъ избъ. Наружность самой хозяйки соотвѣтствовала какъ нельзя лучше ея жилищу: это была крошечная, тщедушная старушонка, съ вдавленною грудью, прикрытою толстой, заплатанной, но чистой рубахой. Голова ея, повязанная ветхимъ платкомъ съ длинными концами назади, склонялась постоянно на бокъ,—ни дать, ни взять, какъ кровля ея избенки. Лицо Василисы было желто и покрыто, какъ паутина, морщинами, но столько еще веселости отражалось въ ея свѣтлыхъ глазахъ, столько добродушія проглядывало въ потускнѣвшихъ чертахъ ея лица, что нельзя было не полюбить ее сразу.

Заложивъ въ свѣтецъ лучинку, она тотчасъ же подошла къ сыну.

— Алеша, погляди-ка-сь на меня... ты словно, касатикъ, не веселъ?..

— Нѣтъ, матушка, право, ничего, отвѣчалъ парень, отходя къ печкѣ и принимаясь развѣшивать на шесткѣ вымокшую овчину.

— Полно, родной, я вижу... не тотъ ты былъ, какъ вышелъ изъ дому; ужъ не прилучилось ли чего? вымолмила старушка, преслѣдуя сына и устремляя на него пытливый взглядъ.

— Взаправду ничего, сказалъ Алексѣй, стараясь засмѣяться,—ходилъ съ ребятами по сосѣдямъ, вездѣ пиръ такой, веселье... съ чего, кажись, быть не веселу!..

— То-то, то-то, касатикъ, съ чего тебѣ кручиниться... а я такъ-то сижу, да думаю:. куда, молъ, думаю, запропастился...

— Я, признаться, матушка, не чаялъ, что ты станешь меня дожидаться...

— Ахъ ты, голова, голова!.. а то какъ же?.. Такъ-таки лечь мнѣ да махнуть рукой?.. Вспомни-ка, какой нынче

вечеръ!.. Развѣ ты запамятовалъ, что̀ было у насъ прошлаго года?.. Мутка-сь, ну, раскинь-ка умомъ, весело прибавила она, качая головою и не отрывая глазъ отъ парня.

— Не помню, матушка, отвѣчалъ Алексѣй, разглаживая волосы.

— Не помнишь?.. Ахъ ты, голова, голова, а я-то жду, да жду его...

— Что жъ такое, матушка?.. Видитъ Богъ, не запомню...

— Ну, молчи только, молчи; коли такъ, сказала она, лукаво подмигивая однимъ глазомъ.—Ставь скорѣе свѣтецъ къ столу, да засвѣти новую лучину.

Старушка поправила платокъ на головѣ, повернулась къ сыну спиною и торопливо подошла къ печкѣ.

— А! знаю, знаю!.. воскликнулъ Алексѣй, слѣдившій съ любопытствомъ за всѣми движеніями матери. — Знаю, ты, какъ въ прошломъ году, хочешь кашу вынимать! промолвилъ онъ, дѣлая шагъ къ старушкѣ, которая неожиданно показалась изъ-за печки съ полновѣснымъ горшкомъ въ рукахъ.

— Молчи, только молчи, вымолвила она, отклоняя сына локтями и заботливо ставя горшокъ на столъ. — Ну, теперь садись, да смотри, что-то пошлетъ намъ Господь... Ахъ, родной!.. погляди-ка, погляди, какъ полный!.. постой... нѣтъ, и не треснулъ нигдѣ, какъ есть нигдѣ! радостно говорила она, ощупывая горшокъ, между тѣмъ, какъ сынъ разсѣянно и какъ-то принужденно глядѣлъ на все происходившее. — А ну-ка-сь, ну, посмотримъ, что-то скажется...

Тутъ Василиса бережно сняла пѣнку.

— Вотъ не чаяла, не гадала! Ахти, касатикъ, родной ты мой! воскликнула она, всплеснувъ руками и взглянувъ на сына, который обнаружилъ тотчасъ же веселость. — Погляди-ка, красная какая! да разсыпчатая какая!.. Ахти, родные вы мои, да и полная-полная,—словно и не кипѣла... А ну, дай-то Господи, кабы сбылось!..

— Что жъ, по-твоему, матушка, чему же быть? спросилъ сынъ.

— А быть, родной ты мой, дѣлу хорошему... Ахъ, кабы Господь подсобилъ намъ! отвѣчала старушка, творя крестъ. — Слышь, коли такъ-то, прибавила она, указывая на горшокъ,—люди добрые, дѣды наши сказывали,—быть благополучію всему дому, будущій урожай и... и... и талантливую дочку!..

Алексѣй недовѣрчиво улыбнулся. Въ самую эту минуту кто-то постучался въ окно.

— Слышалъ, Алеша?.. спросила старушка, оглядываясь въ ту сторону.

— Никакъ стукнули въ окно, отвѣчалъ парень, приподымаясь съ лавки.

— Погоди, Алеша... Охъ, съ нами святая сила!.. сказала старушка, удерживая сына.

— Ничего, матушка, должно-быть, изъ сосѣдей кто; можетъ-статься, нужда какая; постой-ка, погляжу... Кто тамъ? крикнулъ онъ, прикладывая лицо свое къ окну и стараясь разглядѣть сквозь снѣговое узорочье стекла.

Съ минуту продолжалось молчаніе, прерываемое визгомъ метели, которая люто завывала вокругъ избушки.

— Кто тамъ? повторилъ Алексѣй.

— Прохожій... отвѣчалъ трепещущій, вздрагивающій голосъ,— пустите... во имя Христово... прибавилъ голосъ, дѣлавшій явныя усилія, чтобы внятно произносить слова.

— Слышь? сказалъ Алексѣй, поворачиваясь къ матери. — Вѣрно съ пути сбился за метелью; пущай его обогрѣется.

— Охъ, касатикъ, вымолвила старушка, нерѣшительно взглядывая на окно.

— А что жъ, вѣдь не убудетъ у насъ... къ тому же, не помирать ему взаправду на улицѣ.

— Вѣстимо, родной, не убудетъ... Ну, Господь съ тобою, какъ знаешь, такъ и дѣлай... покличь его.

— Дядя! а дядя, ступай на дворъ! крикнулъ Алексѣй, стукнувъ въ окно.—Погоди, матушка, я выйду на дворъ, провожу его, а то и не найдетъ, пожалуй...

Алексѣй набросилъ на плечи овчину и вышелъ на крылечко.

— Дядя! гдѣ ты? сюда ступай! крикнулъ онъ, поворачиваясь къ воротамъ.

Метель ревѣла попрежнему, снѣжныя хлопья, валившія со всѣхъ сторонъ, усиливали темноту и безъ того уже мрачной ночи; на дворѣ нельзя было различить собственной руки.

— Сюда, дѣдушка!.. ступай на голосъ! продолжалъ кричать парень.

Глухой стонъ отозвался гдѣ-то въ сторонѣ и минуту спустя неровные шаги зазвучали на шаткихъ ступеняхъ крылечка.

— Сюда, дѣдушка, сюда... сказалъ Алексѣй, входя въ сѣни и отворяя дверь избы, чтобы виднѣе было куда идти,—войди, отогрѣйся...

Прохожій вошелъ въ избу. Алексѣй взглянулъ на него при свѣтѣ лучины и невольно отступилъ къ матери, которая попятилась къ образамъ и перекрестилась. Передъ ними стоялъ, едва держась на ногахъ, сѣдой старикъ, лѣтъ семидесяти, блѣдный и растрепанный, похожій скорѣе на пришельца съ того свѣта, чѣмъ на живого человѣка. Страшная худоба изнеможеннаго лица его и блѣдные, совсѣмъ почти бѣлые зрачки, глядѣвшіе мутно и безжизненно, довершали это сходство. Онъ дрожалъ всѣми своими членами; зубы его щелкали; холщевая сума, висѣвшая за его спиною, и мерзлыя лохмотья рубища, прикрывавшія тощую его грудь, плечи и ноги, тряслись въ свою очередь, слѣдуя движеніямъ закутаннаго въ нихъ тѣла. Онъ медленно поднялъ окоченѣвшія свои руки, провелъ ими по головѣ, сдѣлавъ шагъ впередъ, хотѣлъ что-то сказать, но рѣчь его вышла нескладна. Онъ глубоко вздохнулъ, ощупалъ невѣрными руками стѣну и опустился въ изнеможеніи на лавочку.

— Что ты, дѣдушка, аль прозябъ добрѣ? посиди, отогрѣйся; изба у насъ теплая, сказалъ Алексѣй, въ которомъ страхъ смѣнился жалостливымъ участіемъ. Онъ подошелъ къ старику.

— Вѣстимо, касатикъ; да ты бы къ печкѣ-то сѣлъ... проговорила Василиса, слѣдуя за сыномъ.

Бѣлые зрачки старика устремились какъ-то неопредѣленно на хозяевъ лачужки; онъ снова хотѣлъ что-то сказать, и снова дрожащія губы не повиновались ему; онъ опустилъ голову и принялся ощупывать края лавки и рубище.

— Погоди, дѣдушка, я подсоблю, руки-то у тебя окоченѣли, ничего съ ними не сдѣлаешь... произнесъ Алексѣй, видя, что старикъ хотѣлъ освободиться отъ сумы, которая перетягивала ему грудь и плечи,—положи ее на лавочку... ладно: тебѣ бы лучше разуться, право-ну, скорѣй бы отогрѣлъ ноги.

— Вѣстимо, казатикъ, разуться, ишь застылъ какъ, перебила Василиса, качая головою,—разунься, да подь къ столу, я чай, съ пути-то поснѣдать хочешь...

И, не дожидаясь отвѣта, она придвинула къ столу лучину и начала хлопотать подлѣ горшковъ.

— Ну, дядя, вставай, повечеряй поди, сказалъ Алексѣй.

— Ась?..

— Повечеряй поди! крикнулъ парень, наклоняясь къ его уху,—съ дороги-то, я чай, проголодался.

— Нѣтъ... охъ... спасибо, касатикъ... спасибо, простоналъ старикъ, останавливаясь на каждомъ словѣ.

Онъ замоталъ какъ-то безсильно головою, ухватился руками за края лавки, закрылъ глаза и вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ.

— Что жъ ты, родной, аль недужится?.. спросила Василиса, подходя къ прохожему и стараясь вглядѣться ему въ лицо, — знамо, въ такую-то пору, безъ одежи... тебѣ, родной, попариться бы надыть, да время-то вишь позднее...

Старикъ приложилъ изрытую ладонь къ тощей груди своей и закашлялся; кашлю этому, казалось, конца не было.

— Спасибо... проговорилъ онъ, переводя одышку и подымая глаза на хозяйку, — спасибо вамъ... что пустили...

— И-и-и... касатикъ, Господь съ тобою! сиди, обогрѣйся... да ты бы, право, поснѣдалъ чего:—кашки, а не то и киселекъ есть у насъ...

— Нѣтъ... спасибо... охъ!.. вотъ кабы парень-то твой... пособилъ... силъ моихъ нѣтъ...

Онъ хотѣлъ еще что-то прибавить, но слова замерли въ его горлѣ; онъ ощупалъ вокругъ себя мѣсто, придвинулъ суму и медленно сталъ опускаться на лавку.

— Не нудь себя, дѣдушка, не нудь, вымолвилъ Алексѣй, подсобляя старику растянуться на лавкѣ и подкладывая ему подъ голову сумку. — Ну, дѣдушка, ладно, что ли?

— Ладно, ладно, спасибо... родной... охъ! проговорилъ старикъ, сжимая губы, чтобы удержать стоны и щелканье зубовъ.

— Ладно, такъ и Христосъ съ тобой; спи, авось ночью переможешься, объ утро легче станетъ... Я, чай, и намъ пора, матушка, промолвилъ парень, обратясь къ матери; но увидя, что она молилась передъ образами, онъ взобрался на печку и началъ раздѣваться.

Немного погодя, старушка затушила лучину и присоединилась къ сыну.

Въ избушкѣ стало тихо... Ревъ вѣтра, то глухой, какъ похоронное причитанье, то свирѣпый и пронзительный,

какъ дикая разгульная пѣсня, загудѣлъ снова на дворахъ и въ навѣсахъ. Иной разъ, весь этотъ грохотъ метели падалъ, какъ бы сломанный внезапно на пути своемъ вражескою силой,—воцарялось мертвое молчаніе... И вдругъ, откуда ни возьмись, летѣли новые вихри, росли, подымались хребтами, вторгались со всѣхъ сторонъ въ проулки, потрясали ворота, навѣсы и дико рвались вокругъ лачужекъ, какъ бы желая срыть ихъ съ основанія.

Но сколько ни надрывалась буря, сколько ни разсылала она вихрей,—все было напрасно; грозный ревъ не доходилъ, по крайней мѣрѣ, до слуха Василисы; утомленная дневными хлопотами и заботами, старушка не успѣла перекрестить изголовье, какъ уже голова ея склонилась и сладкій сонъ оковалъ ея усталые члены. Что жъ касается до Алексѣя, ему также ни почемъ былъ голосъ вьюги: думая о происшествіи въ домѣ старосты, которое разрушало въ конецъ его надежду, онъ лежалъ, не смыкая глазъ, и ничего не слышалъ... Глухой стонъ, раздавшійся на лавкѣ подъ образами, вывелъ его, однакожъ, изъ забывчивости: онъ вспомнилъ присутствіе прохожаго и насторожилъ слухъ.

Стонъ повторился еще протяжнѣе.

— Дѣдушка, что ты? спросилъ парень, приподымаясь на локтѣ.

— Подь сюда...

Голосъ, съ какимъ были произнесены эти слова, отозвался почему-то въ самомъ сердцѣ молодого парня; онъ проворно соскочилъ съ печки, нащупалъ впотьмахъ сѣренку, зажегъ лучину и подошелъ къ лавкѣ.

Старикъ лежалъ попрежнему врастяжку; члены его, однакожъ, перестали трястись и только бѣлые зрачки его блуждали съ безпокойствомъ вокругъ.

— Что съ тобой, дѣдушка? прихватило, что ли? вымолвилъ Алексѣй, нагибаясь къ блѣдному, заостренному лицу старика.

— Гдѣ старуха-то... я ее не вижу... она тебѣ мать? произнесъ больной.

— Мать; а что?.. спросилъ Алексѣй, котораго невольно начиналъ пронимать страхъ.

— Позови ее сюда... отвѣчалъ старикъ едва внятно.

Алексѣй заложилъ въ свѣтецъ лучину, разбудилъ мать и, минуту спустя, оба очутились подлѣ лавки.

— Тетушка, сказалъ старикъ, обращая тусклый взоръ

на Василису,—пришелъ, видно, мой часъ помирать... ты и парень твой... не отогнали меня... пустили какъ родного... Богъ васъ не оставитъ...

— И-и-и, касатикъ, что ты, опомнись... старѣе да хворѣе тебя живутъ... полно, Богъ милостивъ!..

— Нѣтъ, тетка, чую—смерть пришла... спасибо вамъ... охъ... не дали помереть на улицѣ... будьте же до конца родными мнѣ... никого у меня нѣтъ... все мое... добро...

Онъ отвелъ глаза отъ старухи и остановился.

— И-и-и, касатикъ, на что намъ добро твое, мы не изъ корысти какой пустили тебя; мы, касатикъ, и своимъ довольны, благодаримъ Царя Небеснаго!..

Больной снова устремилъ потухающій взоръ на старуху, хотѣлъ что-то сказать, но снова остановился. Прошло нѣсколько минутъ тягостнаго ожиданія для Василисы и ея сына, которые стояли, прикованные страхомъ, и не сводили глазъ со старика. Едва слышный стонъ вырвался, наконецъ, изъ груди его; онъ приподнялъ длинныя, сухія руки, вперилъ полуоткрытые глаза на старуху и произнесъ отрывисто:

— Пошли... сына въ село Аблезино... тамъ за рощей... подлѣ громоваго колодца... дупло... зарыта ку... кубышка,— двадцать лѣтъ копилъ!.. никому только... не сказывай... продолжалъ онъ ослабѣвающимъ голосомъ. — Вы меня... призрѣли... возьмите... за добро ваше... Господи! прости прегрѣшенія... охъ!..

— Касатикъ, дѣдушка! что ты, очнись! Христосъ съ тобой, кормилецъ! слышь, не сбѣгать ли парню за попомъ?.. крикнули въ одно время Василиса и сынъ ея.

Старикъ скрестилъ руки на груди, потянулся и закрылъ глаза.

Василиса и сынъ ея бросились къ лучинѣ.

Когда они вернулись къ лавкѣ и взглянули, при трепетномъ свѣтѣ угасающей лучины, въ лицо прохожему,— онъ былъ уже мертвъ.

VIII.

Катилося зерно по бархату,
Слава!
Еще ли то зерно бурмицкое,
Слава!
Прикатилось зерно по яхонту,
Слава!
Крупенъ жемчугъ съ яхонтомъ,
Слава!
Хорошъ молодякъ съ молодкою!
Слава!
Народная пьсня.

Зима прошла давнымъ-давно; о вьюгахъ и метеляхъ и помину не было въ нашей деревушкѣ. Мужички только-что поубрались съ хлѣбцемъ и откосились. Улица, заметенная когда-то сугробами снѣга, представляла теперь самое оживленное и веселое зрѣлище. Повсюду толпился народъ; въ околоткѣ деревень было не мало и, по принятому обыкновенію взаимнаго угощенія на храмовыхъ праздникахъ, всѣ окрестные обыватели сошлись и съѣхались къ сосѣдямъ.

Время выдалось къ тому самое пригодное: день былъ прекрасный; на небѣ ни облачка, въ воздухѣ стояла такая затишь, что осиновый листъ не шелыхался. Все располагало къ веселью. И нельзя, впрочемъ, было жаловаться, — веселились изрядно! Пѣсни, крики, шумъ, несвязный говоръ — раздавались со всѣхъ сторонъ, лучше чѣмъ на иномъ базарѣ. Красныя рубашки, шапки съ золотомъ, повитыя цвѣтами, желтые и алые платки, понявы, сіяли такимъ ослѣпительнымъ блескомъ, что даже и у трезвыхъ рябило въ глазахъ. Шумъ, носившійся надъ деревней, переходилъ постепенно изъ одного конца въ другой: то подымался онъ вокругъ рогожнаго навѣса купца съ краснымъ товаромъ, расположившагося подлѣ часовни у колодца, то вдругъ неожиданно сосредоточивался на серединѣ улицы, гдѣ водили хороводы... Звонкая, оглушительная, дребезжащая пѣсня охватывала на минуту всю деревню, и снова все это заглушалось ревомъ, визгомъ и хохотомъ, раздавшимся внезапно изъ толпы фабричныхъ, глазѣвшихъ, какъ боролись два дюжіе батрака съ ближайшихъ мельницъ.

Время подходило уже къ вечеру, когда знакомый нашъ Савелій Трофимычъ вышелъ на крылечко своей избы, сопровождаемый понамаремъ и сотскимъ.

— Ну, Кондратій Захарычъ, не взыщи за угощеніе, чѣмъ богаты, тѣмъ и рады, годъ выдался плохой, наказалъ насъ Господь... не взыщи,—укланялись, видитъ Богъ, укланялись, сказалъ Савелій, принимаясь обнимать понамаря.

— Много довольны... много... дай Богъ вѣкъ съ тобой хлѣбъ-соль водить!.. отвѣчалъ гость, утирая обшлагомъ рукава слѣды поцѣлуевъ радушнаго хозяина.

— Не взыщи и ты,— ничего не жалѣли для дорогого гостя, продолжалъ Савелій, обращаясь къ сотскому, который слѣдовалъ сзади и, зажмуривъ глаза, придерживался къ стѣнкѣ.

Но Щеголевъ, вмѣсто отвѣта, покачнулся въ сторону, приложилъ ладонь къ правой щекѣ, осклабилъ беззубыя свои десны и запѣлъ хриплымъ голосомъ:

Охъ плыла-а—утка!
Плы-ла ут-ка...
Вдоль по морю...

— Полно, Щеголевъ... полно же, замѣтилъ съ укоромъ понамарь, удерживая сотскаго, который, очутившись на дворѣ, чуть было не клюнулся на порожнюю телѣгу.

— Не замай его, Кондратій Захарычъ, нонѣ всѣ у насъ въ росхмель... слышь, какъ потѣшаются?.. Ты куда, Кондратій Захарычъ? спросилъ Савелій, останавливаясь подъ воротами.

— На новоселье...

— Ой-ли, къ кому?..

— Къ Алексѣю; какъ шелъ къ тебѣ, встрѣтился я съ нимъ,—звалъ подъ вечеръ.

— Пойдемъ вмѣстѣ; онъ и меня звалъ... а развѣ ты не былъ у него?

— Нѣтъ, не привелось.

— Стало, и избы его не видалъ... Ну ужъ, вотъ такъ изба, Кондратій Захарычъ!.. такой, кажись, во всемъ околоткѣ нѣту.

— Слыхалъ, слыхалъ; да гдѣ жъ видѣть? я съ самой зимы,—помнишь, у тебя угощались?—съ той поры не навѣдывался къ вамъ въ деревню.

— Двѣсти рублевъ за избу-то далъ...

— Сказывали мнѣ, отвѣчалъ понамарь, придерживая Щеголева, который совершенно неожиданно приткнулся къ нему спиною,— правда ли, Савелій Трофимычъ, говорятъ, нищенка-то отговорилъ ему тысячу рублей?

— Нѣтъ, тысячу не тысячу, а вѣрныхъ четыреста...

— Скажи на милость, какое дѣло! Сказывали, случилось-то въ ту самую пору, какъ мы у тебя пировали, — въ Васильевъ вечеръ,—помнишь, кто-то еще стукнулъ въ окно?

— Ну, вотъ поди жъ ты! Эка дурость напала тогда на насъ!.. Вѣдь стучалъ да просился тотъ же нищенка; а намъ спьяну-то показалось и не вѣсть что... Стучалъ это онъ по всѣмъ дворамъ, ходилъ, ходилъ да и набрелъ на Василисину избу,—тѣ его и пустили... Пришла ночь; полеглись,—вотъ и сталъ онъ отходить. „Такъ и такъ, говоритъ: вы, говоритъ, меня не отогнали, — вамъ и добро мое“... Повѣдалъ имъ, гдѣ и какъ найти... аблезинскій баринъ все какъ есть велѣлъ передать Алексѣю, и нашу деревню повѣстилъ,—все имъ досталось.

— Подлинно диковинное дѣло и всяческаго любопытствія достойно, перебилъ понамарь, пожимая плечами и подымая брови.—Скажи на милость, Савелій Трофимычъ, какъ же это староста-то нашъ подался?.. сказывали, былъ онъ въ ссорѣ съ ихъ домомъ,—знать этого, говоритъ, не хочу!..

— Да, мало ли что говоритъ онъ... корячился, пока у Алексѣя гроша не было, а какъ понюхалъ, какъ довѣдался, такъ и перечить не сталъ; каженникъ, да каженникъ, — только бывало и слышно... а тутъ обрадовались, пошли вертѣть хвостомъ... оглянуться не успѣли, какъ они свадьбу сыграли...

— Гдѣ свадьба?.. какая свадьба?.. пойдемъ!.. прохрипѣлъ неожиданно Щеголевъ, насовываясь на Савелія, — дядя Савелій... а дядя Сав... ты мнѣ тёзка... Много довольны, вотъ какъ передъ Богомъ... много довольны... продолжалъ онъ, протягивая руки, чтобъ обнять тёзку, но потерялъ равновѣсіе и рухнулся на понамаря.

— Экъ его охочъ до винца! произнесъ, смѣясь, Кондратій Захарычъ, прислоняя сотскаго къ воротамъ.

— Куды-те, замѣтилъ Савелій,—другой выпьетъ,—какъ платкомъ утретъ, а это словно огнемъ выжигаетъ; ну, да Господь съ нимъ! Мы, Кондратій Захарычъ, на улицѣ-то затеряемъ его въ народѣ; я его не звалъ, самъ назвался ко мнѣ,—съ нимъ только провозишься... Щеголевъ, пойдемъ съ нами! крикнулъ Савелій, взявъ сотскаго подъ руку.

Понамарь подхватилъ его подъ другую руку, всѣ трое выбрались за ворота и вскорѣ замѣшались въ толпѣ.

— А! Данило Левонычъ, ты ли это? воскликнулъ понамарь, отступая передъ высокимъ мужикомъ съ желтою бородою, желтымъ лицомъ и желтыми волосами.

— Здорово, Кондратій Захарычъ, отвѣчалъ староста, слегка приподымая шапку,—чему ты дивуешься? не призналъ?

— Да кто тебя признаетъ? вишь какъ перемѣнился, что съ тобой, хвораешь, что ли?

— Что станешь дѣлать! отвѣчалъ староста, махнувъ рукою,—такая-то бѣда стряслась на меня,—бьетъ лихоманка окаянная да и полно,—вотъ, почитай, четыре мѣсяца, али пять,—съ самыхъ святокъ... весь домъ съ ногъ сбила, всѣхъ даже ребятъ перебрало... а старуху мою такъ перевернула, что о сю пору ногъ не переведетъ!

— Поди жъ ты! съ чего бы быть такому?

— Тебѣ бы, Данило Левонычъ — я говорилъ тогда, — надыть поворожить на Васильевъ вечеръ,—не упустить этого дѣла... вотъ хозяйка моя позвала Домну, велѣла ей смыть лихоманку,—такъ ничего... помиловала.

— Была она и у насъ, Домна-то,—чтобъ ее черти ѣли! да ничего не пособило; знать ужъ такъ Господь Богъ наслалъ за грѣхи наши, отвѣчалъ староста, зѣвнувъ и перекрестивъ ротъ.

— Ну, прощай, Данило Левонычъ!

— Вы куда?..

— Къ твоему зятю,—звалъ на новоселье.

— Ступайте, отвѣчалъ староста, поворачиваясь къ нимъ спиною.

Немного погодя, Савелій и понамарь пробились сквозь толпу, вышли на другой конецъ улицы и завернули въ узенькій переулокъ, залитый свѣтомъ заходящаго солнца. Посереди переулка, между широкимъ сараемъ и плетнемъ, изъ-за котораго сквозь густыя вѣтви рябины выглядывала верхушка скирды,—подымалась высокая сосновая изба съ крытымъ крылечкомъ и бѣлою трубою. Окна, ворота, убитыя гвоздями съ жестяными головками, окраины крыши, вплоть до деревяннаго конька на макушкѣ, были обшиты, словно полотенце, вычурными, рѣзными поднизями, горѣвшими на солнцѣ какъ вылитыя изъ золота. Двѣ-три тучныя, темнозеленыя вѣтки рябины, усѣянныя красными гроздями дозрѣвшаго плода, высунулись нѣсколько впередъ и набрасывали косвенно густую, зубчатую тѣнь на лѣвый уголъ избы, заслоняя одно окно, но это служило

только къ выгодѣ другого окна, хвастливо выказывавшаго свой ставень съ ярко намалеванными цвѣтами и всѣ четыре стекла, въ которыхъ играли и дробились послѣднія вспышки потухающаго дня.

На ступеняхъ крылечка сидѣла Василиса въ синей поддевкѣ изъ домотканной крашенины, въ новомъ платкѣ, повязанномъ врозь-концы; подлѣ нея стоялъ Алексѣй въ темномъ кафтанѣ, небрежно висѣвшемъ на плечахъ, и въ красной александрійской рубахѣ. Но непокорные глаза понамаря окончательно разбѣжались, когда онъ взглянулъ на Парашу, которая стояла, подпершись круглыми локтями на перила и опустивъ немного голову. И въ самомъ дѣлѣ, — способствовала ли тому бѣлая коленкоровая рубашка, обшитая на плечахъ красными городочками и ловко обхватывающая полную грудь, или алый платокъ, повитый вокругъ смуглаго ея личика, — но только трудно было узнать въ ней прежнюю дѣвушку. Кондратій Захарычъ не успѣлъ навести оба глаза на Савелія и сообщить ему свои замѣчанія, — какъ уже съ крылечка замѣтили приближающихся гостей и спѣшили къ нимъ навстрѣчу.

— Кондратій Захарычъ, Савелій Трофимычъ, куда это вы запропастились?.. ужъ мы ждали васъ, поджидали!.. сказалъ Алексѣй, раскланиваясь передъ каждымъ гостемъ.

— А вотъ... Савелій Трофимычъ задержалъ; я бы къ вамъ давно понавѣдался... отвѣчалъ понамарь, приподымая шляпу и дѣлая тщетныя усилія, чтобы оторвать лѣвый глазъ съ запонки на груди Параши.

— Ну, кумъ, свалилъ на меня вину... произнесъ, самодовольно смѣясь, Савелій,—такъ и быть, беру грѣхъ на свою душу!.. авось не посерчаютъ.

— Что жъ вы стоите, гости дорогіе?.. сказала Василиса, низко кланяясь, — войдите, милости просимъ, касатики...

— И-то, и-то... вымолвилъ Савелій, разглаживая бороду,—вѣдь мы къ вамъ на новоселье пришли...

— Милости просимъ, милости просимъ, рады вамъ!.. заключили Алексѣй и Параша, сторонясь, чтобы дать имъ дорогу.

Кондратій Захарычъ сдѣлалъ неимовѣрное усиліе—оторвалъ оба глаза отъ запонки, устремилъ ихъ на крылечко и, сопровождаемый Савеліемъ и хозяевами, вошелъ въ избу.

СТОЛИЧНЫЕ РОДСТВЕННИКИ.

I.

Три письма вмѣсто пролога.

Отъ Аркадія Ивановича Пигунова Николаю Степановичу Фуфлыгину.

1-го апрѣля. С.-Петербургъ.

„Неоцѣненный братъ Николай!

„Итакъ, все пропало, все лопнуло, все пошло съ молотка. Это ужасно! До сихъ поръ не могу опомниться. Какъ, еще годъ назадъ, было у тебя небольшое имѣнье—и вдругъ... Повторяю: я не могу очнуться!..

„Когда я показалъ моей Нидочкѣ (ты знаешь, я привыкъ называть этимъ именемъ мою ангельскую жену),—когда я показалъ ей письмо твое, она упала ко мнѣ на грудь и такъ громко зарыдала, что Вася, Полиникъ, Соня и Аполлонъ (послѣдняго ты еще не знаешь; онъ родился всего три мѣсяца),—всѣ вдругъ проснулись и жалобно заплакали, протягивая къ намъ свои ручонки; бѣдныя малютки, казалось, понимали наше горе и раздѣляли его. Въ эту минуту,—до того времени, ты понимаешь, я призывалъ на помощь свои силы и крѣпился, боясь напугать жену,—но въ эту минуту сердце мое переполнилось черезъ край, и я самъ залился слезами...

„Ты видишь изъ этого, неоцѣненный братъ, что горе твое не такъ велико: есть еще сердца, которыя горячо тебѣ сочувствуютъ, есть души, которыя отзываются на твои страданія! Словомъ, ты понятъ! А быть понятымъ

въ такія минуты — великое утѣшеніе. И наконецъ, кто, если не я, можетъ тебѣ сочувствовать? Вспомни: отцы наши, конечно, не были друзьями; но все равно: не дѣти ли мы одной и той же матери? Хотя въ разное время, не одна ли мать носила насъ девять мѣсяцевъ подъ своимъ сердцемъ? Впечатлѣнія дѣтства, игры дѣтскихъ лѣтъ (помнишь, какъ ты отдалъ мнѣ взаймы твой послѣдній гривенникъ?) — все это... (помнишь, какъ мы, однажды утромъ, бѣжали по тропинкѣ, которая изгибалась по оврагу?..) все это связало насъ неразрывно, и несмотря на десятилѣтнюю разлуку, ты для меня все тотъ же братъ по крови и чувствамъ. И мнѣ ли не понять тебя, дорогой Николай? Мнѣ ли, котораго постигло такое же точно несчастіе? Деревня моя точно такъ же пошла съ молотка! Повторяю: мнѣ ли не понять тебя? Я выдержалъ, однакожъ, жестокіе удары судьбы, меня поразившіе. Провидѣніе меня не оставило: оно послало мнѣ въ утѣшеніе милыхъ малютокъ и жену (ангельское, небесное существо!), которая поддерживаетъ меня на трудномъ жизненномъ поприщѣ! Мужайся же, Николай, будь твердъ, не унывай, не падай духомъ! У тебя также двое малютокъ и милая, нѣжная подруга! Кромѣ этого, самыя твои обстоятельства далеко не такъ печальны, какъ ты думаешь. Когда пошла съ молотка моя деревушка, я и семья моя очутились безъ копейки посреди Петербурга, и одинъ Богъ только вѣдаетъ... Ну, да что объ этомъ!.. У тебя, пишешь ты, остались еще послѣ продажи три тысячи серебромъ! Съ такою суммою человѣкъ далекъ отъ погибели. Поздравляю тебя отъ души (Нидочка присоединяетъ также свои поздравленія) за твое намѣреніе! Само небо, можно сказать, внушило тебѣ мысль ѣхать въ Петербургъ, чтобы искать мѣсто. Съ твоими тремя тысячами можно многое сдѣлать! Что жъ касается до предложенія дѣдушки Изосима Петровича, прошу тебя, ради Самого Бога, вникни въ одно только: если онъ точно желалъ протянуть тебѣ руки помощи, то почему жъ не сдѣлать этого въ критическую минуту? Ему стоило заплатить долги твои и выкупить твое имѣніе. Но онъ далъ тебѣ разориться, и теперь, когда все уже кончено, предлагаетъ мѣсто управителя на своемъ заводѣ; это, просто, низко; ты пишешь еще, что онъ накладываетъ на тебя какіе-то два года испытанія, какъ бы для того, чтобы убѣдиться, способенъ ли ты управлять его винокуреннымъ заводомъ!.. У меня вся

кровь волнуется при этомъ! Послушай, братъ, я не гордецъ; никогда не былъ гордецомъ, всегда даже гнушался этимъ порокомъ, отличающимъ низкія, мелкія души; но признаюсь, больно было бы думать, что братъ мой по матери управляетъ винокуреннымъ заводомъ! Подумай, бывалъ ли кто изъ Фуфлыгиныхъ въ такой должности? Нѣтъ, ты не примешь предложенія дѣдушки Изосима Петровича, не измѣнишь своей благородной цѣли и пріѣдешь въ Петербургъ искать мѣсто. Подумай также: дѣдушка Изосимъ Петровичъ эгоистъ, сухой, холодный эгоистъ. Онъ предлагаетъ вамъ кровъ и кусокъ хлѣба; но, подумай, что̀ значатъ эти грубыя матеріальныя условія въ такую минуту, когда душа твоя истерзана печалью, и слѣдовательно, всего дороже теперь—объятія друга и нѣжное, горячо сочувствующее сердце? Самъ же ты пишешь: „Всѣ отъ меня отвернулись, всѣ меня оставили!..“, а между тѣмъ ты, у котораго было прекрасное родовое имѣніе,—въ кого ты его прожилъ?.. Твой домъ былъ открытъ для всѣхъ сосѣдей, ты поилъ и кормилъ весь уѣздъ, ты задавалъ прелестные праздники и веселилъ все окружавшее тебя общество!.. и вотъ тебѣ благодарность: „всѣ отвернулись!“ Итакъ, бросай все это и спѣши осуществить свое благородное намѣреніе! Здѣсь только, въ Петербургѣ, въ нашей семьѣ, найдете вы оба съ вашими малютками то родственное чувство, въ которомъ вы такъ теперь нуждаетесь. (Въ ту минуту, какъ я пишу эти строки, моя Нидочка восторженно бьетъ въ ладоши, а Вася и Полиникъ играютъ и спрашиваютъ: „скоро ли пріѣдутъ дядя Николя и тетя Соня?“) О положеніи своемъ ты не сокрушайся: гдѣ жъ и мѣста, если не въ Петербургѣ? Мнѣ знакома половина города; и наконецъ, при случаѣ, позволь тебѣ замѣтить: жена моя—урожденная баронесса Ластъ; слышишь, баронесса! здѣсь связи много значатъ, какъ и вездѣ впрочемъ. Только главное, Бога ради, дорогой Николай, позволь дать тебѣ дружескій, братскій совѣтъ: Бога ради береги свои три тысячи! Старайся какъ можно меньше тратить до твоего пріѣзда; хорошо было бы, если бъ ты привезъ сюда *непочатыми* эти три тысячи. Мы тогда вѣрнѣе достигли бы своей цѣли. Что жъ дѣлать: грустно, больно съ этимъ сознаться, но въ Петербургѣ деньги играютъ важную роль! Итакъ, говорю: до радостнаго свиданія! Не дождусь, кажется, минуты, когда обниму тебя (шутка, вѣдь мы десять лѣтъ почти не видались!). Про-

щай, братъ, будь здоровъ, смотри же, помни: *береги деньги!* Всѣ мои обнимаютъ *тысячу разъ* тебя, твоихъ милыхъ малютокъ и жену, съ которой я и моя Нидочка страстно желаемъ познакомиться.

Нѣжно любящій тебя братъ
Аркадій Пигуновъ".

„P. S. Нидочка сама бы тебѣ написала, но она снова въ интересномъ положеніи и чувствуетъ себя сегодня особенно какъ-то не хорошо (скажу мимоходомъ, это повергаетъ меня въ большое безпокойство; докторъ говоритъ, что нѣтъ ни малѣйшей опасности,—но ужъ я таковъ!).— Напиши два слова о днѣ твоего выѣзда по желѣзной дорогѣ, мы пріѣдемъ встрѣчать тебя.—Скоро ли! скоро ли!.."

Отъ Кокò Свищова Николаю Степановичу Фуфлыгину.

„Безцѣнный дядя!

„Прежде всего бросьте вашего Изосима Петровича и его винокуренный заводъ,—это главное; потомъ, дайте хорошаго киселя вашимъ сосѣдямъ, которые васъ объѣдали, а теперь отворачиваются; жаль, что не могу къ вамъ пріѣхать: я бы за васъ съ ними раздѣлался! Пріѣзжайте же, смотрите, скорѣе въ Петербургъ; лучше этого вы ничего не могли придумать. Вамъ нечего очень жалѣть о вашей деревнѣ, чортъ съ ней! тамъ скука; вы, значитъ, все-таки пожили, пожуировали жизнію... Ну, и прекрасно. Жаль только, что раньше не вздумали пріѣхать въ Петербургъ; вѣдь сколько разъ писалъ я вамъ объ этомъ! Здѣсь, по крайней мѣрѣ, прожились бы вы во сто тысячъ разъ пріятнѣе. Денегъ у васъ осталось мало, но ничего; можно еще пожить очень хорошо. Надо вамъ сказать, въ Петербургѣ денегъ рѣшительно ни у кого нѣтъ; вы сами убѣдитесь въ этомъ, когда пріѣдете; вы, слѣдовательно, съ вашими тремя тысячами, будете еще богачомъ передъ другими. Меня очень радуетъ, что вы и милая тетушка, Софья Петровна, никогда не были въ нашей столицѣ, вы увидите, что̀ это за городъ; я васъ всюду повезу и все вамъ покажу. Объ мѣстѣ, которое вы намѣрены искать, нечего говорить; это послѣднее дѣло; мѣсто тотчасъ же найдется. Я думаю, я записывался и числился въ десяти мѣстахъ; скучно въ одномъ, переходишь въ другое и т. д. Здѣсь, я вамъ говорю, денегъ только нѣтъ, а мѣстъ сколько угодно. Итакъ, пріѣзжайте

же скорѣе; полно вамъ прозябать въ вашей уѣздной плѣсени. Напишите мнѣ скорѣе о днѣ вашего выѣзда; я занялъ бы вамъ номеръ въ гостиницѣ; пріѣхали бы прямо съ желѣзной дороги какъ къ себѣ домой.

„Цѣлую ручки тетушкѣ Софьѣ Петровнѣ, съ которой нетерпѣливо хочу познакомиться,—а васъ обнимаю.

Преданный вамъ племянникъ
Кокѳ Свищовъ.“

Отъ Петра Петровича Мирзоева Николаю Степановичу Фуфлыгину.

„Любезнѣйшій Николай Степановичъ!

„Считаю излишнимъ распространяться о чувствахъ, которыя овладѣли мною при полученіи письма вашего. Жена моя—двоюродная сестра вашей; родственная эта связь должна говорить вамъ, что я не могъ оставаться равнодушнымъ къ вашему горю. Позвольте поблагодарить васъ, Николай Степанычъ, за то, что вы не пренебрегли этими родственными отношеніями и, не зная меня лично, обратились ко мнѣ, какъ къ близкому человѣку. Вы правы: въ нашъ эгоистическій вѣкъ, когда каждый думаетъ только о себѣ самомъ и личныхъ своихъ выгодахъ, трудно найти безкорыстное расположеніе. Обвиняя въ эгоизмѣ особенно Петербургъ, вы опять, можетъ-быть, правы... Тѣмъ не менѣе, прошу васъ пріѣхать какъ можно скорѣе въ нашу сѣверную красавицу. Основываясь на обстоятельствахъ, изложенныхъ въ письмѣ вашемъ, я приступилъ уже къ первымъ дѣйствіямъ; спѣшу извѣстить васъ, что все идетъ какъ нельзя успѣшнѣе: *почти навѣрное* имѣется въ виду отличное мѣсто; для полнаго успѣха надо только ѣхать сюда *какъ можно скорѣе*. Нѣтъ въ цѣломъ свѣтѣ города, гдѣ бы такъ трудно было найти мѣсто, какъ въ Петербургѣ; разсудите сами: это центръ, такъ сказать, куда стекаются со всѣхъ концовъ Россіи люди, для пріисканія себѣ мѣстъ на служебномъ поприщѣ. Мѣшкать слѣдовательно нельзя; повторяю: чѣмъ скорѣе пріѣдете, тѣмъ дѣло ваше вѣрнѣе. Что жъ касается до трехъ тысячъ, о которыхъ вы пишете, это конечно немного; но, дѣйствуя со знаніемъ и осторожностью, я полагаю, денегъ этихъ будетъ достаточно для достиженія цѣли, которую вы предположили. Главное, надобно поймать мѣсто и утвердиться

на немъ,—а для этого, повторяю еще разъ, необходимо ѣхать сюда какъ можно скорѣе, ибо мѣсто имѣется уже въ виду, а на него (я знаю) есть много охотниковъ.

„Принося вамъ вторично сердечную благодарность за откровенное обращеніе ко мнѣ, прошу передать мой усердный поклонъ вашей супругѣ.

Съ истиннымъ почтеніемъ и т. д.
Петръ Мирзоевъ".

„С.-Петербургъ, 4-го апрѣля.

„Chère cousine!

„Избави тебя Богъ сдѣлаться управительшей, да еще винокуреннаго завода! Fi, quelle horreur! Cela ne s'est jamais vu!.. Я, къ сожалѣнію, незнакома еще съ твоимъ мужемъ, но все равно, пожури его хорошенько отъ моего имени за то, что подобная мысль могла ему придти въ голову. Суди, Sophie: каждая уѣздная дрянь, которая прежде дѣлала передъ тобою книксены, стала бы подымать носъ и важничать! Уже одно то, что вы лишились состоянія, ставитъ васъ передъ всею этою мелюзгою въ какое-то невыносимо-фальшивое положеніе. Но, къ счастію, все кончено, и вы ѣдете въ Петербургъ. Давно бы пора! Съ того времени, какъ мы разстались (вспоминаешь ли ты иногда Москву и пансіонъ Levenard?..), я два раза тебѣ писала и всякій разъ приглашала въ нашу очаровательную столицу. Je cherchais à vous émanciper! Неужели ваша vie de province такъ привлекательна?—Не вѣрю! Съ нетерпѣніемъ жду, что̀ скажешь ты о Петербургѣ. Одно, ma chère: нужно много денегъ. Tachez de faire des économies, чтобы привезти сюда какъ можно больше. Подумай: il faut vous équiper! Прошу тебя, Sophie, не покупай ничего проѣздомъ въ Москвѣ; tout y est d'un goût horrible. Положись вполнѣ на меня, мнѣ знакомы всѣ модистки, мы всюду будемъ вмѣстѣ ѣздить, и ручаюсь тебѣ, что никто не купитъ такъ хорошо и дешево. Надѣюсь, слово „дешево" (которое такъ любятъ мужья, когда дѣло касается нашего туалета) расположитъ ко мнѣ твоего Nicolas; его, вѣроятно, заранѣе пугаютъ наши затѣи... Que veux tu, chère, tous les maris sont на одинъ покрой, то-есть страшнѣйшіе эгоисты. Не хочу, впрочемъ, заранѣе ссориться съ твоимъ мужемъ; что-то говоритъ мнѣ, что мы будемъ друзьями. Пріѣзжайте только

скорѣе. Le printemps est superbe! Прощай (sans adieu),— жму руку твоему Nicolas (котораго ты, какъ я вижу, *обожаешь*)—а тебя цѣлую.

Твоя Alexandrine de Mirzoeff."

II.

На желѣзной дорогѣ.

Дней десять спустя послѣ полученія этихъ писемъ (получены они были въ гостиницѣ уѣзднаго города, куда Фуфлыгины вынуждены были перебраться вскорѣ послѣ продажи съ молотка ихъ имѣнія), — въ Москвѣ, утромъ, на станціи желѣзной дороги, явились Николай Степанычъ и его семейство. Семейство, впрочемъ, не велико: оно состояло изъ жены (хорошенькой, довольно щегольски, слишкомъ даже щегольски одѣтой дамы) и двухъ дѣтей — мальчика и дѣвочки, которыхъ, по обычаю всѣхъ нѣжныхъ родителей, звали уменьшительными именами, именно: Лёша и Поша.

Не было еще десяти часовъ, когда Фуфлыгины показались въ дверяхъ большой залы, гдѣ отправляютъ багажъ, осматриваютъ виды и выдаютъ билеты. Пассажировъ было пока мало; тутъ находились большею частью лакеи, пріѣхавшіе съ господскими вещами, и нѣсколько пожилыхъ, плотно закутанныхъ дамъ, которыя ѣхали въ первый разъ, трое сутокъ волновались при мысли объ отъѣздѣ и забрались сюда съ восьми часовъ, изъ опасенія, чтобы безъ нихъ не ушла какъ-нибудь машина. Но и этихъ лицъ было достаточно для приведенія Николая Степаныча въ смущеніе: онъ рѣшительно подламывался подъ тяжестью мѣшковъ, узловъ и свертковъ; тяжесть, въ настоящемъ случаѣ, играла, разумѣется, послѣднюю роль; вопросъ былъ чисто моральный: для человѣка, который жилъ въ собственномъ домѣ, котораго окружали собственные люди, которому трудно было поднять платокъ или взять сигару безъ помощи слуги,—такому человѣку, согласитесь сами, крайне было неловко показаться въ публичномъ мѣстѣ съ узлами въ обѣихъ рукахъ; если вы прибавите къ этому, что такой человѣкъ долженъ былъ немилосердно пыхтѣть и сильно откидываться назадъ, чтобы не разронять свертковъ, которые поддерживалъ онъ локтями на груди своей, вы поймете, что положеніе было дѣйствительно затруднительное.

Справедливость требуетъ замѣтить, что самъ Николай Степанычъ далеко не такъ смущался, какъ жена его; у нея не было узловъ, — это правда; она даже совершенно свободно выступала между дѣтьми въ своей бархатной мантильѣ и розовой шляпкѣ; но смущеніе ея весьма основательно проистекало отъ сосѣдства съ мужемъ, который пыхтѣлъ и едва передвигалъ ноги подъ бременемъ тяжелой ноши. По этому самому, первымъ движеніемъ ея, какъ только она вошла въ залу, было подать скорѣе руку дѣтямъ и поспѣшно отойти въ сторону. Софью Петровну дѣйствительно можно было бы принять тогда за свѣтскую даму, явившуюся сюда съ дѣтьми, такъ, просто, для прогулки или для проводовъ какой-нибудь свѣтской пріятельницы, если бъ не произошло слѣдующаго: Николай Степанычъ, не видя вдругъ жены и дѣтей, пугливо оглянулся и зацѣпилъ подбородкомъ одинъ изъ свертковъ, лежавшихъ на груди его; свертокъ распахнулся — и изъ него посыпались пирожки и бутерброды.

— Папа, папа, пирожки падаютъ! крикнулъ Лёша.

— Tais toi! шепнула Софья Петровна, дергая Лёшу за руку и отводя поспѣшно глаза въ другую сторону.

— Ай, ай, и бутерброды посыпались! Мама, бутерброды! закричала еще громче Поша.

— Tais toi!..

— Душенька... душенька! простоналъ въ то же время Николай Степанычъ, придерживая правымъ плечомъ падавшую провизію.

Софья Петровна принуждена была подойти къ мужу.

— Ты, душенька, всегда напичкаешь мнѣ всякой дряни, досадливо проговорилъ Николай Степанычъ, между тѣмъ какъ жена торопливо закрывала свертокъ и прятала его подъ мантилью. — Куда намъ дѣваться со всѣми этими узлами... я рѣшительно не знаю!.. Хоть бы ты взяла, право, эту картонку... фу!.. Сюда, любезные, сюда! съ оживленіемъ подхватилъ онъ, увидя двухъ солдатъ, вносившихъ его чемоданы, — сюда, ступайте за мною... Ты, душенька, сядь поди съ дѣтьми вонъ на ту лавку... я сейчасъ приду, только вещи отправлю...

Николай Степанычъ подхватилъ мѣшки свои и повлекъ ихъ за солдатами, которые направились къ среднему окну залы; передъ этимъ окномъ толкалось, какъ всегда водится, много народу и громоздились въ безпорядкѣ тюки, чемоданы и ящики.

— Позвольте... пропустите, пропустите... суетливо проговорилъ Николай Степанычъ, протискиваясь впередъ.

— Здѣсь, батюшка, прежде васъ стоятъ... не сейчасъ ѣдемъ, подождать можно, хладнокровно возразилъ бородастый купецъ, не трогаясь съ мѣста.

— Но у меня жена и дѣти дожидаются; мнѣ нужно!.. настойчиво произнесъ Фуфлыгинъ, порываясь впередъ.

— И всякому такъ-то нужно!.. перебилъ купецъ, безцеремонно заграждая дорогу.

— Любезнѣйшій, крикнулъ тогда Николай Степанычъ, ласково мигая солдату, который принималъ въ окнѣ вещи,— нельзя ли поскорѣе?

— Извольте обождать, нельзя! Здѣсь кто раньше пріѣхалъ, тотъ и правъ! отозвался солдатъ.

Лицо Николая Степаныча отличалось добродушіемъ, — это несомнѣнно; но никакъ нельзя сказать, чтобы въ эту минуту на немъ изобразилось желаніе добра своимъ ближнимъ. Онъ опустилъ мѣшки и оглянулся на стороны. Но никто его не замѣтилъ. Кто возился со своими вещами; кто болталъ съ родственниками, пріѣхавшими провожать; кто цѣловался и плакалъ, кто смѣялся; въ одномъ углу щелкала печать, выбивавшая штемпель; въ другомъ звякали деньги, отдаваемыя за билеты; вездѣ ходили, говорили и двигались, и каждый думалъ о себѣ только.

Наконецъ, настала очередь чемоданамъ Николая Степаныча. Когда они исчезли въ окнѣ, владѣтель ихъ перешелъ налѣво, къ желтой рѣшеткѣ, за которой возсѣдалъ чиновникъ.

Лицо Николая Степаныча приняло уже, на этотъ разъ, самое нѣжное, пріятное выраженіе.

— Это мои вещи, сказалъ онъ, привѣтливо наклоняясь къ чиновнику и ласково прищуриваясь, — вещи помѣщика Фуфлыгина, добавилъ онъ, любезно приподымая брови.

— Это все равно-съ, сухо возразилъ чиновникъ.

— Но, однакожъ...

— Одиннадцать рублей тридцать двѣ копейки! сухо перебилъ чиновникъ и, не подымая глазъ, подалъ три билетика.

Николай Степанычъ, котораго такое невниманіе невольно бросило въ краску, торопливо запустилъ руку въ карманъ и выложилъ требуемыя деньги.

— Нельзя однакожъ сказать, чтобы здѣсь были внима-

тельны къ лицамъ... замѣтилъ онъ, устремляя къ рѣшеткѣ взглядъ, полный достоинства, и покручивая головою.

— Два рубля восемьдесятъ копеекъ, проговорилъ чиновникъ, не обративъ вниманія на замѣчаніе пассажира и поворачиваясь къ другому лицу, заступившему мѣсто Фуфлыгина.

Николай Степанычъ заблагоразсудилъ отойти прочь и принялся приводить въ порядокъ ассигнаціи, находившіяся въ бумажникѣ.

Фуфлыгинъ представлялъ изъ себя человѣка средняго роста, средняго возраста, съ бѣлокурыми завитками на вискахъ и глянцовой лысинкой между этими завитками,— лысинкой, которая образовалась у него почти съ дѣтства, — обстоятельство, заставлявшее всегда говорить его покойную матушку, что онъ непремѣнно будетъ дипломатомъ. Не знаю, насколько вѣрны предположенія старушки и какъ далеко простирались дипломатическія способности ея сына; знаю только, что это было добродушнѣйшее и самое довѣрчивое созданіе, котораго всѣ водили за носъ, начиная съ жены и кончая камердинеромъ Харитономъ, потерю котораго онъ такъ часто оплакивалъ; круглое, гладко выбритое лицо Николая Степаныча было бы пріятно, если бъ не портило его выраженіе какой-то безтолковой суетливости; онъ вѣчно казался сильно озабоченнымъ, хоть, надо правду сказать, заботы его начались только съ нынѣшняго утра, когда онъ самъ принужденъ былъ нести мѣшки свои. Даже самыя мысли Николая Степаныча находились какъ словно въ суетѣ какой-то; онѣ путались, перегоняли другъ дружку, сбивались, — изъ чего многіе заключали, что у него въ головѣ катаются шарики и постоянно вертится проволочное колесо, въ которомъ прыгаетъ бѣлка. Несмотря на безвыѣздную сельскую жизнь, пріучающую, какъ извѣстно, къ распущенности, онъ былъ одѣтъ очень удовлетворительно; коричневое пальто, клѣтчатые панталоны, высокія калоши и черный галстукъ, пропускавшій бѣлые воротнички рубашки; самый картузъ Николая Степаныча показывалъ, что онъ предпочиталъ магазины гостиному двору и лавкамъ своего уѣзда.

„Ужасъ, какъ уже много истрачено денегъ! почти невѣроятно!“ думалъ Николай Степанычъ, перебирая въ ладони ассигнаціи; „а тѣ еще пишутъ, нельзя ли привезти непочатыми всѣ три тысячи!.. Да, чорта съ два, убережешь!.. Подумать страшно, сколько истрачено... Это не-

возможно, однакожъ, надо будетъ какъ-нибудь ее урезонить; это выходитъ, съ насъ четверыхъ, если считать по тринадцати цѣлковыхъ за мѣсто, выходитъ пятьдесятъ два цѣлковыхъ... Это ужасъ! А тамъ еще дорога, обѣдъ, извозчики... Нѣтъ, надо какъ-нибудь ей представить, надо урезонить ее...“

Съ этими словами Николай Степанычъ свернулъ бумажникъ, поднялъ дорожный мѣшокъ (свертки запряталъ онъ въ другіе мѣшки и отправилъ съ чемоданами) и направился къ женѣ. Увидя мужа съ однимъ только сакъ-вояжемъ и притомъ довольно приличнымъ, Софья Петровна пріятно улыбнулась.

— Что, отправилъ? спросила она.

— Отправилъ, мой другъ, проговорилъ онъ, стараясь придать лицу своему разстроенное выраженіе.—Только это ужасъ! представь: взяли почти сорокъ цѣлковыхъ...

— Неужто?

— Да... я совсѣмъ не ожидалъ этого... Знаешь, Соничка, право, не послушаться ли совѣта брата Аркадія и твоей кузины, которые просятъ экономничать... присовокупилъ Фуфлыгинъ, садясь подлѣ жены, — мы невѣроятно уже сколько истратили, а тутъ придется еще отдать пятьдесятъ два цѣлковыхъ... Не лучше ли, право...

— Я впередъ знаю, что̀ ты хочешь сказать...

— Ну, да, душенька, да! возьмемъ лучше билеты тамъ... это предубѣжденіе...

— Вы хотите, слѣдовательно, чтобы я ѣхала съ мужиками?.. перебила не совсѣмъ ласково супруга.

— Но, душенька, клянусь тебѣ, это чистое предубѣжденіе!.. тамъ ѣздитъ очень много порядочныхъ людей; мой знакомый, Шилохвостовъ, тамъ вѣчно садится... наконецъ, дамы... Да вотъ, чего же лучше! ты сама знаешь: полковница Бабакина тамъ ѣхала!.. Мѣста эти теперь отлично перестроены... вездѣ окна, лакъ, политура... и, право, отлично бы доѣхали...

— Повторяю вамъ, мнѣ ваши мужики и безъ того уже въ деревнѣ надоѣли...

— Но, душенька, почти отчаянно промолвилъ супругъ, имѣвшій слабость разгорячаться собственными словами,— повторяю тебѣ: тамъ нѣтъ никакихъ мужиковъ... и, наконецъ, тебѣ какое дѣло, развѣ я не съ тобою?.. Подумай, никто насъ здѣсь не знаетъ, никто насъ, слѣдовательно, не увидитъ... А между тѣмъ экономія соблюдена; она намъ

такъ необходима! вникни: наши обстоятельства!.. Намъ предстоитъ еще столько издержекъ!.. побѣди себя!.. а твой туалетъ: вѣдь надо же будетъ денегъ!.. Что необходимо— то необходимо, ты это знаешь...

— Хорошо... но если только хоть одинъ мужикъ...

— Мы мгновенно пересядемъ тогда въ другое мѣсто! съ видомъ рѣшительнымъ и смѣлымъ подхватилъ Фуфлыгинъ и, приподнявъ дорожный мѣшокъ, торопливо вывелъ жену и дѣтей на подъѣздъ.

Во всю дорогу, отъ главнаго подъѣзда, мимо боковой арки вдоль тротуара, ведущаго къ подъѣзду третьяго разряда, Николай Степанычъ не переставалъ восторгаться благоразумiемъ жены и выхвалять удобство семи-рублевыхъ вагоновъ. Приближаясь, однакожъ, къ цѣли своего путешествiя, онъ все пытливѣе и пытливѣе устремлялъ безпокойные взоры къ подъѣзду, на которомъ толпится обыкновенно отправляющiйся народъ, но тамъ стояла одна только баба; замѣтивъ съ увѣренностью, что это не пассажирка, а жена сторожа (изъ чего вывелъ онъ это заключенiе, неизвѣстно), Николай Степанычъ подалъ руку женѣ, пустилъ впередъ дѣтей и вошелъ съ ними въ залу.

— Ахъ, Боже мой, ни за что въ свѣтѣ!.. воскликнула Софья Петровна, при видѣ около полсотни мужиковъ и бабъ, толкавшихся у дверей и оконъ.

— Душенька, подхватилъ съ выраженiемъ страданiя во всѣхъ чертахъ Николай Степанычъ,—душенька, клянусь тебѣ, они пришли по большей части провожать... они не поѣдутъ, успокойся... взгляни! подхватилъ онъ почти восторженно, указывая на красиваго молодого человѣка, съ густыми бакенами, отлично одѣтаго и небрежно игравшаго часовой цѣпочкой,—взгляни!.. подхватилъ онъ еще радостнѣе, повертывая жену къ офицеру, который стоялъ у окна,—я говорилъ! вотъ настоящiе пассажиры!.. Они съ нами поѣдутъ, а не эти...

Побѣжденная вторично доводами мужа (въ основанiи ангельской кротости Софьи Петровны лежали, быть-можетъ, кой-какiе расчеты касательно кой-какого петербургскаго платья или мантильи), она согласилась остаться въ залѣ и ждать, пока мужъ ея возьметъ билеты. Николай Степанычъ, конечно, не заставилъ себя повторить два раза; онъ стремительно пустился во вторую комнату и тотчасъ же смѣшался въ толпѣ, которая стояла передъ рѣшеткой, гдѣ раздавали билеты. Получивъ нѣсколько

контузій въ бока и спину (Николай Степанычъ не обращалъ уже вниманія на толчки; не до того было, кругомъ говорили, что оставалось нѣсколько минутъ до звонка), онъ завладѣлъ билетами и поспѣшилъ къ женѣ.

— Nicolas! раздался за нимъ знакомый голосъ.

Онъ оглянулся и увидѣлъ Софью Петровну, которая торопливо шла къ нему навстрѣчу. Лицо ея показалось ему сильно встревоженнымъ.

— Что такое?.. спросилъ онъ.

— Скорѣе уйдемъ отсюда... я ни за что не хочу здѣсь ѣхать... ни за что, ни за что!..

— Но я уже взялъ билеты...

— Мнѣ все равно...

— Но, ради Бога, что же такое?.. спросилъ онъ, оглядываясь во всѣ стороны.

— Не здѣсь, а тамъ! произнесла Софья Петровна, указывая на первую залу, гдѣ оставилъ ее мужъ.

— Но что же такое?

— Тамъ сестра жены нашего уѣзднаго аптекаря... она съ нами ѣдетъ; я ни за что не поѣду...

— Но какъ же быть?.. билеты уже взяты... ихъ назадъ не возьмутъ...

— Какъ хочешь... но я здѣсь не поѣду! заключила Софья Петровна и, взявъ за руки Лёшу и Пошу, которые недоумѣвали, куда ихъ снова тащатъ, быстрыми шагами пошла изъ комнаты, прошла залу и вышла на подъѣздъ.

Николай Степанычъ догналъ уже ее, когда она спускалась на тротуаръ. Въ эту самую секунду залился звонокъ и послышался гамъ толпы, хлынувшей къ вагонамъ.

— Мы пропали!.. наши чемоданы... все уѣдетъ!.. могъ только проговорить номѣщикъ, выпуская изъ рукъ дорожный мѣшокъ и столбенѣя отъ ужаса.

Но это продолжалось секунду; онъ быстро подхватилъ одною рукою Лёшу и Пошу, въ другую руку взялъ мѣшокъ и, проговоривъ раздирающимъ голосомъ:

— Душенька, Бога ради!.. побѣжалъ стремглавъ назадъ въ залу, сопровождаемый женою.

— Успѣете еще, сударь, не опоздали... проговорилъ сержантъ, стоявшій у двери, выходившей на платформу.

Но въ замѣшательствѣ своемъ Николай Степанычъ ничего не слушалъ; выбѣжавъ на платформу, онъ ринулся съ дѣтьми и женою въ самую середину толпы, осаждавшей вагоны. Свѣтскія наклонности Софьи Петровны на

мгновеніе уступили мѣсто страху, когда почувствовала она себя сдавленною десятками мужицкихъ локтей; она очнулась тогда лишь, когда ее силою почти внесли въ вагонъ и приперли къ скамейкѣ, куда она поспѣшила сѣсть изъ опасенія, чтобы ее совсѣмъ не раздавили. Николай Степанычъ подоспѣлъ къ ней съ дѣтьми почти въ ту же секунду.

— Это вездѣ такъ... даже въ первомъ разрядѣ!.. ты не ушиблась, мой другъ?.. проговорилъ Николай Степанычъ, руки и голосъ котораго дрожали.

Софья Петровна ничего не отвѣчала; она поправляла шляпку и въ то же время бросала безпокойные взгляды вокругъ.

— Нѣтъ, ея здѣсь нѣтъ... она должно-быть въ другомъ вагонѣ... обязательно шепнулъ Николай Степанычъ, озиравшійся также во всѣ стороны. Успокоенная нѣсколько отсутствіемъ родственницы уѣзднаго аптекаря, которая могла написать въ уѣздъ, что ѣхала въ семи-рублевомъ вагонѣ съ Фуфлыгиной, Софья Петровна обратила вниманіе на сосѣдей; рядомъ съ нею помѣщался молодой человѣкъ съ бакенами и часовой цѣпочкой, котораго она видѣла въ залѣ; немного поодаль красовался офицеръ; это обстоятельство, повидимому, смягчило ея расположеніе духа; но она тотчасъ же заговорила по-французски съ дѣтьми и мужемъ, желая дать знать сосѣдямъ своимъ, что они ѣдутъ съ особами порядочнаго круга.

— Не странно ли это, промолвила, уже по-русски и притомъ очень явственно, Софья Петровна, — весною, въ то время, какъ всѣ оставляютъ городъ и ѣдутъ въ деревню, мы оставляемъ деревню и ѣдемъ въ городъ...

— Вы стало-быть изъ деревни, — это какъ я! неожиданно вмѣшался человѣкъ, сидѣвшій наискось отъ Николая Степаныча (по выговору въ немъ тотчасъ же можно было узнать хохла; онъ былъ не бритъ, въ загрязненной шинели и покрытомъ пухомъ картузѣ, изъ-подъ котораго выглядывала пара наглыхъ бойкихъ глазъ; отъ него, вдобавокъ, сильно несло водкой).—Я изъ Пирятина, продолжалъ господинъ, — моя фамилія Карпенко... ѣду по тяжебному дѣлу... Скажите, заключилъ онъ, протягивая руку Николаю Степанычу, — я, кажется, имѣлъ уже удовольствіе съ вами встрѣчаться?..

— Очень можетъ быть... сухо проговорилъ Николай Степанычъ, котораго жена дергала украдкою за рукавъ.

Не получая руки, которую ждалъ, и замѣтивъ, можетъ-быть, движеніе дамы, Карпенко откинулся вдругъ назадъ и произнесъ, съ явною раздражительностію:

— Что это вы такъ горды!.. такъ горды!..

По лицу Карпенки, начинавшему разгораться, и по глазамъ его легко было заключить, что онъ не остановится на такомъ объясненіи,—но въ эту минуту раздался свистокъ — и поѣздъ тронулся. Всѣ почти сняли картузы и стали креститься; въ то же время, въ разныхъ концахъ вагона раздались восклицанія въ этомъ родѣ:—„ну, поѣхала лошадка... но! но!.. труу!.. Вишь, какъ визжитъ; стало-быть тяжко, сердечной!.. ай да чугунка! знатно!..“

— Il faut avouer que nous sommes dans une étrange compagnie! сказала Софья Петровна, поглядывая на мужа, который старался не попадаться на глаза Карпенкѣ.

Карпенко, съ своей стороны, отворачивался отъ Фуфлыгиныхъ, бросая на нихъ только время отъ времени раздраженные взгляды.

— Maman, maman, посмотри, какъ скоро бѣгутъ деревья! воскликнули Лёша и Поша, которыхъ отецъ поставилъ къ окну.

— Я думала, однакожъ, мы поѣдемъ гораздо скорѣе... замѣтила Софья Петровна.

— Это только сначала такъ медленно; когда разойдется машина, мы поѣдемъ несравненно скорѣе... произнесъ молодой человѣкъ съ бакенами и цѣпочкой, сидѣвшій рядомъ съ Фуфлыгиной; — вы, вѣроятно, въ первый разъ изволите ѣхать?..

— Да, мы въ первый разъ, сказалъ Николай Степанычъ, которому очень пріятно было найти случай отвернуться отъ Карпенки, ибо взгляды этого господина начинали нешутя его безпокоить.

— Въ Петербургъ изволите ѣхать? освѣдомился молодой человѣкъ.

— Въ Петербургъ, отвѣчала Софья Петровна тономъ, который показывалъ, что она умѣла отличать людей и всегда рада была говорить съ порядочнымъ человѣкомъ.— Вы также въ Петербургъ?

— Да-съ, я постоянно тамъ нахожусь, скромно возразилъ молодой человѣкъ, — я ѣздилъ въ Москву потому собственно, что тамъ умерла графиня Щурунова, такъ мы ѣздили хоронить ее...

— А я такъ больше жилъ въ деревнѣ, заговорилъ

вдругъ съ развязностію Николай Степанычъ, котораго жена уже не дергала теперь за рукавъ и, напротивъ, взглядами поощряла къ разговору, — теперь мы ѣдемъ въ Петербургъ, чтобы повидаться съ родственниками; у меня тамъ есть даже родной братъ... можетъ даже быть, вы его знаете...

— Женатый на баронессѣ Ластъ, обязательно подсказала Софья Петровна.

— Потомъ есть еще племянникъ, сынъ покойной сестры моей, нѣкто Свищовъ; сынъ той самой Свищовой, которой принадлежалъ этотъ огромный домъ у Красныхъ воротъ, мимо котораго вы ѣхали... Наконецъ, у жены есть родственники, добродушно продолжалъ Николай Степанычъ, — двоюродная сестра, нѣкто Мирзоева! мужъ ея служитъ, занимаетъ прекрасное мѣсто...

— Ахъ, какъ я рада буду увидать Sophie...

— Конечно, сударыня, послѣ долгой разлуки...

— Представьте, почти шесть лѣтъ не видались! съ того времени, какъ вышли изъ пансіона...

Разговоръ, начавшійся такъ пріятно, не могъ остановиться при своемъ зарожденіи; Фуфлыгины, поощряемые скромнымъ и совершенно порядочнымъ видомъ сосѣда, пустились въ разспросы касательно столичныхъ увеселеній, театровъ, гульбищъ; на все это молодой человѣкъ давалъ немногосложныя, но весьма удовлетворительныя объясненія; разговоръ его не отличался яркостію красокъ, но не былъ лишенъ занимательности; онъ много путешествовалъ; былъ нѣсколько разъ въ Италіи, въ Парижѣ, на Рейнѣ; въ рѣчахъ его часто попадались слова: графъ, князь; словомъ, онъ такъ былъ любезенъ, что Софья Петровна и ея мужъ выразили явное сожалѣніе, когда вагоны стали подъѣзжать къ первой станціи.

— Вотъ мы ужъ и пріѣхали — какъ скоро! произнесъ Фуфлыгинъ, — надѣюсь, мы снова будемъ имѣть удовольствіе видѣть васъ своимъ сосѣдомъ?..

— Не могу вамъ сказать-съ... это не отъ меня зависитъ...

— Намъ было бы очень пріятно... не безъ кокетства промолвила Софья Петровна, обращая глаза свои къ двери, гдѣ неожиданно показался кондукторъ.

— Человѣкъ графа Щурунова!.. крикнулъ кондукторъ.

— Здѣсь, сейчасъ! отозвался молодой человѣкъ, сосѣдъ Фуфлыгиныхъ, поспѣшно вставая и направляясь къ двери.

Если бъ кондукторъ объявилъ, что лопнулъ котелъ машины, или треснули колеса вагона, Софья Петровна и ея мужъ не такъ бы, казалось, поражены были, какъ въ настоящую минуту.

— Ха, ха, ха! внезапно залился Карпенко, становясь прямо противъ Фуфлыгина, — ха, ха, ха!.. а вы думали, это графъ какой-нибудь?.. а? ха, ха!..

Нѣкоторые изъ сидѣвшихъ поблизости послѣдовали примѣру Карпенки.

— Милостивый государь, я васъ прошу оставить меня въ покоѣ! воскликнулъ Николай Степанычъ, багровѣя и быстро подымаясь съ мѣста.

— Nicolas, de grâce!.. произнесла Софья Петровна, схватывая мужа за рукавъ, — sortons au nom du ciel!.. пожалуйста выйдемъ поскорѣе отсюда... мы ужъ пріѣхали, — всѣ выходятъ...

И дѣйствительно, всѣ ужъ валили изъ вагона. Николай Степанычъ, подхватилъ Лёшу и Пошу, выбрался съ женою на платформу.

— Это ужасно, однакожъ... это чортъ знаетъ что такое, сказалъ онъ.

— Я тебѣ говорила!.. я не могу здѣсь больше оставаться... c'est une horreur!..

— Ты пересядешь сейчасъ же въ другой вагонъ; вѣроятно не всѣ мѣста заняты... мы сейчасъ это увидимъ...

И Николай Степанычъ направился вдоль платформы, останавливаясь у каждаго вагона и заглядывая въ окна.

— Вотъ какъ разъ цѣлый пустой вагонъ — и еще перваго разряда!.. садись поскорѣе съ дѣтьми... садись, душенька...

— А ты?

— Я сяду съ тобою на слѣдующей станціи; я забылъ нашъ дорожный мѣшокъ,—а теперь некогда; сейчасъ зазвонятъ... adieu... слышишь! ужъ звонятъ! adieu! adieu! заключилъ супругъ, пускаясь во весь духъ по платформѣ, гдѣ разомъ все засуетилось и забѣгало.

Вагонъ, въ которомъ помѣстилась Софья Петровна, оказался вовсе не пустымъ; едва расположилась она съ дѣтьми на мягкомъ диванѣ и раздался звонокъ,—въ вагонъ явились два молодые человѣка и дама, чрезвычайно щегольски одѣтая; она смѣялась во все горло и обращалась съ молодыми людьми совершенно безцеремонно. При видѣ посторонняго женскаго лица и двухъ дѣтей, молодые

люди и ихъ спутница вопросительно переглянулись. Всѣ трое, казалось, не совсѣмъ пріятно были поражены прибытіемъ новыхъ пассажировъ.

Величавый и строгій видъ, который, неизвѣстно по какимъ причинамъ, приняла вдругъ Софья Петровна, какъ только очутилась въ вагонѣ перваго класса, очевидно, долженъ былъ стѣснить веселыхъ путешественниковъ. Впрочемъ, они не долго стѣснялись; какъ только поѣздъ тронулся, одинъ изъ молодыхъ людей растянулся на диванѣ; другой подсѣлъ къ дамѣ и, поправляя на ней мантилью, украдкой обхватилъ раза два ея талію. Послѣднее не ускользнуло отъ вниманія Софьи Петровны; она смекнула въ чемъ дѣло, и, желая внушить молодому человѣку болѣе почтительное обращеніе, окинула его и его даму негодующимъ взглядомъ. Но это нисколько не подѣйствовало; молодые люди насмѣшливо переглянулись, и всѣ трое захохотали. Софья Петровна сдѣлала нетерпѣливый жестъ и отвернулась къ окну.

— Катерина Михайловна, хотите папироску? спросилъ молодой человѣкъ, лежавшій на диванѣ.

Катерина Михайловна кивнула головой, молодой человѣкъ бросилъ ей папироску, которую она подхватила на лету и тотчасъ же закурила.

— Поша, Поша, посмотри, какія славныя колечки изъ дыма они пускаютъ! воскликнулъ Леша.

— И папа умѣетъ такія пускать, простодушно замѣтила Поша.

— Taisez-vous! строго перебила Софья Петровна, бросая раздраженный взглядъ.

Молодые люди снова переглянулись; Катерина Михайловна не могла удержаться и прыснула, какъ говорится. Фуфлыгина презрительно отвернулась къ окну.

Всѣ эти маневры подстрекали только, повидимому, къ шалостямъ трехъ путешественниковъ. Молодой человѣкъ, лежавшій на диванѣ, и Катерина Михайловна начали пускать другъ въ друга длинныя струи дыма.

— C'est insupportable... пробормотала наконецъ Софья Петровна и нетерпѣливо опустила окно.

Въ эту минуту вошелъ кондукторъ.

— А, любезнѣйшій, поди-ка сюда; тебя-то и надо было! воскликнулъ лежавшій на диванѣ, принимая вдругъ строгій видъ; — слушай: первымъ дѣломъ моимъ, какъ я пріѣду въ Петербургъ, будетъ пожаловаться на тебя...

— Это за что же-съ? спросилъ кондукторъ съ недоумѣвающей миной.

— А за то, что ты, я замѣтилъ, имѣешь обыкновеніе впускать чужихъ пассажировъ въ семейные вагоны... вотъ за что! я ужъ это не разъ замѣтилъ... прибавилъ онъ, украдкою косясь на Фуфлыгину, которая, очевидно, обмерла отъ страха, хотя продолжала глядѣть въ окно и дѣлала видъ, какъ будто ничего не замѣчаетъ.

Кондукторъ подошелъ къ ней.

— Вашъ билетъ, сударыня!..

— Ахъ! произнесла Софья Петровна, у которой изъ гордаго лица сдѣлалось вдругъ плаксивое, — ah, mon Dieu!..

— Билетъ вашъ, сударыня, билетъ пожалуйте... повторилъ кондукторъ.

— Ахъ... мой мужъ... у меня билетъ тамъ... Ah, mon Dieu, qu'est ce qu'on veut faire avec moi?.. пробормотала окончательно уже растерявшаяся Софья Петровна.

— Вы изволили пересѣсть изъ третьяго класса въ семейный вагонъ, это у насъ строго воспрещается.

— Но я этого не знала... ахъ, Боже мой... ah, mon Dieu! что со мной хотятъ сдѣлать?..

Кондукторъ успокоилъ ее, сказавъ, что съ нею ничего не сдѣлаютъ, но попросилъ ее выйти, какъ только остановится поѣздъ, что и исполнила она, какъ каждый себѣ представитъ, съ великою поспѣшностью.

Съ первымъ ударомъ звонка, Николай Степанычъ былъ уже на платформѣ со своимъ дорожнымъ мѣшкомъ, и торопился присоединиться къ женѣ; увидя ее еще издали и пораженный ея разстроеннымъ лицомъ, онъ побѣжалъ вприпрыжку.

— Ахъ, Nicolas! воскликнула Софья Петровна, чуть не падая на руки мужу, — я не могу этого вынести... меня оскорбили... тутъ была женщина... и молодые люди...

— Молодые люди! произнесъ Николай Степанычъ, суетливо обдергивая пальто и озираясь на стороны, какъ бы готовясь вызвать на бой всю толпу, ходившую по платформѣ.

— Nicolas, что ты хочешь дѣлать... de grâce, остановись... подумай...

— Но я хочу знать, что они сдѣлали?.. Какъ они тебя оскорбили?.. допрашивалъ онъ, заглядывая вправо и влѣво и какъ бы отыскивая кого-то.

Софья Петровна, въ бѣглыхъ словахъ, разсказала обо всемъ случившемся.

— Эхъ, душа моя, вотъ ты всегда такъ! досадливо сказалъ Николай Степанычъ,—ужъ сѣла—такъ и сиди... очень нужно было задирать...

— Ты же меня обвиняешь!..

— Да нельзя же, душа моя, — это не водится; сѣла — ну и сиди... Однакожъ пора, звонятъ... пойдемъ...

— Но тамъ этотъ лакей... Послѣ того, что случилось...

— Нѣтъ, онъ пересѣлъ въ другой вагонъ; мѣсто его пусто... сестра аптекаря также исчезла!..

— Ну, а тотъ, который все къ тебѣ привязывался... это ужасно!

— Тотъ, слава Богу, теперь заснулъ; на прошлой станціи я самъ видѣлъ, какъ онъ залпомъ выпилъ три рюмки и тотчасъ же заснулъ послѣ этого...

— Oh, quelle horreur!

— Оррёръ ли, нѣтъ ли, но входи — дѣлать нечего! добавилъ Николай Степанычъ, останавливаясь передъ своимъ вагономъ.

Вплоть до самой Твери ничего не случилось особеннаго съ нашими путешественниками. Они ни разу даже не выходили изъ вагона. Кромѣ жены аптекаря, Софья Петровна боялась теперь встрѣтиться съ молодыми пассажирами семейнаго класса и не выпускала Николая Степаныча изъ опасенія, чтобы онъ не завелъ съ ними исторіи. Въ Твери, однакожъ, они вышли; но они не садились за общій столъ, а сѣвъ въ сторонѣ, скромно пообѣдали и, не теряя секунды, вернулись на платформу. Первое лицо, попавшееся имъ на глаза, былъ Карпенко; онъ стоялъ передъ лоткомъ торговца и пилъ водку.

— Онъ опять пьетъ! опять будетъ какая-нибудь исторія, сказала Софья Петровна.

— Это ужасъ, что за животное, въ самомъ дѣлѣ! я удивляюсь, какъ пускаютъ такихъ людей... надо бы предупредить кондуктора...

Но Николай Степанычъ и жена его ошиблись въ своихъ предположеніяхъ; вернувшись въ вагонъ вскорѣ послѣ Карпенки, они увидѣли его распростертаго на лавкѣ и спящаго крѣпкимъ сномъ.

— Кондукторъ, есть здѣсь свободное мѣсто? прозвучалъ рѣзкій голосъ, когда пассажиры стали входить въ вагонъ.

— Есть, пожалуйте... отозвался кондукторъ, указывая на мѣсто подлѣ Фуфлыгиной.

Софья Петровна съ испугомъ оглянула новое лицо; она была такъ уже напугана, что въ каждомъ пассажирѣ видѣла непремѣнно буяна или человѣка, способнаго кругомъ окомпрометировать. Новое лицо тотчасъ же успокоило и ее, и Николая Степаныча.

То была плотная дама, средняго возраста, съ круглою головкою, убранною мелкими косичками (она намѣревалась вѣрно явиться завтра въ Петербургъ съ гофрированными волосами); косички эти, очень круто заплетенныя, выглядывали изъ-подъ голубой, небеснаго цвѣта, шляпки, которую она поминутно поправляла безъ помощи рукъ, но задергивая голову къ спинѣ; вздернутый носъ этой дамы, нѣсколько раздутый и красный, показывалъ, что она только-что плакала; глаза ея также носили слѣды недавнихъ слезъ.

— Извините, милостивая государыня, я, можетъ быть, васъ побезпокоила, меланхолически сказала дама, приложивъ руку къ груди своей (очень могучей груди) и подавляя тяжкій вздохъ.

— Нисколько; это мѣсто свободно... возразила Софья Петровна.

Дама подавила новый вздохъ, сѣла, медленно закрыла глаза и такъ печально свѣсила на-бокъ голову, что Софья Петровна кизнула мужу, какъ бы желая возбудить въ немъ состраданіе къ несчастной. Толчокъ вагона заставилъ ее приподнять глаза; но каково было удивленіе Софьи Петровны, когда она увидѣла, что на лицѣ сосѣдки не оставалось уже тѣни печали, носъ ея весело вздергивался, ротъ улыбался, а глаза пріятно заигрывали.

— Вы въ Петербургъ? спросила она съ обворожительною любезностію.

— Да...

— Я также... Это вашъ мужъ?

— Да...

— Очень пріятно познакомиться... Вы меня извините; но у васъ такое доброе, прекрасное лицо, сказала дама, расплываясь отъ восхищенія.

Николай Степанычъ немного покраснѣлъ, приподнялъ картузъ и поклонился.

— А это ваши дѣти? продолжала разспрашивать дама.

— Да-съ...

— Очаровательныя малютки!.. я имѣю страсть къ дѣтямъ... Это можетъ-быть потому, что я сама мать... (Тутъ лицо ея потеряло вдругъ свою игривость, и она подняла глаза къ небу). — Но я несчастная мать! да, я несчастная! меня разлучили съ моими крошками (дама запустила торопливо руку въ карманъ своего платья и вынула не совсѣмъ чистый носовой платокъ), — да, меня разлучили съ моими дѣтьми! Для васъ это кажется, можетъ-быть, невѣроятнымъ, не правда ли?.. Но это такъ!.. Да, вы видите передъ собою очень несчастную женщину!.. И приложивъ платокъ къ лицу, она залилась вдругъ слезами.

Николай Степанычъ и жена его переглянулись; послѣдняя сказала нѣсколько словъ утѣшенія своей сосѣдкѣ. При этомъ дама опустила платокъ на колѣни, вперила полный страстнаго томленія взглядъ на Фуфлыгиныхъ, долго-долго смотрѣла на нихъ и вдругъ судорожно схватила ихъ обоихъ за руки.

— О, благодарю васъ, благодарю!.. воскликнула она, — я вижу, вы благородныя, возвышенныя созданія!..

Она спрятала платокъ въ карманъ и нѣсколько минутъ сидѣла, скрестивъ на груди руки и опустивъ голову.

— Ахъ! ахъ!.. вздохнула она неожиданно; — вы удивляетесь, вѣроятно, почему я вздыхаю? присовокупила она, обращаясь къ Фуфлыгинымъ.

— Нѣтъ... ничего... пробормоталъ Николай Степанычъ.

— Да, я вздыхаю! я вздыхаю, это правда, и глубоко вздыхаю! я должна вздыхать! заговорила дама, — и могу ли я не вздыхать? Нѣтъ, я не могу этого! Эта дорога, этотъ вагонъ напоминаютъ мнѣ... Но я вамъ разскажу... да, я разскажу вамъ! къ чему скрывать? — кто не увлекался въ своей жизни?.. Вы меня поймете! сердце мое такъ полно! оно говоритъ мнѣ, что у васъ возвышенныя души... не правда ли, я не ошиблась?.. прибавила дама, снова схватывая руки Фуфлыгиныхъ.

Фуфлыгины пробормотали что-то.

— Ну, да, да! я это знаю... съ чувствомъ продолжала дама, языкъ которой развязывался по мѣрѣ того, какъ ускорялся ходъ машины.—Прошлаго года, именно въ эту пору, въ этихъ самыхъ вагонахъ, ѣхала я съ однимъ молодымъ человѣкомъ... (Тутъ она опустила глаза и какъ бы застыдилась; но внезапно ободрившись, продолжала.) — Вы представить себѣ не можете, что̀ это было за существо!.. Это самая деликатная, возвышенная натура!.. Онъ

очень хорошей фамиліи, но родные его... Ахъ, его родные!.. Словомъ сказать, чувства его возвышенны, такъ возвышенны, что если бъ, напримѣръ, вы (она прикоснулась рукою къ рукѣ Фуфлыгина), если бъ вы сдѣлали ему честь и пригласили къ себѣ на вечеръ, и если бъ ему страстно хотѣлось быть у васъ... но будь у него пятно на панталонахъ, — онъ не поѣхалъ бы! нѣтъ, ни за что бы не поѣхалъ!.. Да вотъ, чего же лучше?.. мы ѣхали съ нимъ въ этихъ самыхъ вагонахъ, наши обстоятельства намъ не позволяли... (дама снова опустила глаза и застыдилась) — да, наши обстоятельства заставили насъ ѣхать съ народомъ... Я не спускала съ него глазъ во всю дорогу, — и что же? повѣрите ли: онъ страдалъ, — онъ глубоко страдалъ, — я это видѣла! и наконецъ, сердце мое говорило мнѣ, что онъ страдалъ, — потому что, вы представить себѣ не можете, что̀ это за высокая аристократическая натура!.. Да, я страдала, я много страдала и перенесла въ жизни! Но кто же не увлекался? кто не давалъ свободы своему сердцу?.. Но этотъ извергъ, это чудовище!.. о, это ужасно... вы видите передъ собою истинно несчастную жертву! заключила она, быстро овладѣвая платкомъ и закрывая лицо, которое оросилось новыми потоками слезъ.

— Какъ, этотъ молодой человѣкъ?.. рѣшился спросить Николай Степанычъ.

— О, нѣтъ! нѣтъ, это не онъ! съ горячностью возразила сосѣдка.—О! это возвышенное, благородное созданіе!— я говорю о другомъ... объ извергѣ... о низкомъ старикѣ, который, можно сказать, довелъ меня до отчаянія! Согласитесь сами, такой человѣкъ могъ ли понять меня? Я — женщина, я — возвышенное, благородное созданіе, — могъ ли онъ понять меня? — Нѣтъ, онъ не могъ этого!..

Софья Петровна съ безпокойствомъ оглянулась вокругъ; разсказъ дамы начиналъ уже возбуждать любопытство пассажировъ; нѣкоторые подсаживались даже ближе.

— Вы, Бога ради, однакожъ, тише... со всевозможною деликатностью замѣтилъ Николай Степанычъ, обратясь къ своей сосѣдкѣ.

— Ахъ, извините меня, милостивый государь! сказала она, схвативъ его руку и пожавъ потомъ руку женѣ, — извините меня, — я увлекаюсь! но судите сами, могу ли я говорить обо всемъ этомъ безъ увлеченія? Я была бы тогда какимъ-то бездушнымъ, деревяннымъ созданіемъ!...

Представьте себѣ, продолжала она, понижая голосъ и наклоняясь къ собесѣдникамъ, — представьте, въ то время, какъ я ѣхала съ этимъ молодымъ человѣкомъ (глаза ея при этомъ снова опустились), этотъ извергъ, этотъ презрѣнный старикъ, о которомъ я вамъ говорила, — имѣлъ низость раскрыть мою шкатулку... Тамъ были письма... это ужасно, не правда ли? да, это ужасно!.. Я пріѣзжаю домой... это было передъ обѣдомъ; хочу обнять моихъ дѣтей, — онъ меня отталкиваетъ... Да, онъ оттолкнулъ меня и не далъ обнять этихъ невинныхъ ангеловъ!... произнесла дама, снова прибѣгая къ платку и начиная охать, кряхтѣть и пыжиться, чтобы не разразиться воплемъ.

Но она вскорѣ перемогла себя и подхватила съ сильной энергіей:

— Мы садимся обѣдать... До сихъ поръ я все переносила; я слова не сказала... За обѣдомъ кто-то случайно произнесъ имя этого молодого человѣка... Вдругъ я вижу — извергъ хватаетъ графинъ и пускаетъ мнѣ въ голову! Судите о моемъ положеніи! воскликнула дама, не обращая уже теперь вниманія на предостереженія сосѣдей и взгляды пассажировъ. — Да, судите о моемъ положеніи: я, женщина,—я, возвышенное, благородное существо,—должна была перенести это; но я бы перенесла, — я бы все перенесла... Онъ, можетъ быть, былъ въ своемъ правѣ,— да!.. но поймите, тутъ была затронута не только жена, нѣтъ, тутъ мать была затронута, и я этого не выдержала, не могла этого выдержать!.. Я забылась, схватила стаканъ и пустила въ него... взглянула, опомнилась, — о, ужасъ: вижу кровь! кровь!.. (дама откинулась назадъ и замахала неистово руками) кровь!.. Тутъ ужъ я все забыла! Кидаюсь къ нему, нащупываю въ карманѣ пятакъ и прикладываю его къ ранѣ... Онъ меня отталкиваетъ, онъ меня рветъ и терзаетъ, — но я уже ничего не чувствую и продолжаю держать пятакъ... Наконецъ... но, кажется, мы пріѣхали на станцію? я очень этому рада... я должна выйти... мнѣ нуженъ воздухъ! воздухъ!.. заключила она, размахивая во всѣ стороны салопъ и стремительно выбѣгая на платформу.

— А вѣдь жаль! ей-Богу, жаль! сказалъ какой-то купецъ, подымаясь съ мѣста, — онъ бы ее поколотилъ лучше, право... а графиномъ не слѣдъ бы пущать... это не годится.

Софья Петровна вспыхнула, надвинула шляпку на глаза и повернулась къ мужу.

— Ah, mon Dieu, сказала она, нагибая голову, — ils ont tout entendu...

Фуфлыгины рѣшились не выходить, чтобы дама эта, чего добраго, не сообщила имъ дальнѣйшей своей исторіи на платформѣ при публикѣ. Оба принялись, однакожъ, слѣдить за нею изъ окна. Они видѣли, какъ дама приняла сначала меланхолическую, страдальческую позу, и попросила позволенія у проходившаго какого-то господина закурить папироску; послѣ этого она неожиданно оживилась и принялась размахивать передъ нимъ руками; мало-по-малу ее заслонила толпа, и она исчезла изъ глазъ Фуфлыгиныхъ.

Прозвенѣлъ звонокъ, и вагонъ снова наполнился; но дама не являлась; кондукторъ захлопнулъ дверь, и машина свистнула.

— Ахъ, Боже мой, гдѣ же эта дама?.. она опоздаетъ... невольно сорвалось съ языка Софьи Петровны, хотя она нимало не была опечалена ея отсутствіемъ.

— Она пересѣла, вѣроятно, въ другой вагонъ...

— Но, нѣтъ... вотъ она!.. Ахъ, Боже мой!.. произнесла Софья Петровна, указывая на даму, которая бѣжала по платформѣ, простирала отчаянно руки и кричала пронзительно: — „Остановитесь... остановитесь!..“

Но вагоны сильнѣе только разбѣгались; вотъ мелькнуло зданіе, гдѣ запасаются водою, мелькнули дровяные сараи, и дама снова скрылась изъ виду.

Часовъ въ девять вечера Фуфлыгины накушались чаю (они снова заняли скромное мѣсто въ уголкѣ) — и, возвратясь въ вагонъ, начали приготовляться къ отдыху. Оба страхъ устали; къ тому же въ вагонѣ воцарилась темнота, располагавшая ко сну, а Лёша и Поша давно дремали. Уложивъ дѣтей на полъ, Николай Степанычъ прижался къ стѣнкѣ и сказалъ женѣ, чтобы она подогнула подъ себя ноги и положила голову на его плечо. Положеніе было крайне неудобное для обоихъ; но тѣмъ не менѣе, они закрыли глаза и старались заснуть по примѣру остальныхъ пассажировъ, бо́льшая часть которыхъ давно уже храпѣла.

Внезапно, на другомъ концѣ вагона, раздаются крики, сопровождаемые неистовою бранью. Софья Петровна и ея мужъ подымаютъ голову; но темнота слишкомъ густа и не даетъ разсмотрѣть, что́ происходитъ.

— Господа! кричитъ голосъ, по которому они тотчасъ же узнаютъ несноснаго Карпенко,—я призываю всѣхъ въ свидѣтели, что я его не трогалъ!.. Я здѣсь лежу смирно, какъ благородный человѣкъ, — и вдругъ онъ меня осмѣлился тащить за носъ... Какъ! чтобъ я позволилъ нѣмцу брать себя за носъ,—никогда! Я всѣхъ призываю въ свидѣтели!.. Жена моя можетъ меня брать за носъ, но чтобы нѣмецъ—никогда!.. я не спущу этого... я его разобью вдребезги...

— Кондукторъ! кондукторъ! закричало нѣсколько голосовъ.

Софья Петровна и ея мужъ зажмурили глаза, припали другъ къ другу головами и прикинулись спящими; минуту спустя, до слуха ихъ дошелъ шумъ свалки, послышался голосъ кондуктора, крики,—и наконецъ жалобныя мольбы Карпенки, котораго выводили изъ вагона. Послѣ этого раздался пронзительный свистъ выпущеннаго пара, прозвенѣлъ колокольчикъ, — и все смолкло, кромѣ храпѣнья пассажировъ и глухого рокотанья колесъ, увлекаемыхъ машиной, которая быстро неслась посреди ночи, разсыпая направо и налѣво миріады огненныхъ искръ...

III.

Пріѣздъ и первыя впечатлѣнія.

Девять часовъ утра. Въ знакомомъ намъ вагонѣ третьяго класса происходитъ замѣтное движеніе; бо́льшая часть пассажировъ поднялась со своихъ мѣстъ; иные обдергиваютъ полушубки, другія перевязываютъ головные платки,—всѣ почти охорашиваются; жирный, толстый купецъ, похожій на тюкъ сала, закинулъ назадъ голову, зажмурилъ глаза и расчесываетъ бороду гребнемъ, который, за минуту передъ тѣмъ, скрывался въ лѣвомъ сапогѣ его; офицеръ хлопочетъ надъ своимъ головнымъ пробором и смотрится въ зеркальце, которое, по своему объему, можетъ только показывать одинъ глазъ, носъ или ухо, что заставляетъ голову офицера выдѣлывать неимовѣрные повороты. Многіе уже пригладились, подтянулись и жмутся къ окнамъ, стараясь уловить минуту, когда покажется Петербургъ.

Къ числу послѣднихъ принадлежали Фуфлыгины. Оба казались нѣсколько смущенными; но въ смущеніи этомъ не было ни малѣйшаго безпокойства; они находились подъ вліяніемъ чувства, которое знакомо каждому, кто

только въ первый разъ въ жизни подъѣзжалъ къ огромной столицѣ.

— Меня тревожитъ одно только, сказала Софья Петровна,—получилъ ли письмо твой племянникъ?..

— Кокò? О, разумѣется, получилъ! возразилъ супругъ, помнишь, я писалъ ему на другой день, какъ отъ него получилъ; онъ, безъ сомнѣнія, дожидается насъ теперь на дебаркадерѣ... Я очень радъ, что предупредилъ его не извѣщать о нашемъ пріѣздѣ ни брата Аркадія, ни твоей кузины, ни ея мужа...

— Да, мы очень хорошо сдѣлали... потому что...

— Я понимаю, что ты хочешь сказать... съ живостію подхватилъ Николай Степанычъ;—но я уже все это обдумалъ: мы, какъ пріѣдемъ, дадимъ выйти всѣмъ пассажирамъ, потомъ перейдемъ въ другой вагонъ, тамъ въ третій, въ четвертый и такъ далѣе... а тамъ и выйдемъ на платформу... Никому въ голову не придетъ, что мы пріѣхали въ этомъ проклятомъ третьемъ классѣ... ты поняла меня?..

— Поняла; mercі... проговорила жена, сопровождая слова свои веселымъ взглядомъ.—Однакожъ, я не скрою отъ тебя, Nicolas, прибавила она,—что я чувствую какое-то волненіе...

— То-есть нѣтъ, не волненіе; волненія я не чувствую, а такъ что-то такое... произнесъ Николай Степанычъ, прислушиваясь къ свисту машины, — это Петербургъ! заключилъ онъ и вдругъ безо всякой видимой причины страшно засуетился.

Минутъ черезъ семь вагоны въѣхали подъ темную арку дебаркадера—и поѣздъ остановился.

Николай Степанычъ поступилъ согласно обдуманному прежде плану: онъ далъ выйти всѣмъ пассажирамъ и сталъ переходить изъ вагона въ вагонъ со своимъ семействомъ, пока наконецъ не достигнулъ перваго разряда, гдѣ благополучно спустился на платформу. Но Софья Петровна оставалась еще нѣсколько секундъ, опершись рукою на рѣшетку вагона; каждый проходившій имѣлъ слѣдовательно случай полюбоваться хорошенькой дамой въ черной бархатной мантильѣ и розовой шляпкѣ, которая довольно гордо поглядывала на толпу и какъ бы боялась смѣшаться съ нею.

— Вотъ онъ! воскликнулъ неожиданно Николай Степанычъ.

— Дядюшка! отозвался чей-то голосъ изъ толпы.

— Кокò! крикнулъ Николай Степанычъ и бросился на шею племянника.—Но гдѣ же жена? подхватилъ онъ послѣ долгихъ лобызаній,—а! вотъ она! Sophie, Sophie, позволь, мой другъ, представить тебѣ моего племянника... А вотъ это, братецъ, мои ребятишки: Полина и Лёвушка, но мы зовемъ ихъ преимущественно Лёша и Поша... Боже, какъ онъ выросъ! Боже, какъ выросъ! заключилъ Николай Степанычъ, радостно осматривая племянника.

„Если онъ выросъ, то я ужъ, право, не знаю, какимъ онъ былъ прежде...“ невольно подумала Софья Петровна.

Передъ ней стоитъ миніатюрный юноша лѣтъ девятнадцати, котораго легко было бы принять за ребенка, если бъ на красивомъ лицѣ его, усыпанномъ веснушками, слишкомъ уже явно не обозначались слѣды утомленія и преждевременной возмужалости. Онъ весь, казалось, созданъ былъ изъ одной быстроты и юркости, въ своей франтовской одеждѣ, на своихъ высокихъ каблукахъ, въ шляпѣ, надѣтой какъ-то лихо на бокъ—и при неимовѣрной быстротѣ движеній—онъ походилъ на цыцарскаго пѣтушка, который неистово порывается къ бою.

Пожавъ руку теткѣ, Кокò Свищовъ поднялъ поочередно Лёшу и Пошу и запечатлѣлъ на щекѣ каждаго по горячему поцѣлую; этотъ послѣдній поступокъ проистекалъ, конечно, не столько изъ внутренней родственной потребности, сколько изъ желанія доказать присутствующимъ, что, при его ростѣ, ему ничего не значило поднять два пуда.

— Ну, наконецъ-то, тетушка, вы пріѣхали, наконецъ-то! заговорилъ Свищовъ (голосъ его былъ сильно надорванъ; онъ то переходилъ въ фистулу, то хрипѣлъ, какъ у людей, кутившихъ нѣсколько сутокъ сряду).—Очень радъ съ вами познакомиться... Осторожнѣе! оселъ! скотина! крикнулъ вдругъ Кокò какому-то человѣку, который чуть не зацѣпилъ чемоданомъ тетку,—оселъ! скотъ!..

— Чего?.. грозно произнесъ человѣкъ съ чемоданомъ.

— А вотъ я сейчасъ тебѣ покажу!.. вскричалъ Кокò, багровѣя отъ ярости и подпрыгивая на каблукахъ.

— Господи, ахъ, Боже мой... Извините пожалуйста!.. Кокò, перестань... извините, милостивый государь...

— То-то, извините... сказалъ человѣкъ съ чемоданомъ, удаляясь.

— Простите, тетушка... заговорилъ юный Свищовъ, об-

ращаясь къ испуганной Софьѣ Петровнѣ,—но согласитесь сами, нельзя же не замѣтить этому невѣжѣ; онъ чуть было не задѣлъ васъ... я бы еще не такъ проучилъ его! Этакая скотина!.. ха, ха, ха!.. вы ужъ, кажется, испугались, дядя?.. ха, ха!.. Ну, давайте поскорѣе ваши билеты для полученія чемодановъ! Намъ нечего здѣсь терять времени... я очень радъ, что вы меня послушали и бросили этого стараго хрыча Изосима... какъ бишь?.. къ чорту его!.. Какъ! только три билета?.. Ну, пойдемте же скорѣе получать чемоданы... Тетушка, вы сядьте здѣсь съ дѣтьми... мы сейчасъ явимся! заключилъ Свищовъ, поглядывая на окружающихъ съ такимъ видомъ, какъ будто желалъ дать знать, что взялъ эту даму подъ свое покровительство и что горе тому, кто не приметъ этого въ уваженіе.

— Тише, тише, Кокò... этакая горячка... тише! повторилъ Николай Степанычъ, удерживая племянника, который безцеремонно толкалъ всѣхъ попадавшихся на пути. Но Кокò работалъ локтями и стремительно порывался впередъ.

— Гдѣ ваши чемоданы?.. я ихъ не знаю... гдѣ они?.. эти мерзавцы заслоняютъ всю поклажу... Отойди прочь!.. прочь!.. Который вашъ чемоданъ?.. Тотъ, желтый, перевязанный веревкой?.. Эй, солдатъ,—давай вонъ тотъ чемоданъ... Что жъ ты?.. ахъ, ты! давай сейчасъ!..

— Успѣете еще...

— Какъ!.. какъ!.. ахъ ты...

— Кокò! Кокò! ради Бога, что ты дѣлаешь?.. воскликнулъ дядя, удерживая племянника, который подпрыгивалъ, съ цѣлію перескочить за рѣшетку, и грозилъ наказать грубіяна,—намъ не къ спѣху... остановись... этакая горячка!.. помилуй, изъ чего ты горячишься?

Но убѣжденія дяди ни къ чему бы, вѣроятно, не послужили, если бъ его мѣшки и чемоданы не явились тотчасъ же на платформѣ и, вслѣдъ затѣмъ, не были бы подняты на плечи солдатъ.

— Сюда, клади сюда! крикнулъ Кокò, повелительно указывая солдатамъ на мѣсто подлѣ Софьи Петровны. — Надѣюсь, тетушка, васъ здѣсь никто не безпокоилъ?.. А, здравствуй, Лупандинъ! воскликнулъ онъ неожиданно, подавая руку господину лѣтъ сорока, обросшему чудовищными бакенами.—Ты зачѣмъ сюда?.. Ужъ не встрѣчать ли Катерину Михайловну?.. кланяйся ей... слышишь? — Это

одна изъ самыхъ хорошенькихъ нашихъ лоретокъ! завершилъ Кокò, обращаясь къ дядѣ и теткѣ.

— Ахъ ты повѣса, повѣса! шутливо замѣтилъ Николай Степанычъ.

— Ха-ха-ха! залился Кокò, которому, очевидно, польстило такое замѣчаніе.—Но ѣдемте же, тетушка, ѣдемъ; я взялъ вамъ отличнѣйшій номеръ въ одномъ изъ самыхъ лучшихъ нашихъ отелей и далъ уже задатокъ... ѣдемте; но куда же вы, дядя? за извозчиками... Ахъ, чортъ возьми! я не подумалъ объ этомъ. Я такъ обрадовался вашему пріѣзду, тетушка, что совсѣмъ забылъ захватить экипажи... Сію минуту все будетъ сдѣлано; вы, пожалуйста, не трогайтесь только съ мѣста... Здравствуй, Бубновъ, подхватилъ онъ, хлопнувъ по плечу мимо шедшаго толстаго сѣдовласаго господина,—что тебя такъ давно не видать, а?.. пріѣзжай сегодня вечеромъ къ Букмейеру... Сейчасъ, тетушка, сейчасъ явлюсь!..

Кокò надвинулъ шляпу на глаза, принялъ молодецкую, рѣшительную осанку и, смѣло постукивая каблуками, скрылся въ дверяхъ выхода.

— Это ужасъ, однакожъ, что̀ за горячка! сказалъ Николай Степанычъ, провожая его глазами.—Весь въ мать! Но молодецъ, однакожъ, и славный мальчикъ!

— Да, возразила жена,—странно только, какіе у него все старые знакомые; а онъ съ ними даже на *ты*; это удивительно!.. А эта женщина,—каково? въ восемнадцать-то лѣтъ! Онъ, должно-быть, однакожъ, большой повѣса!..

— Вѣроятно... Они, говорятъ, начинаютъ здѣсь жить очень рано...

— Впрочемъ, онъ достаточно joli garçon, чтобы дѣлать конкеты...

— А ты ужъ замѣтила это? О, Софья Петровна! Софья Петровна! перебилъ шутливо мужъ, котораго прибытіе въ столицу приводило въ веселое настроеніе духа.

— Конечно, замѣтила!.. Но это удивительно, какой онъ маленькій... совершенный ребенокъ!

— Какъ же ты хочешь, мой другъ! какой же можетъ быть ростъ, когда человѣкъ начинаетъ жить такъ рано? Сестра умерла; онъ остался одинъ, какъ перстъ, пятнадцати лѣтъ; состояніе было хорошее, онъ дѣлалъ, что̀ хотѣлъ... опекуны давали ему полную свободу; они находили, вѣроятно, свой расчетъ въ этомъ... Ну, разумѣется! А жаль, тѣмъ болѣе, что славный мальчикъ; немножко

горячъ и вѣтренъ, но это пройдетъ съ лѣтами, добродушно промолвилъ дядя.

Не успѣли они перекинуться такими замѣчаніями, какъ уже загремѣли экипажи и почти въ ту же секунду застучали каблуки маленькаго Свищова.

— Вотъ и я! сказалъ онъ, являясь передъ дядей и теткой. — Простите, однакожъ, что такъ долго... Не могъ не сказать двухъ словъ Катеринѣ Михайловнѣ,—она мнѣ попалась въ воротахъ. Это, какъ я вамъ сказывалъ, одна изъ милѣйшихъ нашихъ женщинъ!.. какіе глаза, замѣтили вы, дядя?.. а? чудо!.. Но ѣдемте, однакожъ; вы устали и вамъ нужно отдохнуть... Я слишкомъ хорошо знаю, что̀ значитъ не спать ночь... Эй, солдаты, взять эти чемоданы и отнести въ экипажи! крикнулъ Кокò и, щелкнувъ каблуками, ловко выгнулъ правую руку и подалъ ее теткѣ.

Чемоданы, благодаря распорядительности племянника, положены были въ одно мгновеніе въ коляску; дѣти, Фуфлыгины и самъ Кокò сѣли въ карету.

— Пошелъ въ Большую Морскую! крикнулъ Кокò,—да смотри, живо у меня, и не отставать отъ коляски!..

— Ну, спасибо, Кокò, спасибо, что ты исполнилъ мою просьбу, сказалъ Николай Степанычъ, когда тронулись экипажи.— Мнѣ хотѣлось сдѣлать сюрпризъ брату Аркадію и не хотѣлось безпокоить кузена Мирзоева, понимаешь? потому я и просилъ тебя не возвѣщать имъ о днѣ нашего пріѣзда.

— Ха-ха-ха! это мнѣ нравится! Да какъ же я могъ сказать имъ объ этомъ? скоро годъ, какъ я не бываю ни у того, ни у другого...

— Какъ такъ?

— Да такъ, очень просто; дядя Аркадій еще ничего, такъ себѣ... какъ говорится... но его жена — это просто какая-то нюня... Я даже иначе и не зову ее, какъ Нюнія Васильевна... право!.. Впрочемъ, они оба мнѣ надоѣли... скука адская!..

— Помилуй, какъ же это ты говоришь?..

— А что жъ такое? Что онъ дядя, а она тетка,—это для меня рѣшительно все равно! Вотъ вы—это другое! Я васъ люблю... А они! да чортъ ли мнѣ въ нихъ, когда съ ними скука!.. Что жъ касается до Мирзоевыхъ: она, то-есть Александра Семеновна, премилая и даже прехорошенькая женщина; какіе волосы, тетушка,—это, просто,

объяденье! и ножка также очень хороша... это, вѣдь знаете, главное въ женщинѣ!.. тамъ какъ ни толкуй себѣ: „душа! сердце!“ Вѣдь души и сердца не видать, а ножку видно... Вотъ у васъ, тетушка, прехорошенькая ножка, я ужъ это замѣтилъ, когда мы спускались съ лѣстницы дебаркадера... продолжалъ Кокò, нимало не обращая вниманія на смущеніе Софьи Петровны и на изумленіе дяди, который слушалъ его, тараща глаза. — Ну, а ужъ насчетъ самого Мирзоева, я вамъ скажу, это такая ско...., такая крыса, просто, плюнуть не хочется, право!.. Я ему это прямо разъ въ глаза сказалъ; представьте, это животное...

— Кокò! Кокò! съ упрекомъ и ужасомъ прервалъ Николай Степанычъ.

— Да чему жъ вы удивляетесь? Ей-Богу, въ глаза сказалъ; онъ началъ вдругъ дѣлать мнѣ нравоученія, а? каково вамъ это нравится? А я ему и хватилъ: „Ахъ, говорю, вы этакая крыса!“ право!.. Съ тѣхъ поръ онъ видѣть меня не можетъ... Очень мнѣ нужно! Жаль только, что съ нею больше не вижусь, и то потому, вы понимаете, что она хорошенькая... потому только... А, впрочемъ, Богъ съ ними! Стóитъ ли говорить обо всемъ этомъ, когда мы ѣдемъ по Невскому проспекту!.. Посмотрите-ка, какова улица, а?.. Вотъ это Владимірская... видите ли вы этотъ домъ? Это такъ-называемые московскіе номера; обѣдъ сквернѣйшій, вино также, но номера удивительные. А вотъ этотъ домъ направо, тетушка, видите?.. Онъ напоминаетъ мнѣ исторію моей юности... „О, моя юность! о, моя свѣжесть!“ какъ сказалъ какой-то поэтъ; это было въ ту пору, когда я еще влюблялся... Видите ли этотъ подъѣздъ? я, бывало, простаивалъ тутъ цѣлыя ночи... просто смѣшно, какъ подумаешь; не правда ли?.. А вотъ и Александринскій театръ, а тамъ улица любви... но я давно отсталъ отъ театральства и по ней ѣзжу безъ всякаго интереса... Гостиный дворъ также не интересенъ; но зато вотъ этотъ перчаточный магазинъ,—это дѣло другое! Тутъ, надо вамъ сказать, обитаетъ одна mademoiselle Clara—просто конфетка, сахаръ, бланманже, а не женщина!.. Вотъ это Пассажъ, или „пріютъ“, какъ мы его называемъ... А вотъ вамъ, дядюшка, какъ провинціалу и, слѣдовательно, гастроному (я замѣтилъ, всѣ провинціалы ужасные ѣдоки), вамъ совѣтую обратить особенное вниманіе на это почтенное заведеніе: это такъ-называемыя Милютинскія лавки!

Мы непремѣнно пойдемъ съ вами ѣсть сюда устрицы и пить шамбертень... Тетушка, вы кушаете устрицы? спросилъ неожиданно Кокò, обращаясь къ теткѣ и поглаживая на верхней губѣ воображаемые усики.

Софья Петровна покраснѣла и взглянула на мужа.

— Да... почему же... отчего же... гм! гм! отозвался Николай Степанычъ, который все болѣе и болѣе таращилъ глаза и сталъ даже разводить руками.

— Слѣдовательно, я васъ, тетушка, заранѣе приглашаю! любезно подхватилъ Кокò. — А вотъ этотъ домъ налѣво съ балкономъ... я глядѣть на него не могу безъ вздоха; тутъ, комически торжественнымъ тономъ продекламировалъ Кокò,—тутъ обитаетъ la reine de mon coeur, то-есть такъ говорится, а въ сущности живетъ тутъ одна француженка... Впрочемъ, мы поѣдемъ на минеральныя воды, и я вамъ покажу ее; мнѣ хочется знать, какое заключеніе вы сдѣлаете о моемъ вкусѣ... Bonjour, Fiflon! крикнулъ онъ, высовываясь изъ окна кареты и посылая воздушный поцѣлуй какому-то толстяку. — Это, надо вамъ сказать, Fiflon, погребщикъ, куда мы собираемся иногда по утрамъ завтракать... Онъ знаменитъ тѣмъ, что ни у кого во всемъ Петербургѣ нѣтъ такой удивительной мадеры и такого коньяку! Это чудо, что такое!..

— Боже мой, онъ всѣхъ и все знаетъ... Но когда же ты успѣлъ?..

— Это удивительно!..

— Ха-ха-ха! залился Кокò, которому снова польстило такое замѣчаніе. — Какъ же мнѣ не знать: я вѣдь живу, а не прозябаю!—живу, дядюшка, понимаете?.. А! вотъ и Морская!.. Налѣво, это Rocher de Cancale! Хорошо, но только en partie fine, а иначе скука! А вотъ зато нашъ милый Дюссо! Мы тамъ, какъ въ семействѣ; это сокровище, а не человѣкъ! Онъ вѣритъ въ долгъ, какъ никто въ свѣтѣ! Мы ему всѣ должны... но въ нашъ вѣкъ кто же не долженъ?.. Мы непремѣнно, дядюшка, и вы, тетушка, поѣдемъ къ нему обѣдать, en partie carrée, это непремѣнно! это даже такъ слѣдуетъ!.. Я самъ составлю карту и потомъ самъ сварю вамъ жженку... Никто лучше меня это не дѣлаетъ; вы увидите!.. Но вотъ мы и пріѣхали... Эй! крикнулъ Кокò, высовываясь изъ кареты,—направо ко второму подъѣзду, гдѣ фонарь... Стой! стой же, каналья, когда говорятъ тебѣ! заключилъ онъ, распахивая дверцы и выскакивая на тротуаръ.

Онъ подалъ руку теткѣ и приказалъ извозчикамъ слѣзть съ козелъ и вносить чемоданы. Когда приказаніе было исполнено, Кокó отворилъ дверь отеля и ввелъ родственниковъ въ богатую прихожую, украшенную великолѣпной лѣстницей, устланной ковромъ и обставленной цвѣточными горшками. Въ эту самую минуту на лѣстницѣ показался лакей въ черномъ фракѣ и бѣломъ галстукѣ.

— Номера всѣ заняты-съ... сказалъ лакей.

Кокò далъ ему сойти внизъ, поглядѣлъ ему въ глаза и сказалъ: „дуракъ!“

— Какъ вамъ будетъ угодно-съ, только номеровъ нѣтъ...

— Пошелъ вонъ! крикнулъ Кокò, стуча каблуками. — Этакая вѣдь скотина! подхватилъ онъ, обратившись къ дядѣ и теткѣ, которые съ недоумѣніемъ поглядывали другъ на друга.

За первымъ лакеемъ явились двое другихъ.

— Вы изволите спрашивать номеръ? сказали они въ одинъ голосъ.—Номеровъ нѣтъ-съ...

— Да что вы взбѣсились, скоты, что ли? воскликнулъ Кокò, мгновенно вспыхивая, какъ селитра, къ которой приложили уголь. — Эй, вы! повелительно обратился онъ къ извозчикамъ,—берите вещи и несите наверхъ...

— Помилуйте, сударь, мы бы очень рады, заговорили лакеи,—но, право, всѣ номера заняты...

— Что жъ вы, а? крикнулъ Кокò извозчикамъ.

Извозчики подняли чемоданы и сдѣлали нѣсколько шаговъ впередъ; лакеи загородили имъ дорогу.

— Что-о-о! яростно подхватилъ Кокò, дѣлая движеніе, чтобы броситься впередъ; но Николай Степанычъ удержалъ его.

— Полно, братецъ, сказалъ онъ,—это, право, очень непріятно! Можетъ-быть, у нихъ въ самомъ дѣлѣ нѣтъ номеровъ... изъ чего ты горячишься?..

— Laissez-cela... проговорила Софья Петровна.

— Позвать сюда приказчика! произнесъ Кокò, подавляя въ себѣ ярость, но тѣмъ не менѣе подпрыгивая на каблукахъ.

Не успѣлъ онъ произнести этихъ словъ, какъ явился приказчикъ, толстый, громадный человѣкъ, также во фракѣ, бѣломъ жилетѣ и галстукѣ. Но появленіе его, вмѣсто того, чтобы успокоить юнаго Свищова, казалось, еще больше раздражило послѣдняго.

— Ты меня знаешь? спросилъ онъ, закидывая руки

назадъ и тщетно стараясь взглянуть въ глаза приказчику, потому что сколько Кокò ни подымался на носки, лицо его никакъ не могло достигнуть выше живота приказчика.—Я тебя спрашиваю: знаешь ли ты меня?..

— Знаю... густымъ басомъ проговорилъ приказчикъ,— вы на прошлой недѣлѣ брали номеръ... но онъ теперь занятъ...

— Какъ же ты осмѣлился, когда я далъ задатокъ? спросилъ Кокò, изгибаясь передъ приказчикомъ, какъ маленькая змѣя у подножія дуба.

— Вчера кончился срокъ, и номеръ отдали, коротко и сухо проговорилъ приказчикъ.

— Ахъ, вы, мерзавцы!..

— Вы, сударь, здѣсь кричать не извольте...

— Кокò, ради Бога! воскликнулъ Николай Степанычъ, котораго жена упрашивала оставить гостиницу.—Мы сейчасъ уѣзжаемъ... оставь это... фу, какъ это непріятно... пожалуйста, оставь!..

На лѣстницѣ поднялся страшный гвалтъ: Кокò покрывалъ весь этотъ шумъ своею фистулою, которая отъ натуги превращалась уже въ хрипоту.

— Qu'est-ce qu'il y a? произнесъ, вбѣгая, хозяинъ, сѣденькій, очень щепетильнаго вида французъ.

— Il y a que vous êtes une canaille et que je vais vous rosser tous!.. взвизгнулъ Кокò съ пѣною у рта.

Смущеніе Николая Степаныча и жены его дошло до крайняго предѣла; Николай Степанычъ то подымался на лѣстницу, то спускался внизъ къ своимъ чемоданамъ; Софья Петровна уговаривала дѣтей, которыя, напуганныя всею этою сценой, рыдали неутѣшно. Шумъ на лѣстницѣ подымался все сильнѣе и сильнѣе; поминутно слышались слова „полиція“.

— Я самъ требую полиціи! я самъ пойду въ полицію! хрипѣлъ юный Свищовъ, окончательно уже потерявшій голосъ.

Между тѣмъ Николай Степанычъ схватилъ въ охапку мѣшки свои, извозчики подняли чемоданы и поспѣшно направились къ двери.

— Пойдемъ въ полицію, дядюшка, говорилъ Кокò, сбѣгая внизъ,—такъ нельзя имъ спускать... Это вѣдь разбойники!.. Вы, тетушка, не безпокойтесь; изъ этого только то выйдетъ, что они будутъ наказаны, какъ и слѣдуетъ... Дайте мнѣ вашу руку... Эй, вы, взять чемоданы! обра-

тился онъ къ извозчикамъ,—вы отвезете барыню въ гостиницу „Парижъ“; это тутъ за угломъ... Мы сейчасъ же вернемся... это близехонько.

И юный Свищовъ вышелъ на тротуаръ, слѣдуя за своими родственниками.

Усадивъ жену въ карету, Николай Степанычъ бросилъ на нее взглядъ, какъ бы прощался съ нею навѣки. Кокò взялъ дядю подъ руку и повелъ его по тротуару.

— Ты не повѣришь, братецъ, какъ мнѣ все это непріятно... взволнованнымъ голосомъ проговорилъ дядя.

— Э, помилуйте, дядюшка, что жъ такое! это на каждомъ шагу случается... Нельзя же! согласитесь сами: надо проучивать этихъ негодяевъ!.. Вы, пожалуйста, успокойтесь.

Но дядюшка не успокоивался и умолялъ Кокò бросить это дѣло.

— Эхъ, дядюшка, какой вы, право! съ досадою говорилъ Кокò,—вы только все дѣло портите... право! Поѣхали бы къ полицеймейстеру,—и вы увидѣли бы, какъ бы онъ ихъ отдѣлалъ!.. Нельзя такъ! надо учить этихъ негодяевъ!.. Впрочемъ, это имъ такъ не пройдетъ; я еще выведу на свѣжую воду эту исторію.

— Нѣтъ, ужъ пожалуйста... прошу тебя... робко перебилъ дядя,—оставимъ это. Гдѣ же эта гостиница „Парижъ“?.. Куда мнѣ идти?.. Ты со мною пойдешь?.. нерѣшительно спросилъ онъ.

— Нѣтъ, дядюшка, вы ужъ меня извините, и передъ тетушкой также извинитесь... но я не могу теперь... Впрочемъ, позвольте, надо узнать, который часъ, сказалъ Кокò, хлопотливо вынимая часы.

Сердце Николая Степаныча снова стѣснилось.

— Какъ, ужъ четверть двѣнадцатаго!.. нѣтъ, не могу, дядюшка! Мнѣ надо непремѣнно ѣхать въ Царское; машина отходитъ ровно въ двѣнадцать; тамъ нынче пробуютъ троечную ѣзду, и я далъ слово Кокуеву непремѣнно присутствовать; его тройка! Не забудьте же извиниться передъ тетушкой... Сегодня вечеромъ, часу въ десятомъ, я къ вамъ заѣду непремѣнно... Ступайте все прямо, потомъ направо, въ Малую Морскую, и третій подъѣздъ отъ угла... И такъ, до вечера, да?

— Д...д...да, тягостно проговорилъ дядя, протягивая руку племяннику.

— Adieu! сказалъ Кокó.

Онъ бросился въ первую пролетку, крикнулъ: пошелъ! и мгновенно исчезъ изъ виду.

— Э, нѣтъ, это ужасно! Это просто ужасъ, что такое! бормоталъ Николай Степанычъ, слѣдуя по указанному пути и не взглядывая даже на зданіе Исаакіевскаго собора,—такъ сильно былъ онъ пораженъ.—Нѣтъ, я буду бѣгать отъ этого молодца... рѣшительно буду бѣгать!.. Кто бы могъ это подумать, а? Кокò! скажи на милость... ай, ай, ай!.. Богъ съ нимъ совсѣмъ! Хотя онъ сынъ сестры моей, но своя рубашка ближе къ тѣлу; съ нимъ пропадешь совсѣмъ... Нѣтъ, я буду отъ него бѣгать...

Размышляя такимъ образомъ, Николай Степанычъ подошелъ къ третьему подъѣзду на Малой Морской; встрѣтивъ лакея въ дверяхъ, онъ освѣдомился, здѣсь ли остановилась госпожа Фуфлыгина.

— Третій номеръ! сказалъ лакей,—пожалуйте сюда-съ...

— Слава Богу... Уфъ! произнесъ Николай Степанычъ и торопливо зашагалъ по ступенькамъ лѣстницы.

IV,

въ которой является Аркадій Ивановичъ Пигуновъ и его семейство.

Софья Петровна заняла очень хорошій номеръ: онъ состоялъ изъ прихожей и трехъ комнатъ, расположенныхъ въ бель-этажѣ и выходившихъ окнами на Малую Морскую. Осмотрѣвъ новое свое жилище, Николай Степанычъ пришелъ въ восхищенье, но сильно, однакожъ, вооружился противъ цѣны, которая, по его мнѣнію, была чудовищна и ни въ какомъ случаѣ не согласовалась съ теперешнимъ его безденежьемъ.

— Но другого номера не было во всей гостиницѣ, что жъ мнѣ было дѣлать! сказала Софья Петровна.—И, наконецъ, я также приняла въ расчетъ, что къ намъ станутъ ѣздить наши родственники... Надо же принять ихъ прилично. Вотъ какъ я распорядилась, смотри! подхватила она, увлекая мужа.—Первая комната замѣнитъ намъ гостиную, столовую, пріемную, словомъ, все, что хочешь... Это, мой другъ, совершенно отъ тебя зависитъ; во второй комнатѣ помѣстятся дѣти, а въ третьей будетъ наша спальня. Кажется, лучше нельзя придумать?.. Ахъ, Nicolas, какъ меня напугалъ твой племянникъ! я до сихъ поръ не могу придти въ себя... Гдѣ онъ? Чѣмъ все это

кончилось? неожиданно проговорила Софья Петровна, спѣша окончательно замять рѣчь о номерѣ, который казался ей очень comme il faut, и стараясь обратить мысли мужа къ другому предмету.

Маневръ ея увѣнчался блистательнымъ успѣхомъ; Николай Степанычъ съ жаромъ заговорилъ о продѣлкахъ племянника и передалъ обо всемъ случившемся; онъ заключилъ, что всѣми силами будетъ стараться избѣгать этого молодца (такъ называлъ онъ Кокò) и, не говоря уже слова женѣ о ея распоряженіяхъ и чудовищной дороговизнѣ номера, приступилъ къ раскладкѣ мѣшковъ и чемодановъ.

Часамъ къ двумъ Фуфлыгины совсѣмъ устроились. Послѣ легкаго завтрака, Николай Степанычъ выразилъ желаніе отправиться тотчасъ же со всею семьею къ брату Аркадію, но Софья Петровна убѣдила его отложить все это до слѣдующаго утра. Она подъ собою ногъ не чувствовала отъ усталости! (Хорошенькіе глазки Софьи Петровны и лицо ея дѣйствительно носили слѣды утомленія, и весьма естественно, ей не хотѣлось предстать передъ родственниками съ измятымъ лицомъ—de l'autre monde! какъ она всегда выражалась въ такихъ случаяхъ). Надобно было подумать также о бѣдныхъ дѣтяхъ, которыя такъ дурно спали! Надобно было также подумать о платьяхъ, которыя страхъ измялись въ чемоданахъ, ни на что рѣшительно не были похожи и требовали по крайней мѣрѣ дня времени, чтобы принять приличный видъ; послѣ того, Софья Петровна перешла къ мужу и, съ свойственнымъ ей убѣждающимъ краснорѣчіемъ, доказала ему, какъ дважды два—четыре, что во всемъ существѣ его вѣрно не находится теперь цѣлаго суставчика и цѣлой косточки; Николай Степанычъ объявилъ, что ничего не могло быть справедливѣе такого замѣчанія. Основываясь на этомъ—остатокъ дня посвященъ былъ отдыху. Вечеромъ, часовъ въ семь, семейство пробудилось и потребовало чаю; Николай Степанычъ написалъ записочку брату, извѣщая его о своемъ пріѣздѣ.

— Завтра, чѣмъ свѣтъ, ты снесешь это письмо по адресу, сказалъ онъ лакею, явившемуся, чтобы убрать чайный приборъ,—да вотъ еще что: ко мнѣ обѣщался пріѣхать сегодня вечеромъ одинъ господинъ; скажи ему, что мы уѣхали... уѣхали къ Аркадію Ивановичу Пигунову, или просто скажи: уѣхали къ брату и вернемся не

ранѣе перваго, второго ночи... Попроси его не дожидаться и пріѣхать завтра утромъ...

— Только часовъ въ одиннадцать, не раньше! замѣтила Софья Петровна, разсчитывая не быть уже дома въ это время.

— Именно: въ одиннадцать! подтвердилъ Николай Степанычъ, движимый тою же мыслію.

Полчаса спустя послѣ ухода человѣка, Николай Степанычъ, его жена и дѣти снова спали, какъ убитые.

Долгій сонъ способствовалъ, впрочемъ, къ раннему ихъ пробужденію. Было еще восемь часовъ утра, когда глава семейства позвонилъ человѣка. Всѣ порученія, данныя имъ наканунѣ, оказались въ точности исполненными; молодой человѣкъ, о которомъ упоминалъ Николай Степанычъ, явился вчера въ самую полночь, но ему было отказано, съ просьбою явиться сегодня въ одиннадцать, письмо отнесено чѣмъ свѣтъ и доставлено по адресу. Довольный распорядительностью слуги, Николай Степанычъ вручилъ ему обѣщанную награду и приказалъ подать горячей воды. Получивъ требуемое, онъ торопливо отправился въ третью комнату и расположился бриться. Софья Петровна, между тѣмъ, занялась одѣваньемъ, обуваньемъ и умываньемъ Лёши и Поши.

Николай Степанычъ выбрилъ уже лѣвую щеку и приступалъ къ правой, которая, вплоть до самаго глаза, исчезала подъ слоемъ густо взмыленной пѣны, когда въ сосѣдней комнатѣ раздался вдругъ крикъ жены, сопровождавшійся топаньемъ цѣлой дюжины ногъ, шумными возгласами, дѣтскимъ пискомъ и звонкимъ чмоканьемъ. Догадавшись въ чемъ дѣло, Николай Степанычъ поспѣшно всталъ и положилъ бритву на столъ; но не успѣлъ онъ схватить полотенце и обтереть правую щеку, какъ дверь растворилась, и онъ очутился въ объятіяхъ брата.

— Аркадій!.. Аркадій!.. воскликнулъ Николай Степанычъ, усиливаясь держать голову въ одномъ направленіи и подставляя брату выбритую щеку.

— Николай... братъ... ты ли это?.. тебя ли я обнимаю?.. о, Боже!.. повторялъ прерывающимся голосомъ братъ.

Въ увлеченіи своемъ Аркадій Иванычъ не разбиралъ щекъ своего брата и съ одинаковою горячностью припадалъ какъ къ той, такъ и къ другой; въ одну секунду, одна изъ огромныхъ бакенбардъ Пигунова покрылась

мыльною пѣной; но онъ ничего не видѣлъ, ничего не замѣчалъ, и, продолжая держать брата въ объятіяхъ, осыпалъ его страстными, нѣжными поцѣлуями.

Глядя на Аркадія Иваныча Пигунова, нельзя, однакожъ, никакъ было предполагать въ немъ способности къ сильнымъ сердечнымъ порывамъ, и еще менѣе можно было подозрѣвать о существованіи въ немъ тѣхъ богатыхъ запасовъ чувствительности и нѣжности, которые изливалъ онъ на брата. Не считая уже того, что ему было подъ сорокъ лѣтъ, никакое энергическое лицо неаполитанскаго бандита—будь оно писано хоть самимъ Сальваторомъ-Розой—не передастъ вамъ портрета Пигунова. Представьте себѣ лицо темно-коричневаго цвѣта, и притомъ самаго мрачнаго очертанія, почти заслоненное черными, какъ смоль, курчавыми, взъерошенными волосами, огромными бакенами, расходившимися вѣеромъ, бородою и усами, имѣвшими видъ разъяреннаго каскада; изъ этой волосяной гущи подозрительно выглядываетъ загнутый клювомъ носъ и глаза, оттѣненные дугою густыхъ сросшихся бровей; о выраженіи глазъ мы ничего не можемъ сказать опредѣлительнаго; въ настоящую минуту они потоплялись слезами, которыя обильно струились по щекамъ и ниспадали на бакены. Физіономія Пигунова находилась въ замѣчательной гармоніи съ его одеждой; она состояла изъ темно-бураго пальто, протертаго во многихъ мѣстахъ, темныхъ широкихъ панталонъ, покрывавшихъ нечищенные сапоги, и чернаго глянцевитаго галстука, пропускавшаго кой-гдѣ бѣлье весьма сомнительной свѣжести; несмотря на весеннюю пору, въ рукахъ Пигунова находился тяжеловѣсный плисовый картузъ, который оставилъ слѣды пуха не только на головѣ своего владѣльца, но даже на всѣхъ предметахъ, къ которымъ прикасался. Слезы, струившіяся изъ глазъ Аркадія Иваныча, и выраженіе нѣжнаго сердечнаго умиленія, отпечатаннаго въ чертахъ его, могли тѣмъ сильнѣе поражать, что Аркадій Иванычъ десять лѣтъ не видался съ Николаемъ Степанычемъ и въ продолженіе этого времени ни разу даже не писалъ ему, кромѣ письма, представленнаго въ первой главѣ. Но надо знать коротко Аркадія Иваныча, чтобы дѣлать о немъ какія бы то ни было заключенія; не находилось, быть-можетъ, во всей вселенной человѣка, у котораго наружность такъ сильно противорѣчила съ душевными свойствами; представьте себѣ изящный кафе-

ресторанъ, въ которомъ потребляются только самыя нѣжныя, изысканныя блюда, и который вздумалъ бы повѣсить вывѣску грубой загородной харчевни или кабака! Не могу пріискать лучшаго сравненія: подъ мрачной, встрепанной наружностью Пигунова скрывалась душа малиновки и билось самое мягкое, впечатлительное и даже поэтическое сердце. Онъ не могъ рѣшительно говорить о хорошей картинѣ, статуѣ, романѣ или стихотвореніи безъ того, чтобы ноздри его не начали тотчасъ же раздуваться и на рѣсницахъ не засверкали слезы; надо было видѣть Аркадія Иваныча въ обществѣ людей, которые были ему по душѣ, которыхъ вкусы и мысли отвѣчали его природнымъ наклонностямъ; надо было видѣть его въ кругу артистовъ и художниковъ, сидящаго за столомъ хорошаго кафе-ресторана, смакующаго тонкое блюдо или держащаго въ правой рукѣ бокалъ шампанскаго! Надо было видѣть, какъ онъ тогда оживлялся, съ какимъ увлеченіемъ говорилъ о Римѣ, о Колизеѣ, о Рафаэлѣ, о Ватиканѣ и куполѣ св. Петра! Въ эти минуты, никто сильнѣе его не чувствовалъ красоты римской Компаньи съ высотъ monte Pincio; никто не умѣлъ съ такой поразительной силой красокъ передать о наслажденіи сидѣть въ трактирѣ Лепри и вкушать сочные брокколи, ѣсть макароны и заливать ихъ красненькимъ итальянскимъ винцомъ изъ плетеной фольетты; никто не повѣствовалъ съ такимъ умиленіемъ о прелести лежать навзничь подъ виноградною трелію, насквозь пронизанной лучами солнца, и въ то же время медленно протягивать руку къ янтарнымъ лозамъ, висящимъ надъ головою...

— Господа! восклицалъ тогда Аркадій Иванычъ, нѣжно прищуривая лѣвый глазъ по направленію къ бокалу и выпуская изъ праваго глаза потоки слезъ,—живемъ ли мы, или прозябаемъ?.. Да! мы прозябаемъ!.. Мы влачимъ жизнь въ постыдномъ одеревянѣніи! Здѣсь мерзнетъ душа... мерзнетъ сердце; нѣтъ простора для чувствъ и возвышенныхъ стремленій!.. Туда! въ страну Рафаэля, олифъ и кипариса!..

Достойно замѣчанія, что Пигуновъ никогда не былъ въ Италіи; онъ не имѣлъ даже малѣйшаго повода туда отправиться; свѣдѣнія свои объ этой странѣ почерпнулъ онъ отъ молодого живописца, который вернулся изъ путешествія и угощалъ Пигунова нѣсколько дней сряду въ одномъ изъ трактировъ Васильевскаго острова. Это

произошло уже въ то время, когда Пигуновъ находился въ положеніи, описанномъ имъ въ письмѣ къ брату, т. е. когда имѣніе его продано было съ молотка и онъ сидѣлъ со своимъ семействомъ, какъ на мели, посреди Петербурга. Послѣ несчастія своего, Аркадій Иванычъ нѣсколько разъ опредѣлялся на службу; но ему рѣшительно не везло на служебномъ поприщѣ; въ послѣднія пять-шесть лѣтъ (ему было уже теперь, какъ я сказалъ, подъ сорокъ), несмотря на всѣ старанія свои, не могъ онъ пріискать мѣста; имъ овладѣла съ тѣхъ поръ страшная меланхолія, и нервы его такъ разстроились, что слезы начинали дрожать на рѣсницахъ почти безъ всякой причины; дѣти и жена (убѣждавшая его заняться какимъ-нибудь дѣломъ) тщетно старались его разсѣять; дни свои проводилъ онъ въ горькихъ сѣтованіяхъ противъ судьбы, которая жестоко обманула его надежды (въ чемъ состояли эти надежды, неизвѣстно); или (когда случалось ему сидѣть съ художниками въ кафе-ресторанѣ,—а такіе случаи не были рѣдки)—въ возгласахъ негодованія противъ сѣверной природы, прозаической прозябательной жизни и горячихъ, неукротимыхъ порываніяхъ къ поэтической странѣ, родинѣ Рафаэля и Микель-Анджело, Аркадій Иванычъ Пигуновъ сильно порывался иногда къ поэтической жизни, такъ сильно чувствовалъ потребность обновиться и побывать въ этомъ Римѣ, гдѣ рядомъ съ Ватиканомъ возникаетъ трактиръ Лепри, а рядомъ съ monte Pincio находится такое изобиліе плетеныхъ фольеттъ съ добренькимъ красненькимъ мѣстнымъ винцомъ (его собственное, любимое выраженіе), что неоднократно бросалъ нѣжно обожаемыхъ дѣтей, жену, и таинственно пускался въ дальнее странствованіе. Но страстная, легко увлекающаяся природа Аркадія Ивановича постоянно мѣшала ему достигнуть желаемой цѣли: недѣлю или двѣ спустя послѣ таинственнаго исчезновенія, онъ отыскивался всегда въ какомъ-нибудь трактирѣ (дальше Петергофа онъ никогда не забирался), но уже лишенный всякихъ средствъ не только продолжать путешествіе, но даже расплатиться съ трактирщикомъ и вернуться въ Петербургъ; но Провидѣніе всегда какъ-то выручало Пигунова; онъ летѣлъ тогда стремглавъ домой, падалъ къ ногамъ жены и исчислялъ всѣ ея добродѣтели и всѣ свои пороки, просилъ прощенія у всѣхъ дѣтей вмѣстѣ и становился на колѣна передъ каждымъ порознь, называлъ себя извергомъ рода человѣ-

ческаго, чудовищемъ, рвалъ на себѣ волосы, страшно билъ себя кулакомъ въ грудь, потомъ успокоивался, проводилъ нѣсколько дней сряду, качая на одномъ колѣнѣ жену, на другомъ дѣтей своихъ, и въ то же время страстно прижимая ихъ къ сердцу, говорилъ, что онъ въ раю, что вкушаетъ неземное блаженство, исполняя высшее назначеніе человѣка,—и вдругъ, безъ всякой видимой причины, снова впадалъ въ безотрадную меланхолію; тогда, при первыхъ двадцати цѣлковыхъ, случайно попадавшихъ ему въ карманъ, даже при десяти цѣлковыхъ и менѣе,— снова покидалъ онъ таинственно семью и снова, спустя день или два, отыскивался въ какомъ-нибудь заведеніи, совершенно лишенный способа продолжать путешествіе по дорогѣ къ Риму...

Но мы забѣгаемъ, однакожъ, впередъ; просимъ читателя возвратиться въ третій номеръ гостиницы „Парижъ". Аркадій Иванычъ до сихъ поръ еще не успѣлъ достаточно нацѣловаться съ братомъ, котораго не видалъ такъ долго. Онъ все еще держалъ Николая Степаныча въ объятіяхъ, крѣпко прижималъ его къ сердцу—и продолжалъ обливаться слезами.

— Прости меня, братъ, я, кажется всего тебя вымочилъ, сказалъ наконецъ Пигуновъ, выпуская Николая Степаныча и отирая глаза,—но я не могъ овладѣть собою! все это случилось такъ неожиданно... это потрясло меня!.. Я зналъ, что ты долженъ пріѣхать... ждалъ тебя каждую секунду, но все-таки... представь: я лежалъ еще въ постели, вдругъ приносятъ записку; развертываю... ты пріѣхалъ!.. Это меня потрясло до такой степени, что моя Нидочка... Ахъ, Боже мой, объ чемъ же я думаю?.. моя жена и дѣти всѣ здѣсь; они стремглавъ кинулись за мною, когда узнали о твоемъ пріѣздѣ, и страстно желаютъ съ тобою познакомиться... Пойдемъ скорѣе... заключилъ Пигуновъ, увлекая брата къ двери.

— Послушай, я, однакожъ, не бритъ... одна только щека выбрита... Я въ халатѣ... проговорилъ Николай Степанычъ, упираясь ногами.

— Какъ!.. Послушай, братъ, что-жъ, ты хочешь меня обидѣть? ее хочешь обидѣть наконецъ? подхватилъ Пигуновъ растроганнымъ голосомъ, — недостаетъ того только, чтобы мы стали церемониться между собою...

— Помилуй, вовсе нѣтъ, но все же!.. дай мнѣ хоть пальто надѣть...

— Ни за что въ свѣтѣ!.. Разъ навсегда, прошу тебя, выбрось изъ головы всѣ эти церемоніи; Нидочка моя совсѣмъ не такая... Прошу тебя, не только здѣсь, но даже къ намъ являться не иначе, какъ въ халатѣ...

— Позволь мнѣ хоть запахнуться...

— Вздоръ! прервалъ Пигуновъ и, приподнявъ почти брата на рукахъ, повлекъ его въ первую комнату, служившую гостиной, гдѣ Софья Петровна расположилась со своею belle soeur и гдѣ находились всѣ дѣти.

Николай Степанычъ увидалъ на диванѣ бѣлокурую, неимовѣрно тощую, тщедушную женщину съ костлявымъ лицомъ и тусклыми, потухшими глазами, изъ которыхъ одинъ былъ наполовину закрытъ назрѣвшимъ ячменемъ; жиденькій бурнусъ, когда-то зеленый, но уже порыжѣвшій,—драпировался на ней, какъ на палкѣ; несмотря на широкія складки бурнуса, который поминутно запахивала Пигунова, желая, вѣроятно, скрыть свое ветхое платье,—легко было замѣтить ея интересное положеніе (она постоянно, со дня своего замужества, пребывала въ такомъ положеніи); она была такъ слаба, что едва могла приподняться при появленіи Николая Степаныча. Но Пигуновъ поспѣшилъ поставить ее на ноги и, выразивъ опасеніе, чтобы съ нею не сдѣлалось дурно отъ чрезмѣрнаго потрясенія,—бережно положилъ ее на грудь брата и крѣпко обвилъ ея руками его шею. Послѣ этого онъ поднялъ Васю, Полиника и Соню (трехмѣсячнаго Аполлона онъ оставилъ дома, за неимѣніемъ няньки и кормилицы, которыя не хотѣли служить безъ жалованья), и облѣпилъ дѣтьми своими Фуфлыгина. Аркадій Иванычъ не могъ вынести такой сцены.

— Братъ! братъ! закричалъ онъ, зарыдалъ, раскрылъ объятія и прижалъ къ груди своей всю группу, жену, дѣтей и брата.

Софья Петровна глядѣла на все это удивленными глазами; на губахъ ея бродила какая-то странная улыбка; физіономія ея belle soeur, но болѣе порыжѣвшій бурнусъ Пигуновой (урожденной баронессы Ластъ), ветхое пальто и панталоны Аркадія Иваныча, жалкій видъ и одежда дѣтей его, поразили Софью Петровну до такой степени, что она едва могла опомниться. Аркадій Иванычъ не далъ ей, впрочемъ, долго углубляться въ самоё-себя; онъ сидѣлъ уже подлѣ нея, цѣловалъ ей руки, называлъ милою сестрою и просилъ любить его, какъ родного брата; послѣ

этого, онъ обратился къ племянникамъ и посадилъ Лешу и Пошу къ себѣ на колѣни.

Пользуясь временемъ, когда одинъ братъ осыпалъ поцѣлуями Лешу и Пошу, а другой братъ разсыпался въ любезности передъ belle soeur, стараясь въ то же время запахнуть халатъ, который поминутно раскрывали Вася, Полиникъ и Соня,—Софья Петровна распорядилась, чтобы подали чаю.

— Вотъ минута, о которой я мечталъ столько времени; о, драгоцѣнная, благословенная минута! воскликнулъ растроганнымъ голосомъ Пигуновъ, когда лакей поставилъ на столъ чайный приборъ,—я желаю, я молю Бога, чтобы связь, которая существуетъ между нами, Николай, существовала точно такъ же между нашими дѣтьми и женами!.. Изъ письма твоего... и вообще я вижу,—оба вы непоняты; васъ не оцѣнили!.. будемъ же жить ладно, согласно, какъ подобаетъ братьямъ и сестрамъ... Да, поживемъ вмѣстѣ!.. Я надѣюсь, я увѣренъ, что между нами вы найдете то спокойствіе, которое такъ напрасно... которое...

— Чего вы, братецъ? перебила Софья Петровна, видя, что Пигуновъ искалъ чего-то на подносѣ.

— Я ищу рому, сестрица... я привыкъ, знаете... утромъ...

Софья Петровна приказала принести рому.

— Нѣтъ, спасибо, братъ, я пью всегда со сливками, сказалъ Николай Степанычъ, останавливая брата, который прикладывалъ графинчикъ къ его стакану, — вообще я ничего не пью, никакихъ крѣпкихъ напитковъ... мнѣ это очень вредно.

— Слышишь, Аркадій, это вредно, уныло проговорила жена Пигунова, — вотъ и я всегда тебѣ говорю, что это вредно...

— Душечка, ангелъ мой, позволь!.. я вѣдь такъ только, для вкуса... для запаха... нѣжно возразилъ Пигуновъ, подливая въ стаканъ дѣйствительно одну только каплю.

Онъ сильно хлебнулъ чаю и снова подлилъ изъ графинчика.

— А знаете ли, друзья мои, заговорилъ Пигуновъ, радостно воодушевляясь, — знаете ли, это дѣйствительно одинъ изъ самыхъ радостныхъ дней въ моей жизни!.. Все какъ нарочно мнѣ сегодня улыбается!.. Во-первыхъ — вы пріѣхали. Потомъ у Нидочки страшно болѣли зубы и вдругъ перестали; у Полиника начинался коклюшъ, и вотъ уже два дня, какъ онъ не кашлялъ, словомъ все...

даже самыя мелкія обстоятельства, — и тѣ даже какъ словно улучшаются... Представь, одинъ господинъ долженъ мнѣ былъ, вотъ уже скоро два года, тысячу цѣлковыхъ— и что же? сегодня утромъ получаю я отъ него записку, въ которой сказано, что черезъ недѣлю, въ субботу, я могу получить эти деньги!.. Словомъ—все одно къ одному; есть такіе дни, когда въ душу, утомленную долгими страданіями, вдругъ какъ будто проникаютъ благотворные, живительные лучи солнца.

— Васъ, сударь, спрашиваютъ... неожиданно перебилъ лакей, появляясь въ дверяхъ.

— Кого?.. спросилъ Николай Степанычъ, торопливо запахивая халатъ и машинально проводя ладонью по небритой щекѣ.

— Нѣтъ, сударь, не васъ, а ихъ спрашиваютъ, пояснилъ лакей, указывая на Пигунова.

Аркадій Иванычъ быстро поднялся на ноги, тревожнымъ взглядомъ окинулъ присутствующихъ и, сказавъ человѣку: „Хорошо, братецъ, ступай!“, вышелъ за нимъ изъ номера.

Николай Степанычъ воспользовался этимъ случаемъ, чтобы сказать своей belle sœur нѣсколько словъ извиненія насчетъ своего костюма; онъ пояснилъ, что Аркадій не далъ даже ему выбриться, и, допивъ на скорую руку стаканъ, торопливо скрылся въ третью комнату. Но едва только намылилъ онъ свою правую щеку, дверь снова отворилась и появился Пигуновъ.

Волосы Аркадія Иваныча были страшно взъерошены, глаза его выскакивали изъ головы, каждая черта его лица находилась въ сильномъ движеніи и выражала отчаяніе, дошедшее до крайнихъ предѣловъ. Войдя въ комнату, онъ судорожно заперъ дверь и повернулъ ключъ въ замкѣ. Это обстоятельство еще сильнѣе напугало миролюбиваго Фуфлыгина.

— Что такое? спросилъ онъ.

Вмѣсто отвѣта, Пигуновъ схватилъ себя за волосы.

— Ахъ, Боже мой... что случилось? повторилъ Николай Степанычъ, роняя бритву.

— Я пропалъ! воскликнулъ Пигуновъ, ломая руки,—я несчастнѣйшій изъ людей!.. О, Боже! могъ ли я это ожидать?.. подхватилъ онъ, опускаясь въ кресло и снова схватывая себя за волосы. — Въ ту минуту, когда я благодарилъ судьбу, когда я радовался, какъ ребенокъ, когда

все такъ привѣтливо улыбалось... нѣтъ, это жестоко!.. я не вынесу этого удара...

— Но что же такое?..

— Взгляни! энергически подхватилъ Пигуновъ, — взгляни!.. заключилъ онъ и, взявъ за плечи брата, подвелъ его къ окну и заставилъ взглянуть на подъѣздъ гостиницы.

Николай Степанычъ увидѣлъ на подъѣздѣ двухъ человѣкъ, которые дѣлали другъ другу знаки и перешептывались.

— Я не понимаю... проговорилъ Фуфлыгинъ, у котораго въ головѣ начали вертѣться шарики, — эти два человѣка...

— Эти два человѣка... яростно перебилъ Пигуновъ, но вдругъ остановился, сдѣлалъ отчаянный жестъ, залился слезами и упалъ передъ братомъ на колѣни.

— Братъ! заговорилъ онъ, стукая себя кулакомъ подъ сердце, между тѣмъ какъ тотъ старался, но тщетно, поднять его, — братъ, спаси меня!.. Не для себя прошу, — нѣтъ!.. ты видишь передъ собою несчастнѣйшаго изъ людей!.. прошу тебя сдѣлать это для жены, для этой бѣдной женщины, которая и безъ того уже перенесла столько горя.

— Помилуй... Христосъ съ тобою!.. ради Бога! повторилъ Николай Степанычъ, дѣлая неимовѣрныя усилія, чтобы поставить его на ноги.

— Вникни въ ея положеніе, продолжалъ умолять Пигуновъ надорваннымъ голосомъ, — это ее убьетъ... она въ такомъ положеніи... и притомъ такъ страшно нервозна... При первомъ намекѣ, съ ней сдѣлается истерическій припадокъ... подумай: здѣсь, въ гостиницѣ!.. Эти два негодяя ни на что не обращаютъ вниманія... они ворвутся въ гостиницу... произведутъ скандалъ... Вникни въ мое положеніе... я не вынесу этого!.. Могъ ли я этого ожидать? въ ту минуту, когда я радовался, какъ невинный ребенокъ... о! это ужасно!..

— Но, ради самого Создателя!.. произнесъ окончательно уже растерявшійся Николай Степанычъ.

— Успокойся! успокойся... прости меня, я тебя напугалъ... нѣжно заговорилъ Пигуновъ, бросаясь въ свою очередь успокоивать брата, — но я потерялся... я былъ въ отчаяніи... Посуди: эти два человѣка... я имъ долженъ... Они не хотятъ ждать до субботы, когда я получу

деньги... Я всячески убѣждалъ ихъ,—все напрасно... Передъ тѣмъ, какъ идти къ тебѣ, они оба явились ко мнѣ; жена проболталась; она такъ была обрадована вашимъ пріѣздомъ! Она имѣла неосторожность сказать при нихъ дѣтямъ, что пріѣхалъ къ нимъ ихъ богатый дядя... Мы бросились сюда... Они, вѣроятно, за нами слѣдовали и теперь... Теперь, подхватилъ Пигуновъ (голосъ его снова оборвался и черты выразили отчаяніе), — теперь они хотятъ воспользоваться случаемъ, хотятъ произвести скандалъ... въ гостиницѣ... въ твоемъ номерѣ и этимъ способомъ заставить меня заплатить... У меня гроша нѣтъ до слѣдующей субботы, когда я долженъ получить тысячу цѣлковыхъ... Это ужасно!..

— Помилуй, Аркадій... ты бы давно сказалъ мнѣ...

— Николай! вскричалъ Пигуновъ.

Онъ громко зарыдалъ, упалъ на грудь брата и снова унесъ на правой бакенбардѣ все мыло, находившееся на щекѣ Николая Степаныча.

— Сколько же имъ надо? спросилъ Николай Степанычъ.

— Одному я долженъ сто, другому... два... тридцать... пять цѣлковыхъ... проговорилъ Пигуновъ, глаза котораго засверкали вдругъ такимъ огнемъ, что мигомъ высушили слезы.

Николай Степанычъ, въ которомъ боролись всѣ чувства—и радость выручить брата изъ критическаго положенія, и страхъ скандала въ гостиницѣ,—проворно отсчиталъ требуемыя деньги и подалъ ихъ Пигунову.

— Николай!.. снова воскликнулъ Пигуновъ, падая въ его объятія,—ты спасъ мнѣ жизнь,—болѣе того: ты спасъ, можетъ быть, жизнь моей Нидочкѣ!.. Твоя услуга... нѣтъ, никогда!.. оно вотъ здѣсь, здѣсь!.. заключилъ онъ, сильно ударивъ себя кулакомъ подъ сердце, и, щелкнувъ замкомъ, быстро исчезъ въ дверяхъ.

Неожиданность всего случившагося такъ взволновала Николая Степаныча, что онъ нѣсколько минутъ не могъ владѣть бритвой. Онъ въ третій разъ намылилъ свою правую щеку и на этотъ разъ благополучно привелъ къ окончанію операцію; подумавъ, что не худо воспользоваться случаемъ, онъ ужъ заодно умылся и одѣлся. Все это заняло, по крайней мѣрѣ, минутъ десять времени, послѣ которыхъ Фуфлыгинъ снова вернулся къ дамамъ.

Онъ нашелъ уже Пигунова сидящаго за чайнымъ столомъ передъ стаканомъ, изъ котораго винтомъ валилъ

паръ, сильно пропитанный запахомъ рома; волосы его были приглажены и вообще во всей физіономіи (настолько, насколько позволяли рѣзкія черты Пигунова) проглядывало выраженіе чего-то мирнаго, какой-то кроткой радости и покоя; въ голосѣ его не было замѣтно малѣйшаго колебанія; Пигуновъ говорилъ мягкимъ, сладкимъ теноромъ и весело разговоривалъ съ Софьей Петровной; онъ мало, повидимому, обращалъ вниманія на жену свою; онъ даже сидѣлъ къ ней спиною. Увидя Николая Степаныча, онъ протянулъ ему руку и пожалъ ее съ чувствомъ. Софья Петровна извинилась передъ belle sœur, сказала, что ей необходимо одѣться, что она явится сію минуту, и, позвавъ Лёшу и Пошу, вышла во вторую комнату, заперевъ за собою дверь.

— А я вотъ сейчасъ, душенька, сказалъ Пигуновъ, нѣжно обратившись къ брату, — я сейчасъ звалъ жену твою въ театръ, то-есть не сегодня, а въ субботу... Даютъ „Гамлета"! слышишь: „Гамлета"!.. Нельзя не воспользоваться такимъ случаемъ. Хотя „Гамлета" играютъ часто, но вѣдь не наслушаешься, братецъ! Это такая глубина, такая безконечная поэзія... Я тебѣ скажу одно только: когда даютъ Шекспира,—я всегда выхожу изъ театра во сто разъ лучше, чище сердцемъ и душою! (Пигуновъ сильно хлебнулъ изъ стакана и долилъ ромомъ). — Шекспиръ—это геній, далеко выскочившій изъ общаго человѣческаго уровня; это колоссъ, который теряется въ вышинѣ необъятной... Я вообще не большой охотникъ до театра; но когда играютъ моего Вилліяма Шекспира, ты можешь биться объ закладъ, что найдешь меня въ креслахъ... Да, Вилліямъ,—это геній, геній необъятный! Онъ не только дѣйствуетъ на умъ; нѣтъ, этого мало! — онъ проникаетъ въ сердце, затрогиваетъ совѣсть, потрясаетъ душу... словомъ, всего тебя, такъ сказать, перевертываетъ...

— Да, это должно быть очень пріятно, простодушно замѣтилъ Николай Степанычъ. — Вы, сестрица, часто бываете въ театрѣ?..

— Нѣтъ, она никогда не бываетъ! да и когда ей?—она постоянно въ интересномъ положеніи, нѣжно перебилъ Пигуновъ, прихлебывая изъ стакана и подливая рому.

— Аркадій!.. съ упрекомъ произнесла его супруга, мигая на стаканъ лѣвымъ глазомъ, тогда какъ правый совсѣмъ почти закрывался отъ опухоли.

— Мы также, братъ, то-есть я, ты и жена твоя, продолжалъ Пигуновъ, не удостоивъ даже жену взглядомъ,— мы непремѣнно должны сходить на-дняхъ въ Академію Художествъ! Я уже говорилъ объ этомъ сестрѣ; представь, братъ: Михайловъ привезъ изъ Италіи три копіи съ Рафаэля! Чудо что такое!.. Можешь себѣ представить: три копіи!.. Мы вѣдь здѣсь прозябаемъ; развѣ это жизнь? Я по крайней мѣрѣ существовать не могу безъ художества; мы непремѣнно пойдемъ; я хочу, чтобы ты испыталъ то же, что я испытываю, когда гляжу на произведенія Санціо, — этого дивнаго, безсмертнаго юноши! (Да, онъ умеръ почти юношей!) Лучшія минуты моей жизни прошли, можно сказать, передъ его произведеніями!.. Они всегда дѣйствуютъ на мою душу какъ-то непостижимо-освѣжительно!..

— Пойдемъ, пойдемъ, очень охотно, сказалъ Николай Степанычъ, между тѣмъ какъ Пигуновъ хлебнулъ чаю и снова подлилъ изъ графинчика,—это будетъ очень весело; возьмемъ съ собою дѣтей, всѣхъ дѣтей, и твоихъ, и моихъ; вы съ нами, конечно, пойдете, сестрица?..

— Нѣтъ, гдѣ жъ ей! возразилъ Пигуновъ, — видишь, она въ какомъ положеніи... къ тому же картины утомляютъ нервы, я это знаю изъ опыта. Послушай, однакожъ, братъ, подхватилъ онъ, — вы, кажется, куда-то собираетесь?.. Я слышу въ той комнатѣ шелестъ платья... наконецъ, ты самъ разодѣтъ... куда вы?..

— Къ Мирзоевымъ... сказалъ Николай Степанычъ.

— Знаешь, братъ, произнесъ Пигуновъ такимъ тономъ, какъ будто заранѣе сожалѣлъ о томъ, что придется сказать ему, — знаешь, не люблю я этого человѣка! Не по душѣ онъ мнѣ какъ-то!.. Жена его очень любезная женщина,—но большой свѣтъ, братецъ, большой свѣтъ! вотъ что! тщеславіе! вотъ что!.. А онъ, это такая сушь, такая сушь, словомъ, такой человѣкъ, съ которымъ невозможно отвести душу. Впрочемъ, ты самъ увидишь! отъ него вѣетъ тѣмъ холодомъ, который... короче сказать, не могу тебѣ объяснить, — но не симпатиченъ мнѣ этотъ человѣкъ!.. нѣтъ, не симпатиченъ!

Разговоръ былъ прерванъ появленіемъ Софьи Петровны, которая надѣла лучшее платье, лучшіе воротнички и манжетки, самыя свѣжія перчатки и новую шляпку (она привезла съ собою двѣ шляпки: розовую и лиловую; на ней была лиловая); дѣти ея также очень были мило одѣты.

Пигунова взглянула на Лёшу и Пошу и машинально повернула голову къ собственнымъ дѣтямъ; при видѣ оборванныхъ рубашенокъ и стоптанныхъ башмаковъ Васи, Полиника и Сони, здоровый глазъ Пигуновой сдѣлался какъ-то еще тусклѣе; она перевела его отъ дѣтей къ belle soeur и стыдливо запахнула свой порыжѣвшій бурнусъ.

— Милая сестрица, объявляю вамъ впередъ, что мы вамъ нисколько не мѣшаемъ, любезно заговорилъ Аркадій Иванычъ, расшаркиваясь передъ Софьей Петровной,— прошу васъ, разъ навсегда, оставить съ нами церемоніи; вы хотите ѣхать къ Мирзоевымъ, и поѣзжайте съ Богомъ!.. Но вотъ вопросъ: когда же мы увидимся? Мы, разумѣется, должны видѣться каждый день!.. Начать съ того, что я обѣщалъ везти васъ въ Академію смотрѣть копіи съ Рафаэля... но это послѣ; прежде всего вы должны пріѣхать ко мнѣ обѣдать; это ужъ какъ водится; не ждите ничего особеннаго, а такъ — une table bourgeoise, какъ говорится: добрый кусокъ ростбифа, честная бутылка вина и тонкая сигара!..

Всякій, знавшій обстоятельства Пигунова и его домашнее хозяйство, пришелъ бы въ справедливое изумленіе, услышавъ такое приглашеніе; жена его, безъ сомнѣнія, знала лучше, чѣмъ кто-нибудь, обстоятельства мужа; но ее нимало не удивилъ, однакожъ, его поступокъ; вообще говоря, она давно уже ничему не удивлялась; разъ Мирзоева (когда еще Мирзоевы не были въ ссорѣ съ Пигуновыми) пригласила Аменаиду Васильевну смотрѣть знаменитаго Боско; Боско поразилъ удивленіемъ весь театръ; фокусы его нашли въ одной только Пигуновой равнодушную зрительницу; въ простотѣ души она сказала Мирзоевой, что уже видѣла все это... Съ тѣмъ же невозмутимымъ равнодушіемъ смотрѣла она на игру Каратыгина въ „Тридцать лѣтъ или жизнь игрока“, въ „Разбойникахъ“ Шиллера и въ пьесѣ: „Кинъ или геній и безпутство“; глядя на нее въ эти минуты, казалось, какъ будто она все это гдѣ-то ужъ видѣла, какъ будто все ей давно приглядѣлось.

— Ну, такъ когда же ко мнѣ обѣдать, а? продолжалъ убѣждать Аркадій Иванычъ.—Вы пожалуйста не стѣсняйтесь; разъ навсегда повторяю: между нами не должны существовать церемоніи... Впрочемъ, я васъ еще предупрежу... это будетъ лучше... завтра, послѣзавтра, — словомъ, мы условимся въ днѣ... это вѣрнѣе...

Николай Степанычъ и Софья Петровна сказали, что они всегда рады къ нему пріѣхать.

— Ну и прекрасно! воскликнулъ Пигуновъ, — но мы васъ не задерживаемъ, мы вмѣстѣ выйдемъ отсюда; поѣзжайте съ Богомъ... Сію минуту, допью только свой чай... заключилъ онъ, суетливо подходя къ стакану, который, благодаря, вѣроятно, сосѣдству съ графинчикомъ, былъ все еще полонъ, несмотря на безпрерывные глотки.

На этотъ разъ Аркадій Иванычъ осушилъ его до дна.

— Ну, мой ангелъ, прощай! сказалъ онъ, неожиданно оборотившись къ женѣ.

— Куда же ты?

— У меня есть одно очень важное дѣло... заботливо произнесъ Пигуновъ, — сдѣлай ужъ такую милость, проведи дѣтей домой... это послужитъ вамъ кстати вмѣсто прогулки; утро, какъ нарочно, такое прекрасное! солнце блистаетъ такъ радостно, деревья распускаются, воздухъ пахнетъ почками... все дышитъ весною... въ Петербургѣ такіе дни—находка, и я увѣренъ, эта прогулка подкрѣпитъ твои нервы (Пигуновы жили въ Измайловскомъ полку, верстъ пять отъ гостиницы „Парижъ"); я скоро, впрочемъ, приду домой... черезъ часъ какой-нибудь, можетъ и того меньше...

Изнеможенное лицо Пигуновой выразило такое же точно недовѣріе, какъ если бъ сказали, что она самая счастливая женщина въ мірѣ.

— Нѣтъ... ты не придешь... сказала она робко.

— Вотъ, братъ Николай! всѣ наши жены таковы! весело воскликнулъ Аркадій Иванычъ,—онѣ никогда намъ не вѣрятъ! никогда!.

Николай Степанычъ и Софья Петровна засмѣялись. Одна Пигунова стояла съ опущенною головою и мутнымъ правымъ глазомъ, безнадежно устремленнымъ къ полу.

— Вотъ еще что, моя голубушка, вымолвилъ Аркадій Иванычъ, нѣжно взявъ брата за руку,—скажи человѣку, чтобы онъ всегда впускалъ меня къ вамъ, даже если васъ нѣтъ дома... Такъ какъ я часто буду заглядывать, мнѣ хотѣлось бы имѣть возможность посидѣть и отдохнуть въ тѣхъ случаяхъ, когда не застану васъ у себя... распорядись, дружокъ, пожалуйста... крайне обяжешь...

Минуты черезъ двѣ, плисовый пуховый картузъ уже красовался на головѣ Пигунова, и оба семейства спускались по лѣстницѣ гостиницы. Они выходили на тротуаръ,

когда къ подъѣзду лихо подкатила извозчичья коляска, запряженная четвернею.

— Стой! стой, когда тебѣ говорятъ! стой! нетерпѣливо крикнулъ Кокò, выпрыгивая на мостовую.

Николай Степанычъ и жена его были очевидно смущены появленіемъ племянника; но смущеніе ихъ ровно ничего не значило передъ смущеніемъ Аркадія Иваныча Пигунова; увидя Кокò, онъ нахлобучилъ картузъ почти до усовъ и торопливо спрятался за женою.

— А я у васъ вчера былъ! сказалъ Кокò, пожавъ руку теткѣ и дядѣ и потрепавъ съ видомъ покровительства щеку Лёши и Поши, — впрочемъ, я очень радъ, что вы уже одѣты; я нарочно пріѣхалъ за вами, чтобы везти васъ на острова... А, здравствуй, Пигуновъ... подхватилъ онъ, шлепая по плечу Аркадія Иваныча и посылая сухой поклонъ его женѣ.

— Здравствуй, братецъ... пробормоталъ Пигуновъ, сопровождая слова свои робкимъ, безпокойнымъ взглядомъ, какой встрѣчается у людей, неожиданно застигнутыхъ кредиторами.

Но Кокò не удостоилъ Пигунова большимъ вниманіемъ; онъ тотчасъ же обратился къ Фуфлыгинымъ.

— Ну, такъ ѣдемте же, дядя; садитесь, тетушка... я васъ лихо прокачу... какова четверка, а?..

— Но намъ, братецъ, нельзя... мы собрались... проговорилъ Николай Степанычъ.

— Куда?

— Къ Мирзоевымъ...

— Вотъ! очень нужно!.. Полноте, дядя, плюньте на все это... Ну, къ чорту Мирзоевыхъ! Садитесь—и ѣдемъ...

— Но, право, Кокò, у меня есть дѣло... очень даже важное дѣло...

— Какія дѣла, чортъ возьми!.. нетерпѣливо вымолвилъ Кокò,—вчера только пріѣхали, а ужъ сегодня дѣла!..

— И, наконецъ, Sophie хочетъ видѣть свою кузину.

— Да, я такъ давно ее не видала... сказала Софья Петровна.

— Ну, это другое дѣло! давно бы такъ сказали, ma tante; а то: дѣло! Какія, къ чорту, дѣла!... Позвольте вамъ сказать, тетушка, у васъ очень милое платье, ей-Богу; оно отлично обхватываетъ вашу талію... Vous aves une taille charmante! шепнулъ онъ, наклоняясь къ Софьѣ Петровнѣ. — Ну, такъ когда же мы поѣдемъ на острова?..

Досадно, что не сегодня! Впрочемъ, я къ вамъ еще заѣду, и мы отправимся не сегодня, такъ завтра... Вотъ еще, тетушка: пожалуйста, поклонитесь отъ меня вашей кузинѣ Alexandrine... скажите ей: если бъ не мужъ, я бы часто къ ней заглядывалъ, ей-Богу!.. Elle est charmante! вы увидите!.. Ну, такъ прощайте!.. Прощай, Пигуновъ!.. но гдѣ же онъ? онъ ужъ скрылся (Пигунова дѣйствительно уже не было), и такъ, sans adieu! до свиданія! Прощайте, Аменаида Васильевна... Пошелъ! заключилъ Кокò, бросаясь въ коляску, которая его тотчасъ умчала.

Какъ только исчезъ Кокò, Николай Степанычъ и Софья Петровна обратились къ Пигуновой; оба крайне удивлены были быстрымъ, неожиданнымъ исчезновеніемъ Аркадія Иваныча. Но Пигунова ничего не отвѣчала; тощее, болѣзненное лицо ея было насквозь, однакожъ, проникнуто выраженіемъ тоски, унынія и какого-то страшнаго утомленія. Она взяла дѣтей за руку, сказала Фуфлыгинымъ, что очень рада была съ ними познакомиться, и удалилась.

На губахъ Софьи Петровны бродила улыбка и на языкѣ ея висѣли замѣчанія, относившіяся къ Пигуновой, урожденной баронессѣ Ластъ; но, зная привязанность и пристрастіе мужа къ роднѣ своей, она скрыла свою улыбку и промолчала. Николай Степанычъ, лицо котораго казалось задумчивымъ, подалъ ей руку, велѣлъ Лёшѣ и Пошѣ идти впередъ, и они отправились къ Мирзоевымъ.

V.

Кузенъ и кузина Мирзоевы.

Мирзоевы нанимали квартиру въ Большой Подьяческой. По справкамъ, наведеннымъ Николаемъ Степанычемъ на углу Морской, Большая Подьяческая находилась не въ далекомъ разстояніи; но Софья Петровна, со свойственнымъ ей убѣждающимъ краснорѣчіемъ, представила мужу всю неловкость явиться пѣшкомъ къ родственникамъ, которые, по всей вѣроятности... словомъ, которые занимали въ обществѣ, гм... гм... нѣкоторое положеніе... Николай Степанычъ началъ было противорѣчить, но, сдѣлавъ десять шаговъ, совершенно раздѣлилъ мнѣніе жены; они наняли коляску и весело покатили въ Подьяческую.

Уже одинъ наружный видъ дома, гдѣ помѣщались кузина и кузенъ Софьи Петровны, произвелъ на послѣднюю самое пріятное впечатлѣніе; она улыбнулась колоннамъ и

подъѣзду этого дома, какъ будто сама участвовала въ постройкѣ зданія и гордилась имъ. Сердце Софьи Петровны сладостно забилось и въ душѣ ея возникло даже что-то похожее на чувство сильной признательности къ кузинѣ и кузену, когда Николай Степанычъ выразилъ удивленіе при видѣ прекрасной свѣтлой лѣстницы съ чугунными перилами. Пришлось подыматься, однакожъ, очень высоко, въ пятый этажъ; но Софью Петровну примирила съ этимъ послѣднимъ обстоятельствомъ дверь, обитая зеленымъ сукномъ и усыпанная мѣдными гвоздиками. На правой половинкѣ двери красовалась дощечка съ надписью: „Петръ Петровичъ Мирзоевъ".

„Сейчасъ видно, что порядочные люди!" подумала Фуфлыгина въ то время, какъ мужъ ея дергалъ за звонокъ.

Очень опрятно одѣтый лакей отворилъ дверь.

— Петръ Петровичъ у себя?..

— Александра Семеновна дома?..

— Дома, пожалуйте... сказалъ лакей, вводя гостей въ очень миленькую прихожую, которую Софья Петровна окинула торжествующимъ взглядомъ.

— Какъ прикажете доложить?..

— Фуф-лы-ги-ны! явственно, съ чувствомъ достоинства, проговорилъ Николай Степанычъ.

Едва замолкъ его голосъ, въ прихожей явилась Мирзоева.

Описывая эту даму, Кокò Свищовъ нимало не преувеличивалъ. Александра Семеновна дѣйствительно была очень мила, хотя, надо сказать, въ лицѣ ея и даже во всей наружности ничего не находилось особенно примѣчательнаго; у нея была одна изъ тѣхъ физіономій, которыя или остаются совершенно незамѣченными, или наоборотъ—производятъ сильный эффектъ, если дама-обладательница такого лица посвящаетъ ему много труда и времени, въ совершенствѣ изучаетъ его недостатки и достоинства и владѣетъ искусствомъ скрывать первые и выставлять послѣднія во всемъ ихъ рельефѣ; въ этомъ отношеніи Александра Семеновна могла даже назваться художникомъ; она, какъ говорили ея пріятельницы,—дѣлала даже чудеса, — именно: копейку умѣла превращать въ цѣлковый. Николай Степанычъ былъ, по крайней мѣрѣ, очарованъ румянцемъ своей кузины, бѣлизною ея шейки, казавшейся бѣлѣе кружевного воротничка, миніатюрностію ножки, обутой въ черную туфлю съ огромнымъ краснымъ

шу, нежданно мелькнувшимъ изъ-подъ утренняго капота, въ которомъ талія кузины, ея бюстъ и плечи закруглялись самымъ привлекательнымъ образомъ.

Войдя въ переднюю, Мирзоева испустила крикъ и бросилась обнимать кузину; она взяла потомъ руки Николая Степаныча, сказала, что въ восторгѣ отъ его пріѣзда, рада до смерти съ нимъ познакомиться — и быстро послѣ того принялась цѣловать Лёшу и Пошу.

— Наконецъ-то вы пріѣхали! Наконецъ-то!.. Dieu merci! заговорила Александра Семеновна, снова пожимая руки супругамъ.—Но какъ же вамъ, однакожъ, не стыдно: пріѣхали третьяго дня, и только сегодня у насъ?.. Но все равно: я въ восторгѣ! Chère Sophie!.. Пойдемте же скорѣе; я горю отъ нетерпѣнія познакомить васъ съ моимъ Пьеромъ... Пойдемте!..

Пройдя за кузиной столовую, Фуфлыгины очутились въ небольшой малиновой гостиной, съ картинками и зеркаломъ въ позолоченныхъ рамкахъ, съ щегольскою мебелью и кисейными узорчатыми занавѣсками.

Опустившись на эластическій шелковый диванъ, Софья Петровна почувствовала вдругъ слезы на глазахъ и снова бросилась обнимать кузину.

— Cette chère Sophie! вотъ ужъ можно сказать: сюрпризъ!.. Pierre! Pierre!.. воскликнула Мирзоева, отвѣчая на ласки своей родственницы и въ то же время стуча пальцемъ въ дверь сосѣдней комнаты.

Черезъ минуту Pierre явился въ гостиной...

Петръ Петровичъ Мирзоевъ, человѣкъ около сорока лѣтъ, съ угловатымъ, какъ бы выщипаннымъ лицомъ, украшеннымъ золотыми очками; голова его покрыта бѣлокурымъ, прилизаннымъ паричкомъ съ крутыми завиточками на вискахъ; онъ нимало не похожъ на крысу, но зато сильно напоминаетъ хорька; отъ него немножко даже пахнетъ хорькомъ, несмотря на то, что парикъ его ежедневно спрыскивается о-де-колономъ; голова Петра Петровича, значительно сплюснутая на затылкѣ, кажется плотно привинченною и наглухо припаянною къ воротничкамъ рубашки и галстуку, который повязанъ такъ аккуратно, что не найдется ни одной кривой складки; та же аккуратность и прилизанность замѣтна въ его гороховомъ пальто и остальной одеждѣ; сухопарая фигура его торчитъ въ ней такъ же неподвижно, какъ шестъ, воткнутый въ воду, охваченную льдомъ. Несмотря на сорокалѣт-

ній возрастъ, Мирзоевъ потерялъ почти всѣ свои зубы; ротъ его постоянно окруженъ какими-то красными пятнами, какъ у дѣтей, которые только-что кушали варенье.

Софья Петровна и Николай Степанычъ нашли въ немъ съ перваго взгляда много достоинства и внутренняго спокойствія.

Узнавъ, кто такіе были гости, Петръ Петровичъ обратилъ прежде всего свои сѣрые глазки на кузину, простеръ руки, воскликнулъ: „Боже мой!“ и, не разгибая спины, обнялъ Софью Петровну; потомъ отнесся онъ къ кузену, простеръ руки, воскликнулъ: „Боже мой!“ и, не разгибая спины, трижды облобызалъ Николая Степаныча.

— А это ваши малютки?.. Боже мой! повторилъ Петръ Петровичъ, и, не разгибая спины и опускаясь какъ тѣни въ театрѣ, чмокнулъ въ лобъ Лёшу и Пошу.

— Насилу-то вы пріѣхали, Николай Степанычъ и Софья Петровна!.. А мы васъ ждали, ждали, и жданки потеряли, какъ говорится... ха-ха-ха!.. произнесъ Мирзоевъ, смѣясь тѣмъ деревяннымъ смѣхомъ, который въ общемъ употребленіи у актеровъ, разыгрывающихъ веселенькія роли на домашнихъ театрахъ.—Жена мнѣ каждый день говоритъ: „Что же это они не ѣдутъ?“ Я повторяю ей то же самое... Признаться, я даже безпокоился, думалъ, не задержало ли васъ что-нибудь?.. Потому что дѣло, о которомъ я писалъ вамъ, не требуетъ отлагательства... Но вы здѣсь,—и я очень радъ; надѣюсь, дѣло наше пойдетъ теперь какъ по маслу; надо вамъ сказать, Николай Степанычъ, я наводилъ уже справки, навѣдывался, справлялся, хлопоталъ... все, кажется, хорошо; вы почти можете быть покойны... подхватилъ онъ, пытливо наводя сѣрые глазки на Софью Петровну.

— Душевно вамъ благодаренъ... бормоталъ Николай Степанычъ,—я съ своей стороны... все, что отъ меня... Я совершенно, почтеннѣйшій Петръ Петровичъ...

Софья Петровна и ея двоюродная сестра сидѣла, между тѣмъ, въ другомъ концѣ гостиной и, держа другъ друга за руки, обмѣнивались тѣми милыми, граціозными фразами, которыми такъ искусно владѣютъ дамы. Но разговоръ двухъ кузинъ вскорѣ прерванъ былъ появленіемъ горничной.

— Что тебѣ? спросила Александра Семеновна.

— Пожалуйте сюда...

— Что тамъ?

— Пожалуйте, гм... гм!.. повторила горничная, таинственно кивая головою изъ-за косяка двери.

— Ахъ! Боже мой, какъ это досадно! сказала Мирзоева, подымаясь съ дивана,—извини, chère Sophie, я сію минуту... сейчасъ! Что тамъ еще? спросила она, входя въ столовую, при чемъ ея лицо и голосъ потеряли вдругъ всю пріятность.

— Мадамъ изъ магазина пришла... шепнула горничная.

Александра Семеновна вдругъ покраснѣла.

— Я развѣ не говорила тебѣ, чтобы всегда ей отказывать, никогда не впускать ее, когда баринъ дома?.. прошептала Мирзоева, съ досадою во всѣхъ чертахъ.

— Я и то не пускала, сударыня,—говорю: дома нѣтъ, уѣхамши, а она все свое...

Александра Семеновна быстро оглянулась назадъ и такъ же быстро пошла въ прихожую.

— А, chère madame Poupon! проговорила она привѣтливымъ голосомъ и скрѣпляя каждое слово очаровательной улыбкой.

Но такое привѣтствіе произвело, повидимому, слабое дѣйствіе на госпожу Пупонъ; она объявила наотрѣзъ, что ей надоѣло уже ходить, что ей нужны деньги. Александра Семеновна притворила дверь въ столовую.

— Войдите сюда... сказала она по-французски, приглашая въ комнату направо отъ столовой.

— De l'argent, madame, de l'argent, настоятельно повторила модистка, старая сморщенная француженка, съ огромными черными глазами на-выкатѣ, какъ у лягушки.

— Но, chère madame Poupon, что жъ мнѣ дѣлать?.. я вамъ повторяю: у меня въ настоящую минуту нѣтъ копейки... je suis à sec... Ja n'ai pas le sou, chère madame Poupon!..

— Вы это повторяете мнѣ вотъ уже три мѣсяца, сказала модистка съ оживленіемъ, которое не покидаетъ женщинъ ея націи даже въ преклонные годы,—я не могу больше терпѣть; ma patience est à bout;—я вынуждена буду подать наши счеты вашему мужу... c'est bien votre mari, parbleu!..

— Вы хотите, слѣдовательно, потерять мою практику, chère madame Poupon?..

— Что мнѣ ваша практика! вы не платите по цѣлымъ мѣсяцамъ... je suis à bout! Что мнѣ ваша практика!..

— Прекрасно; только въ настоящую минуту, я вамъ скажу—вамъ очень невыгодно со мною поссориться.

— Ah, bah!..

— Да, очень невыгодно, вы сами не знаете, что говорите; я только что о васъ думала; ко мнѣ пріѣхала сегодня изъ провинціи одна очень богатая кузина... elle veut s'équipper de la tête aux pieds... вы меня поняли?..

Лягушечьи глаза старухи перестали прыгать и сдѣлались внимательнѣе.

— Я именно хотѣла послать за вами... J'ai très bonne mémoire... я помню, что вы ждете три мѣсяца, и хотѣла рекомендовать васъ этой кузинѣ; она накупитъ у васъ цѣлое приданое, за это я вамъ ручаюсь... Что жъ, хотите, или нѣтъ.

— Certes! mais est-ce bien sur?

— Это такъ вѣрно, что если сегодня или завтра мы къ вамъ не явимся и она не купитъ у васъ по крайней мѣрѣ на триста цѣлковыхъ... для перваго раза... она богата и вы можете съ нею не церемониться,—тогда вы можете подать завтра же вечеромъ мои счеты мужу...

— Cela me va! сказала француженка миролюбивымъ тономъ.

— Только одно условіе...

— Eh bien?

— Согласитесь ли вы ждать мой долгъ до перваго іюня и не говорить о немъ мужу?..

Мадамъ Poupon лукаво объявила, что это будетъ зависѣть отъ того, на какую сумму закупитъ у нея кузина m-me Mirzoeff.

M-me Mirzoeff, для которой, въ ея критическомъ положеніи, ровно ничего не значило прибавлять нули, объявила въ свою очередь, что расходы кузины находятся въ ея полной зависимости, и что чѣмъ долѣе обязуется молчать госпожа Пупонъ, тѣмъ расходы кузины будутъ значительнѣе.

— Bon! à demain! сказала старуха.

— A demain!

Александра Семеновна велѣла проводить модистку и поспѣшила возвратиться въ гостиную. Проходя, однакожъ, черезъ столовую, она остановилась на секунду, приблизилась къ окну и взглянула на улицу. Тамъ не было ничего интереснаго; улица была пуста и только на тротуарѣ, противъ дома Мирзоевыхъ, прогуливался какой-то молодой человѣкъ съ тросточкой и въ голубомъ галстукѣ. Александра Семеновна освободила изъ мѣдной скобки

правый пологъ оконной занавѣски и заслонила имъ окно, не обративъ даже вниманія на голубой галстукъ и тросточку. Тѣмъ не менѣе, молодой человѣкъ восторженно потрясъ вдругъ головою, приложилъ правую руку къ сердцу, и радостно, вприпрыжку побѣжалъ по тротуару.

Мирзоева застала своихъ гостей и мужа весело разговаривающихъ въ гостиной.

— Знаете ли, почтеннѣйшій Николай Степанычъ, не отправиться ли намъ лучше ко мнѣ въ кабинетъ, а? вымолвилъ Петръ Петровичъ, когда дамы снова усѣлись на особый диванъ и между ними завязалась оживленная бесѣда о воротничкахъ, шляпкахъ, фасонахъ и выкройкахъ.—Тамъ, знаете ли, примолвилъ онъ, мигая сѣренькими глазками по направленію къ дивану,—тамъ ужъ пошли теперь эти рюши да трюши... Мы имъ мѣшаемъ; въ свою очередь и онѣ намъ мѣшаютъ... Пойдемъ-ка, право; тѣмъ болѣе, что намъ слѣдуетъ еще серьезно поговорить о нашемъ дѣлѣ... Прошу покорно! заключилъ Мирзоевъ, вводя гостя въ столовую, а оттуда въ тѣсную, но очень уютную комнату, съ большимъ столомъ посерединѣ, покрытымъ бумагами, исписанными удивительнымъ почеркомъ; изъ книгъ здѣсь находился, впрочемъ, одинъ только календарь.

Мирзоевъ усадилъ Николая Степаныча въ покойное кресло подлѣ окна и самъ сѣлъ насупротивъ.

— Ну-съ... проговорилъ онъ, прикасаясь своими сухими, какъ птичья лапа, пальцами къ колѣнямъ Николая Степаныча, который тотчасъ же принялъ внимательный видъ и глубокомысленно началъ моргать глазами. — Ну-съ... Итакъ, прежде всего, надо будетъ выставить вамъ, ввести васъ, такъ сказать, въ сущность дѣла... Изволите видѣть, какое обстоятельство: я оставилъ уже, какъ вамъ извѣстно, министерство и принялъ теперь частное мѣсто... Вы, безъ сомнѣнія, уже слышали, что здѣсь составилось огромное Общество... Общество „Распространенія и улучшенія рогатаго скота“; предпріятіе огромное, колоссальное, и, надо вамъ сказать, чрезвычайно выгодное; я сдѣланъ кассиромъ Общества; когда я получилъ ваше письмо, мнѣ тотчасъ же пришла мысль... Ваши обстоятельства и притомъ наша родственная связь... вы меня понимаете, Николай Степанычъ? Словомъ, я желалъ бы примкнуть васъ къ нашему Обществу и доставить вамъ мѣсто...

— Помилуйте... очень радъ... проговорилъ Фуфлыгинъ, наклоняясь, съ зажмуренными глазами.

— Ну, и прекрасно; потому, я надѣюсь, въ васъ нѣтъ этого пустого честолюбія, которое такъ часто теперь встрѣчается!.. Что такое честолюбіе?.. пустая одурь, опьянѣніе, такъ сказать, — и больше ничего! Мы на каждомъ шагу встрѣчаемъ людей, зараженныхъ честолюбіемъ, которые гонятся за славой, почестями, да при нихъ и остаются! Это хорошо было, можетъ-быть, въ другія времена; но въ нашъ положительный вѣкъ нужно искать чего-нибудь болѣе существеннаго... согласны ли вы со мною?

Николай Степанычъ скрестилъ руки на груди, закрылъ глаза и утвердительно кивнулъ собесѣднику своей дипломатической лысиной.

— Возьмите хоть ваши собственныя обстоятельства, продолжалъ Мирзоевъ, стараясь пояснить свою мысль, — предположимъ, что вы достигли бы славы и почестей; спрашивается: что стали бы вы съ ними дѣлать безъ положительнаго, прочнаго... словомъ сказать: безъ денегъ? Ровно бы ничего не сдѣлали! Основываясь на этомъ, я именно желалъ бы примкнуть васъ къ нашему Обществу... Начать съ того, что вы сразу получите здѣсь средства, которыя совершенно обезпечатъ васъ и все ваше семейство... Со временемъ, вы можете даже сдѣлаться акціонеромъ Общества и получать значительные проценты... Общество „Распространенія и улучшенія рогатаго скота“ — день ото дня расширяетъ свой кругъ дѣйствія; передъ нимъ открывается, такъ сказать, широкій горизонтъ... вы все это должны принять къ свѣдѣнію...

Николай Степанычъ принималъ все это къ свѣдѣнію и заранѣе благодарилъ кузена Мирзоева.

— Позвольте, Николай Степанычъ, позвольте... Теперь собственно пойдетъ главное... Прошу васъ быть какъ можно внимательнѣе; вы понимаете, въ настоящемъ моемъ положеніи, какъ человѣкъ, который только что получилъ мѣсто въ Обществѣ... И Богъ знаетъ, сколько мнѣ это трудовъ стоило, сколько хлопотъ и пожертвованій!—ибо, какъ я уже писалъ вамъ, нѣтъ города въ мірѣ, гдѣ бы такъ трудны были мѣста, какъ въ Петербургѣ; вы понимаете, слѣдовательно, что мнѣ неловко, скажу болѣе: даже невозможно просить въ настоящую минуту объ вашемъ опредѣленіи...

Дипломатическая лисинка Николая Степаныча быстро закинулась назадъ и глаза его расширились.

— Я вижу, вы меня поняли, Николай Степанычъ, да. Но позвольте, однакожъ, не безпокойтесь; въ нашихъ рукахъ находится вѣрное средство уладить дѣло... Иначе, прямо бы сказалъ вамъ: это невозможно!.. Изволите видѣть, какое обстоятельство: наше Общество, т.-е. Общество, въ которомъ, замѣтьте, я занимаю только мѣсто кассира,—помѣщается въ одномъ изъ самыхъ огромныхъ домовъ столицы; мѣсто смотрителя дома теперь вакантно; получивъ уже въ Обществѣ мѣсто кассира, вы понимаете, мнѣ невозможно просить, чтобы сдѣлали меня еще и смотрителемъ этого дома... это невозможно! А между тѣмъ мнѣ необходимо получить, сверхъ должности кассира, должность смотрителя дома... и, какъ увидите, необходимо для вашей же собственной пользы... Васъ это удивляетъ? а я вамъ скажу: да, — именно такъ! подхватилъ Петръ Петровичъ, пытливо устремляя сѣренькіе глазки на собесѣдника.—Получивъ эти два мѣста, я сталъ бы, такъ сказать, крѣпкою, твердою ногою въ Обществѣ; и тогда съ моимъ кредитомъ и силою, — могъ бы смѣло дѣйствовать касательно уже вашего опредѣленія въ Общество... Поняли ли вы меня, Николай Степанычъ?..

Николай Степанычъ чувствовалъ, что въ головѣ его вертѣлись шарики, но сказалъ, однакожъ, что понялъ.

— Если бъ вы могли довольствоваться какимъ-нибудь ничтожнымъ мѣстомъ, обязательно продолжалъ Мирзоевъ,— мнѣ, конечно, ничего бы не значило опредѣлить васъ хоть сію же минуту; на это у меня достало бы кредита; но ваши обстоятельства требуютъ солиднаго, такъ сказать, прочнаго положенія... Мнѣ, слѣдовательно, необходимо для этого имѣть больше кредита, чѣмъ я теперь имѣю; необходимо стоять твердою ногою, чтобы имѣть возможность опредѣлить васъ какъ слѣдуетъ и какъ требуютъ, наконецъ, самыя ваши обстоятельства. Итакъ, вы видите, что ваше опредѣленіе находится въ вашихъ же собственныхъ рукахъ, въ вашей полной зависимости... Да, мой почтеннѣйшій, все отъ васъ зависитъ, потому-то собственно я и писалъ вамъ, чтобы вы скорѣе ѣхали... повторяю вамъ: все въ рукахъ вашихъ...

— Но какимъ образомъ?.. я, признаюсь...

— Очень просто; вамъ предстоитъ устроить такимъ

образомъ, чтобы я получилъ еще мѣсто смотрителя дома... и тогда...

— Но какъ же это сдѣлать?.. я, признаюсь...

— Это можетъ сдѣлаться не иначе, разумѣется, какъ черезъ посредство нашего директора,—учредителя и предсѣдателя Общества... Это нѣкто Медіоланскій, Андрей Андреичъ, прекраснѣйшій человѣкъ, человѣкъ огромнаго вѣса, человѣкъ, ворочающій милліонами... словомъ, настоящій директоръ и учредитель огромнаго предпріятія... Онъ меня опредѣлилъ, и, слѣдовательно, вы понимаете, я не могу просить его; но вамъ это возможно... Онъ, я увѣренъ, для васъ все сдѣлаетъ; но только предупреждаю: надо дѣйствовать какъ можно скорѣе; я уже писалъ вамъ, что на мѣсто, о которомъ говорю, множество охотниковъ...

Николай Степанычъ, воодушевленный словами: „онъ для васъ все сдѣлаетъ!“ высказалъ намѣреніе отправиться къ учредителю Общества завтра же утромъ. Петръ Петровичъ выслушалъ его съ тѣмъ видомъ, какъ слушаютъ мечтанія пятнадцатилѣтняго юноши; онъ покачалъ наконецъ головою.

— Это ни къ чему не поведетъ, сказалъ онъ.

— Какъ же такъ?..

— Учредитель Общества васъ даже не приметъ...

— Но почему же... я все-таки не какой-нибудь...

— Это ровно здѣсь ничего не значитъ, мой почтеннѣйшій,—какъ я уже говорилъ вамъ, на это мѣсто множество охотниковъ; Медіоланскій съ утра до вечера осажденъ просителями... Онъ напрямикъ вамъ откажетъ,—это несомнѣнно; надо дѣйствовать совсѣмъ другимъ образомъ.

— Но какъ же такъ?.. произнесъ Николай Степанычъ, у котораго снова запрыгали въ головѣ шарики.

— Вотъ какъ, возразилъ Петръ Петровичъ,—вамъ надо будетъ попросить съѣздить къ нему... Софью Петровну...

— Жену?

— Именно, возразилъ Мирзоевъ,—я очень хорошо знаю Медіоланскаго; то, въ чемъ откажетъ онъ мужчинѣ, т.-е. нашему брату, непремѣнно исполнится, коль скоро начнетъ просить объ этомъ дама... Дамѣ онъ никогда не откажетъ, сказалъ Мирзоевъ, закрывая въ свою очередь глаза и стараясь припомнить черты своей кузины. — Я даже ручаюсь вамъ, подхватилъ онъ,—ручаюсь вамъ, что дѣло ваше увѣнчается тогда несомнѣннымъ успѣхомъ! Да, это иначе и быть не можетъ; положитесь на меня, говорю

вамъ; надо вамъ сказать, бо́льшая часть дѣлъ устраивается дамами; спросите у кого хотите, это вамъ всякій скажетъ... Повторяю: пусть проситъ Софья Петровна,—и наше дѣло въ шля́пѣ; я получаю мѣсто смотрителя дома, укрѣпляюсь, получаю кредитъ, становлюсь, такъ сказать, твердою ногою въ Обществѣ,—и тогда начинаю дѣйствовать,—и васъ опредѣляю! Все это можетъ сдѣлаться очень даже скоро... Надо только просить Софью Петровну... Такъ вотъ какъ-съ, мой почтеннѣйшій! заключилъ Петръ Петровичъ, шутливо трепля ошалѣвшаго своего собесѣдника по плечу, — вотъ какъ-съ дѣла-то дѣлаются!..

Николай Степанычъ никакъ не могъ думать, чтобы такъ дѣла дѣлались; но Петръ Петровичъ подтвердилъ это множествомъ фактовъ; послѣ этого онъ быстро перешелъ къ объясненію цѣли и круга дѣйствій Общества, въ которомъ былъ казначеемъ, надѣялся быть смотрителемъ дома и куда желалъ опредѣлить своего родственника. Во время этихъ объясненій, у Николая Степаныча часто вертѣлись въ головѣ шарики; тѣмъ не менѣе онъ во всемъ соглашался; онъ ясно видѣлъ свою неопытность, свое ничтожество передъ этимъ, истинно великимъ, практическимъ человѣкомъ, — и слѣпо отдавалъ судьбу свою въ руки Петру Петровичу, который съ перваго взгляда внушилъ ему довѣріе.

Такъ какъ Фуфлыгины должны были непремѣнно остаться обѣдать у Мирзоевыхъ, разговоръ между кузенами, конечно, не могъ ограничиться до четырехъ часовъ одною и тою же темой; бесѣда коснулась другихъ предметовъ, въ числѣ которыхъ были упомянуты и родственники. При имени Аркадія Иваныча Пигунова, Мирзоевъ поправилъ очки и на губахъ его появилась грустная улыбка; онъ пожалъ плечами и сказалъ, что хотя Пигуновъ и приводится родной братъ Николаю Степанычу, но онъ долженъ, однакожъ, сознаться, что глубоко, истинно сожалѣетъ объ этомъ человѣкѣ... Говоря о Кокѣ Свищовѣ, Петръ Петровичъ выразился съ большею рѣзкостью; онъ сказалъ, что это жалкій, несчастный мальчикъ, изъ котораго никогда ничего не выйдетъ. Николай Степанычъ вздыхалъ, молчалъ и снова во всемъ внутренно соглашался.

Въ такихъ бесѣдахъ провели они вплоть до той минуты, пока ихъ не позвали обѣдать.

За обѣдомъ, Петръ Петровичъ первый подалъ голосъ и въ короткихъ, но весьма краснорѣчивыхъ словахъ, пе-

редалъ Софьѣ Петровнѣ дѣло, о которомъ говорилъ ея мужу. Съ окончаніемъ этой рѣчи, Александра Семеновна радостно забила въ ладоши и трижды поцѣловала кузину. Она ни на секунду не сомнѣвалась въ успѣхѣ дѣла; такіе хорошенькіе глазки, какъ у Sophie, должны побѣждать все и всѣхъ! Мирзоева напрямикъ объявила, что будь она на мѣстѣ Медіоланскаго,—она не только отдала бы въ угожденье Sophie мѣсто смотрителя дома, но сдѣлала бы ее вице-учредителемъ Общества и даже уступила бы ей свое собственное предсѣдательское мѣсто.

— Помилуй, chère amie,—я рѣшительно не постигаю, что̀ тебя смущаетъ... сказала она, когда обѣ дамы удалились, послѣ обѣда, въ особую комнату, чтобы переговорить о туалетѣ (рѣшено было завтра же утромъ ѣхать къ Медіоланскому, и вопросъ состоялъ теперь въ томъ, чтобы успѣть къ этому сроку приготовить новое платье),—твой туалетъ не можетъ тебя смущать,—за это я берусь. Tu seras à croquer! положись только на меня... Но это послѣднее дѣло; подумай, что мы, женщины, должны искать такихъ случаевъ; я очень знаю, что ты любишь, обожаешь своего Nicolas... но твоему самолюбію все-таки будетъ пріятно, когда онъ будетъ тебѣ обязанъ нѣкоторымъ образомъ... Это ставитъ всегда мужей въ отношеніи къ намъ въ почтительное положеніе... Cela nous donne de l'aplomb! Да вотъ, чего же лучше, смотри на меня: ты должна знать, что я все сдѣлала... Безъ меня Пьеръ сидѣлъ бы въ какомъ-нибудь земскомъ судѣ... Я, разумѣется, никогда этимъ не пользуюсь, но при случаѣ (кто знаетъ, что̀ можетъ быть въ жизни?)—при случаѣ у меня въ рукахъ есть по крайней мѣрѣ оборонительное оружіе... Nous sommes ésclaves, chère! on a beau dire, mais nous le sommes!.. Но ѣдемъ, однакожъ; надо торопиться, потому что времени, какъ ты знаешь, остается очень мало. Но вотъ вопросъ: въ чемъ же мы поѣдемъ?..

— У меня коляска! проговорила Софья Петровна, краснѣя отъ удовольствія.

Кузины обнялись, одѣлись и вышли въ гостиную, чтобы проститься съ дѣтьми.

— Ну, смотрите же, дѣти, будьте умны, сказала Софья Петровна, цѣлуя Лешу и Пошу,—я уѣзжаю; не шалите, не капризничайте...

— Мнѣ скучно, мама, слезливо проговорилъ Леша.

— Мнѣ, мама, спать хочется... пропищала Поша, зѣвая и потягиваясь на диванѣ.

— Съ вами папа остается; я ему скажу, онъ васъ домой проводитъ... проговорила Фуфлыгина.

— Ils sont délicieux! воскликнула Мирзоева, и обѣ вошли въ кабинетъ.

Бесѣда такого умнаго, дѣлового и практическаго человѣка, какъ кузенъ Мирзоевъ, была, конечно, столько же пріятна, сколько и поучительна такому добродушному и неопытному провинціалу, какъ Николай Степанычъ; онъ слова, однакожъ, не возразилъ женѣ и охотно согласился исполнить родительскую обязанность, въ отношеніи къ скучавшему Лешѣ и засыпавшей Пошѣ.

Полчаса спустя послѣ отъѣзда кузинъ, можно уже было видѣть Николая Степаныча, идущаго съ двумя дѣтьми по Подьяческой. Но Леша и Поша воскресли, какъ только очутились на улицѣ; они наотрѣзъ объявили, что не хотятъ идти въ гостиницу.

Николай Степанычъ былъ отчасти радъ случаю прогуляться; вотъ уже третій день, какъ онъ въ городѣ, которому всѣ удивляются, и между тѣмъ ровно еще ничего не видѣлъ. Разспросивъ, какъ пройти къ Невѣ, онъ направился по Вознесенской. Но чѣмъ далѣе подвигался онъ, тѣмъ положеніе его становилось затруднительнѣе.

— Папа, что это? спрашивали поминутно дѣти.

— Это... это... это... А вотъ, сейчасъ; эй, любезный! что это такое?

— Адмиралтейство...

— Это Адмиралтейство...

— Папа, папа, а это что?

— Это... это... Послушай, любезный, что это такое?

— Сенатъ.

— Это, дѣти, сенатъ...

И такъ далѣе; словомъ, Леша и Поша не давали отцу покоя.

„Нѣтъ, съ этими дѣтьми рѣшительно невозможно, подумалъ Николай Степанычъ,—они не даютъ сосредоточиться, не даютъ ничего обдумать... А между тѣмъ, каждый предметъ вызываетъ здѣсь на размышленіе... Нѣтъ, дѣти только мѣшаютъ...“

При всемъ томъ, онъ вернулся въ гостиницу не ранѣе восьмого часа.

Первый предметъ, остановившій вниманіе Николая Сте-

паныча при входѣ въ номеръ, былъ листъ бумаги на столѣ въ первой комнатѣ.

Николай Степанычъ прочелъ слѣдующее:

„Я снова заѣзжалъ къ вамъ, дядюшка... Куда же вы дѣлись?.. Когда же мы ѣдемъ на острова?.. Я завтра опять заѣду; будьте дома... смотрите же!..

Кокò“.

„P. S. Цѣлую ручки тетушкѣ“.

„Я думалъ, что ты будешь обѣдать дома и потому пріѣхалъ посидѣть съ тобою, мой дорогой Николай; я просидѣлъ у тебя до семи часовъ въ нетерпѣливомъ (одинъ только Богъ видитъ, какъ я ждалъ тебя), но тщетномъ ожиданіи; я, безъ сомнѣнія, просидѣлъ бы у тебя еще болѣе; но ты знаешь, моя Нидочка одна-одинешенька, и я поспѣшилъ къ ней возвратиться, ибо нервы ея сегодня особенно какъ-то разстроены. Не забудь же, что ты и милая твоя жёнка дали слово пріѣхать къ намъ обѣдать; ждемъ васъ завтра, а въ ожиданіи обнимаю тебя,

твой братъ по душѣ и чувствамъ
Аркадій Пигуновъ“.

Уложивъ дѣтей, Николай Степанычъ надѣлъ халатъ, взялъ карандашъ и, перевернувъ листъ на другую сторону, углубился въ счеты.

Почесывая карандашомъ лобъ и дипломатическую свою лысину, и время отъ времени выставляя цифры, онъ свелъ полную смѣту своихъ расходовъ со дня выѣзда изъ уѣзднаго города до дня пріѣзда въ Петербургъ; но тутъ онъ сталъ втупикъ, позвонилъ человѣка и велѣлъ подать счетъ,—что было тотчасъ же исполнено.

„Ну, это еще не такъ много... Я ожидалъ гораздо больше...“ подумалъ Николай Степанычъ.

— Но что это?.. воскликнулъ онъ почти въ то же мгновеніе и страшно расширилъ глаза.—Это что такое?..

— Обѣдъ нынѣшняго дня-съ... возразилъ лакей.

— Но, помилуй, мой милый; это ошибка... какой обѣдъ?.. я сегодня даже дома не обѣдалъ...

— Я знаю-съ... возразилъ слуга,—но вашъ братецъ здѣсь кушать изволили... Вы приказали всегда принимать ихъ...

Николай Степанычъ опустилъ глаза и прочелъ слѣдующее:

Обѣдъ 3-го мая.

Водка	
Водка	
Водка	
Закуска	
Супъ bisque d'écrevisses	
Boeuf sauté aux truffes	
Бутылка хересу	
Anchois	
Спаржа	
Бутылка лафиту № 1	
Soudac à la provençale	
Cailles aux truffes	
Бутылка портера № 1	
Кофе и коньякъ	
Сигара	
Ликеръ	
Idem	
Idem	
Total	14 roub. 40 cop.

— Четырнадцать рублей серебромъ за обѣдъ! за одинъ обѣдъ! воскликнулъ Николай Степанычъ. — Это ужасно, однакожъ, какъ дорого...

— Они изволили брать по порціямъ; по порціямъ гораздо дороже... сказалъ лакей.

— Хорошо, братецъ, — ступай... Нѣтъ, чортъ возьми, такъ нельзя, промолвилъ онъ почти громко, когда человѣкъ вышелъ,—это ужасно! надо непремѣнно приняться за экономію... Съ тѣмъ, что взялъ у меня братъ Аркадій, у меня остается теперь почти двѣ тысячи... Положимъ, Мирзоевъ получитъ мѣсто черезъ недѣлю; тамъ пройдетъ еще недѣля въ разныхъ проволочкахъ... Можетъ-быть еще недѣля пройдетъ, всего не предусмотришь... Словомъ, раньше мѣсяца я никакъ не опредѣлюсь,—это почти вѣрно... Необходимо, слѣдовательно, такъ вести дѣла, чтобы осталась, по крайней мѣрѣ, хоть одна тысяча на первое обзаведеніе... Ужасъ какъ, однакожъ, все здѣсь дорого... просто съ ума сойти надо... А, мой другъ!.. что это ты такъ поздно? воскликнулъ онъ, обращаясь къ женѣ, которая въ эту минуту входила, — что это у тебя такое?.. присовокупилъ онъ, тыкая пальцемъ въ довольно полно-

вѣсный узелокъ, который находился въ рукахъ Софьи Петровны.

Въ узелкѣ все были, конечно, самыя необходимыя вещи.

— Гм! необходимыя... пробормоталъ Николай Степанычъ.

Впрочемъ, этимъ и ограничилось его замѣчаніе. Онъ вообще рѣдко противорѣчилъ женѣ; но теперь, когда будущая судьба его находилась вся въ рукахъ Софьи Петровны, — теперь противорѣчіе было бы крайне неблагоразумно и даже опасно.

— Я въ совершенномъ восторгѣ, говорила она въ то время, какъ подобныя соображенія бродили въ головѣ мужа,—я въ восхищеніи отъ Петербурга!.. И какой вздоръ, будто здѣсь все дорого! Такъ думаютъ только въ провинціи... На самомъ же дѣлѣ, здѣсь все дешевле даже, чѣмъ въ губернскихъ городахъ; а ужъ что все лучше,—въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Мы проѣхали съ Alexandrine по всему Невскому проспекту. Что это за великолѣпіе!.. Ахъ, знаешь: она познакомила меня съ однимъ очень милымъ молодымъ человѣкомъ; нѣкто Сюсюковъ; un jeune homme charmant; удивительно какой любезный.

— Я что-то не слыхалъ о немъ... Петръ Петровичъ ничего мнѣ не говорилъ...

— Да, кстати, Nicolas, пожалуйста ни слова ему о нашей встрѣчѣ съ Сюсюковымъ; Петръ Петровичъ съ нимъ въ ссорѣ... Alexandrine сказывала мнѣ, что ея мужъ страшно даже преслѣдуетъ Сюсюкова... Мы встрѣтились случайно; кузина хотѣла показать мнѣ Пассажъ, — что, просто, скажу тебѣ, чудо! — входимъ, и первое лицо, которое тамъ встрѣчаемъ, былъ Сюсюковъ!.. однимъ словомъ, ты меня видишь въ совершенномъ восторгѣ!..

Николай Степанычъ отправился вскорѣ послѣ этого спать, и Софья Петровна не замедлила послѣдовать его примѣру.

Но сонъ обоихъ супруговъ былъ очень тревоженъ. Николай Степанычъ пробуждался поминутно. То чудилось ему, что онъ на какой-то площади и его окружаютъ конные солдаты... Всѣ они держатъ пики наперевѣсъ и устремляютъ на него пристальные, грозные взгляды... Сердце замираетъ въ груди Николая Степаныча; предчувствіе неминуемой опасности наполняетъ его душу... Изъ рядовъ нежданно показывается всадникъ... и кровь леде-

нѣтъ въ жилахъ Николая Степаныча, когда онъ узнаетъ въ немъ Карпенку,—того самаго, съ кѣмъ онъ ѣхалъ по желѣзной дорогѣ... Николай Степанычъ, объятый ужасомъ, хочетъ крикнуть—и не можетъ... „Читай!“ грозно говоритъ Карпенко, развертывая длинный-длинный списокъ, въ которомъ ясно значится, что Николай Степанычъ обязался выплатить всѣ расходы брата своего Аркадія Пигунова со дня его рожденія... „Но я не въ состояніи!..“ отчаянно восклицаетъ Николай Степанычъ. „Руби его, когда такъ! Руби, коли такъ!..“ яростно командуетъ Карпенко... Раздается страшное бряцаніе оружія—и Николай Степанычъ пробуждается... То ясно, какъ на-яву, видитъ онъ себя въ своей деревнѣ гуляющимъ въ рощѣ... Милліоны птицъ поютъ и заливаются на каждой вѣткѣ... слезы умиленія текутъ по щекамъ Николая Степаныча... Но птичьи голоса мало-по-малу превращаются какъ будто въ звуки бубенчиковъ и звонъ колоколовъ... Лѣсъ наполняется грохотомъ быстро скачущихъ экипажей... Николай Степанычъ узнаетъ судью своего уѣзднаго города, узнаетъ стряпчаго, исправника и засѣдателя... „Господа, говоритъ онъ привѣтливо,—что доставляетъ мнѣ удовольствіе?.. надѣюсь, вы у меня обѣдаете?..“—„Не въ томъ дѣло, грубо прерываетъ стряпчій, — вы не имѣете права гулять въ этой рощѣ... Развѣ вы не знаете, что она уже десять лѣтъ назадъ продана господину Медіоланскому?..“—„Вонъ! вонъ!“ кричатъ сотни голосовъ... Между стволами деревъ смутно мелькаетъ фигура дядюшки Изосима Петровича—и все пропадаетъ... „Странно, думаетъ Николай Степанычъ,—какъ же это можетъ быть, что я нахожусь въ одно и то же время и въ Москвѣ, и въ Петербургѣ?.. Этого, кажется... А впрочемъ, что жъ мудренаго? вѣдь проволоки тянутъ же изъ желѣза и тянетъ ихъ Мирзоевъ на своемъ кожевенномъ заводѣ...“ То чудится ему, что онъ пробирается въ отдаленной части Петербурга по какому-то темному, узкому переулку; съ каждымъ шагомъ впередъ, переулокъ дѣлается уже и уже, темнѣй и темнѣй... Николай Степанычъ отчасти даже радъ этому; никто не увидитъ прорванныхъ сапоговъ... Да, именно, онъ идетъ покупать сапоги... Но переулокъ такъ уже тѣсенъ и теменъ, что шагу ступить невозможно... Дыханіе спирается въ груди Николая Степаныча. „Что же это такое?“ спрашиваетъ онъ. — „Это Нева!“ мрачнымъ громовымъ голосомъ говоритъ Харитонъ, бывшій камердинеръ Николая Степа-

ныча.—„Мы спускаемся на дно Невы!“ взвизгиваетъ Настасья, бывшая горничная Софьи Петровны. — „Но отчего жъ мы на Невскомъ? вѣдь это Невскій проспектъ?..“ спрашиваетъ Николай Степанычъ.—„Да, это Невскій проспектъ!“ кричитъ Кокò, прыгая на каблукахъ; Николай Степанычъ пугливо оглядываетъ свои сапоги и сломя голову бросается къ сапожнику; но дверь плотно заперта и всѣ смѣются... — „Скорѣе, скорѣе сапоги!.. Что стòитъ эта пара?“ кричитъ Николай Степанычъ, простирая руки къ золотымъ сапогамъ, нарисованнымъ на вывѣскѣ. — „Что же стòятъ?“—„Сто тысячъ!..“—„Какъ?..“—„Да, въ Петербургѣ все ужасно дорого...“ — „Фетюкъ! Фетюкъ!“ раздается поблизости изъ-за угла голосъ дядюшки Изосима Петровича, — „у тебя подъ ногами кулекъ съ золотомъ и ты этого не видишь!..“—Николай Степанычъ съ жадностію хватаетъ кулекъ, тащитъ, кряхтитъ, обливается пòтомъ отъ натуги,—и просыпается...

Софья Петровна не видала никакихъ ужасовъ; но ей не спалось отъ волненія, и волненіе ея проистекало именно отъ того, что она не могла заснуть — обстоятельство весьма важное, если принять въ соображеніе, что Софья Петровна намѣревалась поразить завтра господина Медіоланскаго и желала явиться передъ нимъ свѣженькой, какъ весенняя роза.

VI.

Торжество Софьи Петровны.—Мирзоевъ поставленъ въ необходимость дать нѣсколько совѣтовъ.

На слѣдующее утро, часу въ десятомъ, модистка madame Poupon стучала костлявымъ своимъ пальцемъ въ дверь третьяго номера гостиницы „Парижъ“.

— Peut-on entrer? произнесла она кисло-сладенькимъ голоскомъ, которому, безъ сомнѣнія, старалась придать наивозможно бóльшую пріятность.

Софья Петровна уже болѣе часу сидѣла между тѣмъ въ первой комнатѣ, замѣнявшей гостиную. Сердце ея наполнялось тоскливымъ безпокойствомъ при одной мысли, что madame Poupon запоздаетъ, чего добраго, даже не явится, или, что обѣщанное платье не поспѣетъ къ назначенному сроку; можете судить, какъ радостно откликнулась она на голосъ француженки. При видѣ объеми-

стой картонки въ рукахъ модистки, Фуфлыгина готова была броситься ей на шею и расцѣловать ее; она удержалась, однакожъ, отъ такого порыва, но все-таки горячо пожала ей руку и сказала:

— J'admire votre éxactitude, chère madame Poupon! Vous êtes une femme charmante!..

Почти вслѣдъ за madame Poupon пріѣхала Александра Семеновна; она наканунѣ дала слово кузинѣ Sophie присутствовать при ея туалетѣ и помочь ей одѣться; Мирзоеву сопровождалъ мужъ, который спѣшилъ отдать визитъ Николаю Степанычу.

Не теряя секунды, кузины и модистка исчезли въ третьей комнатѣ и заперлись на ключъ. Минутъ черезъ пять Николай Степанычъ и Петръ Петровичъ услышали за дверью восторженныя восклицанія трехъ дамъ.

Было, впрочемъ, отчего придти въ восторгъ. Наканунѣ madam Poupon объявила, съ свойственной ей прямотою, что къ такому короткому сроку новое платье никакъ не можетъ быть сдѣлано; но бѣда была не велика: у madame Poupon, представьте, какъ нарочно, находилось превосходнѣйшее платье, только-что купленное у одной графини; ростъ и талія графини совершенно почти одинаковы были съ ростомъ и таліею madame Foufliguine. Несмотря на то, что платье было дѣйствительно очаровательно и совсѣмъ почти новое, несмотря даже, что оно принадлежало графинѣ, Софья Петровна нисколько ему не обрадовалась; мало того, она замѣтила съ чувствомъ достоинства, что не находится въ такомъ положеніи, чтобы носить надѣванное. Но Александра Семеновна поспѣшила успокоить провинціальную кузину; она сказала, что въ Петербургѣ новыхъ платьевъ въ сущности шьется очень мало, что ношенныя въ большомъ ходу, что сплошь и рядомъ одно и то же платье перешивается пять, шесть разъ, и переходитъ изъ однѣхъ рукъ въ другія, что на это не смотрятъ даже очень богатыя дамы, дающія у себя вечера и балы. Модистка подтвердила все это, приводя въ примѣръ графиню, которая, получая сто тысячъ дохода, не только продавала старыя юбки, но даже продавала старые башмаки и перчатки. Софья Петровна рѣшилась, наконецъ, примѣрить платье; оно пришлось какъ разъ, кромѣ, впрочемъ, лѣваго бока (графиня была нѣсколько кривобока и потому на одной сторонѣ лифа оказалось фунта два ваты); но модистка объявила, что это

сущій вздоръ, что, принимая въ соображеніе дивное сложеніе madame Foufliguine qui est faite comme au tour, недостатокъ лифа мгновенно исчезнетъ и платье будетъ сидѣть превосходно, comme un ange!.. И дѣйствительно, оно сидѣло теперь изумительно,—какъ на картинкѣ!

— Il vous va comme un gant! произнесла француженка, потрясая головою и отступая три шага назадъ.

— Il te va à ravir! воскликнула въ свою очередь Александра Семеновна.

Николай Степанычъ и Петръ Петровичъ бесѣдовали между тѣмъ во второй комнатѣ; бесѣда начинала уже принимать оживленный характеръ, когда вошелъ человѣкъ.

— Васъ, сударь, спрашиваютъ, произнесъ онъ, обратившись къ Фуфлыгину.

— Кто такой?

— Спрашиваютъ, сударь... повторилъ лакей, откидываясь назадъ съ такою поспѣшностью, что, казалось, его сильно кто-то дернулъ за фалды фрака.

— Извините меня, Петръ Петровичъ, я сію минуту... сказалъ Николай Степанычъ голосомъ, какъ будто желалъ дать почувствовать гостю, чтобы онъ за нимъ не слѣдовалъ. Онъ не сомнѣвался, что его спрашиваютъ или братъ, или Кокò. Зная, какія непріязненныя отношенія существовали между его родственниками и Петромъ Петровичемъ, онъ имѣлъ основательныя причины опасаться ихъ столкновенія, особенно у себя въ номерѣ. Мирзоевъ, повидимому, отлично понялъ Фуфлыгина; онъ кивнулъ головою, опустился на стулъ и выразилъ намѣреніе не тронуться съ мѣста.

Николай Степанычъ угадалъ вѣрно; войдя въ первую комнату, онъ увидѣлъ Аркадія Иваныча. Пигуновъ далъ брату подойти какъ можно ближе, взялъ его за руку и поцѣловалъ нѣсколько разъ сряду въ каждую щеку.

— Я знаю изъ описанія лакея, кто у тебя... Я лучше не войду туда... произнесъ Пигуновъ, кидая безпокойный взглядъ на дверь и понижая голосъ, — я ужъ говорилъ тебѣ, кажется: не сочувствую, братецъ, я этому человѣку, не по душѣ онъ мнѣ какъ-то... Ты имѣешь съ нимъ дѣла, онъ тебѣ нуженъ, это понятно... Впрочемъ, я на одну секунду; я пріѣхалъ сказать тебѣ и Софьѣ Петровнѣ, что жду васъ сегодня обѣдать; помнишь, вы оба дали мнѣ слово...

— Видишь ли, въ чемъ дѣло, Аркадій...

— Не говори такъ громко, перебилъ Пигуновъ, бросая косвенный взглядъ на дверь,—онъ можетъ услышать, можетъ войти... а я не желаю имѣть съ нимъ столкновенія... Ну, что ты хотѣлъ сказать?

— Дѣло въ томъ, что жена должна ѣхать сейчасъ по одному важному дѣлу; не знаю, вернется ли она такъ скоро...

— Я часа не назначаю: четыре, пять, шесть, — это все равно... разумѣется, лучше, если вы пріѣдете раньше; но вы должны пріѣхать... Въ противномъ случаѣ, вы меня истинно огорчите... Я сегодня и безъ того особенно какъ-то грустно настроенъ! подхватилъ Пигуновъ, мрачно запрятывая руки въ карманы, которые не издали при этомъ ни малѣйшаго звука, — ужасно какъ грустно настроенъ! — повторяю: вы меня глубоко огорчите отказомъ; я уже сдѣлалъ даже кой-какія распоряженія... Итакъ, вы пріѣдете?..

— Хорошо...

— Во всякомъ случаѣ?

— Во всякомъ случаѣ.

— Честное слово?

— Честное слово.

— Ты этимъ меня воскрешаешь! вымолвилъ Аркадій Иванычъ, схватывая руку брата и пожимая ее съ большимъ чувствомъ, при чемъ двѣ крупныя слезы задрожали на его рѣсницахъ.

— Но я тебя не задерживаю, заговорилъ онъ торопливо, — я вѣдь всего только на секунду; мнѣ нельзя больше: Нидочка одна и вѣрно безпокоится... Итакъ, до свиданія! Смотрите же, я жду... Позволь, однакожъ, обнять тебя еще разъ, мой добрый, мой дорогой Николаша...

Удовлетворивъ этой потребности нѣжнаго своего сердца, Аркадій Иванычъ нахлобучилъ плисовый картузъ и быстро скрылся въ двери. Николай Степанычъ возвратился къ гостю, который взиралъ съ кроткою улыбкой на игравшихъ Лёшу и Пошу. Фуфлыгинъ пригласилъ Мирзоева перейти въ гостиную.

— Это вѣрно былъ вашъ братецъ? я узналъ его по голосу, произнесъ Мирзоевъ, опускаясь на диванъ въ первой комнатѣ, — истинно, душевно сожалѣю объ этомъ человѣкѣ!.. Я, кажется, уже передавалъ вамъ мою мысль... Какъ, помилуйте, дожить до такихъ лѣтъ, и не имѣть,

такъ сказать, опредѣлительной, вѣрной опоры къ жизни?.. Я также вотъ чего не понимаю: какая причина можетъ заставлять его избѣгать меня?.. Были у насъ, правда, въ прежнее время, кой-какіе счетцы, но я никогда ему объ этомъ не напоминаю, никогда!.. Я вижу, однакожъ, Николай Степанычъ, вы меня не слушаете... по глазамъ вашимъ вижу это!.. Скажите, о чемъ вы думаете?

— Признаюсь вамъ, Петръ Петровичъ, я не то, чтобы... но знаете, невольно какъ-то смущаетъ меня этотъ визитъ жены къ Медіоланскому...

— Въ какомъ смыслѣ? спросилъ Петръ Петровичъ, устремляя на собесѣдника пытливый взглядъ.

— Я все думаю, изъ этого ничего не выйдетъ... право!.. сами посудите: ну, гдѣ же женщинѣ...

Петръ Петровичъ тихо засмѣялся своимъ деревяннымъ смѣхомъ.

— Эхъ, жизни не знаете вы, мой почтеннѣйшій, вотъ что! промолвилъ кузенъ Мирзоевъ, шутливо трепля колѣни собесѣдника,—именно, жизни не знаете!.. Повторяю вамъ: попробуй-ка я или вы поѣхать теперь за тѣмъ, за чѣмъ ѣдетъ жена ваша, что мы получимъ?—шишъ! да, шишъ, и больше ничего! именно, ничего больше не получимъ! Но поѣдетъ женщина, особенно такая молоденькая... вы меня извините, Николай Степанычъ, да и такая хорошенькая, какъ Софья Петровна, — и повѣрьте, все какъ рукой возьметъ!.. Говорю вамъ: положитесь на меня; я знаю жизнь, знаю людей... не скажу, чтобы не зналъ я также Медіоланскаго... Нашъ старикашка, надо вамъ сказать, немножко того... влюбчивъ... вы понимаете?.. сейчасъ, знаете, растаетъ... Оно и прекрасно; пускай его таетъ, а мы себѣ на усъ, да на усъ... Увидите, что я правъ! Въ этомъ дѣлѣ я столько же заинтересованъ, сколько и вы... а между тѣмъ видите: я спокоенъ! совершенно спокоенъ! Я не сомнѣваюсь въ успѣхѣ... Да и можно ли сомнѣваться?—взгляните! взгляните!.. воскликнулъ Мирзоевъ, приподымаясь и выходя навстрѣчу Софьѣ Петровнѣ, которая неожиданно появилась въ дверяхъ въ сопровожденіи кузины, madame Poupon и дѣтей.

Она въ самомъ дѣлѣ была очень авантажна въ новомъ своемъ нарядѣ, и никто, повидимому, лучше ея не былъ въ этомъ увѣренъ; глаза ея радостно блистали, на щекахъ горѣлъ румянецъ самодовольствія, губы ласково, привѣтливо улыбались присутствующимъ, которые обсту-

пили ее и хоромъ выражали свой восторгъ и удивленіе.

— Софья Петровна... я молчу... я молчу... повторялъ Петръ Петровичъ, окончательно убѣждаясь, повидимому, что мѣсто смотрителя дома выиграно, — я молчу... Мнѣ остается молчать и преклонить колѣна... да, больше ничего!..

— Посмотрите, какъ она мила! Ну, не мила ли она? провозглашала Мирзоева по-русски и по-французски.

— Madame est à croquer, поддакивала госпожа Пупонъ.

Дѣти выражали свою радость, прыгая вокругъ матери и хлопая въ ладоши. Одинъ Николай Степанычъ молчалъ; онъ, казалось, былъ сконфуженъ и тронутъ; восторженныя похвалы, обращавшіяся къ женѣ, пробуждали въ сердцѣ его неописанную сладость, но вмѣстѣ съ тѣмъ и какое-то тоскливое чувство; онъ какъ будто внутренно сознавался, что до сихъ поръ мало оцѣнилъ свою Сонечку. Мирзоевъ отвелъ Софью Петровну къ окну: онъ чувствовалъ необходимость повторить ей свои наставленія касательно того, какъ объясниться съ Медіоланскимъ, какъ просить, и о чемъ именно, и вообще, какъ вести себя съ учредителемъ общества „Распространенія и улучшенія рогатаго скота“. Въ это время Николай Степанычъ распорядился, чтобы наняли карету.

— Ну, дорогая сестрица, теперь поѣзжайте... куйте желѣзо, пока горячо... ха, ха!.. именно такъ; мѣшкать нечего!.. сказалъ кузенъ, покидая окно.

— Карета, мой другъ, готова... произнесъ нѣжно, хотя робко, Николай Степанычъ.

— Мы поѣдемъ вмѣстѣ... вымолвила Александра Семеновна, шептавшаяся о чемъ-то съ модисткой,—Sophie довезетъ меня до Невскаго; я тамъ пробуду всего нѣсколько секундъ, послѣ чего тотчасъ же вернусь сюда... Ѣдемъ, chère amie, ѣдемъ... Adieu, madame Poupon!

— Bien du plaisir à ces dames... Messieurs, j'ai bien l'honneur... любезно проговорила француженка, и, подхвативъ свою картонку, вышла изъ номера.

Съ той минуты, какъ карета увлекла Софью Петровну, Николай Степанычъ впалъ въ раздумье, которое, очевидно, служило прикрытіемъ внутренней тревоги. Онъ самъ, впрочемъ, не могъ объяснить себѣ, что̀ именно его тревожило; онъ вполнѣ довѣрялъ опытности кузена Мирзоева; не сомнѣвался даже въ успѣхѣ дѣла; но при всемъ томъ поминутно обливался по̀томъ и выказывалъ страшную

суетливость каждый разъ, когда на улицѣ раздавался стукъ экипажа. Петръ Петровичъ и его жена (она дѣйствительно не замедлила вскорѣ явиться) старались развлечь кузена; одна говорила о петербургскихъ увеселеніяхъ, которыхъ не зналъ еще Николай Степанычъ, и которыя предстояли ему; другой краснорѣчиво повѣствовалъ о цѣляхъ, назначеніи и выгодахъ Общества, къ которому надѣялся скоро примкнуть дорогого своего родственника. Николай Степанычъ слушалъ все это очень разсѣянно; онъ продолжалъ обливаться потомъ и бросалъ нетерпѣливые взгляды къ окну. Такъ провели они по крайней мѣрѣ два часа, въ продолженіе которыхъ тревога Николая Степаныча все сильнѣе и сильнѣе возрастала. Онъ уже не довольствовался теперь взглядами, но при малѣйшемъ звукѣ извнѣ вскакивалъ съ мѣста и подбѣгалъ къ окну.

— Вотъ она!.. Она! — она! неожиданно прокричалъ Фуфлыгинъ, оживляясь до послѣдняго суставчика, и, прежде чѣмъ успѣли опомниться супруги Мирзоевы, онъ выбѣжалъ изъ номера.

Минуты двѣ спустя, онъ снова явился, но уже въ сопровожденіи Софьи Петровны.

— Ну, что? какъ?.. счастливо ли? спросили въ одинъ голосъ Мирзоевы, нетерпѣливо приближаясь къ кузинѣ.

— Приняла ее превосходно!.. всѣмъ отказала, а ее приняла!.. могъ только проговорить Николай Степанычъ, обуреваемый радостнымъ волненіемъ и не переставая вглядываться въ лицо жены восторженными, восхищенными глазами.

Черты Софьи Петровны, проникнутыя какою-то торжественною самоувѣренностію, отличались, напротивъ того, удивительнымъ спокойствіемъ. Прежде чѣмъ отвѣтить кузинѣ и кузену, она взглянула на мужа.

— Я не понимаю, Nicolas, что происходитъ съ тобою!.. c'est vraiment ridicule... вымолвила она, слегка краснѣя,— что жъ тутъ удивительнаго, что Медіоланскій меня принялъ?.. подхватила она, обращаясь къ Мирзоевымъ,— странно было бы, если бъ онъ иначе сдѣлалъ... Я вообще нашла въ немъ очень милаго, очень порядочнаго человѣка... Кстати, прибавила она, какъ бы мимоходомъ,— онъ завтра здѣсь будетъ... Онъ просилъ позволенія отдать мнѣ визитъ...

— Bravo, Sophie! mais tu as fait sa conquête! воскликнула Александра Семеновна.

— Софья Петровна, мнѣ остается молчать!.. снова сказалъ кузенъ Мирзоевъ, признательно припадая къ рукѣ кузины,—именно: остается молчать, и больше ничего...

— Я вамъ говорю, Петръ Петровичъ, это удивительная женщина... она дѣлаетъ все, что хочетъ, — рѣшительно все... началъ было Николай Степанычъ, котораго продолжали обуревать восторженныя чувства, — но онъ остановился, встрѣтивъ строгій взглядъ жены, которая покачала головою и снова покраснѣла.

— Ну, Николай Степанычъ, чего же вы такъ безпокоились, а? сказалъ Мирзоевъ.—Не говорилъ ли я вамъ, а? въ извѣстныхъ случаяхъ, почтеннѣйшій, женщины всемогущи!.. да, онѣ всемогущи!.. Ну, Софья Петровна, что же онъ сказалъ, однакожъ, касательно мѣста смотрителя дома?

— Онъ очень мило улыбнулся и сказалъ, что завтра привезетъ мнѣ отвѣтъ, возразила Фуфлыгина. — Изъ выраженія лица его я ясно могла понять, что отвѣтъ будетъ удовлетворительный...

— О, эти женщины! не говорилъ ли я вамъ? — это удивительно! воскликнулъ кузенъ Мирзоевъ, благородное сердце котораго забилось. — Итакъ, почтеннѣйшій Николай Степанычъ, итакъ, благодаря милой женѣ вашей, дѣло выиграно! Черезъ недѣлю... быть можетъ даже менѣе, я получаю мѣсто... а тамъ... тамъ начинаю хлопотать и васъ опредѣляю. Вотъ еще что, Софья Петровна, примолвилъ онъ, поворачиваясь вдругъ къ Фуфлыгиной, которая готовилась уже выйти съ кузиной, чтобы снять шляпу и мантилью, — Медіоланскій не говорилъ вамъ, въ которомъ часу именно онъ завтра у васъ будетъ?..

— Ровно въ часъ! самоувѣренно возразила Софья Петровна, удаляясь и запирая дверь.

— Ну, и прекрасно!.. Послушайте, Николай Степанычъ, торопливо заговорилъ Мирзоевъ, увлекая кузена въ амбразуру окна,—вы бы хорошо сдѣлали, если бъ около этого часа... да, часовъ этакъ въ двѣнадцать, ко мнѣ завтра пожаловали... или нѣтъ, позвольте... Завтра меня въ это время не будетъ дома... у меня завтра счетный день... такая досада! Но все равно, вы, кажется, говорили, что Аркадій Иванычъ предлагалъ вамъ идти въ Академію... вы же у него обѣдаете сегодня; скажите ему, что завтра въ двѣнадцать часовъ вы къ нему заѣдете.

— Но, какъ же, Петръ Петровичъ?... вѣдь это невозможно... развѣ вы забыли?

— А что?

— А Медіоланскій?.. Онъ въ это самое время здѣсь будетъ... вы слышали, онъ сказалъ: ровно въ часъ...

Благородная наружность кузена Мирзоева приняла озабоченное выраженіе.

— Николай Степанычъ, позвольте вамъ сказать нѣсколько словъ... произнесъ онъ вкрадчивымъ, умягченнымъ голосомъ, и взялъ кузена за пуговицу, но подумавъ вѣроятно, что этого мало при настоящемъ объясненіи, взялъ его за руку, — позвольте только быть съ вами откровеннымъ... паши родственныя отношенія... вы меня понимаете... и притомъ, я человѣкъ, который ото всего сердца, ото всей души, желаетъ вамъ добра и вамъ сочувствуетъ... именно: сочувствуетъ вамъ!.. (тутъ Мирзоевъ крѣпко пожалъ руку собесѣдника, который отвѣтилъ ему тѣмъ же), — наконецъ, опытъ въ жизни, продолжалъ Мирзоевъ, знаніе свѣта, этого свѣта, отъ котораго вы — житель тихой деревни, мирныхъ полей и рощъ, — были постоянно удалены... о, сколько разъ я вамъ завидовалъ, Николай Степанычъ, сколько разъ!.. все это даетъ мнѣ даже нѣкоторое право говорить вамъ прямо въ настоящемъ случаѣ... Не такъ ли?..

— Помилуйте, Петръ Петровичъ!.. сдѣлайте одолженіе, я даже прошу васъ объ этомъ...

— Благодарю васъ, благодарю... перебилъ кузенъ Мирзоевъ, взявъ собесѣдника сначала опять за пуговицу и потомъ снова за руку. — Въ первую минуту, какъ мы заговорили о визитѣ Медіоланскаго, мнѣ было, знаете... неловко какъ-то высказать вамъ мою мысль; но теперь, ободренный вашими словами, я ее выскажу, да, выскажу... Послушайте, Николай Степанычъ, подхватилъ онъ, бросая изъ - подъ очковъ нѣжный взглядъ; — вамъ было бы неловко... скажу болѣе: вамъ никакъ не слѣдуетъ быть дома во время этого визита... Какъ хотите, но этого требуютъ условія свѣта... и это понятно: послушайте, супруга ваша ѣздила къ Медіоланскому, онъ отдаетъ ей визитъ... замѣтьте: „ей, но не вамъ!..“ Вы меня извините, Николай Степанычъ, но я человѣкъ откровенный и говорю, что на душѣ; присутствіе ваше было бы нѣкоторымъ образомъ... даже не деликатно... Здѣсь, въ этой квартирѣ, вы предствляете главное лицо, не такъ ли?.. Медіоланскій дѣлаетъ визитъ женѣ вашей, — замѣтьте: „ей одной“, и вдругъ

сталкивается съ вами, котораго, — вы меня извините, — онъ знать вовсе даже не обязанъ; воля ваша, это крайне неловко... Я даже посовѣтовалъ бы вамъ увести дѣтей... Дѣти шумятъ, безпокоятъ... Къ тому же, Медіоланскій не женатъ и терпѣть, кажется, дѣтей не можетъ... все это очень натурально... Поняли ли вы меня, Николай Степанычъ? умиленно заключилъ Мирзоевъ.

— Безъ сомнѣнія, Петръ Петровичъ... я, разумѣется, понялъ... все это... проговорилъ Фуфлыгинъ, закрывая глаза и стараясь привести въ порядокъ свои разбѣгающіяся мысли, — я чрезвычайно вамъ благодаренъ... но все-таки мнѣ... какъ-то странно все это...

— Кому вы это говорите! Еще бы не странно! Но, что жъ дѣлать? что жъ дѣлать? таковы, Николай Степанычъ, условія свѣта, и надо имъ покоряться, это неизбѣжно...

Но въ эту минуту показались обѣ дамы, и Петръ Петровичъ замолчалъ.

— Вотъ что, Nicolas, сказала Софья Петровна,—первый номеръ въ этой гостиницѣ вчера освободился... мнѣ хочется воспользоваться этимъ случаемъ и туда переѣхать... здѣсь всего три комнаты, и это ужасно неудобно...

— Но, почему же, мой другъ?.. я этого не вижу... комната эта очень мила; въ ней можно принять кого угодно...

— Я, признаюсь, Софья Петровна, также не понимаю, почему вамъ здѣсь не нравится?.. А, впрочемъ, дѣйствительно, дѣйствительно лучше переѣхать въ первый номеръ, торопливо замѣтилъ Мирзоевъ, замѣтивъ неудовольствіе на лицѣ кузины, — дѣйствительно, это бы лучше было... Если бъ Софья Петровна просила Медіоланскаго о вашемъ опредѣленіи, Николай Степанычъ, ничего не значило бы тогда принять его даже въ худшемъ номерѣ; напротивъ, оно бы даже шло какъ-то... Но Софья Петровна является въ настоящемъ случаѣ уже не какъ просительница, нѣтъ: она проситъ за другого... Немножко больше... удобства въ этомъ случаѣ не помѣшаютъ... вы меня сами поймете, Николай Степанычъ... Переѣзжайте-ка въ самомъ дѣлѣ! Вѣдь это всего на какихъ-нибудь два-три дня, не больше!..

Съ первыми словами жены о переселеніи изъ дешеваго номера въ дорогой, Николай Степанычъ твердо рѣшился возстать противъ такого намѣренія; онъ внутренно сохранялъ убѣжденіе, что деньги сыпались изъ кармана

его такъ же быстро, какъ если бъ сумма исключительно состояла изъ мелкой монеты, а карманъ находился весь въ дырьяхъ; владѣя такимъ аргументомъ, ему стоило только, разумѣется, открыть ротъ, чтобы одержать побѣду; но ротъ его не раскрылся. Перспектива успѣха, въ которомъ смѣшно было теперь сомнѣваться, завтрашній визитъ Медіоланскаго, и главное, послѣдніе доводы опытнаго, знающаго свѣтъ Петра Петровича,—все это поколебало рѣшимость Николая Степаныча такъ же быстро, какъ если бъ ея вовсе не существовало. По прошествіи трехъ минутъ, онъ объявилъ уже лакею, что перебирается въ первый номеръ. Переѣздъ совершался тотчасъ же послѣ отъѣзда Мирзоевыхъ. Часамъ къ тремъ все было готово. Фуфлыгины сѣли въ карету съ дѣтьми и поѣхали къ Пигуновымъ.

Нельзя не замѣтить, что Софья Петровна сильно не сочувствовала этому обѣду, точно такъ же, какъ не сочувствовала она лицамъ, дававшимъ обѣдъ. Но была ли возможность отказаться отъ такой поѣздки? Была ли возможность огорчать мужа, который такъ охотно исполнялъ волю жены и, кромѣ того, питалъ такую нѣжную, сердечную привязанность къ брату и его семейству? Могли быть также и другія причины, склонившія Софью Петровну не выказывать мужу своего неудовольствія: на совѣсти ея лежали два шелковыя платья, двѣ шитыя юбки, одинъ воротничокъ и шляпка, которые заказаны были (честь выбора, сдѣланнаго съ необычайнымъ вкусомъ, принадлежала кузинѣ Мирзоевой), которые заказаны были madame Poupon тайно отъ Николая Степаныча. При первомъ намекѣ его объ обѣдѣ Пигуновыхъ, Софья Петровна торопливо одѣлась и вообще поспѣшила доказать своему Nicolas, что всегда рада исполнять его желанія.

VII.

Мы обѣдаемъ у Пигуновыхъ.

Карманные часы Николая Степаныча показывали безъ четверти четыре, когда карета остановилась въ Измайловскомъ полку передъ огромнымъ пятиэтажнымъ домомъ. Въ зданіи этомъ, несмотря на его колоссальные размѣры, бросалась въ глаза одна только ошибка, и то, впрочемъ, не относившаяся къ архитектурѣ; желтый ярлыкъ надъ

воротами дома возвѣщалъ, что домъ принадлежитъ колежской секретаршѣ Загребаевой; всѣмъ, между тѣмъ, извѣстно было, что домъ составлялъ неотъемлемую собственность самого коллежскаго секретаря и купленъ былъ на его собственныя, кровныя деньги. Но такого рода ошибки слишкомъ часты въ отдаленныхъ кварталахъ Петербурга, чтобы стоило упоминать о нихъ.

Фуфлыгины прошли черезъ подъѣздъ на просторную, хотя темную и довольно запущенную лѣстницу. Аркадій Иванычъ нанималъ квартиру въ верхнемъ этажѣ. Остановившись передъ его дверью, Николай Степанычъ взялся за ручку звонка и смѣло дернулъ нѣсколько разъ сряду. Изнутри не послѣдовало отвѣта. Подождавъ минуту, Николай Степанычъ снова дернулъ. За дверью попрежнему царствовало ненарушимое молчаніе.

— Странно... ужъ не ошибся ли я дверью?.. проговорилъ Николай Степанычъ, между тѣмъ какъ Софья Петровна кусала губки и удерживалась отъ смѣха,—нѣтъ, однакожъ, быть не можетъ; Аркадій именно объяснилъ, что здѣсь... Не лучше ли спросить, однакожъ, у vis-à-vis... заключилъ онъ, направляясь къ двери съ надписью: „Повивальная бабка“.

— Какъ удобно такое сосѣдство... это очень кстати, сказала Софья Петровна.—Аменаида Васильевна всегда въ интересномъ положеніи... и...

— Какъ тебѣ не стыдно, Sophie! эхъ! произнесъ огорченнымъ тономъ Николай Степанычъ и позвонилъ.

Изъ двери повивальной бабки тотчасъ же выглянула женщина; она нетерпѣливо отвѣтила, что Пигуновы жили насупротивъ, и быстро скрылась. Николай Степанычъ возвратился къ звонку брата.

— Мнѣ кажется, колокольчикъ Аркадія Ивановича испорченъ... онъ не издаетъ звука... Нѣтъ ничего мудренаго, что насъ не слышатъ... замѣтила Софья Петровна, видя безполезныя усилія мужа, дергавшаго изо всей мочи.

Выведенный изъ терпѣнія, Николай Степанычъ пустилъ въ ходъ кулаки.

— Дѣйствительно, колокольчикъ испорченъ... идутъ! я слышу... проговорилъ онъ уже веселымъ тономъ.

Замокъ щелкнулъ—и на порогѣ показалась черноволосая встрепанная баба, очень похожая на колдунью.

— Кого вамъ? прохрипѣла она, кидая подозрительно-раздраженные взгляды.

Николай Степанычъ, безъ дальнѣйшихъ объясненій, взялъ за руку Лёшу и Пошу и тронулся впередъ. Колдунья загородила дорогу.

— Кого вамъ? повторила она суровѣе прежняго.

— Аркадія Иваныча...

— Дома нѣтъ...

— Какъ?.. Но все равно, жена его дома и...

— И ея дома нѣтъ!.. Никого нѣтъ дома!..

— Такъ они, стало-быть, сейчасъ придутъ... Мы здѣсь сегодня обѣдаемъ... Мы въ такомъ случаѣ подождемъ... миролюбиво проговорилъ Николай Степанычъ, порываясь впередъ.

Но колдунья снова загородила дорогу.

— Безъ господъ не пущу... не велѣно...

— Какъ не велѣно?.. вскричалъ Николай Степанычъ, мгновенно раздражаясь.—Но я братъ Аркадія Иваныча... я его братъ... слышишь ли?..

При этомъ извѣстіи, лицо мегеры смягчилось; тѣмъ не менѣе, противъ всякаго ожиданія, она захлопнула дверь и повернула ключъ. Краска негодованія заиграла на ланитахъ Николая Степаныча и потъ выступилъ на лицѣ его. Софья Петровна не могла уже удержаться и засмѣялась.

— Чего ты смѣешься?.. Ничего тутъ нѣтъ смѣшного... Смѣшного рѣшительно нѣтъ ничего!.. вымолвилъ Николай Степанычъ голосомъ досады и вмѣстѣ съ тѣмъ искренняго огорченія.

Онъ сдѣлалъ нетерпѣливый жестъ, пробормоталъ: „Это, однакожъ, чортъ знаетъ что такое!..“ и, взявъ за руку Лёшу и Пошу, торопливо, съ видомъ въ высшей степени раздраженнымъ и рѣшительнымъ, началъ спускаться съ лѣстницы. Семейству оставалось уже пройти нѣсколько ступенекъ, чтобъ очутиться на подъѣздѣ, когда нежданно прозвучалъ сверху голосъ мегеры: „Пожалуйте-съ... пожалуйте!.. барыня дома!..“

Но не одинъ голосъ бабы привлекъ вниманіе Фуфлыгиныхъ; по лѣстницѣ стремительно спускался молодой человѣкъ въ голубомъ галстукѣ и пестромъ жилетѣ; такъ быстро, сверху внизъ, могъ летѣть одинъ Меркурій, бросающійся съ облаковъ; секунды черезъ три, молодой человѣкъ остановился передъ изумленнымъ Николаемъ Степанычемъ.

— Ахъ, мосье Сюсюковъ, это вы?.. сказала Софья

Петровна, пріятно улыбаясь. — Позвольте представить вамъ моего мужа. Nicolas—мосье Сюсюковъ...

Мужчины поклонились, пробормотали сквозь зубы: „м...м...м...“ и пожали другъ другу руки.

— Васъ, конечно, удивило, что васъ не впустили? любезно заговорилъ Сюсюковъ, вертляво изгибаясь передъ Николаемъ Степанычемъ, тогда какъ масляные, радостно свѣтящіеся глазки его исключительно смотрѣли на Софью Петровну,—со мной случилось то же самое... вышло недоразумѣніе... кухарка глупа какъ пробка!.. Вы, вѣроятно, долго звонили? я также; колокольчикъ обвязанъ тряпкой... Аркадій Иванычъ распорядился...

— Ужъ не больна ли Аменаида Васильевна?..

— Нѣтъ, не замѣтилъ; кажется, ничего... Но вчера произошла здѣсь непріятность; потому и колокольчикъ завязанъ...

— Ахъ, Боже мой, что же такое? спросилъ съ участіемъ Николай Степанычъ.

— Представьте, какіе-то негодяи,—не знаю ихъ цѣли, но они объявили вчера въ газетахъ, будто Аркадій Иванычъ уѣзжаетъ за границу... весь день вчера только и дѣлали, что звонили; вся лѣстница была запружена народомъ... ужасно непріятно! Аркадій Иванычъ былъ въ отчаяніи!.. потому собственно и колокольчикъ завязанъ... Но что же мы стоимъ, однакожъ?.. Аменаида Васильевна, узнавъ, что вы на лѣстницѣ, ужасно встревожилась; я сейчасъ же бросился за вами... Я вѣдь здѣсь въ первый разъ и также обѣдаю... Я зналъ, что вы будете и поспѣшилъ воспользоваться случаемъ... (Сюсюковъ пожалъ руку Николаю Степанычу и бросилъ выразительный взглядъ Софьѣ Петровнѣ, которая покраснѣла и отвернула голову). Странно, однакожъ, что нѣтъ до сихъ поръ Аркадія Иваныча!.. тамъ уже ждутъ два гостя: художникъ Корочкинъ... кажется, страшно глупъ! и какой-то еще господинъ Фукъ... должно-быть, изъ нѣмцевъ... страшно свирѣпаго вида... но я его совсѣмъ не знаю...

Сюсюковъ говорилъ безъ умолку до тѣхъ поръ, пока не достигнулъ середины лѣстницы; тутъ семейство Фуфлыгиныхъ остановилось, чтобы перевести духъ; остановился и Сюсюковъ.

— Мнѣ пришла вдругъ одна мысль... ха-ха-ха... снова заговорилъ Сюсюковъ, игриво потряхивая головою съ бѣлокурыми напомаженными завитками. — Я и самъ не знаю,

отчего пришла мнѣ эта мысль... ха-ха... совершенно неожиданно... даже странно какъ-то...

— Что же такое? спросила Софья Петровна, кокетливо прищуривая глазки.

— Рѣшительно не понимаю, отчего мнѣ пришло это въ голову... Одинъ поэтъ сказалъ: „Что легче свинца?— перо! Что легче пера?— вата! Что легче ваты?— пухъ! Что легче пуха?—воздухъ! Что легче воздуха?—женщина!..“ Ха-ха-ха!.. Это пришло мнѣ вдругъ, совершенно неожиданно...

Николай Степанычъ, при всемъ напряженіи своемъ, не могъ поймать настоящей мысли молодого человѣка, и по тому самому поспѣшилъ пріятно улыбнуться.

— Насъ ждутъ однакожъ; пойдемте... сказалъ онъ, принимаясь шагать по лѣстницѣ.

Сюсюковъ воспользовался удобной минутой, быстро пригнулся къ Софьѣ Петровнѣ и шепнулъ ей:

— Я это сказалъ для васъ... для васъ!...

На слѣдующей площадкѣ, онъ снова воспользовался случаемъ, и когда мужъ обернулся къ нимъ спиною, онъ шепнулъ: „Глядя, какъ вы поднимались по лѣстницѣ, я подумалъ: вы легче самаго воздуха, легче всякой женщины...“

Софья Петровна сдѣлала видъ, какъ будто ничего не слышитъ, и побѣжала вверхъ по ступенькамъ. Масляные глазки Сюсюкова пожирали ножки Софьи Петровны, обутыя въ новыя ботинки. Софья Петровна, казалось, чувствовала эти взгляды и, по ступенькамъ, усильно выгибала носки ботинокъ, чтобы ножка ея казалась еще граціознѣе.

Пигунова дожидалась родственниковъ въ прихожей; она была повидимому сильно взволнована ихъ прибытіемъ. Мы никогда не видали Пигунову въ радостныя минуты, и потому не знаемъ, какими наружными знаками выражается у ней это чувство; знаемъ только, что, когда здоровалась она съ родственниками, блѣдное лицо ея страшно вытянулось, голова тряслась, а руки и ноги испытывали сильнѣйшій пароксизмъ лихорадки. Но все это ничего не значило передъ тѣмъ, когда Николай Степанычъ объявилъ, что пріѣхалъ обѣдать. Извѣстіе это подѣйствовало на нее такъ же сильно, какъ если бъ beau frère всадилъ ей пулю въ самую середину сердца; она покачнулась и даже здоровый глазъ ея на секунду закрылся. Она

устояла однакожъ на ногахъ, и пригласила родственниковъ войти.

Въ первой комнатѣ ихъ встрѣтили Вася, Полиникъ и Соня, которые испустили радостный крикъ при видѣ Лёши и Поши; оставивъ дѣтей вмѣстѣ, Пигунова провела родственниковъ во вторую комнату,—жалкую, пустынную комнату съ двумя ободранными ситцевыми диванами, рабочимъ столикомъ и нѣсколькими стульями, расположенными полукругомъ передъ однимъ изъ диванов. Тутъ присутствовали два гостя, о которыхъ говорилъ Сюсюковъ.

Одинъ былъ человѣкъ лѣтъ сорока, рослый, тучный, съ отекшимъ лицомъ желтоватаго свойства, толстыми губами, крупнымъ носомъ, нахмуренными бровями и шарообразною головою, обстриженною плотно подъ гребенку. Другой представлялъ изъ себя тощаго, чахоточнаго молодого человѣка, съ какою-то разварною, вялою и лоснящеюся физіономіей; длинные бѣлокурые волосы его, заложенные за уши, выдавали впередъ его носъ, и безъ того уже торчавшій клиномъ; одѣяніе его состояло изъ синяго фрака со свѣтлыми пуговицами, застегнутыми до верху, и черныхъ, весьма узкихъ панталонъ, которые, очевидно, стѣсняли всѣ его движенія.

— Господа,—братъ моего мужа... произнесла слабымъ голосомъ Пигунова, представляя beau frère, — Николай Степанычъ,—пріятели Аркадія Иваныча: господинъ Фукъ (она указала дрожащею рукою на пожилого гостя) и господинъ Корочкинъ... заключила она, обращая тусклый глазъ къ синему фраку.

Господинъ Фукъ медленно, даже неохотно, какъ-то привсталъ и протянулъ руку Николаю Степанычу, при чемъ желтое лицо его сдѣлалось, казалось, еще болѣе нахмуреннымъ. Художникъ Корочкинъ, напротивъ, съ живостію схватилъ протянутую руку; онъ пріятно даже улыбнулся и готовился сказать что-то, но замялся, покраснѣлъ и, чтобы поправиться, началъ поспѣшно и очень громко сморкаться.

Николай Степанычъ сѣлъ между Фукомъ и Корочкинымъ; Софья Петровна заняла мѣсто между художникомъ и Сюсюковымъ, который страшно сѣменилъ передъ сосѣдкою и безпрестанно шептался съ нею.

Пигунова распоряжалась подлѣ рабочаго стола; она хотѣла привести въ порядокъ ножницы, иголки, нитки и начатый воротникъ, лежавшіе на столѣ (нянька, служив-

шая у Пигуновыхъ, увѣряла меня, будто вышиванье этихъ воротничковъ, за которыми просиживала ночи Пигунова, спасало и ее, и дѣтей отъ вѣрной голодной смерти; но не знаю, вѣрить ли этой нянькѣ, отличавшейся болтливостію и сильной неумѣренностію въ употребленіи коньяка, котораго не могъ отъ нея никуда упрятать Аркадій Иванычъ); Аменаида Васильевна оставила однакожъ столъ въ прежнемъ безпорядкѣ; руки измѣнили ей; онѣ такъ дрожали, что она поспѣшила спрятать ихъ подъ свой порыжѣвшій бурнусъ.

— Какъ сегодня ваше здоровье, сестрица?.. спросилъ Николай Степанычъ, съ цѣлію оживить бесѣду.

— Очень хорошо... благодарю васъ, братецъ... возразила Пигунова, съ неописанною тоскою во всѣхъ чертахъ.

Неисправность Аркадія Иваныча, который назвалъ гостей и не явился, тогда какъ давно бы слѣдовало сидѣть за столомъ, начинала также безпокоить Николая Степаныча. Онъ подумалъ однакожъ, что, въ качествѣ брата хозяина дома, ему необходимо занять гостей и стараться загладить нѣкоторымъ образомъ непріятное впечатлѣніе, производимое отсутствующимъ; онъ вдругъ принялъ развязный видъ, повеселѣлъ и приступилъ къ описанію первыхъ своихъ впечатлѣній въ Петербургѣ. Но потому ли, что эти впечатлѣнія были знакомы присутствующимъ, или вообще мысли ихъ устремлялись къ другимъ предметамъ,—усилія добродушнаго Николая Степаныча не имѣли успѣха; разговоръ не клеился, не принималъ характера общей, оживленной бесѣды. Безпокойство хозяйки дома, очевидно, только усиливалось съ каждой секундой. Софья Петровна держала себя въ сторонѣ и только болтала съ Сюсюковымъ. Господинъ Фукъ рѣдко поддакивалъ, мрачно кивалъ головою и безпрерывно поглядывалъ на свои толстые серебряные часы. Художникъ Корочкинъ часто покушался вставить свое замѣчаніе; но покушенія его ограничивались улыбками, послѣ чего онъ начиналъ громко сморкаться; онъ нѣсколько разъ приступалъ также къ Софьѣ Петровнѣ. Видя, что Корочкинъ придвигалъ стулъ и открывалъ ротъ, Софья Петровна любезно къ нему оборачивалась, въ надеждѣ услышать какое-нибудь слово; но ротъ Корочкина мгновенно распространялся въ улыбку: онъ краснѣлъ, поджималъ ноги, и вдругъ начиналъ кашлять или сморкаться, что всякій разъ доставляло новую пищу сатирическому Сюсюкову.

— Скажите, мосье Фукъ, который у васъ часъ? спросилъ Николай Степанычъ, когда сосѣдъ снова потянулъ изъ жилетнаго кармана свою луковицу.

— Чего, ужъ скоро пять! возразилъ Фукъ, мрачно насупивая брови.

— У меня тоже пять... сказалъ Николай Степанычъ, подавляя вздохъ, — я, право, не понимаю, что сдѣлалось съ Аркадіемъ?.. это странно...

— Я... я, право, не знаю, что такое... промолвила бѣдная хозяйка дома, сидѣвшая на своемъ диванѣ, какъ приговоренная къ смерти преступница.

— Онъ вѣдь всегда такъ... всегда!.. замѣтилъ Фукъ, выказывая сильное неудовольствіе.

Прошло еще десять минутъ, а Пигуновъ не являлся; многіе изъ присутствующихъ начали уже чувствовать голодъ; а между тѣмъ не было даже замѣтно приготовленій къ обѣду: до слуха не долетали шумъ раскрываемаго стола, шелестъ салфетки, звяканье посуды, — словомъ, не слышно было тѣхъ звуковъ, которые повергаютъ въ сладкій трепетъ голодныхъ людей, являющихся на званый обѣдъ. Изъ сосѣдней комнаты раздавались только шумные крики игравшихъ дѣтей.

— Вы не повѣрите, Софья Петровна, какъ я люблю дѣтей, заговорилъ вдругъ Сюсюковъ, подымаясь съ мѣста и поворачиваясь къ двери сосѣдней комнаты, — они такъ милы, когда играютъ!.. посмотрите... взгляните... пойдемте къ нимъ на минуту... прибавилъ онъ убѣдительнымъ тономъ.

Софья Петровна встала и обратилась къ художнику Корочкину, который въ эту минуту остановился передъ нею, вытянувъ шею и раскрывъ ротъ.

— Вы хотите мнѣ сказать что-нибудь? спросила она.

Корочкинъ безъ всякаго сомнѣнія не замедлилъ бы произнести что-нибудь весьма интересное, но, какъ на зло, имъ овладѣлъ вдругъ жестокій кашель, который заставилъ его поспѣшно прибѣгнуть къ платку. Фуфлыгина насмѣшливо закусила губки и пошла взглянуть на дѣтей.

— Софья Петровна, произнесъ Сюсюковъ, какъ только явилась она во второй комнатѣ, — пожалуйста, подойдите къ окну; взгляните, какой великолѣпный видъ отсюда... весь Петербургъ какъ на ладони... это чудо что такое!..

Онъ простеръ руку впередъ и началъ дѣлать граціозные пояснительные жесты; указательный палецъ его слу-

чайно прикоснулся къ стеклу и какъ бы нечаянно вывелъ вензель. Софья Петровна увидѣла на стеклѣ букву S и, чтобы скрыть впечатлѣніе, произведенное такимъ открытіемъ, поспѣшила обернуться къ дѣтямъ.

— Ахъ! ахъ! вздохнулъ Сюсюковъ, неожиданно принимая меланхолическую позу.

— Что съ вами? о чемъ вы вздыхаете? спросила непринужденнымъ тономъ Фуфлыгина.

— Кому же вздыхать, какъ не мнѣ... ахъ-а-ахъ!..

— Но почему же?

— Влюбленъ, Софья Петровна! Страстно, безумно влюбленъ!.. заговорилъ Сюсюковъ, прикладывая руку къ сердцу и подкатывая къ потолку свои масляные глазки.

— Знаю, знаю... Я давно это замѣтила... вымолвила Софья Петровна, лукаво прищуриваясь.

— Вы знаете?.. вы?.. не можетъ быть!..

— Да; знаю даже, въ кого вы влюблены... подтвердила Софья Петровна.

— Не можетъ быть!..

— Нѣтъ, знаю...

— Нѣтъ, не знаете! клянусь честію, не знаете... О, если бъ вы знали!.. Но нѣтъ, вы не знаете!.. Ахъ, Софья Петровна, у васъ сейчасъ разстроилась вотъ тутъ прическа... взгляните... вотъ здѣсь... торопливо подхватилъ Сюсюковъ, притрогиваясь къ собственному затылку.

Софья Петровна подошла къ старому тусклому зеркалу, висѣвшему между окнами.

— Вы думаете, что ужъ я провинціалка и слѣдовательно ничего не вижу, ничего не замѣчаю... вымолвила она, поправляя гребенку, — все вижу, повѣрьте!.. я съ перваго взгляда замѣтила, что вы влюблены, и знаю въ кого.

— А вотъ же не знаете... клянусь честью, не знаете!.. страстно прошепталъ Сюсюковъ.

— Ну, такъ въ кого же? съ дѣтскою наивностію спросила Софья Петровна, обращаясь къ собесѣднику, который впивался въ нее своими масляными глазками.

— Въ кого?.. Хотите, я вамъ скажу?.. Только для этого, Бога ради, не смотрите на меня такъ пристально.

Софья Петровна повернулась къ нему спиною.

— Нѣтъ, не туда, это ужъ слишкомъ! проговорилъ Сюсюковъ.

Софья Петровна стала спиною къ зеркалу.

— Нѣтъ, опять не туда... не туда... та, въ которую я безумно влюбленъ, стоитъ за вами... за вами!..

— Но гдѣ же... она?... съ любопытствомъ вымолвила Софья Петровна, оборачиваясь къ зеркалу.

Увидя въ зеркалѣ свое собственное изображеніе, она съ испуганнымъ видомъ отступила въ сторону, покраснѣла и погрозила пальчикомъ Сюсюкову, который весь, съ головы до пятокъ, трепеталъ отъ сладостнаго томленія.

— Смотрите, мосье Сюсюковъ, я скажу!.. я скажу!.. я вѣдь ужасно болтлива...

И она снова погрозила пальцемъ.

— Кому вы скажете?..

— А хоть бы кузинѣ Александринѣ... да!..

— Скажите, Бога ради, скажите... я буду очень радъ... Я никого не боюсь!.. въ настоящую минуту, я готовъ въ огонь и воду... я готовъ на все... Послушайте... Софья Петровна...

— Пожалуйста, оставьте... я не хочу васъ слушать... слышите ли: не хочу! и запрещаю вамъ говорить пустяки... потому что все это пустяки! сказала Софья Петровна, нахмуривая свои брови, но такъ, однакожъ, чтобы это не портило милаго, дѣтски-простодушнаго выраженія ея лица, — скажите лучше: не странно ли, что мы до сихъ поръ не обѣдаемъ?.. Какъ вамъ нравится художникъ Корочкинъ?.. а этотъ господинъ Фукъ?

— Но, Софья Петровна...

— Пожалуйста, перестаньте; я вамъ сказала, что не хочу васъ слушать, когда вы говорите пустяки...

— Но, Софья Петровна...

— Я нахожу, что хозяинъ и хозяйка дома гораздо бы лучше сдѣлали, если бъ предупредили насъ... Это даже немножко...

— Но, Софья Петровна...

— Впрочемъ, Аркадій Иванычъ, надо вамъ сказать, совсѣмъ не родной братъ моему мужу; они не видались съ самаго дѣтства... Что до меня касается, я совсѣмъ почти съ нимъ незнакома... я здѣсь даже въ первый разъ...

— И я въ первый разъ! подхватилъ Сюсюковъ, — но могъ ли я не воспользоваться случаемъ, когда зналъ, что вы здѣсь.

— Опять! опять! перебила Софья Петровна, снова грозя пальчикомъ,—смотрите, мосье Сюсюковъ, мы не шутя поссоримся...

И, кокетливо прищуривъ глазки, она вернулась въ гостиную.

Тамъ бесѣда окончательно расклеилась. Отсутствіе брата начинало не шутя тревожить и бѣсить Николая Степаныча; кромѣ того, что Аркадій Иванычъ ставилъ въ критическое, можно даже сказать, отчаянное положеніе жену свою (стоило взглянуть на Пигунову, чтобы удостовѣриться въ этомъ), онъ заставлялъ самого Николая Степаныча играть глупѣйшую роль передъ гостями. Соображая обо всемъ этомъ, Николай Степанычъ не находилъ словъ для разговора; ему совѣстно даже было смотрѣть и на сосѣда Фука, который явно уже выказывалъ знаки неудовольствія, и на художника Корочкина, лицо котораго вытягивалось отъ голода, хотя время отъ времени продолжало улыбаться. Къ довершенію критическаго положенія, почти вслѣдъ за Софьей Петровной въ гостиную вбѣжала Поша.

— Папа, сказала она,—когда же мы будемъ обѣдать?.. мнѣ очень кушать хочется... Вася, Соня и Полиникъ уже обѣдали...

— Сейчасъ, мой другъ... Сію минуту пріѣдетъ дядя Аркадій... Поди, поиграй пока... Онъ сейчасъ пріѣдетъ... смущеннымъ голосомъ промолвилъ отецъ, украдкою взглянувъ на хозяйку дома, которая сидѣла, какъ убитая.

Добродушный Николай Степанычъ много бы далъ, чтобы въ эту минуту, въ сосѣдней комнатѣ, раздалось звяканье стакановъ и стукъ посуды; но даже признака не было какихъ-нибудь приготовленій, — и господинъ Фукъ снова вытащилъ свою серебряную луковицу.

— Помилуйте, скоро ужъ шесть часовъ!.. сказалъ Фукъ грубымъ тономъ, который, съ одной стороны, усилилъ и безъ того уже невыносимую пытку бѣдной Пигуновой, съ другой—увеличилъ смущеніе Николая Степаныча.

Фукъ нетерпѣливо запряталъ въ жилетный карманъ свою луковицу и поднялся съ мѣста. Николай Степанычъ быстро взглянулъ на Пигунову, взялъ Фука подъ руку и вывелъ его въ комнату, гдѣ играли дѣти.

— Бога ради, извините, мосье Фукъ,—я самъ не постигаю, что все это значитъ!.. заговорилъ Николай Степанычъ.—Ужъ не случилось ли съ нимъ какого-нибудь несчастія?..

— Онъ могъ бы прислать сказать...

— Но, можетъ-быть, не кого прислать... Бога ради, подождемте еще... Если бъ не случилось чего-нибудь,

онъ вѣрно не сталъ бы подвергать жену свою такому положенію...

— Да, какъ же! много онъ о ней думаетъ!..

— Но, однакоже...

— Онъ думаетъ о ней, я вамъ скажу, грубо возразилъ Фукъ,—какъ какой-нибудь слонъ думаетъ о лайковыхъ перчаткахъ...

— Nicolas! промолвила Софья Петровна, выглядывая изъ двери.

Николай Степанычъ, предчувствуя, что что-нибудь случилось, поспѣшно побѣжалъ въ гостиную. Софья Петровна молча обвела глазами гостиную, въ которой не находилось уже Пигуновой, и устремила ихъ на дверь сосѣдней комнаты.

— Я останусь съ гостями, сказала она.

Но Николай Степанычъ не дослушалъ и бросился къ указанной ему двери. Онъ очутился въ бѣдной спальнѣ съ голыми стѣнами, съ окнами безъ занавѣсокъ и большою двуспальною постелью, подлѣ которой находилась качка, вмѣщавшая трехмѣсячнаго Аполлона. На постели лежала Пигунова; она плакала навзрыдъ, вздрагивала всѣмъ тѣломъ и была весьма близка къ истерическому припадку.

— Бога ради, сестрица, успокойтесь... Онъ сейчасъ придетъ! это ничего... Гости охотно ждутъ... произнесъ Фуфлыгинъ, стараясь предупредить истерику.

— Это не въ первый разъ... говорила, горько всхлипывая, Пигунова, между тѣмъ какъ Николай Степанычъ схватывалъ ее то за одну руку, то за другую, и всячески старался привести ее въ чувство,—не въ первый разъ... онъ всегда такъ... ха-ха-ха!.. всегда!.. Его съ утра нѣтъ... онъ ни слова не сказалъ... ха-ха-ха!.. не предупредилъ даже... ха-ха-ха!..

Въ спальнѣ находилась еще одна маленькая дверь; за этой дверью внезапно раздался ужаснѣйшій шумъ и, прежде чѣмъ Николай Степанычъ успѣлъ оглянуться, въ спальнѣ показался Аркадій Иванычъ.

— Что, гости здѣсь?.. Собрались?.. Всѣ собрались?.. спросилъ онъ, какъ бы выстрѣливая изъ ружья три залпа сряду.

Онъ кидалъ растерянные взгляды и не обращалъ вниманія на жену, которая упала на подушки и зарыдала громче прежняго.

Услышавъ голоса въ гостиной, Пигуновъ схватилъ обѣими руками испуганнаго брата и почти внесъ его въ сосѣднюю комнатку, гдѣ не было даже признака какой-нибудь мебели: были только полъ, потолокъ и голыя стѣны.

— Братъ!.. ужасное несчастіе!.. страшный случай!.. задыхаясь, сказалъ Пигуновъ, отчаянно трепля себя за волосы, между тѣмъ какъ Николай Степанычъ отступалъ къ стѣнкѣ и жался въ уголъ.—Все тебѣ разскажу... все!.. Но только выручи въ настоящую минуту!.. подхватилъ онъ голосомъ, отъ котораго у Николая Степаныча похолодѣло въ спинѣ.—Гости собраны... обѣда нѣтъ... Не могъ предупредить!.. я опозоренъ... осрамленъ... Этотъ Фукъ... онъ играетъ на трубѣ въ театрѣ... первая труба!.. ужасный человѣкъ!.. Корочкинъ также... Ради самого Создателя, выручи! копейки нѣтъ въ домѣ... Братъ! Николай, спаси меня!..

Аркадій Иванычъ отчаянно ударилъ себя кулакомъ подъ сердце, упалъ на колѣни, простеръ руки, стукнулъ себя кулакомъ въ голову и заплакалъ, какъ фонтанъ, въ которомъ внезапно открыли кранъ.

— Я вижу, ты сердишься! началъ онъ, стараясь обвить руками ноги брата.—Ты вооруженъ противъ меня!.. Да, я этого заслуживаю! Сердись, презирай меня; топчи ногами, но спаси, ради жены!.. вникни въ ея положеніе... Ты ее видѣлъ,—ты слышишь!.. слышишь, какъ она рыдаетъ!.. довершилъ онъ, трагически указывая на дверь спальни.

Отчаянный видъ Пигунова, его блѣдное, взбудораженное лицо, блестящіе глаза, слезы, судорожно сжатые кулаки, прерывающееся дыханіе и слова въ состояніи были напугать и не такого миролюбиваго гражданина, какъ Николай Степанычъ. Онъ торопливо вынулъ бумажникъ.

— Братъ! Николай!.. воскликнулъ Пигуновъ, задыхаясь отъ прилива взволнованныхъ чувствъ.

Онъ быстро вскочилъ на ноги, съ размаху кинулся на шею Николая Степаныча, прижалъ его нѣсколько разъ къ своему сердцу, проворно отеръ слезы и сказалъ скороговоркою:

— Пятеро дѣтей, ты, жена, я, Нидочка, Фукъ, Сюсюковъ и Корочкинъ,—всего двѣнадцать человѣкъ!.. дай пятнадцать цѣлковыхъ—и мы спасены!.. О! какъ мнѣ благодарить тебя?.. какъ благодарить?.. подхватилъ онъ въ то время, какъ Николай Степанычъ отсчитывалъ требуе-

мыя деньги.—Сегодня середа,—въ субботу я получу тѣ деньги, о которыхъ говорилъ тебѣ, можетъ даже быть, получу сегодня... это даже вѣрнѣе... я все, все возвращу,—все до полушки!..

— Но какъ же ты сдѣлаешь?.. вѣдь обѣда не готовили...

— О, успокойся, умоляю тебя, успокойся! подхватилъ Пигуновъ, къ которому возвратилось спокойствіе, даже веселость, какъ только деньги захрустѣли между его пальцами,—я сію же минуту пошлю въ трактиръ,—это черезъ улицу,—и все будетъ отлично!..

Сказавъ послѣднее это слово, онъ быстро исчезъ изъ комнаты. Николай Степанычъ забѣжалъ на минуту въ спальню Пигуновой: она все еще плакала, запрятавъ голову въ подушки; подумавъ, что утѣшенія теперь напрасны и притомъ запяли бы много времени, онъ поспѣшилъ къ гостямъ.

— Господа, сказалъ Николай Степанычъ еще на порогѣ гостиной,—Бога ради, извините... Аркадій сію минуту возвратился... я угадалъ вѣрно: его задержалъ непредвидѣнный случай... надѣюсь, вы простите его...

Не успѣлъ онъ докончить этой послѣдней фразы, какъ уже Пигуновъ, простирая руки и восхищенно осматривая собраніе, влетѣлъ въ гостиную.

— Господа! вы, конечно, на меня сердитесь, но я не виноватъ, клянусь, не виноватъ!.. Вамъ братъ вѣрно уже передалъ обо всемъ... Но теперь не время объ этомъ распространяться... Сію секунду будемъ обѣдать!.. Я въ восхищеньи, что васъ вижу, дорогіе друзья!.. Карлъ Иванычъ! (и Пигуновъ обнялъ Фука) Корочкинъ! (онъ упалъ на шею художнику) Сестра! (онъ поцѣловалъ въ обѣ щеки Фуфлыгину) Сюсюковъ! (онъ съ чувствомъ пожалъ руку молодому влюбленному) дѣти!.. но васъ обниму послѣ: теперь надо распорядиться обѣдомъ!..

И Пигуновъ стрѣлою пустился изъ гостиной. Онъ дѣйствительно распорядился съ неимовѣрною быстротою и ловкостью. Минутъ черезъ пять, изъ сосѣдней квартиры явился лакей, которому Пигуновъ обѣщалъ цѣлковый и который, на томъ основаніи, принесъ даже салфетки и скатерть своего господина. Съ помощью этого лакея, столъ былъ тотчасъ же накрытъ, тарелки разложены и стулья поставлены. Аркадій Иванычъ усердно подсоблялъ ему и въ то же время бесѣдовалъ съ гостями, подбѣгалъ

то къ одному, то къ другому, радушно пожималъ имъ руки, извинялся; вообще велъ себя съ такою очаровательною любезностью, что художникъ Корочкинъ, несмотря на свой голодъ, охотно готовъ былъ прождать еще полчаса.

Немного погодя, лакей вошелъ съ огромной миской; кухарка слѣдовала за нимъ съ пирожками.

— Господа, супъ на столѣ! торжественно провозгласилъ хозяинъ дома, похлопывая въ ладоши,—только предупреждаю, и заранѣе прошу извиненія: я самъ лично не могъ наблюдать за обѣдомъ... не знаю, каковъ-то онъ будетъ!.. Но, господа, чѣмъ Богъ послалъ, какъ говорится... Какъ добрые друзья и товарищи, вы, надѣюсь, не взыщете... Простите также, что хозяйка дома не можетъ присутствовать. Она чувствуетъ себя не совсѣмъ хорошо... это понятно въ ея положеніи... Она, я увѣренъ, въ отчаяніи... Но вотъ моя милая сестрица вѣрно не откажется заступить ея мѣсто... Садитесь, друзья мои, садитесь!

Гости съ жадностію припали къ супу, который, надо сказать, издавалъ не слишкомъ аппетитный запахъ; но гости были страхъ голодны и имъ было не до разбирательствъ; въ тому же Пигуновъ не давалъ имъ очнуться и говорилъ безъ умолку. Рѣчь его, то веселая, когда онъ смѣялся надъ условіями и стѣснительными церемоніями свѣта, то трогательная и даже прикрашенная слезою, дрожавшею на рѣсницѣ, когда благодарилъ онъ присутствующихъ за честь, которую они ему сдѣлали, раздѣляя съ нимъ хлѣбъ-соль подъ скромною его кровлею,—все это располагало гостей къ снисхожденію. Николай Степанычъ, въ качествѣ брата, счелъ своею обязанностью поддержать оживленіе; но, не обладая краснорѣчіемъ Аркадія Иваныча—онъ ограничился тѣмъ только, что посмѣивался, дѣлалъ увеселительные жесты, иногда даже вдругъ, совершенно неожиданно, разражался хохотомъ. Карлъ Иванычъ Фукъ и художникъ Корочкинъ больше ѣли, чѣмъ говорили; но зато, со стороны гостей, достойнымъ представителемъ по разговорной части явился Сюсюковъ, занявшій мѣсто подлѣ Софьи Петровны. Онъ разсказалъ очень мило, какъ нравилась ему когда-то одна особа, но какъ потомъ встрѣтилъ онъ другую... (при этомъ чья-то нога прильнула къ ботинкѣ Софьи Петровны) и какъ при этой встрѣчѣ онъ все забылъ... забылъ міръ, забылъ общество, забылъ опасность, которой подвергался... потому

что идеальная женщина, случайно встрѣтившаяся на пути ему, была замужемъ... Легко могло статься, онъ даже былъ увѣренъ въ этомъ, — она любитъ своего мужа... и, слѣдовательно, что жъ остается ему дѣлать? Остается влачить жизнь съ полнымъ сознаніемъ своего несчастія или, можетъ-быть,—да, это будетъ лучше,—можетъ-быть, разомъ все покончить... (Тутъ Сюсюковъ приложилъ кулакъ къ губамъ и выразительно щелкнулъ языкомъ, а Софья Петровна почувствовала на своей ботинкѣ опять чью-то ногу...)

Къ несчастію, разсказъ Сюсюкова прерванъ былъ появленіемъ лакея, который поставилъ на столъ блюдо съ котлетами. Ихъ всего было двѣнадцать, — по котлеткѣ на брата. Каждый взялъ предназначенную себѣ порцію (кромѣ Пигунова, великодушно отказавшагося въ пользу Фука, который принялъ жертву не церемонясь); на минуту бесѣда замолкла.

Николай Степанычъ любилъ покушать, и хотя, судя по началу, обѣдъ не обѣщалъ отличаться гастрономическою тонкостію, онъ началъ уже думать о томъ, что послѣдуетъ за котлетами, когда чей-то носокъ толкнулъ его въ лѣвое колѣно. Николай Степанычъ поднялъ голову; глаза его встрѣтились съ глазами Аркадія Иваныча, который подымалъ брови и моргалъ ему съ видомъ взаимнаго соучастія.

— Вы меня извините, господа, сказалъ Пигуновъ, обращаясь къ обществу,—я на секунду исчезну, чтобы распорядиться...

Онъ любезно улыбнулся и побѣжалъ въ гостиную.

— Братъ! крикнулъ Пигуновъ, выглядывая изъ двери,— тебя на секунду спрашиваетъ жена... извините, господа!.. заключилъ онъ, снова исчезая.

— Я угадываю, о чемъ ты думалъ, когда взглянулъ на меня за столомъ... сказалъ Аркадій Иванычъ, когда братъ явился въ гостиную;—ты вѣрно думалъ, что одного супа и котлетъ мало.

— Какъ, развѣ больше ничего не будетъ? спросилъ удивленный Николай Степанычъ.

— Невозможно! энергически подхватилъ Пигуновъ, придавая лицу своему озабоченное выраженіе, — въ этомъ трактирѣ я былъ нѣсколько долженъ, т. е. не я собственно, но жена... Она всегда тамъ беретъ, когда дома не готовятъ... трактирщикъ... (это такой мерзавецъ! пред-

ставь, я переплатилъ ему по крайней мѣрѣ пятьсотъ рублей!..) Онъ вычелъ долгъ... Къ счастію еще, достало на супъ и котлеты... въ противномъ случаѣ, ты понимаешь, это бы ее убило! сказалъ онъ, таинственно указавъ на дверь спальни, — но все это можно поправить, подхватилъ онъ скороговоркой,—надо бы купить двѣ бутылки портвейна, не дорогого... цѣлковыхъ въ два; да еще, какъ ты посовѣтуешь, не взять ли кондитерскихъ пирожковъ? они по пяти копеекъ... Этого будетъ совершенно достаточно... Что жъ касается до денегъ, повторяю, въ субботу расплачусь до полушки! Я на этотъ счетъ... да вотъ взгляни, чего же лучше!..

Пигуновъ торопливо полѣзъ въ карманъ и вытащилъ истертый бумажникъ; изъ бумажника вынулъ онъ списокъ.

— У меня никогда нѣтъ этой небрежности въ счетахъ... фи!.. Видишь, все записано: „7-го мая дано братомъ 100 руб. сер. Еще 35 руб. сер.“—Я точно такъ же запишу и то, что сегодня дано... Въ субботу... даже, можетъ-быть, нынче... даже вѣрнѣе, что нынче... я получу, и мы расквитаемся по-братски... Но, Бога ради, скорѣе... они ждутъ!

Николай Степанычъ, не ожидавшій такой аккуратности, далъ денегъ и возвратился въ столовую.

Котлетки давно уже были съѣдены. Гости начинали уже вопросительно поглядывать другъ на друга, когда показался Пигуновъ; онъ несъ двѣ бутылки портвейна; за нимъ выступалъ лакей съ пирожнымъ.

— Ну, друзья мои! весело провозгласилъ Аркадій Иванычъ, — я васъ предупреждалъ... Не взыщите! Чѣмъ богаты, тѣмъ и рады... Какъ добрые друзья и товарищи, вы, надѣюсь, на это не смотрите... Впрочемъ, рекомендую: славный портвейнъ, добрый портвейнъ!.. Пирожное также очень свѣжо... Сдѣлайте милость, безъ церемоній.

Наполнивъ стаканы, Пигуновъ снова повеселѣлъ, и рѣчь его забушевала краснорѣчивымъ потокомъ, который покатилъ свои волны къ любимому предмету, именно— Италіи и искусству...

— Еще стаканчикъ, другой, другъ Фукъ, говорилъ онъ, подливая толстяку, который охотно подставилъ стаканъ,— такъ! вы не должны бояться крѣпкаго вина, вы не пѣвецъ, не Рубини, не Маріо, которые должны беречь свое драгоцѣнное горло. О! сколько высокихъ минутъ доставили мнѣ эти истинно великіе артисты! Вы, Фукъ, играете

на трубѣ, и, слѣдовательно, добрый, честный стаканъ вина вамъ не повредитъ... Нисколько!.. Корочкинъ (тутъ Пигуновъ обратился къ художнику, на лицѣ котораго продолжали играть улыбки, не направлявшіяся ни къ кому особенно и не вызываемыя, повидимому, никакой опредѣленной причиной), — другъ Корочкинъ, вы утѣшили меня вашимъ послѣднимъ портретомъ... истинно утѣшили! Я глазъ не могъ оторвать отъ него... Благословляйте судьбу, которая снабдила васъ такою кистью!.. Ну-ка, не церемоньтесь, еще рюмку... Это, конечно, не то винцо, которое вы будете пить въ Римѣ у Лэпри и которое подается въ плетеныхъ фольетто, — но все-таки и это не худо, доброе, честное винцо и это!.. Сюсюковъ, видѣли ли вы копіи съ Рафаэля, которыя привезъ Михайловъ? Нѣтъ! Истинно сожалѣю... портвейну! Сестрица, когда жъ мы въ Академію?.. Возьмите еще бисквитъ, вотъ этотъ, онъ съ вареньемъ. Николай, помнишь ли ты, что въ субботу мы идемъ смотрѣть „Гамлета"? Я завидую тебѣ, душа моя!—именно, завидую! Ты никогда еще не видалъ Шекспира, и потому тебѣ предстоитъ, слѣдовательно, новое, незнакомое наслажденіе!.. Возьми еще миндальный кренделекъ... или хочешь портвейна?..

Когда послѣдніе кондитерскіе пирожки съѣдены были дѣтьми, а портвейна не осталось капельки, Фукъ вынулъ свою серебряную луковицу, взглянулъ на нее и торопливо всталъ съ мѣста. Онъ объявилъ, что уже восьмой часъ и ему давно бы слѣдовало быть въ театрѣ. Художникъ Корочкинъ также взялъ шляпу; онъ, очевидно, терзался своимъ молчаніемъ; къ быстрому удаленію его могли также способствовать физическія терзанія, доставленныя ему непомѣрно узкими панталонами, которыя стѣсняли его движенія. Николай Степанычъ сказалъ, что время ѣхать; онъ охотно бы остался, но жена чувствовала сильную изжогу подъ ложечкой; отпустить ее одну съ дѣтьми въ наемной каретѣ онъ никакъ не рѣшался.

— Николай Степанычъ, сказалъ Сюсюковъ, горячо пожимая ему руку и въ то же время заигрывая глазомъ по направленію къ Софьѣ Петровнѣ, — надѣюсь, вы мнѣ позволите явиться къ вамъ...

— Ахъ, сдѣлайте милость, я даже хотѣлъ просить васъ объ этомъ... Но только, Бога ради, не завтра! спохватился Николай Степанычъ, припоминая совѣтъ кузена Мирзоева, — завтра насъ цѣлый день дома не будетъ...

Но во всякое другое время, я буду совершенно счастливъ...

Заключивъ такимъ образомъ, добродушный Фуфлыгинъ выразилъ желаніе проститься съ хозяйкою дома и тѣмъ самымъ вызвалъ слезу на рѣсницы Пигунова. Аменаида Васильевна все еще лежала на постели; она теперь не плакала, но врядъ ли было ей лучше; лицо ея, покрытое смертельною блѣдностью, судорожно передергивалось; она была такъ слаба, что едва могла пожать руку Николаю Степанычу и женѣ его, которые старались успокоить ее, говорили, что все прошло благополучно, что гости остались очень довольны, и что, съ своей стороны, они вскорѣ навѣстятъ ее. Во время этихъ объясненій, Аркадій Иванычъ стоялъ у изголовья съ сложенными на груди руками, взбудораженнымъ грустью лицомъ и опущенными глазами, изъ которыхъ обильными ручьями текли слезы, ниспадавшія даже на его вѣерообразные бакены.

Выйдя въ залу и увидавъ въ рукахъ Аркадія Иваныча извѣстный уже пуховый картузъ, Фуфлыгины, весьма естественно, начали убѣждать его остаться и не провожать ихъ до кареты.

— Нѣтъ, я не провожать, возразилъ Пигуновъ растроганнымъ голосомъ, — у меня, къ сожалѣнію, бездна дѣлъ сегодня, и я долженъ идти... долженъ! Ты понимаешь, братъ Николай, что̀ значитъ это слово...

— Но нельзя ли отложить до завтра... Твоя жена въ такомъ теперь положеніи... тебѣ бы лучше съ ней остаться...

— Невозможно! перебилъ Пигуновъ, и въ доказательство сказаннаго притворилъ дверь гостиной, — эта невозможность собственно меня и убиваетъ!.. Да, вы видите передъ собою человѣка... который... словомъ... но что объ этомъ! пойдемте! заключилъ онъ съ глубокимъ вздохомъ, и, нѣжно обнявъ Васю, Полиника и Соню, послѣдовалъ за родственниками.

Не могу вамъ сказать, о чемъ говорили Фуфлыгины, возвращаясь домой въ каретѣ; одно только, что на половинѣ дороги Софьѣ Петровнѣ пришла мысль отправиться въ Лѣтній садъ. Былъ всего девятый часъ въ началѣ, вечеръ былъ чудный; солнце только что сѣло. Но все это слабо бы подѣйствовало на Николая Степаныча, если бъ не боязнь раздражить жену наканунѣ того дня, когда черезъ нее должна была рѣшиться общая ихъ участь. Основываясь на этомъ, онъ изъявилъ величайшую

готовность исполнить ея желаніе, и приказалъ ѣхать къ назначенному мѣсту. Дѣти не переставали цѣловать родителей и во всю дорогу восторженно прыгали и били въ ладоши.

Восторгъ ихъ, конечно, могъ только усилиться, когда очутились они подъ великолѣпными сводами столѣтнихъ липъ и когда запрыгали на песчаныхъ дорожкахъ безконечныхъ аллей, наполненныхъ дѣтьми и гуляющими. Удовольствіе замѣтно даже проникало въ мягкую душу Николая Степаныча: сдѣлавъ шаговъ сто, онъ не могъ уже утерпѣть, чтобы не высказать женѣ настоящихъ своихъ чувствованій; Софья Петровна сказала, что она заранѣе все это предугадывала; что она собственно съ этою цѣлью повезла его въ лѣтній садъ; что мысли ея всегда хороши; Николай Степанычъ постоянно испытывалъ бы одни наслажденія, если бъ рѣшился, разъ навсегда, никогда ей не противорѣчить и всегда соглашался съ ея мыслями.

Въ интимныхъ, сердечныхъ разговорахъ такого рода, супруги не замѣтили, какъ протекало время. Они гуляли въ саду до тѣхъ поръ, пока не начали запирать ворота. Находясь въ той половинѣ аллеи, которая смотритъ на Неву, они, весьма естественно, вышли на набережную. Свѣтлая майская ночь окутывала небо. Петропавловскій шпицъ, биржа, мосты, зданія и корабли, окутанные сквозною фіолетовою тѣнью, цѣликомъ отражались въ Невѣ, которая, казалось, остановилась въ своемъ величавомъ теченіи и сверкала, какъ гладко полированное зеркало. Справа, сквозь дымчатый паръ, выплывалъ полный мѣсяцъ; вся та часть рѣки и береговъ затоплялась лучезарнымъ волшебнымъ сіяніемъ, въ которомъ мелькали фантастическія тѣни яликовъ и легкихъ пароходовъ. Надо всѣмъ этимъ носился гулъ экипажей, говоръ и крики которыхъ смягчалъ огромный просторъ воды и воздуха.

— Чудная картина!.. Величественное, торжественное зрѣлище! умиленно воскликнулъ Николай Степанычъ, откидывая назадъ голову и прищуривая глаза.

— Знаешь ли, другъ мой, нѣжно проговорила Софья Петровна, на которую въ этотъ вечеръ особенно какъ-то сильно дѣйствовала поэтическая прелесть природы,—ночь такъ хороша, луна такъ ярко свѣтитъ, что жаль даже домой возвращаться... къ тому же рано еще... Пройдемся

по всей набережной... Морская въ той сторонѣ, и мы будемъ, слѣдовательно, недалеко отъ дому...

Даже безъ намековъ жены, касательно безпрекословнаго повиновенія ея волѣ, даже безъ завтрашняго визита Медіоланскаго, Николай Степанычъ охотно бы принялъ такое предложеніе. Они шли, и каждый шагъ ихъ вознаграждалъ дальность прогулки. Они восхищались берегами и любовались зданіями, которыя, какъ вѣдомо, представляютъ съ этой стороны Невы непрерывный рядъ великолѣпныхъ дворцовъ. Фуфлыгины рѣшили, что не было города грандіознѣе и поэтичнѣе Петербурга; Софья Петровна въ ужасъ приходила при одномъ воспоминаніи о провинціальной жизни; Николай Степанычъ соглашался и приходилъ въ восхищеніе при мысли, что теперь они никогда уже не разлучатся съ Петербургомъ. Чѣмъ дальше подвигались они, тѣмъ городъ казался увлекательнѣе; на Адмиралтейскомъ бульварѣ оказалось, что Лёша и Поша не чувствовали малѣйшей усталости; основываясь на этомъ, рѣшено было полюбоваться полной панорамой Невы съ высоты Николаевскаго моста, о которомъ еще въ провинціи такъ много слышали Фуфлыгины.

Черезъ полчаса, они достигли цѣли своей прогулки. Панорама Невы превзошла ихъ ожиданія; чарующая картина не произвела только, повидимому, ни малѣйшаго впечатлѣнія на Лёшу и Пошу; это (какъ тотчасъ же убѣдились родители) происходило единственно потому, впрочемъ, что глаза Лёши и Поши закрылись, какъ только родители вступили на мостъ.

— Дѣти, дѣти, взгляните, какой домъ... и какъ тамъ свѣтло!.. торопливо заговорилъ Николай Степанычъ, стараясь развлечь дѣтей и указывая съ этою цѣлью на огромный угольный домъ, въ которомъ нижнія окна блистали десятками газовыхъ рожковъ.

Дѣти на минуту воскресли, и Николай Степанычъ воспользовался случаемъ, чтобы перевести ихъ черезъ улицу на тротуаръ огромнаго дома. Надо было проходить мимо, во всякомъ случаѣ, чтобы попасть въ Морскую.

— Это вѣрно какой-нибудь кафе-ресторанъ, сказала Софья Петровна, мимоходомъ заглядывая въ окно,—какое здѣсь великолѣпіе... Ахъ, Боже мой! подхватила она неожиданно, — Nicolas, взгляни, тамъ сидитъ Аркадій Иванычъ!..

Супруги прильнули къ окну.

Въ малиновой комнатѣ, ярко освѣщенной газомъ, на мягкомъ триповомъ диванѣ, за маленькимъ, роскошно убраннымъ столомъ, точно сидѣлъ Пигуновъ. Вниманіе Николая Степаныча привлечено было прежде всего лицомъ брата, которое обрамлялось салфеткой, заложенной за галстукъ, и казалось вдвое шире обыкновеннаго; за каждой щекой его, очевидно, находилось что-то круглое, что нимало, однакожъ, не стѣсняло Пигунова, лицо котораго переполнялось сладкимъ, лучезарнымъ и въ высшей степени пріятнымъ выраженіемъ. Переведя машинально глаза на столъ, Николай Степанычъ тотчасъ смекнулъ дѣло; онъ увидѣлъ тарелку съ огромными цѣльными трюфлями, облитыми сокомъ; тутъ, съ одной стороны, помѣщался поставецъ съ соями, привлекательно сквозившими въ граненыхъ хрустальныхъ флаконахъ, съ другой стороны возвышалась бутылка съ золотистою печатью, на половину уже перелитая въ стаканъ, который, время отъ времени, Аркадій Иванычъ подносилъ къ губамъ,—при чемъ глаза его сладко щурились и съ неописаннымъ умиленіемъ закатывались къ потолку.

— Онъ вѣрно получилъ деньги... промолвилъ Николай Степанычъ,—онъ говорилъ, что надѣется получить ихъ сегодня...

— Въ такомъ случаѣ, онъ лучше бы сдѣлалъ, если бъ отнесъ ихъ домой, возразила Софья Петровна, отходя отъ окна,—ты вѣрно самъ замѣтилъ, въ какой они нуждѣ... Хорошъ мужъ, нечего сказать!—жена больна, — дѣти голодны, а онъ сидитъ за трюфлями.

— Но, другъ мой, онъ, вѣрно, зашелъ по дорогѣ... Онъ весь вечеръ, быть-можетъ, бѣгалъ по дѣламъ, усталъ, и, понятно, зашелъ, чтобы съѣсть кусокъ...

— А трюфли и золотая печать на пробкѣ?..

— Это, можетъ-быть, потому, что все это находилось уже подъ рукою; онъ, весьма вѣроятно, торопится домой и взялъ, что попало подъ руку... снисходительно промолвилъ Николай Степанычъ, находившійся подъ умягчительнымъ вліяніемъ поэтической ночи и пріятныхъ мыслей, которыми ласкалъ собственное воображеніе.

Николай Степанычъ взялъ за руку Лешу, у котораго подкашивались ноги; Софья Петровна подала руку Пошѣ, у которой голова скатывалась на плечи, — и оба поспѣшили въ Морскую.

Давно бы, по-настоящему, слѣдовало это сдѣлать!

VIII.

На горизонтѣ является тучка, но ее сдуваетъ зефиръ въ образѣ кузена Мирзоева.

Всѣмъ, я полагаю, извѣстно, что въ наше время, когда общества на акціяхъ превратили почти каждаго смертнаго въ акціонера, а сами общества, нимало отъ этого не страдая, продолжаютъ умножаться и созрѣваютъ съ быстротою дождевика, — „Общество улучшенія и размноженія рогатаго скота“, какъ одно изъ самыхъ практическихъ въ своемъ родѣ, значительно распространяетъ кругъ своихъ дѣйствій и день-ото-дня получаетъ могучее подкрѣпленіе со стороны своихъ горячихъ приверженцевъ. Это фактъ неоспоримый! Но, если бъ изъ числа нашихъ читателей нашелся одинъ человѣкъ (болѣе одного не найдется), который выразилъ бы хоть на мигъ сомнѣніе, мы готовы, отъ всей души, подтвердить слова наши самыми яркими, выпуклыми доказательствами; за таковыми идти не далеко. Стоитъ привести только, что въ этотъ самый день, какъ почтенный членъ и учредитель Общества, Андрей Андреевичъ Медіоланскій, дѣлалъ визитъ Софьѣ Петровнѣ,—въ тотъ самый день, кассиръ Общества, Петръ Петровичъ Мирзоевъ, выдалъ по крайней мѣрѣ тысячъ пятокъ въ видѣ дивиденда акціонерамъ и въ видѣ жалованья лицамъ, состоящимъ на службѣ Общества. Выдача такой суммы, конечно, приносила величайшую честь Обществу, но все-таки деньги не принадлежали Петру Петровичу, и потому выдача ихъ, весьма натурально, не доставила ему особеннаго удовольствія. Мало того, мы не ошибемся, если скажемъ, что въ это утро пребываніе въ Обществѣ сильно даже тяготило почтеннаго Петра Петровича. Иначе быть не могло. Въ часъ пополудни Медіоланскій былъ у Фуфлыгиной; быть-можетъ, даже теперь у ней находится; чѣмъ кончилось это совѣщаніе? успѣшно ли повела дѣло Софья Петровна? обѣщано ли ей навѣрно мѣсто смотрителя дома?.. вотъ вопросы, которые неотступно занимали систематическій, холодно-разсудительный мозгъ кузена Мирзоева. Но выдача кончилась, и можете представить себѣ, какъ торопливо заперъ онъ желѣзный сундукъ, хранившій деньги Общества, и какъ поспѣшно вышелъ на улицу.

Взглянувъ на него, однакожъ, вы никакъ бы не подумали, что онъ торопится; онъ выступалъ, правда, дробнымъ, мелкимъ и частымъ шажкомъ, но черезъ это фигура его нимало не утрачивала своего достоинства; самое лицо его казалось спокойнымъ, и на немъ единственнымъ крикливымъ предметомъ были золотыя очки, сверкавшія на солнцѣ. Отойдите немножко въ сторону и взгляните: кто не умилится, кто, спрашиваю я, не проникнется глубочайшимъ уваженіемъ при видѣ этой прямой, вытянутой, какъ канцелярская линейка, фигуры, съ руками, симметрически засунутыми въ карманы свѣтло-гороховаго пальто, на которомъ нѣтъ пятнышка, складочки и пылинки? Начинайте съ кончиковъ тщательно вычищенныхъ сапогъ, продолжайте черными, туго натянутыми панталонами, и кончайте гладенькимъ паричкомъ, спрыснутымъ о-де-колонью; можете даже, если хотите, кончить шляпой, которая не сдвинута на-бокъ, какъ у буяновъ, не свѣшивается назадъ, какъ у немощныхъ стариковъ, не напираетъ на брови, какъ у отчаянныхъ французовъ,—но высится перпендикулярнымъ, величественнымъ цилиндромъ. Сколько во всемъ этомъ проглядываетъ внутренняго достоинства! какая солидность, какая здравая положительность и сосредоточенность мыслей! — сколько благородства, — о, о! сколько благородства!.. Вы, безъ сомнѣнія, не можете утерпѣть и заодно со всѣми встрѣчающими на улицѣ Мирзоева невольно восклицаете: „что это за объяденье!..“

Но Петръ Петровичъ былъ слишкомъ скроменъ, чтобы замѣчать всеобщее восхищеніе, возбуждаемое его особой; онъ продолжалъ подвигаться дробнымъ, аккуратно размѣреннымъ шажкомъ, и черезъ полчаса достигъ гостиницы „Парижъ“.

Осторожный и осмотрительный во всѣхъ случаяхъ жизни, онъ не вломился прямо въ номеръ, какъ сдѣлалъ бы всякій другой, находившійся подъ вліяніемъ нетерпѣливаго ожиданія: но разспросилъ прежде человѣка касательно того, были ли гости у Николая Степаныча. Получивъ отрицательный отвѣтъ, онъ вошелъ въ номеръ.

Вотъ что прежде всего поразило Петра Петровича: всѣ двери номера были настежь отворены; комнаты, слѣдуя одна за другою, представляли длинную амфиладу, по которой быстрыми шагами расхаживалъ взадъ и впередъ Николай Степанычъ съ заложенными за спину руками. Щеки его, глаза, носъ и даже лысинка, придававшая

столько добродушія его круглой физіономіи, пожираемы были пламенемъ, которое, очевидно, было изъ самой середины души его и раздувалось сильнѣйшимъ негодованіемъ.

— Петръ Петровичъ! воскликнулъ онъ, при видѣ кузена,—Петръ Петровичъ, все пропало!..

— Ахъ, Боже мой!.. Что жъ такое?.. вымолвилъ Мирзоевъ, сохраняя, даже въ эту минуту, все свое достоинство, заключавшееся, какъ извѣстно, въ перпендикулярномъ положеніи спины.

Онъ владѣлъ собою съ такою непостижимою силой, что могъ даже поправить очки и поставить на столъ шляпу.

— Да, все пропало! подхватилъ Николай Степанычъ съ возрастающимъ жаромъ,—я поступилъ точь-въ-точь, какъ вы мнѣ говорили; я ушелъ изъ дому въ десять часовъ; взялъ даже дѣтей съ собою... Медіоланскій пріѣзжаетъ въ часъ... Но этотъ мальчишка, съ яростію подхватилъ добродушный Николай Степанычъ, этотъ несчастный мальчишка все испортилъ!..

— Какой мальчишка?

— Мой племянникъ!

— Свищовъ?

— Да... Можете представить себѣ, едва Медіоланскій усѣлся съ женою на диванѣ,—вдругъ вбѣгаетъ Кокò...

— Ахъ, мой почтеннѣйшій, досадливо перебилъ кузенъ Мирзоевъ,—какъ же вы не предупредили лакеевъ?.. какъ же не велѣли отказывать... вѣдь я говорилъ вамъ...

— Все это было сдѣлано! все рѣшительно! съ живостію возразилъ Николай Степанычъ,—все было сдѣлано,—но этотъ мальчишка силой ворвался!.. чортъ его знаетъ! онъ вѣрно явился сюда послѣ завтрака... силой вломился, говорю вамъ,—и произвелъ ужасный скандалъ... Медіоланскій сдѣлалъ ему,—и это весьма натурально,—сдѣлалъ какое-то замѣчаніе... сказалъ, что онъ ведетъ себя неприлично... Можете себѣ представить, — я дрожу при одной мысли,—можете представить... Ну, какъ вы думаете, что сдѣлалъ этотъ мальчишка?..

— Ахъ, Боже мой!..

— Да, вы видите меня въ отчаяніи! онъ сказалъ Медіоланскому, что выброситъ его за окно!—да, онъ сказалъ это!..

При этомъ извѣстіи Петръ Петровичъ быть-можетъ первый разъ въ жизни потерялъ свое перпендикулярное

положеніе; онъ отступилъ съ такою силой, что очки его покривились.

— О! это ужасно! не правда ли? крикнулъ Николай Степанычъ.—Медіоланскій вскочилъ тотчасъ же на ноги и бросился къ двери... но далъ, однакожъ, почувствовать женѣ свое негодованіе... Онъ даже не поклонился!..

— Гдѣ же ваша жена? нетерпѣливо спросилъ Петръ Петровичъ.

— Она уѣхала съ Александрой Семеновной... она сама очень разстроена.

Петръ Петровичъ закинулъ руки за спину и началъ расхаживать взадъ и впередъ по всей амфиладѣ комнатъ. Николай Степанычъ сдѣлалъ съ своей стороны то же самое. Въ средней комнатѣ они встрѣчались и давали другъ другу дорогу.

— Этакой мальчишка, а? кричалъ Николай Степанычъ.

— Негодяй! подхватилъ Мирзоевъ.

— Высѣчь его!

— Ободрать ему уши!

— Надавать пощечинъ!

— Натрепать волосы!

— Бить до изнеможенія!

— Засѣчь до смерти!..

Напрасное негодованіе, заставлявшее Николая Степаныча быстро ходить взадъ и впередъ и вырывавшее изъ груди его вышеприведенныя восклицанія, не было продолжительно; какъ только весь запасъ негодованія (а такового было немного въ мягкой и кроткой душѣ его) истощился, онъ мгновенно ослабъ духомъ; онъ тяжело опустился на диванъ и схватилъ себя за голову обѣими руками. Петръ Петровичъ съ своей стороны, какъ человѣкъ глубокоразсудительный и притомъ въ совершенствѣ владѣвшій собою, давно уже привелъ въ нормальное состояніе свои встревоженныя чувства; руки его все еще заложены были за спину; но уже медленно, шагъ за шагомъ, ходилъ онъ по комнатамъ; время отъ времени онъ позволялъ только себѣ потирать лобъ, на которомъ самый ненаблюдательный человѣкъ могъ бы прочесть теперь присутствіе спокойныхъ, здравыхъ мыслей.

— Петръ Петровичъ, вы видите меня въ отчаяніи! повторялъ растроганнымъ голосомъ Николай Степанычъ,— все пропало!.. Что намъ дѣлать?.. Боже мой, что дѣлать?..

— Все это слова, мой почтеннѣйшій! спокойно возра-

зилъ Мирзоевъ, приближаясь къ дивану,—а слова и сѣтованія, въ настоящемъ случаѣ, безполезны...

— Но что же мнѣ дѣлать, Петръ Петровичъ?.. Ясно, Медіоланскій не дастъ теперь мѣста... это ясно!..

— Да, это ясно!.. холодно-разсудительнымъ тономъ сказалъ Мирзоевъ.—Повторяю вамъ: съ своей стороны, безъ этого мѣста, я не могу ничего для васъ сдѣлать... (Вся кровь бросилась въ голову Фуфлыгину, и онъ снова обхватилъ ее руками). Повторяю, если бъ вы могли довольствоваться какими-нибудь двумя стами жалованья, я нашелъ бы еще возможность опредѣлить васъ въ Обществѣ, хотя, признаться, и это стоило бы большого труда, ибо самъ я недавно тамъ опредѣлился,—но при вашемъ положеніи нужно мѣсто солидное; для этого мнѣ необходимо стоять плотною, такъ сказать, твердою ногою въ Обществѣ...

— Петръ Петровичъ! заговорилъ вдругъ Николай Степанычъ въ порывѣ самаго сильнаго душевнаго волненія,—на васъ вся моя надежда!.. Безъ мѣста я пропалъ... о, Боже мой!.. Не скрою отъ васъ моихъ обстоятельствъ... денегъ у меня очень мало...

— Сколько, однакожъ?.. съ оживленіемъ спросилъ Мирзоевъ.

— Почти... почти двѣ тысячи серебромъ.

Лицо Мирзоева снова изобразило спокойствіе и ясность мыслей.

— Но это все мое достояніе! подхватилъ Николай Степанычъ.—Безъ мѣста я пропалъ!.. я не могу безъ мѣста. Петръ Петровичъ! сами посудите: семейство, дѣти... я пропалъ!.. пропалъ, Петръ Петровичъ!..

— Все это я очень хорошо понимаю, почтеннѣйшій, потому-то собственно такъ сильно и хлопочу достать себѣ это второе мѣсто, чтобы, понимаете, въ свой чередъ, имѣть возможность помѣстить васъ, согласно тому, какъ требуютъ ваши обстоятельства.

— О, Петръ Петровичъ!..

— Успокойтесь, прошу васъ... Вамъ нечего еще отчаиваться... дѣло можетъ поправиться; да, можетъ, и вы,—именно вы,—можете его поправить...

— Вы меня воскрешаете!.. Но какъ? Что нужно для этого сдѣлать?

— Дѣйствовать нужно, почтенный, дѣйствовать!.. энергически произнесъ кузенъ.

— Но какъ? говорите, я готовъ на все... Какъ?

— Разумѣется, не иначе, какъ снова надо обратиться къ Медіоланскому...

— Боже мой!.. Но жена ни за что теперь не согласится къ нему ѣхать! Ни за что! промолвилъ Фуфлыгинъ, которымъ снова овладѣло отчаяніе.

— Дѣло вовсе теперь не въ женѣ...

— Какъ! мнѣ самому?

— Нѣтъ, это будетъ еще безполезнѣе...

— Александра Семеновна?

Петръ Петровичъ отрицательно покачалъ головою, при чемъ разнесся запахъ о-де-колона.

— Тутъ есть другая женщина, которая можетъ подать вамъ руку помощи... произнесъ онъ, наводя пытливый глазъ на собесѣдника.—Въ этомъ дѣлѣ племянникъ вашъ нѣкоторымъ образомъ будетъ даже намъ полезенъ... Онъ испортилъ дѣло въ самомъ началѣ, онъ долженъ его поправить!..

— О, разумѣется!.. Если только это,—я настою, я прикажу ему... заговорилъ Николай Степанычъ, сильно размахивая руками и какъ бы силясь разогнать туманъ, наполнявшій его голову.—Но кто же она?.. кто эта женщина?

— Намъ нѣтъ надобности входить въ ея общественное положеніе... скромно отвѣчалъ кузенъ Мирзоевъ,—достаточно будетъ, если я вамъ скажу, что зовутъ ее Катериной Михайловной... Я знаю изъ вѣрныхъ источниковъ, что она имѣетъ огромное вліяніе на Медіоланскаго; старикашка, какъ я вамъ уже объяснялъ, охотно поддается вліянію женщины; онъ влюбленъ въ нее болѣе года и исполняетъ малѣйшіе ея капризы... Когда она ѣздила въ Москву, чтобы повидаться съ родными (она на-дняхъ только возвратилась), онъ находился въ страшномъ безпокойствѣ; писалъ ей два раза въ день... словомъ, вы меня понимаете... Она, говорятъ, страшно вѣтрена... но намъ опять-таки нѣтъ до этого дѣла; вамъ необходимо будетъ съ нею познакомиться; это весьма легко; Свищовъ знакомъ съ нею,—этотъ мальчишка знакомъ со всѣми,—и, слѣдовательно, дѣло легко устроится. Черезъ нее, я знаю, многіе уже получили мѣста въ нашемъ Обществѣ; она, я увѣренъ, для васъ все сдѣлаетъ... Конечно, вы, съ вашей стороны, сдѣлаете ей маленькія угожденія... какъ это водится... Безъ жертвъ нельзя же, вы это знаете... поняли ли вы меня, Николай Степанычъ?

— Понялъ... Но...

— Я вижу, что вы хотите сказать! Вы думаете, что Софья Петровна...

— Да; не скрою отъ васъ, эта мысль меня тревожитъ... вы знаете, эти женщины...

— Совершенно справедливо; но къ чему же дана намъ осторожность, почтеннѣйшій? къ чему данъ разсудокъ и обдуманность? Вы, конечно, должны дѣйствовать въ этомъ случаѣ со всею осмотрительностію. Софья Петровна ничего не должна даже подозрѣвать... Что жъ дѣлать, почтенный Николай Степанычъ? обстоятельства принуждаютъ насъ иногда дѣйствовать такимъ образомъ!.. Лишнимъ также считаю предупреждать васъ, что Кокò ни подъ какимъ видомъ не долженъ знать настоящей цѣли вашего знакомства съ Катериной Михайловной; онъ тотчасъ все разболтаетъ; скажите ему просто, что вы ее видѣли и желаете съ нею познакомиться... больше ничего! прикиньтесь волокитой, весельчакомъ, и тогда, я убѣжденъ, онъ будетъ очень радъ,—словомъ, не проврется передъ Софьей Петровной... Что жъ касается до Катерины Михайловны, переговорите съ нею съ глазу на глазъ, и прямо, безъ обиняковъ, скажите ей, чего вамъ хочется... Ей не впервые устраивать дѣла такого рода; я увѣренъ, убѣжденъ, она все сдѣлаетъ, если только вы ловко будете дѣйствовать,—я разумѣю угожденія... Словомъ, вы меня понимаете... Только вотъ еще что, мой почтеннѣйшій, не слѣдуетъ откладывать все это въ долгіе ящики; надо дѣйствовать скорѣе... Повторяю: чѣмъ скорѣе получу я это мѣсто, тѣмъ скорѣе и вы можете разсчитывать... Итакъ, вы видите, что отчаиваться еще не къ чему...

— Вы меня воскресили, Петръ Петровичъ! я совсѣмъ было упалъ духомъ... проговорилъ Николай Степанычъ, признательно пожимая руки кузена,—дѣйствительно, откладывать не зачѣмъ... подхватилъ онъ, суетливо подымаясь съ дивана, — я сію же минуту отправлюсь отыскивать этого негодяя Кокò...

— Ну и прекрасно; а я между тѣмъ пойду въ клубъ Соединеннаго общества. Я членъ съ самаго основанія, и мы сегодня собираемся. Смотрите же, при первомъ результатѣ вашего совѣщанія съ этой дамой, тотчасъ же извѣстите меня... Мой совѣтъ въ этомъ случаѣ не помѣшаетъ...

— О, стократъ благодарю васъ! стократъ благодарю!.. воскликнулъ съ глубокимъ чувствомъ Николай Степанычъ.

Минутъ черезъ десять, онъ уже сидѣлъ на дрожкахъ и летѣлъ въ Большую Конюшенную, гдѣ жилъ племянникъ. Но Кокò не было дома. Николая Степаныча встрѣтилъ старый камердинеръ, который носилъ барина своего на рукахъ, когда послѣднему было года четыре. Старикъ этотъ служилъ когда-то лучшимъ украшеніемъ многочисленной дворни отца Николая Степаныча. Включенный потомъ въ роспись приданаго, которымъ щедрый отецъ наградилъ дочь, старый камердинеръ перешелъ къ матери Кокò, покойной сестрѣ Николая Степаныча. Старикъ присутствовалъ, можно сказать, при рожденіи нашего героя, и несказанно ему обрадовался.

Въ другое время, Николай Степанычъ, всегда дорожившій воспоминаніями дѣтства и юности, не преминулъ бы раздѣлить восторгъ старика и, безъ сомнѣнія, пустился бы въ длинныя розсказни; но не до того теперь было; настоящій ходъ обстоятельствъ поглощалъ съ такою сокрушающей силой чувства и мысли Николая Степаныча, что не было возможности удѣлить изъ нихъ что-нибудь для прошедшаго. Онъ сказалъ, что явится въ десять часовъ вечера, просить племянника, убѣдительно просить его, подождать, и если ужъ невозможно этого сдѣлать, просить оставить, по крайней мѣрѣ, адресъ, по которому можно отыскать его.

Отсутствіе племянника, неизвѣстность касательно настоящаго его пребыванія, неувѣренность въ томъ даже, явится ли Кокò домой сегодня, — все это, очень натурально, могло только усилить безпокойство Николая Степаныча... Кузенъ Мирзоевъ убѣждалъ между тѣмъ дѣйствовать какъ можно поспѣшнѣе; Николай Степанычъ самъ чувствовалъ необходимость этой поспѣшности, деньги исчезали съ неимовѣрною быстротою; цѣль, для которой пріѣхалъ онъ въ Петербургъ и которая, благодаря мудрымъ совѣтамъ Петра Петровича, начинала почти осуществляться, теперь вдругъ лопнула, разрушилась до основанія; приходилось снова начинать дѣло; и съ какими опасностями, Боже мой!— съ какими опасностями сопряжены были эти начинанія! Сколько осторожности, ловкости, осмотрительности, умѣнья и даже любезности потребно въ отношеніяхъ съ этой Катериной Михайловной!..

Но мы не станемъ продолжать длинную вереницу раз-

мышленій, осаждавшихъ голову Николая Степаныча. Достаточно сказать, что круглое лицо его насквозь проникнуто было озабоченностію, сквозь которую явно проглядывало выраженіе грусти и безпокойства; даже Невскій проспектъ, куда направилъ онъ шаги свои, — даже Невскій проспектъ, со всѣмъ своимъ гамомъ, трескотнею и толпами гуляющихъ, не произвелъ своего увеселяющаго, благотворнаго дѣйствія на взволнованную душу Фуфлыгина.

— Николай! братъ! душа моя!..

Эти восклицанія, слѣдовавшія одно за другимъ съ возраставшею силой, неожиданно прервали нить размышленій, громоздившихся подъ дипломатической лысинкой Николая Степаныча. Не успѣлъ онъ обернуться, какъ уже рука Пигунова прошла подъ его руку.

— Я и жена видѣли вчера вечеромъ, какъ ты ужиналъ въ этомъ кафе... подлѣ Николаевскаго моста... сказалъ Фуфлыгинъ, когда Пигуновъ восторженно излилъ передъ нимъ радость, возбужденную въ немъ такой встрѣчей.

Восторгъ Аркадія Иваныча, въ настоящемъ случаѣ, свидѣтельствовалъ о неизмѣримой любви его къ брату. Именно: встрѣча эта, — одна эта встрѣча, — способна только была вызвать Пигунова изъ этой глубокой грусти и меланхоліи, которой предавался онъ до того времени, и которая мгновенно возвратилась къ нему, какъ только заговорилъ возлюбленный братъ и какъ только прошелъ первый невольный порывъ радости.

— Да, я зашелъ въ этотъ кафе... Я изнемогалъ отъ усталости... голодъ томилъ меня... подтвердилъ Аркадій Иванычъ, уныло вращая глазами и опускаясь на руку брата съ такою силой, что можно было думать, онъ все еще находится подъ вліяніемъ изнеможенія и голода.

— А я ужъ за тебя порадовался... сказалъ Николай Степанычъ, — я думалъ, ты получилъ тѣ деньги, о которыхъ упоминалъ вчера.

При этомъ Пигуновъ испустилъ такой вздохъ, что два-три человѣка, шедшіе впереди, обернулись.

— Я былъ жестоко обманутъ!.. то-есть получилъ кое-что, но самую бездѣлицу... въ субботу только получу сполна всю сумму... торопливо прибавилъ онъ, замѣтивъ безпокойство на лицѣ брата, — я спѣшилъ домой... Помнишь, въ какомъ положеніи оставилъ я вчера Нидочку?.. я съ ней спѣшилъ... Но голодъ томилъ меня, я изнемо-

галъ отъ усталости, зашелъ въ кафе и спросилъ, что было подъ рукою...

— Вотъ вѣдь ты какой, Аркадій!.. жалуешься на безденежье; получилъ деньги, и между тѣмъ тратишь ихъ безъ выбора... Ну, что бы подождать минутъ пять и спросить себѣ кусокъ говядины или тамъ другое что-нибудь... Ты ждать не хотѣлъ, тебѣ подали трюфли, которые, вѣрно, дорого стоили...

— До того ли мнѣ было, душа моя? до того ли?.. вспомни только, въ какомъ положеніи я ее оставилъ?... я спѣшилъ къ Нидочкѣ, спѣшилъ ее успокоить.

— Полно, Аркадій!.. полно!.. послѣ того, что я видѣлъ... ты меня извини, душа моя, подхватилъ Николай Степанычъ, не чувствуя уже того снисхожденія, которое наканунѣ пробуждали въ душѣ его спокойное состояніе мыслей и поэтическая прелесть петербургской ночи,—извини меня, но я даже хотѣлъ откровенно сказать тебѣ... ты не выказываешь женѣ твоей тѣхъ чувствъ, того уваженія, которыя она заслуживаетъ... вспомни хоть вчерашній день; ты совсѣмъ не бережешь ее... совсѣмъ не жалѣешь...

— Справедливо... совершенно справедливо!.. проговорилъ Пигуновъ съ чувствомъ сильнѣйшаго раскаянія и крѣпко пожалъ руку брата, — ты правъ, сто разъ правъ, я точно не берегу ее... я ее огорчаю, убиваю... даже... Да, я заслуживаю... я заслуживаю твое негодованіе... Когда я припоминаю всѣ огорченія, всѣ оскорбленія, которыя перенесла черезъ меня эта женщина, эта ангельская женщина... я начинаю презирать себя; да, я глубоко себя презираю... Но, послушай, Николай, братъ, я обращаюсь къ твоему сердцу; вникни также и въ мое положеніе... я не оправдываюсь, нѣтъ! Я не могу оправдаться: знаю, что я поступалъ какъ извергъ... Но, послушай, всего бы этого не было; клянусь Всевышнимъ, этого бы не было... Послушай (Пигуновъ взглянулъ мокрыми глазами на брата и нѣжно пожалъ ему руку), послушай: эта женщина — ангелъ, но она меня не понимаетъ; я ею не понятъ!.. Прихожу иногда домой; душа такъ чисто, такъ свѣтло настроена; сердце хочетъ излиться; мысли наполняютъ голову, и что же? встрѣчаю ли я дома сочувствіе? Нѣтъ, не встрѣчаю его!.. я встрѣчаю однѣ только жалобы, встрѣчаю плачъ дѣтей, встрѣчаю нужду... и это меня сокрушаетъ!.. Я или бѣгу изъ дому, или... или впадаю въ глубокое отчаяніе... О! Николай, ты никогда не зналъ, что

такое быть непонятымъ! что такое крикъ голодныхъ дѣтей... и... и жалобы больной, разслабленной жены, которую обожаешь... для которой готовъ принести въ жертву сто жизней... нѣтъ, ты не знаешь этого!... И сохрани, сохрани и спаси тебя Богъ отъ такого положенія!..

Счастливый Николай Степанычъ дѣйствительно не зналъ, что такое быть непонятымъ женою, и потому рѣшительно не нашелся, что отвѣчать. Пигуновъ также не могъ говорить; онъ былъ слишкомъ растроганъ; онъ боялся открыть ротъ, чтобы не разразиться воплемъ.

— Послушай, братъ, промолвилъ послѣ нѣкотораго молчанія Николай Степанычъ, — почему бы, напримѣръ, не постараться тебѣ сыскать какое-нибудь мѣсто? Право! Вѣдь вотъ я пріѣхалъ же сюда, чтобы опредѣлиться! за тысячу верстъ пріѣхалъ... Почему не сдѣлать бы тебѣ того же самаго?.. Вотъ и Мирзоевъ говоритъ...

— Душа моя, перебилъ Пигуновъ съ явнымъ нетерпѣніемъ, — Мирзоевъ человѣкъ безъ души и сердца! Это ледяное, холодное существо, полное самаго страшнаго эгоизма... Доступны ли такому человѣку высокіе порывы души, изъязвленной страданіями?.. Ему доступны одни расчеты, сухіе, холодные расчеты, и больше ничего!..

Заключивъ свой приговоръ глубокимъ вздохомъ, Пигуновъ замолкъ. Замолкъ также и Николай Степанычъ.

— Ты обѣдалъ? неожиданно спросилъ Аркадій Иванычъ.

— Нѣтъ...

— Я также не обѣдалъ...

Они молча прошли нѣсколько шаговъ.

— Я начинаю даже чувствовать нѣкоторый голодъ... сказалъ Фуфлыгинъ.

— И я также!.. подхватилъ Пигуновъ.

— Жена уѣхала сегодня съ дѣтьми обѣдать къ своей кузинѣ... одному какъ-то скучно обѣдать у себя въ номерѣ.

— О, это невозможно! по-моему, просто невозможно; когда я одинъ, я не могу проглотить ложки супа... промолвилъ Пигуновъ, хлопая глазами, которые начали просыхать.

— Мнѣ бы вѣдь только какой-нибудь кусокъ говядины...

— Мнѣ также... я въ этомъ отношеніи ужасно скроменъ, что попадетъ подъ-руку, то и ѣмъ...

— Да вотъ какой-то трактиръ, произнесъ Николай Степанычъ, останавливаясь передъ Дюссо,—чего лучше...

— Сохрани тебя Богъ! оживленно перебилъ Пигу-

новъ,—мы встрѣтимъ здѣсь милліонъ народу... и притомъ, я тебѣ скажу, адская, чудовищная дороговизна!.. Вотъ другое заведеніе, прибавилъ онъ, указывая на домъ насупротивъ Дюссо, — здѣсь и дешевле, и скромнѣе какъ-то...

— Борель... *) произнесъ Николай Степанычъ, читая вывѣску.

— Да, Борель, Борель! пробормоталъ Пигуновъ, подхватывая брата подъ-руку и съ трогательною нѣжностью переводя его черезъ улицу.

Минуту спустя, гостепріимная дверь кафе-ресторана открылась передъ двумя посѣтителями. Они прошли первую комнату, перегороженную конторкой, и вступили во вторую. Первый предметъ, на которомъ сосредоточилось вниманіе братьевъ, былъ Кокò Свищовъ, сидѣвшій на диванѣ рядомъ съ какимъ-то пожилымъ толстякомъ, въ которомъ Николай Степанычъ узналъ Лупандина, того самаго, что былъ на желѣзной дорогѣ. Трое другихъ посѣтителей, одинаковыхъ лѣтъ съ Лупандинымъ и вдвое старѣе Кокò, окружали послѣдняго.

— А! дядюшка! браво! брависсимо! закричалъ Кокó, вскакивая съ мѣста и принимаясь неистово хлопать въ ладоши.—Господа, рекомендую вамъ, дядя, но только не изъ Америки, а изъ провинціи... Но, съ вами вошелъ, кажется, Пигуновъ... гдѣ онъ?

Николай Степанычъ оглянулся; но Пигунова уже не было; его не оказалось даже во второй комнатѣ, куда заглянули Кокò и Николай Степанычъ.

— Онъ уже скрылся... Ну, да чортъ съ нимъ! подхватилъ Кокò, — мы безъ него обойдемся... Позвольте, однакожъ, дядя, расцѣловать васъ въ обѣ ваши славныя щеки за такой сюрпризъ!.. Вы знаете, я нарочно заѣзжалъ за вами, чтобъ звать васъ на этотъ обѣдъ... Но, вмѣсто васъ, я встрѣтилъ тамъ этого чучелу Медіоланскаго, который, какъ вы думаете, а? ухаживалъ за тетушкой, да, ухаживалъ, ей-Богу!.. Я же ему задалъ! Во-первыхъ, я это сдѣлалъ изъ чувства состраданія къ тетушкѣ Sophie, которой, я видѣлъ, сильно претилъ этотъ tête-à-tête; во-вторыхъ, по личной моей непріязни къ этому старому хрычу, а въ-третьихъ, изъ чувства дружбы къ Катеринѣ Михайловнѣ, которая имѣетъ полное право

*) Самый дорогой, но вмѣстѣ съ тѣмъ самый гастрономическій кафе-ресторанъ Петербурга.

бояться невѣрностей Медіоланскаго... Ну, да къ чорту все это!.. Надѣюсь, вы еще не обѣдали?

— Нѣтъ, обѣдалъ... рѣшительно произнесъ дядя, инстинктивно боявшійся всей этой компаніи, и больше того боявшійся втянуться въ огромные расходы, непремѣнное слѣдствіе холостыхъ пирушекъ,—право, обѣдалъ, повторилъ онъ.

— Фу, чортъ возьми, какая досада!.. Ну, а развѣ нельзя повторить?..

— Нѣтъ, сытъ по горло...

— Ну, такъ посидите съ нами, выпьемъ шампанскаго...

— Право, не могу, я бы очень радъ, но рѣшительно не могу! убѣдительно возразилъ дядя,—я зашелъ сюда совершенно случайно...

— Полноте разсказывать! Держу пари, что затащилъ васъ сюда Пигуновъ... Ужъ вѣдь я знаю всѣ эти продѣлки... Прежде, когда я былъ еще юноша, онъ таскалъ меня точно такъ же по всѣмъ трактирамъ подъ разными предлогами... Онъ со всѣми это дѣлаетъ... Да вотъ, спросите... Лупандинъ, правду ли я говорю? Берендѣевъ, такъ ли, а?..

Лупандинъ и Берендѣевъ подтвердили слова Свищова; даже другіе два господина кивнули головою.

— Видите, я вамъ говорилъ! смѣясь, воскликнулъ Кокò,—этотъ Пигуновъ—это такая бестія, такая ракалія...

Николай Степанычъ торопливо схватилъ Кокò за руку.

— Войдемъ сюда на минуту, сказалъ онъ, понижая голосъ до шопота,—мнѣ нужно тебѣ сказать два слова. Послушай, Кокò, подхватилъ онъ, когда оба очутились въ сосѣдней комнатѣ,—ну, какъ тебѣ не стыдно? право!.. вѣдь Пигуновъ мнѣ братъ и слѣдовательно тебѣ дядя...

— Да помилуйте, дядюшка, я вамъ повторяю,—это такая ракалія, что ужасъ!.. Спросите у всѣхъ этихъ господъ, которые со мной будутъ обѣдать; онъ всѣмъ имъ адски долженъ и бѣгаетъ отъ нихъ... Кто же не долженъ? всѣ мы должны; но есть на все своя манера... онъ просто срамитъ и васъ, и меня, и...

— Но все же, братецъ... гм! гм!.. все же не слѣдуетъ тебѣ, какъ родственнику... ей-Богу!.. Ахъ, кстати, подхватилъ Николай Степанычъ, подавляя настоящія свои чувства и стараясь примирительно улыбнуться,—ты упомянулъ о Катеринѣ Михайловнѣ... ты ее въ самомъ дѣлѣ хорошо знаешь?

— Друзья закадычные, а что? Развѣ вы ее встрѣтили?

— Да... встрѣтилъ... она прехорошенькая...

— А! каковъ дядюшка!.. Браво! воскликнулъ Кокò, хлопая въ ладоши, между тѣмъ какъ дядя краснѣлъ и пугливо озирался во всѣ стороны.—Хотите, я васъ съ ней познакомлю?.. а? право, хотите познакомлю?..

— Отчего же, очень радъ, сказалъ Николай Степанычъ.

Ему не зачѣмъ уже было теперь прибѣгать къ насильственнымъ, принужденнымъ улыбкамъ; лицо его оживилось и засіяло при одной мысли, что знакомство съ Катериной Михайловной устраивалось такъ быстро и почти само собою...

— Превосходно! воскликнулъ Кокò.

— Только послушай, другъ мой, нѣжно подхватилъ Николай Степанычъ, спѣша придать своей физіономіи солидное выраженіе,—я, конечно, очень радъ съ нею познакомиться... и даже прошу тебя объ этомъ... Но пойми: въ моемъ положеніи, надо быть очень осторожнымъ... Бога ради, чтобъ это было тайной, оставалось между нами, слышишь: только между нами, Кокò...

— Буду нѣмъ, какъ рыба,—клянусь честью... Ну, такъ когда же это устроить?.. Постойте; хотите завтра?..

— Охотно...

— Завтра будемъ здѣсь обѣдать... или нѣтъ, здѣсь слишкомъ видное мѣсто... Мы отправимся лучше къ Допону; тамъ возьмемъ отдѣльную комнату, и чудесно!.. Я сейчасъ же, какъ отобѣдаю, поѣду къ ней и скажу ей объ этомъ... Нынче же вечеромъ, или завтра утромъ, заѣду къ вамъ и извѣщу васъ о часѣ и мѣстѣ свиданія... Вы увидите, что̀ это за славная барыня! Это одна изъ самыхъ нашихъ милѣйшихъ!.. Но, однакожъ, я съ вами болтаю, а тамъ ждутъ пріятели...

— Ступай, ступай... перебилъ, лукаво и весело подмигивая, Николай Степанычъ.

Дядя и племянникъ пожали другъ другу руки и разстались. Николай Степанычъ рѣшился тотчасъ же возвратиться домой, ужъ заодно пообѣдать тамъ и предаться легкому отдохновенію. Сказано—сдѣлано. Онъ проснулся, когда уже совсѣмъ смерклось, то-есть часу уже въ десятомъ. Сонъ значительно подкрѣпилъ его духъ, ослабнувшій подъ вліяніемъ разнообразныхъ ударовъ, треволненій и переходовъ, которые испыталъ въ этотъ день. Пріятное расположеніе, безъ всякаго сомнѣнія, не оставило бы его,

если бъ не пришла ему несчастная мысль воспользоваться отсутствіемъ жены и дѣтей, чтобы заняться счетами. Оказалось, что у него, съ тѣми деньгами, которыя даны были взаймы Пигунову, оставалось всего-на-все тысяча семьсотъ рублей сорокъ три копейки серебромъ. Открытіе это мигомъ наполнило его душу тревогой. „Того и смотри, думалъ онъ между прочимъ,—того и смотри, Кокò нахвастаетъ еще этой Катеринѣ Михайловнѣ! скажетъ ей, что я богачъ... Какъ это я не предупредилъ его?.. Она не должна думать, что я бѣденъ; это, безъ сомнѣнія, охладитъ тотчасъ же ея рвеніе... такъ и кузенъ Мирзоевъ замѣтилъ... Но, съ другой стороны, думая, что я богатъ, она, пожалуй, потребуетъ чортъ знаетъ какихъ угожденій... какъ называетъ ихъ Петръ Петровичъ... Ужъ такъ и быть, деньги, которыя далъ Аркадію, пойдутъ на угожденія,—такъ и быть!—Но больше не могу; рѣшительно не могу... Фу, какъ скоро, однакожъ, идутъ деньги въ этомъ Петербургѣ,—просто ужасъ!..“

Часовъ въ десять пріѣхала Софья Петровна и дѣти. Но появленіе жены, вмѣсто того, чтобы прервать теченіе печальныхъ мыслей въ головѣ мужа и возвратить ему спокойствіе, произвело совершенно противное дѣйствіе. Вотъ, что случилось:

Въ первую минуту, Николай Степанычъ, обрадованный пріѣздомъ жены и дѣтей, не обратилъ вниманія на узелъ въ рукахъ Софьи Петровны. Но когда она уложила дѣтей и развязала узелъ, въ которомъ находились два платья, двѣ шитыя юбки и нѣсколько другихъ туалетныхъ принадлежностей, только что взятыхъ у madame Poupon,—Николай Степанычъ отступилъ на три шага, отчаянно всплеснулъ руками, послѣ чего упалъ на диванъ и обхватилъ голову ладонями.

— Это что такое?.. Что это значитъ? спросила Софья Петровна.

Николай Степанычъ не могъ болѣе владѣть собою. Расходы и безъ того уже сидѣли гвоздемъ въ его сердцѣ. Онъ напрямикъ объявилъ женѣ, что она ведетъ себя совсѣмъ не такъ, какъ слѣдуетъ благоразумной женщинѣ; что теперь совсѣмъ не то время и не тѣ обстоятельства, чтобы покупать тряпки,—эти тряпки хороши, когда ведутъ къ какой-нибудь цѣли; что теперь онѣ уже совершенно безполезны, ибо, принимая въ соображеніе исторію съ Медіоланскимъ...

До сихъ поръ надо было удивляться той кротости, тому ангельскому смиренію, съ какимъ выслушивала все это Софья Петровна, но послѣдній намекъ былъ уже черезчуръ оскорбительнымъ; она вдругъ выступила впередъ и и гордо подняла голову.

— Прекрасно! превосходно, Николай Степанычъ! (При словѣ Николай Степанычъ, супругомъ овладѣла явная неловкость; онъ почувствовалъ, что разгорячился не въ мѣру и зашелъ уже слишкомъ далеко; словомъ, онъ спохватился, но было уже поздно). Превосходно! подхватила Софья Петровна, достоинство которой и голосъ постепенно возвышались,—ваша жена ничего больше, слѣдовательно, какъ средство, какъ орудіе для достиженія цѣли!.. Вы позволяете ей наряжаться и даже поощряете ее покупать платья, когда это нужно для вашихъ расчетовъ... для вашихъ цѣлей... Очень благородно, Николай Степанычъ, чрезвычайно благородно!..

— Вотъ ты всегда такъ; не выслушаешь и разгорячишься!.. Я совсѣмъ не хотѣлъ сказать этого; не думалъ даже... проговорилъ супругъ пристыженнымъ тономъ,—и наконецъ, если бъ это было даже такъ, какъ ты говоришь: развѣ я для себя дѣйствую? развѣ ты не должна раздѣлять моихъ цѣлей?..

— О, я все знаю, все, все! пожалуйста не отговаривайтесь, это будетъ совершенно напрасно! Превосходно, нечего сказать! Вы, я вижу, съ большимъ успѣхомъ подражаете вашему милому братцу Пигунову...

— Я даже не думаю.

— И онъ также не думаетъ, когда оскорбляетъ жену свою.

— Но выслушай...

— Ничего не хочу слушать!—съ меня и этого довольно!.. довольно!..

— Я также могъ бы сказать въ свою очередь, подхватилъ обиженнымъ тономъ мужъ, — что ты съ успѣхомъ подражаешь своей кузинѣ Александринѣ...

— Да, я подражаю ей... подражаю въ томъ, что она не позволяетъ себя оскорблять мужу... Ее не посмѣютъ упрекнуть какимъ-нибудь платьемъ...

— Это потому, можетъ быть, что Петръ Петровичъ всѣмъ ей обязанъ... даже своимъ мѣстомъ...

— Прекрасно! Пре-вос-ходно! Новый намекъ, что я вамъ безполезна... О, теперь я васъ понимаю, теперь для меня все открылось...

Сцена эта происходила въ третьей комнатѣ номера. Съ произнесеніемъ послѣднихъ словъ, вошелъ лакей и подалъ Николаю Степанычу записку. Узнавъ тотчасъ же почеркъ Кокò и справедливо опасаясь за содержаніе письма, Николай Степанычъ принялъ озабоченный видъ и торопливо вышелъ въ первую комнату. Вотъ что значилось въ запискѣ:

„Радуйтесь, дядюшка; я передалъ Катеринѣ Михайловнѣ ваше желаніе, и она очень рада съ вами познакомиться. Завтра мы обѣдаемъ втроемъ у Донона; покутимъ отлично; вы увидите, что это за прелесть...“

Въ ту минуту, какъ Николай Степанычъ, безпрестанно бросавшій взгляды на сосѣднюю дверь, наводилъ въ десятый разъ глаза на записку, въ комнату вошла Софья Петровна; появленіе ея было такъ неожиданно, что Николай Степанычъ успѣлъ только опустить письмо въ карманъ.

— Лучше и лучше, произнесла Софья Петровна, останавливаясь передъ мужемъ и скрещивая на груди руки,— этого только недоставало!.. Вы, кажется, начали даже имѣть секреты...

— Какой вздоръ!.. Это... это... дѣловое письмо... это кузенъ Мирзоевъ... переминаясь и краснѣя, проговорилъ мужъ.

— Что же онъ пишетъ? развѣ это секретъ?

— Нѣтъ... но...

— Зачѣмъ же вы его спрятали?.. Покажите это письмо... настоятельно подхватила Софья Петровна.

— Но, мой другъ, это совсѣмъ до тебя не касается...

— Вы сейчасъ еще говорили, что все, что до васъ касается, касается точно такъ же и до меня... Я хочу видѣть это письмо...

Голосъ Софьи Петровны колебался и краска играла на щекахъ ея.

— Но, другъ мой... клянусь тебѣ... пробормоталъ Николай Степанычъ, судорожно скомкивая письмо въ карманѣ.

Внезапно Софья Петровна вздрогнула, закрыла лицо руками, залилась слезами и упала на диванъ.

— Перестань, ради Бога; что это такое въ самомъ дѣлѣ?.. промолвилъ примирительнымъ, даже нѣжнымъ тономъ, Николай Степанычъ.

— Ха, ха, ха!.. залилась истерически Софья Петровна.

— Умоляю тебя... Сонечка!.. здѣсь, въ номерѣ...

— Ха, ха, ха!..
— Ахъ, Боже мой, съ ней дурно!..
— Ха, ха, ха!..

Николай Степанычъ, какъ потерянный, обѣжалъ раза два вокругъ комнаты и бросился въ коридоръ.

— Человѣкъ! воды!.. закричалъ онъ, дергая за сонетку.

Крикъ этотъ какъ словно облегчилъ его; онъ провелъ руками по лицу, быстро вытащилъ письмо, разорвалъ его на мелкіе клочки, сунулъ ихъ въ карманъ, потомъ пересунулъ въ другой карманъ; но найдя это, вѣроятно, неудобнымъ, бросилъ въ уголъ коридора, и стремительно возвратился къ женѣ, которая продолжала заливаться истерическимъ смѣхомъ.

IX.

Ощипанная курица.

Семь часовъ вечера. Къ этому времени одна общая мысль овладѣла, можно сказать, большею частію петербургскихъ жителей; мысль эту можно перевести слѣдующими словами:

„Нѣтъ, намъ невозможно разсчитывать на погоду! Это фактъ, который подтверждается ежедневно, и сверхъ того такъ часто, такъ краснорѣчиво доказывается газетными нашими фельетонами...“

И дѣйствительно, погода, такая удивительная въ продолженіе всего дня, замѣтно начинала портиться; лучи солнца все рѣже и рѣже показывались между облаками, застилавшими лазурь неба; вѣтеръ тоже не обѣщалъ ничего хорошаго: онъ дулъ съ моря. Завываніе его, безъ всякаго сомнѣнія, наполняло прежде всего особенною грустію и тоскливо, болѣзненно сжимало сердце чародѣя Излера, содержателя минеральныхъ водъ; афишка этого заведенія, какъ на зло, возвѣщала сегодня поэтическую сирійскую ночь, съ аккомпанементомъ чудесъ трехъ странъ свѣта, колоссальнымъ кактусомъ, брильянтовой иллюминаціей и невиданнымъ еще доселѣ восхожденіемъ на воздушномъ шарѣ. Чародѣй стоялъ на террасѣ своего сада, безпокойнымъ ухомъ прислушивался къ завыванію вѣтра, посматривалъ на небо и вперилъ унылый взоръ на кактусъ, который былъ изъ картона и слѣдственно, при первыхъ капляхъ дождя, долженъ былъ распасться.

Но хотя рѣже и рѣже, лучи солнца все-таки время

отъ времени проглядывали; лицо чародѣя значительно тогда оживлялось; оживлялись также нѣкоторые дома и улицы Петербурга, которые вдругъ выступали изъ мрака и огненными, блестящими полосами перекидывались въ широкихъ каналахъ. Позлащая такимъ образомъ дома и улицы, солнечные лучи проникали, разумѣется, во внутренность домовъ и дворовъ, и при такомъ маневрѣ, весьма естественно, необходимо должны были насквозь пронизывать чахлыя деревья, украшавшія маленькій садъ трактирщика Донона. Въ задней части этого сада находился дощатый, выкрашенный полосами, павильонъ съ большими стеклянными окнами. Каждый разъ, какъ лучи солнца пронизывали деревья садика, павильонъ наполнялся радостнымъ сіяніемъ, и каждый разъ ярко освѣщались лица Кокò Свищова, Катерины Михайловны и Николая Степаныча. Они окружали столъ, покрытый тарелками, бутылками, стаканами, чашками и скомканными салфетками. Обѣдъ кончился. Мы заключаемъ это столько же по скомканнымъ салфеткамъ и безпорядку стола, сколько изъ положенія присутствующихъ. Катерина Михайловна лежала въ мягкомъ креслѣ, и ножки ея, удивительно обутыя, покоились на подушкѣ дивана; подушка эта служила также подпоркою правому локтю Кокò, каблуки котораго стучали по спинкѣ сосѣдняго кресла. Кокò неистово курилъ сигару; Катерина Михайловна перемѣняла одну папироску за другою. Одинъ Николай Степанычъ ничего не дѣлалъ и сохранялъ перпендикулярное положеніе на своемъ стулѣ.

Вопросъ состоялъ теперь въ томъ, чтобы кончить послѣднюю бутылку шампанскаго, которую, по словамъ Кокò, слѣдовало допить во что бы ни стало.

— Дядя, я, ей-Богу, разсержусь наконецъ! крикнулъ Кокò, махая сигарой, дымъ которой былъ такъ ядовитъ и крѣпокъ, что всякій разъ исторгалъ слезы изъ глазъ Николая Степаныча,—обстоятельство, заставлявшее громко хохотать Катерину Михайловну, — ей-Богу, разсержусь! Во все продолженіе обѣда вы не выпили цѣлаго стакана! Это страсть! право, страсть!.. Я, между тѣмъ, выпилъ двѣ бутылки!.. Катерина Михайловна дама, и она даже выпила бутылку...

— Что ты лжешь, мальчуганъ! перебила Катерина Михайловна, шутливо толкая ножкой Кокò, который быстро завладѣлъ ея носкомъ и выразительно приложилъ

его къ своему сердцу, — что ты лжешь, я всего выпила три бокала...

— Все равно, вы зато женщина! съ васъ не взыскивается, хотя и это по-настоящему не совсѣмъ справедливо... Но дядя мужчина, по крайней мѣрѣ столько, сколько извѣстно, онъ долженъ пить!.. да, долженъ! Дядя, ей-Богу, разсержусь, пейте!..

— Но, Кокò...

— Пейте, говорю вамъ! перебилъ Кокò, нетерпѣливо потрясая сигарой...

— Но, Кокò, мнѣ, право, вредно... право, не могу! сказалъ Николай Степанычъ, стараясь пріятно улыбнуться, но на самомъ дѣлѣ начиная чувствовать внутреннее безпокойство,—мнѣ строжайшимъ образомъ запрещены крѣпкіе напитки, и особенно шампанское...

— Вотъ вздоръ какой! всѣмъ извѣстно, даже дѣтямъ, я думаю, что шампанское, напротивъ, исправляетъ желудокъ! Все это пустыя отговорки... Пейте, говорю вамъ... Ей-Богу, это срамъ... ей-Богу же, разсержусь наконецъ!..

— Что это, Кокò, какая у васъ глупѣйшая манера вѣчно ко всѣмъ привязываться! перебила Катерина Михайловна, снова толкая его пяткой, что, повидимому, доставило Кокò большое удовольствіе и мигомъ расположило его къ шумной, хотя безвредной веселости, — вы видите, что мосье... мосье... виновата, я все забываю вашу фамилію...

— Фуфлыгинъ! подсказалъ Николай Степанычъ, любезно наклоняя голову.

— Мосье Фуфлыгинъ не хочетъ шампанскаго; онъ говоритъ, ему это вредно... значитъ, и приставать нечего!.. продолжала Катерина Михайловна, которая, въ началѣ обѣда, старалась, между тѣмъ, подливать Николаю Степанычу ничуть не менѣе Кокò.—Я даже очень рада, что мосье... мосье... ахъ, виновата... опять забыла...

— Фуфлыгинъ! внятно и съ новымъ поклономъ подсказалъ Николай Степанычъ.

— Да, мосье Фуфлыгинъ ничего почти не пилъ; онъ, можетъ быть, не такъ крѣпокъ, какъ вы, Кокò, и это помѣшало бы ему исполнить мнѣ одну просьбу...

— Какую же? какую, Катерина Михайловна? торопливо заговорилъ Николай Степанычъ, которому, можно сказать, пришлось въ первый разъ произнести длинную фразу; Кокò болталъ безъ умолку во весь обѣдъ и не давалъ ему

почти рта открыть, кромѣ развѣ для ѣды и питья, — Я буду въ восхищеніи исполнить вашу просьбу... Приказывайте, повелѣвайте,—я весь къ вашимъ услугамъ.

— Каковъ, дядюшка-то, а? каковъ! каковы фразы ввертываетъ? ха-ха!.. залился Кокò, плутовски подмигивая лѣвымъ глазомъ.

Катерина Михайловна толкнула его опять ножкой; онъ схватилъ ножку, прижалъ ее къ груди своей, сладко прищурился и замолкъ.

— Просьба моя вотъ въ чемъ... мосье... да, мосье Фуфлыгинъ, сказала Катерина Михайловна, любезно поглядывая на Николая Степаныча,—съѣздимте пожалуйста на Черную рѣчку; я хочу нанять дачу... Вы понимаете, я никакого толку не знаю въ домахъ... Вы будете такъ милы и добры, что скажете мнѣ, который именно домъ будетъ удобнѣе... понимаете, чтобы тамъ не протекало... чтобы... потолки были крѣпкіе... рамы...

— Понимаю, понимаю... и съ величайшимъ наслажденіемъ.

— Вы помѣщикъ, вы должны все это знать...

— И удивительный хозяинъ! удивительный! крикнулъ Кокò, исчезая въ облакѣ ядовитаго дыма.

— Такъ вы не откажетесь, мосье Фуфлыгинъ?

— О, съ величайшимъ наслажденіемъ, повторяю вамъ!.. Когда вамъ будетъ угодно...

— Да вотъ, чего-же лучше, поѣдемте сейчасъ! Мы уже отобѣдали и времени у насъ много...

Николай Степанычъ позвалъ человѣка и приказалъ ему тотчасъ же нанять карету.

Просьба Катерины Михайловны приводила Николая Степаныча въ истинное восхищеніе; одно то, что она доставляла ему возможность угодить ей, — и угодить безъ ущерба карману,—то было очень важно, если принять въ соображеніе расходъ кареты и обѣда; во-вторыхъ, она открывала ему случай ѣхать съ нею вдвоемъ и объяснить ей или хоть вскользь намекнуть на цѣль, для которой собственно познакомился съ нею.—„Одно немножко опасно, подумалъ онъ, — жена уѣхала также за городъ съ кузиной... Не знаю, въ какой части окрестностей онѣ находятся... Чтобы еще не столкнуться какъ-нибудь!“ Но такое соображеніе остановило его только на минуту; безпокойная мысль была тотчасъ же подавлена радостнымъ чувствомъ; улыбка скользила по добродушному лицу Ни-

колая Степаныча даже въ ту минуту, когда онъ платилъ счетъ, который оказался огроменъ.

— Все это прекрасно! воскликнулъ Кокò, когда лакей возвѣстилъ, что готова карета, и Катерина Михайловна взялась за шляпку, — все это прекрасно, — а все-таки надо допить эту бутылку; ужъ это какъ себѣ хотите!..

— Но, Кокò...

— Нечего разговаривать! — за здоровье Катерины Михайловны! вы не смѣете отказаться!.. заключилъ Кокò, наливая стаканъ дяди вровень съ краями.

Катерина Михайловна чокнулась съ Кокò и протянула бокалъ Николаю Степанычу.

„Э! была не была!“ подумалъ Николай Степанычъ, схватилъ стаканъ, усердно чокнулся и осушилъ его до дна.

— Браво! браво! крикнулъ Кокó, выпуская изъ рукъ окурокъ сигары и пуская его носкомъ сапога въ потолокъ.

Компанія, смѣясь, вышла изъ саду и черезъ минуту очутилась на маленькомъ дворикѣ Донона.

— Скажите, пожалуйста, каковъ дядя, а? Нарочно велѣлъ привезти такую карету, чтобы можно было только вдвоемъ ѣхать!.. Вы, смотрите, не вѣрьте ему, примолвилъ онъ, обращаясь къ Катеринѣ Михайловнѣ, которая усаживалась въ экипажъ, — не смотрите, что онъ такой... онъ ужасенъ! именно, ужасенъ! довершилъ Кокó, страшно выкатывая глаза.

Катерина Михайловна залилась громкимъ смѣхомъ; но неизвѣстно, возбужденъ ли былъ этотъ порывъ неожиданной веселости словами племянника, или сконфуженнымъ лицомъ дяди.

— Итакъ, вы на Черную рѣчку?.. продолжалъ Кокò, ни на что не обращая вниманія. — Но куда же я дѣнусь?.. Ба! — поѣду къ Излеру! Тамъ, вѣрно, сегодня весело... Однакожъ, тучка, господа!.. впрочемъ, лучше, что пойдетъ дождь, — это будетъ вашимъ спасеніемъ, Катерина Михайловна! — дождь зальетъ хоть сколько-нибудь этотъ волканъ, который подлѣ васъ усѣлся... Смотрите, заключилъ онъ, понижая голосъ и просовывая голову въ окно кареты, — смотрите, право, скажу Медіоланскому... вы знаете, какъ я люблю его... друзья, — друзья закадычные!..

— Пошелъ! пискнула кучеру Катерина Михайловна.

— Bon voyage! выразительно крикнулъ Кокò, и карета выѣхала на улицу.

— Вы давно въ Петербургѣ... мосье... мосье Фуфлыгинъ? спросила Катерина Михайловна мягкимъ голосомъ, котораго у нея прежде не было.

Она вытянула свои хорошенькія ножки и устремила на сосѣда милый, ласковый взглядъ.

— Нѣтъ-съ... я всего пятый или шестой день, Катерина Михайловна...

— Какъ, такъ мало?

Восклицаніе это и очаровательная улыбка, его сопровождавшая, могли свести съ ума кого угодно.

— Да, всего пять дней, проговорилъ Николай Степанычъ, покрываясь внезапно яркимъ румянцемъ,—я собственно пріѣхалъ сюда по очень важному дѣлу... гм... гм...

— По какому же дѣлу?

— Очень важное дѣло, Катерина Михайловна... произнесъ Николай Степанычъ, захлебываясь отъ волненія („теперь, въ эту минуту, подумалъ онъ, рѣшается моя участь!“),—очень важное... оно всѐ, можно сказать, гм... находится въ рукахъ... гм... гм! въ рукахъ Медіоланскаго, о которомъ говорилъ Кокò...

— Медіоланскаго? воскликнула Катерина Михайловна такъ радостно, что можно было думать, дѣло находится въ рукахъ ея больше даже, чѣмъ въ рукахъ Медіоланскаго, и она радуется случаю помочь своему собесѣднику.

Такъ, по крайней мѣрѣ, объяснилъ себѣ Николай Степанычъ; сердце его забилось вдругъ съ необычайной силой; онъ готовился уже выразить свои чувства обязательной сосѣдкѣ,—какъ вдругъ она неожиданно выглянула изъ окна кареты и приказала повернуть въ Малую Милліонную.

— Извините, мосье Фуфлыгинъ, сказала она,—мнѣ необходимо заглянуть на минуту въ англійскій магазинъ,—теперь еще не заперто... будьте такъ добры, прикажите остановиться у того подъѣзда.

— Стой! заревѣлъ Николай Степанычъ, готовый въ эту минуту самъ запрячься въ карету и везти Катерину Михайловну.

Онъ ловко выпрыгнулъ на тротуаръ и высадилъ свою даму. Войдя въ магазинъ, Катерина Михайловна потребовала, чтобъ показали ей самыя новыя матеріи. Черезъ

минуту, длинная конторка покрылась роскошными тканями.

— Ахъ, какая прелесть!.. это чудо, что такое! Особенно это... Не правда ли, мосье Фуфлыгинъ? Это шитье приводитъ меня въ восторгъ.

„А, чортъ возьми, подумалъ Николай Степанычъ,—подарю ей платье! Дѣло пошло отлично... авось это окончательно расположитъ ее въ мою пользу...“ Онъ отозвалъ въ сторону даму и робко, замирая сердцемъ и душою, попросилъ позволенія купить платье, которое ей такъ нравилось; онъ убѣдительно просилъ не давать этому цѣны подарка; нимало! онъ умолялъ принять платье на память,—въ ознаменованіе того, стократъ счастливаго дня, когда онъ съ нею обѣдалъ. Къ великой радости Николая Степаныча дама не разсердилась, не выразила даже малѣйшаго сопротивленія. Подъ вліяніемъ радостныхъ мыслей, толпившихся въ головѣ Николая Степаныча, онъ отдалъ безъ сожалѣнія восемьдесятъ цѣлковыхъ за платье, которое было тотчасъ же свернуто и отнесено въ карету.

Минуту спустя, онъ и его милая спутница катили на Черную рѣчку.

— Гм! Гм! Да,—эти дѣла... это ужасно, что такое! Катерина Михайловна!.. заговорилъ Николай Степанычъ, когда карета взъѣхала на Троицкій мостъ,—вы представить себѣ не можете, сколько хлопотъ... сколько трудностей... особенно когда предстоитъ имѣть дѣло съ Медіоланскимъ... онъ, говорятъ, очень труденъ...

— Знаете ли, о чемъ я теперь думаю? перебила Катерина Михайловна, и вдругъ засмѣялась.—Вы все говорите объ Медіоланскомъ,—ну, что, если бъ увидѣлъ онъ насъ въ каретѣ?.. ха-ха-ха!

— Что жъ?.. помилуйте... развѣ тутъ что-нибудь преступное?.. пробормоталъ нѣсколько оторопѣвшій Фуфлыгинъ.

— Да, говорите!.. Увѣрьте его!.. вы еще совсѣмъ не стары... Медіоланскому шестьдесятъ лѣтъ!.. онъ страшно ревнивъ; ревнивъ до безумія!..

— Впрочемъ, я это понимаю... возразилъ Николай Степанычъ, лукаво улыбаясь,—это совершенно въ порядкѣ вещей... и я... я былъ бы точно такъ же ревнивъ, если бъ... если бъ...

— Если бъ что?

— Если бъ... если бъ... былъ любимъ вами...

— Но вы любить меня не можете...

— Но почему же? промолвилъ, глупо улыбаясь, Николай Степанычъ, начинавшій уже думать, что совсѣмъ не онъ волканъ, а скорѣе Катерина Михайловна, — и что дѣлать ему, какъ поступить, если, чего добраго, она потребуетъ отъ него любви въ благодарность за устройство дѣла.

— Почему же вы такъ думаете, Катерина Михайловна? продолжалъ онъ. —Это, напротивъ, совершенно натурально... Ваше доброе сердце... ваша наружность, всё это невольно внушаетъ... Но я человѣкъ откровенный и скажу вамъ, что для этого, то-есть для того, чтобы любить женщину истинно, пламенно, — нужно быть самому счастливу... да, это необходимо! Надо, чтобы ничто не мѣшало страсти, вы понимаете?.. чтобы человѣкъ былъ совершенно освобожденъ отъ обстоятельствъ... которыя часто... вотъ, напримѣръ, какъ у меня теперь... гм... я долженъ прибѣгнуть къ Медіоланскому!.. гм! гм!..

— Ахъ, Боже мой!... посмотрите, какія ужасныя тучи!.. Того и смотри, сейчасъ будетъ дождикъ... Кучеръ, поѣзжай скорѣе! Скорѣе!.. добавила она, неожиданно высовываясь изъ окна кареты.

Кучеръ былъ малый опытный; онъ зналъ, что когда молодой баринъ и молодая барыня ѣдутъ вдвоемъ въ каретѣ, — молодой баринъ всегда по большей части бываетъ веселъ и никогда не скупится на водку. Карета помчалась вихремъ, и прежде чѣмъ Николай Степанычъ привелъ въ порядокъ свои мысли, колёса загремѣли на Строгоновскомъ мосту. Къ тому же, надо было на минуту оставить дальнѣйшія объясненія; вниманіе Катерины Михайловны исключительно принадлежало теперь берегамъ Черной рѣчки, и она не отрывала лица отъ окна экипажа. По приказанію ея, кучеръ остановился у перекрестка подлѣ сада Минеральныхъ водъ.

— Ну, слава Богу, кажется, дождя нѣтъ, сказала она, выпрыгивая на деревянный тротуаръ, окаймляющій лѣвый берегъ Черной рѣчки.

— Нѣтъ, но, кажется, скоро будетъ, промолвилъ ея спутникъ, начинавшій выказывать безпокойство съ той минуты, какъ вышелъ изъ экипажа и очутился на открытомъ мѣстѣ, гдѣ легко могъ столкнуться съ женою и кузиной.

Но все прошло очень благополучно. Никто не встрѣтился, кромѣ лицъ совершенно незнакомыхъ. Осмотрѣно было

нѣсколько дачъ; но всѣ онѣ найдены были совершенно неудобными, несмотря на то даже, что потолки, какъ увѣрялъ Николай Степанычъ, могли выдержать самое страшное давленіе. Одна дача привела, однакожъ, въ восторгъ Катерину Михайловну. Напрасно на этотъ разъ доказывалъ Николай Степанычъ негодность потолковъ, напрасно протыкалъ пальцемъ стѣны, — Катерина Михайловна ничего не хотѣла видѣть и потребовала дворника. Дача ходила за триста цѣлковыхъ, меньше нельзя было ни копейки!

— Хорошо, я ее беру, сказала Катерина Михайловна съ видомъ рѣшимости.

— Пожалуйте задатокъ...

— Какъ задатокъ...

— У насъ, сударыня, такое уже положеніе, пробасилъ дворникъ, отставной сѣдовласый воинъ, — половину денегъ впередъ пожалуйте... Мы вамъ выдадимъ расписку — и дача ваша... Безъ этого нельзя, — время такое, всякій теперь нанимаетъ; праздная не простоитъ...

— Ахъ, Боже мой, но какъ же это... съ видомъ крайняго смущенія произнесла Катерина Михайловна. — Monsieur Фуфлыгинъ, нѣтъ ли у васъ съ собою полутораста цѣлковыхъ?.. Вы меня этимъ очень обяжете... Завтра утромъ я возвращу вамъ, или нѣтъ, зачѣмъ, примолвила она, бросивъ обворожительный взглядъ, — пріѣзжайте лучше завтра сами за ними...

Въ первую минуту, Николая Степаныча насквозь проняло холоднымъ потомъ; онъ радъ былъ дѣлать угожденія и приносить жертвы, но все не такія же; послѣднія слова собесѣдницы значительно его ободрили. Онъ понялъ, что если ужъ зоветъ къ себѣ за деньгами, стало-быть бояться нечего. Основываясь на этомъ, онъ любезно вытащилъ полтораста цѣлковыхъ. Было уже такъ темно, что оба принуждены были войти въ домъ и получить расписку при свѣчкѣ. Едва вернулись они на тротуаръ, дождь зашумѣлъ въ деревьяхъ. Но Катерина Михайловна и ея спутникъ во-время успѣли сѣсть въ карету.

— Куда намъ дѣться? сказала она. — Ахъ, какая скука!.. Знаете ли что? поѣдемте къ Излеру; праздникъ, конечно, отложенъ, но мы найдемъ тамъ убѣжище и переждемъ этотъ несносный дождь... Это въ двухъ шагахъ!

Николай Степанычъ дѣлалъ все, что угодно было его милой спутницѣ. Не прошло трехъ минутъ, какъ уже

они останавливались передъ подъѣздомъ Минеральныхъ водъ.

— У меня еще къ вамъ просьба, мосье Фуфлыгинъ, — вы, можетъ быть, долѣе моего здѣсь останетесь... или вамъ некогда будетъ довести меня до дома... во всякомъ случаѣ, оставьте мнѣ, пожалуйста, вашу карету... Спросите имя кучера... и скажите мнѣ. Ему уже заплачено?

— Нѣтъ, но это сію минуту... проговорилъ на все готовый Фуфлыгинъ, приводя въ дѣйствіе желаніе своей спутницы.

Бормоча хорошенькими своими губками имя Ивана (такъ звали кучера), Катерина Михайловна просунула свою ручку подъ руку кавалера, и они вошли въ большую залу. Народу толпилось множество; все жалось, тискалось и тѣснилось вокругъ скамей и на самыхъ скамьяхъ; сквозь гулъ и говоръ долетали трынканье гитары и дикій гикъ цыганскаго пѣнія.

— Мы, все равно, ничего здѣсь не увидимъ, пойдемте лучше дальше, сказала Катерина Михайловна.

Николай Степанычъ пропустилъ большой палецъ правой руки въ петлю пальто, чтобы крѣпче поддержать руку дамы, которую оттирали въ толпѣ, и поспѣшилъ провести ее во вторую залу, гдѣ публики было не много, но зато она была отборнѣе. Внезапно Катерина Михайловна быстро отдернула свою руку. Николай Степанычъ взглянулъ на нее съ удивленіемъ.

— Бога ради, уйдите поскорѣе!.. отойдите поскорѣе отъ меня... уходите даже совсѣмъ отсюда... я пропала... здѣсь Медіоланскій... вотъ онъ... уходите скорѣе....

Катерина Михайловна проговорила все это съ быстротою невѣроятной; тѣмъ не менѣе, при послѣднемъ словѣ, Николай Степанычъ стоялъ уже въ шести шагахъ. Сначала онъ медленно, какъ бы прогуливаясь, добрелъ до дверей первой залы, вошелъ въ самую залу,—и вдругъ пустился безъ оглядки къ подъѣзду. Дождь лилъ теперь ливмя. Такая страшная тьма окутывала дворъ, что не было возможности различать каретъ.

„Вотъ, однакожъ, какъ легко можно попасться, сказалъ самъ себѣ Николай Степанычъ, слегка даже посмѣиваясь надъ своею трусостію,—да, такого рода отношенія всегда сопряжены съ нѣкоторой опасностію. Но дѣло идетъ, кажется, на ладъ,—сильно идетъ на ладъ!.. Могу сказать, день этотъ не пропалъ даромъ; денегъ много истрачено,

страшно много, но дѣло шибко зато двинуто впередъ...

— Извозчикъ! крикнулъ онъ звучнымъ голосомъ, какимъ кричатъ счастливые, довольные люди.

Не послѣдовало никакого отвѣта. Слышался только шумъ дождя, барабанившаго по кровлямъ сосѣднихъ дачъ и ниспадавшихъ на дворъ Минеральныхъ водъ.

— Извозчикъ! повторилъ еще громче, еще звучнѣе Николай Степанычъ.

— Здѣсь нѣтъ извозчиковъ, отозвался изъ мрака чей-то голосъ,—извозчики стоятъ подлѣ Новой деревни...

— Но какъ же идти въ такую грязь?..

— Вамъ только площадь перейти... продолжалъ голосъ,— Новая деревня сейчасъ за площадью начинается...

— Это, однакожъ, ужасно непріятно... во всякомъ случаѣ, благодарю васъ... дѣлать нечего, придется шлепать по грязи.

Проговоривъ все это голосомъ весельчака, который самъ посмѣивается надъ своими обстоятельствами, Николай Степанычъ крѣпко надвинулъ шляпу и спустился съ подъѣзда. Съ первымъ шагомъ впередъ, онъ захлюпнулся въ грязи по щиколотокъ, и веселость его пропала; но ее тотчасъ же замѣнила рѣшимость и отвага; придерживая панталоны, онъ ринулся впередъ и побѣжалъ по площади, направляясь къ огонькамъ, мелькавшимъ неподалеку. Немного погодя, онъ очутился подлѣ дачъ, которыя смутно рисовались въ темнотѣ.

— Скажите, пожалуйста, это Новая деревня? спросилъ онъ у мимо проходившей женщины.

— Новая деревня...

— Гдѣ здѣсь извозчики?

— Вотъ тамъ, за угломъ, у трактира...

Ободренный такими словами и чувствуя подъ ногами твердо убитую землю дорожки, Николай Степанычъ ускорилъ шагъ; къ этому отчасти способствовали даже дождь, яростно колотившій его спину, и вѣтеръ, который толкалъ его впередъ съ непостижимою силой.

— Ah, mon Dieu! раздался вдругъ въ десяти шагахъ женскій отчаянный голосъ,—ah, mon Dieu!..

Николай Степанычъ воспрянулъ, какъ олень, заслышавшій звукъ роговъ...

— Ah, mon Dieu! повторилъ еще отчаяннѣе тотъ же голосъ.

— Ай! крикнулъ какой-то ребенокъ...

— Мамаша, у меня нога увязла! послышался другой дѣтскій крикъ.

Темнота не давала возможности различить лица Николая Степаныча; но, принимая въ соображеніе быстроту, съ какою бросился онъ къ дамѣ и дѣтямъ, не подлежало сомнѣнію, что душа его и слѣдовательно лицо—это зеркало души—страшно были взволнованы.

— Сонечка... это ты... ты?.. воскликнулъ онъ, подбѣгая къ дѣтямъ и дамѣ.

— Ахъ, Nicolas... ахъ!.. ахъ!..

И Софья Петровна обхватила его руками и прилипла къ нему мокрымъ своимъ платьемъ.

— Но какимъ образомъ ты здѣсь?.. что это значитъ?.. Ахъ, Боже мой!..

— Папаша, я весь промокъ!.. закричалъ Леша.

— Мамаша, у меня опять завязла нога... хи... хи... заплакала Поша.

— Какъ ты здѣсь? повторилъ Николай Степанычъ, ощупывая головы дѣтей, ибо, въ замѣшательствѣ своемъ, рѣшительно не понималъ, что дѣлать.

— Все это твой братъ... всему онъ виною... это ужасно!..

— Аркадій? содрогаясь, произнесъ Николай Степанычъ.

— Да... онъ встрѣтился еще мнѣ до дождя; я просила его нанять карету... дала ему денегъ... онъ побѣжалъ— и вотъ... вотъ!..

— Онъ сейчасъ, можетъ быть, явится... проговорилъ супругъ, дико озираясь во всѣ стороны.

— Но мы ждемъ уже болѣе часа... это ужасно... я вся промокла... и дѣти также...

— Но какъ же это случилось?.. вѣдь ты была съ кузиной?..

— О, это ужасная женщина!.. я не хочу съ нею больше быть знакома!.. съ горячностію проговорила Софья Петровна,—она сдѣлала мнѣ ужасную сцену... Съ нами былъ Сюсюковъ... она вздумала ревновать меня... онъ также виноватъ... онъ два раза пожалъ мнѣ ногу... она это замѣтила...

— Онъ осмѣлился это сдѣлать?.. ахъ, онъ негодяй!.. началъ было Николай Степанычъ, но мысль ссоры жены съ кузиной и послѣдствія этой ссоры, которая легко могла разорвать отношенія съ Мирзоевыми, мигомъ овладѣла разсудкомъ бѣднаго мужа и вытѣснила тотчасъ же всѣ остальныя мысли и чувства.—Несчастная, что ты сдѣлала!

заговорилъ онъ трепещущимъ голосомъ,—ты поссорила меня съ Петромъ Петровичемъ... О, Боже!..

Онъ не могъ продолжать дальше: вѣтеръ и дождикъ забушевали съ удвоенной силой, Леша и Поша пискнули; Софья Петровна испустила крикъ, повернулась спиною и припала къ дѣтямъ.

— Намъ нельзя, однакожъ, стоять здѣсь на дождѣ... Тутъ за трактиромъ извозчики... проговорилъ Николай Степанычъ, у котораго перевернулось сердце.

Они сдѣлали нѣсколько шаговъ впередъ. Неподалеку и, казалось, даже за сосѣдней дачей, раздался долгій, пронзительный свистъ. При этомъ Леша и Поша испустили отчаянный крикъ и бросились къ отцу.

— Разбойники!.. хи, хи, хи... разбойники!.. кричали, топая ногами и упрятывая головы, Леша и Поша, воображеніе которыхъ сильно было напугано разсказами о разбойникахъ.

Самъ Николай Степановичъ былъ сильно въ этомъ виновенъ; по вечерамъ, въ деревнѣ, онъ часто повѣствовалъ имъ о Стенькѣ Разинѣ, и такъ натурально и страшно подражалъ свисту разбойника, что даже сама Софья Петровна содрогалась. Онъ горячо принялся уговаривать дѣтей, но новый свистъ, еще пронзительнѣе и ближе перваго, испортилъ снова все дѣло. Ужасъ дѣтей былъ окончательно возбужденъ шагами и говоромъ нѣсколькихъ человѣкъ, которые быстро приближались въ ихъ сторону.

— Скорѣе, скорѣе, господа, сейчасъ пароходъ пришелъ... сказалъ голосъ.

— Да, второй свистокъ... не опоздать бы намъ... скорѣе, господа!..

— Господа, извините, съ живостію воскликнулъ Николай Степанычъ, схватывая дѣтей и инстинктивно слѣдуя за незнакомцами,—какіе это пароходы?.. Гдѣ они?.. Куда они ходятъ?..

— А вотъ тутъ, противъ Минеральныхъ водъ... сейчасъ за угломъ... Они останавливаются противъ Лѣтняго сада... торопливо проговорилъ голосъ.

Раздался третій свистъ; незнакомцы пустились бѣжать; Николай Степанычъ послѣдовалъ было за ними, но Леша и Поша не могли бѣжать такъ скоро, и онъ, поневолѣ, долженъ былъ замедлить шагъ. Они вскорѣ, однакожъ, достигли зданія Минеральныхъ водъ и очутились на деревянномъ помостѣ, который велъ къ Невѣ. Впереди, ша-

гахъ во ста, ярко блисталъ фонарь; свистъ парохода и звонъ колокола, раздавшіеся съ той стороны, окончательно убѣдили Николая Степаныча, что онъ держался должнаго направленія; тѣмъ не менѣе, онъ такъ тяжело вздыхалъ, что Софья Петровна, несмотря на то, что сама была страшно раздражена, — нѣсколько разъ принималась его успокоивать. Но Николай Степанычъ отворачивалъ только голову и повторялъ скороговоркою: „Я разстроенъ, я ужасно разстроенъ... Оставьте меня, Бога ради, я жестоко разстроенъ!..“

Едва перешли они шоссе и вступили подъ навѣсъ пароходной пристани, пароходъ свистнулъ еще разъ и тронулся съ мѣста.

— Извольте обождать, сударь, сказалъ солдатъ, отъ котораго не ускользнуло, вѣрно, выраженіе отчаянія, изобразившееся на лицѣ барина,—черезъ четверть часа будетъ другой пароходъ...

Жена, дѣти и самъ Николай Степанычъ находились теперь въ защитѣ отъ дождя и вѣтра; но все равно, этотъ новый ударъ сразилъ его, повидимому, окончательно; онъ тяжело опустился на скамейку и погрузился мысленно въ пучину самыхъ безотрадныхъ предположеній. Жена нѣсколько разъ приступала къ нему, стараясь его утѣшить, успокоить; Николай Степанычъ повторялъ только: „Я разстроенъ, оставьте меня, пожалуйста, — я жестоко разстроенъ!“ и снова погружался въ свою тягостную задумчивость. Такъ провелъ онъ минутъ десять и провелъ бы, безъ сомнѣнія, еще больше, если бъ голосъ жены не вызвалъ его неожиданно изъ мучительнаго состоянія.

— Ахъ, Петръ Петровичъ! воскликнула она.

Николай Степанычъ поднялъ голову. Передъ нимъ стоялъ кузенъ Мирзоевъ, который раскланивался съ Софьей Петровной.

— Ахъ, Петръ Петровичъ!.. Какими судьбами?.. Вы видите меня... я... я ужасно разстроенъ! проговорилъ Фуфлыгинъ, стремительно подымаясь съ мѣста.

Въ отвѣтъ на это, Петръ Петровичъ быстро взялъ его за руку и торопливо отвелъ въ дальній уголъ навѣса. Фонарь позволялъ ясно различать черты кузена Мирзоева; онѣ дышали все тѣмъ же достоинствомъ и благородствомъ, но, очевидно, не были спокойны. Предчувствіе чего-то недобраго вторгнулось въ душу Николая Степаныча.

— Что такое?.. что?.. спросилъ онъ тревожно.

— Я сейчасъ съ Минеральныхъ водъ, возразилъ Мирзоевъ также не совсѣмъ спокойнымъ тономъ,—тамъ произошла ужаснѣйшая исторія... вашъ племянникъ столкнулся съ Медіоланскимъ... Тутъ была также Катерина Михайловна... Племянникъ вашъ присталъ къ ней при Медіоланскомъ... тотъ вступился... Страшная исторія!.. Медіоланскій, очевидно, знать теперь не хочетъ этой вертушки... вамъ, слѣдовательно, не зачѣмъ уже съ нею знакомиться...

Въ головѣ Николая Степаныча запрыгали при этомъ не только шарики, но весь мозгъ его превратился, казалось, въ одинъ общій шаръ, который завертѣлся съ непостижимою быстротою. Онъ стоялъ у стѣнки, страшно выкатывая глаза и водя ими неопредѣленно во всѣ стороны.

— Полтораста цѣлковыхъ!.. еще восемьдесятъ цѣлковыхъ!.. карета!.. обѣдъ!.. все пропало!..

Вотъ все, что могъ онъ проговорить, и то такъ слабо, что кузенъ Мирзоевъ не разслышалъ половины. Положеніе Николая Степаныча дѣйствительно возбуждало состраданіе. Мирзоевъ поправилъ очки и взялъ его за пуговицу.

— Успокойтесь, почтеннѣйшій, успокойтесь, прошу васъ, сказалъ онъ,—никакъ не слѣдуетъ приходить въ такое отчаяніе... Къ тому не отчего! Послушайте: случай открылъ мнѣ вѣрное, несомнѣнное средство поправить бѣду... Теперь мы поведемъ дѣло иначе и, увѣряю васъ честью, достигнемъ цѣли. Прошу васъ только, успокойтесь и слушайте... Но вотъ пароходъ, теперь не время... я вамъ сообщу обо всемъ, когда мы сядемъ...

Кузенъ Мирзоевъ возвратился къ Софьѣ Петровнѣ и подалъ ей руку; Николай Степанычъ, въ замѣшательствѣ своемъ, чуть было не забылъ Лёшу и Пошу; онъ вернулся и внесъ дѣтей на пароходъ.

Средство, предложенное Петромъ Петровичемъ, безъ всякаго сомнѣнія, проникнуто было насквозь умомъ и практичностію; вотъ въ чемъ оно заключалось: у Медіоланскаго была на Петербургской сторонѣ дача, — старое, почти полуобвалившееся зданіе; десять лѣтъ Медіоланскій публиковалъ о продажѣ и до сихъ поръ не могъ найти покупщика; а между тѣмъ, продажа этой дачи составляла (Мирзоевъ зналъ это изъ самыхъ вѣрныхъ источниковъ),—

составляла капризъ, — конекъ старика. Человѣкъ, купившій дачу, весьма натурально, особенно, если такой человѣкъ нуждался въ Медіоланскомъ, весьма натурально, могъ вѣрно разсчитывать на расположеніе учредителя „Общества распространенія и улучшенія рогатаго скота“; — одинъ глупецъ могъ сомнѣваться въ этомъ! Дачу эту необходимо, слѣдовательно, купить. Дѣло Мирзоева будетъ состоять въ томъ, чтобы довести до свѣдѣнія Медіоланскаго имя покупщика; онъ назоветъ кузена или даже, пожалуй, себя назоветъ; послѣднее даже лучше будетъ, ибо, кромѣ того, что мѣсто смотрителя дома пріобрѣтется навѣрно, — кузенъ Мирзоевъ получитъ черезъ эту покупку значительный кредитъ въ образѣ мыслей учредителя, и слѣдственно,— это уже ясно, какъ день,— употребитъ всю силу этого кредита на опредѣленіе своего дорогого родственника. Что жъ касается до денегъ, необходимыхъ на покупку дачи, объ этомъ говорить не стоитъ; сумма весьма незначительна: всего тысяча шестьсотъ цѣлковыхъ; покупка этой дачи отстраняетъ всѣ препятствія, прочищаетъ дорогу къ мѣсту смотрителя и, слѣдовательно, купить ее было бы необходимо,—тѣмъ болѣе необходимо, что у Николая Степаныча, къ счастію, находилась въ рукахъ та именно сумма, которая требовалась на покупку.

— Я пропалъ! пропалъ! Петръ Петровичъ, у меня уже нѣтъ такой суммы!.. проговорилъ Николай Степанычъ голосомъ, въ которомъ отражались вопль и стенанія разбитаго сердца.

Бесѣда шла у самаго котла парохода; Софья Петровна и дѣти сидѣли подъ крышкой и, слѣдовательно, ничего не могли слышать.

— Неужели вы думали, я заставлю заплатить васъ всю сумму? подхватилъ Петръ Петровичъ, взявъ кузена за руку и потряхивая неодобрительно шляпой, — нѣтъ, это было бы несправедливо! въ этомъ дѣлѣ, вы понимаете, почтеннѣйшій Николай Степанычъ, въ этомъ дѣлѣ я имѣю такіе же интересы, какъ и вы, все равно; и потому я долженъ, я считаю своею обязанностью заплатить половину; вы дадите восемьсотъ цѣлковыхъ, и я восемьсотъ... Подумайте только: за такую сумму мы пріобрѣтаемъ мѣста, которыя... словомъ, которыя могутъ насъ совершенно обезпечить... Это не дорого, почтеннѣйшій... повѣрьте, почтеннѣйшій, моей опытности и знанію дѣла... Повѣрьте:

въ жизни ничего не дѣлается безъ жертвъ, это невозможно!.. Даромъ, здорово живешь, — никто никому ничего не дѣлаетъ: скажу болѣе: что значатъ наши пожертвованія, сравнительно съ тѣмъ, что они намъ принесутъ? — ровно ничего!.. Успокойтесь, прошу васъ, успокойтесь и будьте бодрѣе!..

Николай Степанычъ дышалъ уже ровнѣе; мысли его замѣтно приходили въ порядокъ; шаръ, катавшійся въ головѣ его, улегся и принялъ обыкновенную форму шара. Послѣднія слова Петра Петровича возвратили даже бодрость ослабнувшей душѣ его; онъ энергически пожалъ руку собесѣднику, который отвѣтилъ ему тѣмъ же. Въ эту минуту кочегаръ отворилъ заслонку пароходной печи; фигуры двоюродныхъ братьевъ, пожимающихъ другъ другу руки, озарились яркимъ блескомъ; но кочегаръ захлопнулъ заслонку, все, рѣшительно все, даже самый пароходъ, погрузилось въ глубокій мракъ бурной, ненастной ночи.

X,

наполненная эпизодами самаго драматическаго свойства.

— Сестрица! клянусь вамъ!.. Вы несправедливо меня обвиняете!.. Николай, ты также несправедливъ ко мнѣ!.. Бога ради, выслушайте!.. Повторяю, сестрица, я ясно сказалъ вамъ, чтобы вы не трогались съ мѣста... Каретъ нигдѣ не было; дождь всѣхъ разогналъ; я принужденъ былъ бѣжать за экипажемъ на Каменный островъ... это двѣ версты... я вязнулъ въ грязи по колѣна... падалъ безпрестанно; но я все бѣжалъ, все бѣжалъ... Отыскиваю, наконецъ, карету, пріѣзжаю за вами, — васъ уже нѣтъ! Виноватъ ли я?.. Войдите также въ мое положеніе... вы видите меня въ совершенномъ отчаяніи!..

Повѣствуя такимъ образомъ, Аркадій Иванычъ Пигуновъ представлялъ образецъ искренности; черты его въ самомъ дѣлѣ изображали сильнѣйшее отчаяніе; можно было думать, онъ явился къ брату, питая въ душѣ самыя положительныя, самыя свѣтлыя надежды, и вдругъ все это разомъ разрушилось и исчезло.

— Во всякомъ случаѣ, Аркадій Иванычъ, вы должны были предупредить меня; вы знали, что я осталась на дождѣ, одна, съ дѣтьми... сказала Софья Петровна съ замѣтною раздражительностію.

Пигуновъ замоталъ головою и безсильно свѣсилъ ее на грудь.

— Нѣтъ, воля твоя, Аркадій, ты поступилъ не хорошо... я не ожидалъ отъ тебя этого! произнесъ въ свою очередь Николай Степанычъ.

Но прежде чѣмъ продолжать это объясненіе, необходимо сказать, гдѣ именно оно происходило. О первомъ номерѣ гостиницы „Парижъ“ нѣтъ теперь и помину. Вотъ уже недѣля, какъ Николай Степанычъ переселился на Петербургскую сторону и живетъ на дачѣ, купленной имъ, пополамъ съ Петромъ Петровичемъ, у Медіоланскаго. Принимая въ соображеніе скорость, съ какою все это сдѣлалось, надо думать, Медіоланскому сильно хотѣлось продать дачу, а покупщикамъ, въ свою очередь, сильно хотѣлось пріобрѣсти ее. Въ меблировкѣ дачи не встрѣтилось большихъ затрудненій; Николай Степанычъ въ самомъ непродолжительномъ времени долженъ былъ получить очень выгодное мѣсто; Петръ Петровичъ ручался за это; побѣжденный съ другой стороны доводами Кокò Свищова, который также ручался за дадю, одинъ изъ гостинодворскихъ мебельщиковъ охотно взялся снабдить будущаго кандидата „на выгодное мѣсто“ достаточнымъ количествомъ диванова, столовъ и стульевъ. Словомъ, Фуфлыгины устроились очень хорошо: живутъ на собственной дачѣ и ни въ чемъ не нуждаются. Они нанимаютъ шведку, которая, за шесть цѣлковыхъ въ мѣсяцъ, стряпаетъ кушанье, шнуруетъ барыню, ходитъ за дѣтьми и чиститъ сапоги Николая Степаныча.

Въ продолженіе этой недѣли, Николай Степанычъ три раза былъ у кузена Мирзоева съ цѣлью разузнать, какъ подвигается дѣло; онъ ни разу не засталъ кузена; но это ничего не значило; Николай Степанычъ былъ спокоенъ и даже веселъ. Онъ зналъ, что дѣло идетъ хорошо; въ противномъ случаѣ, кузенъ Мирзоевъ тотчасъ же бы къ нему явился, или извѣстилъ его письмомъ. Къ хорошему расположенію духа Николая Степаныча сильно также способствовала Софья Петровна. Она почти не отходила теперь отъ мужа, не противорѣчила ни одному его слову, смотрѣла ему въ глаза, называла его милыми именами и, вообще, выказывала кротость и нѣжность, какъ въ первый мѣсяцъ супружества. Умъ рѣшительно терялся въ догадкахъ касательно такого внезапнаго переворота; самъ Николай Степанычъ ничего не понималъ. Не желая, вѣ-

роятно, нарушать счастія, которымъ такъ сюрпризно дарила его супруга, онъ пересталъ даже настаивать, чтобы она помирилась съ кузиной; онъ, впрочемъ, мало объ этомъ заботился. Петръ Петровичъ, движимый въ этомъ случаѣ, какъ и всегда, впрочемъ, чувствомъ героическаго благородства и справедливости, ясно высказалъ, что жены сами по себѣ, а мужья сами по себѣ; что ссора первыхъ никакимъ образомъ не можетъ имѣть дѣйствія на отношенія послѣднихъ. Ссора кузинъ имѣла для Николая Степаныча одинъ только результатъ, и то весьма забавный: онъ узналъ отъ жены, что кузина Александрина носила фальшивую косу, на ночь натиралась какимъ-то спермацетомъ и страшно румянилась свеклой. Николай Степанычъ очень много смѣялся.

Вообще говоря, онъ былъ веселъ; добродушное лицо его выражало задумчивость въ тѣхъ только случаяхъ, когда мысли его устремлялись къ брату. Съ той минуты, какъ Аркадій Иванычъ оставилъ на дождѣ свою belle sœur, — Фуфлыгины въ глаза не видали Пигунова. Поведеніе Аркадія Иваныча, весьма натурально, должно было огорчать и вмѣстѣ съ тѣмъ раздражать Николая Степаныча. Кромѣ того, давно уже прошла та суббота, въ которую Пигунову слѣдовало получить деньги. Николай Степанычъ думалъ уже подавить въ себѣ мелкое чувство раздраженнаго самолюбія, мѣшавшее ему ѣхать къ брату, прежде чѣмъ тотъ не явится съ раскаяніемъ и оправданіемъ; онъ собирался уже ѣхать въ Измайловскій полкъ, когда, совершенно неожиданно, часовъ въ десять утра, явился Аркадій Иванычъ.

Мы видѣли, съ какою горячностію и очевидностію Пигуновъ оправдывался передъ Софьей Петровной; но мы ничего еще не сказали о скорбномъ извѣстіи, которое тутъ же сообщилъ Аркадій Иванычъ: онъ былъ жестоко обманутъ должникомъ своимъ; Пигуновъ изумлялся, мало того, ужасался при мысли, какъ, несмотря на частые уроки, онъ до сихъ поръ еще такъ легко ввѣрялся людямъ! Эта довѣрчивость была, можно сказать, главною причиной всѣхъ его бѣдствій. Онъ зналъ, онъ готовъ былъ принять присягу, что деньги возвращены будутъ черезъ двѣ недѣли; но каково было ему прожить эти двѣ недѣли!.. Онъ рѣшительно терялъ голову: жена больна, дѣти голодны, кухарка требуетъ жалованье, аптекарь не вѣритъ въ долгъ ни на полушку, мясникъ также... Аркадій

Иванычъ умолялъ брата и сестру вникнуть въ его положеніе; онъ ничего не просилъ у нихъ, нѣтъ, — онъ просилъ только вникнуть...

— Это ужасно!.. я все это понимаю... Это дѣйствительно ужасно! возразилъ Николай Степанычъ, сильно потирая ладонью лысину, тогда какъ Софья Петровна, задумчиво и съ видимою неловкостію, смотрѣла въ землю,— я вникаю въ твое положеніе, Аркадій... Но... но при всемъ желаніи... рѣшительно... рѣшительно ничего не могу сдѣлать... Покупка этой дачи лишила меня всѣхъ средствъ... я самъ безъ гроша... Я, признаться, разсчитывалъ на тѣ деньги, которыя тебѣ далъ... Это меня самого сильно разстроиваетъ...

Пигуновъ тревожно прислушивался къ каждому слову брата, и лицо его постепенно вытягивалось; черты его изобразили подъ конецъ столько отчаянія, что даже Софья Петровна, не питавшая, какъ извѣстно, большого расположенія къ beau frère, почувствовала состраданіе. Равнодушіе Николая Степаныча, который отказывалъ брату подъ предлогомъ, будто не было денегъ, столько же удивляло, сколько и не нравилось Софьѣ Петровнѣ; взглядъ, брошенный ею на мужа, поощрялъ его сказать правду, не скрывать своихъ средствъ и поспѣшить на выручку Пигунова. Но взглядъ этотъ не произвелъ ни малѣйшаго дѣйствія на Николая Степаныча: онъ какъ будто не понялъ его; онъ развелъ руками и повторилъ твердымъ, рѣшительнымъ голосомъ:

— У меня копейки не осталось, Аркадій... не могу ничего для тебя сдѣлать... рѣшительно не могу!..

— Я ничего не прошу у тебя... Братъ, ты не такъ меня понялъ!.. перебилъ Пигуновъ разбитымъ, гробовымъ голосомъ, представлявшимъ сильный контрастъ съ его физіономіей, обильно увлаженной слезами, — я ничего не прошу... я не смѣю даже просить!.. Человѣкъ, который столько разъ обманывалъ довѣріе... Нѣтъ, я не заслуживаю довѣрія ни одного честнаго человѣка, я это знаю! все кончено... я знаю!.. Я вовсе даже не за тѣмъ къ вамъ пріѣхалъ... Братъ, Николай!.. умоляю тебя... и васъ также, сестрица! подхватилъ Пигуновъ, дико воодушевляясь, — умоляю васъ именемъ всего святого,—умоляю объ одномъ только: поѣзжайте ко мнѣ на минуту! Мое дѣло кончено; не сегодня—завтра меня посадятъ въ тюрьму!.. Но умоляю васъ, заклинаю,—взглянуть на эту бѣдную женщину,

которая умираетъ отъ недостатка лѣкарства... взгляните на трехъ дѣтей, которыя не ѣли трое сутокъ... Друзья мои, вы оба молоды, у васъ есть дѣти... такая картина будетъ вамъ полезна... вы увидите примѣръ... страшный примѣръ! Обо мнѣ не заботьтесь, бросьте меня съ презрѣніемъ! — но пожалѣйте невинныхъ дѣтей... пожалѣйте жену!.. Пожалѣйте и помогите имъ!..

— Это ужасно! ужасно! ужасно!.. повторилъ нѣсколько разъ сряду Николай Степанычъ, корчась на стулѣ, между тѣмъ какъ Софья Петровна не отрывала глазъ отъ мужа и выказывала все сильнѣе и сильнѣе волненіе, которое рѣшительно было необъяснимо.—Ужасно! подхватилъ Николай Степанычъ,—ужаснѣе всего, что я не могу помочь тебѣ, Аркадій!.. Я самъ нахожусь въ крайности! У меня почти ничего не осталось, — клянусь честію! (Пигуновъ схватилъ себя за волосы; Софья Петровна судорожно поднялась съ мѣста). Если сосчитать мои деньги,—врядъ ли найдется цѣлковыхъ семьдесятъ... Но самъ посуди: у меня жена, дѣти... ежедневные расходы. Я долженъ прожить съ этими деньгами недѣли двѣ... быть-можетъ, даже три... клянусь тебѣ—я самъ нахожусь въ крайности!..

Съ послѣдними словами, произнесенными топомъ, насквозь проникнутымъ искренностію, лицо Софьи Петровны замѣтно поблѣднѣло; желая, вѣроятно, скрыть состояніе чувствъ своихъ, она поспѣшно вышла изъ комнаты. Но Николая Степаныча такъ сильно увлекало несчастное положеніе брата, что онъ ничего не замѣтилъ; онъ не обратилъ даже вниманія на исчезновеніе жены; онъ придвинулся къ Пигунову и взялъ его за руку.

— Послушай, Аркадій, сказалъ онъ голосомъ сердечнаго участія,—ты самъ отчасти виноватъ во всемъ этомъ...

— Всѣ меня обвиняютъ!.. Все, все противъ меня!.. перебилъ Пигуновъ, обнаруживая отчаяніе, дошедшее до крайнихъ своихъ предѣловъ.

— Я тебя вовсе не обвиняю, другъ мой, нѣжно подхватилъ Николай Степанычъ, пожимая ему руку,—я говорю только: ты поступалъ опрометчиво... Согласись самъ: ну, какъ, зная свои обстоятельства, какъ не подумалъ ты занять какое-нибудь мѣсто?.. Не говорю — важное мѣсто, пѣтъ, но такое, которое хоть сколько-нибудь тебя бы обезпечивало?.. Ты именно живешь въ городѣ, гдѣ это такъ легко сдѣлать!.. Помнишь, я даже говорилъ тебѣ объ этомъ... Послушай, другъ мой, на-дняхъ я по-

лучаю мѣсто, очень хорошее и выгодное мѣсто... ты знаешь, я нарочно за этимъ собственно пріѣхалъ въ Петербургъ... я тебя тотчасъ же опредѣлю въ наше Общество...

— Нѣтъ, что ужъ тутъ! мрачно воскликнулъ Пигуновъ, принимаясь расхаживать по комнатѣ,—какое мѣсто!.. Мнѣ ничего не надо!.. Если ты не можешь спасти меня въ настоящую минуту,—мое дѣло кончено!.. Я знаю, что мнѣ дѣлать!.. Не думаешь ли ты, что я не искалъ мѣста, не хлопоталъ объ этомъ? энергически подхватилъ Пигуновъ, скрещивая на груди руки,—но судьба и люди—все противъ меня возстало!.. Человѣку съ возвышенною душою и благородными чувствами... но что говорить объ этомъ!.. Однимъ словомъ—я не Мирзоевъ!.. Только такимъ людямъ улыбается коварная фортуна!.. только такіе люди умѣютъ обдѣлывать дѣла свои... Этотъ негодяй Мирзоевъ, мало того, что пользовался отличнымъ мѣстомъ, недавно, я знаю это навѣрное,—недавно получилъ еще второе мѣсто...

При этомъ извѣстіи, Николай Степанычъ пошатнулся, и вся кровь бросилась ему въ голову.

— Какъ?.. Когда?.. Ахъ, Боже мой!.. Не можетъ быть!.. Кто сказалъ тебѣ?.. проговорилъ онъ, тараща глаза, махая руками и какъ бы силясь вынырнуть изъ необъятной глубины счастія, куда повергли его слова брата,—кто сказалъ тебѣ?..

— Мнѣ сказалъ объ этомъ Сюсюковъ; я встрѣтилъ его вчера вечеромъ.

Въ отвѣтъ на это, Николай Степанычъ раскинулъ руки, ринулся со всѣхъ ногъ на брата и осыпалъ его щеки и бакены дюжиною самыхъ пламенныхъ поцѣлуевъ.

— Братъ, мы спасены! всѣ спасены!.. воскликнулъ онъ, задыхаясь отъ радостнаго волненія, — всѣ спасены... я... ты... твоя жена... моя... ахъ, Боже мой... Сонечка! Sophie! заголосилъ онъ, выпуская изъ объятій удивленнаго Пигунова и устремляясь въ дальнія комнаты,—Sophie... другъ мой... гдѣ ты?.. Радость! радость!..

Николай Степанычъ влетѣлъ какъ бомба въ спальню; но тутъ онъ остановился, озадаченный неожиданнымъ зрѣлищемъ: на постели лежала Софья Петровна; закрывъ лицо руками, она плакала.

— Сонечка, что съ тобою?.. Что это значитъ... слышишь: Мирзоевъ получилъ мѣсто!.. Мы спасены!.. О чемъ ты плачешь?..

Софья Петровна зарыдала еще громче.

— Сонечка, развѣ ты не слышишь? Петръ Петровичъ получилъ свое мѣсто! Мы пристроены!.. Я сейчасъ къ нему ѣду!.. Но что съ тобою?.. ради Бога!.. Я ничего не понимаю... довершилъ супругъ, въ которомъ радость и чувство недоумѣнія вступили въ борьбу.

Не получая отвѣта, онъ нѣжно нагнулся къ женѣ; Софья Петровна, казалось, только этого и ожидала; она быстро обвила руками шею мужа и залилась пуще прежняго.

— Nicolas... проговорила она, рыдая,—Nicolas, я ужасно передъ тобою виновата!..

— Виновата?.. Какъ? въ чемъ?.. Полно, мой другъ; это ничего, ничего... произнесъ Николай Степанычъ, отвѣчая поцѣлуями на ласки жены.

— Но, другъ мой... я... я скрывала отъ тебя... сказала Софья Петровна, ободренная ласками мужа, веселымъ выраженіемъ его лица и частью также извѣстіемъ о полученіи мѣста,—я нѣсколько разъ собиралась сказать тебѣ и не рѣшалась...

— Но что же такое?.. что?.. улыбаясь, спросилъ супругъ.

— Другъ мой, я должна триста цѣлковыхъ, сегодня срокъ... madame Poupon обѣщала непремѣнно пріѣхать...

Тутъ Софья Петровна остановилась; нетерпѣливое движеніе мужа, который отскочилъ два шага назадъ, его взгляды,—все это отняло у нея силы; голова ея опрокинулась назадъ, станъ судорожно изогнулся, изъ груди вырвался болѣзненный, замирающій стонъ.

Ударъ, полученный Николаемъ Степанычемъ, былъ столько же силенъ, сколько и неожиданъ; при всемъ томъ, онъ все-таки не могъ окончательно истребить радость, наполнявшую за минуту передъ тѣмъ грудь супруга; остатка этой радости было достаточно, чтобы умягчить и даже подавить негодованіе Николая Степаныча; къ этому отчасти способствовало желаніе предупредить истерику, которая могла продлиться очень долго и слѣдовательно могла задержать супруга, мысленно стремившагося къ Петру Петровичу.

— Что сдѣлано, того не воротишь... Слезами и вздохами мы, другъ мой, ничего не сдѣлаемъ! сказалъ онъ, снова приближаясь къ женѣ. — Черезъ недѣлю, много черезъ двѣ, я получаю мѣсто... Мы представимъ это мадамъ Пупонъ... надѣюсь, она подождетъ... Въ против-

номъ случаѣ, мы назначимъ ей проценты... Повторяю тебѣ, Сонечка, слезами мы ничего не сдѣлаемъ; успокойся, прошу тебя, успокойся!..

Прекративъ такими рѣчами истерику при самомъ ея зародышѣ, Николай Степанычъ торопливо одѣлся; тутъ только вспомнилъ онъ о Пигуновѣ. Онъ нашелъ брата все въ той же комнатѣ; но Аркадій Иванычъ уже не расхаживалъ взадъ и впередъ; казалось, даже самое волненіе его какъ словно угомонилось; онъ стоялъ передъ зеркаломъ и мрачно вперилъ взоръ на маленькій столикъ, придвинутый къ зеркалу; предметомъ его вниманія былъ, повидимому, не столько столикъ, сколько находившіеся на немъ бронзовые подсвѣчники и столовые часы, украшенные бронзовымъ козломъ, — предметы, которые поднесъ Кокò Свищовъ дядѣ и теткѣ въ день новоселья. При видѣ вошедшаго Николая Степаныча, Пигуновъ обратилъ къ нему взглядъ полный грусти и укоризны, и снова перенесъ глаза къ часамъ и подсвѣчникамъ. Николай Степанычъ объяснилъ себѣ по-своему взглядъ брата и поспѣшилъ его обнадежить; въ короткихъ словахъ онъ разсказалъ ему причину своей радости и вмѣстѣ съ тѣмъ необходимость поспѣшнаго отъѣзда.

— Черезъ двѣ недѣли я получаю мѣсто! слышишь ли, Аркадій?—получаю мѣсто! и первымъ моимъ дѣломъ,—клянусь тебѣ,—будетъ опредѣлить тебя!.. заключилъ Николай Степанычъ.

Но извѣстіе это встрѣтило невозмутимое равнодушіе со стороны Пигунова; вниманіе его принадлежало, казалось, больше, чѣмъ когда-нибудь, часамъ и двумъ подсвѣчникамъ. Николай Степанычъ снова ничего не понялъ. Онъ торопливо пожалъ руку брату и выбѣжалъ на крыльцо. Подозвавъ извозчика, онъ сѣлъ, не торгуясь, и полетѣлъ въ Большую Подьяческую. Черезъ полчаса, дверь, обитая зеленымъ сукномъ, украшенная блестящими гвоздями и дощечкою съ надписью: „П. П. Мирзоевъ“, отворилась передъ Николаемъ Степанычемъ.

— Баринъ дома?

— Дома, пожалуйте... сказалъ лакей.

Радость, наводнявшая душу помѣщика, приняла характеръ самаго необузданнаго восторга; не отдавая себѣ отчета въ своихъ дѣйствіяхъ, какъ это обыкновенно бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, онъ высыпалъ въ руку

лакея сдачу, полученную отъ извозчика, и, прежде чѣмъ тотъ успѣлъ опомниться, устремился въ залу.

— Петръ Петровичъ, поздравляю! поздравляю! воскликнулъ онъ, едва увидѣлъ кузена,—я въ такомъ восторгѣ!.. Дорогой другъ, позвольте обнять и расцѣловать!.. заключилъ онъ, приводя въ дѣйствіе слова свои, на что потребовался съ его стороны довольно сильный прыжокъ, ибо, во-первыхъ, Мирзоевъ не былъ малъ ростомъ, во-вторыхъ, спина его на волосъ не погнулась.

— Благодарю... очень вамъ благодаренъ!.. произнесъ Мирзоевъ, выказывая спокойствіе, свойственное сильнымъ характерамъ и высокимъ душамъ.

Спокойствіе его было бы еще невозмутимѣе, если бъ не примѣшивалось къ нему чувство неудовольствія, очевидно, возбуждаемое глупымъ восторгомъ провинціальнаго кузена. Но добродушный Фуфлыгинъ, по обыкновенію своему, ничего не замѣтилъ; онъ продолжалъ обнимать, цѣловать и жать руки Петру Петровичу; онъ остановился тогда только, когда Мирзоевъ схватился за парикъ, чуть было не съѣхавшій на затылокъ.

— Виноватъ, дорогой Петръ Петровичъ... виноватъ... Но я въ такомъ восхищеніи... вы, конечно, поймете... Сердце мое переполнено радостью... все это случилось такъ неожиданно... простите меня!..

Петръ Петровичъ молча поправилъ парикъ и очки; одной этой секунды было довольно ему, чтобы снова представить образецъ монументальнаго величія и достоинства.

— Кто же сообщилъ вамъ обо всемъ этомъ?.. спросилъ онъ.

— Кто сообщилъ? братъ Аркадій!.. Представьте, приходитъ сегодня утромъ и разсказываетъ!.. Я былъ пораженъ неожиданно; можете судить о моей радости!.. Кстати, Петръ Петровичъ, надо намъ непремѣнно что-нибудь сдѣлать для брата. Онъ, право, очень добрый; притомъ его обстоятельства ужасны; онъ меня тронулъ сегодня до глубины души! необходимо помочь ему; мы опредѣлимъ его въ наше Общество...

Холодная улыбка промелькнула на губахъ Мирзоева.

— Надо подумать прежде о вашемъ опредѣленіи, мой почтеннѣйшій... сказалъ онъ.

— Безъ всякаго сомнѣнія, съ живостію возразилъ Николай Степанычъ, — но я говорю о братѣ потому, что

самъ я, Петръ Петровичъ, уже опредѣленъ нѣкоторымъ образомъ.

— Ну... ну, Богъ знаетъ!.. произнесъ кузенъ Мирзоевъ.

Хотя въ этихъ словахъ и даже въ интонаціи, съ какою были они произнесены, не заключалось ничего особеннаго, они произвели на Николая Степаныча дѣйствіе ушата холодной воды, нежданно вылитаго на голову.

— Какъ?.. Что вы хотите этимъ сказать?.. спросилъ онъ, выкатывая удивленные глаза.

— Я хочу сказать, дѣла такого рода не дѣлаются такъ скоро...

— Но однакожъ... я думаю... недѣли черезъ двѣ или три... проговорилъ, ободряясь, Фуфлыгинъ.

— Что вы, помилуйте! это невозможно! возразилъ Мирзоевъ.

Переходъ отъ радости къ тому, что испытывалъ въ настоящую секунду Николай Степанычъ, былъ похожъ на то, если бъ онъ вынырнулъ изъ кипятка и непосредственно нырнулъ въ студеную воду. Отрезвившись, можно сказать, окончательно отъ бѣшенаго восторга, онъ въ первый разъ замѣтилъ, что въ тонѣ и манерѣ Петра Петровича было что-то особенное; открытіе это мигомъ наполнило смущеніемъ его душу; Петръ Петровичъ попросилъ его сѣсть.

— Вотъ въ чемъ дѣло, мой почтеннѣйшій: я наводилъ уже справки въ нашемъ Обществѣ, касательно имѣющихся въ немъ вакантныхъ мѣстъ... началъ Мирзоевъ, въ голосѣ котораго и даже способѣ выражаться проглядывала какая-то офиціальность, — такихъ мѣстъ, въ настоящую минуту, къ сожалѣнію, у насъ не имѣется...

— Но, Боже мой, какъ же это?.. Вѣдь вы писали мнѣ, что мѣсто имѣется уже въ виду?.. произнесъ Николай Степанычъ, откидываясь назадъ.

— Ну, да, имѣлось въ виду мѣсто... мѣсто смотрителя дома... Какъ вамъ извѣстно, я поспѣшилъ занять его, чтобы въ свою очередь быть вамъ полезнымъ... Повѣрьте, почтеннѣйшій, я сдѣлаю все, что отъ меня зависитъ... Но только, вы понимаете, это не можетъ исполниться такъ скоро, какъ вы думаете...

— Но вы говорили—черезъ двѣ недѣли.

— Я самъ такъ думалъ... Но, наведя справки, оказалось, что это невозможно... Я былъ бы очень радъ, но посудите сами: что жъ мнѣ дѣлать, когда нѣтъ вакант-

ныхъ мѣстъ?.. Я, право, не виноватъ; и, наконецъ, если бъ даже не встрѣтилось этого обстоятельства, скажу вамъ откровенно, опредѣлить васъ было бы все-таки трудно...

— Трудно?.. машинально повторилъ Николай Степанычъ, облитый съ головы до ногъ холоднымъ потомъ.

— Да, трудно... трудно по многимъ причинамъ, спокойно-разсудительнымъ тономъ продолжалъ кузенъ Мирзоевъ. — Вамъ извѣстно, я самъ недавно поступилъ на службу въ Общество; въ короткій промежутокъ времени получилъ два мѣста... мнѣ, слѣдовательно, было бы невозможно, такъ сказать... но это послѣдняя причина... подхватилъ онъ, видя, что щеки собесѣдника побагровѣли и глаза заморгали, — это послѣднее дѣло... повторяю: я радъ душою... Главное затрудненіе вотъ въ чемъ, мой почтеннѣйшій: Медіоланскій узналъ какъ-то, что Кокó Свищовъ, надѣлавшій ему столько непріятностей, доводится вамъ роднымъ племянникомъ,—вотъ главная причина... послѣ этого, вы понимаете, Медіоланскій даже слушать не захочетъ; я истинно объ этомъ сожалѣю... истинно...

— Пропалъ! пропалъ! пропалъ! воскликнулъ Николай Степанычъ, постепенно возвышая голосъ и схватывая себя за голову.

— Э, полноте! сказалъ Мирзоевъ, поправляя завитки на вискахъ парика, — не слѣдуетъ такъ падать духомъ... все это можетъ еще поправиться... со временемъ.

— Со временемъ! закричалъ Николай Степанычъ, вскакивая съ дивана,—со временемъ!.. Но развѣ вы не знаете моихъ обстоятельствъ? Развѣ вамъ неизвѣстно, что у меня ничего почти не осталось?.. Нѣтъ, Петръ Петровичъ, это невозможно! Какъ хотите, но вы должны опредѣлить меня! Я истратилъ три тысячи для этого!.. купилъ дачу, дѣлалъ подарки...

— Помилуйте, почтеннѣйшій, кто же могъ все это предвидѣть...

— Ваше дѣло, сударь, было предупредить меня! запальчиво прервалъ Николай Степанычъ, но въ ту же секунду спохватился и продолжалъ, умягчая голосъ:—Петръ Петровичъ, войдите въ мое положеніе! Я человѣкъ семейный... что жъ мнѣ дѣлать? Безъ мѣста мнѣ невозможно!.. и, наконецъ, вы меня обнадеживали... Я совершенно вамъ ввѣрился! Истратился совершенно! У меня всего теперь семьдесятъ цѣлковыхъ...

— Послушайте, почтеннѣйшій, прервалъ въ свою очередь Мирзоевъ, сопровождая слова свои взглядомъ, отъ котораго могло скиснуться самое свѣжее молоко,—конечно, весьма сожалѣю... Но, понимаете, съ другой стороны, не могу же я входить въ ваши дѣла... Вы должны были жить, соображаясь съ вашими средствами... Это ужъ ваше дѣло... впрочемъ, я не понимаю вашихъ жалобъ касательно недостатка средствъ... У васъ есть еще дача... Принимая въ соображеніе обстоятельства ваши, я вамъ охотно ее уступаю...

— Это очень великодушно съ вашей стороны... очень великодушно! произнесъ Фуфлыгинъ, передъ которымъ кузенъ предсталъ вдругъ въ настоящемъ свѣтѣ, — я долженъ вамъ сказать, я также наводилъ справки... Дача эта стоитъ не тысячу шестьсотъ цѣлковыхъ, а шестьсотъ ассигнаціями!.. Вашъ Медіоланскій надулъ меня и больше ничего!..

— Милостивый государь! сказалъ, выпрямляясь, кузенъ.

— Да, милостивый государь, онъ надулъ меня!.. Вашъ Медіоланскій плутъ и больше ничего.

— Милостивый государь, онъ мой начальникъ... и я не позволю...

— Плевать я хочу на все это! онъ мошенникъ! да, мошенникъ!.. вскричалъ Николай Степанычъ, у котораго бѣшенство отуманило вдругъ разсудокъ, — я теперь ясно вижу; вы все это знали... да, знали!..

— Какъ? вы осмѣливаетесь? проговорилъ Петръ Петровичъ, теряя сановитость и отступая къ двери кабинета.

— Да, я осмѣливаюсь! осмѣливаюсь сказать, что вы все знали!.. мало того: вы дѣйствовали заодно... это ясно... вы также меня надули!.. заголосилъ окончательно потерявшій голову Николай Степанычъ,—вамъ хотѣлось только получить мѣсто! вы только этого добивались... вы точно такъ же меня надули... вы всѣ мошенники!..

Неизвѣстно, чѣмъ бы кончилось это объясненіе; но въ ту минуту, какъ Николай Степанычъ, начинавшій уже сильно размахивать руками, сдѣлалъ шагъ къ кузену, Петръ Петровичъ скрылся въ дверяхъ кабинета и заперъ ихъ за собою. Николай Степанычъ ринулся за нимъ съ поднятыми кулаками, но замокъ щелкнулъ два раза.

— Мошенникъ! мошенникъ!.. крикнулъ Николай Степанычъ, пославъ два яростныхъ удара кулакомъ, сначала

въ дверь, потомъ, неизвѣстно по какимъ причинамъ, въ свою собственную голову.

Освѣживъ себя такимъ образомъ, онъ пришелъ въ сознаніе ровно настолько, чтобы схватить шляпу и выбѣжать изъ квартиры. Но рѣшительно не помнилъ онъ, какъ спустился съ лѣстницы, какъ выбрался на подъѣздъ и какъ вышелъ на Екатерининскій каналъ. Онъ очнулся только на Вознесенскомъ мосту и пошелъ прямо по Вознесенскому проспекту, не отдавая себѣ, впрочемъ, отчета, почему именно принялъ такое направленіе. Многіе изъ шедшихъ ему навстрѣчу останавливались и раскрывали удивленные глаза; но Николай Степанычъ ничего не замѣчалъ, ни на кого не обращалъ вниманія; самый Петербургъ потерялъ для него, казалось, свою чарующую прелесть; улицы, зданія и самое небо, — принимали въ глазахъ его тотъ тусклый, геморроидальный цвѣтъ, который, вмѣстѣ съ достоинствомъ, составлялъ отличіе ненавистной физіономіи кузена Мирзоева. Въ головѣ его происходила такая сумятица, а въ вискахъ такъ страшно шумѣло, что онъ не замѣтилъ даже, какъ передъ самымъ почти носомъ его остановилась коляска и изъ нея выпрыгнулъ Кокò...

— Дядюшка!.. Но что съ вами?.. Ахъ, Боже мой, у васъ шляпа надѣта задомъ напередъ...

— Прочь! прочь! произнесъ Николай Степанычъ, отталкивая племянника.

— Что это значитъ? спросилъ озадаченный Кокò.

— Я знать васъ всѣхъ не хочу!.. прочь! вы не родные,—злодѣи!..

— Я васъ не понимаю, дядюшка... Что случилось?.. Вѣрно какое-нибудь несчастіе?.. проговорилъ Кокò, торопливо перенося хлыстикъ въ лѣвую руку и пропуская правую подъ локоть дяди, который, въ эту минуту, дѣйствительно нуждался въ поддержкѣ.

— Кокò, я пропалъ! воскликнулъ Николай Степанычъ, въ которомъ негодованіе неожиданно смѣнилось страшнымъ отчаяніемъ.

Сердце его, переполненное горемъ, разрывалось на части; мудрено ли, что онъ почувствовалъ потребность облегчить его? Онъ высказалъ въ короткихъ словахъ всѣ продѣлки Мирзоева.

— Превосходно! радостно воскликнулъ Кокò, щелкая хлыстомъ по панталонамъ.

— Какъ?..

— Я въ восхищеніи!.. подхватилъ племянникъ. — Я давно добираюсь до этого негодяя!.. Погодите, дядюшка; о, вы увидите! ахъ, онъ мерзавецъ! заключилъ Кокò, яростно размахивая хлыстомъ.

И прежде чѣмъ Николай Степанычъ успѣлъ опомниться, онъ бросился въ коляску, закричалъ: „пошелъ!“ и скрылся изъ виду.

Предчувствіе новыхъ несчастій смутно промелькнуло въ разстроенной душѣ Николая Степаныча; мысли его окончательно спутались; чѣмъ больше силился онъ прояснить ихъ, тѣмъ дальше убѣгали онѣ въ какой-то лабиринтъ, потопленный непроницаемымъ мракомъ. Душевныя силы его, не поддержанныя разсудкомъ, ослабли; вмѣстѣ съ ними, казалось, ослабло и самое тѣло; мы заключаемъ это потому, что онъ неожиданно потребовалъ извозчика и велѣлъ везти себя какъ можно скорѣе на Петербургскую сторону.

Путешествіе произвело, какъ и всегда впрочемъ, свое благодѣтельное дѣйствіе. Тряскія дрожки и скверная мостовая сдѣлали то, чего, при всемъ своемъ стараніи, не могъ достигнуть Николай Степанычъ: мозгъ его, потрясенный до основанія, улегся самъ собою и въ мысляхъ стало яснѣе. Но возвратившееся сознаніе усилило только душевную пытку; онъ обсуживалъ теперь все свое несчастіе, и съ каждымъ поворотомъ колеса болѣе и болѣе падалъ духомъ. Нравственное разстройство его дошло уже до послѣдняго градуса, когда дрожки остановились передъ рѣшѣткой крошечнаго садика, украшавшаго ненавистную дачу.

Первый предметъ, поразившій Николая Степаныча, были Лёша и Поша, игравшіе на пескѣ дорожки. Видъ невинныхъ малютокъ, которыя дѣлали песочные пирожки и не подозрѣвали бури, ревѣвшей въ душѣ родителя и грозившей всѣхъ ихъ уничтожить,—надрѣзалъ, какъ ножомъ, сердце Николая Степаныча. Слезы хлынули изъ глазъ его, и онъ поспѣшилъ войти въ домъ. Софья Петровна, съ платкомъ въ рукѣ, сидѣла печально у окна.

— Сонечка, мы пропали!.. пропали!..

Вотъ все, что могъ произнести Фуфлыгинъ; послѣ того онъ зашатался и покатился на диванъ. Рыданія жены привели его въ память; онъ взялъ ее за руку и разсказалъ, какъ могъ, обо всемъ случившемся.

— Я, право, мѣшаюсь... съ ума схожу... сказалъ онъ, принимаясь расхаживать по комнатѣ,—что̀ намъ дѣлать? Ахъ, Боже мой, а эта модистка?..

— Она только что здѣсь была... возразила, горько всхлипывая, Софья Петровна... она ждать не хочетъ... Она объявила... да, она сказала это, что завтра же подастъ въ полицію... Nicolas, другъ мой, я во всемъ виновата! подхватила она, опускаясь на руки мужу.—Но ничего бы этого не случилось, если бъ не Мирзоева... m-me Poupon мнѣ все передала... Мирзоева сказала ей, что я богата, и нарочно заставляла меня покупать, чтобы смягчить модистку, которой она должна... О, эта ужасная женщина!.. я ее ненавижу!.. ненавижу!.. заключила она, выказывая энергію, которой вовсе нельзя было ожидать отъ женщины, убитой горемъ.

Увидя, что жена можетъ держаться на ногахъ безъ его помощи, Николай Степанычъ медленно опустился на диванъ и тоскливо подперъ голову ладонью.

— Гдѣ братъ?.. спросилъ онъ слабымъ голосомъ.

— Онъ давно уѣхалъ... Послѣ твоего отъѣзда, онъ разсказалъ мнѣ о своемъ положеніи... О, это ужасно!.. онъ такъ глубоко тронулъ; не зная, какъ помочь, я отдала ему два подсвѣчника и часы, которые намъ подарилъ Кокò... Онъ сказалъ, что это можетъ спасти его...

Николай Степанычъ слушалъ молча и притупленно смотрѣлъ въ полъ; съ послѣдними словами жены, онъ поднялъ голову и воззелъ глаза къ потолку.

— О, зачѣмъ, зачѣмъ мы сюда пріѣхали! воскликнулъ онъ, всплеснувъ руками, опустилъ голову и вдругъ залился слезами.

XI.

Самая лучшая, потому что—самая короткая.

Остатокъ дня и послѣдовавшая затѣмъ ночь не принесли малѣйшей пользы разстроенной душѣ и сокрушеннымъ чувствамъ Николая Степаныча. Какъ путникъ, заблудившійся въ мрачномъ глухомъ лѣсу, онъ тщетно старался привести въ порядокъ мысли, тщетно силился отыскать дорогу; въ какую бы сторону ни устремлялись мысли, онѣ приводили его къ тому только заключенію, что ему предстояло погибнуть въ ту самую минуту, какъ

исчезнетъ послѣдній цѣлковый. Оставалось одно средство: написать дядюшкѣ Изосиму Петровичу, принести ему во всемъ полное раскаяніе и принять его предложеніе управлять винокуреннымъ заводомъ. Но Софья Петровна слышать не хотѣла объ этомъ; всякій разъ, какъ заходила рѣчь о такомъ предметѣ, истерическій хохотъ потрясалъ слухъ Николая Степаныча. Доводы, приводимые Софьей Петровной, не были, впрочемъ, лишены основанія: она охотно соглашалась даже мести сараи винокуреннаго завода, но для этого винокуренный заводъ долженствовалъ находиться гдѣ-нибудь въ глухой, необитаемой степи; но возвратиться въ свой уѣздъ, принять званіе управительницы въ томъ кругу, гдѣ прежде играла она не послѣднюю роль, подвергнуться насмѣшкамъ, которыми осыплетъ ее каждый, передъ кѣмъ такъ неумѣренно хвастала она своею петербургскою роднею, связями, и съ такою увѣренностью говорила о мѣстѣ, ожидавшемъ мужа въ столицѣ,—ни за что въ свѣтѣ!.. Лучше смерть, чѣмъ позоръ! Неизвѣстно, насколько соглашался съ такими доводами Николай Степанычъ; знаемъ только, что онъ молчалъ, дико блуждалъ глазами, часто схватывалъ себя за виски, страшно напрягалъ свои мыслительныя способности, — и все-таки ничего не придумывалъ къ улучшенію отчаяннаго своего положенія. Голова его горѣла, какъ въ огнѣ, и онъ поминутно прикладывалъ ладонь къ лысинкѣ.

Замѣтивъ, что движеніе это стало повторяться чаще и чаще, Софья Петровна посовѣтовала мужу выйти на воздухъ и освѣжиться. Николай Степанычъ надѣлъ пальто, галстукъ, взялъ шляпу и вошелъ въ садикъ.

Каждый пойметъ, я думаю, какъ непріятно должна была поразить его вертлявая фигурка Сюсюкова, торчавшая подъ самыми окнами; дерзость человѣка, осмѣлившагося два раза пожать руку женѣ, въ чемъ откровенно созналась Софья Петровна, описывая ссору свою съ кузиной,— мигомъ предстала разгоряченному воображенію Николая Степаныча.

— Милостивый государь... произнесъ онъ, принимая гордую осанку и отступая шагъ назадъ; онъ еще значительнѣе выпрямился и еще отступилъ шагъ.

— Ахъ, мосье Фуфлыгинъ, вы меня извините, я такъ рано!.. заговорилъ вертлявый юноша, поспѣшно идя къ нему навстрѣчу, — дерзость возмутила до такой степени Николая Степаныча, что онъ отступилъ еще шагъ, — но

случилось ужасное несчастіе... я хотѣлъ предупредить васъ... вы ничего не знаете?

— Нѣтъ... но повторяю вамъ, милостивый государь, я удивляюсь...

— Я самъ былъ ужасно пораженъ, подхватилъ скороговоркою Сюсюковъ,—вчера утромъ произошла страшная исторія у Мирзоевыхъ: Кокò Свищовъ сдѣлалъ ужасный скандалъ... Не знаю, что было,—но я зашелъ сегодня утромъ къ Свищову,—представьте: онъ схваченъ нынѣшнею ночью и сидитъ теперь на гауптвахтѣ...

— Чортъ съ нимъ!.. я очень радъ!.. чортъ съ нимъ! энергически произнесъ Николай Степанычъ.

— Да-съ, онъ ужаснѣйшій повѣса; но это еще не все... не все, мосье Фуфлыгинъ, продолжалъ скороговоркою юноша,—я пріѣхалъ собственно предупредить васъ... Вы должны, какъ можно скорѣе, видѣться съ племянникомъ; въ бѣшенствѣ своемъ противъ Петра Петровича, онъ ѣздилъ вчера, послѣ скандала, по всему городу и разсказывалъ вашу исторію... это можетъ повредить вамъ... Онъ всѣмъ разсказываетъ, что вы не получили мѣста: всѣмъ рѣшительно и даже... Вчера вечеромъ, я знаю, приходилъ къ Петру Петровичу мебельщикъ, у котораго вы брали мебель... Свищовъ даже ему разсказалъ...

— Какъ? мебельщику?.. Ахъ, Боже мой!.. ахъ! вскричалъ Николай Степанычъ, схватывая себя за голову и какъ бы опасаясь, чтобы, при этомъ извѣстіи, она не скатилась съ плечъ,—сейчасъ! сію минуту ѣду... ѣду... Какая гауптвахта?.. гдѣ она... гдѣ?..

— У Соляного городка, что противъ Лѣтняго сада, торопливо возвѣстилъ юноша.

— Сейчасъ... Ахъ, Боже мой... Вы меня извините, жена больна... принять никакъ не можетъ... Извините... подхватилъ Николай Степанычъ, схватывая за руку Сюсюкова и увлекая его изъ палисадника;—извините меня... очень вамъ благодаренъ... я самъ ужасно разстроенъ... Извозчикъ! извозчикъ!.. Ахъ, Боже мой... Не угодно ли я подвезу васъ?..

И, не дождавшись отвѣта, Николай Степанычъ вскочилъ на дрожки и поскакалъ къ Лѣтнему саду.

Сильное сотрясеніе, доставленное мостовою и дрожками, снова произвело благодѣтельное дѣйствіе на Николая Степаныча.

Въ началѣ своей поѣздки онъ бѣшено замышлялъ бро-

сить племянника на полъ, надавать ему пощечинъ и даже раздавить его, какъ вредную, ядовитую гадину; къ концу поѣздки, онъ чувствовалъ только невыносимую тоску подъ ложечкой и вмѣстѣ съ тѣмъ какую-то неловкость и смущеніе, которое окончательно овладѣло имъ, когда остановился онъ передъ гауптвахтой. Титулъ дяди открылъ ему тотчасъ же доступъ къ арестованному племяннику; его ввели въ огромныя сѣни, наполненныя солдатами, и указали на дверь; дверь выкрашена была темною масляною краской, и ясно, слѣдовательно, обозначалась на ней мѣдная сверкающая ручка; но потому ли, что переходъ изъ солнечнаго свѣта въ темныя сѣни былъ слишкомъ рѣзокъ и отуманивалъ глаза Николаю Степанычу, или волненіе его слишкомъ было сильно, онъ протянулъ нѣсколько разъ руку прежде, чѣмъ попалъ на мѣдную рукоятку двери. Онъ очутился въ маленькой комнатѣ съ окномъ, заслоненнымъ рѣшеткой; сосновый столъ, стулъ и старый кожаный диванъ составляли всю мебель этой кельи. На диванѣ, высоко поднявъ ноги, лежалъ Кокò; онъ весело насвистывалъ польку и выбивалъ хлыстикомъ ускоренный тактъ по своимъ панталонамъ.

Шумъ, произведенный вошедшимъ Николаемъ Степанычемъ, заставилъ его обернуться. Увидѣвъ дядю, Кокò испустилъ восторженное ура, вскочилъ и повисъ на его шеѣ.

— Дядюшка, вы просто молодецъ и добрый, славный товарищъ! Спасибо вамъ! Вы первый меня навѣстили... Я всегда зналъ, что вы меня любите! Ну, ужъ зато и задалъ же я вчера этой канальѣ Мирзоеву!.. кричалъ Кокò, подпрыгивая на каблучкахъ и въ сотый разъ усиливаясь напечатлѣть поцѣлуй въ полныя щеки дяди, который такъ ошалѣлъ, что слова не могъ вымолвить,—да, задалъ же я ему! отмстилъ за васъ!.. Вы не печальтесь, что я здѣсь сижу, это ничего!.. вздоръ!.. Но скажите, каковъ негодяй?.. а?.. Не нашелъ ничего лучшаго, какъ кинуться въ полицію и жаловаться!.. Впрочемъ, и то сказать надо: я отдѣлалъ его порядочно; но главное, онъ испугался... Я сказалъ ему, что это такъ только, интродукція; что гдѣ бы то ни было, на улицѣ, въ театрѣ, въ клубѣ,—словомъ, при первой встрѣчѣ,—я переломаю ему рёбра!.. Вотъ, главное, отчего онъ испугался и бросился жаловаться!.. Вы видите, дядя, что вы во мнѣ не ошиблись,—да! вы меня любите,—и я васъ люблю!—да!

вы всегда найдете во мнѣ, — я говорю вамъ это отъ искренняго сердца, и докажу при случаѣ, — да! вы найдете всегда во мнѣ истиннаго друга,—всегда!.. заключилъ Кокò, разбѣгаясь, чтобы прыгнуть и снова обнять дядю.

Но Николай Степанычъ отступилъ два шага, скрестилъ на груди руки и мрачно насупилъ брови.

— Не обнимай меня, я не хочу этого! произнесъ онъ, стараясь принять грустный, но не сердитый голосъ, съ цѣлью вѣрнѣе подѣйствовать на племянника,—поведеніе твое не доказываетъ дружбы; ты дѣлаешь мнѣ однѣ только непріятности...

— Непріятности!.. я?.. Что вы, дядя! Если вамъ непріятно, что я отдѣлалъ Мирзоева, — послѣ этого вы просто...

— Зачѣмъ разсказываешь ты всѣмъ, что я не получилъ мѣста?.. возвысилъ голосъ Николай Степанычъ, — зачѣмъ ты это дѣлаешь?.. Я запрещаю тебѣ говорить объ этомъ...

— Ну, нѣтъ, дядюшка, молода еще, въ Саксоніи не была! какъ говорится. Мнѣ никто еще не запрещалъ! насмѣшливо прервалъ Кокò,—а въ этомъ случаѣ, позвольте вамъ сказать, я попросту васъ слушать не буду, да! Какъ вы себѣ тамъ ни хмурьте бровей, я все-таки всѣмъ буду кричать, что Мирзоевъ надулъ васъ! что онъ провелъ васъ за носъ и передернулъ у васъ мѣсто! всѣмъ рѣшительно буду разсказывать!..

— Но развѣ ты не знаешь, что этимъ ты меня губишь? произнесъ дядя, понижавшій голосъ по мѣрѣ того, какъ голосъ племянника возвышался. — Зачѣмъ разсказалъ ты все мебельщику?.. Ты знаешь, при тебѣ это было, онъ далъ мнѣ мебель потому только, что я въ скоромъ времени долженъ былъ получить мѣсто! Онъ непремѣнно ее назадъ потребуетъ!..

— А пускай его требуетъ! возразилъ Кокò, котораго ничто не затрудняло.

— Какъ?..

— А такъ, очень просто; надавайте ему тузовъ, и пускай беретъ свою мебель!.. Это даже будетъ очень хорошо; мебель, надо вамъ сказать, у васъ очень скверная.

— Какая бы она ни была, я не могу безъ нея обойтись...

— Вздоръ!

— Какъ вздоръ?

— А такъ же: вздоръ! со мною, по крайней мѣрѣ, двадцать разъ бывали подобныя исторіи; видите, не пропалъ

я отъ этого!.. И наконецъ, если уже на то пошло, неужели вы думаете, я допущу васъ и тетушку сидѣть на полу?.. подхватилъ Кокò, въ которомъ такая мысль возбудила припадокъ смѣха. — Плюньте, говорю вамъ, на все это! У меня тутъ есть въ карманѣ одна штука, которая не дастъ вамъ сѣсть на полъ, вотъ она! взгляните: вексель въ три тысячи цѣлковыхъ, послѣзавтра срокъ, и я получаю деньги!..

— Послѣзавтра?.. пробормоталъ Николай Степанычъ, сердце котораго сильно дрогнуло.

— Да, послѣзавтра; и если я сказалъ, что люблю васъ, такъ докажу на дѣлѣ; да! я надѣюсь, послѣзавтра меня выпустятъ отсюда; явитесь ко мнѣ пораньше утромъ, я дамъ вамъ взаймы тысячу цѣлковыхъ; сочтемся когда-нибудь...

Мысли, душа и сердце Николая Степаныча перевернулись вверхъ-дномъ; не давъ докончить племяннику, онъ раскрылъ объятія и бросился къ нему на шею; минутъ пять, по крайней мѣрѣ, онъ слова не могъ выговорить и только рыдалъ, къ великому изумленію Кокò, который надрывался со смѣху и рѣшительно не постигалъ о томъ, что происходило съ чудакомъ-дядей.

Движимый безпредѣльною признательностью, Николай Степанычъ поспѣшилъ объяснить племяннику всю огромность его услуги; дѣйствіемъ такого объясненія было то, что Кокò поклялся выручить дядю и, ужъ коли на то пошло, дать ему не тысячу, а двѣ,—всю сумму, если потребуется. Онъ просилъ только посидѣть еще часокъ, подождать завтрака и выпить бокалъ шампанскаго за здоровье всѣхъ добрыхъ ребятъ и за истребленіе негодяя Мирзоева.

— Душа моя... милый мой... умиленно проговорилъ Николай Степанычъ, стараясь разсмотрѣть племянника сквозь слезы, наполнившія глаза. — Сонечка безпокоится... ты самъ можешь понять, какъ я спѣшу ее обрадовать... Ты все теперь знаешь!.. пойми, что должна она испытывать въ настоящую минуту!.. Нѣтъ, ужъ, отпусти меня, мой добрый, дорогой мой Кокò...

— Ну, Богъ съ вами, сказалъ Кокò, весело хлопая въ ладонь дяди,—и такъ, послѣзавтра!..

Они обнялись еще разъ и разстались. Первою мыслью Николая Степаныча, при выходѣ на улицу, было купить огромнѣйшій сладкій пирогъ и торжественно поднести

его женѣ и дѣтямъ; но нетерпѣніе сообщить семейству радостную вѣсть побѣдило такое желаніе, и онъ понесся на Петербургскую сторону.

Предоставляю вамъ судить о томъ, что̀ сдѣлалось съ Софьей Петровной послѣ разсказа мужа. Не говоря уже о Лешѣ и Пошѣ, но даже самыя стѣны полуобвалившейся дачи, казалось, повеселѣли. Радость, сіявшая въ глазахъ семейства, окрашивала радужными цвѣтами всѣ предметы. Рѣшено было съ этой минуты не покупать ничего лишняго, соблюдать страшную экономію и пустить въ ходъ всѣ средства, чтобы найти мѣсто, которое дало бы возможность Николаю Степанычу жестоко посмѣяться надъ Мирзоевымъ и даже наказать его, въ случаѣ если это вздумается.

На другой день Николай Степанычъ, не переставшій возносить племянника и даже ставившій его въ примѣръ дѣтямъ, выразилъ желаніе съѣздить на гауптвахту и навѣстить арестанта; но у Софьи Петровны болѣла голова, и онъ остался. Головная боль была, однакожъ, не такъ сильна, чтобы могла омрачить веселость, бившую фонтаномъ въ груди Николая Степаныча; послѣ обѣда онъ предложилъ всему семейству прогулку въ лодкѣ. Вообще весь этотъ день проведенъ былъ такъ же пріятно, какъ первые дни пребыванія въ Петербургѣ. Не знаю, какъ Софья Петровна, но что касается до Николая Степаныча, то въ эту ночь онъ спалъ крѣпчайшимъ сномъ вплоть до восьми часовъ. Сонъ его продлился бы вѣроятно еще долѣе, если бъ около этого времени не разбудила его кухарка.

— Чего тебѣ? вымолвилъ онъ, сладко потягиваясь.

— Васъ спрашиваютъ...

— Кто такой?

— Мебельщикъ.

— Тсс... тсс... прошепталъ Николай Степанычъ, подымая палецъ и указывая на спавшую Софью Петровну,— сейчасъ; скажи, чтобъ подождалъ.

Онъ бережно выползъ изъ-подъ одѣяла, прошелъ въ сосѣднюю комнату и одѣлся, не выказывая ни малѣйшей торопливости.

— Гдѣ жъ мебельщикъ? спросилъ онъ, появляясь на кухнѣ,—въ прихожей его нѣтъ. Куда же онъ дѣлся?..

— Онъ дожидаетъ на улицѣ, подлѣ рѣшетки палисадника, сказала кухарка.

Николай Степанычъ надѣлъ шляпу, прошелъ на балконъ и спустился въ садикъ. За рѣшеткой расхаживала взадъ и впередъ толстая, нахмуренная фигура, въ синемъ длиннополомъ кафтанѣ; въ десяти шагахъ отъ нея находились два ломовые извозчика, сидѣвшіе на своихъ длинныхъ дрогахъ. Николай Степанычъ не обратилъ на послѣднихъ вниманія.

— Здорово, любезный! Что такъ рано? спросилъ Николай Степанычъ тономъ человѣка, который держитъ за пазухой оружіе, способное приплюснуть и сокрушить врага.

— Мебель, сударь, пожалуйте... грубо и безъ обиняковъ возразила нахмуренная фигура.

— Что жъ такъ?..

— А больше ничего, сударь, что мебель пожалуйте, которую взяли...

— Прекрасно, перебилъ Николай Степанычъ, выказывая хладнокровіе, которое сдѣлало бы честь самому Мирзоеву,—прекрасно; тебѣ сказали, братецъ, что я лишился мѣста, котораго ждалъ, не правда ли? и сказали тебѣ объ этомъ Петръ Петровичъ и мой племянникъ... Но не думаешь ли ты, что въ Петербургѣ одно только мѣсто?..

— Какъ не быть мѣстовъ; только, доложу вамъ, это не наше дѣло... Мы потому только отпустили мебель, что Петръ Петровичъ за васъ ручались... Какъ вамъ будетъ угодно, назадъ пожалуйте.

— Изволь, любезнѣйшій... съ великимъ удовольствіемъ; только вотъ что, промолвилъ Николай Степанычъ, перемѣняя насмѣшливо-саркастическій тонъ на ласковый,—если ты человѣкъ разсудительный, ты примешь въ соображеніе слѣдующее: я взялъ у тебя въ долгъ мебель, потому что у меня не случилось тогда денегъ... мнѣ изъ деревни не прислали... Но обстоятельства перемѣнились; я могу у тебя купить ее; мнѣ она не очень нравится,—но все равно, я куплю ее, чтобы не возиться лишній разъ... Говори: хочешь или нѣтъ?

Мебельщикъ раскрылъ удивленные глаза, и брови его расправились.

— Повторяю тебѣ, произнесъ Николай Степанычъ,—бери хоть сейчасъ свою мебель, или, если хочешь, продай мнѣ ее; сегодня часа въ два, три, около обѣда, можешь получить сполна всѣ деньги... Ну, что, согласенъ ли?..

— Извольте, сударь; когда такъ, мы подождемъ съ нашимъ великимъ удовольствіемъ...

— Ну и прекрасно! сказалъ Николай Степанычъ,—тебѣ не зачѣмъ даже, братецъ, возвращаться въ Петербургъ... Ты можешь подождать здѣсь въ трактирѣ... тутъ за угломъ... слышишь же, въ два часа, или около того времени!..

Заключивъ такими словами, Николай Степанычъ повернулся спиною къ мебельщику и съ видомъ веселымъ и беззаботнымъ возвратился въ комнаты. Онъ слова не сказалъ женѣ о посѣщеніи гостинодворца. Онъ говорилъ только о предстоящемъ полученіи денегъ, о томъ, какъ ошибался, когда бранилъ милаго и добраго Кокò, и дѣлалъ планы касательно скорѣйшаго опредѣленія своей особы на выгодное какое-нибудь мѣсто. Послѣ того онъ тотчасъ же отправился къ племяннику.

Извозчикъ, взятый Фуфлыгинымъ, никогда еще, во всю свою жизнь, не возилъ такого веселаго сѣдока; во всю дорогу Николай Степанычъ разспрашивалъ его о житьѣ-бытьѣ, о женѣ и дѣтяхъ; въ промежутки такихъ вопросовъ, Николай Степанычъ насвистывалъ разныя пѣсенки и даже раза два разразился смѣхомъ, безъ всякой видимой причины. Достигнувъ города, онъ прежде всего велѣлъ ѣхать на гауптвахту. Но тамъ Кокò уже не было.

— Когда его выпустили? спросилъ обрадованный дядя.

— Не могу вамъ сказать, отвѣчалъ унтеръ-офицеръ,— мы только что смѣнились съ вчерашнимъ карауломъ.

Николай Степанычъ стремглавъ поскакалъ въ Конюшенную.

„Я, однакожъ, очень радъ, что этотъ негодяй мебельщикъ разбудилъ меня, думалъ онъ, подымаясь по лѣстницѣ въ квартиру племянника,—милый мой повѣса Кокò, обрадовавшись свободѣ, того и смотри, упорхнетъ ни свѣтъ, ни заря... впрочемъ, нѣтъ, нѣтъ... онъ меня любитъ, я знаю; мои обстоятельства ему извѣстны; онъ, безъ сомнѣнія, меня дожидается.“

Николай Степанычъ позвонилъ.

Въ дверяхъ показалась совершенно незнакомая лакейская фигура.

— Что вамъ угодно? спросилъ лакей.

Николай Степанычъ хотѣлъ было отвѣтить, но, услышавъ шаги въ квартирѣ племянника, ринулся въ прихожую, пробѣжалъ въ сосѣднюю комнату и чуть было не

сшибъ съ ногъ тучнаго господина съ крутыми сѣдыми завитками на вискахъ.

— Извините меня, милостивый государь, проговорилъ Фуфлыгинъ,—я спѣшилъ къ Кокò... мнѣ весьма нужно его видѣть.

— Ничего-съ... позвольте узнать, съ кѣмъ имѣю я честь?.. пробормоталъ незнакомецъ.

— Фуфлыгинъ... торопливо отвѣчалъ Николай Степанычъ, нимало не сомнѣваясь, что это былъ одинъ изъ пожилыхъ друзей Кокò, такъ безстыдно и нагло обкрадывавшихъ молодого человѣка.—Позвольте же мнѣ въ свою очередь узнать?.. добавилъ онъ, снова обращаясь къ незнакомцу.

— Вакушинъ... возразилъ тотъ,—и, къ сожалѣнію, опекунъ этого мерзавца, этого негодяя Свищова...

— Милостивый государь, я его дядя! съ горячностью воскликнулъ Фуфлыгинъ.

— Весьма сожалѣю объ этомъ, сказалъ опекунъ.

— У всякаго свой вкусъ, милостивый государь, рѣзко возразилъ Николай Степанычъ,—я нимало объ этомъ не сожалѣю, и чтобы доказать вамъ... Кокò! Кокò!.. заголосилъ онъ, съ живостью обращаясь къ сосѣдней двери.

— Какъ, развѣ вы не знаете? спросилъ опекунъ, выражая крайнее изумленіе.

— Что такое?

— Его ужъ нѣтъ...

— Какъ?

— Вы, стало-быть, ничего не знаете?

— Нѣтъ... пробормоталъ Николай Степанычъ, насквозь пронятый ознобомъ.

— Его нынѣшнюю ночь отправили въ Вятку съ жандармомъ...

— Не можетъ быть!.. раздирающимъ голосомъ прокричалъ Николай Степанычъ, потрясая головою, въ которой все вдругъ закружилось и завертѣлось.

— Очень сожалѣю, милостивый государь, проговорилъ опекунъ, — но это вѣрно; впрочемъ, если вы знаете вашего племянника и любите его,—вы поймете: такая поѣздка принесетъ ему пользу... большую пользу...

— Но деньги?.. Гдѣ же деньги?.. Я пріѣхалъ за деньгами!.. Онъ долженъ мнѣ дать денегъ!.. вскричалъ, какъ помѣшанный, Николай Степанычъ.

Опекунъ, въ свою очередь, бросилъ подозрительный взглядъ на дядю.

— Я этого ничего не знаю, милостивый государь... проговорилъ онъ холодно, отворачиваясь.

Но въ ту же секунду онъ долженъ былъ, однакожъ, обернуться назадъ, чтобы оказать помощь Николаю Степанычу, который грохнулся со всѣхъ ногъ на полъ. Не стану описывать вамъ, какъ опекунъ и лакей его приводили въ чувство бѣднаго дядю и сколько употребили на это времени. Достаточно сказать, они дѣлали все, что могли, и вели себя въ этомъ случаѣ очень добросовѣстно. Приведя его въ чувство, они свели его подъ руки съ лѣстницы и даже посадили на извозчика.

Читатель! Когда встрѣтится тебѣ сидящій на ванькѣ господинъ, болтающій въ разныя стороны ногами и съ лицомъ страшно багровымъ, которое склоняется на одно плечо, тогда какъ шляпа его сползаетъ на другое,—не спѣши бросать на него презрительнаго взгляда,—не спѣши клеймить его позорнымъ именемъ негоднаго пьяницы!.. О, стократъ былъ бы счастливѣе теперь Николай Степанычъ, если бъ хмель шумѣлъ въ головѣ его! Онъ чувствовалъ только, насколько доставало сознанія, что въ головѣ его плескалась какая-то вода, и больше ничего! Съ полнѣйшимъ отсутствіемъ ясной, опредѣленной мысли, проѣхалъ онъ по Воскресенскому мосту и миновалъ грустную перспективу заборовъ Петербургской стороны.

Первые признаки сознанія пробудились въ немъ уже тогда, когда сталъ онъ подъѣзжать къ своей дачѣ, и то, впрочемъ, обязанъ онъ былъ этимъ мебельщику, тучная фигура котораго рисовалась уже передъ рѣшеткою палисадника.

Николай Степанычъ приказалъ извозчику скорѣе повернуть за уголъ; онъ сунулъ ему первую попавшуюся монету и прошелъ задними дворами на свою кухню.

— Вотъ письмо, сударь, солдатъ принесъ... сказала кухарка, выходя къ нему навстрѣчу.

„Письмо было отъ племянника; онъ извѣщалъ о деньгахъ; передъ отправленіемъ своимъ онъ думалъ о дядѣ и, не имѣя вѣрно другого способа, посылалъ солдата.— О добрый, о, безцѣнный Кокò“. Такая мысль стрѣлою пролетѣла сквозь мозгъ Николая Степаныча; съ дикою радостію схватилъ онъ письмо и бѣшено сорвалъ печать.

Вотъ что прочелъ онъ:

„Милостивый Государь,

„Васъ просятъ пожаловать завтра утромъ въ канцелярію квартала, для объясненія по дѣлу иностранки Амаліи-Розы-Цециліи Пупонъ...“

За симъ слѣдовала подпись частнаго пристава. Но Николай Степанычъ не прочелъ ее; письмо и руки, его державшія, страшно вытянулись, ноги Николая Степаныча подкосились,—и онъ, безъ сомнѣнія, разбилъ бы голову о косякъ двери, если бъ не подоспѣла кухарка.

Но поспѣшимъ отойти прочь, чтобы не слышать отчаянныхъ криковъ, истерическаго хохота, и не обонять запаха гофманскихъ капель, который быстро распространился по всей дачѣ...

Въ два часа, ровно въ два часа,—минута въ минуту,—явился мебельщикъ...

Въ пять часовъ комнаты Фуфлыгиныхъ представляли печальную картину обнаженной пустыни. Изъ мебели оставался только ветхій прорванный диванъ, взятый у кухарки. На этомъ диванѣ лежалъ въ растяжку Николай Степанычъ; голова его, обвязанная полотенцемъ, уныло свѣшивалась на бокъ; глаза его были закрыты. Въ ногахъ его сидѣла Софья Петровна; грудь ея высоко воздымалась и глаза пропускали потоки слезъ, ниспадавшіе на голову Леши и Поши, которые сидѣли на ея колѣняхъ и также плакали.

Равнодушной зрительницей всей этой сцены являлась кухарка, стоявшая позади Николая Степаныча съ уксусной бутылкой въ одной рукѣ и тарелкою въ другой; ее, повидимому, несравненно больше занимала собственная участь, чѣмъ видъ сраженныхъ бѣдствіями Фуфлыгиныхъ, и страшная картина, рисовавшаяся передъ нею, нимало не трогала ее и не умиляла.

XII.

Письмо вмѣсто эпилога.

Въ числѣ пятидесяти трехъ тысячъ писемъ, прибывшихъ въ Петербургъ, 3 іюля 185* года, въ почтовомъ вагонѣ желѣзной дороги, находилось одно съ слѣдующимъ адресомъ:

„Николаю Степанычу
Фуфлыгину.

На Пески, въ Глухой переулокъ, домъ солдатки Софроновой.

Со вложеніемъ пятисотъ рублей серебромъ".

Глухой переулокъ сыскать весьма не легко; тѣмъ не менѣе, повѣстка, возвѣщавшая о письмѣ и деньгахъ, не замедлила достигнуть своего назначенія. Въ тотъ же день и деньги, и письмо находились въ рукахъ Николая Степаныча. Письмо было отъ дяди Изосима Петровича. Выписываемъ здѣсь только нѣкоторые отрывки.

„...Письмо принесъ мнѣ мой конторщикъ Ермилъ; по почерку я узналъ, что оно отъ тебя, и тотчасъ же сказалъ Ермилу: „по всему видно: взяло нашего кота поперекъ живота!" Иначе ты, конечно, не сталъ бы писать дядѣ,—этому „выжившему изъ вѣка старому хрѣну"... Пожалуйста, не отпирайся; я самъ, своими ушами слышалъ, какъ ты назвалъ меня этимъ именемъ, когда я въ послѣдній разъ уходилъ отъ тебя. Впрочемъ, жена твоя еще лучше меня отдѣлала, когда я посовѣтовалъ ей не слишкомъ полагаться на обѣщанія столичныхъ родственниковъ и предлагалъ переѣхать на винокуренный заводъ. Не зная обращенія съ модными и благовоспитанными дамами, я, можетъ-быть, нечаянно какъ-нибудь оскорбилъ ее, и она была въ правѣ разбранить меня, и даже дать мнѣ почувствовать, что я совершенно лишній человѣкъ въ вашемъ домѣ (домъ, впрочемъ, былъ уже тогда проданъ съ молотка). Оба вы пишете теперь, что съ благодарностію принимаете мое предложеніе и глубоко раскаиваетесь, что прежде этого не сдѣлали...

„Вотъ то-то же и есть, дражайшіе племянникъ и племянница! Вы думали, достаточно показаться въ Петербургѣ съ дворянскимъ титломъ и фамиліею Фуфлыгиныхъ, чтобы обратить на себя вниманіе и получить мѣсто... Да, какъ же, держи карманъ! Хорошо было бы, нечего сказать, если бъ всякому безпутно прожившемуся дворянчику давали бы мѣсто потому только, что онъ дворянчикъ; нѣтъ, любезнѣйшій, не такія ужъ времена теперь, — и слава Богу! Требуется теперь отъ человѣка основательное какое-нибудь знаніе, трудъ требуется, истинныя заслуги! Принимая въ соображеніе личныя твои заслуги, познанія, способности и расположеніе къ труду,—„меня даже бе-

ретъ сомнѣніе“: принять ли тебя на винокуренный заводъ? Будетъ ли „даже здѣсь“ какая-нибудь отъ тебя польза?.. Изъ письма вашего вижу, впрочемъ, въ обоихъ васъ значительно поубавилось спеси; поѣздка въ Петербургъ и три тысячи цѣлковыхъ, тамъ истраченныя, принесли видно свою пользу; это меня нѣсколько обнадежило и заставило выслать деньги на уплату долговъ и на дорогу...

„Что жъ касается до того, чтобы выручить изъ тюрьмы брата твоего Аркадія, нѣтъ, ужъ извини, дражайшій племянникъ, этого я ни за что не сдѣлаю! Дѣти его, пишешь ты, опредѣлены какимъ-то дальнимъ родственникомъ его жены; сама она живетъ у этого родственника; чего жъ еще больше Пигунову? онъ долженъ еще вѣкъ Бога благодарить за такія милости; нѣтъ, пускай сидитъ себѣ въ тюрьмѣ; хорошо было бы даже, если бъ его никогда оттуда не выпустили. То же самое скажу и о племянникѣ твоемъ Свищовѣ; шагу не сдѣлаю для возвращенія его изъ Вятки; ты говоришь, что его отправили на годъ; жаль, что не на три... Напрасно пишете вы, что жена Мирзоева безпрестанно видится съ какимъ-то молодымъ человѣкомъ, что Мирзоеву все это извѣстно, и онъ не разстается съ женою, опасаясь скандала, который можетъ повредить ему на служебномъ поприщѣ... Какое мнѣ дѣло до всего этого, скажите на милость?..

„...И такъ, платите долги ваши и отправляйтесь въ путь. Довольно надѣлали глупостей; пора образумиться, пора бросить шляпки и подумать о дѣтяхъ, дражайшая Софья Петровна!.. Пора и тебѣ, дорогой племянникъ, пора оставить постыдное тунеядство и приняться за работу, которая, повѣрь, одна только можетъ дать какое-нибудь значеніе Фуфлыгину, равно какъ всякому другому нашему брату... Истинно такъ!..“

ПАХАРЬ.

(повѣсть.)

Первыя впечатлѣнія.

I.

...Звонили къ вечернѣ. Торжественный гулъ нѣсколькихъ сотенъ колоколовъ усиливался постепенно и разливался мягкими волнами надъ Москвою. При яркомъ блескѣ весенняго солнца, начинавшаго клониться къ западу, Москва казалась волшебнымъ, золотымъ городомъ. Въ эти часы весеннихъ ясныхъ вечеровъ Москва ни съ чѣмъ сравниться не можетъ! Но все-таки не нахожу словъ, чтобы передать радостное чувство, которое овладѣло мною при разставаніи съ городомъ. Я какъ будто воскресъ душою, когда миновалъ Замоскворѣчье, проѣхалъ послѣднюю улицу, обставленную трактирами, запруженную народомъ, подводами, сайками, калачами, баранками, и очутился, наконецъ, за заставой.

Шумъ и возня, превращающіе близость заставъ въ многолюдный базаръ, дѣлаютъ еще замѣтнѣе рѣзкій переходъ изъ города на поле. Съ какимъ наслажденіемъ откидываешь верхъ тарантаса! А между тѣмъ, впечатлѣніе еще не полно: долго попадаются возы съ телятами, овощами и припасами всякаго рода, встрѣчаются толпы каменщиковъ, плотниковъ и другихъ рабочихъ. Все это невольно приводитъ на память городскую возню и суматоху, которую только-что покинулъ и которая такъ давно наскучила. Время отъ времени приходится проѣзжать длинныя села съ каменнымъ барскимъ домомъ, какъ бы

перенесеннымъ сюда прямо съ Тверского бульвара. На улицѣ народъ въ картузахъ и синихъ мѣщанскихъ кафтанахъ; бабы въ штофныхъ коротайкахъ; парни похожи на фабричныхъ щеголей; дѣвки съ бойкими глазами и пухлыми, бѣлыми руками, никогда не бравшими серпа. Всѣ почти подворотни превращены въ лавочки: вездѣ вѣсы, баранки, деготь и ободья; въ окнахъ неуклюжіе самовары. Верстъ за десять и даже болѣе отъ заставы встрѣчаются щегольскія, расписанныя цвѣтами телѣжки, въ которыхъ величественно возсѣдаетъ толстая мѣщанка съ золотисто-фіолетовымъ платкомъ на головѣ; рядомъ помѣщается такой же толстый сожитель, мѣщанинъ,—купецъ, поставляющій крупу или муку въ одинъ изъ столичныхъ лабазовъ... И долго, еще долго будутъ попадаться давно наскучившія и какъ бы скроенныя на одинъ ладъ физіономіи; долго станетъ преслѣдовать звяканье мѣдныхъ пятаковъ, смѣшанное съ тѣмъ несноснымъ, одуряющимъ голову дребезжаньемъ, которое преслѣдуетъ васъ въ городѣ и днемъ, и ночью. Приморскіе жители увѣряютъ, что звукъ, который слышится въ большихъ раковинахъ, происходитъ отъ того будто бы, что въ ихъ пустотѣ навсегда остается шумъ моря: „море нашумѣло", говорятъ они. Надо полагать, человѣческое ухо, какъ эти раковины, если не всегда, то надолго способно сохранять шумъ города. Городъ давно уже успѣлъ исчезнуть; исчезли постепенно и самые признаки городской суетливости; даже колокольный звонъ, долго покрывавшій всѣ остальные звуки, тонулъ и терялся въ пространствѣ. Но все еще въ ушахъ раздавались шумъ и трескотня улицъ, грохотъ экипажей, хлопотливый говоръ, знакомые голоса и восклицанія... Я страшно тяготился городомъ!..

Разлука съ нимъ чувствительна для тѣхъ, кто оставляетъ за собою особенно близкихъ людей или особенно дорогія воспоминанія; но когда нѣтъ ни тѣхъ, ни другихъ, когда покидаешь одну суетную, мелкую жизнь, оставляющую послѣ себя чувство умственной и душевной усталости и, непремѣнно, чувство какого-то неудовольствія и даже раскаянія,—разлука съ городомъ дѣлается сладостною выше всякаго описанія. Понятно тогда, почему такъ заботливо стараешься забыть все прошлое; понятно, почему сердце такъ только вотъ и рвется впередъ и впередъ къ этому безкрайному горизонту, полному такой невозмутимой, такой торжественной тишины...

Съ каждымъ шагомъ впередъ, кругомъ дѣлалось тише и тише, воздухъ свѣжѣе и свѣжѣе. Я нетерпѣливо ждалъ минуты, когда прощусь съ большой дорогой. Къ счастію, недолго было дожидаться: на пятнадцатой верстѣ я повернулъ на проселокъ.

II.

И вотъ я снова въ поляхъ, снова на просторѣ, снова дышу воздухомъ, пахнущимъ землею и зеленью!

Чудный былъ вечеръ! Солнце было еще высоко надъ горизонтомъ: оставалось часъ или полтора до заката. Прозрачное, безоблачное небо дышало свѣжестью; оно сообщало, казалось, свѣжесть самой землѣ, гдѣ на всемъ виднѣлись признаки юности. Апрѣль приближался къ концу. Весна была ранняя, дружная; снѣгъ давно сбѣжалъ съ полей. Повсюду, направо и налѣво отъ дороги, вдали и вблизи, по всѣмъ буграмъ и скатамъ, зеленѣли озими, освѣщенныя косвенными золотыми лучами; тонкія полосы межей были еще темны; надъ ними, вмѣсто тучныхъ кустовъ кашки, донника, ежевики и шиповника, лоснились покуда пунцовые прутья и подымались ноздреватые, пересохнувшіе стебли прошлаго года; гдѣ-гдѣ развѣ развертывался и сквозилъ мягкій, какъ бархатъ, листъ земляники. Но какъ уже хорошо было въ полѣ! Тишина необыкновенная. Такъ тихо, что ни одна былинка не покачнетъ головкой; а чувствуешь, между тѣмъ,—слышишь даже, что весь этотъ неоглядный просторъ земли и воздуха наполненъ жизнію и движеніемъ. Напрягаешь слухъ, жадно прислушиваешься... И—странно!—звуки эти радостно даже какъ-то отдаются въ душѣ и тѣшатъ ее... совсѣмъ не то, что въ городѣ... Въ блестящей глубинѣ небеснаго свода не видать жаворонка; но воздухъ наполненъ его переливами. Въ каждой бороздѣ, въ чащѣ мелкой травы, въ озимяхъ слышатся писк, шорохъ. Далеко въ рощахъ воркуетъ горленка и перелетаютъ съ мѣста на мѣсто дикіе голуби. Все оживаетъ: въ самой тонкой вѣткѣ, въ самыхъ нѣжныхъ стебелькахъ движется свѣжій сокъ, хлынувшій изъ корня, которому такъ тепло теперь подъ землею, нагрѣтою солнцемъ. Миріады насѣкомыхъ роями жужжатъ въ воздухѣ, снуютъ и качаются на гибкихъ травкахъ молодой зелени. Солнце вездѣ и всюду: солнце насквозь пронизываетъ густыя чащи, не успѣвшія еще заслониться листомъ; солнце донимаетъ въ глубинѣ лѣсовъ и враговъ остатки рыхлаго, почернѣвшаго снѣга; солнце

жаркими лучами обливаетъ поля, гдѣ сквозь рѣдкую еще зелень блистаютъ новые отпрыски озимаго хлѣба и желтѣетъ прошлогоднее, дотлѣвающее жнивье. Съ какимъ наслажденіемъ выставляешь на вешнее солнце спину и обнаженную руку! Въ воздухѣ уже не чувствуешь той проникающей сырости, которая замѣтна въ первую весеннюю пору, когда рѣки въ разливѣ: рѣки вступили въ берега свои. Вода сквозила и отражала чистую синеву неба: лѣса — особенно, если смотрѣть на нихъ сбоку — видимо почти опушались. Еще два-три такіе дня, и птицы, которыя поминутно встрѣчаются съ соломинкой или перышкомъ въ носу, начнутъ вить свои гнѣзда въ защитѣ подъ куполами и сводами молодыхъ листьевъ.

Мѣстами проселокъ былъ влаженъ; но нигдѣ не было слѣда грязи: колеса катились какъ по бархату, оставляя по черноземy слѣды, какъ бы покрытые лакомъ. Славное было время для путешествія!

III.

Мнѣ слѣдовало проѣхать около двухсотъ верстъ по этому проселку. Не далеко, кажется; но, въ сущности, это цѣлое странствованіе: предстояло переѣхать Оку, на которой, судя по времени, не успѣли еще навести моста; было на пути еще нѣсколько маленькихъ рѣчекъ, которыя переѣзжаются обыкновенно въ бродъ, потому что мосты на нихъ обманчивѣе всякаго брода. Но я не скучалъ этимъ.

Надо вамъ сказать, я съ дѣтства чувствую особенное влеченіе къ нашимъ русскимъ проселкамъ. Если судьба приведетъ вамъ когда-нибудь случай ѣхать по Россіи, если при этомъ вамъ спѣшить некуда, вы не слишкомъ взыскательны въ отношеніи къ матеріальнымъ условіямъ жизни, а главное, если вамъ страшно наскучитъ городъ, совѣтую чаще сворачивать съ большихъ дорогъ: большія дороги вѣдь почти тѣ же города! Это безконечно длинныя, пыльныя и пустынныя улицы, которыми города соединяются между собою; мѣстами та же суета, но уже всегда и вездѣ убійственная скука и однообразіе. Отъ Петербурга до Харькова, отъ Москвы до Перми — тѣ же станціонные дома, тѣ же вытянутыя въ рядъ села и деревни, предлагающія овесъ, деготь, кузнеца и самоваръ; вамъ мечутся въ глаза тѣ же полосатыя версты, тѣ же чахлыя, покрытыя ѣдкой пылью ветелки, тѣ же ямщики.

Вся разница въ томъ, что одинъ ямщикъ говоритъ на „о“ и носитъ шапку на манеръ гречишника, а сто верстъ далѣе дѣлаютъ удареніе на „щ“, и шапка его нѣсколько приплюснута. „Отъ Мурома до Нижняго столько-то, и столько-то отъ Орла до Тамбова!“—вотъ все, что узнаете вы на большихъ дорогахъ.

То ли дѣло проселки! Вы скажете: поэзія! Что жъ такое, если и такъ? И, наконецъ, если хотите знать, поэзія цѣлой страны на этихъ проселкахъ! Поэзія, въ этомъ случаѣ, получаетъ высокое значеніе. Правда, вамъ не предложатъ здѣсь баранковъ, вы часто исходите цѣлую деревню и не найдете самовара; не увидите вы здѣсь ни пестрыхъ столбовъ, ни ветелъ, ни станцій; не вытягиваются проселки по шнуру; не трудился надъ ними инженеръ—все это совершенная правда: ихъ попросту протопталъ мужичокъ своими лаптишками; но что жъ до этого! Посмотрите-ка, посмотрите, какою частою, мелкою сѣтью обхватили они изъ конца въ конецъ всю русскую землю: гдѣ конецъ имъ и гдѣ начало?.. Они врѣзались въ самое сердце русской земли, и станьте только на нихъ, станьте—они приведутъ васъ въ самые затаенные, самые сокровенные закоулки этого далеко еще не извѣданнаго сердца.

На этихъ проселкахъ и жизнь проще и душа спокойнѣе въ своемъ задумчивомъ усыпленіи. Тутъ узнаете вы жизнь народа; тутъ только увидите настоящее русское поле, съ тѣмъ необъятно-манящимъ просторомъ, о которомъ такъ много уже слышали и такъ много, быть-можетъ, мечтали. Тутъ услышите вы впервые народную рѣчь и настоящую русскую пѣсню, и, головой вамъ ручаюсь, сладко забьется ваше сердце, если только вы любите эту пѣсню, этотъ народъ и эту землю!..

IV.

Посмотрите теперь, какое здѣсь разнообразіе. Проселокъ, цѣпляясь съ другими, бѣжитъ впередъ и впередъ, открывая поминутно новые виды: гдѣ деревушку, которая боязливо лѣпится по косогору, гдѣ прудъ съ головастыми ветлами, осокой и дощатымъ плотомъ — на немъ толпа бабъ съ вальками и коромыслами — прудъ, отражающій клочокъ неба и кровлю перекосившейся избушки; гдѣ группу кудрявыхъ дубковъ съ вьющимися надъ ними галками и отдыхающимъ въ сторонѣ стадомъ; гдѣ гладь, безкрайную, необозримую гладь полей, и посреди ея, на

какомъ-нибудь перекресткѣ, одинокій крестъ или часовню; гдѣ лощину, покрытую частымъ орѣшникомъ и перерѣзанную ручьемъ, который пересохъ въ песчаномъ днѣ, усѣянномъ угловатыми камнями. Вы спускаетесь на мостъ, который, едва прикоснулись къ нему копыта лошади, весь какъ будто переполнился страхомъ; дрожитъ онъ всѣми своими суставчиками; дрожитъ, опасаясь, вѣроятно, за свое собственное существованіе столько же, сколько за жизнь смѣльчаковъ, которые такъ беззаботно ввѣряютъ ему свои кости. Съ дикимъ крикомъ и верезгомъ поднялась стая чибезовъ, испуганныхъ шумомъ... И вотъ снова поднялись вы по косогору, снова на проселкѣ, и снова пошли направо и налѣво новые виды: гдѣ клинъ сосноваго бора, который глянулъ для того, кажется, чтобы тотчасъ же скрыться; гдѣ снова зеленѣющія пажити, съ движущимися тѣнями тучъ и косыми полосами ливня на горизонтѣ; а вотъ и большое село, съ бѣлою церковью на бугрѣ, рѣчкой, отражающей старинный липовый садъ, лугами, избами, скворечницами и колодезнымъ журавлемъ, высоко чернѣющимъ въ небѣ... И какъ, право, хороши эти виды!

V.

А между тѣмъ, чѣмъ далѣе подвигался я въ глубину полей, тѣмъ тишина, меня окружавшая, дѣлалась все торжественнѣе. Солнце сѣло; вмѣстѣ съ нимъ угасла, казалось, и самая жизнь: смолкли хоры, смолкла гармоническая музыка, наполнявшая весь день и воздухъ, и землю. Темно-синій горизонтъ разлился по небу, и загорѣлись звѣзды...

На другой день, вечеромъ, я приближался къ цѣли моей поѣздки. Беззаботное, счастливое настроеніе духа, которое не оставляло меня во всю дорогу, стало измѣнять мнѣ; самъ не знаю, отчего, но кровь волновалась сильнѣе; я начиналъ чувствовать то внутреннее безпокойство, которое предшествуетъ всякому ожиданію, какъ радостному, такъ и печальному. Когда я поднялся на холмъ, откуда видны были сначала деревня, потомъ роща, а за нею кровля дома, сердце мое забилось вдругъ необыкновенно сильно.

Не вѣрьте, пожалуйста, нашимъ столичнымъ умникамъ, которыхъ мы же сами, не находя имъ другого названія, а можетъ-быть, просто, изъ снисхожденія, прозвали людьми съ строгимъ, философскимъ складомъ ума. Посмѣиваясь

надъ самыми простыми, естественными и, ужъ конечно, лучшими нашими чувствами, называя ихъ дѣйствіемъ воображенія или слезливо-сентиментальными выходками, они, я увѣренъ, слову не вѣрятъ изъ того, что проповѣдуютъ: они только рисуются передъ нами. Вѣдь только глупцы могутъ потѣшаться надъ тѣмъ, чего не знаютъ или чего сами сознательно не переживали. Философія нашихъ знакомыхъ — больше ничего, какъ фразы, сухое и очень дешево доставшееся резонерство. Истинная философія состоитъ въ убѣжденіи, что лишнее умничанье ни къ чему не ведетъ. Счастіе заключается въ простой жизни; просто живутъ тѣ только, которые слѣдуютъ своимъ побужденіямъ и довѣрчиво, откровенно отдаются движеніямъ своего сердца. Дайте любому философу живописный участокъ земли, домъ—какой-нибудь уютный, теплый уголокъ, скрытый, какъ гнѣздо, въ зеленой чащѣ сада; пускай вмѣстѣ съ этимъ домомъ соединятся воспоминанія счастливо проведеннаго дѣтства,—и тогда, повѣрьте, подъѣзжая къ нему послѣ долгой разлуки, онъ искренно сознается, что вся философія его—вздоръ и гроша не стоитъ!

VI.

Съ каждымъ поворотомъ колеса, я приподымался и нетерпѣливо вытягивалъ шею. Глаза съ жадностію перебѣгали отъ ряда знакомыхъ ветелъ къ крышкѣ дома, которая начинала выглядывать изъ-за угла стараго сада. Я уже мысленно ступалъ по тропинкѣ, протоптанной черезъ дворъ, она вела къ липовой аллеѣ—свидѣтельницѣ моихъ дѣтскихъ игръ, первыхъ моихъ слезъ и первыхъ радостей. Существуютъ ли еще качели, привѣшенныя къ шесту между двумя старыми деревами?.. Что сталось съ моимъ садикомъ, который занималъ всего аршинъ, но казался мнѣ тогда великолѣпнымъ паркомъ?.. Все ли еще существуетъ и бѣлѣетъ на своемъ мѣстѣ, за ветхою стѣною амбара, каменная плитка, надъ которой, обливаясь когда-то слезами, хоронилъ я умершаго воробья... Я превращался въ ребенка; я волновался и радовался, какъ будто меня ждала тамъ и простирала ко мнѣ руки вся минувшая моя юность; какъ будто ждало меня тамъ Богъ вѣсть какое счастіе!..

VII.

А счастія, право, никакого не было! Домъ мой опустѣлъ давнымъ-давно, никто не махалъ мнѣ издали платкомъ;

никто не бѣжалъ къ околицѣ; никто меня не встрѣтилъ. Самый домъ глядѣлъ угрюмо, непривѣтливо своими сѣрыми бревенчатыми стѣнами, наглухо заколоченными ставнями, заброшеннымъ палисадникомъ и полуобвалившимся плетнемъ, изъ котораго половина кольевъ была вынута.

И все-таки — не странно ли это? — въ душѣ моей ни тѣни тоскливаго чувства! Кромѣ сладкихъ воспоминаній дѣтства, въ сердцѣ постепенно рождалось еще другое ощущеніе... сказать ли вамъ? я радовался тому именно, тому радовался, что никто не встрѣтилъ меня, никто, въ эту минуту, обо мнѣ не думалъ и не заботился!.. Я вошелъ въ этотъ опустѣлый домъ съ тѣмъ же радостнымъ біеніемъ сердца, съ какимъ подъѣзжалъ къ нему. Не вините меня въ мизантропіи или, вообще, въ расположеніи къ мрачному одиночеству. Не нужно быть вовсе мизантропомъ, чтобъ чувствовать иногда сильнѣйшую потребность умственнаго, душевнаго спокойствія. Я просто утомился городомъ и искалъ тишины.

VIII.

Мнѣ случалось встрѣчать людей, горячо привязанныхъ къ семейству. Вдругъ, посреди самой счастливой обстановки, сами сначала не сознавая этого, начинали они предаваться неслыханной тоскѣ. И въ мысляхъ, и на языкѣ была одна только мысль: уѣхать, исчезнуть куда-нибудь, гдѣ бы ничто не напоминало прерванныхъ на время связей; и все это безъ малѣйшаго повода со стороны семейства или внѣшнихъ какихъ-нибудь обстоятельствъ.

Въ числѣ убѣжденій, вынесенныхъ мною изъ жизни и внушенныхъ мнѣ опытомъ, находится, между прочимъ, слѣдующее: очень часто свѣтъ удивляется продолжительности нѣкоторыхъ сердечныхъ связей. Вся тайна заключается въ препятствіяхъ, которыя ставитъ этотъ же самый свѣтъ между связанными людьми, и мѣшаетъ имъ не только неразрывно дѣлить жизнь, но даже мѣшаетъ безпрестанно видѣться. Уничтожьте препятствія, и тогда, наоборотъ, всѣ станутъ удивляться непрочности сердечныхъ привязанностей. Счастіе многихъ и многихъ семействъ поддерживается только временными разлуками. Иное сердце пресыщается скоро, другое медленнѣе; но всѣ равно испытываютъ пресыщеніе. И, наконецъ, даже

и безъ этого чувства, такъ ужъ душа бываетъ иногда настроена, что полное, глубокое одиночество кажется единственнымъ блаженствомъ существованія. Въ такія минуты самыя ласковыя рѣчи, самая искренняя, задушевная нѣжность способны только раздражать нервы.

IX.

Домъ мой расположенъ какъ нельзя удобнѣе; онъ отдаленъ отъ деревни; между ними холмъ и роща; изъ деревни не доходитъ ни одного звука, кромѣ лая собакъ и пѣтушинаго крика на зарѣ. Самая деревня находится въ исключительно-благословенномъ положеніи: она какъ бы затеряна въ глубинѣ уѣзда между нескончаемыми полями и рощами.

Первымъ движеніемъ моимъ, какъ только я вошелъ въ комнату, было отворить окно въ садъ. Ночь смѣнила сумерки. Высокія липы обступали садъ; кусты, разбросанные въ безпорядкѣ и успѣвшіе уже въ эти два дня опушиться зеленью, сливались мѣстами въ одну совершенно темную массу и неопредѣленно круглились между дорожками, которыя слегка серебрила роса. Слѣва только, между черными какъ уголь стволами, свѣтлѣла часть пруда; въ ней, какъ въ чистомъ зеркалѣ, незыблемо отражались синее небо и робко мерцающія звѣзды. Струи воздуха, пробѣгавшія передъ закатомъ, не трогали теперь ни одной вѣткой. Запахъ вечерней росистой мглы, смѣшанный съ запахомъ почекъ, молодыхъ отпрысковъ, и запахомъ прошлогодняго листа, проникалъ, казалось, каждый атомъ воздуха и медленно курился надъ садомъ. Самое полное, самое невозмутимое безмолвіе распространялось не только вокругъ, но даже далеко по всей окрестности.

Я опустился на окно, отдаваясь весь новому сладчайшему впечатлѣнію. Слухъ мой, освобожденный отъ трескотни города, получилъ страшную чуткость; но тишина окрестности ничѣмъ не нарушалась. Изрѣдка чиликнетъ внезапно пробудившаяся птичка, прожужжитъ запоздавшій жукъ, стукаясь рогатой головкой о сучья, или послышится трескъ молодой вѣтки, которая распахнулась отъ избытка свѣжаго сока, и снова воцаряется молчаніе...

Вліяніе тишины, царствующей надъ полями, вполнѣ можетъ быть доступно тѣмъ только, кто долго тяготился треволненіями житейскаго моря, чей слухъ и чьи нервы

многіе годы постепенно тяготились и раздражались безумною суматохою города. Я чувствовалъ, какъ тишина вливалась въ душу и какъ дѣлалось въ ней и покойнѣе, и свѣтлѣе.

X.

Каждый день, прожитой здѣсь, приводитъ меня къ убѣжденію, что сельская жизнь улучшаетъ человѣческую природу. Не считая того, что она ставитъ въ необходимость жить больше съ самимъ собою, представляетъ мало развлеченій и тѣмъ самымъ сосредоточиваетъ мысли и дѣлаетъ ихъ яснѣе, одно изъ главныхъ преимуществъ ея заключается въ томъ, что она значительно усмиряетъ нашу гордость.

Вліяніе ея, въ этомъ случаѣ, совершенно противоположно вліянію города.

Тамъ все заставляетъ насъ много о себѣ думать: стѣсненные въ домахъ и улицахъ, которыя кажутся широкими только сравнительно, встрѣчая на каждомъ шагу тысячи предметовъ, изобрѣтенныхъ человѣкомъ, мы невольно начинаемъ считать себя чѣмъ-то особенно важнымъ. Все подтверждаетъ увѣренность въ наше могущество, силу и способности. Здѣсь впечатлѣнія совсѣмъ другого рода: здѣсь уже давитъ насъ одинъ этотъ просторъ, которымъ окружены мы съ утра и до вечера. На улицахъ, между домами, точно дѣлаешься замѣтнымъ; здѣсь — превращаешься почти въ ничто, въ едва видную точку. Ваша власть уничтожается какъ ваши размѣры: здѣсь всё растетъ, созидается, разрушается и движется, не обращая на васъ ни малѣйшаго вниманія, не спрашивая ни вашего совѣта, ни вашего разрѣшенія.

Въ городѣ отдаешь себѣ ясный отчетъ въ своемъ гордомъ удивленіи и, надо сказать, тотчасъ же переносишь частицу этого удивленія къ себѣ самому; здѣсь — удивляешься молча. Умъ, пораженный безконечнымъ совершенствомъ природы надъ совершеннѣйшими дѣлами рукъ человѣческихъ, пораженный всегдашнимъ ея величіемъ, смиренно сознаетъ свое дѣтское безсиліе.

XI.

Здѣсь встрѣчаются, такъ же, какъ и вездѣ, неудачи, препятствія, непріятности; но если не выходишь изъ мирной сферы сельской жизни, самыя эти неудовольствія не раздражаютъ духа: въ нихъ всегда есть что-то примири-

тельное. И, въ самомъ дѣлѣ, на кого здѣсь пенять? На дождикъ ли, который не во-время упалъ на вашу ниву? на запоздалую ли весну и холодные утренники, которые задерживаютъ ростъ травы и озимей? на червь ли, подточившій корень вашего хлѣба, или на градъ, скомкавшій широкое поле ржи, такъ привѣтливо золотившееся на іюньскомъ солнцѣ и обѣщавшее такую богатую жатву?.. Никто въ этомъ не виновенъ. Горе „не отъ человѣка". „Такъ, знать, Богу угодно!" „Его на то святая воля!..." скажетъ вамъ здѣсь простолюдинъ. Вмѣстѣ съ этой нивой онъ и семья его теряютъ, однакожъ, спокойствіе цѣлаго года. Мысль эта является здѣсь безпрерывно. Горе, поразившее васъ, велико; но оно не оставляетъ раздраженія въ сердцѣ, не возбуждаетъ безполезнаго, грѣшнаго ропота. Свыкаясь съ жизнію полей, привыкаешь мало-помалу отдавать всѣ помыслы свои на волю Провидѣнія. Существованіе, порученное, такимъ образомъ, въ исключительное распоряженіе Промысла, привычка покоряться постоянно Его волѣ, даютъ здѣсь, мнѣ кажется, то душевное спокойствіе, которое такъ напрасно ищешь въ общественной жизни и городѣ, гдѣ все, болѣе или менѣе, зависитъ отъ насъ же самихъ или такихъ же, какъ мы, смертныхъ. Жизнь течетъ здѣсь ровно, покойно. Когда живешь сознательно и честно, не знаешь, что̀ значитъ „убивать время". День проходитъ незамѣтно.

Глазамъ не вѣришь, когда, поднявъ голову, видишь, что солнце давно обогнуло половину неба.

XII.

Сильно также дѣйствуетъ на душу ближайшее знакомство съ бытомъ простого народа.

До сихъ поръ, сколько я ни замѣчалъ, мнѣ казалось всегда, что образованный классъ общества всегда сочувствовалъ этому быту. Жизнь народа, была ли она изображена въ книгѣ, или на полотнѣ, всегда трогала и привлекала человѣка. Популярность такихъ художниковъ, какъ, напримѣръ, Леопольдъ Роберъ, успѣхъ многихъ сочиненій, какъ древнихъ, такъ и современныхъ, только и объясняются этимъ тайнымъ сочувствіемъ къ народу, къ сельской жизни и всей наивной ея обстановкѣ. Какъ, однакожъ, послѣ этого растолковать себѣ испугъ, который всѣ рѣшительно обнаруживаютъ при столкновеніи съ самой дѣйствительностію?.. Виновата ли эта дѣйствитель-

ность, если праздность, городская скука и невѣдѣніе сельскаго быта внушаютъ намъ мечтанія о какомъ-то небываломъ, часто совершенно идиллическомъ мірѣ?.. Настроенные такимъ образомъ, мы, конечно, не находимъ въ деревнѣ того, чего искали. Разочарованіе ждетъ насъ уже у самой околицы...

Сельская жизнь пріучаетъ смотрѣть на тотъ же предметъ здраво, безъ преувеличенія. Взглядъ этотъ скоро примиряетъ съ народомъ. Грубая его сторона находитъ свое оправданіе въ непросвѣщеніи и общихъ свойствахъ человѣческой природы; она за нимъ и останется. Но зато, какія сокровища добра и поэзіи открываетъ другая сторона того же народа! Кого не удивитъ и вмѣстѣ съ тѣмъ не тронетъ слѣпая вѣра въ Провидѣніе,—этотъ конечный смыслъ всѣхъ философій, этотъ послѣдній результатъ мудрствованій и напряженій человѣческаго разума? Кого не тронутъ эти простодушно дѣтскія мысли и вмѣстѣ съ тѣмъ этотъ простой, здравый смыслъ, не стремящійся напрасно разгадывать тайны природы... нѣтъ! но принимающій дары ея съ чувствомъ робкимъ, но радостнымъ и исполненнымъ величайшей благодарности? Кто не умилится душою при видѣ этого всегдашняго, ежедневнаго труда, начатаго крестнымъ знаменіемъ и совершаемаго терпѣливо, безропотно?

Когда откроется передъ вами картина широкаго простора и на ней живой примѣръ тяжкаго труда и простой, первобытной жизни, всѣ ваши идилліи, плодъ праздной фантазіи, покажутся вамъ мелкими до ничтожества! Присмотритесь, и вы увидите, что поэзія дѣйствительности несравненно выше той, которую можетъ создать самое пылкое воображеніе!..

Прогулка.

XIII.

Наступало время, когда, послѣ долгой зимы, поселянинъ снова выѣзжаетъ въ поле; когда, приладивъ соху въ сошникъ, праздно лежавшій столько времени и успѣвшій покрыться ржавчиной, пахарь дѣлаетъ его чище серебра, взрывая согрѣтую солнцемъ землю. Наступало время первой пахоты и перваго посѣва. Я отправился въ поле.

Вечеръ былъ чудесный, — такой же почти, какъ когда я, нѣсколько дней тому назадъ, подъѣзжалъ къ дому.

Круглыя облака опаловаго цвѣта, съ бѣлыми сверкающими краями, какъ бы выкованными изъ свѣтлой жести, почти недвижно стояли въ небѣ, открывая глубокіе темноголубые просвѣты. Окрестность наполнялась радостнымъ сіяніемъ. Листья окончательно распустились, и зелень блистала повсюду; у опушекъ рощъ часто попадались фіалки и ландыши; блѣдно-розовые и бѣлые колокольчики повилики, которая, съ первымъ дуновеніемъ весенняго вѣтра, быстро переплетаетъ старое жнивье, начинали пестрить поля и разливали въ недвижномъ воздухѣ тонкій миндальный запахъ. Солнце, несмотря на первые дни мая и пятый часъ вечера, пекло, какъ въ іюлѣ. Но меня не пугали ни жаръ, ни дальность разстоянія (поля, куда я направлялся, считаются у насъ самыми отдаленными отъ жилья). Слѣдовало пройти холмъ и рощу, которые отдѣляютъ меня отъ деревни, миновать самую деревню и перейти рѣчку. Послѣ моста дорога пошла тотчасъ же въ гору. Волнистые скаты горы, то круглые и поросшіе кустарникомъ, то спускающіеся мягкими склонами и покрытые, мѣстами, березовыми и сосновыми лѣсочками, составляютъ правый бокъ зеленѣющей, живописной долины: на днѣ ея, полукруглыми извилинами, блеститъ рѣчка. Вершины этихъ скатовъ позволяютъ обозрѣвать всю окрестность; но прежде, чѣмъ достигнешь такой высоты, приходится очень долго подыматься.

Я почувствовалъ, наконецъ, что дорога стала какъ бы опускаться; вмѣстѣ съ этимъ воздухъ сдѣлался подвижнѣе. Окрестность открылась какъ на ладони; деревня казалась подлѣ самаго моста; домъ, холмъ и березовая рощица казались примыкавшими теперь къ деревнѣ. Все это — и домъ, и садъ, и деревня, принимали теперь видъ тѣхъ игрушекъ, гдѣ стебли мху изображаютъ деревья, кусочки зеркала—рѣчку. Овцы, разсыпанныя по лугу, на днѣ долины, мелькали, какъ бѣлыя крапины, которыя то сверкали на солнцѣ, то исчезали посреди длинныхъ голубыхъ тѣней, бросаемыхъ облаками. Поля занимали всю вершину горы; она была срѣзана какъ ножомъ и представляла версты на двѣ гладкую, какъ столъ, поверхность. Горизонтъ замыкался только небомъ и, слѣва, опушками рощъ, которыя спускались въ долину; облака на дальнемъ горизонтѣ выходили какъ будто изъ земли.

По мѣрѣ того, какъ я подвигался впередъ, вѣтеръ дѣлался замѣтнѣе. Иногда меня обдавало теплomъ, какъ изъ

жерла раскаленной печки, и вмѣстѣ съ этимъ сильнѣе приносился тучный запахъ земли, которымъ такъ легко, однакожъ, дышится. Крики: „возлѣ, возлѣ!“ которыми пахари понукаютъ лошадь, заставляя ее въ то же время идти подлѣ сосѣдней борозды, доходили явственнѣе. Вскорѣ передо мной совсѣмъ открылось поле, облитое солнцемъ и оживленное пахарями, лошадьми, подводами, глухимъ жужжаньемъ насѣкомыхъ и жаворонками, которые неумолкаемо заливались въ небѣ.

XIV.

Дорога вела въ самую середину полей; на всемъ протяженіи они перерѣзывались ровными десятинами. Пересохшія растенія и корни, выхваченные зубьями сохи, мѣстами, покрывали межи; мѣстами, межи рѣзко отдѣлялись зеленью молоденькой травки отъ коричневой, только что вспаханной почвы, исполосованной свѣжими бороздами. Земляныя испаренія струились и переливались въ воздухѣ, сообщая особенную, какую-то золотистую мягкость всѣмъ предметамъ, жарко облитымъ солнцемъ.

На углу почти каждой нивы стояла распряженная телѣга съ овсомъ. Въ сторонѣ, немного поодаль, виднѣлись пахари. Впереди всѣхъ шелъ всегда сѣятель. То былъ большею частію человѣкъ преклонный, отецъ или дѣдъ. Къ концамъ веревки, перекинутой черезъ плечо сѣятеля, прикрѣплялось рѣшето или кузовъ, наполненный зерномъ: выступая покойнымъ, сдержаннымъ шагомъ впередъ, старикъ то-и-дѣло опускалъ руку въ кузовъ, простиралъ ее потомъ по воздуху и разомъ выпускалъ зерна, которыя разсыпались всегда ровнымъ полукругомъ. Постепенно удаляясь и исчезая въ солнечномъ сіяніи, сѣятель уступалъ дорогу сыну или внуку, который управлялъ сохою и закрывалъ землею разбросанныя зерна. За нимъ, звеня и подпрыгивая, тащилась борона съ прицѣпившимися къ ея зубьямъ комками косматыхъ травъ и корней. Лошадью правилъ обыкновенно мальчикъ. Иногда лошадь, если только она была старая, привычная къ работѣ кобылка, шла сама собою: покорно слѣдуя за хозяиномъ, она изрѣдка позволяла себѣ замедлять шагъ, чтобъ не смять жеребенка, который, въ нетерпѣніи своемъ, вытягивалъ шею подъ оглоблю и припимался сосать ее изо всей мочи.

Но этимъ еще не оканчивалось шествіе: за каждой бороной летѣла въ безпорядкѣ стая галокъ, грачей, сизыхъ

и бѣлыхъ голубей. Они, казалось, совсѣмъ свыклись съ людьми и лошадьми: то жадно припадая къ землѣ, то взлетая на воздухъ, чтобы подраться за червячка, птицы слѣдовали все время за бороною, нимало не пугаясь крика и свиста пахарей. Все поле усѣяно было птицами...

XV.

Несмотря, однакожъ, на крикъ и свистъ пахарей, несмотря на звонкіе голоса птицъ и шумныя ихъ драки, несмотря на движеніе людей и лошадей, которые сновали взадъ и впередъ по десятинамъ, несмотря на щебетаніе мелкихъ птичекъ, жужжаніе насѣкомыхъ, фырканье лошадей, ржаніе жеребенка и пѣніе жаворонка, этого дарового музыканта пахаря,—несмотря на все это оживленіе и странное разнообразіе голосовъ и звуковъ, все представлялось однимъ гармоническимъ цѣлымъ. Широкій просторъ полей смягчалъ и сглаживалъ всѣ звуки. Вся эта дѣятельная картина посѣва принимала видъ чего-то мирнаго, какой-то кроткой радости и покоя!

Переходя отъ одной нивы къ другой, я незамѣтно приблизился къ опушкѣ послѣдней рощи. Тутъ оканчивалось поле. Послѣдняя десятина склонилась даже нѣсколько по скату, смотрѣвшему на западъ и на долину; защищенная отъ солнца рощею, которая обступала ее полукругомъ, она наполовину уже покрылась зубчатою тѣнью. Издали я увидѣлъ на ней одинокаго пахаря; онъ работалъ совершенно одинъ: самъ сѣялъ, самъ боронилъ, самъ управлялся съ сохою. Я удивился еще больше, когда подошелъ ближе. Пахарь принадлежалъ къ довольно многочисленному семейству. Особенно страннымъ казалось мнѣ, что съ нимъ не было его отца. Первый весенній сѣвъ пользуется въ простонародьѣ особымъ почетомъ: имъ преимущественно управляютъ старики. Прошлый еще годъ я видѣлъ старика на этой самой нивѣ и въ это самое время. Одиночество молодого парня было для меня необъяснимо: вся семья его слыла въ околоткѣ одною изъ самыхъ заботливыхъ, дѣятельныхъ въ полевыхъ работахъ. Я оставилъ межу, пошелъ полемъ и черезъ нѣсколько минутъ былъ подлѣ пахаря.

XVI.

Его звали Савельемъ. Это былъ парень еще молодой, лѣтъ тридцати, высокій, смуглый, съ правильнымъ, продолговатымъ лицомъ и кудрявыми, русыми волосами. На

видъ онъ не казался очень плотнымъ; но разстегнутый воротъ его бѣлой рубахи выказывалъ широкую, крѣпкую грудь, уже тронутую загаромъ на томъ мѣстѣ, гдѣ застегивался воротъ; плечи его и мускулы рукъ богатырски круглились, выпучивая складки рубашки; черезъ плечо его висѣлъ на веревкѣ большой кузовъ, полный зерна, но онъ держалъ его съ такимъ видомъ, какъ будто не зналъ, что такое тяжесть. Коричневые глаза его глядѣли спокойно, но прямо, откровенно. Солнце садилось за спиною пахаря, и вся фигура его, окаймленная золотыми очертаніями, красиво рисовалась передъ рощей, потопленной голубоватою тѣнью. Я подошелъ къ нему въ ту минуту, какъ онъ забросилъ вожжи на спину лошади и готовился сѣять.

— Что жъ это старика-то не видно? гдѣ онъ? спросилъ я.

— Старикъ дома, лежитъ, возразилъ пахарь, дѣлая шагъ впередъ.

— Что жъ такъ?

— Все хвораетъ, сказалъ онъ.

Я освѣдомился, почему, наконецъ, братъ не выѣхалъ въ поле, но получилъ въ отвѣтъ, что братъ остался съ больнымъ отцомъ.

— Ему съ самой весны все что-то нездоровится, подхватилъ Савелій, — а въ эти три дня нашъ старикъ совсѣмъ слегъ... Очень опасаемся: все думается, не встать ему; человѣкъ древній... долго ли? Вотъ ужъ третій день не ѣстъ, не пьетъ, слова не выговоритъ, все лежитъ, только что вотъ вздохнетъ иной разъ. Господь знаетъ, что такое! заключилъ онъ, отводя рукою кузовъ съ зерномъ и потупляя голову.

Мнѣ тотчасъ же представилось, что старика ударилъ параличъ: старикъ былъ дѣятеленъ не по лѣтамъ; съ приходомъ весны, дѣятельная природа его должна была, разумѣется, воскреснуть. Вѣроятно, по обыкновенію своему, онъ слишкомъ горячо принялъ къ работѣ; спѣша уладить разомъ многочисленныя дѣла, которыя падаютъ весною на простолюдина, онъ надорвалъ стариковскія свои жилы: къ этому, вѣроятно, примѣшалась также и кровь: разогрѣтая усиленнымъ трудомъ, а также и весеннимъ временемъ, она вдругъ расходилась и сковала параличомъ его ослабѣвшіе члены. Я началъ подробно разспрашивать сына обо всемъ случившемся.

XVII.

— Недѣли двѣ назадъ, началъ было Савелій, но остановился, сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ и принялся хлопать въ ладоши, чтобы отогнать стаю птицъ, которая расположилась въ телѣгѣ и взапуски клевала зерно,— недѣли двѣ будетъ, подхватилъ онъ, возвращаясь назадъ,— мы ничего такого не чаяли, какъ словно даже лучше стало, отлегло, сталъ поправляться... веснѣ, что ли, очень ужъ обрадовался, Господь знаетъ!.. Первый-то день, какъ всталъ, до самаго до обѣда ходилъ все по полю, смотрѣлъ озими; только на поясницу очень жаловался: „Поясница, говоритъ, добре очень одолѣла". Вечеромъ прихожу я къ нему на гумно, онъ и говоритъ мнѣ: „Вотъ, говоритъ, Савелій, весна на дворѣ..." говоритъ такъ-то, а самъ все кругомъ осматривается. „Весна, говоритъ, на дворѣ, наши пахать ѣдутъ". Сталъ онъ тутъ на силу на свою жаловаться: „Сила, говоритъ, обманула меня... Знать ужъ, говоритъ, не придется мнѣ нонче и попахать съ вами..."— „Полно, говорю, батюшка! что напредки загадывать, Богъ милостивъ!" — „Нѣтъ, говоритъ, не пахать мнѣ нонче съ вами... сердце мое чуетъ!" Подошелъ послѣ того къ соломѣ, маленечко постоялъ, легъ на нее, да вдругъ какъ заплачетъ! индо жаль стало!.. Никогда съ нимъ этого не было. Такъ почитай пролежалъ до самаго до вечера; насилу уговорили въ избу пойти. На другой день опять какъ будто стало легче, опять въ поле ушелъ...

— Какъ же вы его не удержали? перебилъ я.

— Кто его удержитъ! хлопотливъ очень, заботливъ! такой-то завистливый въ работѣ, другого такого не найдешь! Мы и то говорили ему, и матушка говорила — ничего не слушаетъ. Пришелъ это онъ домой, суетится, хлопочетъ, самъ до всего доходитъ, борону чинить зачалъ; а ужъ куды: у самого руки-то такъ и дрожатъ; ходитъ по всему двору, по всѣмъ угламъ... точно, взаправду, чуяло его сердце, словно со всѣмъ домомъ ходитъ прощается... даже мы съ братомъ подивились... Нѣтъ, видно, ужъ не встать ему!.. добавилъ Савелій, послѣ минутнаго молчанія.

Я спросилъ о томъ, что произошло три дня тому назадъ.

— И Богъ знаетъ, какъ сказать, что такое! произнесъ Савелій, заботливо тряхнувъ головою, — пошелъ онъ къ лошадямъ корму засыпать. Онъ вѣдь у насъ до лошадей-то

охотникъ: никто и не подходи окромя его! Стали это я да братъ его уговаривать; видимъ, чуть на ногахъ держится, и матушка къ намъ пристала. Опять не послушалъ: „Ничего, говоритъ, авось, какъ промнусь, легче будетъ!..“ Ничего вѣдь съ нимъ не сдѣлаешь!.. Вотъ матушка и говоритъ намъ, мнѣ да брату: „Что-то, говоритъ, долго старикъ нейдетъ; поглядите-ка, сходите, гдѣ онъ...“ Пошли мы съ братомъ; глянули подъ навѣсъ, а онъ тамъ и лежитъ. Стали спрашивать: слова не добьешься, лежитъ словно мертвый; такъ безъ языка домой и принесли. Съ тѣхъ самыхъ поръ не вставалъ, трое сутокъ безъ языка лежитъ!..

— Надо было тотчасъ же кровь пустить, какъ же вы не подумали объ этомъ? воскликнулъ я, нимало не сомнѣваясь, что старикъ остался бы живъ, если бъ приняты были своевременно мѣры.

— Братъ и то два раза ѣздилъ, сказалъ Савелій;—два раза кровь отворяли — не пошла только! должно-быть, сильно ужъ она въ немъ запечаталась! Такъ ужъ, знать, Господь уставилъ, что помереть ему надо! ужъ, видно, не топтать ему травы! заключилъ онъ спокойнымъ, но такимъ грустнымъ голосомъ, что у меня ёкнуло на сердцѣ.

Съ послѣдними словами Савелій приложилъ ладонь къ глазамъ, въ видѣ зонтика, и пристально посмотрѣлъ въ поле. Такъ какъ въ послѣднее время слова его часто сопровождались этимъ движеніемъ, я невольно взглянулъ въ ту сторону. На дорогѣ, которая вилась по полю, я увидѣлъ бабу. Она быстро подвигалась впередъ, иногда даже принималась бѣжать; она махала руками и направлялась прямо къ опушкѣ рощи.

Савелій, между тѣмъ, поставилъ на-земь коробъ съ зерномъ. Онъ не отымалъ ладони отъ глазъ. По мѣрѣ того, какъ баба приближалась, я замѣтилъ, что въ чертахъ пахаря проступало безпокойство, брови его судорожно изгибались, ноздри вздрагивали; весь онъ превращался, казалось, въ зрѣніе. Немного погодя, я могъ различать черты приближавшейся женщины; это была жена Савелья.

XVIII.

Она остановилась еще разъ, чтобы перевести духъ, и пустилась бѣжать быстрѣе прежняго.

— Савелій! Савелій! домой ступай! скорѣе ступай домой! крикнула она, когда была еще на дорогѣ.

Лицо ея было красно и выражало всѣ признаки сильнѣйшаго замѣшательства; крупныя капли пота текли по разгорѣвшимся щекамъ вмѣстѣ съ слезами, которыми вымочены были ея глаза и рѣсницы; безпорядокъ въ ея чертахъ и одеждѣ показывалъ безпорядокъ и смущеніе чувствъ.

— Что случилось? спросили мы.

— Батюшка отходитъ!.. ступай прощаться!.. проговорила она, прижимая руки къ груди и едва переводя одышку.

Я взглянулъ на Савелья. Онъ стоялъ съ понурою головою и тяжело опущенными руками; съ минуту стоялъ онъ какъ громомъ пораженный. Можно было думать, что, говоря со мною за нѣсколько минутъ о смерти родителя, онъ не вѣрилъ въ душѣ, чтобы она пришла такъ скоро... Нѣтъ такого очевиднаго горя, въ которомъ человѣкъ не старался бы обмануть себя и не подкрѣплялъ бы себя надеждой. Въ простонародьѣ существуетъ даже повѣрье, что лучшее средство избавиться отъ несчастья заключается въ томъ, что надо говорить о немъ, какъ о предметѣ вѣрномъ, несомнѣнномъ. Меня поражало, однакожъ, въ пахарѣ его внѣшнее спокойствіе: лицо его было скорѣе грустно-задумчиво, чѣмъ взволновано; только вздрагивающія вѣки и ноздри измѣняли ему. Жена его, между тѣмъ, заламывала руки, била себя кулакомъ въ грудь и разливалась-плакала.

— Ступай же скорѣй... совсѣмъ ужъ отходитъ... простись поди... чего ты стоишь? говорила она, дергая его за рукавъ,—всѣ наши въ избѣ давно... за дядей Карпомъ поѣхали... пойдемъ скорѣй... я подсоблю съ лошадьми управиться! заключила она, поспѣшно направляясь къ лошадямъ, щипавшимъ траву на межѣ.

Савелій нѣсколько секундъ оставался недвиженъ; наконецъ, онъ медленно, какъ бы стараясь привести себя въ память, провелъ ладонью по волосамъ, тяжко вздохнулъ, перекрестился и пошелъ за женою.

Въ движеніяхъ его, когда онъ припрягалъ лошадь въ подводу, не было замѣтно малѣйшей суетливости: онъ не забылъ ни одного ремешка, ни одной мелочи, хотя мысли его, очевидно, были далеки отъ дѣла. Онъ точно не видѣлъ и не слышалъ жены: во все время онъ слова ей не сказалъ, даромъ что она не переставала тормошить его, суетилась безъ толку, плакала и говорила безъ умолку,

вычисляя, въ скорбныхъ выраженіяхъ, добродѣтели умирающаго. Наконецъ, возъ былъ увязанъ, лошади взнузданы, соха перекинута сошникомъ кверху, и они оставили ниву. Я пошелъ за ними.

Поля начинали покрываться красноватымъ блескомъ; однѣ межи ярко освѣщались солнцемъ, глядѣвшимъ между рощами, и тѣни отъ рощъ захватывали иногда цѣлые участки. Поля пустѣли. Кой-гдѣ, на отдаленной пашнѣ, золотилось облако пыли, и изъ него выглядывала лошадь, съ сидѣвшимъ на ней пахаремъ, который возвращался съ работы. Птицы несмѣтными стаями кружились высоко въ небѣ; но, отставая постепенно другъ отъ дружки, онѣ опускались въ рощи. Тѣни, между тѣмъ, быстрѣе бѣжали впередъ и вмѣстѣ съ тѣмъ, съ каждою минутой, умолкала шумная дѣятельность поля.

Пахарь.

XIX.

Я зналъ отца Савелія еще въ дѣтствѣ. Но не одни воспоминанія прошлаго привязывали меня къ нему и заставляли сожалѣть о немъ: можно сказать безъ преувеличенія, что вмѣстѣ съ нимъ весь околотокъ лишался одного изъ самыхъ почтенныхъ, самыхъ достойныхъ стариковъ своихъ.

Иванъ Анисимычъ, или, просто, Анисимычъ (такъ звали старика), принадлежалъ къ числу тѣхъ трудолюбивыхъ, дѣловыхъ пахарей стараго вѣка, которые, къ величайшему сожалѣнію, переводятся годъ отъ году. Особенно рѣдко теперь встрѣчаются въ нашихъ мѣстахъ. По мѣрѣ того, какъ развивался у насъ фабричный промыселъ, воздѣлываніе полей приходило въ упадокъ; челнокъ, красная рубаха и гармонія замѣтно смѣняли соху, балалайку и лапти; вмѣстѣ съ тѣмъ замѣтно также исчезалъ типъ настоящаго, коренного, первобытнаго пахаря. Въ послѣдніе дни одинъ Анисимычъ исключительно, можно сказать, жилъ своимъ полемъ. Его не сокрушали даже неурожайные годы. Онъ продолжалъ пахать, боронить и сѣять даже въ то время, когда фабрики стали приносить очевидныя выгоды противъ пашни. Но не упрямство управляло имъ, не закоснѣлая привычка къ старому прадѣдовскому ремеслу; не управляли имъ также расчетъ и тонкая смѣтливость: старикъ нимало не соображалъ о

томъ, что не вѣкъ же продлятся неурожайные годы, не вѣкъ же миткалю будетъ цѣна высокая! Въ умѣ его было меньше, можетъ-быть, хитрости и пронырства, чѣмъ у любого тридцатилѣтняго фабричнаго щеголя. Наконецъ, мнѣ сказывали, онъ считалъ даже грѣшнымъ дѣломъ впередъ загадывать: „что будетъ, то все въ руцѣ Господа; словесами либо думой тутъ не поможешь", говорилъ онъ. Старикъ не разставался съ полями потому только, кажется, что свыкся съ ними и шибко къ нимъ привязался. Мудренаго нѣтъ: онъ началъ привыкать къ нимъ еще въ то время, когда покойная его мать, отправляясь на жнитво, носила его туда въ люлькѣ. А это было очень давно: Анисимычъ доживалъ уже теперь восьмой десятокъ.

XX.

Съ мыслію о смерти стараго пахаря, вся простая жизнь его, исполненная безропотнаго, неусыпнаго труда и дѣтскаго простодушія, ясно представилась моему воображенію; даже мелкія черты характера и пичтожные эпизоды его скромнаго существованія, которые давнымъ-давно были мною забыты, стали выясняться, какъ бы для того, чтобы въ минуту смерти оставить о немъ еще больше сожалѣнія.

Меня особенно поражали въ немъ всегда необычайная кротость нрава, чистота помысловъ и благочестіе. Единственная вещь, быть-можетъ, которой не любилъ онъ, было миткалевое производство; но никогда, однакожъ, не относился онъ съ насмѣшкой, злобой или пренебреженіемъ, когда рѣчь заходила объ этомъ предметѣ. Онъ, помнится, покручивалъ только сѣдою головою и говорилъ: „Худое ремесло то, когда ничего не дѣлаешь! Коли человѣкъ кормится фабриками, стало, и въ нихъ прокъ есть. Не хороша только жизнь фабричная — вотъ что похвалить нельзя; не хороши эти гулянки, да кабаки, да пищалки эти (такъ называлъ онъ гармоніи). Что денегъ-то даютъ хозяева, присовокуплялъ онъ обыкновенно, — за этимъ гнаться нечего: деньги только въ соблазнъ вводятъ. Нашему брату денегъ не надобно; былъ бы хлѣбъ святой. Есть хлѣбъ, ни въ чемъ, значитъ, недостатка не будетъ, потому хлѣбъ всѣмъ надобенъ, всякому то-есть человѣку; на что хочешь можно промѣнять его!.. По-моему, пахота самое, выходитъ, первое дѣло! заключалъ всегда старикъ, рѣдко процускавшій случай поговорить о ремеслѣ своемъ,

когда былъ въ духѣ, и стараясь при этомъ выставлять всѣ его выгоды.—Да! пахота всякому ремеслу голова! Какое ни есть рукомесло, ужъ это все, значитъ, живешь при немъ какъ словно не въ удовольствіи: фабриканту ли какому, или хозяину работаешь, имъ, примѣрно, и отвѣчать должонъ. Люди-то неравны — вотъ что! И хорошо сдѣлаешь, всѣми силами стараешься, да не угодишь; ну, сердце-то и кипитъ въ тебѣ, все не въ удовольствіи... Ну, а съ пахотой этого не бываетъ: самъ себѣ работаешь, самъ себѣ и отвѣчаешь: старался—значитъ, тебѣ же хорошо; полѣнился, не родилось ничего — самъ, выходитъ, на себя и пеняй!.. И живешь покойнѣе, потому, выходитъ, серчать не на кого: весь ты, какъ есть, во власти Господней!"

Анисимычъ доказывалъ на дѣлѣ, какъ мало имѣлъ пристрастія къ денежному барышу. Когда заводился лишній грошъ, онъ спѣшилъ принапять лишней земли, употреблялъ его на покупку какой-нибудь снасти или на поправку домашней, хозяйственной принадлежности. Во всемъ околоткѣ дѣти, моложе даже восьми лѣтъ, занимались размоткою бумаги и доставали этой работой „на соль", какъ выражались отцы ихъ. Анисимычъ слышать не хотѣлъ объ этомъ. Ребятишки его пользовались полной свободой бѣгать по полямъ и рощамъ. На четырнадцатомъ году, однакожъ, старшій братъ Савелья ловко уже управлялъ сохою и никогда не портилъ борозды.

XXI.

И не разстраивался какъ-то Анисимычъ, несмотря на неурожайные годы, несмотря на добровольное лишеніе выгодъ, которыя могли доставить ему фабрики. Соблюдая строгій хозяйственный порядокъ, живя просто, неприхотливо, онъ ни въ чемъ никогда не нуждался; онъ находилъ даже способъ быть запасливымъ. Часто даже доводилось зажиточнымъ крестьянамъ занимать у него муку и зёрна на посѣвъ. Въ этихъ случаяхъ, надо замѣтить, старикъ оказывался всегда очень „крѣпкимъ". Человѣкъ безпутный, нетрезвый, не выманилъ бы у него куска льду зимою. Онъ не давалъ взаймы безъ разбора; но когда случалось ссужать сосѣда, то дѣлалъ это никогда не требуя вознагражденія. Благодаря промышленному состоянію края, въ рѣдкой деревнѣ не сыщешь своего рода ростовщика. Мужикъ, застигнутый врасплохъ нуждою, беретъ у

него овесъ, соль и деньги, съ тѣмъ, чтобы, по истеченіи условнаго срока, отдать въ полтора раза больше. У насъ, слѣдовательно, простолюдинъ знакомъ очень хорошо съ процентами. Старому пахарю часто предлагали отдать долгъ съ залишкомъ, лишь бы только смягчить его: онъ всегда отказывался. Ему выставляли на видъ, что если бъ онъ бралъ лишки съ должниковъ, то въ скоромъ бы времени обогатился; но такія рѣчи встрѣчали всякій разъ въ пахарѣ самое полное равнодушіе: онъ слушалъ ихъ, какъ будто онѣ вовсе не къ нему относились. Отвѣтъ его былъ постоянно одинъ и тотъ же:

— Я денегъ не даю, говорилъ онъ, — денегъ у меня нѣтъ; я хлѣбъ даю... коли есть; хлѣбъ — даръ Божій!.. Господъ съ насъ процентовъ не беретъ, стало и намъ грѣхъ, не приходится... Хлѣбъ—дѣло святое,—не то, что деньги; деньги отъ человѣка! онъ ихъ выдумалъ, онъ ихъ и дѣлаетъ...

Анисимычъ слылъ мастакомъ во всякомъ хозяйственномъ дѣлѣ. Знаніе его, соединенное съ услужливостію и необыкновенною терпимостію нрава, было причиной, что часто также прибѣгали къ нему съ просьбами другого рода. Къ нему ходили за совѣтомъ. Встрѣчалась ли сосѣду надобность купить корову и лошадь, Анисимычъ долженъ былъ прежде осмотрѣть животное: приговоръ старика рѣшалъ тотчасъ же дѣло. Требовалось ли соорудить новую снасть, купить топливо на зиму или лѣсу на избу, опять обращались къ его опытности. Во всемъ, что касалось полевыхъ работъ, Анисимыча слушали, какъ оракула. Глядя на то, что онъ дѣлалъ, дѣлали и другіе: онъ выѣзжалъ сѣять — вся вотчина сѣяла, онъ не косилъ — никто не бралъ косы, хотя бы даже минули Петровки.

— Анисимычъ разсаду сажать выѣхалъ: стало, время! говорили бабы.

XXII.

И точно: лучше старика никто не могъ знать о времени жнитва и посѣва, о свойствахъ земли и зеренъ. Болѣе шестидесяти лѣтъ прожилъ онъ въ поляхъ; постепенно, годъ за годъ, сроднялся онъ тѣснѣе съ почвой. Въ этомъ сродствѣ его съ полями было что-то трогательное. Эти три-четыре нивы, которыя пахали его отецъ, дѣдъ и прадѣдъ, обусловливали всю его жизнь: отъ нихъ зависѣло благосостояніе дѣтей его и цѣлаго семейства; онъ возла-

галъ на нихъ всѣ свои надежды и всегда съ жаркою молитвой поручалъ ихъ Богу. Сколько заботъ и попеченій онѣ ему стоили, сколько тревогъ и радостей принесли онѣ ему, сколько пота пролилъ онъ на нихъ въ эти шестьдесятъ лѣтъ своей трудовой жизни!

Но и онѣ какъ будто понимали его; между ними установилось какъ словно тайное сочувствіе.—„Эхъ! скажетъ бывало старикъ, оглядывая лѣтомъ свое поле,—вотъ этотъ осминничекъ какъ славно обманулъ меня! Мало ли положилъ я въ тебя зеренъ,—не жалѣлъ, кажется! и вспахалъ лучше быть нельзя! А колосъ-то жиденькій, соломка тощая!.. Обманулъ ты меня!..“ Проходитъ лѣто, жатва скошена, ужъ журавли летятъ въ теплыя стороны. Анисимычъ снова въ полѣ, снова идетъ къ осминнику, который не оправдалъ его надежды. Старикъ крестится, съ удвоеннымъ стараніемъ бороздитъ его вдоль и поперекъ, раза два лишнихъ боронитъ и вспахиваетъ, прилаживаетъ лишній камень на борону.—„Ну, теперь ладно, надо быть; не надо бы, кажется, теперь обманывать! скажетъ онъ, обтирая рукавомъ крупныя капли пота,—такъ запахано, комушка нѣтъ! какъ пухъ землица! Славная будетъ постелька для зернышка!..“ И, въ самомъ дѣлѣ, на другое лѣто, старикъ не натѣшится, глядя на свой осминникъ, покрытый изъ края въ край частымъ, высокимъ стеблемъ, который плавно колышется на вѣтрѣ, шумя тяжелыми гроздьями золотого овса. Эти три-четыре нивы были для него цѣлымъ міромъ, въ которомъ жилъ онъ всѣми своими помыслами, всею душою. Мысли его рѣдко переносились за предѣлъ зеленѣющихъ межей, окружавшихъ его поле.

XXIII.

Но и въ этомъ тѣсномъ горизонтѣ научился онъ многому. Премудрость Божія не такъ же ли безконечно поразительна въ стеблѣ травы, какъ и въ громадныхъ явленіяхъ природы! Довольно было старому пахарю прожить свой вѣкъ подъ этимъ узенькимъ клочкомъ неба, между этими бѣдными холмами и рощами, чтобы пріобрѣсть опытъ и значеніе, которые составляютъ мудрость сельскаго жителя. Не этотъ ли опытъ и знаніе помогали старику поддерживать благосостояніе семьи и тѣхъ окружающихъ, которые хотѣли слушать его совѣтовъ?

— А что, Анисимычъ, не пора ли овесъ сѣять? вымолвитъ сосѣдъ, выходя весною за ворота, чтобы погрѣться

на солнцѣ.—Вишь, теплынь какая стала, даже паръ отъ земли пошелъ!

— Нѣтъ, погоди, скажетъ старый пахарь, — ходилъ я нонче въ поле, глядѣлъ: листъ что-то малъ на дубкахъ, не совсѣмъ еще развернулся,—ждать надо холоду, сталобыть; можетъ-статься, еще будетъ и сиверка: овесъ этого не любитъ! Сѣй его, какъ листъ дубовый развернется въ заячье ухо: тогда и сѣй, потому, значитъ, земля тогда готова, за свой родъ принялась.

У него на все были свои примѣты. Онѣ, надо полагать, постоянно оправдывались въ продолженіе цѣлыхъ шестидесяти лѣтъ: онъ слѣпо имъ вѣрилъ! Разъ, помнится мнѣ, всю весну лили безпрерывные дожди; земля въ поляхъ размокла, какъ кисель; кругомъ стали опасаться за корень ярового хлѣба. Не унывалъ одинъ Анисимычъ. А, между тѣмъ, ему болѣе, чѣмъ всякому, слѣдовало бы тревожиться: поле составляло все его богатство; но онъ оставался покойнымъ: онъ утвердительно говорилъ, что лѣто будетъ ведреное и все высушитъ, все поправитъ. Другого объясненія не было, какъ то, что въ день апостола Якова (30 апрѣля) солнце взошло въ ясномъ, безоблачномъ небѣ, и весь день не видно было ни одной тучки. Старикъ присоединялъ къ этому еще другую примѣту: онъ наблюдалъ вскрытіе рѣки; рѣка вскрылась рано и дружно, а, по словамъ его, это служило несомнѣннымъ знакомъ благополучнаго лѣта. Предсказаніе его оправдалось какъ нельзя лучше. Основываясь на примѣтахъ, онъ почти всегда вѣрно угадывалъ о злой и счастливой судьбѣ, которая ожидала поселянина въ полѣ. Помня день, когда началъ завязываться первый колосъ, онъ безошибочно высчитывалъ, день въ день, всѣ періоды произрастанія хлѣба и всегда вѣрно опредѣлялъ срокъ жатвы.

— Что ты, Анисимычъ, на лугъ-то уставился? шутливо замѣчалъ сосѣдъ.—Лошадей, что ли, высматриваешь?

— Нѣтъ, на гусей гляжу.

— А что?

— Да все что-то на одну ногу становятся: надо-быть, скоро снѣжокъ выпадетъ!.. Вонъ также и журавли: вишь, какъ низко летятъ. По всему сдается, рано нонче зима станетъ.

Иной разъ радостно ожидалъ онъ дружную, теплую весну. „Былъ я нонче въ полѣ, говорилъ онъ,—ни одного грача не видно; а ужъ давно прилетѣли! Прямо, значитъ,

на гнѣзда на свои сѣли: тепло, значитъ, чуютъ, торопятся дѣтей выводить". Стоитъ иной разъ засуха, вся деревня носъ повѣсила; Анисимычъ ходитъ, бывало, всѣхъ ободряетъ. Полагаясь на какую-нибудь примѣту, онъ весело поглядываетъ на нивы, палимыя солнцемъ. „О чемъ вы? скажетъ, бывало, — и дождикъ, и вѣтры, и солнце, — все это въ рукѣ Божіей. Онъ знаетъ, что̀ дѣлаетъ, у Него все сосчитано, всѣ дни и весь годъ уравненъ: не пропадетъ зря ни единой капельки во весь годъ, не колыхнетъ вѣтеръ стебля, коли не ко времени. Онъ знаетъ лучше, что̀ надобно..." Въ истинно скорбное время, когда солнце спалило хлѣбъ, или градъ скосилъ до тла дозрѣвающую рожь, онъ никогда не отчаивался, никогда не падалъ духомъ: имъ овладѣвало тогда какое-то сосредоточенное, задумчивое спокойствіе. „Тутъ ничѣмъ не поможешь, были всегдашнія слова его, — надо Бога просить, чтобъ на будущее время помиловалъ..." И снова принимался онъ съ прежней довѣренностью дѣлать свои наблюденія.

Однимъ словомъ, примѣты эти наполняли жизнь его, онѣ управляли каждымъ его дѣйствіемъ: не брался онъ ни за какое дѣло, не посовѣтовавшись сначала съ знаменіями, которыя природа, какъ нѣжная мать, заботливо разсыпаетъ по лицу своему въ назиданіе человѣку, отдавшему ей свое существованіе. Не голосъ ли это Божій слышится намъ въ этихъ знаменіяхъ? не потому ли и жизнь стараго пахаря протекла такъ беззаботно и мирно, что такъ покорно слушался онъ этого таинственнаго голоса?...

XXIV.

Нѣтъ, какъ бы сильно ни чувствовали мы природу, она никогда не можетъ говорить намъ столько, сколько скажетъ пахарю. Такъ уже судьба поставила насъ, что между природою и нами нѣтъ и быть не можетъ близкой, родственной связи. Мы только мимоходомъ восхищаемся ея красотами или вдаемся, по поводу ея явленій, въ сухія теоріи и сухія изслѣдованія: въ обоихъ случаяхъ, не является ли она передъ нами книгой, въ которой мы любуемся картинками, но не разбираемъ текста?

Простолюдина мало трогаютъ красоты ея: онъ не размышляетъ, какъ мы, о ея таинствахъ (размышлять, судить о чемъ-нибудь, не значитъ ли отрѣшать уже себя, нѣкоторымъ образомъ, отъ обсуждаемаго предмета, считать себя, если не выше его, то хотя исключеніемъ?).

Пахарь сродняется съ природой отъ колыбели; онъ покоряется безъ размышленія ея законамъ, онъ живетъ ея жизнью; его судьба, радости и горести, — все въ рукахъ ея. И природа, какъ будто сознавая дѣтское безсиліе пахаря и тронутая его зависимостью, постепенно бросаетъ къ ногамъ своимъ таинственные свои покровы; она открываетъ ему грудь свою и знакомитъ его съ собою. Величаво-молчаливая съ ними, гордыми міра сего, она говоритъ пахарю и распускающимся листомъ, и восходомъ солнца, говоритъ ему мерцаніемъ звѣздъ, теченіемъ вѣтра, полетомъ птицъ и тысячею-тысячею другихъ голосовъ, которые для насъ, гордыхъ міра сего, останутся навсегда языкомъ непонятнымъ.

Тому, кого занимали только расчеты по поводу сельскаго хозяйства и сельской жизни, тому никогда не понять поэзіи, которая заключена въ этомъ родствѣ пахаря съ землей и природой. Есть вещи, свѣтлая сторона которыхъ открывается только сердцу. Если находятся люди, которые чувствуютъ эту поэзію, стало-быть, она существуетъ; но почему не предположить, что душѣ пахаря сознательно доступна хоть одна сторона ея? Человѣкъ, который не можетъ ни дать отчета въ своихъ впечатлѣніяхъ, ни выразить ихъ словами, конечно, кажется бѣднѣе одареннымъ того, кто обладаетъ такими способностями; но слѣдуетъ ли заключать, что онъ ничего не чувствуетъ? Почему знать, о чемъ думаетъ пахарь, когда, выйдя въ поле на зарѣ яснаго весенняго утра, оглядываетъ онъ свои нивы? Неужели улыбка на лицѣ его и радость на сердцѣ служатъ только выраженіемъ грубаго чувства и увѣренности въ будущемъ барышѣ и выгодахъ? Отчего же, глядя на нивы свои, не можетъ онъ припоминать и осенній вечеръ, въ который засѣвалъ ихъ, и теплую молитву, съ которой поручалъ ихъ тогда Богу, и семейную радость, когда омыло ихъ первымъ дождикомъ, и тѣ стократъ счастливые дни, когда увидѣлъ онъ, что эти голыя поля, поднятыя его рукою, начинали покрываться частою, сочною зеленью?.. Что же такое поэзія, если не живое представленіе мирныхъ минувшихъ радостей?..

XXV.

Анисимычъ никогда не былъ ни старостой, ни даже сотскимъ; онъ, какъ особенной милости, просилъ всегда, чтобъ избавили его отъ всякой почетной должности. При

всемъ томъ, его почитали и слушали больше даже, чѣмъ начальниковъ, которые избирались міромъ.

Въ деревенскомъ быту, несмотря на внѣшнія грубыя формы, нравственныя качества такъ же хорошо взвѣшиваются, какъ и въ образованномъ сословіи; вліяніе нравственной личности такъ же здѣсь замѣтно и сильно, какъ и тамъ. Здѣсь точно такъ же взвѣшены права на уваженіе каждаго лица и семейства. Въ каждомъ углу разсчитываютъ поступки каждаго, разбираютъ, кто съ кѣмъ въ родствѣ, почему лучше отдать дочь замужъ въ такой-то домъ или взять такую-то для сына, и все это не въ одномъ денежномъ смыслѣ. Общественное мнѣніе господствуетъ надъ всѣми и управляетъ поступками каждаго болѣе, чѣмъ думаютъ.

Не было примѣра, чтобы мірская сходка обходилась безъ Анисимыча. А между тѣмъ онъ стоялъ въ какомъ-то исключительномъ положеніи, какъ пахарь въ фабричной деревнѣ, не былъ ни особенно богатъ, ни силенъ, ни крикливъ; но его слушали, и совѣтъ его служилъ всегда послѣднимъ, рѣшительнымъ приговоромъ. То же самое было во всѣхъ крайнихъ, запутанныхъ дѣлахъ и даже въ семейныхъ распряхъ: что скажетъ, бывало, старикъ, то и свято. Мнѣ ясно представляется теперь одинъ случай:

Дѣлились два брата. Всякій, кто жилъ въ деревнѣ, знаетъ, съ какими трудностями сопряжены дѣлежи такого рода. Какъ раздѣлить, напримѣръ, одну избу между двумя человѣками? Не разрубить же ее пополамъ, въ самомъ дѣлѣ! Какъ уравнять цѣнность лошади съ нѣсколькими овцами или цѣнность хозяйственныхъ орудій съ домашнею утварью? Дѣлежъ между двумя братьями не подвигался къ концу, несмотря на дѣятельное участіе міра и конторы.—„Позвать развѣ Анисимыча: что онъ скажетъ!“ замѣтилъ кто-то. Братья и всѣ присутствующіе выразили согласіе. Послали за старикомъ, и, немного погодя, онъ явился. Сначала онъ долго отговаривался, говорилъ, что что бы ни сказалъ онъ, одинъ изъ братьевъ все-таки останется не въ удовольствіи, и проч.; но къ нему приступили рѣшительнѣе и потребовали отвѣта. — „Ну, во имя Отца и Сына и Святаго Духа!“ сказалъ онъ тогда, набожно осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ. (Онъ объяснилъ потомъ движеніе это тѣмъ, что „просилъ Господа помочь ему судить по-божески, по-справедливому, а не по-человѣческому“). Затѣмъ, онъ рѣшилъ споръ такимъ

образомъ: все хозяйство и весь скотъ слѣдовало раздѣлить пополамъ, какъ „пріобрѣтенное“; но хлѣбъ—даръ Божій! Богъ печется о каждомъ человѣкѣ и посылаетъ хлѣба каждому сколько нужно: хлѣбъ надо дѣлить, слѣдовательно, по душамъ; и одного брата три души, у другого восемь: такъ послѣднему больше надо.

Такъ и сдѣлали.

XXVI.

Въ жизни пахаря, которая протекла такъ же спокойно и тихо, какъ песокъ стеклянныхъ часовъ, было, однакожъ, одно сильное потрясеніе. На семью его пала рекрутская очередь. Его не предупредили въ этомъ, слова не сказали: думали сдѣлать лучше. Но разъ ночью пришли къ нему въ избу и захватили одного изъ сыновей его, перваго, который попался. (Говоря потомъ объ этомъ, онъ сказывалъ, что сердце его въ эту минуту сдѣлалось вдругъ тяжелымъ, какъ пудъ, и словно окаменѣло.) Но случай этотъ его поразилъ такъ сильно только по своей неожиданности. Прійдя въ себя, старикъ побѣжалъ въ контору и просилъ, чтобы ему самому предоставили выборъ дѣтей. На другой день онъ отвезъ всѣхъ трехъ сыновей въ городъ.

До сихъ поръ еще, многимъ лицамъ, присутствовавшимъ на ставкѣ, памятна сцена, когда, послѣ произнесенія очередного имени, въ дверяхъ присутствія явился вдругъ сѣдой, шестидесятилѣтній старикъ.—„Ваше благородіе! сказалъ онъ, обращаясь ко всѣмъ членамъ присутствія,—очередь за моею семьею. У меня три сына... пытался—не могу выбрать: всѣ равно дороги!.. Соблаговолите позвать всѣхъ трехъ... выбирайте ужъ лучше сами!..“—Въ комнату вошли три парня, одинъ краше другого. Двое стали по правую руку отца, одинъ по лѣвую. Старикъ обнялъ поочередно всѣхъ трехъ и произнесъ, положивъ имъ сперва руку на голову: „Всѣ милы!.. всѣ дороги!.. всѣ хороши!..“ Тутъ дыханіе какъ бы стѣснилось въ груди его; онъ остановился, покачалъ головою, тяжко вздохнулъ и вдругъ залился слезами. Присутствующіе, тронутые его положеніемъ, стали его успокоивать. Онъ попросилъ позволенія кинуть жребій. Вынувъ изъ кошелька три мѣдные гроша, онъ подалъ ихъ дѣтямъ, внимательно потомъ осмотрѣлъ каждый грошъ, положилъ на каждомъ знакъ зубами и велѣлъ бросить ихъ въ шапку.

„Вамъ, ваше благородіе, сказалъ онъ, обратясь опять

ко всѣмъ,—вамъ, я вижу... вы о нихъ также жалѣете... прикажите ужъ лучше позвать какого ни-на-есть человѣка... который не видалъ меня съ ними... Пускай ужъ лучше онъ жеребій вынетъ..." Позвали солдата. Старикъ сказалъ ему: „Какъ вынешь жребій, никому не показывай... мнѣ отдай..." — Жеребій вынутъ. Старикъ взялъ грошъ у солдата, отошелъ къ окну, взглянулъ на него, дрогнулъ, но тотчасъ же оправился, перекрестился и возвратился къ дѣтямъ. „Вася, вымолвилъ онъ, обратясь къ младшему,—Вася... голубчикъ мой! подойди ко мнѣ..."— Онъ снова положилъ ему руку на голову, съ минуту глядѣлъ на него молча и наконецъ произнесъ: „Ты былъ... да, былъ ты мнѣ хорошимъ сыномъ... завсегда хорошъ былъ... будь же хорошимъ солдатомъ царю нашему..." Онъ обнялъ его, благословилъ и, закрывъ ладонью лицо, пошелъ къ двери, плача какимъ-то дѣтскимъ плачемъ.

Кончина.

XXVII.

Припоминая прошлое и стараясь представить себѣ какъ можно яснѣе почтенную личность стараго пахаря, я незамѣтно миновалъ поле. Я даже удивился, когда увидѣлъ себя вмѣстѣ съ Савельемъ и его женою на скатѣ горы, откуда открывались деревни и окрестность.

Солнце приближалось уже къ горизонту. Долина наполнялась тѣнью; тамъ только, гдѣ мѣстность въ долинѣ нѣсколько подымалась или гдѣ возвышалась роща, выступали яркія пятна свѣта, которыя казались тѣмъ ослѣпительнѣе, что ихъ окружалъ голубоватый сумракъ. Верхушки одинокихъ деревъ, разбросанныхъ кое-гдѣ по долинѣ, принимали издали видъ золотыхъ островковъ, плавающихъ въ синемъ морѣ. Посреди пестрой смѣси свѣта и тѣни, особенно сильно освѣщалась улица; лучи солнца прямо били на одинъ бокъ ея, превращая въ огонь окна избушекъ: въ каждой избѣ топилась какъ будто печь или пылалъ костеръ. Я уже сказалъ, что съ этого ската деревня виднѣлась какъ на ладони. Я замѣтилъ съ перваго взгляда, что тамъ происходило необыкновенное оживленіе: черныя точки поминутно перебѣгали на улицу; длинныя тѣни, бѣгавшія заодно съ людьми, обманчиво усиливали движеніе.

— Скорѣй... скорѣй!.. вымолвила жена Савелья, не отрывая глазъ отъ деревни.

Она хотѣла еще что-то прибавить, но выразительно указала впередъ рукою и побѣжала къ мосту. Савелій не замѣчалъ ни движенія жены, ни ея голоса, ни того даже, кажется, что она насъ оставила. Голова его была попрежнему опущена на грудь; глаза, съ дрожащими надъ ними бровями, притупленно смотрѣли на землю. Въ задумчивой фигурѣ его, какъ словно машинально идущей по дорогѣ, замѣтно было присутствіе одной только мысли, которая отталкивала все, что до нея ни касалось. Онъ ускорялъ, однакожъ, шагъ по мѣрѣ приближенія къ цѣли.

Мы вошли въ деревню въ ту самую минуту, какъ въ околицу вгоняли стадо. Оно бѣжало къ намъ прямо навстрѣчу и еще больше усиливало движеніе, которое я замѣтилъ издали. Бабы, ребята и дѣвчонки поминутно перебѣгали намъ дорогу: ихъ точно держали до сихъ поръ взаперти и вдругъ разомъ всѣхъ выпустили. Всѣ стремились къ освѣщенной половинѣ деревни и направлялись къ одной избѣ, у воротъ которой стояла уже порядочная толпа. Ревъ, блеянье, топотъ, крики старухъ, которыя загоняли коровъ и овецъ, не позволяли мнѣ разслышать говоръ народа, толпившагося у двери избы; разъ только съ той стороны послышался мнѣ какъ будто глухой сдавленный вопль нѣсколькихъ голосовъ.

— Савелій! брось лошадей-то! старикъ умираетъ! быстро проговорила какая-то баба и еще быстрѣе пронеслась мимо.

Савелій постепенно ускорялъ шагъ. Изъ избы явственно уже теперь приносились вопль, крики и голошенье; когда отворяли дверь, можно даже было разбирать слова и узнавать голоса. Въ толпѣ, тѣснившейся у избы, всѣ горячо и торопливо говорили. Когда мы приблизились къ воротамъ, всѣ смолкли и обратили любопытные глаза на Савелья.

Подъ навѣсомъ воротъ жались полдюжины овецъ и двѣ коровы; въ общей суматохѣ, онѣ были забыты хозяевами. Савелій остановилъ лошадей, сдѣлалъ шагъ, съ очевиднымъ намѣреніемъ отворить ворота, снова вернулся къ лошадямъ, началъ было ихъ разнуздывать, но отчаянный вопль, вырывавшійся изъ избы, отнялъ видно у него послѣднюю твердость: руки его опустились, онъ тоскливо замоталъ головою и пошелъ къ низенькой боковой двери, которая вела въ сѣни. Въ толпѣ съ особенною какою-то торопливостію дали ему дорогу.

XXVIII.

Мнѣ никогда не случалось присутствовать при послѣднихъ минутахъ умирающаго. Смерть дѣйствуетъ особенно страхомъ, когда дѣло идетъ о знакомомъ человѣкѣ. Мимо чувства сожалѣнія, возбуждаемаго сознаніемъ вѣчной разлуки, душа въ этихъ случаяхъ невольно содрогается при мысли, что существо, лежащее теперь бездыханнымъ трупомъ, вчера еще говорило съ вами; я слышалъ звукъ его голоса, онъ и теперь еще явственно какъ будто раздается въ ушахъ моихъ; я дѣлилъ съ нимъ мысли и чувства, видѣлъ, что жизнь наполняла его до тончайшей фибры,—и вдругъ все это смолкло, остановилось, кончилось навсегда, и никогда, никогда больше не возобновится! Жутко...

Я окончательно смутился, войдя въ сѣни, биткомъ набитыя плачущимъ народомъ. Посреди протяжныхъ причитаній, выходилъ иногда вопль, который какъ ножомъ надрѣзывалъ сердце. Въ избѣ было еще тѣснѣе: не было рѣшительно возможности подвигаться впередъ. Бабы, съ грудными младенцами на рукахъ, стояли даже на лавкахъ; печь и полати усѣяны были головами, всѣ жались и тискались. Вопль былъ такъ силенъ, что съ трудомъ можно было заставить понять себя, говоря громко на́-ухо. Въ толпѣ то-и-дѣло попадались распухнувшія, красныя лица, съ зажмуренными глазами и раскрытыми ртами, изъ которыхъ вырывались пронзительные крики. Большая часть бабъ стояла крѣпко обнявшись: положивъ голову на плечо другъ дружкѣ, онѣ мѣрно раскачивались подъ тактъ унылаго, размѣреннаго голошенья.

Мнѣ тогда не былъ еще знакомъ обычай нашего народа спѣшить наполнить избу умирающаго и выразить скорбными возгласами то уваженіе, которое имѣли къ нему при жизни. Въ первую минуту, признаюсь, мною овладѣла даже досада. „Чего имъ здѣсь надо, подумалъ я, чего они не видали? Человѣкъ не успѣлъ умереть, и вотъ всѣ набились въ избу и кричатъ во всѣ голоса, что онъ умеръ! Ему и безъ того, быть-можетъ, тяжко разстаться съ жизнію, а они не перестаютъ напоминать ему о прожитомъ счастіи, объ осиротѣломъ семействѣ!“ Но почти въ ту же секунду мнѣ пришла слѣдующая мысль: поспѣшность эта выразить свое отчаяніе,—поспѣшность, часто преждевременная и съ перваго взгляда возмутительная, не показы-

ваетъ ли, какъ мало вообще народъ избалованъ надеждой? Онъ не привыкъ обманывать себя успокоительными мечтаніями: онъ отдается своему горю безъ размышленія, и не потому ли кажется оно ему неизбѣжнымъ. Я окончательно примирился съ воплемъ, раздававшимся подлѣ умирающаго, когда вспомнилъ, сколько было у него близкихъ и родственниковъ: они, конечно, не могли достаточно оплакать его кончину.

До сихъ поръ, сколько я ни старался пробраться впередъ, передо мной мелькали только головы, и впереди виднѣлся темный уголъ избы, въ которомъ тускло мерцало пламя желтой восковой свѣчи, прилѣпленной къ образу. Прежде всего я различилъ колѣни умирающаго. Меня съ ногъ до головы обдало холодомъ: самъ не знаю отчего, но мнѣ не такъ тягостно было увидѣть его самого, какъ увидѣть эти недвижныя, выступающія острымъ угломъ колѣни. Въ ногахъ пахаря сидѣла жена его, древняя старуха, какъ и онъ самъ. Обнявъ руками шеи двухъ замужнихъ дочерей, которыя рыдали, какъ безумныя, она безсильно свѣшивала голову то къ одной на плечо, то къ другой. Платокъ, покрывавшій ей голову, бросалъ густую тѣнь на лицо ея; изрѣдка слабый стонъ вырывался изъ впалой груди старушки. Она сама какъ будто умирала. Подлѣ стоялъ старшій сынъ, такой же видный мужчина, какъ Савелій, но только смуглѣе его. Прислонясь правымъ локтемъ въ стѣну, закрывъ правою ладонью лицо, онъ былъ недвиженъ, и только тяжкіе вздохи приподымали могучую грудь его. По другую сторону находился Савелій. Онъ стоялъ на колѣняхъ; кудрявая голова его лежала на обнаженной рукѣ, вытянутой вдоль сосѣдней лавки. Всѣ убивались надъ старикомъ, какъ надъ безчувственнымъ трупомъ покойника; а, между тѣмъ, предметъ ихъ скорби боролся еще съ жизнію; глаза его были закрыты, но грудь, время отъ времени, высоко еще подымалась.

XXIX.

Онъ лежалъ подъ образами, на лавкѣ, устланной соломой. Голова его покоилась на снопѣ овса. Длинные серебристые волосы старика не раскидывались въ безпорядкѣ, какъ у человѣка, который судорожно, отчаянно борется со смертію: они спускались мягкими волнистыми прядями вдоль худощавыхъ щекъ, покрытыхъ мелкими складками и тѣмъ смуглымъ, черствымъ отливомъ, кото-

рый накладываетъ жизнь, проведенная на воздухѣ, во всякое время года: въ холодъ, зной, дождь и вѣтеръ.

Я стоялъ въ двухъ шагахъ и могъ различить мельчайшія черты почтеннаго лица его. Оно поражало своимъ контрастомъ съ лицами, меня окружавшими: сколько истинной, неподдѣльной скорби и безотраднаго отчаянія виднѣлось на послѣднихъ, столько же спокойствія написано было въ чертахъ умирающаго старца; нѣтъ, никогда потомъ, нигдѣ и никогда, не встрѣчалъ я такого тихаго, такого кроткаго выраженія! Ясно, между тѣмъ, видно было, что смерть не отняла еще у него полнаго сознанія: мысль какъ бы просвѣчивала сквозь закрытыя вѣки его и озаряла черты его; онъ долженъ былъ слышать все, что вокругъ происходило: слышалъ вопли родныхъ, слышалъ страшныя слова прощанья, слышалъ раздиравшіе сердца возгласы двухъ дочерей, умолявшихъ его не покидать ихъ, пожить еще съ ними; слышалъ глухой плачъ Савелья и горькія всхлипыванья старшаго сына; но мысль, оживлявшая черты его, не принадлежала уже, видно, окружавшему его міру. Ни одна морщинка не показывала душевной, внутренней тоски. Онъ какъ будто засыпалъ въ полѣ послѣ трудового утра и, отходя постепенно ко сну, сладко прислушивался къ пѣнію жаворонковъ, которые заливались въ вышинѣ небесной...

„Такъ вотъ смерть!“ думалъ я, пристально всматриваясь въ лицо его. Я видѣлъ смерть въ первый разъ; но мнѣ страшнѣе было слушать вопли, страшнѣе былъ видъ живыхъ лицъ, обезображенныхъ отчаяніемъ, чѣмъ видъ самой смерти. Страшный, ужасающій образъ, который представлялся моему воображенію всякій разъ, когда я думалъ прежде о смерти, исчезалъ постепенно, по мѣрѣ того, какъ я всматривался въ кроткое, покойное лицо пахаря. Мнѣ стало казаться, что въ томъ трепетномъ мерцаніи, которое разливала свѣчка надъ изголовьемъ умирающаго, стоитъ не страшный, ужасающій образъ,—нѣтъ! но ясно улыбающійся ангелъ, который ласково простиралъ впередъ руки и тихо двигалъ бѣлыми лучезарными крылами...

XXX.

Въ одну изъ тѣхъ минутъ, какъ я напрягалъ зрѣніе, чтобы уловить на лицѣ пахаря отраженіе окружающей его скорби, въ дальней части избы нежданно стихли вопли. Послышалась давка, и нѣсколько женскихъ голо-

совъ прокричало: „Пропустите, касатики! пропустите дѣдушку Карпа... дайте пройти! проститься хочетъ!..“ Я посторонился вмѣстѣ съ другими и далъ мѣсто сѣдому, низенькому старичку.

Это былъ родной братъ пахаря. Хотя между лѣтами того и другого считался только годъ разницы, но Карпъ смотрѣлъ уже совершенной развалиной. Онъ давно оставилъ полевую работу, перемогался со дня на день и въ послѣднее время проводилъ жизнь на печкѣ, изрѣдка выходя на заваленку, чтобы погрѣться на солнцѣ. Крошечное лицо его изрыто было морщинами; каждый трудовой день провелъ, какъ словно, на немъ черту свою. Ноги его дрожали; руки тряслись; голова, на которой оставались по бокамъ рѣдкіе клочки волосъ, ходила изъ стороны въ сторону. Онъ, очевидно, дрожалъ не отъ волненія, но отъ дряхлости. Въ тусклыхъ глазахъ, устремленныхъ на брата, не было пока замѣтно замѣшательства. Онъ подошелъ ближе, медленно перекрестился и сказалъ:

— Эхъ, Иванъ, Иванъ! чаялъ я, поживешь еще съ нами... Рано, Иванъ, ты насъ покидаешь!

Страшный вопль двухъ дочерей умирающаго перебилъ старика. Онѣ нежданно оторвались отъ матери, которая безсильно опустилась мужу на ноги, и бросились обнимать отца. Савелій и старшій братъ его громко зарыдали. Тихая мысль, освѣщавшая лицо умирающаго, стала какъ бы потухать. Въ чертахъ его, дышавшихъ спокойствіемъ, изобразилось вдругъ тяжкое томленіе. Голоса родныхъ точно въ первый разъ нашли дорогу въ его сердце и возвратили его на минуту къ дѣйствительному міру. Глаза его остались, однакожъ, закрытыми и грудь попрежнему подымалась ровно и медленно.

— Бабы... полно вамъ!.. проговорилъ Карпъ, притрогиваясь къ племянницамъ, — Савелій, Петръ, вы бы ихъ удержали!.. ему и безъ того жаль съ вами разставаться... пуще воемъ-то душу мутятъ... оставили бы... будетъ еще время убиваться-то!..

Петръ и Савелій подняли сестеръ и отошли къ ногамъ отца. Лицо умирающаго постепенно вытягивалось и принимало грустное выраженіе. Грудь его приподымалась теперь едва замѣтно.

— Эхъ, братъ Иванъ, произнесъ неожиданно Карпъ, и, я замѣтилъ, голосъ старика задрожалъ сильнѣе,—въ какое время ты насъ покидаешь!.. Встань, Иванъ!.. По-

гляди-ка поди, весна на дворѣ; наши вѣдь всѣ пахать поѣхали...

При этомъ каждая черта умирающаго наполнилась вдругъ выраженіемъ страшной тоски. Вѣки его, начинавшія уже углубляться, дрогнули, слегка раскрылись въ углахъ и пропустили двѣ крупныя слезы. Онѣ медленно потекли по морщинамъ и видимо, казалось, застывали на холодѣвшихъ щекахъ его...

Свѣтлыя струи ручья многіе годы оживляли долину. Тихо журчали онѣ, отражая и небо, и зелень, и мирные окрестные виды; но время открыло скважину въ руслѣ: ручей замѣтно мельчаетъ; тускнѣй и тускнѣй дѣлается его поверхность и, наконецъ, онъ вовсе пропадаетъ, оставивъ темное, земляное дно, въ которомъ не блеснетъ уже никогда лучъ солнца!

Такъ и жизнь, невидимымъ путемъ своимъ, покидала стараго пахаря. Грудь его подымалась все рѣже и рѣже; мертвенная блѣдность покрывала черты его. До сихъ поръ душа все еще какъ бы носилась надъ чертою, раздѣляющею земную жизнь отъ загробной. Она тревожно, хотя постепенно слабѣе и слабѣе, прислушивалась къ воплямъ и крикамъ; но вотъ стала она переходить роковую черту...

Лицо старца снова стало пріобрѣтать спокойствіе и ясность, и, казалось мнѣ, въ трепетномъ мерцаніи, разливавшемся надъ изголовьемъ пахаря, снова являлся улыбающійся ангелъ, который ласково простиралъ къ нему руки и тихо двигалъ бѣлыми лучезарными крыльями...

. . . . . .

XXXI.

Прошло два дня. Я шелъ уже отдать послѣдній долгъ пахарю.

Не помню, чтобы было когда-нибудь такое тихое, такое ясное утро. Ни одна тучка не омрачала неба. Какой-то мягкій, янтарный блескъ разливался по всей окрестности, и не было, казалось, такого затаеннаго уголка, куда бы не проникалъ лучъ солнца; а, между тѣмъ, ранній часъ утра поддерживалъ прохладу въ воздухѣ и сообщалъ свѣжесть полямъ, холмамъ и рощамъ. Роса сверкала повсюду. Листья были недвижны. Изрѣдка подъ тѣмъ или другимъ деревомъ раздавался шорохъ и слышалось, какъ била по листьямъ катившаяся капля росы. Но какъ звонко зато распѣвали птицы, какимъ жуж-

жаньемъ, пискомъ и чиликаньемъ наполнялся недвижный воздухъ! Все, что имѣло только крылья, собралось какъ словно праздновать въ это утро. Кузнечики, какъ искры, сыпались подъ ногами, и жаворонки неумолкаемо заливались по обѣимъ сторонамъ дороги, которая вела изъ дома въ деревню.

Но зрѣлище, ожидавшее меня тамъ, сильно противорѣчило веселой, улыбающейся картинѣ утра. Я вошелъ въ деревню, когда совершался выносъ. Я увидѣлъ густую толпу народа и надъ нею, нѣсколько дальше, бѣлую верхушку гроба, которая сіяла на солнцѣ и медленно раскачивалась изъ стороны въ сторону, какъ бы посылая прощальные поклоны избамъ и зеленѣющимъ нивамъ. Погребальное шествіе, сопровождаемое толпою и подводами, скрипъ которыхъ заглушался рыданіями сидѣвшихъ въ нихъ бабъ, стало опускаться къ лугу. На немъ изгибалась дорога, которая вела къ приходу.

Достигнувъ точки, гдѣ начинался скатъ къ лугу, я встрѣтился съ однимъ изъ самыхъ древнихъ стариковъ деревни. У него, какъ видно, не достало силъ идти дальше за гробомъ; онъ провожалъ его глазами и крестился.

— Прощай, Анисимычъ! Прощай... Скоро всѣ тамъ будемъ! сказалъ онъ, махнулъ рукою и медленно побрелъ къ избамъ.

Прежде чѣмъ подняться въ гору, скрывавшую приходское село, погребальное шествіе остановилось. На этомъ мѣстѣ, по обѣимъ сторонамъ дороги, кругомъ покрытой мелкимъ кустарникомъ, возвышаются два столѣтніе тополя: они обозначаютъ наши границы съ сосѣдскими землями. Здѣсь обыкновенно въ послѣдній разъ прощаются съ покойниками. Вопль и голошенье, заглушаемые говоромъ, раздались сильнѣе. Народъ тѣсно жался вокругъ гроба, опущеннаго на землю. Каждый хотѣлъ проститься съ пахаремъ.

Я подошелъ ближе. Но мнѣ не удалось уже видѣть почтенное лицо старца: оно было закрыто; наружу выставлялись однѣ смуглыя, загорѣвшія руки его. Каждый изъ присутствовавшихъ подходилъ къ гробу, кланялся въ землю и цѣловалъ эти смуглые честные пальцы, которые, въ продолженіе семидесяти лѣтъ, складывались только для труда и для крестнаго знаменія. Наконецъ обрядъ прощанья кончился. Гробъ, приподнятый на плечи носильщиковъ, снова озарился солнцемъ. Родственники, истомленные про-

должительными слезами и скорбію, усажены были на подводы.

Мы стали подыматься въ гору, постепенно удаляясь отъ толпы, которая стояла у тополей и провожала насъ глазами до тѣхъ поръ, пока гробъ не совершенно скрылся изъ виду.

XXXII.

Къ полудню я возвращался одинъ по той же дорогѣ. Окрестность такъ же радостно сіяла; птицы такъ же весело пѣли. Но веселость, царствующая иногда въ природѣ, тѣмъ именно и разнится отъ веселости города, что она не отуманиваетъ головы, не развлекаетъ мыслей. Напротивъ, ясность, васъ окружающая, какъ бы передается вашей душѣ и вашимъ мыслямъ.

Когда я пошелъ къ двумъ тополямъ, свидѣтелямъ прощальнаго обряда, тамъ давно уже никого не было. Подъ листьями, палимыми солнцемъ, жужжали только насѣкомыя; луга, холмы и рощи погружены были въ сонливое молчаніе жаркаго майскаго полудня. Пройдя еще нѣсколько шаговъ, я увидѣлъ въ кустахъ, растущихъ вправо отъ дороги, пукъ соломы и на немъ черепки глиняной кубышки. То были послѣдніе вещественные предметы, которые напоминали усопшаго. Клокъ соломы служилъ ему послѣднимъ ложемъ; изъ кубышки черпали воду, которою обмыли его похолодѣвшее тѣло.

Я не знаю, что лежитъ въ основаніи обычая оставлять эти предметы на дорогѣ, по которой въ послѣдній разъ проносили покойника; въ обычаѣ этомъ есть, однакожъ, что-то трогательное... Грустно настроенный посреди сіяющей природы, я долго стоялъ подъ тополями.

„Вотъ, думалъ я, глядя на черепки и солому (эти послѣдніе и ужъ точно ничтожные, бренные памятники столь долгой жизни),—вотъ и мѣсяца даже не переживутъ они: вѣтеръ разнесетъ солому, прохожій растопчетъ черепки, и никакого даже видимаго слѣда не останется отъ стараго пахаря!..“

Но что до этого! Стоитъ ли думать объ этихъ бренныхъ, вещественныхъ, грубыхъ напоминаніяхъ! Не оставилъ ли пахарь другого, болѣе прочнаго воспоминанія!.. Существуетъ еще что-то лучше памяти, основанной только на вещественныхъ знакахъ. Есть память другого рода: она основана на душевныхъ свойствахъ, на нравственныхъ заслугахъ оплакиваемаго человѣка. Такая память—выс-

шая поэзія нашего нравственнаго міра,—и старый пахарь вполнѣ ее заслужилъ. Кроткій, смиренный образъ его—оболочка души прекрасной и чистой—останется, навсегда останется окруженный любовію и уваженіемъ тѣхъ, кто зналъ его, жилъ съ нимъ и умѣлъ понимать его. Не лучшая ли это награда, и не самый ли это яркій, прочный слѣдъ, который можно послѣ себя оставить?..

Да, старый пахарь, несмотря на то, что жизнь его казалась намъ, гордымъ міра сего, такою ничтожною и мелкой, старый пахарь заслуживалъ такую память! Благочестивая жизнь его прошла въ трудѣ безпрерывномъ, неусыпномъ. Онъ, пока жилъ, сдѣлалъ все, что могъ, и сдѣлалъ все, что долженъ былъ сдѣлать! Нѣтъ нужды и не мѣсто разбирать здѣсь его общественное положеніе, смиренную сферу его дѣятельности и скромные результаты этой дѣятельности. Нравственный смыслъ нашего разсказа исключаетъ понятіе о личности: здѣсь дѣло идетъ собственно о „человѣкѣ“. Цѣлью нашей было сказать, что, съ точки зрѣнія высоко-нравственнаго смысла, тотъ только „человѣкъ“, кто въ сферѣ, предназначенной ему судьбою, не даромъ жилъ на свѣтѣ, кто честно и свято исполнялъ свои обязанности, кто сохранилъ чистоту души, про котораго можно сказать безъ лести и пристрастія, что онъ сдѣлалъ все, что могъ и что долженъ былъ сдѣлать!

Пускай же истлѣваетъ солома, служившая старцу послѣднимъ ложемъ, пускай глиняные эти черепки превращаются въ прахъ, какъ и кости его: изъ памяти моей, какъ изъ памяти всѣхъ смиренныхъ людей, которымъ онъ самъ, не подозрѣвая того, служилъ совѣтомъ, образцомъ и примѣромъ,—долго не изгладится честная личность стараго пахаря!

ШКОЛА ГОСТЕПРІИМСТВА.

(повѣсть.)

I.

Авениръ Васильевичъ.

Вотъ уже третій день, какъ Авениръ Васильевичъ Лутовицынъ, помѣщикъ еще молодой, но уже давно женатый, имѣющій даже четверыхъ здоровыхъ и свѣжихъ дѣтей, живетъ въ родной деревнѣ своей Рожновкѣ. Авениръ Васильевичъ съ самаго юнаго дѣтства не бывалъ въ деревнѣ. Онъ прожилъ до сихъ поръ почти безвыѣздно въ Петербургѣ.

Зиму проводилъ онъ въ третьемъ этажѣ каменнаго дома, взятаго за женою и находившагося на Выборгской сторонѣ (незавидное приданое, скажемъ мимоходомъ: дня за два до свадьбы, домъ оказался страшно запущеннымъ, и сверхъ того еще заложеннымъ... Но Авениръ Васильевичъ былъ влюбленъ въ свою невѣсту; и наконецъ, будущій тесть наводилъ на него какой-то страхъ, мѣшавшій ему показывать недовольный видъ); на лѣто Лутовицыны переселялись обыкновенно или на Карповку, или на Черную рѣчку. Пристрастіе къ Черной рѣчкѣ и Карповкѣ нимало меня не удивляетъ; я даже горячо сочувствую смертнымъ, которые строятъ изъ барочныхъ досокъ маленькіе готическіе замки и швейцарскіе домики на зыбкихъ берегахъ Крестовскаго острова: но, признаюсь, меня всегда удивляли люди, которые, имѣя отличныя заложенныя имѣнія внутри Россіи, проводятъ лѣто въ окрестностяхъ Петербурга. Все это нимало не относится однакожъ къ

Лутовицынымъ. Авениръ Васильевичъ говорилъ всегда — и я привыкъ ему вѣрить, — что питаетъ нерасположеніе къ Крестовскому; упоминая о Карповкѣ и Черной рѣчкѣ, онъ даже сморщивался, какъ будто вокругъ него мгновенно распространился влажный воздухъ.

— Я не постигаю, рѣшительно не постигаю! восклицалъ онъ всегда съ ожесточеніемъ, котораго вовсе нельзя было ожидать отъ такого добраго и мягкаго человѣка,— не постигаю я, какъ всѣ мы, съ нашими женами, дѣтьми, привыкаемъ къ нѣкоторымъ мѣстамъ.

— О, я съ тобой совершенно согласенъ! часто говаривалъ ему одинъ пріятель, жившій постоянно съ семействомъ своимъ въ полуверстѣ отъ Черной рѣчки, тамъ, гдѣ начинается Лѣсной институтъ.—Но кто же виноватъ, братецъ? Самъ виноватъ! Сколько разъ уговаривалъ я тебя жить въ Лѣсномъ...

— Да вѣдь это почти одно и то же!..

— Какъ одно и то же?.. (При этомъ пріятель даже вспыхивалъ). Какъ! ваше смрадное болото, ваша Черная рѣчка все одно, что Лѣсной институтъ! Ха, ха, ха... Это... это, признаюсь, для меня новость... новость, которую я отъ перваго тебя слышу... Впрочемъ, ужъ это извѣстно: у тебя вскипитъ вдругъ воображеніе, и ты начнешь тогда увлекаться собственными словами, самъ часто не замѣчая, что говоришь... ужъ это вѣдь всѣ знаютъ! Такъ и теперь: сравнилъ Черную рѣчку съ Лѣснымъ! вотъ ляпнулъ, такъ ужъ ляпнулъ! Здѣсь въ Лѣсномъ, подхватилъ разгорячившійся пріятель, — здѣсь сухо... здѣсь смолистый запахъ елей... все это...

— Ели есть и у насъ, на Крестовскомъ... перебивалъ Авениръ Васильевичъ.

— Да... пожалуй... эка штука,—только вотъ что: скажи на милость, язвительно подхватывалъ пріятель, и всякій разъ съ такимъ оживленіемъ, какъ будто защищалъ Сицилію противъ Гренландіи,—ну, да что и говорить!.. Дѣло очень просто: возьми на себя трудъ, ну, хоть изъ одного любопытства, возьми, сравни нашу братью, живущихъ въ Лѣсномъ, и васъ... И, наконецъ, позволь сказать, если ужъ тебѣ такъ противны ближайшія окрестности, почему ты не живешь лѣтомъ въ Петергофѣ или Царскомъ?..

— Ахъ, братецъ, какой ты, право, чудакъ!.. Развѣ ты не знаешь... развѣ это отъ меня зависитъ?.. со вздохомъ перебивалъ Авениръ Васильевичъ?

— Нѣтъ, не знаю... что жъ такое?

При такомъ вопросѣ, Авениръ Васильевичъ пожималъ губами, оглядывался назадъ, соблюдая при этомъ, чтобы пріятель не могъ замѣтить его безпокойныхъ взглядовъ, принималъ видъ жертвы и говорилъ голосомъ, способнымъ возбудить состраданіе въ самомъ черствомъ сердцѣ:

— Что жъ мнѣ дѣлать... я бы душевно радъ, жена не хочетъ!.. любитъ Черную рѣчку, любитъ до помѣшательства!..

— Ты бы уговорилъ ее, урезонилъ... представь ей наконецъ...

— Что тутъ представлять!.. досадливо восклицалъ Лутовицынъ, — и если бъ дѣло наконецъ пошло на резоны, я представилъ бы ей совсѣмъ другое... Я представилъ бы ей не окрестности Петербурга, а деревню;—да, собственную, родовую свою деревню! продолжалъ онъ съ одушевленіемъ.—Скажи, бывалъ ли ты когда-нибудь въ деревнѣ, то-есть не въ „Новой деревнѣ“ какой-нибудь или же въ „Чухонской“—нѣтъ!—но въ настоящей?

— Нѣтъ, не случалось...

— Нѣтъ? о! я считаю тебя въ такомъ случаѣ истинно несчастнымъ человѣкомъ! восклицалъ съ самою задушевною искренностью Авениръ Васильевичъ, и ободренный отвѣтомъ пріятеля, который давалъ ему полную волю распространяться широко и свободно о любимомъ предметѣ, продолжалъ:—Деревня, настоящая русская деревня, окруженная полями и рощами, это рай, сущій рай, какого не въ состояніи представить себѣ никакое воображеніе... одинъ этотъ просторъ, эта тишина... вотъ тамъ могъ бы ты сказать: „Воздухъ!“ — да, воздухъ! самъ посуди: въ поляхъ цвѣты, въ лугахъ — цвѣты, въ рощахъ — цвѣты, вездѣ цвѣты... каждый цвѣтокъ издаетъ свой особый запахъ! къ вечеру, все это разомъ запахнетъ... чувствуешь даже какое-то опьяненіе... такъ тебя и качаетъ... Сидишь на балконѣ, солнце клонится; величественно восходитъ мѣсяцъ... соловьи... Подъ каждымъ листомъ заливается соловей!.. весь лѣсъ напичканъ соловьями.. Молоко, сметана, сливки... такія сливки, что воткнешь чайную ложечку—стоитъ плотно, какъ въ тѣстѣ... За холмомъ возвращаются косари и поютъ пѣсни... а тамъ вдругъ свирѣль какая-нибудь... потомъ все вдругъ смолкнетъ... все тихо (тутъ Авениръ Васильевичъ распростиралъ руки, какъ будто собирался летѣть, и закрывалъ глаза), — тише...

тише... (Авениръ Васильевичъ начиналъ опускаться къ землѣ), и вдругъ... (онъ внезапно выпрямился) вдругъ пронесется съ полей ржаніе жеребенка, или все равно другой какой-нибудь звукъ... А ты между тѣмъ любуешься небомъ, звѣздами, слушаешь коростелей. Подлѣ сидитъ добрый пріятель, пьемъ чай, бесѣдуемъ... Поэзія, братъ, поэзія, вотъ она гдѣ, настоящая-то поэзія!..

Попавъ разъ на эту тему, Авениръ Васильевичъ съ особенною любовью распространялся о собственной деревнѣ, и тутъ уже часто доходилъ до степени воодушевленія и вдохновенія, свойственной развѣ однимъ неаполитанскимъ импровизаторамъ. Въ Рожновкѣ каждый кустъ представлялъ особенную какую-нибудь прелесть, каждое дерево рисовалось картинно, каждый бугорокъ являлся живописнымъ холмомъ, съ котораго открывались сладчайшіе пейзажи; воображеніе Авенира Васильевича, оживленное часто обманчивыми воспоминаніями дѣтства, возбуждаемое также знакомымъ всѣмъ чувствомъ пристрастія къ собственности, рисовало передъ нимъ липовыя аллеи, которымъ конца не было и въ которыхъ, по словамъ его, такъ было темно, что даже становилось страшно; сквозь туманъ давно пролетѣвшихъ лѣтъ юности, ему мерещился исполинскій паркъ и рѣка, которую не былъ въ состояніи переплыть еще ни одинъ человѣкъ; мерещился ему огромный домъ, съ безчисленнымъ множествомъ комнатъ, гдѣ свободно могли помѣщаться безчисленные его пріятели, съ которыхъ, всякій разъ, при заключеніи яркаго описанія, бралъ онъ поочередно клятвенное обѣщаніе пріѣхать въ Рожновку, какъ только онъ самъ туда явится.

— Все это прекрасно, отлично, возражали ему пріятели,—мы, признаться, одного только не понимаемъ: зачѣмъ же не ѣздишь ты послѣ этого каждое лѣто въ этотъ рай... отчего же это?..

Авениръ Васильевичъ снова оглядывался назадъ, снова принималъ видъ жертвы и жалобно отвѣчалъ, пожавъ наперед плечами:

— Жена ненавидитъ деревню... она всему причиной... Неужто сталъ бы я прозябать здѣсь... э!.. да что ужъ тутъ!.. Пойдемте-ка лучше, господа, ко мнѣ обѣдать!

Этимъ приглашеніемъ Авениръ Васильевичъ заканчивалъ обыкновенно каждый разговоръ, если только разговоръ происходилъ отъ двухъ до четырехъ часовъ пополудни; въ другіе часы онъ звалъ на чай, на завтракъ и

на ужинъ, или, наконецъ, такъ просто посидѣть, поболтать и покурить сигару. Страсть зазывать къ себѣ гостей, превратившая въ скоромъ времени домъ Авенира Васильевича въ гостиницу, гдѣ съ утра до вечера пили, ѣли, стучали вилками, курили, кричали и втихомолку нещадно смѣялись надъ хозяиномъ, была главною его слабостью.

Мы не ошибемся, кажется, если скажемъ, что страсть къ гостямъ, проистекавшая столько же изъ врожденнаго чувства гостепріимства и добродушія, сколько изъ чванливости и праздности, была также главною причиною, мѣшавшею ему ѣздить каждую весну въ Рожновку. Авениръ Васильевичъ сидѣлъ въ долгахъ, какъ птица въ клѣткѣ. Всякому человѣку, знакомому съ столичной жизнью, очень хорошо извѣстно, что кредитъ начинается тогда только, когда начинаются долги, что кредитъ увеличивается по мѣрѣ увеличенія долговъ, и что, слѣдовательно, чѣмъ больше долговъ, тѣмъ жизнь дѣлается блестящѣе... на видъ, разумѣется. Все это совершенно въ порядкѣ вещей: но справедливо также и то, что кредитъ этотъ совершенно особаго рода. Вамъ дадутъ въ долгъ экипажъ, платье, вина, дачу, провизію,—словомъ все, что угодно—кромѣ только наличныхъ денегъ. Авениръ Васильевичъ всякую весну находилъ дачу съ башнею вышиною въ сажень, бассейномъ шириною съ соусникъ и фонтаномъ величиною въ вершокъ, но при всемъ стараніи своемъ никакъ не могъ найти пятисотъ рублей, чтобы отправиться съ семействомъ въ Рожновку. На доходы имѣнья онъ не могъ разсчитывать: къ доходамъ Рожновки приходилось ежегодно приплачивать нѣсколько сотъ рублей, чтобы спасти ее отъ вѣрнаго публичнаго торга.

— У меня имѣнье не столько для доходовъ, сколько для жизни... это собственно не помѣстье, но „château de plaisance...“ справедливо замѣчалъ всегда Авениръ Васильевичъ, говоря съ пріятелями. — „La vie de château!“ Что можетъ быть великолѣпнѣе такой жизни!.. И если бъ не жена, которая, по какому-то странному, болѣзненному капризу, привязана къ Черной рѣчкѣ, — я бы, кажется, цѣлые годы не выѣзжалъ изъ деревни!..

Жена между тѣмъ каждый день почти говорила Авениру Васильевичу:

— Слышите ли, Авениръ Васильевичъ, я ни за что въ свѣтѣ, ни за какіе милліоны не хочу жить нынѣшнимъ лѣтомъ на Черной рѣчкѣ!.. Дѣлайте какъ знаете, но я

рѣшительно не могу слышать о вашей Черной рѣчкѣ... мои нервы не выносятъ ни вашихъ дачъ, ни вашихъ знакомыхъ... я устала и хочу отдохнуть! Можете нанимать дачу, если хотите, для вашихъ пріятелей, а я... я ѣду въ деревню!

— Помилуй, мой ангелъ... можешь ли ты предполагать?.. О чемъ ты говоришь, наконецъ? Любимѣйшею моею мечтою было всегда ѣхать въ Рожновку: я, признаюсь, также усталъ... пріятели... и все это... я также радъ отдохнуть... я совершенно во всемъ съ тобою согласенъ...

Выведенная наконецъ изъ терпѣнія безтолковою суетою мужа, Зинаида Львовна (такъ звали Лутовицыну) заложила втихомолку отъ мужа послѣдніе брильянты и, не отдавая ему отчета въ добытыхъ деньгахъ, объявила, чтобъ онъ готовился въ дорогу, если точно хочетъ ѣхать въ деревню. Дѣйствіемъ этого извѣстія было то, что Авениръ Васильевичъ бросился какъ сумасшедшій цѣловать женины руки. Восторгъ его былъ такъ великъ и продолжителенъ, что, очутившись на улицѣ, онъ цѣловалъ и заключалъ въ объятія каждаго попадавшагося знакомаго.

— Прощайте, господа, говорилъ онъ, крѣпко пожимая руки, — прощайте; нынѣшнее лѣто ужъ вы не увидите меня въ вашемъ кругу... но, наоборотъ, я надѣюсь увидѣть васъ у себя... На васъ, впрочемъ, петербургскихъ жителей, нельзя полагаться,—дайте слово,—слово дайте, что пріѣдете!—всего вѣдь триста верстъ, и по шоссе, замѣтьте: по шоссе!—отличная дорога! А ужъ зато весело проведете время, за это я вамъ ручаюсь!..

Въ первые два-три часа Авениръ Васильевичъ помнилъ еще слова жены, которая жаловалась на гостей; на этомъ основаніи онъ рѣшилъ удерживаться, сколько могъ, и пригласить тѣхъ только, которые, по соображеніямъ его, могли быть пріятны Зинаидѣ Львовнѣ. Случилось, однакожъ, что, войдя въ пассажъ, чтобы съѣсть пирожокъ, онъ совершенно нечаянно какъ-то проговорился о своемъ отъѣздѣ нѣсколькимъ лицамъ, весьма мало ему знакомымъ.

— Что, у васъ хорошо въ деревнѣ? спросилъ одинъ изъ нихъ, нѣкто Здобновъ, извѣстный своею беззастѣнчивостью.

— О! это — рай... Это мѣсто очаровательное!.. Это не

скучная деревня какая-нибудь, но „château de plaisanse“... воздухъ, вода, цвѣты...

— Сколько верстъ?

— Триста верстъ... замѣтьте только: по шоссе!—сущій вздоръ!..

— Я къ вамъ пріѣду, сказалъ Здобновъ.

— Ахъ, сдѣлайте милость, я буду совершенно счастливъ... надѣюсь и вы, господа, не откажете!.. Это такъ близко... притомъ же лѣтомъ и дѣлать нечего... пріѣзжайте!..

Многіе же тутъ дали слово, и Авениръ Васильевичъ снабдилъ ихъ подробными маршрутами.

„Что же скажутъ, однакожъ, истинные мои пріятели, когда узнаютъ, что я звалъ Богъ знаетъ кого, а имъ хоть бы слово сказалъ?“ подумалъ Авениръ Васильевичъ, выходя на Невскій. При этомъ онъ даже покраснѣлъ. Онъ сѣлъ на извозчика и поскакалъ отыскивать истинныхъ пріятелей. Тѣмъ, кого не заставалъ дома, оставлялъ записки.

Онъ возвратился домой уже поздно вечеромъ. Сказавъ женѣ, что кончилъ всѣ дѣла свои и сдѣлалъ необходимыя распоряженія, онъ легъ въ постель и тотчасъ же заснулъ крѣпкимъ сномъ. На другой день, рано утромъ, два тарантаса, нагруженные дѣтьми и чемоданами, посреди которыхъ не совсѣмъ удобно было сидѣть Авениру Васильевичу и Зинаидѣ Львовнѣ, благополучно выѣхали изъ Петербурга. Мая... не помню котораго числа, тарантасы показались передъ Рожновкой.

Никакое перо не передастъ восторга Авенира Васильевича, когда увидѣлъ онъ вдалекѣ кровлю родного дома, родныя поля, рощу и рѣчку, черезъ которую нельзя было переплыть, но которая, вѣроятно, по дальности разстоянія, представлялась, однакожъ, довольно жалкимъ ручьемъ. Въ нетерпѣніи своемъ, Авениръ Васильевичъ принялся даже раскачиваться впередъ, думая этимъ хоть сколькомибудь ускорить ходъ тарантаса.

— Дѣти, Саша, Поля, Петя — смотрите — вонъ домъ— вонъ онъ!—видите? а? восклицалъ онъ поминутно, подымая на воздухъ то одного изъ дѣтей своихъ, то другого.—Это одна изъ лучшихъ минутъ моей жизни! Ахъ, что ни говори, Зинаида Львовна, что ни говори, другъ мой,— ничто не сравнится съ мѣстами, гдѣ родился и провелъ дѣтство?... Дѣти, все это будетъ ваше, — и поля, и луга,

и домы—все, все—будетъ ваше!.. Зинаида, чувствуешь ли ты какой воздухъ — а-а-хъ, — просто ложками надо хлебать... такъ и чувствуешь, какъ вливается въ тебя здоровье!.. Какой ароматъ, — а-а-хъ! — подхватывалъ онъ, жадно вдыхая въ себя воздухъ и страшно раскрывая ротъ, какъ будто хотѣлъ проглотить всю окрестность.

Надо было особенно любоваться Авениромъ Васильевичемъ, когда тарантасъ въѣхалъ въ околицу, и онъ началъ раскланиваться съ мужиками. Его нѣсколько удивили малые размѣры деревни (было всего-на-все десятокъ плохо покрытыхъ избъ), но тарантасъ въѣхалъ на дворъ, и мысли его мгновенно обратились къ дому.

— Странно, проговорилъ онъ послѣ того, какъ перецѣловался со всѣми дворовыми (ихъ было также очень мало),—чрезвычайно странно!.. Я почти не узнаю родного дома; онъ кажется мнѣ вдвое, втрое меньше того, какимъ былъ прежде...

— Это потому, вѣроятно, что ты не былъ въ немъ съ дѣтства... впечатлѣнія дѣтства чрезвычайно обманчивы... насмѣшливо возразила Зинаида Львовна, которая въ первый разъ явилась въ деревню мужа и, повидимому, не совсѣмъ довольна была первымъ впечатлѣніемъ.

— Зинаида, дай мнѣ свою руку, приложи ее къ этому боку: чувствуешь, какъ сильно бьется у меня сердце? нѣжно произнесъ Авениръ Васильевичъ, оглядывая мокрыми глазами дворъ, по которому скакалъ онъ когда-то на палочкѣ.

Вмѣсто отвѣта, жена приказала нянькѣ вносить скорѣе дѣтей. Авениръ Васильевичъ бросился въ садъ. Въ саду нашелъ онъ также большія перемѣны: липовая аллея оказалась не длиннѣе пяти саженъ; въ ней было точно страшно, но только страшно жарко, потому что липы давно уже высохли. Авениръ Васильевичъ кинулся къ двумъ бесѣдкамъ — китайской и готической, но вмѣсто нихъ нашелъ гнилыя доски, наполовину заросшія крапивой. Онъ пошелъ къ рѣкѣ, и кто изобразитъ его удивленіе, когда увидѣлъ онъ, что рѣка была ничуть не шире Черной рѣчки и Карповки, даже немножко уже, если присмотрѣться... Короче сказать, куда ни бросался онъ, куда ни обращалъ взоръ — все представлялось ему въ самомъ уменьшенномъ, и, что хуже всего—въ самомъ жалкомъ видѣ.

„Впечатлѣнія дѣтства въ самомъ дѣлѣ чрезвычайно

обманчивы; жена совершенно справедливо замѣтила... Дѣти сами маленькія, такъ имъ и кажется все большимъ... А вотъ какъ этакъ пріѣдешь, да посмотришь—такъ и не то какъ будто... А все-таки, какъ бы тамъ ни было, сладко вернуться на родину!“ умиленно заключилъ Авениръ Васильевичъ, возвращаясь домой, гдѣ его ожидали къ чаю.

II.

Мечъ Дамокла.

Мы застаемъ Авенира Васильевича на третій день послѣ пріѣзда его въ Рожновку. Часъ двѣнадцатый утра. Авениръ Васильевичъ, закинувъ руки за спину, расхаживаетъ взадъ и впередъ по комнатѣ. Комната эта, лѣтъ двадцать пять назадъ, служила гостиной, но теперь, надо правду сказать, представляетъ самый жалкій видъ: бумажки на стѣнахъ съ узорами, выведенными золотымъ пескомъ, висятъ лохмотьями и выказываютъ мѣстами бревна; на дверяхъ, вмѣсто ручки, торчитъ гвоздь; мебели почти нѣтъ; единственными ея представителями служатъ три разрознѣнные стула и маленькій неуклюжій диванъ, изъѣденный мышами и молью. Лучшимъ украшеніемъ комнаты является картинка двѣнадцатыхъ годовъ, изображающая тощаго господина съ хохломъ и вывороченными ногами, который подаетъ бумажникъ какой-то дамѣ съ цвѣткомъ въ рукѣ, въ букляхъ и голубыхъ башмакахъ; внизу, сквозь пыль и слѣды, оставленные мухами, можно еще прочесть слѣдующую надпись:

Французъ:
Я мамзель люблю,
Я мамзель дарю
Серебро и злато,
Чтобъ мамзель была богата...

Дама:
Я богатствомъ не прельщаюсь,
А я розами занимаюсь,
Серебра и злата не желаю,
А тебя, мусью, презираю!

Больше ничего нѣтъ въ комнатѣ, кромѣ потолка, паутинъ въ углахъ пола и окна, въ которомъ не существуетъ цѣлаго стекла.

Надо полагать, въ эти два дня случилось что-нибудь особенное съ Авениромъ Васильевичемъ; не оставалось

уже слѣда восторженнаго выраженія, такъ недавно еще оживлявшаго черты его; мало этого, оно смѣнилось выраженіемъ смущенія, озабоченности и внутренней тревоги. Голова его опущена на грудь, руки закинуты на спину, глаза смотрятъ въ землю. Я, по крайней мѣрѣ, въ двадцать лѣтъ моего знакомства съ Авениромъ Васильевичемъ, никогда не видалъ его такимъ задумчивымъ, такимъ озабоченнымъ. Сдѣлавъ два или три конца по комнатѣ, онъ каждый разъ подходилъ къ окну, которое обливалось дождевыми каплями, и каждый разъ, съ очевиднымъ безпокойствомъ, устремлялъ глаза въ даль, заслоненную дождемъ и туманомъ. Въ одну изъ такихъ минутъ, онъ неожиданно поднялъ руки кверху, приложилъ стиснутые кулаки къ вискамъ и испустилъ восклицаніе, которое вполнѣ высказало самое мрачное, самое недовольное расположеніе духа.

— Да, я опрометчиво поступилъ, ужасно опрометчиво!.. всегда такъ!.. произнесъ онъ, закидывая руки за спину и продолжая еще скорѣе ходить по комнатѣ, — очень нужно было говорить... Уѣхалъ бы себѣ спокойно и жилъ бы здѣсь припѣваючи... Вотъ теперь и жди, тревожься. Этакой характеръ! Вотъ двѣ ночи сряду не могу заснуть: какъ вспомню только... такъ даже чувствую... все во мнѣ разомъ заходитъ... Малѣйшій шумъ, малѣйшая трескотня бросаютъ въ жаръ... Ахъ, Боже мой, Боже мой!.. — Степанъ! неожиданно заключилъ Авениръ Васильевичъ, поворачиваясь къ двери.

Въ комнату вошелъ человѣкъ въ нанковомъ мокромъ сюртукѣ и сильно загрязненныхъ сапогахъ.

— Степанъ, сказалъ Авениръ Васильевичъ,—сбѣгай-ка, пожалуйста, опять къ мосту, — оттуда видно версты на три, — посмотри-ка, не ѣдетъ ли кто-нибудь... Мнѣ все сдается, какъ будто кто-то ѣдетъ... сходи, пожалуйста...

Степанъ медленно повернулся.

— Постой, постой! закричалъ Авениръ Васильевичъ,— какъ только пройдетъ дождикъ, вели деревенскимъ мальчишкамъ лазить поочередно на деревья и смотрѣть въ ту сторону на дорогу: скажи только, чтобы выбирали самыя высокія деревья, слышишь?.. Скажи, что я дамъ имъ на пряники... Ступай!

Степанъ вышелъ.

— Я и самъ не знаю почему, но все говоритъ мнѣ, что сегодня какъ будто кто-то пріѣдетъ! продолжалъ Авениръ

Васильевичъ, снова закидывая руки за спину и снова начиная расхаживать быстрыми шагами.—Вчера весь вечеръ нянькина кошка умывалась, сегодня — цѣлое утро на заборѣ сорока стрекотала... а это, говорятъ, примѣты вѣрныя. Я не суевѣренъ, но все-таки когда умъ ужъ настроенъ, все это невольно усиливаетъ безпокойство... Хорошо еще, если одинъ кто-нибудь пріѣдетъ, а ну, какъ ихъ нѣсколько, или всѣ—да еще разомъ... Боже мой, чувствую, у меня вся кровь кидается въ голову... у меня шея короткая... уфъ, уфъ!.. Куда я ихъ дѣну? всего вотъ одна эта комната... Я никакъ не могъ предполагать, чтобы впечатлѣнія дѣтства были въ самомъ дѣлѣ такъ обманчивы... Мнѣ казалось, было, по крайней мѣрѣ, десять комнатъ... Вотъ оно что значитъ жить въ Петербургѣ, имѣя поблизости деревню, и никогда въ нее не заглядывать! подхватилъ онъ наставительнымъ тономъ. — Ужъ если судьба надѣлила тебя деревней, такъ и живи въ ней; по крайней мѣрѣ, хоть въ два года разъ да заѣзжай, непремѣнно заѣзжай... Самое хозяйство даже отъ этого выигрываетъ!.. А то что: самъ не знаешь, что есть у тебя, чего нѣту въ хозяйствѣ; все распущено, разваленo... на скотномъ дворѣ ни одной курицы, ни одной индѣйки... я рѣшительно теряюсь... Городъ въ сорока верстахъ... Ахъ, Боже мой, Боже мой! чувствую, что съ ума сойду...—Степанъ!

Явился Степанъ.

— Ну что?

— Да ничего...

— Никого не видно?

— Никого-съ.

— Точно ли?.. Хорошо ли ты смотрѣлъ!

— Смотрѣлъ—никого нѣтъ.

— Мальчишкамъ сказывалъ?

— Сказывалъ.

— Хорошо, постой, скажи нянькѣ, чтобы она пришла... сію же минуту, слышишь!.. — Ужасно какъ голова разболѣлась, подхватилъ Авениръ Васильевичъ, оставшись одинъ. — Такъ въ виски и колетъ... Что жъ мудренаго, при такомъ безпокойствѣ!.. Чего бы я только не далъ, милліонъ бы далъ, отдалъ бы охотно годъ жизни, чтобы только они не пріѣзжали... И вѣдь дергала же нелегкая такъ упрашивать! и кого еще? кого? Добро бы пригласить однихъ короткихъ, а то звалъ просто всякаго встрѣч-

наго-поперечнаго... самъ теперь удивляюсь себѣ... этакой, право, мерзѣйшій характеръ!.. Изъ всего этого выйдетъ только то, что я буду осрамленъ, опозоренъ на весь Петербургъ... самая будущность моя пострадать можетъ, вся жизнь компрометирована... О, Боже мой, Боже мой!..

На этомъ мѣстѣ Авениръ Васильевичъ былъ прерванъ появленіемъ няньки, исправлявшей также въ домѣ должность экономки и представлявшей изъ себя совершеннѣйшее подобіе перины перетянутой поясомъ.

— Надежда Никитична, матушка, произнесъ Авениръ Васильевичъ жалобнымъ голосомъ, который шелъ какъ нельзя болѣе къ его разстроенному лицу, — сдѣлай милость, намочи уксусомъ полотенце,—у меня страшно что-то голова разболѣлась...

Интонація, съ какою сказана была послѣдняя фраза, ясно показывала желаніе вызвать няньку на бесѣду и услышать нѣсколько успокоительныхъ словъ. Я зналъ одного господина, у котораго мгновенно проходило всякое горе, какъ только начинали его жалѣть, принимали въ немъ участіе или осыпали бранью человѣка, причинившаго ему неудовольствіе.

— Помилуйте, батюшка, какъ не болѣть головѣ? Шутка ли, триста слишкомъ верстъ проѣхали!.. Сейчасъ, батюшка, принесу полотенце... Да вотъ что, Авениръ Васильевичъ: позовите, батюшка, вашего старосту; онъ безъ васъ, мошенникъ, ни за чѣмъ не глядѣлъ; велите ему лѣстницу починить... ходить страхъ беретъ, такъ вся и качается... дѣло совсѣмъ гнилое... и то кругомъ обходишь каждый разъ... Да и не хорошо для барскаго дому, неравно кто пріѣдетъ...

— Знаю, Надежда Никитична... знаю... охъ! охъ!.. подхватилъ Авениръ Васильевичъ, схватывая себя за голову.

— Что съ вами, родной?

— Такъ что-то въ виски вдругъ ужасно стукнуло...

Нянька пошла за полотенцемъ и уксусомъ; а Авениръ Васильевичъ опустился на стулъ и нѣсколько минутъ сидѣлъ, склонивъ голову и опустивъ руки, почти безъ движенія.

— Вотъ вамъ полотенце, сказала входя Надежда Никитична,—авось теперь пройдетъ, Богъ милостивъ!..

— Нѣтъ, гдѣ ужъ тутъ!.. простоналъ Авениръ Васильевичъ, — гдѣ! такъ ужъ видно будетъ она болѣть, пока не положатъ меня въ гробъ...

— Что это съ вами, съ нами крестная сила!.. А вѣдь чѣмъ этакое-то говорить, вы бы, батюшка, лучше хозяйствомъ позанялись... Вѣдь вотъ, хошь бы теперича, въ домѣ одинъ матрацъ всего и есть... въ кухнѣ плита лопнувши... вчера и то бились, бились... ничего изготовить нельзя, дѣтская каша такъ дымомъ пахла, въ ротъ не взяли...

— Не говори мнѣ, пожалуйста, ничего... я сегодня ужасно разстроенъ... Что это? никакъ колокольчикъ? воскликнулъ Авениръ Васильевичъ, вскакивая съ такою силой, что повязка на головѣ его сорвалась и шлепнулась какъ блинъ на полъ.

— Ничего, батюшка, никакихъ нѣтъ колокольчиковъ... что вы!..

— Ну, такъ вѣрно у меня въ ушахъ...

— И то можетъ статься, батюшка; вы ихъ, когда такъ, ваткой бы заткнули... сказала съ участіемъ нянька,—вотъ теперь также, батюшка, насчетъ припасовъ, подхватила она, — припасовъ также у насъ нѣтъ никакихъ... жди еще, пока привезутъ изъ города; шутка, 40 верстъ!..

— Ахъ, замолчи, пожалуйста. Надежда, ты мнѣ всѣ уши прожужжала...

— Да что молчать-то, сударь! вѣдь на мнѣ же потомъ спросится... Ну, вдругъ пріѣдетъ кто-нибудь, а у насъ ничего нѣтъ; вѣдь объ васъ же скажутъ... вѣдь не хорошо...

— Оставь меня, ступай, я ничего не хочу слушать! воскликнулъ Авениръ Васильевичъ, для котораго каждое слово няньки падало какъ молотъ на голову.

— Съ каждой минутой новый сюрпризъ! Кто бы могъ этого ожидать? подхватилъ онъ, когда дверь за нянькой затворилась. — О! съ какимъ наслажденіемъ я самъ бы себя высѣкъ, если бъ это только возможно! сказалъ онъ, дѣлая страшно гнѣвное лицо и пуская носкомъ сапога мокрое полотенце въ дальній уголъ, — такъ бы высѣкъ себя, какъ никогда еще никто не сѣкалъ!.. Остается одно средство: написать всѣмъ письма, сказать, что я уѣхалъ по непредвидѣнному случаю... Но вѣдь этакъ придется писать нѣсколько сутокъ сряду, въ продолженіе цѣлаго мѣсяца!.. Я умоляю объ одномъ только, заговорилъ онъ вдругъ торопливо и возвелъ умоляющіе глаза къ потолку, — объ одномъ умоляю: ужъ когда такъ суждено, пускай всѣ пріѣзжаютъ; пускай явится весь Петербургъ,

только бы не пріѣзжалъ Александръ Иванычъ Щепетильниковъ!.. я тогда погибъ!.. онъ же такой взыскательный, обидчивый, любитъ комфортъ, гастрономъ... впрочемъ, я думаю, онъ не будетъ, онъ сказалъ: „Не навѣрное!..“ О! дай Богъ! дай-то Богъ, хоть бы эта туча пронеслась мимо... Хуже всего также, что жена ничего не подозрѣваетъ... какъ нарочно, она все это время страшно не въ духѣ...

Говоря это, Авениръ Васильевичъ внимательно прислушивался къ каждому шуму извнѣ; заслышавъ шаги жены, онъ остановился и поспѣшилъ оправиться. На порогѣ показалась Зинаида Львовна. Она, точно, казалась сильно не въ духѣ. Это женщина страшно худощавая; блѣдное лицо ея могло бы еще быть пріятнымъ, если бъ не портила его чрезвычайная желтизна кожи, происходившая, впрочемъ, отъ болѣзненной причины: Зинаида Львовна подвержена была сильнымъ припадкамъ желчи и, сверхъ того, страдала нервами, что дѣлало ее иногда весьма раздражительною; лучшимъ украшеніемъ ея лица были безспорно большіе черные глаза: когда она оживлялась, блескъ ихъ дѣлался до того силенъ, что Авениръ Васильевичъ не всегда могъ выносить его. Войдя въ комнату, Зинаида Львовна сдѣлала видъ, какъ будто не замѣчаетъ мужа. Она, очевидно, на него „дулась“. Авениръ Васильевичъ поспѣшилъ подать стулъ, осмотрѣвъ внимательно ножки.

— Ты здорова, мой другъ?.. нѣжно спросилъ онъ, наклонясь, чтобы поцѣловать ея руку.

— Да... такъ... неохотно отвѣчала Зинаида Львовна, но не сдѣлала, однакожъ, никакихъ сопротивленій, когда мужъ поднесъ ея руку къ губамъ; казалось, она произвела даже легкое движеніе локтемъ и помогла ему въ этой операціи.

Лицо Авенира Васильевича сдѣлалось сладкимъ, сладкимъ... какъ ломоть бѣлаго хлѣба, намазанный медомъ.

— Ты какъ будто сегодня разстроена?.. сказалъ онъ, скрѣпивъ эти слова новымъ поцѣлуемъ.

— Съ чего вы это взяли?..

— А, ну, тѣмъ лучше, поспѣшилъ сказать супругъ и даже потеръ руками,—тѣмъ лучше... ты сегодня еще не гуляла?..

— Какія глупости! развѣ вы не видите, что сегодня дождикъ идетъ? Вѣчно вздоръ какой-нибудь спроситъ!.. Хороша прогулка!

— Точно, я совсѣмъ забылъ... Я ужасно какъ сегодня разсѣянъ... Впрочемъ, ты не отчаивайся, мой ангелъ, это ничего, что дождикъ; ты представить себѣ не можешь, какой у насъ въ Рожновкѣ грунтъ: чистый песокъ! одинъ часъ какой-нибудь, и снова все сухо... Здѣсь мѣста необыкновенныя!.. Эти мѣста славятся даже во всей Россіи своею живописностью.

— До сихъ поръ, по крайней мѣрѣ, я ничего еще не видала, кромѣ голыхъ полей, передала не совсѣмъ ласково Зинаида Львовна.

— О, да, да, но это только подлѣ дома... а тамъ... дальше... пойдутъ все горы, долины, холмы, совершенная маленькая Швейцарія, даже озера есть... ты все это увидишь... Жаль, что дождь идетъ, а то мы бы сейчасъ сдѣлали маленькую partie de plaisir; взяли бы съ собой самоваръ, молока, хлѣба, дѣтей бы взяли... и тамъ... отыскавъ хорошенькое мѣстечко... ихъ такъ много!.. расположились бы на травѣ, въ тѣни деревъ... Что ты на меня, мой другъ, такъ пристально смотришь?

— Знаете ли, Авениръ Васильевичъ, сказала жена, пожимая плечами и складывая накрестъ руки, — чѣмъ больше смотрю на васъ, тѣмъ больше вижу, какой вы пустой человѣкъ!..

— Но почему же, мой ангелъ? Я не понимаю...

— Вѣчные пустяки въ головѣ, возразила Зинаида Львовна, досадливо отворачиваясь,—прежде чѣмъ думать о partie de plaisir, не мѣшало бы вамъ подумать о томъ, что надо починить лѣстницу; дѣти, того и смотри, ноги себѣ сломятъ... Мы поѣдемъ дѣлать partie de plaisir, а у насъ потолокъ едва держится, въ кухнѣ плиты нѣтъ, въ парадныхъ дверяхъ—если только можно дать имъ это названіе—вмѣсто двухъ половинокъ—одна.

— Нельзя же вдругъ, мой ангелъ, я все это знаю, но вдругъ никакъ нельзя... И, наконецъ, я не знаю, какъ ты такъ... я нахожу въ этомъ безпорядкѣ даже какую-то поэзію... какую-то простоту сельской жизни... все это...

Вошелъ Степанъ. Авениръ Васильевичъ нетерпѣливо махнулъ ему рукою и поспѣшилъ заслонить его спиною отъ взоровъ жены.

— Прикажете, сударь, опять идти на дорогу? уныло спросилъ Степанъ.

— Да... непремѣнно... ступай, ступай, подхватилъ Аве-

ниръ Васильевичъ, дѣлая Степану выразительные жесты, чтобъ онъ удалился.

— Да вы напрасно, сударь, изволите себя безпокоить, вымолвилъ Степанъ, — въ такую распутицу никто не поѣдетъ... потому что...

— Ступай, когда я тебѣ говорю! крикнулъ Авениръ Васильевичъ, дѣлая повелительный жестъ.

— Куда это вы его посылаете? спросила жена.

— На дорогу, мой другъ, караулить старосту, который куда-то уѣхалъ... мнѣ онъ очень нуженъ... вымолвилъ мужъ, принимая вдругъ озабоченный видъ дѣлового хозяина.

— А я ужъ думала, вы посылаете караулить какого-нибудь гостя... ужъ вы въ самомъ дѣлѣ не ждете ли кого-нибудь?.. этого бы только недоставало!..

Каждое изъ этихъ словъ вонзалось какъ пуля въ Авенира Васильевича.

— Помилуй, мой другъ, за кого же ты въ самомъ дѣлѣ меня принимаешь? спросилъ онъ тономъ человѣка, несправедливо обиженнаго.—Ты въ самомъ дѣлѣ считаешь уже меня какимъ-то помѣшаннымъ... Зачѣмъ мнѣ гости?.. къ чему?.. неужели я не могу жить безъ нихъ?.. Я пріѣхалъ сюда совсѣмъ не затѣмъ... я усталъ... пріѣхалъ отдохнуть...

Зинаида Львовна подумала, что дала слишкомъ уже большую волю дурному своему расположенію и не шутя обидѣла мужа; она тотчасъ же смягчилась.

— Такъ вы въ самомъ дѣлѣ никого не звали? спросила она уже безъ всякаго сердца, но устремила, однакожъ, на мужа пристально-пытливый взглядъ.

Авениръ Васильевичъ окончательно растерялся.

— Помилуй... мнѣ даже это въ голову не приходило, мой другъ, сказалъ онъ, сдѣлавъ надъ собою сверхъестественное усиліе, — зачѣмъ я буду звать? къ чему?.. (Тутъ онъ даже пожалъ плечами). Но ты понимаешь, душа моя, я никакъ не могъ избѣгнуть, чтобы не сказать нѣсколько словъ передъ отъѣздомъ... этого требовала учтивость... я такъ только намекнулъ Александру Иванычу...

— Какому еще Александру Иванычу?

— Щепетильникову...

— Очень было нужно... проговорила жена съ явной досадой.

— Этого требовала учтивость...

— Я его терпѣть не могу!..

— Но ты, душа моя, никогда его не видала...

— Все равно, зато много слышала, подхватила Зинаида Львовна, постепенно раздражаясь.

— Но нельзя же, мой другъ, невозможно было иначе сдѣлать... сама посуди: вѣдь это человѣкъ, отъ котораго... со временемъ... онъ чрезвычайно обидчивъ... я собственно изъ учтивости.

— Я какъ будто предчувствовала!.. перебила уже съ сердцемъ супруга.—Я знала, что у васъ безъ гостей никакъ не обойдется... я васъ, сударь, предупреждаю...

— Мой другъ, увѣряю тебя!.. Успокойся пожалуйста... ты знаешь, что тебѣ вредно... ты можешь быть увѣрена, что онъ не пріѣдетъ... ты выслушай прежде, вѣдь ты всегда такъ!.. Онъ явственно сказалъ мнѣ, что не будетъ... И зачѣмъ ему? къ чему? онъ поселился на Черной рѣчкѣ...

— Сударыня, сказала входя вся впопыхахъ Надежда Никитична,—къ намъ кто-то пріѣхалъ.

— Боже мой! воскликнула Зинаида Львовна.

Авениръ Васильевичъ бросился къ окну. Въ эту самую минуту, на лѣстницѣ раздался ужаснѣйшій трескъ; казалось даже, какъ будто кто-то провалился.

— Сударыня, сказала Надежда Никитична, снова вбѣгая,—сударыня, какой-то баринъ пріѣхалъ...

— Какой баринъ?

— Какой-то плѣшивенькій... Авенира Васильевича спрашиваютъ.

— Это что значитъ? вымолвила Зинаида Львовна, вставая со стула.—Кто такой?..

— Я, право, не знаю, Зиночка... мой ангелъ... я... право... Ахъ! Александръ Иванычъ! внезапно воскликнулъ онъ, кидаясь навстрѣчу входившему гостю. — Боже мой, какъ я радъ!.. Это, можно сказать, лучшій день въ моей жизни! восторженно довершилъ онъ, простирая впередъ руки.

III.

Несчастіе за несчастьемъ.

— Вотъ сюрпризъ!—можно сказать неожиданный!.. Я въ восторгѣ!.. Мы только что о васъ говорили!.. подхватилъ Авениръ Васильевичъ, съ горячностью заключая гостя въ объятіяхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ же горячо посылая его къ нечистому.

Обманчивая и столь рѣзко противоположная игра чувствъ со стороны добраго Авенира Васильевича не должна удивлять читателя. Каждому доброму читателю—всѣ читатели добры, я увѣренъ,—неоднократно приходилось обнимать гостей и желать имъ въ то же время провалиться сквозь землю; это такъ вошло въ нравы, что сдѣлалось даже слишкомъ обыкновеннымъ. Авениръ Васильевичъ былъ виноватъ только въ томъ, что самъ звалъ гостя, убѣждалъ его всячески пріѣхать и даже, для вѣрнѣйшаго достиженія своей цѣли, соблазнилъ его роскошными картинами сельской жизни, описаніемъ удобствъ, павильонами, купаньемъ, свѣжею здоровою провизіею и проч. Тѣмъ менѣе слѣдовало ему прибѣгать къ соблазнамъ, что самъ гость былъ уже чрезвычайно падокъ къ соблазнамъ всякаго рода. Цѣль жизни гостя заключалась, можно сказать, въ томъ только, чтобы тонко поѣсть, мягко сѣсть, сладко поспать. Самое лицо Щепетильникова, украшенное глянцовитой лысиной, толстыми висящими губами, пурпуровымъ носомъ и густыми бровями, переставало казаться брюзгливымъ, какъ только говорилось о соусахъ, супахъ, сочномъ ростбифѣ и пряностяхъ; присутствіе женщины, даже бесѣда о женщинахъ, способны были придавать чертамъ его необычайную мягкость: онѣ таяли—таяли какъ медъ, опущенный въ теплую воду. Глядя на него въ эти минуты, никакъ нельзя было думать, чтобъ онъ пускалъ въ ростъ свои капиталы.

Единственною слабостью Александра Иваныча было черезчуръ уже исключительное вниманіе ко всему, что касалось туалета. Въ настоящую минуту онъ былъ въ бѣломъ кисейномъ галстукѣ, усѣянномъ красными горошинами, бѣломъ жилетѣ, такихъ же панталонахъ и темной жакеткѣ съ карманами; сѣрая пастушеская шляпа изъ войлока, тальма и прюнелевыя ботинки довершали его одежду.

Очутившись въ объятіяхъ Авенира Васильевича, Щепетильниковъ долго держалъ бы его на груди своей, если бъ съ самаго начала не былъ непріятно пораженъ бѣдною наружностью деревни и вполнѣ жалкимъ видомъ дома. Онъ отвѣчалъ Лутовицыну довольно холодно и поспѣшилъ провести ладонью по ногѣ, получившей контузію на лѣстницѣ.

— Что съ вами? воскликнулъ вдругъ Авениръ Васильевичъ.—Вы, кажется, хромаете, Александръ Иванычъ?.. не ушиблись ли вы?

— Да, немножко... вотъ тутъ на лѣстницѣ... произнесъ гость, дѣлая усилія, чтобы улыбнуться Зинаидѣ Львовнѣ.

— Ахъ, Боже мой!.. эта проклятая лѣстница!.. Позвольте, Александръ Иванычъ, представить васъ моей женѣ... Ее до сихъ поръ не починили... всему виноватъ этотъ проклятый староста... Зиночка: Щепетильниковъ, Александръ Иванычъ, о которомъ ты такъ много слышала... Я сейчасъ же распоряжусь... завтра все будетъ исправлено...

Щепетильниковъ между тѣмъ раскланивался. Зинаида Львовна сказала, что ей очень пріятно, что она много очень слышала, и т. д., и приглашала его сѣсть. Авениръ Васильевичъ поспѣшилъ придвинуть стулья. Онъ, казалось, не оправился еще отъ удивленья и метался какъ растерянный: билъ въ ладоши, топалъ ногами, подбѣгалъ къ окну, обдергивалъ сюртукъ, возвращался къ гостю и вдругъ какъ бы по вдохновенію спросилъ его:

— Какъ вы ѣхали, Александръ Иванычъ?

— Очень дурно, я вамъ скажу, промолвилъ гость, обращаясь не безъ пріятности къ Зинаидѣ Львовнѣ, которая ловила между тѣмъ случай бросить грозный взглядъ на мужа. — Дорога — я вамъ скажу... это ужасно! Три раза я былъ опрокинутъ; два раза ломалась ось (Авениръ Васильевичъ всплеснулъ руками), а ужъ какъ я ночевалъ,— и сказать невозможно... (Авениръ Васильевичъ снова всплеснулъ руками). Надо признаться—дорога скверная... совсѣмъ не то, что вы говорили...

— Это все отъ дождей... вы видите меня въ совершенномъ отчаяніи... Но тѣмъ болѣе мы должны вамъ быть благодарны, подхватилъ Лутовицынъ,—вы навѣрное, однакожъ, устали, проголодались... не завтракали,—я думаю?.. Зиночка, сдѣлай одолженіе, поди потрудись... для дорогого гостя...

— Помилуйте, сударыня, зачѣмъ же вамъ безпокоиться? сказалъ гость, приподымаясь.

— Нѣтъ ужъ, Александръ Иванычъ, позвольте, она хозяйка... это ея дѣло... шутливо замѣтилъ Авениръ Васильевичъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ отвернулся изъ опасенія встрѣтить взглядъ жены.

— Впрочемъ, признаюсь, я не прочь отъ завтрака, вымолвилъ гость, очевидно, уже сдѣлавшійся снисходительнѣе послѣ бесѣды съ молодой женщиной.—Но знаете ли, о чемъ я особенно мечталъ, Авениръ Васильевичъ, во все время, какъ ѣхалъ съ послѣдней станціи?..

— О чемъ это?

Сердце Авенира Васильевича вздрогнуло отъ тяжкаго предчувствія.

— Я думалъ, продолжалъ гость, и на лицѣ его показалось сладкое выраженіе, — вотъ доберусь я до Авенира Васильевича, и гдѣ-нибудь, тамъ... въ павильонѣ или бесѣдкѣ... возьму ванну.

— Да... да... ха-ха-ха!.. Э... перебилъ Авениръ Васильевичъ, смѣясь съ какимъ-то замѣшательствомъ...

— Да, подхватилъ гость, смягчаясь окончательно, — я вѣдь столичный житель, я въ деревнѣ никогда не живалъ, слѣдовательно, меня все это, вы понимаете, особенно занимаетъ... Ужъ не сходить ли намъ теперь, до завтрака? Дождь теперь, кажется, пересталъ... у меня галоши... Вы мнѣ говорили, помнится, бесѣдка подлѣ самаго дома; тамъ, говорили вы, всегда у васъ и ванна стоитъ, пойдемте-ка, заключилъ гость, вставая.

— Послушайте, Александръ Иванычъ, сказалъ Авениръ Васильевичъ убѣдительнымъ голосомъ и нѣжно взялъ гостя за руку, — послушайте... пока... пока тамъ... (онъ указалъ неопредѣленно рукою) пока тамъ... а вы здѣсь... (Тутъ онъ очень опредѣлительно указалъ на комнату).

Предложеніе взять ванну въ гостиной, сильно, казалось, изумило гостя.

— Какъ, здѣсь?.. спросилъ онъ.

— Да, вотъ извольте видѣть... началъ ободряясь хозяинъ, — тамъ все передѣлываютъ... такъ какъ я васъ ждалъ, то отдалъ кое-какія приказанія... не успѣли еще... Оно сейчасъ будетъ готово... Вѣдь какъ нарочно этакое несчастье, представьте, староста у меня запилъ!.. Кромѣ того, во всемъ домѣ идетъ суматоха: все переставливаютъ, чинятъ... жена больна... мы съ ней въ одной комнатѣ живемъ... у Сашеньки коклюшъ... Петя ушибся... она въ отчаяніи.

Гость, слушавшій все это съ опущенною головою, приподнялъ брови и пожалъ губами.

— Какъ же вы такъ?.. Вы бы меня предупредили въ такомъ случаѣ, сказалъ онъ.

Степанъ, явившійся съ чемоданомъ на плечѣ и сакомъ въ рукѣ, вывелъ Авенира Васильевича изъ затруднительнаго положенія. Въ то же время почти явилась и Надежда Никитична съ подносомъ, на которомъ былъ завтракъ

— Сюда чемоданъ, сюда, почти радостно закричалъ Авениръ Васильевичъ, обращаясь къ Степану,—а вотъ и завтракъ, Александръ Иванычъ... не взыщите: яичница изъ свѣжихъ яицъ—по-деревенски—прошу покорнѣйше садиться...

Александръ Иванычъ, начинавшій быть очень недовольнымъ пріемомъ, при словѣ „яичница“ поднялъ голову: такъ какъ Щепетильниковъ вообще любилъ завтракать и, сверхъ того, былъ голоденъ съ дороги,—видъ яичницы тотчасъ же смягчилъ его: онъ ласково даже сказалъ Лутовицыну:

— Помилуйте... да это отличное кушанье... это почти всегдашній мой завтракъ—свѣжія яйца и чашка кофе! На меня вѣдь только наговариваютъ, будто я такой ужъ сластунъ! На самомъ дѣлѣ я очень хорошо могу обходиться безъ тонкихъ блюдъ и выдумокъ: будь только свѣжіе припасы—и я совершенно доволенъ!.. Вы сами это увидите... Я, признаюсь, въ одномъ только избалованъ: люблю овощи, спаржу, цвѣтную капусту, артишоки, и вообще—тонкую зелень... Какъ видите, я могу даже быть деревенскимъ жителемъ... потому что вѣдь все это подъ рукой въ деревнѣ и ужъ, конечно, въ лучшемъ видѣ, чѣмъ въ городѣ... Въ мои годы я...

— Чего вамъ угодно? дрожащимъ голосомъ спросилъ Авениръ Васильевичъ, видя, что гость чего-то искалъ на подносѣ.

— Да вотъ... я, признаюсь, передъ завтракомъ имѣю привычку водки рюмочку... нѣтъ ли—анизету?

— Водки! ахъ помилуйте, сію секунду... Эй, Степанъ!.. Степанъ?..

Въ дверяхъ выставилась фигура Степана.

— Подай водки,—что жъ ты?

— Водки нѣтъ-съ.

— Какъ такъ? воскликнулъ Авениръ Васильевичъ, откидываясь назадъ.

— Вся вышла-съ...

— Ахъ, Боже мой!.. ахъ, какъ же это... Извините, Бога ради, Александръ Иванычъ... я въ совершенномъ отчаяніи... такая право досада... самъ водки не пью... до города у насъ сорокъ верстъ... Но вотъ не угодно ли яичницы... ужъ за нее я вамъ поручусь...

Александръ Иванычъ не сказалъ ни слова и приступилъ къ яичницѣ. Но едва положилъ онъ первый жел-

токъ въ ротъ, какъ ротъ его страшно искривился, глаза открылись, лицо побагровѣло. Авенира Васильевича обдало съ головы до ногъ холоднымъ потомъ.

— Что это!.. вымолвилъ онъ, быстро нагибаясь къ тарелкѣ, между тѣмъ какъ гость отплевывался.—Какъ! не свѣжія яйца!.. это ужасно!.. это... это нестерпимо!.. повѣрите ли, это теперь все такъ, подхватилъ онъ, между тѣмъ какъ гость продолжалъ плевать и качалъ головою,—весна, что ли... курицы ли такъ несутся... Знаете ли, мы здѣсь даже привыкли къ этому... бѣда совершенная!.. Но позвольте, я сейчасъ прикажу что-нибудь другое...

— Нѣтъ, ужъ покорно благодарю...

— Сію минуту будетъ готово, произнесъ Лутовицынъ, кидая растерянные взгляды направо и налѣво.

— Нѣтъ, ужъ покорно благодарю... благодарю васъ, Авениръ Васильевичъ! съ какимъ-то особеннымъ выраженіемъ произнесъ Щепетильниковъ.

— Но это сейчасъ... это несчастіе... сію секунду!..

И не дожидаясь отвѣта, Авениръ Васильевичъ, который началъ уже теряться и заговариваться, выбѣжалъ изъ гостиной. Въ коридорѣ, тянувшемся непосредственно до гостиной, онъ чуть не сшибъ съ ногъ няньку, державшую въ рукахъ корыто, въ которомъ должны были купаться дѣти, стукнулся головою о косякъ двери и бросился въ комнату жены.

Зинаида Львовна сидѣла на диванѣ, подперевъ рукою голову. Увидя мужа со встрепанными волосами и едва переводившаго духъ, она досадливо отвернулась. Такое привѣтствіе, и въ такую минуту, переполнило отчаянье Авенира Васильевича: какъ угорѣлый забѣгалъ онъ по комнатѣ, поднялъ безо всякой надобности съ полу какую-то бумажку, откупорилъ безо всякой видимой цѣли стоявшую на печкѣ бутылку, бросился потомъ на диванъ, всталъ, секунды двѣ стоялъ какъ баранъ, съ неподвижными, отупѣвшими глазами, снова бросился на диванъ и снова забѣгалъ по комнатѣ.

— Что съ вами?.. я васъ боюсь... проговорила жена, начинавшая думать, что мужъ въ самомъ дѣлѣ рехнулся.

Услы́ша голосъ сочувствія, Авениръ Васильевичъ очнулся.

— Зиночка... ангелъ мой! воскликнулъ онъ, размахивая руками и бросая растерянные взгляды.—Несчастіе... яичница... онъ обидѣлся... Бога ради... тухлыя яйца!..

— Что такое... вы меня пугаете...

— Яйца были тухлыя, онъ обидѣлся... Бога ради!.. цвѣтная капуста... артишоки... поди туда, устрой какъ-нибудь... Клянусь тебѣ, это въ послѣдній разъ... онъ можетъ принять въ худую сторону и тогда... Бога ради! поди поправь какъ-нибудь... устрой... уговори его... объясни ему...

Тутъ Авениръ Васильевичъ неожиданно упалъ на колѣни и въ короткихъ, но выразительныхъ словахъ признался женѣ, что онъ адски задолжалъ Щепетильникову, и что, слѣдовательно, легко можетъ статься, что Щепетильниковъ его погубитъ; онъ намекнулъ даже что-то о будущности дѣтей своихъ и назвалъ ихъ мимоходомъ невинными малютками.

Оправившись отъ испуга, въ который повергла ее эта новость, Зинаида Львовна поспѣшила пригладить волосы и надѣть чепчикъ. Авениру Васильевичу тотчасъ же стало легче. Сказавъ женѣ, что онъ задыхается и пройдется по двору, чтобы освѣжить голову, онъ торопливо побѣжалъ изъ комнаты. Пройдя бережно на цыпочкахъ мимо двери гостиной, онъ спустился съ лѣстницы, и почти носъ къ носу столкнулся съ господиномъ, который вылѣзалъ изъ телѣжки, запряженной парою тощихъ клячъ.

— Бодасовъ! воскликнулъ Авениръ Васильевичъ, ошеломленный этимъ новымъ ударомъ.

— Я къ тебѣ! отвѣчалъ Бодасовъ, человѣкъ мрачнаго, подозрительнаго вида, съ огромными черными усами, такими же бакенбардами, эспаньолкой и глазами, глядѣвшими безпокойно изъ-подъ широкополой шляпы, какія носятъ художники; онъ былъ завернутъ въ шинель съ бобровымъ воротникомъ, значительно изъѣденнымъ молью.

— Я къ тебѣ, повторилъ Бодасовъ, увлекая Лутовицына на лѣстницу и опуская на ступень дорожный мѣшокъ и галоши.

— Очень радъ...

— Ты одинъ? спросилъ Бодасовъ, понижая голосъ и таинственно обводя вокругъ глазами.

— Нѣтъ...

— Гости?.. проговорилъ Бодасовъ, обнаруживая очевидное безпокойство.

— Да, Щепетильниковъ...

— Александръ Иванычъ? съ ужасомъ произнесъ Бодасовъ.

— Онъ самый.

При этомъ извѣстіи, что-то необычайно странное произошло съ Бодасовымъ; въ одно мгновеніе ока поднялъ онъ свои пожитки и растерянным голосомъ сказалъ Лутовицыну:

— Веди меня куда-нибудь... веди скорѣе... я секунды не могу оставаться съ нимъ въ одномъ домѣ...

— Но почему же?

— Понимаешь ли ты, я нарочно... словомъ: я именно бѣжалъ отъ него изъ Петербурга...

— Отчего?

— Я ему долженъ, адски долженъ... онъ преслѣдуетъ!..

— Мало ли кто ему долженъ! со вздохомъ проговорилъ Авениръ Васильевичъ.

— Нѣтъ, все не такъ, онъ меня преслѣдуетъ, ожесточенъ! возразилъ Бодасовъ.—Я погибъ, если съ нимъ встрѣчусь.

Авениръ Васильевичъ хотѣлъ ему предложить сѣсть снова въ телѣжку и ѣхать, но это оказалось невозможнымъ; Бодасовъ тутъ же объявилъ, что у него гроша нѣтъ, что даже ямщику не заплачено отъ самаго Петербурга.

— Я надѣюсь, ты выручишь, довершилъ Бодасовъ, увлекая самъ не зная куда своего друга, черезъ дворъ,— я собственно за тѣмъ къ тебѣ пріѣхалъ... адски проигрался... все лопнуло!..

— У меня, клянусь тебѣ, также гроша нѣтъ... сказалъ Авениръ Васильевичъ, — я ничего не могу... но куда жъ ты?

— Куда-нибудь, все равно, лишь бы не съ нимъ въ одномъ домѣ... я не взыскателенъ... У тебя есть сѣнникъ?

— Есть...

— Ну, такъ веди туда... веди скорѣе... лишь бы не съ нимъ; а ямщику отдай... гроша нѣтъ... все лопнуло!

Авениръ Васильевичъ скорѣе шелъ за гостемъ, чѣмъ велъ его. Такъ, почти случайно добрели они до сѣнника, гдѣ Авениръ Васильевичъ оставилъ Бодасова въ припадкѣ постепенно возраставшаго безпокойства.

Отдавъ приказаніе старостѣ, чтобы съ ямщикомъ разочлись овсомъ (частый способъ расплаты у сельскихъ жителей), Авениръ Васильевичъ поспѣшилъ возвратиться въ домъ. При мысли о Щепетильниковѣ и съѣденной имъ яичницѣ, онъ мгновенно забылъ Бодасова, и, полный смущенія и неловкости, бережно подобрался къ двери го-

стиной и сталъ прислушиваться. Александръ Иванычъ просто разсыпался съ Зинаидой Львовной; дѣло уже дошло до прелестей природы и благоуханія цвѣтовъ.

„Ну, слава Богу, все, кажется, уладилось,—это просто какая-то геніальная женщина!“ подумалъ Авениръ Васильевичъ.

Онъ отворилъ дверь и заботливо подошелъ къ сидѣвшимъ.

— А я сейчасъ вотъ благодарила Александра Иваныча за честь, которую онъ намъ сдѣлалъ, и извинялась передъ нимъ, сказала Зинаида Львовна, обращаясь къ мужу.

— Помилуйте, сударыня, какія извиненія; я чрезвычайно счастливъ, что къ вамъ пріѣхалъ, возразилъ гость, наклоняясь и улыбаясь.

— Повѣрьте, Александръ Иванычъ, я постараюсь вознаградить неудовольствіе нынѣшняго дня, заговорилъ торопливо Авениръ Васильевичъ,—все это вышло такъ неудачно... но завтра же все пойдетъ иначе... мы будемъ дѣлать прогулки... мѣста чрезвычайно живописныя, эти мѣста славятся по всей Россіи... это просто какая-то маленькая Швейцарія... даже озеро есть...

Но Щепетильниковъ не слушалъ Авенира Васильевича и только умильно поглядывалъ и улыбался Зинаидѣ Львовнѣ.

— Вы не курите, Александръ Иванычъ? внимательно освѣдомилась хозяйка.

— Ахъ, да, не курите ли вы? спохватился Авениръ Васильевичъ.

— Нѣтъ, нѣжно проговорилъ гость,—для меня, я вамъ скажу, табакъ сущая отрава... и, наконецъ, въ присутствіи дамы... добавилъ онъ, прикладывая руку къ груди и наклоняясь передъ хозяйкой, какъ бы желая убѣдить ее, что у него такъ же мало волосъ на темени, какъ и на вискахъ.

— О, это бы ничего, сказала хозяйка,—но я сама не выдерживаю табачнаго дыму...

— Я также вовсе не курю... это для меня... вмѣшался было Лутовицынъ, но гость перебилъ его.

— Оно, сударыня, впрочемъ такъ и слѣдуетъ, сказалъ онъ, покручивая головой и самодовольно вправляя подбородокъ въ галстукъ,—на лонѣ природы, такъ сказать, среди благовонія цвѣтовъ, непонятно и даже неумѣстно табачное куреніе... Вы, сударыня, часто гуляете?..

— Всякій день, перебилъ Авениръ Васильевичъ, — у насъ вѣдь такія живописныя мѣста!..

Александръ Иванычъ почти строго взглянулъ на хозяина и продолжалъ, обратившись къ женѣ:

— Я самъ, сударыня, очень много гуляю... Вы мнѣ позволите надѣяться быть вашимъ кавалеромъ?..

— Очень охотно, Александръ Иванычъ.

— О, мы будемъ дѣлать восхитительныя partie de plaisir! сказалъ Авениръ Васильевичъ,—будемъ брать съ собою самоваръ, молоко, и въ тѣни, посреди тишины...

Недовольный взглядъ Щепетильникова снова остановилъ его.

— Я сама чрезвычайно люблю сельскую жизнь и тишину, сказала Зинаида Львовна,—особенно послѣ городского шуму.

— Да, тишина... тишина! умильно проговорилъ Александръ Иванычъ.

— Я вѣдь также, подхватилъ Авениръ Васильевичъ, заходя къ гостю съ другого бока,—я также... для меня тишина и спокойствіе... это первое наслажденіе въ жизни, Александръ Иванычъ... я ничего не люблю лучше тишины, и, можно сказать, мы здѣсь вполнѣ этимъ наслаждаемся... Повѣрите ли, Александръ Иванычъ, здѣсь по цѣлымъ днямъ звука не услышишь, не только звука, но даже самаго легкаго шороха какого-нибудь...

Но какъ бы совершенно на зло и въ опроверженіе словамъ добродушнаго хозяина, въ эту самую минуту уши присутствующихъ были потрясены звономъ колокольчика, къ которому тотчасъ же присоединилось звяканье бубенчиковъ, топотъ лошадиныхъ копытъ и лай собакъ. Авениръ Васильевичъ вздрогнулъ.

— Что это? спросила Зинаида Львовна, поспѣшно вскакивая со стула.

— Я ничего не знаю... ужъ не становой ли, проговорилъ Авениръ Васильевичъ, кидаясь какъ потерянный къ окну. — Нѣтъ, это не становой! промолвилъ онъ съ отчаяньемъ,—и почти въ ту же секунду сломя голову побѣжалъ вонъ изъ комнаты.

IV.

Личные враги.

Бодасовъ лежалъ между тѣмъ на сѣнникѣ, и безпокойство его, возбуждаемое близостью Щепетильникова, при-

нимало самый отчаянный характеръ. Ему точно было чего бояться и о чемъ думать. Вся жизнь его, особенно въ послѣднее время, представляла непрерывное сцѣпленіе горькихъ, безотрадныхъ событій. Перебирая въ памяти своей длинный свитокъ воспоминаній, какъ прошлыхъ, такъ и настоящихъ, онъ дошелъ, наконецъ, до безотраднаго заключенія, что ему не предстояло уже теперь никакой возможности возвратиться въ обѣ столицы: ѣхать въ Петербургъ, значило бы тотчасъ же попасть въ долговую тюрьму; направить путь къ Москвѣ—значило бы навѣрное очутиться въ ямѣ и просидѣть тамъ до окончанія вѣка. Даже главные губернскіе города были для него не безъ опасности.

Размышленія его были прерваны сначала звукомъ колокольчика, потомъ бубенчиками и, наконецъ, грохотомъ тарантаса, въѣхавшаго на дворъ Лутовицына. Умъ Бодасова былъ такъ уже настроенъ, что онъ всего боялся. Обстоятельства, сокрушившія его, научили его быть осмотрительнымъ и осторожнымъ. Онъ торопливо приподнялся и взглянулъ изъ слухового окна, продѣланнаго въ кровлѣ сѣнника. При видѣ новоприбывшаго гостя, лицо Бодасова, и безъ того уже далеко не миловидное, мгновенно приняло выраженіе самой звѣрской злобы и ненависти.

— Чернушкинъ! прошепталъ онъ, стискивая зубами и сжимая кулаки. — Чернушкинъ! подхватилъ онъ, принимаясь дѣлать угрожающіе жесты,—наконецъ-то столкнула судьба! Два мѣсяца напрасныхъ поисковъ! Но теперь — теперь ты въ моихъ рукахъ и не уйдешь, разбойникъ! Два раза предавалъ ты меня, какъ гнусный измѣнникъ, въ своей собственной квартирѣ; два раза, какъ лютыхъ псовъ, наводилъ ты кредиторовъ на скромный пріютъ мой на Пескахъ и въ Галерной гавани, и тебѣ это не пройдетъ даромъ! нѣтъ, не пройдетъ! Напрасно бѣгалъ ты отъ меня два мѣсяца, я поклялся истребить тебя, и — истреблю.

Бодасовъ кипѣлъ и пѣнился отъ негодованія. Дождь, принявшійся снова лить, давно уже колотилъ по кузову распряженнаго тарантаса, въ которомъ пріѣхалъ Чернушкинъ, но Бодасовъ все еще не успокоивался. Даже часа два спустя послѣ того, если бъ кому-нибудь случайно привелось попасть на сѣнникъ Лутовицына, онъ увидѣлъ бы Бодасова, сидящаго въ темномъ углу съ грозно нахмуреннымъ челомъ, стиснутыми кулаками и мрачнымъ

взоромъ, въ которомъ горѣлъ огонь мести, дикой ненависти и твердой рѣшимости.

А между тѣмъ, новоприбывшій гость, представленный Зинаидѣ Львовнѣ и Щепетильникову, занималъ общество разсказами о Петербургѣ. Нимало не раздѣляя къ нему ненависти Бодасова, я долженъ, однакожъ, сказать, что наружность его была не совсѣмъ пріятная. Одѣтъ онъ былъ довольно хорошо, слишкомъ даже хорошо для дороги, но что такое одежда, когда главное дѣло — въ человѣкѣ, въ его нравственныхъ качествахъ! Нравственныя качества Чернушкина отпечатывались на лицѣ его: ясно, что эти узенькія блѣдныя губы, приплюснутое и какъ бы скомканное лицо, покрытое веснушками, рыжіе, жесткіе волосы, взбитые на лѣвомъ вискѣ,—ясно, что это все не могло принадлежать доброму человѣку; но во всемъ этомъ проглядывала еще какая-то наглая самоувѣренность, которая не столько свѣтилась въ его кротовыхъ глазахъ, смотрѣвшихъ какъ-то въ бокъ, сколько обозначалась въ общемъ выраженіи его физіономіи. Наружность его такъ поражала своею ядовитостью, что, основываясь на ней только, одинъ редакторъ пригласилъ его писать критику въ своемъ журналѣ; редакторъ особенно также разсчитывалъ на то, что Чернушкинъ страдалъ болью въ печени и подверженъ былъ желчнымъ припадкамъ; но расчеты редактора оказались неосновательными; послѣ перваго же опыта, Чернушкинъ обнаружился совершенно бездарнымъ, и ему отказали наотрѣзъ; этимъ и кончилось его поприще; изъ журнальнаго міра онъ вынесъ только названіе „господина, пахнущаго пережженымъ ромомъ“—и это совершенно несправедливо, потому что, по бѣдности своей, Чернушкинъ ничего не пилъ, кромѣ воды.

Не могу вамъ сказать навѣрное, когда, зачѣмъ, и по какому случаю Авениръ Васильевичъ съ нимъ познакомился; но ничего нѣтъ легче открыть причину посѣщенія Чернушкина: цѣль его, въ этомъ случаѣ, заключалась единственно въ томъ, чтобы дышать свѣжимъ воздухомъ, не платя за дачу, даромъ спать и, особенно, даромъ ѣсть; ибо, Чернушкинъ былъ именно изъ тѣхъ людей, падкихъ на даровые обѣды, которые готовы завтракать съ тѣнью отца Гамлета, обѣдать съ привидѣніемъ Банко и ужинать со статуею Командора, если бъ только эти почтенные мужи сдѣлали имъ честь приглашать ихъ. Вотъ и все. Теперь перенесемся въ гостиную добродушнаго Лутовицына.

Авениръ Васильевичъ и жена его только-что вышли. Оба отправились хлопотать объ обѣдѣ.

— Скажите, пожалуйста, который часъ, однакожъ? спросилъ пискливо-шипящимъ голосомъ Чернушкинъ, обращаясь къ Александру Иванычу.

— Скоро пять... со вздохомъ проговорилъ Щепетильниковъ, который, какъ только вышла Зинаида Львовна, снова выказалъ всѣ признаки неудовольствія на лицѣ своемъ; это могло также происходить и потому, что избалованный желудокъ его начиналъ терзаться отъ голоду.

— Да-съ, можно сказать, что время приближается къ обѣду, хотя никакъ нельзя сказать, повидимому, чтобы обѣдъ приближался ко времени, произнесъ Чернушкинъ.— Скажите, мнѣ кажется, я имѣлъ уже удовольствіе встрѣчать васъ у Шилохвостовыхъ?..

— Быть-можетъ... я туда рѣдко ѣзжу, возразилъ неохотно Александръ Иванычъ.

— И я не часто. Тамъ вѣдь скука. Хозяинъ глупъ, у хозяйки болятъ зубы... впрочемъ, тамъ иногда бываютъ недурныя женщины... А, вотъ, кажется, и обѣдъ, или что-то похожее на это... запищалъ Чернушкинъ, давая дорогу Степану, который вносилъ столъ.

При видѣ стола и скатерти, которую накрылъ Степанъ, Александръ Иванычъ нѣсколько оживился.

— У Шилохвостовыхъ точно скучно, зато ужъ подобныхъ фигуръ тамъ не попадается, сказалъ Чернушкинъ, кивая на Степана, входившаго съ тарелками,—впрочемъ, что жъ вы хотите: между нами сказать, и самъ-то хозяинъ порядочная... Вы давно съ нимъ знакомы... и хорошо?

— Да... такъ... и признаюсь вамъ, судя по началу, самъ ужъ не радъ, что пріѣхалъ... проговорилъ Александръ Иванычъ, передъ которымъ разрушались одна за одною всѣ мечты о свѣжихъ припасахъ, спаржѣ, артишокахъ, цвѣтной капустѣ и проч.

— А что, развѣ дурно кормятъ? съ оживленіемъ спросилъ Чернушкинъ.

— Какое кормятъ!.. Я вамъ скажу—вовсе не кормятъ! Вотъ скоро восемнадцать часовъ, какъ я ничего не ѣлъ! проговорилъ Александръ Иванычъ.

Чернушкинъ пробуждалъ въ Александрѣ Иванычѣ, какъ и во всѣхъ, впрочемъ, какое-то антипатичное чувство; но, съ другой стороны, Александръ Иванычъ начиналъ уже

питать слишкомъ сильную досаду противъ Авенира Васильевича, чтобы не найти удовольствія выбранить его хорошенько передъ кѣмъ бы то ни было. Основываясь на этомъ, онъ передалъ Чернушкину исторію яичницы.

— Это не слыхано! восклицалъ Чернушкинъ,—это возмутительно!.. знаете ли что! это даже какая-то дерзость... я какъ будто предчувствовалъ... Этакой хамъ!..

Послѣднее выраженіе показалось Щепетильникову слишкомъ ужъ рѣзкимъ, и онъ отвернулся; но онъ продолжалъ, однакожъ, какъ бы разговаривать самъ съ собою:

— Зачѣмъ же звать въ такомъ случаѣ?.. Ну, нѣтъ ничего—такъ не зови, по крайней мѣрѣ... а то наговорилъ три короба, разсказалъ о какомъ очарованномъ замкѣ, а на повѣрку моритъ съ голоду, не имѣетъ даже приличной комнаты, куда принять, не имѣетъ даже порядочнаго стула... Теперь уже все это очевидно... я рѣшительно кляну себя за то, что пріѣхалъ!..

— Я, признаться, и самъ удивляюсь, видя васъ здѣсь... Развѣ вы его не знаете?.. Я завернулъ сюда потому, что было мнѣ по дорогѣ... я ѣду къ теткѣ въ деревню... Развѣ вы не знаете, что этотъ Лутовицынъ—безстыднѣйшій лжецъ, лжецъ безъ застѣнчивости! повѣствовалъ Чернушкинъ, все болѣе и болѣе озлобляясь.

Господинъ съ рыженькими волосами ожесточался противъ Лутовицына собственно по двумъ причинамъ: изъ словъ Щепетильникова онъ увидѣлъ, что Лутовицынъ убѣдительно упрашивалъ Александра Иваныча пріѣхать въ Рожновку, тогда какъ его собственно пригласилъ только мимоходомъ, — это разъ; тѣ же слова Щепетильникова убѣдили его, какъ ошибся онъ, разсчитывая сладко ѣсть у Лутовицына, сладко спать, и вообще пользоваться всѣми удобствами хорошо устроенной сельской жизни,—это была вторая и главная причина озлобленія Чернушкина. Настроившись такимъ образомъ (что ему было легко по причинѣ его больной печени и скверная нрава), онъ постарался припомнить все, что зналъ, и даже все, что слышалъ непохвальнаго въ жизни Лутовицына, и съ явнымъ наслажденіемъ передалъ это Александру Иванычу. Злоба его, какъ паръ машины, повлекла еще далѣе, онъ тутъ же придумалъ много такого, чего вовсе никогда не бывало. Ни на чемъ не основанные анекдоты о Лутовицынѣ посыпались одинъ за другимъ. Онъ совѣтовалъ Александру Иванычу быть какъ можно осторожнѣе и запирать какъ

можно крѣпче чемоданъ, несессеръ и дорожный мѣшокъ; Чернушкинъ объявилъ, что слуги Авенира Васильевича, включая даже няньку, считались первѣйшими мошенниками и постоянно даже носили въ карманѣ ключи, подходящіе ко всѣмъ замкамъ. Рѣчь его уснащалась въ то же время насмѣшливыми замѣчаніями, обращавшимися къ предметамъ, которые Степанъ раскладывалъ на столѣ; онъ поминутно обращалъ вниманіе Щепетильникова на ломти чернаго хлѣба, на вилки съ искалѣченными зубцами, на трещины тарелокъ, которыя должны были непремѣнно лопнуть отъ перваго прикосновенія и оставить супъ или соусъ на колѣняхъ гостей; онъ указывалъ ему на пятна и прорѣхи салфетки, на воду—словомъ сказать, ничего не оставилъ въ покоѣ. Слушая его, вамъ показалось бы, что вы ѣдете по убійственнымъ Понтійскимъ болотамъ въ душной каретѣ, обмазанной внутри ассафетидой. Онъ остановился тогда только, какъ въ гостиную явились хозяева.

— Господа, сказалъ Авениръ Васильевичъ, старавшійся принять радушно-веселую физіономію (голосъ его дрожалъ, однакожъ, и глаза безпокойно блуждали),—Александръ Иванычъ... (голосъ Авенира Васильевича окончательно уже началъ захлебываться) супъ на столѣ... не угодно ли вамъ, господа... чѣмъ Богъ послалъ?.. Завтра пріѣдутъ изъ города и привезутъ провизію... завтра все будетъ...

Авениръ Васильевичъ не отрывалъ глазъ отъ Александра Иваныча, который во все время обѣда сидѣлъ насупясь и хранилъ мрачное молчаніе, хотя и находился подлѣ Зинаиды Львовны. Каждый кусокъ, направлявшійся въ ротъ Щепетильникова, повергалъ Авенира Васильевича въ трепетное ожиданіе. Онъ уже теперь ничего не хвалилъ, ни за что не ручался: напротивъ, сомнѣвался въ каждомъ кушаньѣ и безпощадно бранилъ каждое блюдо, онъ думалъ этимъ способомъ вызвать Александра Иваныча на одобрительное замѣчаніе,—но Александръ Иванычъ упорно молчалъ и только время отъ времени морщился: обстоятельство, приводившее всякій разъ хозяина въ состояніе близкое къ помѣшательству. Авениръ Васильевичъ утѣшался тѣмъ только (и это утѣшеніе служило спасительнымъ отводомъ его волненію), утѣшался тѣмъ, что по крайней мѣрѣ хоть другой его гость ѣлъ за четверыхъ; Чернушкинъ такъ ѣлъ въ самомъ дѣлѣ, что даже Авениръ Васильевичъ, вообще не взыскательный къ кушанью, изу-

мился его неразборчивости. Это обстоятельство придало духу хозяину и возбудило даже его веселость. Но рыженькому господину стоило только замѣтить это оживленье: онъ тотчасъ же переставалъ ѣсть (надо полагать, онъ былъ уже тогда сытъ), и тотчасъ же разсказывалъ анекдотъ о господинѣ, который разъ (этому было два года) пригласилъ къ себѣ на завтракъ и накормилъ гостей яичницей съ тухлыми яйцами!.. Предоставляю вамъ самимъ судить о томъ, что должны были чувствовать въ это время Зинаида Львовна и Авениръ Васильевичъ! Самъ Александръ Иванычъ былъ очевидно поставленъ въ затруднительное положеніе. Но Чернушкинъ сдѣлалъ видъ, какъ будто ничего не замѣчаетъ, и перешелъ къ повѣствованіямъ другого рода: онъ разсказалъ нѣсколько анекдотовъ о женщинахъ, поставленныхъ въ затруднительное положеніе глупыми мужьями, и еще два-три анекдотца изъ журнальнаго міра; въ этихъ анекдотахъ Чернушкинъ ясно высказалъ свое презрѣніе къ литературѣ вообще и литераторамъ въ особенности, припомнивъ тутъ же (мысленно, разумѣется) кой-какіе щелчки, полученные имъ въ свое время отъ разныхъ литераторовъ; онъ объявилъ наотрѣзъ, что не признаетъ ни одного изъ нихъ, потому что ни въ одномъ не нашелъ серьезныхъ дѣльныхъ *заложеній*; пораженный отсутствіемъ этихъ заложеній въ литераторахъ, онъ написалъ статью *о необходимости серьезныхъ заложеній въ беллетристическихъ писателяхъ*; но литераторы, по легкости ума своего, ничего не поняли, и, вмѣсто пользы, статья принесла тотъ результатъ, что литераторы стали его бояться и даже блѣднѣть въ его присутствіи; стоило только показаться ему куда-нибудь, гдѣ находились литераторы, они мгновенно отъ него убѣгали. Онъ въ самомъ дѣлѣ казался такимъ храбрымъ въ эту минуту, что присутствующіе легко могли ему повѣрить. О литературѣ собственно выразился онъ еще презрительнѣе; Чернушкинъ, которому слѣдовало бы лучше называться Рыжуткинымъ, началъ, сказавъ: „врядъ ли даже стоитъ говорить о ней!“ (никто между тѣмъ не просилъ его начинать), и кончилъ, сравнивъ очень остроумно литературу съ чашкою кофе послѣ обѣда.

Сравненіе это, сдѣланное безо всякаго намѣренія, повергло въ крайнее смущеніе Авенира Васильевича и Зинаиду Львовну; имъ представилось вдругъ, будто Чернушкинъ косвеннымъ образомъ далъ имъ почувствовать

желаніе выпить кофе, котораго, между тѣмъ, не было ни полъ-ложечки.

— Господа, суетливо заговорилъ Авениръ Васильевичъ,—я бы теперь посовѣтовалъ вамъ выпить по доброму стакану чая... ничто въ мірѣ не способствуетъ такъ хорошо пищеваренію... мнѣ сказалъ это одинъ изъ лучшихъ нашихъ докторовъ... Зиночка, подхватилъ онъ, обращаясь къ женѣ,—сдѣлай милость, другъ мой, распорядись поскорѣе...

Зинаида Львовна, не дожидаясь повторенія, поспѣшила выйти.

— Знаете ли что, Авениръ Васильевичъ, произнесъ Александръ Иванычъ, морщась и оглядываясь назадъ,—вмѣсто чаю, я попросилъ бы лучше... мяты...

— Что такое?.. развѣ вы чувствуете себя не совсѣмъ хорошо?... съ испугомъ спросилъ хозяинъ.

— Да... я былъ очень голоденъ... и съѣлъ черезчуръ много каши... я не привыкъ къ этому кушанью...

— Ахъ, Боже мой! (Авениръ Васильевичъ опять всплеснулъ руками).

— У меня ужасно колетъ подъ ложечкой... Нельзя ли пожалуйста мяты? нетерпѣливо сказалъ Александръ Иванычъ.

— Ахъ, Боже мой! сію секунду...

Авениръ Васильевичъ стремглавъ побѣжалъ изъ гостиной.

— Зиночка, воскликнулъ онъ, влетая въ комнату жены,—мяты! Бога ради мяты!.. они разстроили желудокъ и просятъ мяты!..

— Мяты нѣтъ! сухо возразила Зинаида Львовна.

— Какъ же такъ?..

Авениръ Васильевичъ снова остолбенѣлъ какъ баранъ и минуты двѣ водилъ шальными глазами по комнатѣ.

— А такъ же—нѣтъ, да и все тутъ, подхватила жена,—дѣлайте какъ знаете, я ни во что не хочу мѣшаться, оставьте меня пожалуйста въ покоѣ!..

Авениръ Васильевичъ исчезъ, но спустя три минуты снова явился.

— Зиночка, ангелъ мой! воскликнулъ Авениръ Васильевичъ, и на этотъ разъ уже со слезами на глазахъ,—Зиночка, ты видишь, я въ отчаяньи... Они требуютъ... хоть ромашки... неужто у насъ нѣтъ даже ромашки?...

— Нѣтъ, сухо сказала жена.

— Боже мой!.. что жъ мнѣ дѣлать?..

Я уже вамъ сказала, что ни во что не хочу мѣшаться... дѣлайте какъ знаете... вы назвали гостей—вы съ ними и возитесь... что до меня касается, я не выйду изъ комнаты, пока они не уѣдутъ... оставьте меня, прошу васъ; оставьте, если вы только дорожите моимъ здоровьемъ!..

Авениръ Васильевичъ отчаянно взъерошилъ себѣ волосы и побѣжалъ вонъ. Онъ не рѣшился однакожъ возвратиться къ гостямъ и принялся ждать въ коридорѣ, пока нянька не появится съ чаемъ. Осмотрѣвъ суетливо, все ли исправно на подносѣ, Авениръ Васильевичъ отворилъ дверь гостиной.

— Господа, вотъ чай, скорѣе стаканъ горячаго чаю, Александръ Иванычъ, заговорилъ онъ съ необычайною торопливостью, — это чрезвычайно какъ хорошо согрѣваетъ желудокъ... Мосье Чернушкинъ: стаканъ горячаго чаю!..

— Я бы лучше совѣтовалъ Александру Иванычу выпить ромашки, замѣтилъ Чернушкинъ.

— Я точно охотнѣе бы выпилъ ромашки: ужаснѣйшія колики! проговорилъ Щепетильниковъ, явно уже обнаруживая свою досаду.

— Но я увѣряю васъ, господа, чай несравненно скорѣе согрѣваетъ желудокъ... мнѣ говорилъ это одинъ медикъ...

— У васъ. вѣроятно, попросту, нѣтъ ромашки въ домѣ, насмѣшливо перебилъ Чернушкинъ.

— Какъ! ромашки! ха, ха... помилуйте!.. что вы!.. ха, ха... сколько угодно, подхватилъ Авениръ Васильевичъ, скрѣпляя каждое слово нервическимъ смѣхомъ, — только, признаюсь вамъ, господа, примолвилъ онъ, придавая красному, запыхавшемуся лицу своему выраженіе смиренія,— у меня ромашка... прошлогодняя... она не будетъ имѣть той силы... и потому я... предпочелъ... Александръ Иванычъ.. вы бы немножко прилегли; вы всегда, кажется, спите часочекъ послѣ обѣда... къ тому же вы вѣдь съ дороги...

— Да... я прилягу, перебилъ Щепетильниковъ, сурово какъ-то оглядываясь на всѣ стороны.

— Вотъ, на этомъ диванчикѣ, поспѣшилъ сказать хозяинъ,—онъ маленькой, но зато очень мягонькой и удобненькой?.. А вы, мосье Чернушкинъ, не угодно ли вамъ также прилечь?..

— Очень охотно... тѣмъ болѣе, что, кажется, больше дѣлать нечего...

— Да, точно... подхватилъ Авениръ Васильевичъ,—сегодня какъ нарочно такой день... Не будь дождя, мы устроили бы маленькую partie de plaisir... здѣсь виды необычайные... славятся даже во всей Россіи... и мы очень весело провели бы время, но вы видите...

Тутъ онъ съ какимъ-то сокрушеннымъ видомъ указалъ въ окно и побѣжалъ хлопотать объ устройствѣ постелей.

Немного погодя, Александръ Иванычъ, въ которомъ всѣ сластолюбивыя чувства жестоко были оскорблены, укладывался, кряхтя и охая, на диванъ, приготовленный руками самого хозяина. Чернушкинъ расположился подъ окномъ на стульяхъ, умягченныхъ шубенкой старой няньки, салопами дѣтей, юбками Зинаиды Львовны и шинелью Степана. Чернушкинъ не заслуживалъ такого мѣста, но Авениръ Васильевичъ былъ радъ, что хоть по крайней мѣрѣ отдѣлался отъ него на одинъ часъ.

Замѣтивъ, что гости начинаютъ моргать глазами, Авениръ Васильевичъ возвелъ глаза къ небесамъ и, нѣсколько успокоенный, вышелъ на цыпочкахъ. Дверь къ Зинаидѣ Львовнѣ была заперта. Постоявъ передъ нею минуты двѣ (Авениръ Васильевичъ совѣстился и даже боялся показаться женѣ на глаза), онъ бережно отошелъ прочь и принялъ намѣреніе пройтись по дождю съ тѣмъ, чтобы освѣжить себѣ голову, какъ вдругъ вспомнилъ о сидѣвшемъ на сѣнникѣ Бодасовѣ. Онъ рѣшился тотчасъ же его провѣдать. Цѣль его при этомъ заключалась въ томъ, чтобы напугать Бодасова и заставить его во что бы то ни стало уѣхать; онъ готовъ былъ снарядить ему телѣгу и дать собственныхъ лошадей.

Но предоставляю вамъ самимъ судить объ изумленіи Авенира Васильевича, когда, поднявшись на сѣнникъ, не нашелъ онъ тамъ своего гостя. Не довѣряя глазамъ, онъ принялся топтать ногами сѣно, и наконецъ, снявъ шестъ, началъ тыкать имъ во всѣ углы, ожидая каждую секунду, что вотъ-вотъ послышится откуда-нибудь голосъ Бодасова: все было напрасно—Бодасовъ не откликнулся. Подумавъ очень основательно, что Бодасовъ предпочелъ бѣгство близкому сосѣдству съ Щепетильниковымъ, Авениръ Васильевичъ, нимало не заботясь о средствахъ побѣга Бодасова (несчастіе дѣлаетъ эгоистомъ),—Авениръ Васильевичъ поспѣшилъ возблагодарить судьбу и тотчасъ же почувствовалъ возвращеніе бодрости и спокойствія. Онъ

растянулся на сѣнѣ, подперъ рукою голову и сталъ перебирать въ памяти происшествія нынѣшняго дня. Усталость взяла однакожъ верхъ надъ мыслями, и вскорѣ онъ заснулъ, убаюканный тишиною, которая господствовала вокругъ.

Въ самомъ дѣлѣ, домъ Авенира Васильевича, какъ море послѣ бури, наслаждался теперь спокойствіемъ невозмутимымъ. Все спало, или казалось спящимъ. Въ гостиной по крайней мѣрѣ спали навѣрное; несомнѣнными доказательствами этого были: сладкое, густое храпѣнье Александра Иваныча и шипящій носовой свистъ Чернушкина, которые оба лежали навзничь, одинъ — на своемъ диванчикѣ, другой—на своихъ стульяхъ. Къ этимъ звукамъ примѣшивалась иногда трескотня дождя, барабанившаго въ окно; но вѣтеръ поворачивалъ въ другую сторону, и снова все шло попрежнему.

Внезапно, за окномъ, подъ которымъ лежалъ Чернушкинъ, промелькнулъ какъ будто чей-то образъ... Секунду спустя, на стеклѣ, сквозь частую сѣтку дождя, смутно обозначились широкополая шляпа, огромные черные усы и пара дико блуждающихъ глазъ. Немного погодя, рама скрипнула, отворилась, и въ окнѣ цѣликомъ выставилась вдругъ голова и плечи Бодасова. Дождь потоками лилъ по лицу его и силился, казалось, потушить пламень негодованія и мести, пылавшій во всѣхъ чертахъ его; но это, повидимому, больше только раздражало Бодасова. Оторвавъ наконецъ безпокойно блуждающіе зрачки отъ дивана, на которомъ мирно отдыхалъ Александръ Иванычъ, Бодасовъ направилъ ихъ на врага своего; видъ этотъ мгновенно возвратилъ ему всю смѣлость и дикую отвагу.

— Ага! прошепталъ онъ, впиваясь въ него страшно засверкавшими глазами,—подвернулся, наконецъ... теперь не уйдешь! нѣтъ, не уйдешь, разбойникъ!..

Произнося эти грозныя слова, Бодасовъ перевѣсился черезъ подоконникъ, такъ что голова его и часть туловища пришлись надъ головою и туловищемъ Чернушкина, и яростно поднялъ узловатые, стиснутые кулаки свои. Еще секунда—и обѣщаніе истребить Чернушкина было бы исполнено, но въ эту самую секунду Чернушкинъ дрогнулъ и раскрылъ глаза. Увидѣвъ надъ собою два кулака и лицо Бодасова, онъ вынырнулъ такъ ловко, что кулаки Бодасова, упавшіе почти въ то же мгновеніе ока, встрѣтили одни только стулья, которые рухнули на полъ вмѣстѣ съ дѣтскими капотами и остальной одеждой.

— Спасите, спасите! изступленно кричалъ между тѣмъ Чернушкинъ, метаясь по комнатѣ и въ страхѣ не находя дверей, — спасите! спасите! подхватилъ онъ еще громче, услышавъ шаги и голоса въ коридорѣ,—спасите!..

Тутъ уже Чернушкинъ, потерявшійся окончательно, ринулся со всѣхъ ногъ къ диванчику, обхватилъ обѣими руками Александра Иваныча и, прячась за него, закричалъ еще неистовѣе:

— Спасите меня, спасите! я единственный сынъ у матери!

Шальные глаза внезапно пробужденнаго Александра Иваныча устремились прежде всего къ окну, на которое дрожащею рукою указывалъ ему Чернушкинъ. Но въ окнѣ никого уже не было.

— Что съ вами? вы, кажется, съ ума сошли... оставьте меня! воскликнулъ Александръ Иванычъ, стараясь, но тщетно, освободиться отъ Чернушкина.—Боже мой, зачѣмъ я сюда пріѣхалъ!.. Вы съ ума сошли!.. Я рѣшительно не постигаю, что происходитъ въ этомъ домѣ!.. подхватилъ онъ, вслушиваясь въ бѣготню и крики: „спасите, спасите“, раздававшіеся по коридору, и отбиваясь всѣми силами отъ Чернушкина, который началъ какъ будто приходить въ себя.

Онъ успокоился однакожъ не прежде, какъ когда въ дверяхъ показалась Зинаида Львовна, нянька, Степанъ и еще нѣсколько людей изъ дворни.

— Сударыня, заговорилъ Александръ Иванычъ,—освободите меня, Бога ради, отъ этого господина... онъ, кажется, съ ума сошелъ... я, признаюсь, не понимаю, что здѣсь дѣлается...

Зинаида Львовна и за нею толпа тронулись впередъ, но въ эту минуту, изъ среды толпы, пыхтя и отдуваясь, вылетѣлъ Авениръ Васильевичъ.

— Что такое?.. что случилось?.. спросилъ онъ, бросая растерянные взгляды.

— Случилось, что этотъ господинъ съ ума сошелъ! проговорилъ съ явнымъ негодованіемъ Александръ Иванычъ. — Я рѣшительно не понимаю, что у васъ тутъ дѣлается?..

— Александръ Иванычъ!.. Ахъ, Боже мой!.. но я не виноватъ... клянусь вамъ, я въ отчаяніи... вы сами видите...

— И я не виноватъ, господа, вмѣшался вдругъ Чер-

нушкинъ,—вы меня пожалуйста извините, господа, и вы также, сударыня... Это былъ испугъ... я попросту испугался, я этому подверженъ... надо полагать, всему виною вѣтеръ... видите, даже окно открыто... это ничего, заключилъ онъ, окончательно ободряясь.

Зинаида Львовна сдѣлала нетерпѣливый жестъ и, сказавъ людямъ, чтобъ они шли по мѣстамъ, тотчасъ же удалилась. Авениръ Васильевичъ разсыпался между тѣмъ въ извиненіяхъ передъ Александромъ Иванычемъ. Онъ говорилъ ему, что сегодня ужъ видно день такой; что онъ видитъ его въ совершеннѣйшемъ отчаяньи; что завтра же помѣститъ его въ особый флигель; что завтра же утромъ привезутъ изъ города отличную провизію, и столъ будетъ ничуть не хуже петербургскаго; умолялъ его не сердиться и приводилъ въ оправданіе всѣмъ несчастіямъ ранній, вовсе неожиданный пріѣздъ его; обѣщалъ, какъ только пройдетъ дождь, устроить ему ванну и показать виды, которые славятся даже по всей Россіи; убѣдительно совѣтовалъ снова прилечь на диванчикъ и клялся, что самъ лично будетъ наблюдать за его спокойствіемъ.

Александръ Иванычъ, разсудивъ вѣрно, что прошлаго уже не поправишь и поздно наконецъ думать отправиться вонъ изъ Рожновки, началъ мало-по-малу смягчаться. Онъ присѣлъ на диванъ и рѣшился даже послѣдовать совѣту Авенира Васильевича, который заботливо подкладывалъ подушки, какъ вдругъ совершенно неожиданно раздался грохотъ тяжелаго экипажа, въѣхавшаго на дворъ. Александръ Иванычъ привсталъ тотчасъ же на ноги. Авениръ Васильевичъ выронилъ подушку и остолбенѣлъ какъ истуканъ. Чернушкинъ, къ которому успѣла возвратиться бодрость, разразился ядовитымъ смѣхомъ.

— Баринъ дома? послышался голосъ въ прихожей.

При этомъ Авенира Васильевича точно стукнуло булавою въ голову. Не теряя секунды, онъ стремительно, какъ бомба, вылетѣвшая изъ мортиры, бросился въ коридоръ, а оттуда къ дверямъ женіной комнаты, которая оказалась на этотъ разъ незатворенною. Авениръ Васильевичъ торопливо заперъ ее на два зопора.

V.

Таратаевъ.

— Эй, люди! кричалъ между тѣмъ голосъ въ прихожей, — что же это? заснули?.. постойте-ка, вотъ я васъ

разбужу!.. тащите чемоданы... живо!.. да чтобъ лошадямъ дали тотчасъ овса, а ямщику стаканъ вина,—славно везъ!.. Это что такое?.. что это за лѣстница? тутъ ногу сломишь!.. Сейчасъ же положить сюда доску... да гдѣ же баринъ?.. гдѣ онъ?..

— Это Таратаевъ! сказалъ Чернушкинъ,—вотъ будетъ потѣха!..

— Этого только недоставало! почти съ отчаяньемъ вскричалъ Александръ Иванычъ. — Боже мой, зачѣмъ я сюда пріѣхалъ! прошепталъ онъ, опускаясь на диванъ и подпирая голову руками.

Онъ долженъ былъ почти въ ту же секунду поднять голову: обѣ половинки двери съ трескомъ отворились, и въ гостиную вошелъ, страшно стуча ногами, плотный, коротенькій господинъ, бурливаго, рѣшительнаго и самаго безпокойнаго вида — одна изъ тѣхъ личностей, которыхъ называютъ лихими малыми, но отъ которыхъ тѣмъ не менѣе, однакожъ, всѣ бѣгаютъ, какъ отъ чумы.

— А!.. и вы здѣсь? Чернушкинъ! Щепетильниковъ! браво! брависсимо! закричалъ онъ, хлопая въ ладоши и разражаясь безо всякой видимой причины неистовымъ хохотомъ.—Чернушкинъ... или нѣтъ, постой... какъ бишь я тебя прозвалъ?.. не помню;—ну, все равно, разсказывай, какимъ образомъ... А ты, старый хрѣнъ, какъ сюда притащился?.. а?.. Ну, разсказывайте, разсказывайте... Стой, однакожъ: вы обѣдали?.. Да? ну, а я еще не обѣдалъ и дьявольски ѣсть хочу! подхватилъ онъ неожиданно.—Но гдѣ же хозяинъ? гдѣ онъ?.. Эй, люди! эй!?.. ну, впрочемъ, успѣю... разсказывайте, разсказывайте! заключилъ онъ, бросаясь на стулъ, который треснулъ.

— Фу, гниль какая! сказалъ Таратаевъ, и, безъ дальнѣйшей церемоніи, бросилъ стулъ въ уголъ и сѣлъ на другой подлѣ Щепетильникова. — Ну, Щепетильниковъ, разсказывай, проговорилъ онъ, хлопнувъ его по плечу.

— Оставь меня, братецъ, съ сердцемъ сказалъ Александръ Иванычъ,—я сегодня не въ духѣ...

— Развѣ что-нибудь здѣсь случилось?

— Нѣтъ... такъ... вотъ они тебѣ все разскажутъ, если хочешь... пробормоталъ Александръ Иванычъ, проклиная въ душѣ тотъ часъ, въ который поѣхалъ въ Рожновку.

Чернушкинъ, боявшійся Таратаева пуще огня и радуясь случаю его задобрить, тотчасъ же приступилъ къ плачевному и, конечно, преувеличенному повѣствованію

о неудачномъ обѣдѣ, и вообще объ обманутыхъ ожиданіяхъ, встрѣченныхъ у Лутовицына. Услышавъ исторію о яичницѣ, Таратаевъ залился дребезжащимъ смѣхомъ, вскочилъ со стула, хлопнулъ Александра Иваныча по животу и снова повалился на стулъ, держась за бока.

— Оба вы послѣ этого — тюфяки, мямли, — и больше ничего! воскликнулъ онъ, вставая и размахивая руками,— да, мямли! Вотъ посмотримъ, какъ онъ попробуетъ со мною сдѣлать что-нибудь въ этомъ родѣ... Ахъ онъ!.. Эй, люди, эй! подхватилъ онъ, какъ бы мгновенно раздражаясь, и принялся страшно стучать стуломъ объ полъ.

— Полно, братецъ, перестань, досадливо сказалъ Александръ Иванычъ.

— Какъ? чего?.. А вотъ постой, я еще ему не то покажу... Эй, люди, эй! присовокупилъ Таратаевъ, запальчиво направляясь къ двери.

— Ничего, оставьте его, Александръ Иванычъ, произнесъ Чернушкинъ, — пускай себѣ... вѣдь это въ самомъ дѣлѣ досадно, надо же наконецъ положить этому предѣлъ; вѣдь этотъ Лутовицынъ насъ не шутя морочитъ... Посмотрите, посмотрите, этотъ сумасшедшій, кажется, дверь ломаетъ...

Таратаевъ дѣйствительно колотилъ, что было силы, въ обѣ половинки двери, приговаривая:

— Я добьюсь наконецъ толку, добьюсь же я наконецъ толку!.. А, голубчики, васъ-то мнѣ и надо было! милости просимъ! воскликнулъ онъ, увидавъ няньку и Степана, которые, толкая другъ друга впередъ, появились въ коридорѣ. — Всѣ сюда! — всѣ до единаго! Что же вы это въ самомъ дѣлѣ шутить, что ли, вздумали? а? заговорилъ онъ, увлекая въ гостиную сначала няньку, потомъ Степана, — заснули, голубчики? постойте, я васъ разбужу!.. Ты что такое? ну, да впрочемъ, все равно, кто бы ты ни былъ, — ступай сейчасъ разогрѣть плиту... скажи повару, чтобъ сію же минуту—слышишь, сію минуту—былъ обѣдъ; скажи, что я самъ приду наблюдать за нимъ; а самъ тотчасъ накрывай на столъ и принеси водки!..

— Водки нѣтъ-съ, промямлилъ Степанъ.

— А вотъ попробуй-ка мнѣ еще сказать, что водки нѣтъ!.. закричалъ Таратаевъ, грозно потрясая головою,— водки нѣтъ! скажите пожалуйста, хорошъ порядокъ! а? самъ, должно быть, всю выпилъ! барина только своего обкрадываете!—Чтобъ сейчасъ же была водка!.. пошелъ!..

постой: скажи повару, — чтобъ приготовилъ битковъ — я ихъ очень люблю—да котлетъ и два растягая... да тамъ еще сыру, икры—что у васъ есть для закуски,—пошелъ!.. Я васъ растормошу, любезные; ишь какъ васъ въ самомъ дѣлѣ распустилъ баринъ!.. А ты, голубушка, здѣсь что? ключница, что ли? (Тутъ обратился онъ къ Надеждѣ Никитичнѣ, пугливо смотрѣвшей во всѣ глаза). — Ну, да все равно, кто бы ты ни была, мнѣ нѣтъ дѣла до этого... У васъ здѣсь наливокъ гибель, мнѣ самъ баринъ сказывалъ: такъ принеси вишневки, я до нея давно добираюсь... Да вотъ еще что: простыни чтобъ были чистыя, всѣмъ чистыя: и мнѣ, и вотъ этому господину, и этому... всѣ мы здѣсь ночуемъ...

— Вотъ какъ надо поступать съ ними! продолжалъ Таратаевъ, обращаясь къ двумъ пріятелямъ;—да это ничего, не то еще будетъ, попробуй они только замямлить... Вы просто тюфяки какіе-то... Ахъ, да, кстати: что онъ здѣсь, одинъ или съ женою?

— Съ женою и даже, кажется, съ дѣтьми, сказалъ Чернушкинъ.

— А, ну и прекрасно! Я не понимаю только, какъ Зинаида Львовна могла допустить до такихъ безпорядковъ!.. Она держитъ его въ ежовыхъ... Ха, ха, ха!.. Ну что: бурчитъ? бурчитъ? заключилъ онъ, снова ударивъ Александра Иваныча по животу.

— Боже, зачѣмъ я сюда пріѣхалъ! отчаянно произнесъ Щепетильниковъ. Онъ, повидимому, готовъ былъ еще что-то прибавить, но остановился, увидѣвъ входящаго Авенира Васильевича.

— А! а! дружище! пожалуй-ка сюда! тебя-то намъ и надо было! закричалъ Таратаевъ, кидаясь къ нему навстрѣчу,—постой, дай прежде всего, какъ водится, обнять тебя, подхватилъ онъ, тиская Лутовицына и осыпая поцѣлуями его щеки; — а потомъ — заключилъ Таратаевъ, выпуская его неожиданно—потомъ, позволь сказать тебѣ, что ты порядочный гусь!..

— Полно, братецъ, что за шутки, проговорилъ Авениръ Васильевичъ, безпокойно глядя на Александра Иваныча и стараясь показать ему свое отчаянье.

— Нѣтъ, тутъ не шутки! кричалъ между тѣмъ Таратаевъ; — хороши шутки: назвать къ себѣ гостей, да морить съ голоду! Нѣтъ, отъ меня ты не отдѣлаешься какой-нибудь яичницей!.. нѣтъ, дудки!.. Ты насъ звалъ—

корми насъ, а то худо будетъ, да!—ха, ха, ха!—Я ужъ безъ тебя тутъ распорядился, душа моя!..

— Я... я очень радъ... душевно... заикаясь пробормоталъ Авениръ Васильевичъ.

— Ну, а если радъ, такъ и прекрасно! Да что съ вами? сказалъ Таратаевъ, становясь между Щепетильниковымъ и Лутовицынымъ и осматривая ихъ удивленными глазами,—вы совсѣмъ какъ будто раскисли нынче? Да оживитесь! оживитесь же! (При этомъ онъ застучалъ имъ обоимъ по спинѣ). Это удивительно, сидятъ какъ мокрыя курицы какія-нибудь... А да, кстати, Веня, что жена, дѣти, здоровы? здѣсь?.. всѣ пріѣхали благополучно?

— Всѣ, слава Богу... убитымъ голосомъ произнесъ Авениръ Васильевичъ.

— Я ихъ всѣхъ хочу видѣть... веди меня къ нимъ.

— Нѣтъ, жена не совсѣмъ хорошо себя чувствуетъ... дѣти также...

— Тѣмъ болѣе я хочу ихъ всѣхъ видѣть... заботливо подхватилъ Таратаевъ,—что же ты мнѣ этого прежде не сказалъ, колпакъ ты этакой... Гдѣ они?.. я сейчасъ пойду... а ты пока распорядись, чтобъ обѣдъ давали скорѣе...

Таратаевъ обдернулъ сюртукъ, пригладилъ волосы и, страшно стуча каблуками, направился въ коридоръ. Авениръ Васильевичъ побѣжалъ было за нимъ, но вспомнивъ о непріятностяхъ, которыхъ могъ надѣлать Таратаевъ Александру Иванычу, поспѣшилъ возвратиться къ гостю.

— Александръ Иванычъ, вы видите меня въ отчаяньи...

— Да, Авениръ Васильевичъ... признаюсь... я самъ... мнѣ остается только поблагодарить васъ...

— Что же мнѣ дѣлать... Боже мой...

— Я, признаюсь, тоже... этотъ Таратаевъ... это ужасно!.. сказалъ въ свою очередь Чернушкинъ, заходя съ другого бока.

— Что жъ мнѣ дѣлать, господа?.. Я теряюсь... я... я убитъ, я совсѣмъ потерялся...

— Вамъ лучше знать, вы его звали... почти въ одинъ голосъ сказали гости.

— Все будетъ... я все устрою... завтра привезутъ отличную провизію... завтра все будетъ, увѣряю васъ! проговорилъ Авениръ Васильевичъ, не помня уже, что говоритъ.

А между тѣмъ голосъ Таратаева, призывавшій Зинаиду Львовну и дѣтей, громко раздавался по всему дому.

— Зинаида Львовна, гдѣ вы, голубушка?.. я никакъ не могу отыскать васъ, кричалъ онъ, расхаживая по коридору.

— Я здѣсь, что вамъ угодно? не совсѣмъ ласково отозвалась наконецъ Зинаида Львовна.

— Здравствуйте, Зинаида Львовна! а что, скажите, можно войти къ вамъ! спросилъ Таратаевъ, постукивая пальцемъ въ дверь.

— Нѣтъ, ко мнѣ нельзя.

— Я непремѣнно хочу васъ видѣть, и дѣтокъ также, я слышалъ—вы больны...

— Нельзя теперь никакъ... досадливо сказала Лутовицына.

— Вы вѣрно переодѣваетесь?

— Да...

— Ну, такъ я послѣ... или приходите-ка лучше къ намъ, поболтаемъ, побесѣдуемъ—я давно вѣдь не видалъ васъ... Этотъ колпакъ Веня какъ-то раскисъ совсѣмъ... я не узнаю его... приходите же къ намъ!..

Проговоривъ все это безъ отдыха и, по обычаю своему, во все горло, Таратаевъ быстрыми шагами возвратился въ гостиную и спросилъ:

— А обѣдать еще не подавали?..

Получивъ отрицательный отвѣтъ, онъ вдругъ вспылилъ и стремительно пустился на кухню, давъ замѣтить Авениру Васильевичу, чтобъ онъ не безпокоился, что онъ самъ распорядится съ лѣнтями. И точно, онъ, надо полагать, распоряжался отлично: не прошло трехъ минутъ послѣ его ухода, какъ въ гостиную вбѣжалъ Степанъ съ салфетками и началъ накрывать на столъ.

— Что онъ тамъ дѣлаетъ? спросилъ Авениръ Васильевичъ.

— Бѣда, сударь, такъ всѣхъ насъ съ ногъ и ломитъ, могъ только выговорить запыхавшійся Степанъ.

— Боже мой, что мнѣ съ нимъ дѣлать? заламывая руки, воскликнулъ Авениръ Васильевичъ.

— А ужъ это ваше дѣло, вы его звали, сами должны были предвидѣть, возразили Чернушкинъ и Щепетильниковъ,—одинъ съ ядовитой усмѣшкой, другой тономъ полнаго негодованія.

Распорядившись на кухнѣ, Таратаевъ зашелъ въ конюшню и разбудилъ своего ямщика; узнавъ, что лошади не получали еще овса, онъ вылетѣлъ какъ бомба на

дворъ, поднялъ ужасную суматоху и объявилъ вбѣжавшему старостѣ, чтобъ сію секунду былъ овесъ; подойдя къ дому, онъ снова крикнулъ старосту, и, пригибая его неоднократно къ лѣстницѣ, проговорилъ съ разстановкою:

— Я говорилъ уже тебѣ постлать сюда доску, я говорилъ тебѣ объ этомъ! Будете ли вы наконецъ слушаться?..

Послѣ этого онъ остановилъ только двухъ, шедшихъ мимо, дворовыхъ дѣвокъ и скотницу, и освѣдомившись о томъ, куда онѣ и зачѣмъ, возвратился въ гостиную, повидимому, въ несравненно лучшемъ расположеніи духа, чѣмъ вышелъ оттуда.

— Ну, братъ, Веня, я тамъ у тебя, душенька, немножко покричалъ; нельзя никакъ безъ этого съ этимъ народомъ! Ты ихъ всѣхъ ужасно какъ распустилъ, и выходишь въ этомъ случаѣ настоящій мямля, тюфякъ,—да!.. А, вотъ и обѣдъ! заключилъ онъ, направляясь къ столу, на который Степанъ ставилъ суповую миску.—Ну, а что жъ чай? Я распорядился, чтобы Щепетильникову и Чернушкину подали чаю; они голодны, подхватилъ Таратаевъ,—тебя оставь одного, ты ни о чемъ не позаботишься... Хорошъ хозяинъ! И, наконецъ, всѣмъ пора чай пить, скоро девять часовъ!.. Уфъ, усталъ... усталъ и проголодался-таки, нечего сказать! довершилъ онъ, усаживаясь за столъ и обвертывая себя салфеткой.

Нѣтъ никакой возможности передать все, что выстрадалъ Авениръ Васильевичъ во время этого обѣда, и выстрадалъ не столько за себя, сколько за Надежду Никитичну и Степана, которыхъ Таратаевъ тормошилъ безъ всякаго милосердія. Выведенный изъ терпѣнія, Авениръ Васильевичъ нѣсколько разъ останавливалъ его и не шутя начиналъ сердиться; но всякій разъ Таратаевъ обращалъ это или въ шутку, или самъ начиналъ бурлить и подымалъ при этомъ такой гамъ, что Авениръ Васильевичъ поневолѣ уступалъ, опасаясь испугать жену.

— Ну, изъ чего ты сердишься, скажи на милость? я вѣдь все это для твоей же пользы говорю! Ну... ну самъ посуди: ну, виданъ ли былъ въ порядочномъ домѣ такой безпорядокъ? а? виданъ ли былъ, я тебя спрашиваю?—вѣдь это стыдъ и срамъ, и, наконецъ, позволь тебѣ сказать откровенно, прямо, это даже не деликатно, да: назвалъ къ себѣ гостей, наговорилъ имъ Богъ знаетъ чего и... и павильоны, и комфорты, и удобства всякія... а вмѣсто того: ни рюмки водки, ни лечь, ни сѣсть,—даже лѣст-

ница сломанная и хлѣбъ черствый!.. Вѣдь это, братъ, такъ не дѣлается!.. Я тебѣ это говорю искренно, по дружбѣ... ты пожалуйста не сердись на меня!.. Эй, человѣкъ, подай трубку!.. Видишь, братецъ, даже трубки дать не кому... ну, хорошо ли это, Щепетильниковъ, а?

— Я право... не знаю, проворчалъ Александръ Иванычъ, покрякивая на своемъ диванѣ.

— Ну, хорошо ли это, Чернушкинъ, а?..

— Я... я право не знаю... проговорилъ рыженькій господинъ съ усмѣшкой.

— Да чѣмъ же я виноватъ!.. Ахъ, Боже мой! повторилъ Авениръ Васильевичъ, улыбаясь, краснѣя, но въ сущности перенося адскія мученія.

— Тебя никто же и не обвиняетъ, душа моя, говорится только: не хорошо все это, не порядокъ, вотъ что!.. все это такъ, къ слову пришлось... Но что жъ нейдетъ, однакожъ, Зинаида Львовна!.. подхватилъ вдругъ Таратаевъ,—я право начинаю безпокоиться... ужъ не больна ли она въ самомъ дѣлѣ?.. надо было провѣдать... досказалъ онъ, дѣлая шагъ къ двери.

— Нѣтъ... оставь ее... она уже легла... кажется... сказалъ Авениръ Васильевичъ, удерживая его.

Узнавъ о болѣзни Зинаиды Львовны, Таратаевъ мгновенно остановился, приложилъ палецъ къ губамъ и поднялся на цыпочки.

— А, легла, ну и прекрасно! громко подхватилъ онъ почти въ ту же минуту.—Богъ съ ней! Сонъ лучше всего, это подкрѣпитъ ее... Кстати, такъ какъ нѣтъ ея, присовокупилъ онъ, таинственно, но такъ однакожъ, что слышно было въ передней,—тебѣ, братъ, велѣли кланяться... та, помнишь!..

— Шт... шт! что ты! я ничего не помню! съ испугомъ проговорилъ Авениръ Васильевичъ, дѣлая движеніе, чтобы зажать ему ротъ.

— Э, врешь, братъ, врешь! Щепетильниковъ, ты ему не вѣрь! онъ это, господа, при васъ только смирячкомъ прикидывается! почти крикнулъ Таратаевъ, отслоняя руку Лутовицына.—Полно, братъ Веня, вѣдь здѣсь жены нѣтъ... Неужто ты въ самомъ дѣлѣ ее забылъ?.. а былъ еще влюбленъ!..

— Полно, братецъ, что ты... ты съ ума сошелъ!..

— Ну, пошелъ, пошелъ!.. воскликнулъ Таратаевъ.—

Эхъ, то ли дѣло! Помнишь, Веня, какъ мы бывало!.. то-то жизнь-то была!..

Авениръ Васильевичъ, не дослушавъ, побѣжалъ къ двери, заглянулъ въ коридоръ и обмеръ отъ ужаса, столкнувшись лицомъ къ лицу съ женою.

— Зиночка... это ложь... прошепталъ онъ, — клянусь тебѣ, это ложь! онъ все это выдумалъ!.. Воды! воды! закричалъ вдругъ Авениръ Васильевичъ, подхватывая жену,— воды! спасите! ей сдѣлалось дурно...

— Гдѣ? что такое?.. Зинаида Львовна, успокойтесь... заговорилъ Таратаевъ, неожиданно появляясь въ коридорѣ.—Эй, воды! закричалъ онъ въ свою очередь, но такимъ голосомъ, что дрогнули стекла, и, страшно застучавъ ногами, побѣжалъ въ прихожую, оттуда на дворъ, а оттуда въ кухню, опрокидывая на пути все, что ни попадалось.

— Она вѣрно все слышала, сказалъ Чернушкинъ Александру Иванычу, послѣ того, какъ шумъ немножко умолкъ,—не говорилъ ли я вамъ, что будетъ непремѣнно потѣха?.. Вотъ денекъ, а?..

— Да, признаюсь... этотъ день будетъ мнѣ памятенъ... вымолвилъ Александръ Иванычъ, значительно пожавъ губами.

— Впрочемъ, что жъ вы хотите! началъ снова Чернушкинъ,—достаточно вспомнить о томъ, что̀ говорилось здѣсь пять минутъ назадъ, чтобы увидѣть, что̀ за человѣкъ этотъ Лутовицынъ... Ухаживать, влюбляться... и въ кого? Я не говорю, чтобы на свѣтѣ существовали однѣ только свѣтскія женщины—нисколько; но есть, наконецъ, женщины средняго круга... я даже, скажу вамъ, отдаю послѣднимъ преимущество, у меня есть на это основательныя причины... Въ послѣднихъ меньше блеску, правда, но зато больше преданности... Я все это говорю по опыту... и могъ бы даже назвать вамъ...

— Скажите, скажите, это очень интересно, произнесъ Александръ Иванычъ, оживлявшійся всегда, какъ только говорилось о женщинахъ.

— Впрочемъ... что жъ, пожалуй... сказалъ Чернушкинъ,—это дѣло уже прошлое... и, наконецъ, въ настоящую минуту, можно все сказать... вы даже, можетъ быть, ее знаете...

— Нѣтъ... скажите, скажите... говорилъ Александръ Иванычъ съ живостью.

— Это... это нѣкто... Тютюева...

При этомъ имени, Александръ Иванычъ подпрыгнулъ на стулѣ, какъ бы въ карманѣ его нечаянно раскрылся перочинный ножикъ и вонзился до черенка въ его тѣло.

— Позвольте, милостивый государь, это клевета!.. это гнусная клевета... Кто вамъ далъ право? закричалъ онъ наступая.

— Помилуйте, возразилъ Чернушкинъ, отступая. — Что вы!

— Это моя племянница, милостивый государь! слышите ли: моя племянница! крикнулъ Александръ Иванычъ, подпрыгивая какъ боевой пѣтушокъ.

— Извините въ такомъ случаѣ... Я могу, наконецъ, ошибаться... возразилъ Чернушкинъ, отпрыгивая какъ резиновый мячикъ.

— Такъ ошибаются одни только клеветники, милостивый государь! заговорилъ, дрожа отъ гнѣва, Александръ Иванычъ.

— Что вы этимъ хотите сказать, милостивый государь? подхватилъ Чернушкинъ, вздрагивая отъ страха.

— Что такое?.. Что случилось?.. спросилъ Авениръ Васильевичъ, неожиданно вбѣгая.

— Случилось, что вотъ этотъ господинъ оклеветалъ мою племянницу! сказалъ Александръ Иванычъ голосомъ, задыхающимся отъ волненія и бѣшенства.

Авениръ Васильевичъ чуть не опрокинулся навзничь отъ такого извѣстія.

— Но я вамъ говорю, что я могъ ошибаться, сказалъ, ободряясь, Чернушкинъ.

— Нѣтъ, милостивый государь, такъ не ошибаются! снова закричалъ Александръ Иванычъ.

— Господа... господа!.. Бога ради... Александръ Иванычъ!.. жена больна... мосье Чернушкинъ!.. господа... ее приводятъ въ чувство... бормоталъ Авениръ Васильевичъ, кидаясь отъ одного къ другому.

— Я буду просить васъ, сказалъ Александръ Ивановичъ, строго обратившись къ Лутовицыну, который слушалъ потупя голову и только время отъ времени схватывалъ себя за голову,—я буду просить васъ положить меня куда-нибудь въ другое мѣсто... вы понимаете, я не могу оставаться съ этимъ господиномъ въ одной комнатѣ... Завтра я буду имѣть честь отблагодарить васъ за вашъ

пріемъ, и... и... при этомъ случаѣ напомню вамъ объ одномъ дѣлѣ...

Авенира Васильевича окатило съ ногъ до головы холоднымъ потомъ; увы! онъ очень хорошо понялъ, о какомъ дѣлѣ намекаетъ Александръ Иванычъ. Перспектива просроченныхъ векселей, находящихся въ рукахъ Александра Иваныча, привела его тотчасъ же въ память. Онъ кинулся къ Чернушкину, который отошелъ въ дальній уголъ, и, крѣпко схвативъ его за руку, прошепталъ ему на ухо:

— Спасите меня... уходите спать въ другое мѣсто!..

— Очень охотно, возразилъ Чернушкинъ, — я самъ только что хотѣлъ просить васъ объ этомъ... Послѣ того, что здѣсь произошло, мнѣ было бы непріятно... У васъ есть другая комната?..

— Всего три: одна, гдѣ жена, другая—дѣтская, третья — эта... остальныя всѣ развалились... но все равно, скороговоркою подхватилъ Авениръ Васильевичъ,—я васъ положу на сѣнникъ... вамъ это ничего?.. на сѣнѣ отлично...

— Куда хотите, лишь бы не съ нимъ!..

— Вамъ ничего будетъ встрѣтиться тамъ съ однимъ моимъ знакомымъ? онъ имѣетъ причины скрываться... можетъ даже быть, вы его знаете...

— Кто такой?

— Бодасовъ!

— Бодасовъ! такъ это былъ онъ!.. чуть не вскрикнулъ Чернушкинъ, поблѣднѣвъ какъ полотно,—нѣтъ... ни за что въ свѣтѣ!..

Авениръ Васильевичъ, доведенный до крайней степени отчаянія, вѣроятно принесъ бы Чернушкина въ жертву Александру Иванычу и рѣшился бы на что-нибудь ужасное, если бъ не подоспѣлъ во время Тарата́евъ.

— Все благополучно! сказалъ онъ,—Зинаидѣ Львовнѣ гораздо лучше!.. Но что съ вами? Ты, Веня, опять какъ-будто осовѣлъ... О чемъ тутъ рѣчь?..

— Да вотъ... эти господа не хотятъ спать въ одной комнатѣ, плачевно началъ Лутовицынъ,—и... и я, право, не знаю, какъ быть...

— Вотъ вздоръ какой! есть о чемъ толковать! все это трынъ-трава, сущая дребедень, и больше ничего; я все это устрою, и ты отлично заснешь!.. Ты пожалуйста не безпокойся объ этомъ, душа моя, ты усталъ, тебѣ нуженъ отдыхъ... я всѣмъ распоряжусь!..

Авениръ Васильевичъ хотѣлъ было обратиться съ извиненіями къ Александру Иванычу, но Таратаевъ не далъ ему открыть рта, вывелъ его силою изъ гостиной, втащилъ въ коридоръ и заперъ за нимъ дверь комнаты, въ которой помѣщалась Зинаида Львовна, — побѣжалъ въ прихожую и принялся кричать, чтобы тотчасъ же несли сѣна!

Не знаю, потому ли, что люди были въ самомъ дѣлѣ напуганы Таратаевымъ, или въ домѣ Авенира Васильевича не оказалось недостатка въ сѣнѣ, — только сѣно не замедлило явиться. Не прошло четверти часа, какъ Александръ Иванычъ, силою почти уложенный Таратаевымъ, лежалъ на своемъ диванѣ; Чернушкинъ покоился на своихъ стульяхъ (только не у окна, а въ дальнемъ углу), а Таратаевъ потягивался между ними на сѣнѣ, увѣряя, что все чепуха, дребедень и не стоило выѣденнаго яйца!

VI.

Отчаянная мѣра.

Зинаида Львовна, совсѣмъ почти одѣтая, лежала на постели спиною къ свѣчкѣ, стоявшей на кругломъ столикѣ. Лобъ ея, повязанный платкомъ, намоченнымъ уксусомъ, бросалъ густую тѣнь на лицо ея. Авениръ Васильевичъ стоялъ на колѣняхъ передъ постелью: онъ то скрещивалъ на груди руки, то взводилъ умоляющіе глаза къ потолку, то силился схватить женину руку.

— Зиночка, это клевета! говорилъ онъ,—клянусь тебѣ, я никакой Полины не знаю!.. это гнусная клевета!.. онъ все это смѣшалъ, перепуталъ!.. Зиночка, взгляни на меня, всмотрись въ черты мои—и ты увидишь, какъ я страдаю.

Зинаида Львовна не дѣлала ни малѣйшаго движенія.

— О, Боже мой! я несчастнѣйшій человѣкъ во всей вселенной! О, если это продлится... я... я... не знаю, что я съ собой сдѣлаю!.. восклицалъ Авениръ Васильевичъ, принимаясь бить себя кулакомъ въ грудь, но при всемъ томъ поглядывая украдкою на жену.

Зинаида Львовна, которая пользовалась тѣнью, покрывавшею ей лицо, и также поглядывала на мужа, осталась совершенно равнодушною.

— И если бъ въ этомъ обвиненіи была хоть частичка правды... подхватилъ Авениръ Васильевичъ,—я не знаю, на что бы я рѣшился... Но нѣтъ... нѣтъ!.. я этому не вѣ-

рю... твое сердце говоритъ тебѣ, что я не виновенъ!.. Зиночка; умоляю тебя!.. пожалѣй меня хоть... ну, хоть въ настоящую минуту!.. Щепетильниковъ ясно намекнулъ мнѣ о векселяхъ... я гибну... голова моя готова треснуть... Я ихъ не звалъ, они сами пріѣхали... Подумай наконецъ о завтрашнемъ днѣ... дай мнѣ совѣтъ какой-нибудь... Бога ради, ты видишь какъ я несчастливъ!.. заключилъ Авениръ Васильевичъ, лицо котораго не оставляло на этотъ разъ сомнѣнія въ искренности того, что онъ говорилъ.

Зинаида Львовна повернулась на подушкахъ, при чемъ рука ея выставилась впередъ. Авениръ Васильевичъ съ жадностью принялся цѣловать эту руку.

— Оставьте меня... слабо сказала Зинаида Львовна, — оставьте, если вамъ дорога моя жизнь... вы меня замучили...

— Душечка ты моя, ангелъ мой... божество ты мое!.. воскликнулъ Авениръ Васильевичъ, припадая еще сильнѣе къ рукѣ и всхлипывая:—не говори этого... ты разрываешь мое сердце!.. Прости меня, я на колѣняхъ умоляю!.. Клянусь тебѣ, въ нашемъ домѣ никогда больше не будетъ ни одного гостя... дѣтьми клянусь!.. я прекращу всѣ знакомства... всѣ до единаго! я, ты и дѣти—и больше никого... я самъ вижу, какъ поступалъ опрометчиво, и самъ до смерти измучился... Клянусь тебѣ, что это не повторится болѣе, и кромѣ тѣхъ, которые пріѣхали, не явится болѣе ни одного человѣка... я приму мѣры, я уже принялъ...

Стукъ въ дверь прервалъ Авенира Васильевича. Зинаида Львовна подняла голову. Авениръ Васильевичъ въ ужасѣ присѣлъ на пятки.

— Кто тутъ? спросила она.

— Это я, сударыня, отозвался голосъ Степана.

— Что тебѣ? сказалъ ободрившійся Авениръ Васильевичъ.

— Письмо... прислали съ нарочнымъ изъ уѣзднаго города, сказалъ Степанъ, подавая письмо въ дверную щель.

— Это, вѣрно, отъ тетушки Анисьи Петровны, проговорилъ мужъ, взламывая печать.

Зинаида Львовна снова опустила голову на подушки. Авениръ Васильевичъ поднесъ письмо къ свѣчкѣ; но съ первыхъ же словъ дыханіе видимо сперлось въ груди его и руки задрожали, какъ въ самомъ сильномъ пароксизмѣ лихорадки.

— Это отъ тетушки?.. что она пишетъ?.. спросила Зинаида Львовна.

— Я... буду... я... пролепеталъ безсвязно Авениръ Васильевичъ.

— Дайте мнѣ сюда письмо... произнесла Зинаида Львовна.

— Но, мой ангелъ... это до тебя не касается... это...

Зинаида Львовна мгновенно почувствовала дурноту. Авениръ Васильевичъ поспѣшилъ подать письмо. Вотъ что прочла Зинаида Львовна послѣ того, какъ оправилась, на что, скажемъ мимоходомъ, потребовалась одна только секунда:

„Ну, дружище, Авениръ, мы ѣдемъ,—всѣ ѣдемъ! Жди насъ сегодня въ ночь или завтра къ разсвѣту! Мы явились бы сегодня къ обѣду, но засѣли въ уѣздномъ городѣ, гдѣ жуируемъ, прощаясь съ городомъ и готовясь къ тишинѣ сельской жизни. Насъ здѣсь всего пятеро; но остальные, которыхъ ты звалъ, вѣроятно, не замѣшкаютъ. Готовь только постели, удочки, ружья, лодки, добраго вина, да хорошихъ сигаръ! За нами дѣло не станетъ! Мы создали даже проектъ о домашнемъ спектаклѣ; кстати вели-ка по этому случаю очистить одну изъ своихъ комнатъ, да распорядись насчетъ маляра, красокъ, музыкантовъ и проч. Насъ нѣсколько смущаетъ жена твоя; ты говорилъ, она мрачнаго характера; жаль, даже досадно; но, впрочемъ, авось какъ-нибудь поладимъ!.. Прощай, до свиданія!..

„Искренно преданные друзья твои:

Иванъ Сдобновъ.
Петруша Сапельниковъ.
Аполлинарій Хохловъ.
Вася Кокуевъ.
Діодоръ Мостовской“.

„P. S. Кстати: есть ли у тебя прудъ? мы веземъ съ собою фейерверкъ!“

Зинаида Львовна быстро встала съ постели.

— Я ѣду, прощайте, ѣду сію же минуту! сказала она съ рѣшительнымъ видомъ.

— Но, мой другъ... я также...

— Не подходите ко мнѣ! сказала она, бросивъ страшный взглядъ.

— Но они...

— Какъ хотите, такъ и дѣлайте! Я ѣду сію же минуту къ тетушкѣ Анисьѣ Петровнѣ; желаю вамъ веселиться съ вашими друзьями... но знайте, что уже съ этой минуты...

— Но, другъ мой... сама посуди, это можетъ насъ на-

вѣки компрометировать... насъ осмѣютъ, и наконецъ, подумай о моемъ положеніи... я не переживу этого!..

— Мнѣ все равно... оставайтесь здѣсь, если хотите.

— Какъ! чтобъ я позволилъ тебѣ ѣхать одной въ такую погоду! ночью! — ни за что въ свѣтѣ!.. воскликнулъ Авениръ Васильевичъ, у котораго лицо озарилось вдругъ какою-то мыслію. — Одну, ночью, съ дѣтьми! это невозможно!.. Я напишу имъ письмо... для формы... и—и поѣду съ вами!—Да, я буду съ вами! заключилъ онъ почти восторженно.

— Дѣлайте какъ хотите, сказала жена, торопливо принимаясь рыться въ комодѣ.

— Мой... другъ, рискнулъ произнесть Авениръ Васильевичъ.

Вмѣсто отвѣта, жена тряхнула въ воздухѣ дѣтскими шубками.

— Мой... другъ, такъ я велю закладывать тарантасъ...

— Я вамъ сказала, что ѣду, спрашивать, стало-быть, нечего! возразила Зинаида Львовна, оборачиваясь назадъ.

Но Авениръ Васильевичъ уже исчезъ. Пройдя торопливо, хотя на цыпочкахъ однакожъ, по коридору, онъ пустился со всѣхъ ногъ въ конюшню, разбудилъ кучера и велѣлъ тотчасъ же закладывать тарантасъ, не забывъ сказать ему при этомъ, чтобы приготовленія сопровождались съ наивозможно большею тишиною—„чтобъ не было ни одного бубенчика!“ добавилъ онъ. На обратномъ пути, онъ разбудилъ Степана и, передавъ ему замѣчаніе касательно тишины, приказалъ немедленно итти подсобить кучеру. Съ тою же поспѣшностью и также на цыпочкахъ прошелъ онъ по коридору. Шорохъ, услышанный имъ въ дѣтской, заставилъ его просунуть туда голову и сказать: „Шт! вы этакъ всѣхъ разбудите!.. Зиночка, одѣвай ихъ теплѣе... дождикъ льетъ ливмя... сейчасъ все будетъ готово!..“ Шорохъ утихъ, и Авениръ Васильевичъ, значительно облегченный отъ волненія, вошелъ въ женину комнату. Не теряя секунды времени, онъ вооружился перомъ, взялъ бумагу и написалъ слѣдующее:

„Господа, простите меня Бога ради, если я не пишу каждому изъ васъ отдѣльно; я дорожу каждой секундой. Мы получили извѣстіе, что тетушка Анисья Петровна лежитъ при смерти; быть-можетъ, мы уже не застанемъ ее въ живыхъ. Я пишу, и рука моя дрожитъ при этой мысли. Всѣ вы, господа, и особенно Александръ Иванычъ, пой-

мете, какъ важно для меня присутствовать при ея послѣднихъ минутахъ... Не упоминая здѣсь о ея добродѣтеляхъ (замѣчательная была старушка!), скажу вамъ, что я... ея наслѣдникъ! Это объяснитъ вамъ мою поспѣшность!.. Нарочный, присланный съ извѣстіемъ, ждетъ въ прихожей... Прощайте!..

„Душевно преданный вамъ,
Авениръ Лутовицынъ".

„Рожновка, два часа ночи.
1855 года".

„Не сухо ли будетъ?.." подумалъ Авениръ Васильевичъ, останавливаясь въ нерѣшительности.

Онъ торопливо раскрылъ свернутое уже письмо и приписалъ на скорую руку:

„P. S. Полагаюсь на ваше дружеское расположеніе; Бога ради, не стѣсняйтесь, распоряжайтесь какъ хотите; завтра привезутъ изъ города провизію; — будьте какъ дома! О пріѣздѣ своемъ ничего не могу сказать навѣрное: все зависитъ отъ положенія тетушки..."

Пять минутъ спустя, письмо вручено было Степану съ наставленіемъ отдать его не прежде, какъ проснутся гости; о нарочномъ, присланномъ изъ города, велѣно было сказать, что нарочный присланъ отъ тетушки Анисьи Петровны.

— Ну, а лошади готовы? заключилъ Авениръ Васильевичъ.

— Готовы, послѣднюю пристяжную взнуздываютъ.

Убѣдившись въ этомъ лично, Авениръ Васильевичъ приказалъ подать плащъ, галоши и шапку, одѣлся и направился въ дѣтскую. Тамъ все уже было готово.

— Тише, ради Бога только тише... сказалъ онъ, пропуская жену, которая прошла, не удостоивъ его взглядомъ. — Надежда, я возьму Сашу и Полю, ты бери Петю и узлы.

— Дайте хоть капотъ-то надѣть... проворчала нянька.

— Шт!.. надѣнешь послѣ... въ тарантасѣ, прошипѣлъ Авениръ Васильевичъ, хватая въ охапку заспанныхъ Сашу и Полю.

Въ коридорѣ, и даже подлѣ самыхъ дверей гостиной, чуть было не произошло несчастіе: Поля, стиснутый слишкомъ крѣпко суетившимся отцомъ, жалобно пискнулъ; но Авениръ Васильевичъ успѣлъ заблаговременно зажать ему ротъ и шепнуть на ухо: „Молчи, дамъ сахару... или ро-

зогъ!“ Поля тотчасъ же замолкъ, и отецъ, поощренный своимъ успѣхомъ, не переставалъ повторять „сахару, розогъ, розогъ, сахару“, до тѣхъ поръ, пока не вышелъ на дворъ.

Дождь, точно, лилъ какъ изъ ведра; ночь была черная; къ довершенію неудовольствій дулъ сильный вѣтеръ, уныло гудѣвшій въ поляхъ и еще унылѣе шумѣвшій деревьями. Авениръ Васильевичъ усадилъ жену, дѣтей и няньку.

— Бубенчики отвязаны? спросилъ онъ у кучера.—Хорошо; ступай въ Дудкино—къ Анисьѣ Петровнѣ!.. скорѣй!..

Онъ занесъ уже ногу въ тарантасъ, какъ вдругъ почувствовалъ, что кто-то сильно ухватилъ его за шинель. Авениръ Васильевичъ обернулся—и нельзя сказать, чтобы обрадовался, увидѣвъ передъ собою Бодасова.

— Это я! сказалъ Бодасовъ. — Ты куда?

— Я... я къ теткѣ... случилось несчастіе... она умираетъ... проговорилъ Лутовицынъ, отыскивая безпокойными глазами жену; но темнота непроницаемая окружала Зинаиду Львовну, и Авениръ Васильевичъ услышалъ только вздохъ, когда Богдасовъ произнесъ:

— И я съ тобою.

— Какъ!

— Ты понимаешь, я не могу здѣсь оставаться одинъ... возразилъ Бодасовъ мрачно, но сохраняя однакожъ какое-то величавое спокойствіе. — Это невозможно! я ѣду съ тобою... я узналъ, что ты собираешься, все уложено... черезъ минуту я готовъ! довершилъ онъ, исчезая въ темнотѣ.

Прошла минута ожиданія, которая показалась получасомъ Авениру Васильевичу, сидѣвшему прямо противъ жены.

— Я на козлахъ не могу, прйметъ насквозь... я сяду съ тобою! сказалъ Бодасовъ, неожиданно появляясь.

Дѣлать было нечего; Авениръ Васильевичъ, боявшійся, чтобы, въ случаѣ отказа, Бодасовъ не поднялъ шуму, приплюснулся къ боку кузова и далъ ему мѣста.

— Душенька, позволь отрекомендовать тебѣ... это пріятель... Бодасовъ... Аркадій Ивановичъ... странная исторія...

Изъ глубины тарантаса послышался только слабый стонъ.

— Пошелъ! крикнулъ Авениръ Васильевичъ.

Лошади фыркнули, замѣсили копытами, тарантасъ покатился.

VII.

Странствованіе, испытаніе, раскаяніе, заключеніе.

Не могу вамъ сказать утвердительно, долго ли говорили, о чемъ говорили и въ какой именно степени пріятна была бесѣда между сидѣвшими въ тарантасѣ, — знаю только, что часа полтора послѣ отъѣзда, всѣ спали, и особенно хорото спалъ Бодасовъ, который видимо успокоивался по мѣрѣ отдаленія отъ Рожновки; онъ такъ напиралъ на Авенира Васильевича, что тотъ принужденъ былъ нѣсколько разъ брать его за плечи и приводить въ перпендикулярное положеніе.

Все, впрочемъ, способствовало ко сну; дорога была необычайно мягка по случаю грязи; лошади, по случаю той же грязи, везли шагомъ: поневолѣ спалось какъ-то!

Часамъ къ восьми утра, когда всѣ еще спали, тарантасъ подъѣхалъ къ берегу рѣчки. На противоположномъ берегу рѣки начиналось уже владѣніе Анисьи Петровны. У перевоза стояло нѣсколько подводъ и мужиковъ.

— Эво! паромъ! закричалъ кучеръ Лутовицыныхъ.

— Поди-ка, достань его! отозвался одинъ изъ стоявшихъ мужиковъ—вишь вода какая, ночью снесло...

— Какъ же вы его опустили, разбойники!..

— Да, жаль, тебя не было... былъ бы цѣлъ паромъ-атъ! замѣтилъ другой.

— Что такое? спросилъ Авениръ Васильевичъ, внезапно пробуждаясь.

За нимъ пробудились и всѣ остальные.

— Перевозу, сударь, нѣтъ, сказалъ кучеръ.

— Какъ такъ?

— Паромъ унесло... больно отъ дождей рѣка взыгралась...

— Какъ же быть?

— Ужъ вамъ придется, ваше благородіе, подождать... сказалъ мужичокъ.

— Когда же будетъ паромъ?

— Надо полагать, къ вечеру будетъ... народъ побѣжалъ за нимъ; къ вечеру будетъ, коли словятъ.

— Что жъ мы будемъ дѣлать? сказалъ Лутовицынъ, поворачиваясь къ женѣ.

Зинаида Львовна кусала только губы. Бодасову, который, повидимому, окончательно успокоился, было совер-

шенно все равно; онъ сказалъ даже что-то о пріятностяхъ бродячей, кочевой жизни. На самомъ дѣлѣ нельзя же было оставаться здѣсь до вечера. Рѣшено было вернуться назадъ и на второй верстѣ отъ рѣки дождаться вечера въ деревнѣ Бубновкѣ.

— Кричите, дѣти: пошелъ! вымолвилъ повеселѣвшій Авениръ Васильевичъ.

— Пасіоль! закричали въ одинъ голосъ Саша, Поля и Петя.

И тарантасъ, повернувъ оглоблями, покатился назадъ.

Нельзя сказать, чтобы утро и полдень, проведенные въ Бубновкѣ, показались особенно короткими и пріятными. Начать съ того, что всѣ должны были сидѣть въ курной избѣ,—хотя дождь и пересталъ, но было такъ грязно, что не предстояло никакой возможности ступить на улицу. Къ зубной боли, на которую жаловалась Зинаида Львовна, присоединилась вскорѣ страшная мигрень; все это, конечно, способствовало только къ поддержанію ея дурного расположенія духа; Авениръ Васильевичъ долженъ былъ, слѣдовательно, хоть поневолѣ, да казаться огорченнымъ и встревоженнымъ. Бодасовъ молчалъ; дорога пробудила въ немъ мысли о прошломъ, а прошлое, какъ уже извѣстно, представляло Бодасову мало отраднаго. Одни только дѣтскіе крики оживляли общество; но оживленіе это, возбужденное безчисленными насѣкомыми, которыя безъ милосердія ѣли Сашу, Полю и Петю, не могло, какъ каждый легко себѣ представитъ, веселить сердца присутствовавшихъ. Словомъ, всѣ несказанно были обрадованы, когда, часамъ къ пяти, кучеръ объявилъ, что лошади готовы.

Первымъ дѣломъ Авенира Васильевича, когда пріѣхалъ онъ къ перевозу, было освѣдомиться о паромѣ.

— Парома, сударь, еще не приводили, сказалъ одинъ изъ близъ-стоявшихъ мужиковъ.

— Какъ?.. ахъ вы, разбойники!.. вотъ я васъ!.. это что такое?.. вотъ я васъ всѣхъ къ исправнику, зашумѣлъ вдругъ Авениръ Васильевичъ.

— Воля милости вашей, спокойно отвѣчалъ мужикъ,— далеко очень унесло паромъ-атъ... мы этому не причиной...

— Неужто безъ парома нельзя переѣхать? спросилъ Лутовицынъ.

— Есть челночекъ... да только, ваше благородіе...

— Мы поѣдемъ на челнокѣ! перебилъ Авениръ Васильевичъ.—Зиночка, я самъ перевезу тебя...

— Ни за что въ свѣтѣ!.. Коли вы хотите топиться, поѣзжайте сами!..

— Ѣзда опасная, челнокъ кувыркается, замѣтилъ Бодасовъ.

— Точно, сударь, опасливо... въ другое время можно, а теперь опасливо, вона какъ разыгралась!.. сказалъ мужикъ, указывая на рѣку,—ужъ на что мы къ этому дѣлу привычны, и то въ челнокѣ не поѣдемъ...

— Ну, не досадно ли это? воскликнулъ Авениръ Васильевичъ,—вѣдь почти подъ носомъ Дудкино, вонъ даже избы видны, а между тѣмъ—сиди здѣсь да жди!

— Вы, сударь, въ Дудкино изволите ѣхать? спросилъ мужикъ.

— Да; а что, ты развѣ дудкинской?

— Дудкинской, сударь... я староста Анисьи Петровны... только вы, сударь, напрасно изволите себя безпокоить...

— А что?

— Да барыни нѣтъ дома...

— Какъ?

— Вечоръ еще изволили уѣхать... по тому случаю, сударь, и я здѣсь, поѣхалъ провожать ихнюю милость...

— Куда она уѣхала?

— Есть, сударь, у насъ деревня, Рожновка прозывается, ихнему-то племяннику принадлежащая... такъ, сказывали, туда и поѣхала...

При этомъ извѣстіи вся кровь бросилась Авениру Васильевичу въ голову: красные и зеленые кружки завертѣлись въ глазахъ его, голова закружилась.

— Они тамъ столкнутся!.. все объяснится!.. тетушка узнаетъ... мы погибли! скороговоркою прошепталъ онъ, быстро наклоняясь къ женѣ.

Зинаида Львовна приложила руку къ больной щекѣ, закрыла глаза и опустила голову на подушку.

— Вотъ ужъ именно, если начнутся несчастія, такъ ужъ имъ и конца не видать! бѣшено крикнулъ Лутовицынъ.

— Да, скверно! замѣтилъ Бодасовъ, которому въ сущности было все равно, лишь бы находиться подальше отъ кредиторовъ.

— Но какъ же случилось, что я не встрѣтился съ тетушкой? сказалъ Авениръ Васильевичъ, быстро обращаясь къ дудкинскому старостѣ,—вѣдь дорога одна...

— Нѣтъ, двѣ, сударь: эта дорога городская, въ городъ

ѣздятъ, когда понадобится; а тамъ есть проселокъ... Анисья Петровна изволили по той поѣхать...

— Боже мой, хоть бы паромъ-то былъ!.. Что намъ дѣлать?.. неужто ѣхать опять въ Бубновку?.. разстроеннымъ голосомъ произнесъ Авениръ Васильевичъ. Зинаида Львовна объявила, что она готова ночевать лучше въ полѣ.

Авениръ Васильевичъ согласился во всемъ, какъ вдругъ мысль, что рожновскіе гости послѣ прочтенія письма могли тотчасъ же пуститься въ путь и, что всего хуже, могли застигнуть его съ минуты на минуту, или на перевозѣ, или на дорогѣ (другой дороги къ городу не было), заставила его тотчасъ же перемѣнить намѣреніе.

— Пошелъ во весь духъ въ Бубновку... въ Бубновку... во весь духъ! въ Бубновку! закричалъ онъ внезапно такимъ голосомъ, что всѣ присутствующіе дрогнули.

— Куда торопиться, сударь? сказалъ кучеръ, одинъ только сохранявшій невозмутимое равнодушіе,—всего двѣ версты... успѣемъ!..

— Пошелъ! пошелъ! заревѣлъ Авениръ Васильевичъ, схватывая его за шиворотъ.—Душенька, примолвилъ онъ, мгновенно обратившись къ женѣ,—мы не войдемъ ни въ одну избу, будемъ ночевать въ полѣ... Бога ради только, Бога ради не задерживай!..

Съ этой минуты Авениръ Васильевичъ не отрывалъ уже почти глазъ отъ дороги; волненіе его и безпокойство возрастали съ каждымъ поворотомъ колеса; онъ поминутно освѣдомлялся, не видать ли кого-нибудь впереди на дорогѣ, и не переставалъ погонять кучера. Бодасовъ казался, напротивъ, совершенно спокойнымъ; не подозрѣвая о непріятностяхъ, которыми осаждены были рожновскіе гости, онъ не предполагалъ даже возможности скораго ихъ возвращенія въ городъ. Сладкая беззаботливость сельской жизни представлялась ему пріятнѣйшимъ отдохновеніемъ послѣ жизни городской, исполненной всякихъ тревогъ и ежеминутныхъ опасеній. Усѣвшись какъ можно удобнѣе и просторнѣе подлѣ Авенира Васильевича, онъ, можно даже сказать, поглядывалъ съ умиленнымъ чувствомъ глубоко-поэтической души на болото, тянувшееся вправо отъ тарантаса, и на лѣсъ, величественно возносившійся слѣва. Отданный весь созерцательному чувству, онъ не пошевелилъ даже бровями, когда тарантасъ, отъѣхавшій уже съ версту отъ перевоза, засѣлъ въ грязной ямѣ чуть не по самую ступицу.

— Эхъ, какъ засѣли, инда крякнуло! сказалъ кучеръ.

— Пошелъ! пошелъ! закричалъ Авениръ Васильевичъ.

— Да куды идти-то сударь? видите сами, засѣли!.. Вонъ никакъ тамъ обозъ показался... подождать надо...

— Какой обозъ?.. гдѣ?.. гдѣ обозъ?.. засуетился Авениръ Васильевичъ.

— Да вона? сказалъ кучеръ, указывая концомъ кнута.— Э, э! прибавилъ онъ почти въ ту же минуту,—да это не обозъ... никакъ тарантасы... три тарантаса!..

— Это они! закричалъ Авениръ Васильевичъ, метаясь въ экипажѣ, какъ мышь, попавшая въ банку.

— Кто они? спросилъ Бодасовъ.

— Они!.. наши гости!.. Таратаевъ... Боже! сейчасъ ясно мелькнула соломенная шляпа Щепетильникова!..

— Щепетильниковъ! заревѣлъ Бодасовъ, давя и опрокидывая все, чтобы достать свой дорожный мѣшокъ, и не обращая вниманія на крикъ Зинаиды Львовны, пискъ дѣтей и проклятія няньки, которой онъ отдавилъ мозоли.

— Пошелъ, стегай во весь духъ! держи въ лѣсъ, влѣво держи, въ лѣсъ, въ лѣсъ! закричалъ между тѣмъ Авениръ Васильевичъ, выпрыгивая изъ тарантаса,—скорѣе, я облегчилъ экипажъ!.. Бодасовъ, подсобляй, напирай сзади...

Понуканье кучера, крикъ Лутовицына и Бодасова, визгъ няньки, барыни, ревъ дѣтей и фырканье лошадей—все это сливалось на минуту въ одну ноту. Испуганная тройка рванула во всю мочь и вывезла тарантасъ, оставивъ однакожъ за собою Бодасова и Лутовицына, упавшихъ другъ на друга въ лужу. Одна только секунда понадобилась имъ, чтобы встать и оправиться.

— Заворачивай круче... держи въ лѣсъ... скорѣе, скорѣе! закричали они въ одинъ голосъ, опережая тарантасъ и указывая на дорогу.

— Далеко, сударь, не уѣдешь, сказалъ кучеръ, постегивая кнутомъ и слѣдуя по стопамъ Авенира Васильевича,—всѣ ступицы поломаешь...

— Ломай все, все ломай! крикнулъ Авениръ Васильевичъ,—ломи, только забирайся глубже!

— Въ самую чащу, дальше въ чащу! подхватилъ также живо Бодасовъ, исчезая въ кустахъ.

Минуту спустя, тарантасъ въѣхалъ въ кусты. Ѣхать дальше, точно, не было возможности; но, впрочемъ, съ этого мѣста тарантасъ дѣлался незамѣтнымъ со стороны дороги, и Авениръ Васильевичъ перевелъ духъ.

— Тише... Бога ради, тише... я слышу, они подъѣзжаютъ! сказалъ онъ, влѣзая въ тарантасъ, между тѣмъ какъ Бодасовъ, помѣстившійся тамъ прежде него, поспѣшилъ при этомъ свѣсить ноги и скорѣе ухватить свою дорожную сумку.

Неподалеку, точно, послышался стукъ ѣхавшихъ экипажей.

— Тссъ! произнесъ Лутовицынъ, — мнѣ кажется даже, какъ будто я услыхалъ свое имя...

При этомъ Зинаида Львовна толкнула ногой мужа и выразительно указала глазами на няньку и кучера.

— Кузьма... Надежда... прошепталъ торопливо Авениръ Васильевичъ,—вы пошли бы пока въ лѣсъ... ступайте-ка... тамъ, я чай, теперь грибовъ много...

— И я пойду съ ними... сказалъ Бодасовъ, дѣлавшійся все безпокойнѣе по мѣрѣ того, какъ стукъ экипажей приближался. Едва только кучеръ, нянька и Бодасовъ удалились, Авениръ Васильевичъ вспрыгнулъ на-земь, пробрался къ ближайшему кусту и принялся глядѣть на дорогу.

Шумъ экипажей дѣлался слышнѣе и слышнѣе; явственно уже доходили теперь слова проѣзжавшихъ; наконецъ, передовой экипажъ совсѣмъ почти поровнялся съ кустомъ, скрывшимъ Авенира Васильевича. Сердце его забилось необыкновенно сильно, когда онъ увидалъ Александра Иваныча; рядомъ съ нимъ помѣщался одинъ изъ пятерыхъ товарищей, приславшихъ письмо—Аполлинарій Хохловъ.

— Да, точно, говорилъ Хохловъ, — съ одной стороны это забавно, смѣшно; съ другой, признаться, ужасно досадно...

— Да, сударь мой, сказалъ Александръ Иванычъ, тономъ человѣка незлобнаго, но обиженнаго и раздраженнаго.

— Что жъ вы намѣрены дѣлать? говорилъ Хохловъ.

— Такого рода шутки не прощаются... всему есть мѣры, да!.. Я принимаю его приглашеніе не иначе, какъ за насмѣшку... Охъ, добавилъ Александръ Иванычъ, скорчиваясь.

— Что, все еще не прошло? спросилъ Хохловъ.

— Какое прошло!.. такія колики, что ужасъ!..

— Ну, хорошо, вы говорили — векселя; но вѣдь тетка его явственно, кажется, сказала памъ, что лишаетъ его наслѣдства... приступилъ снова Хохловъ.

— Да, но у него остался еще домъ на Выборгской... Охъ!

— Что, опять? спросилъ Хохловъ.

— Опять!..

Тарантасъ такъ далеко отъѣхалъ, что голоса стали смѣшиваться со стукомъ копытъ.

— Слышали? прошептала Зинаида Львовна.

Авениръ Васильевичъ, по лицу котораго струились крупныя капли пота, опустилъ голову и развелъ руками. Но въ это время показался второй тарантасъ, и онъ снова превратился весь въ слухъ.

— Я больше ничего не скажу — онъ мямля и невѣжа! говорилъ Таратаевъ.—Откровенно признался бы намъ, что вотъ такъ и такъ; словомъ — совралъ... а то наговорилъ съ три короба, созвалъ и — далъ тягу... Досадно только на Зинаиду Львовну! право, досадно... А впрочемъ, при встрѣчѣ съ нимъ, я еще намну ему шею... непремѣнно намну—не за насъ, нѣтъ... а за нее...

— И прекрасно сдѣлаешь, запищалъ сидѣвшій съ нимъ Чернушкинъ. — Что до меня касается, я непремѣнно опишу всю эту исторію... даже фамилію назову, непремѣнно назову...

— Ну, это мы еще увидимъ, сказалъ Таратаевъ.

„Слава Богу, хоть одинъ да заступился!..“ подумалъ Авениръ Васильевичъ—и снова припалъ къ кусту, чтобы прислушиваться къ тому, что̀ говорили въ третьемъ тарантасѣ. Тамъ сидѣли Сдобновъ, Петруша Сапельниковъ, Вася Кокуевъ и Діодоръ Мостовскій; но ничего не услыхалъ отъ нихъ Авениръ Васильевичъ. Всѣ четверо хохотали во все горло и курили. Разъ только, почти противъ самаго куста, Вася Кокуевъ упомянулъ посреди хохота его фамилію, но Петруша Сапельниковъ тотчасъ же остановилъ его, сказавъ: „полно, братецъ, не стоитъ говорить о немъ!“—и только.

— Ну что, довольны ли вы? спросила Зинаида Львовна, глядя на мужа, который возвращался къ экипажу съ такимъ видомъ, какъ будто его три часа парили въ банѣ.

— Другъ мой! воскликнулъ Авениръ Васильевичъ,— клянусь тебѣ, клянусь, что если проживу даже двѣсти лѣтъ, не позову ни одного гостя!..

— Ну нѣтъ, не утерпишь, возразила жена тономъ, который показывалъ, что она считала уже жестокимъ поражать его въ настоящую минуту,—опять будешь звать.

— Да... можетъ-быть... но уже тогда развѣ, какъ устрою дѣла и въ домѣ будетъ больше порядку; наконецъ, клянусь тебѣ, буду звать только самыхъ короткихъ друзей...

— Ну, это другое дѣло! перебила Зинаида Львовна.— Что жъ мы здѣсь, однакоже, стоимъ? Пора ѣхать... примолвила она,—мы успѣемъ еще къ ночи домой пріѣхать...

Въ натурѣ Авенира Васильевича было то замѣчательно, что, несмотря на его тридцать лѣтъ, радость и горе смѣнялись въ немъ съ необычайною быстротою. Минувшая опасность и ласковый голосъ жены ободрили его почти мгновенно. Онъ точно пробудился отъ тяжелаго сна. Съ лица его какъ будто упала какая-то маска; оно вдругъ повеселѣло и даже сдѣлалось радостнымъ. Звучный, чистый голосъ, съ какимъ прокричалъ онъ: „Кузьма!—Надежда!“ ясно уже показалъ, что въ груди его не оставалось и тѣни тяжкаго чувства и волненія. На зовъ его прежде всѣхъ явился Бодасовъ. Изъ ближайшаго куста выставилось сначала мрачное лицо его, до половины закрытое усами и бакенбардами.

— Ну, что, гроза миновала? спросилъ онъ, подозрительно блуждая глазами.

— Нѣтъ еще... не совсѣмъ... возразила Зинаида Львовна, бросивъ выразительный взглядъ на мужа.

Но обстоятельства Бодасова были въ самомъ дѣлѣ слишкомъ затруднительны, чтобы позволить ему обращать вниманіе на взгляды и звуки голоса; онъ влѣзъ въ тарантасъ и поспѣшилъ занять мѣсто подлѣ Авенира Васильевича.

— Вы куда, домой? спросилъ онъ.

— Домой...

— И я съ вами... Извините, сударыня... тысячу непріятностей... мнѣ больше некуда.

Проговоривъ это, Бодасовъ быстро надвинулъ на глаза широкополую свою шляпу, ушелъ съ усами въ воротникъ, изъѣденный молью, и погрузился въ задумчивое молчаніе. Кузьма и Надежда Никитична не замедлили явиться. Минутъ пять спустя, тарантасъ катился по направленію къ Рожновкѣ. Прошло еще десять минутъ, и съ того мѣста, гдѣ мы его оставили, онъ казался уже чѣмъ-то въ родѣ кочки надъ волнистою линіею необозримыхъ полей, стлавшихся во всѣ стороны. Съ каждой секундой тарантасъ уменьшался. Еще минута — и онъ явился уже какъ точка, и, наконецъ, мы его совершенно потеряли

изъ виду, потеряли надолго... быть-можетъ, даже навсегда—вмѣстѣ съ лицами въ немъ сидѣвшими.

И въ самомъ дѣлѣ, очень легко могло статься, что мы никогда бы даже не услыхали объ Авенирѣ Васильевичѣ, если бъ, года два спустя послѣ всего случившагося, до насъ не дошли о немъ вѣсти. Такъ какъ вѣсти эти благопріятны въ высшей степени—мы спѣшимъ подѣлиться ими съ читателемъ.

Тетушка Авенира Васильевича точно сильно сердилась и сказала даже, что лишаетъ его наслѣдства. Но гнѣвъ ея прошелъ, какъ только увидала она племянника, его жену и дѣтей, и услыхала отъ нихъ откровенное признаніе о причинѣ побѣга и о письмѣ, въ которомъ упоминалось о ея смертномъ одрѣ. Зинаида Львовна, никогда не сомнѣвавшаяся въ добротѣ Анисьи Петровны, окончательно убѣдилась въ этомъ, когда, годъ спустя, тетка умерла и оставила племяннику все свое имущество. Присоединеніе деревни Дудкино къ родовой Рожновкѣ сильно поправило обстоятельства Авенира Васильевича. Домъ на Выборгской, давно уже проданный съ публичнаго торгу, пошелъ на уплату долговъ, и, слѣдовательно, доходы съ Дудкина могли быть употреблены на устройство рожновскаго дома, который совершенно, говорятъ, преобразился. Не могу вамъ сказать навѣрное о томъ, возобновлены ли павильоны—китайскій и готическій, но знаю навѣрное, что парадная лѣстница сдѣлана совершенно заново; она выкрашена даже масляной краской, и на ней, когда смолкаетъ дневной шумъ, усаживался всегда Степанъ, чтобы слушать соловьевъ.

Авениръ Васильевичъ, по всему видно, день ото дня пристращается къ деревенской жизни; онъ не думаетъ даже ѣхать въ Петербургъ; цѣлые дни рыскаетъ по полямъ, вечеромъ, послѣ трудовъ, усаживается обыкновенно въ саду, съ женою и дѣтьми, и вдыхаетъ въ себя свѣжій воздухъ, съ бо̀льшимъ еще наслажденіемъ, чѣмъ прежде. Два лѣта въ деревнѣ, послѣ жизни на Карповкѣ и Черной рѣчкѣ, замѣтно исправили Зинаиду Львовну; она даже какъ будто помолодѣла. Поля, Петя и Саша (къ нимъ присоединились еще двое), напротивъ, какъ бы въ укоръ матери, мужаютъ съ каждымъ часомъ. Они, говорятъ, очень веселились на свадьбѣ кучера Кузьмы, который женился на той самой скотницѣ, которую когда-то остановилъ на дворѣ Таратаевъ. Надежда Никитична такъ

растолстѣла, что едва уже можетъ двигаться; но это ничего: носятся слухи, будто Степанъ начинаетъ съ нѣкоторыхъ поръ сильно на нее засматриваться. Я полагаю, не способствуетъ ли этому особенно мечтаніе на лѣстницѣ по вечерамъ и пѣніе соловьевъ?..

Что же касается до Бодасова, мы узнали о немъ очень немногое: одни говорятъ, будто ему до нестерпимости прискучило жить въ домѣ, гдѣ не было бильярда и не играли въ карты,—и онъ оставилъ Рожновку дружелюбно; другіе приписываютъ исчезновеніе Бодасова ссорѣ съ Авениромъ Васильевичемъ: Бодасовъ попросилъ у Авенира Васильевича триста цѣлковыхъ взаймы, получилъ отказъ, обидѣлся, и мгновенно оставилъ Рожновку. Послѣ этого, онъ сошелся съ помѣщикомъ Пигуновымъ и жилъ у него довольно долго; но попросилъ взаймы двѣсти цѣлковыхъ, получилъ отказъ, обидѣлся и—перешелъ къ помѣщику Пѣнкину; у Пѣнкина онъ жилъ недолго; попросилъ двадцать цѣлковыхъ взаймы, получилъ отказъ, обидѣлся и — оставилъ его домъ. Всѣ единодушно подтверждаютъ теперь мнѣніе, будто Бодасовъ продолжаетъ жить въ провинціи. Тщательно избѣгая большихъ губернскихъ городовъ, онъ скитается изъ уѣзда въ уѣздъ, переходитъ отъ одного помѣщика къ другому; здѣсь гоститъ день, тамъ — недѣлю, тутъ — три дня; наконецъ, попроситъ взаймы цѣлковый или два, ему откажутъ, онъ обижается и—ѣдетъ далѣе... Ясно, что такая жизнь способна только увеличить до безконечности и безъ того уже длинный свитокъ горькихъ и безотрадныхъ воспоминаній въ памяти Аркадія Иваныча Бодасова!

Вотъ и все, кажется... Остальное все—мнѣ совершенно неизвѣстно.

Оглавленіе VII тома.

стр.

Прохожій. Святочный разсказъ 5

Столичные родственники 55

Пахарь. Повѣсть 218

Школа гостепріимства. Повѣсть 257

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

Д. В. ГРИГОРОВИЧА

въ 12 томахъ.

3-е, вновь пересмотрѣнное и исправленное авторомъ изданіе.

ТОМЪ ВОСЬМОЙ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1896.

Дозволено цензурою СПБ. 21 февраля 1896 г.

Типографія А. Ф. МАРКСА, Средняя Подъяческая, д. № 1.

СОЧИНЕНІЯ

Д. В. Григоровича.

VIII.

СКУЧНЫЕ ЛЮДИ.

(физіологическій очеркъ.)

I.

Вступленіе.

Что̀ такое скучный человѣкъ?.. Нѣтъ вопроса, повидимому, на который такъ легко было бы отвѣтить, не правда ли? Я самъ прежде такъ думалъ, теперь думаю иначе.

Вѣрное, точное опредѣленіе того, что̀ вообще называютъ „скучный человѣкъ“, встрѣчаетъ безчисленное множество затрудненій; рѣшеніе такого вопроса считаю я трудностію невѣроятною! мало того: считаю почти невозможнымъ! Безъ всякаго сомнѣнія, многіе съ этимъ не согласятся. „Вотъ хорошо! воскликнутъ они (и по бо̀льшей части, повѣрьте, и я докажу это впослѣдствіи, то будутъ люди страшно легкомысленные!)—вотъ хорошо! Помилуйте, мы тотчасъ же готовы насчитать вамъ, изъ числа нашихъ знакомыхъ, дюжину такихъ, которые представляютъ не только образчикъ, но идеалъ, типъ—совершеннѣйшій типъ скучныхъ людей!..“ Превосходно. Не спорю. Съ своей стороны, я также готовъ выставить на ваше вниманіе дюжину, и даже болѣе, моихъ знакомыхъ, которые, ручаюсь головою, ничѣмъ не уступятъ вашимъ. Но дѣйствуя такимъ образомъ, мы все-таки, смѣю сказать, ровно ничего не докажемъ. Именно такъ. Почемъ знать: люди, которыхъ называете вы „скучными“, покажутся мнѣ, можетъ-быть, вовсе не такими. И наоборотъ: мои знакомые займутъ въ вашемъ мнѣніи мѣсто самыхъ милыхъ, любезныхъ и занимательныхъ особъ...

То, что въ одномъ возбуждаетъ скуку, доходящую до нервнаго раздраженія, другому доставляетъ веселость, располагаетъ ко вниманію его нервы, служитъ источникомъ сладчайшихъ радостей и высочайшихъ наслажденій.

Положимъ, вы спеціалистъ по какой-нибудь части (я ничего не знаю, я только предполагаю); вы избрали предметомъ исторію давно перемѣшавшихся и исчезнувшихъ племенъ; вы занимаетесь агрономіею, астрономіею, пчеловодствомъ и проч., и проч. Положимъ, вашъ покорнѣйшій слуга ровнехонько ничего не смыслитъ въ этихъ предметахъ, онъ круглый невѣжда въ дѣлѣ исторіи, агрономіи, астрономіи и проч.; но любитъ онъ, напримѣръ, картины и посвящаетъ время свое на изученіе изящныхъ искусствъ. Что жъ мудренаго, если оба мы не найдемъ большого наслажденія, бесѣдуя другъ съ другомъ? Я буду скучнѣйшимъ человѣкомъ въ глазахъ вашихъ; но, съ другой стороны, прошу я васъ также не брать за чистую монету моихъ улыбокъ и вниманія: то и другое можетъ служить прикрытіемъ жесточайшей скуки, которую испытываю я, выслушивая повѣствованія объ исчезнувшихъ племенахъ, небесныхъ свѣтилахъ и новѣйшихъ способахъ разведенія кормового гороха. Является между нами третье лицо; въ глазахъ его оба мы дѣлаемся людьми очень занимательными, каждый въ своемъ родѣ, разумѣется.

Теперь другое предположеніе: вы человѣкъ положительный, спокойный, установившійся. Внѣ тихаго семейнаго круга нигдѣ не находите вы удовольствій. Вы встрѣчаетесь съ человѣкомъ молодымъ, не успѣвшимъ еще остепениться, или такимъ, который уже по природѣ своей не слишкомъ расположенъ къ семейному очагу. Легко можетъ статься, что каждый изъ васъ, поговоривъ другъ съ другомъ, обратится къ третьему лицу и, пожимая плечами, шепнетъ ему на ухо: „Фу, Боже мой, что это за скучный человѣкъ!“ А между тѣмъ, оба вы, по приговору общаго мнѣнія, вовсе не заслуживаете такого названія.

Ясно слѣдуетъ изъ этого, какъ дважды два — четыре ясно, что въ вопросѣ о скучныхъ людяхъ необходимо принимать въ соображеніе не только способности, познанія и вообще бо́льшую или меньшую степень умственной занимательности, но также характеръ, наклонности, стремленія, вкусы,—словомъ, нравственную природу человѣка.

Возьмемъ примѣръ, Г*** обогатилъ свой умъ драгоцѣнными познаніями; Г*** чудо, фениксъ учености. Но развѣ

Г*** не можетъ быть въ то же время крайне раздражительнымъ, желчнымъ, завистливымъ, обидчивымъ, самолюбивымъ? Вы не просидите съ нимъ десяти минутъ, несмотря на всю его ученость; онъ надоѣстъ вамъ хуже горькой рѣдьки, какъ говорится. И наоборотъ: не только не чувствуете вы скуки и тягости, но охотно даже предлагаете комнату въ вашей квартирѣ, или мѣсто въ вашемъ экипажѣ на поѣздку въ чужіе края, круглому невѣждѣ, но веселому, безъ претензій, уживчивому, исполненному скромности и терпимости.

Изъ всего сказаннаго нами истекаетъ сама собою слѣдующая аксіома:

Одинъ и тотъ же человѣкъ можетъ быть весьма скучнымъ для одного и въ то же время очень занимательнымъ для другого. Примѣръ: .

Я зналъ господина, одинъ видъ котораго производилъ на всѣхъ усыпляющее дѣйствіе. При появленіи его въ гостиную (такъ всѣ говорили, и я ручаюсь за достовѣрность факта), свѣчи и лампы начинали тухнуть; дѣти принимались тереть глаза и склоняли голову на плечи нянекъ и родителей; взрослые вытягивали ноги, скрещивали руки на груди, стараясь приладиться въ мягкіе углы дивановъ; унынie, изображавшееся на лицахъ присутствующихъ, было поистинѣ комично; словомъ, все засыпало; засыпала, казалось, неугомонная левретка на колѣняхъ хозяйки дома. И что жъ бы вы думали? Въ другомъ домѣ, находившемся даже недалеко отъ перваго, этотъ опіумный господинъ (такъ звали его въ первой гостиной) производилъ совершенно противоположное дѣйствіе; лысина его имѣла свойство проливать самый яркій свѣтъ; при появленіи его, одинъ видъ лысины пробуждалъ уже въ сердцахъ присутствующихъ сладчайшее трепетаніе; самое молчаніе его находило восторженныхъ истолкователей. Какъ теперь помню, онъ является, садится въ кресло и, по обыкновенію своему, погружается въ молчаніе. Взоры присутствующихъ умиленно останавливаются на лысинѣ; лица выражаютъ благоговѣйное ожиданіе. Молчаніе продолжается довольно долго; никто не смѣетъ прервать его. Внезапно какой-то молодой человѣкъ вскакиваетъ съ мѣста, обращается къ присутствующимъ и, указывая на опіумнаго господина, восклицаетъ съ восторгомъ: „Взгляните! взгляните... или вы не замѣчаете?.. Взгляните, какое цицероновское молчаніе!..“ И такъ, въ одномъ домѣ

опіумный господинъ погружаетъ всѣхъ въ сонъ; въ другомъ—самое молчаніе его вызываетъ восторженныя рукоплесканія. Откроетъ ли онъ ротъ, хоть бы даже для того, чтобы чихнуть или кашлянуть, присутствующіе нетерпѣливо моргаютъ глазами, толкаютъ другъ друга локтемъ, и со всѣхъ сторонъ слышится уже шопотъ: „Сейчасъ заговоритъ!.. сейчасъ говорить будетъ!..“ Когда заговоритъ онъ (и это совершенно все равно: скажетъ ли самую обыкновенную вещь, или даже попросту ляпнетъ),—всѣ переполняются неподдѣльнымъ энтузіазмомъ, поднимаются съ мѣстъ и со слезами на глазахъ кидаются жать ему руку.

Примѣръ этотъ приведенъ здѣсь отчасти въ доказательство, что на всемъ свѣтѣ не сыскать существа, которое было бы такъ „безусловно относительно“, какъ скучный человѣкъ. Не угодно ли послѣ того дѣлать на его счетъ какіе бы то ни было выводы и опредѣленія; не угодно ли пріискать ему существенную положительную форму? По моему мнѣнію Б*—орелъ; по вашему, тотъ же Б*—индюкъ; вы стоите за свои убѣжденія, я за свои; кто изъ насъ правъ, кто виноватъ? Намъ могутъ вѣрить и не вѣрить. Вопросъ остается нерѣшеннымъ.

Напрасно станете вы приводить въ подтвержденіе словъ вашихъ наружные признаки, отличающіе человѣка, которому дѣлаете репутацію скучнаго. Начать съ того, что скучные люди не отличаются никакими внѣшними знаками отъ другихъ людей; одно изъ главныхъ преимуществъ скучныхъ людей заключается въ томъ именно, что они такъ же разительно похожи другъ на друга, какъ и на остальныхъ смертныхъ. Наконецъ, вытянутая физіономія, унылый взглядъ, вялая, сонливая рѣчь, тоскливое выраженіе лица, опять-таки ровно ничего не доказываютъ: у самаго веселаго, милаго, занимательнаго человѣка встрѣчаются минуты тоски и грусти; онъ дѣлается тогда самъ на себя не похожимъ. Онъ, слѣдовательно, не скученъ, а только скучаетъ—это разница. Встрѣчаются люди характера до такой степени впечатлительнаго, подвижного, перемѣнчиваго, что сегодня, напримѣръ, они хорошо настроены: они веселы, любезны, занимательны, блестящи даже; завтра они, ни съ того, ни съ сего, хмурятъ лицо, смотрятъ на все и на всѣхъ потухшими глазами; слова отъ нихъ не добьешься! Несправедливо было бы дѣлать заключеніе о такомъ человѣкѣ, не зная его основательно. Вамъ посчастливилось встрѣтить его въ первый день, мнѣ

во второй; каждый изъ насъ выводитъ о немъ свое мнѣніе, и каждый ошибается, по мнѣнію другъ друга.

Необходимо также взять въ соображеніе такіе оттѣнки: Очень часто, не тотъ скученъ, *кто кажется скучнымъ*, но тотъ, *кому такъ кажется*. Называя человѣка скучнымъ, сами мы можемъ носить въ себѣ скуку, въ которой обвиняемъ. Дѣйствуя такимъ образомъ, не часто ли также поступаемъ мы противъ собственныхъ убѣжденій и даже совѣсти? Вы сдѣлали дурной поступокъ (опять предложеніе, разумѣется); при этомъ былъ свидѣтель. Виноватъ ли онъ, скажите на милость, если въ его обществѣ будете вы чувствовать невыносимую скуку? Человѣкъ сдѣлалъ вамъ одолженіе: далъ вамъ взаймы денегъ, сшилъ вамъ въ долгъ пальто, панталоны и проч.; виноватъ ли онъ въ томъ, что наводитъ на васъ скуку не только во время бесѣды, но даже при встрѣчахъ на улицѣ?—Ничуть не бывало! вы виноваты, вовсе не онъ.

Всѣ эти размышленія приводятъ насъ къ первымъ строкамъ, которыми начали мы наше изслѣдованіе. Легко, кажется, убѣдиться теперь, какъ трудно сдѣлать вѣрное, точное опредѣленіе скучному человѣку.

Существуютъ, конечно, счастливыя личности, которыя рельефно выдаются изъ общаго неопредѣленнаго тона, которыхъ всѣ, въ одинъ голосъ, цѣлымъ обществомъ, признаютъ за скучныхъ: „Фу! Боже мой, что это за скучный человѣкъ!“—„Боже мой, что это за скучная дама!“ скажетъ кто-нибудь, и всѣ тотчасъ же единодушно соглашаются. Но опять-таки, даже и въ этомъ случаѣ, нѣтъ возможности уяснить типа! Господинъ, котораго всѣ называютъ скучнымъ, можетъ быть женатымъ; его жена и множество родственниковъ рѣшительно собьютъ васъ съ толку: въ глазахъ ихъ, онъ образецъ любезности и занимательности. Общее мнѣніе встрѣчаетъ сильное опроверженіе и слѣдовательно перестаетъ быть общимъ; скучный человѣкъ остается, попрежнему, существомъ относительнымъ и дьявольски-неуловимымъ. Одинъ скученъ по прошествіи часа, третій—только на вторыя сутки и т. д. Тотъ скученъ оттого, что много говоритъ и черезчуръ веселъ; другой—потому, что слова отъ него не добьешься, и проч. и проч.

Какъ видите, все дѣло здѣсь въ оттѣнкахъ, тонкихъ отношеніяхъ и почти неуловимыхъ подробностяхъ. Вообще говоря, скучныхъ людей (безъ различія половъ) можно

раздѣлить на двѣ главныя категоріи: на *веселыхъ* и *унылыхъ*.

Начнемъ съ первыхъ.

II.

Весельчаки.

Веселость, конечно, отличное свойство, никто въ этомъ не сомнѣвается. При всемъ томъ, можно ручаться чѣмъ угодно, что поговорка: „Хорошаго понемножку“ вырвалась въ первый разъ (вырвалась даже съ сердцемъ, я увѣренъ) у человѣка, которому случилось провести цѣлый день съ весельчакомъ. Дѣло въ томъ, что весельчаки, съ которыми не скучно, почти такъ же рѣдки, какъ бѣлыя воронѣ, черные тюльпаны, настоящіе альбиносы и прочія исключительныя явленія природы.

Веселость, всегда готовая поддержать себя, постоянно забавная, разнообразная и занимательная, занимательная въ прямомъ, настоящемъ смыслѣ,—разумѣется, такая веселость заставляетъ предполагать въ человѣкѣ умъ, наблюдательность, изобрѣтательность; все это представляетъ уже нѣкоторымъ образомъ соединеніе природныхъ дарованій, и можетъ только принадлежать человѣку далеко не дюжинному; такіе люди не попадаются сплошь и рядомъ.

Но даже и при такихъ счастливыхъ условіяхъ, роль весельчака очень трудная роль. Что сказать, напримѣръ, о господинѣ, который постоянно смѣется и никогда не останавливается? Начать съ того, что такой господинъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть совершенно умнымъ; не можетъ онъ также имѣть тѣхъ добрыхъ качествъ, душевныхъ качествъ, которыя извиняютъ недостатокъ умственныхъ способностей; это ясно: чтобы постоянно сохранять веселость, нужно, прежде всего, быть довольнымъ собою и своимъ положеніемъ (что показываетъ уже нѣкоторую ограниченность природы); но что всего важнѣе—необходимо чувствовать глубокое равнодушіе къ положенію ближнихъ: всѣ весельчаки страшные эгоисты, это фактъ. Иначе даже быть не можетъ. Эгоизмъ безъ приправы ума и тонкаго такта тотчасъ же бросается всѣмъ въ глаза и дѣйствуетъ на всѣхъ какъ-то оскорбительно; потому-то, вѣроятно, не было еще примѣра, чтобы весельчакъ пробуждалъ въ комъ-нибудь серьезное чувство, сердечное теплое сочувствіе, и внушалъ къ себѣ уваженіе. Вообще говоря, роль весельчака—незавидная роль.

Веселость принимаетъ самые разнообразные характеры и является въ безчисленномъ множествѣ видовъ; нѣтъ возможности указать прямого ея источника. Особенный складъ ума и самое отчаянное тупоуміе порождаютъ ее въ равной степени; бываетъ она также *врожденная* и *прививная*, то-есть *естественная* и *натянутая*. Послѣдній видъ веселости чуть ли не самый скучный.

Г* смутно сознаетъ свое ничтожество и жестоко имъ терзается: другой на его мѣстѣ, при той же ограниченности ума, постарался бы примириться съ своимъ положеніемъ; но Г* гложетъ червь самолюбія! онъ хочетъ блистать, хочетъ, во что бы ни стало, быть замѣтнымъ. Преслѣдуя свою мысль, Г* прикидывается весельчакомъ; онъ напрягаетъ послѣднія силы своихъ способностей, чтобы превращать все въ смѣхъ и смѣшное, разсказываетъ анекдоты, острить, каламбуритъ; все это, конечно, выходитъ изъ рукъ вонъ плохо, потому что хорошо только то, что натурально. Но Г* постепенно втягивается въ свою роль и дѣйствительно дѣлается замѣтнымъ: всѣ знаютъ его за скучнѣйшаго человѣка, который когда-либо являлся на свѣтѣ.

Между весельчаками, самые лучшіе все-таки тѣ, которые естественны; мнѣніе это простирается даже на тѣхъ, у которыхъ веселость проистекаетъ чисто отъ глупости. Къ такому разряду принадлежатъ смертные, которые веселы безъ причины и смѣются безъ всякаго повода. Если хотите, это также веселость самодовольная, но зато преисполненная добродушія, вся сіяющая отъ головы до ногъ, и, главное, тоже безвредная. Мичманъ Пѣтуховъ, о которомъ говоритъ лейтенантъ Жевакинъ въ „Женитьбѣ“ Гоголя: „...былъ у насъ мичманъ Пѣтуховъ, Антонъ Иванычъ; тоже этакъ былъ веселаго нрава. Бывало, ему ничего больше, покажешь этакъ палецъ, вдругъ засмѣется, ей-Богу! и до самаго вечера все смѣется!...“—мичманъ Пѣтуховъ служитъ образцомъ въ этомъ случаѣ. Такихъ весельчаковъ принято называть *блаженными*.

Вы идете по улицѣ; внезапно слухъ вашъ поражается хохотомъ, и васъ называютъ по имени. Вы оборачиваетесь и видите радостно блистающую физіономію господина, который заливается во всю мочь, машетъ вамъ руками и прибавляетъ шагу. Вы останавливаетесь, думая, что спѣшитъ онъ сообщить интересную новость. Подбѣжавъ къ вамъ, сіяющій господинъ надрывается сильнѣе прежняго;

вы ждете, и наконецъ спрашиваете: „Что съ тобою?“— Ахъ, дайте духъ перевести! Ха, ха, ха!... Ахъ, Боже мой! Ха, ха!...—„Но что же случилось?“ спрашиваете вы, теряя терпѣніе.—Ничего не случилось... Ха, ха, ха... уфъ! насилу догналъ тебя... Ха, ха... Летитъ-себѣ какъ птица, какъ птица... (Тутъ схватываетъ онъ себя за бока и прислоняется къ фонарю, чтобы не упасть наземь.) Ты куда идешь?—заключаетъ онъ наконецъ, блуждая глазами, налившимися кровію отъ натуги.

Послѣдній вопросъ мгновенно объясняетъ дѣло: ни вы ему не нужны, ни онъ вамъ; вы просто встрѣтили *блаженнаго*. Чтобы избавиться такихъ встрѣчъ, не совѣтую бросаться въ магазинъ или въ ближайшій переулокъ; если весельчакъ изъ числа самолюбивыхъ, онъ никогда не проститъ вамъ такой продѣлки; вы нажили тогда врага, который постарается насолить вамъ. Что-жъ касается до блаженнаго, продѣлка ваша безполезна: онъ ворвется въ магазинъ и отыщетъ васъ въ переулкѣ.

Вы спокойно сидите дома, бесѣдуя съ пріятелями, или, просто, сидите потому, что гулять не хочется. Внезапно въ кабинетъ врывается N*: „Что ты здѣсь дѣлаешь?“ кричитъ онъ, смѣясь въ то же время лошадинымъ какимъ-то смѣхомъ:—„ну, не грѣшно ли сидѣть дома въ такую погоду, а? не грѣшно ли, спрашиваю я?... Это выходитъ, просто, нелѣпость, именно нелѣпость! Ха! ха! ха! Я нарочно пришелъ за тобою; одѣвайся!“—Я не хочу!... говорите вы.—„Какъ не хочешь? что за вздоръ! Ну, одѣвайся же; полно врать; одѣвайся!...“—Ей-Богу, не хочу итти...—„Ну, вотъ поди-жъ ты! толкуй съ нимъ послѣ этого! Все это одна лѣность; и наконецъ у тебя геморрой,—это всѣмъ извѣстно, тебѣ даже вредно сидѣть... Эй, Иванъ! Петръ! Сидоръ! давайте барину пальто, шляпу, перчатки!...“—Повторяю тебѣ, я не хочу гулять.—„Ты не шутишь?“—Нисколько!—„Господа! восклицаетъ весельчакъ, обводя моргающими глазами присутствующихъ,—что его слушать! тащите его съ дивана! Хватайте его... вотъ такъ! за ноги, за руки... нахлобучивайте ему шляпу!...“ Васъ начинаютъ мять, тормошить, тискать; вы отбиваетесь изо всѣхъ силъ, наконецъ сердитесь. Весельчакъ также горячится; онъ оретъ во все горло, стучитъ по столу, называетъ васъ рохлей, фетюкомъ, лежебокомъ, устрицей, и тогда только успокоивается, когда видитъ, что дѣло не шутя можетъ принять серьезный характеръ.

Впрочемъ, когда блаженный достигаетъ такой смѣлости, онъ переходитъ уже въ другой разрядъ; его называютъ тогда „веселымъ наглецомъ, малымъ съ надежной внутренней опорой или малымъ безъ застѣнчивости". Ноздревъ былъ именно такимъ малымъ; всякому извѣстно, что Ноздревъ былъ господинъ также веселаго нрава.

Узнавъ васъ на улицѣ, или, все равно, гдѣ бы то ни было, весельчакъ-наглецъ считаетъ самою обыкновенною вещью подобраться къ вамъ сзади, зажмурить вамъ глаза обѣими ладонями и потребовать, чтобы вы непремѣнно догадались, кто стоитъ за вашей спиною. Все ради той же шутки, онъ нахлобучиваетъ вамъ шляпу на глаза, ни съ того, ни съ сего хлопаетъ васъ по животу, ставитъ вамъ подножки, отдергиваетъ стулъ, на который вы готовитесь сѣсть, и т. д. Самые невинные изъ нихъ тѣ, которые говорятъ вамъ „ты" послѣ перваго знакомства и величаютъ васъ „генераломъ, полковникомъ и капитаномъ", когда не думали вы даже служить въ военной службѣ.

Вы воспитывались въ публичномъ заведеніи; у васъ было тогда множество товарищей; но этому прошло безъ малаго двадцать лѣтъ, и вы перезабыли бо́льшую часть изъ нихъ. Неожиданно, подъ самымъ вашимъ носомъ, раздается дребезжащій хохотъ, тяжелая ладонь шлепаетъ васъ по спинѣ, и совсѣмъ незнакомый человѣкъ вскрикиваетъ: „Ахъ ты, чортъ тебя возьми! совсѣмъ было не узналъ!.. Ха! ха! ха!.. Экъ какимъ чортомъ разнесло его!" — Милостивый государь... бормочете вы въ недоумѣніи. — „Какъ, развѣ ты не знаешь меня?.. Неужто? Врешь?.. Я Желваковъ-то! Желваковъ! Петя Желваковъ. Ха, ха, ха!.. Неужто не помнишь?.." Вы вспоминаете, что дѣйствительно былъ съ вами въ школѣ какой-то Желваковъ, но и тогда еще, помнится, не существовало между вами особенной дружбы. Вы тонко стараетесь внушить ему эту мысль; но Желваковъ ничего не слушаетъ; онъ бьетъ васъ по плечу, вертитъ во всѣ стороны, осыпаетъ глупѣйшими вопросами, припоминаетъ учителей, сторожа, носъ начальника,—словомъ, такія вещи, которыя тогда еще наводили на васъ нестерпимую скуку.

Къ той же категоріи причисляются всѣ роды „фарсёровъ", людей, которые внезапно останавливаютъ васъ и говорятъ:

— Что съ тобою?

— Ничего...

— Быть не можетъ!..

— А что?..

— Помилуй, ты блѣденъ, какъ полотно!.. Ты самъ на себя не похожъ!

Вами овладѣваетъ безпокойство; но фарсёръ сохраняетъ всю свою серьезность и продолжаетъ увѣрять, что вы больны, что лицо ваше обращаетъ на себя всеобщее вниманіе... Онъ доволенъ тогда только, когда лицо ваше дѣйствительно блѣднѣетъ отъ смущенія и внутренней тревоги. Фарсёръ умышленно толкаетъ васъ на улицѣ, и говоритъ, прикидываясь раздраженнымъ:

— Милостивый государь, нельзя ли быть осторожнѣе? Что это какъ вы толкаетесь!..

Или подходитъ къ вамъ съ озабоченнымъ видомъ:

— Вы не знаете новость?.. очень печальная новость...

— Что такое?

— Вы, кажется, хорошо знакомы съ Б***?

— Да... А что, развѣ что случилось?

— Да: жена его умираетъ...

Вы бѣжите къ Б***, спрашиваете; на васъ смотрятъ, какъ на помѣшаннаго, и не понимаютъ, что̀ вы хотите сказать. Жена Б*** не думаетъ даже быть больною. И т. д.

Къ разряду наглецовъ принадлежатъ также лица, которыя, не бывъ съ вами знакомы, стараются заговаривать на гуляньяхъ, въ театрѣ, въ публичной каретѣ. Типъ фразы, съ какой обыкновенно подступаютъ они, слѣдующій:

— Извините, милостивый государь, но, кажется, я уже имѣлъ удовольствіе *гдѣ-то* васъ видѣть?..

Затѣмъ, безостановочно слѣдуютъ самые безцеремонные разспросы о вашей службѣ, лѣтахъ, состояніи и проч. Вы ѣдете въ вагонѣ желѣзной дороги; сосѣдъ спрашиваетъ у васъ огня; вы извиняетесь, говорите, что не взяли съ собою спичекъ. При этомъ, въ сторонѣ раздается хриплый смѣхъ, высовывается лицо съ нагло-мигающими глазами, и самодовольный голосъ произноситъ: „Какъ же вы такой молодой человѣкъ, и у васъ нѣтъ огня!..“ Смѣло бейтесь объ закладъ, что это наглецъ перваго разбора!

Несправедливо было бы, однакожъ, называть такимъ именемъ всѣхъ незнакомыхъ лицъ, которыя пристаютъ и заговариваютъ. Возьмите въ соображеніе, что душа не-

вольно иногда настраивается къ сообщительности; въ такомъ расположеніи самое робкое, скромное существо не утерпитъ, чтобы не взглянуть искоса на сосѣда и не сказать ему: „Ужасъ какъ холодно... какой рѣзкій вѣтеръ!..“

Такой господинъ можетъ оказаться иногда очень пріятнымъ собесѣдникомъ.

Совсѣмъ иное дѣло лица, у которыхъ сообщительность является главною, постоянною потребностью, которыми, при видѣ незнакомаго человѣка, тотчасъ же овладѣваетъ безпокойство и мучительное, неодолимое желаніе вступить въ объясненіе, войти въ дружбу и раскрыть свои мысли и чувства. Сообщительность, достигающая степени зуда и чесотки, принимаетъ обыкновенно самую мягкую, нѣжную, любезную форму; особы, одержимыя этимъ зудомъ, становятся тѣмъ скучнѣе и несноснѣе, чѣмъ больше выказываютъ любезности въ обращеніи съ вами. Въ семействѣ скучныхъ людей они извѣстны подъ именемъ „любезниковъ“.

Хуже всего то въ любезникѣ, что вы рѣшительно противъ него обезоружены. Вы терпите въ его обществѣ невыносимую пытку, чувствуете, что ставитъ онъ васъ поминутно въ глупое, фальшивое положеніе, и, при всемъ томъ, никакъ не можете отвязаться! Есть ли возможность грубо обойтись съ человѣкомъ, который такъ привѣтливъ, внимателенъ, предупредителенъ и любезенъ?..

Начинается съ того обыкновенно, что куда бы вы ни обернулись, вы видите передъ собою пару глазъ, которые всюду слѣдятъ за вами и мягко, нѣжно на васъ устремляются; потомъ, глаза на мгновеніе переходятъ къ вашему сосѣду, и господинъ (обладатель глазъ) проситъ съ утонченнѣйшею деликатностію вашего сосѣда уступить ему свое мѣсто. Вы хотите поправить подушку, поднять раму— незнакомецъ предупреждаетъ малѣйшее ваше желаніе; послѣ того, онъ начинаетъ ласково мигать, вертится на мѣстѣ, и вдругъ, съ неописанною нѣжностію во взорѣ, къ вамъ обращается:

— Извините меня, милостивый государь, говоритъ онъ, тая отъ умиленія,—но вы, кажется, знакомы съ Л*?..

— Да, знакомъ...

— Какіе это милые люди... особенно она... не правда ли?.. впрочемъ, и онъ также!.. Очень, очень милые люди! (Незнакомецъ при этомъ весь какъ-то изгибается.) И давно вы съ ними знакомы?

— Да...

— Я также... удивительно, какъ мы съ вами до сихъ поръ тамъ не встрѣтились!.. Мы часто, очень, очень часто говоримъ объ васъ... мнѣ всегда хотѣлось съ вами встрѣтиться... я давно искалъ случая... давно! давно! (Тутъ голосъ незнакомца умягчается и услащается до степени меда.) Я такъ много уже слышалъ о васъ... Позвольте мнѣ имѣть честь вамъ представиться...

Незнакомецъ окончательно расплывается отъ восхищенія; онъ жадно, хотя нѣжно, схватываетъ вашу руку и приступаетъ къ выгрузкѣ своихъ чувствъ и мыслей.

Другой варіантъ. Послѣ предварительнаго приступа, описаннаго выше, любезникъ начинаетъ такимъ образомъ:

— Превосходнѣйшее время!.. Очень, очень хорошее время!.. Какъ пріятно ѣхать въ такую погоду... Намъ, кажется, по дорогѣ?..

— Я на Крестовскій...

— А я въ Новую Деревню... Такъ, вѣрно, на дачу?

— Да.

— Я также... Нельзя, знаете: въ городѣ душно, пыльно... къ тому же, семейство!.. больше, знаете, для дѣтей... вы также, вѣрно, женаты?

— Нѣтъ.

— А я такъ вотъ скоро ужъ десять лѣтъ женатъ; имѣю даже трехъ малютокъ: сынъ и двѣ дочери... Позвольте узнать, съ кѣмъ имѣю честь?..

Вы называете фамилію, которая вовсе неизвѣстна; но любезнику она какъ будто знакома; онъ зналъ того-то, зналъ такую-то, носившихъ такое-то имя. Онъ выказываетъ душевное сожалѣніе, что судьба, такъ сказать, лишаетъ его счастія продолжать путь съ такимъ милымъ, любезнымъ, пріятнымъ сосѣдомъ; но онъ надѣется... надѣется, что, гм! гм!.. и проситъ убѣдительно о продолженіи знакомства.

И точно: послѣ этой поѣздки, между нимъ и вами заключается какая-то неразрывная связь; гдѣ бы вы ни встрѣтились,—онъ посылаетъ вамъ привѣтливый поклонъ, освѣдомляется о вашемъ здоровьи; и это продолжается цѣлые годы, иногда всю вашу жизнь,—развѣ вы перестанете кланяться; но на это вы не рѣшитесь, потому что, за что же, наконецъ, отвѣчать грубостію на его учтивость и любезность?

Вотъ уже скоро десять лѣтъ, какъ одинъ изъ нашихъ

литераторовъ раскланивается и жметъ руку господину, котораго не знаетъ по фамиліи, не знаетъ даже, кто онъ и откуда. Ѣхалъ онъ разъ въ омнибусѣ на дачу; на колѣняхъ его лежалъ свертокъ бумагъ... Рядомъ съ нимъ помѣщается господинъ, который попадался ему раза два на улицѣ, но о которомъ не имѣлъ онъ ни малѣйшаго понятія. Едва тронулся омнибусъ, незнакомецъ умильно прищурилъ глаза, ласково провелъ ладонью по свертку, находившемуся на колѣняхъ литератора, — и произнесъ вопросительно-заискивающимъ голосомъ: — „литературное что-нибудь?..“ Литераторъ сказалъ, что это чистая бумага,—думалъ отдѣлаться; но незнакомецъ этимъ не удовольствовался; онъ наговорилъ литератору тысячу самыхъ незаслуженныхъ комплиментовъ, распространился во всеуслышаніе о трудахъ его, и съ тѣхъ поръ всюду его преслѣдуетъ; освѣдомляется о томъ, что онъ пишетъ и скоро ли думаетъ „подарить“ читателей (страстныхъ поклонниковъ его таланта!) новымъ произведеніемъ... Это собственныя слова незнакомца.

Скучные любезники особенно часто встрѣчаются между дилетантами и любителями художествъ. На сто изъ нихъ врядъ ли найдутся трое, которые въ самомъ дѣлѣ любятъ искусство безкорыстно; остальные любятъ только вертѣться въ тѣни, бросаемой жрецами искусства. Едва выступитъ какое-нибудь имя—они летятъ къ нему, какъ ночныя бабочки къ огню. Артисты, бо́льшею частію, народъ капризный и взыскательный; чтобы держаться въ ихъ обществѣ, надо по крайней мѣрѣ быть любезнымъ; и вотъ, носясь за художникомъ, какъ мелкорыбица за акулой, дилетантъ вертитъ хвостикомъ во всѣ стороны, устилаетъ его путь блѣдными цвѣтами жиденькаго своего краснорѣчія, воскуриваетъ ѳиміамъ, расточаетъ похвалы, превозноситъ до небесъ каждое его слово, изумляется и приходитъ въ восхищеніе отъ каждой мысли.

Нѣкоторые артисты не находятъ такихъ людей скучными (я уже говорилъ вамъ, что скучный человѣкъ—существо относительное); другіе избѣгаютъ любезника, какъ заразу.

Коснувшись дилетантовъ-любезниковъ, несправедливо, даже неделикатно было бы оставить безъ вниманія особъ прекраснаго пола. Дамы такъ любезны! По положенію своему, дамы не могутъ преслѣдовать артистовъ съ тою настойчивостію, какъ мужчины (бываютъ случаи, но это

исключеніе). Вообще говоря, дамскій полъ чувствуетъ сильное инстинктивное влеченіе къ художеству вообще и знаменитостямъ всякаго рода въ особенности. (Боже мой! одинъ Маріо сколько выслушалъ любезностей! до сихъ поръ, я думаю, онъ очнуться еще не можетъ.) Но здѣсь собственно идетъ рѣчь о дамахъ, которыхъ не столько увлекаетъ любовь къ художеству, не столько плѣняетъ личность самого артиста, сколько томитъ желаніе посидѣть tête-à-tête съ знаменитостію и побесѣдовать съ умнымъ человѣкомъ.

Васъ неоднократно звали въ домъ; хозяйка дома, черезъ своихъ друзей и знакомыхъ, давно изъявляла желаніе видѣть васъ въ своей гостиной. Вы являетесь. Хозяйка дома по бо̀льшей части дама среднихъ лѣтъ. Она предлагаетъ вамъ стулъ подлѣ себя; вы садитесь. Послѣ обычныхъ общеупотребительныхъ фразъ, начинается разговоръ объ искусствѣ; вы артистъ—нельзя же иначе!

— Вы, вѣроятно, больше всего любите литературу... не правда ли?.. говоритъ дама, обворожительно улыбаясь и слегка прищуривая глазки.

— Да, сударыня, литература—мой предметъ...

— Да, литература! да! это такое благородное искусство! C'est si agréable! ça élève l'âme!.. Пушкинъ, Беранже... Ломоносовъ... не правда ли? А впрочемъ, знаете, музыка... вѣдь это также! c'est si beau... ça élève l'âme... Донизетти... Бетховенъ... Варламовъ... У меня племянникъ, который... Да, музыка... Вы, конечно, любите музыку?..

— Очень!

— Не правда ли?.. Ну... ну, а живопись? c'est si agréable la peinture! n'est ce pas? Рафаэль... Айвазовскій... c'est si beau!..

— О, конечно!

— Да, не правда ли?... Но вѣдь и скульптура также... Это искусство, которое... n'est ce pas?.. Микель-Анжело... Пименовъ...

И такъ далѣе.

Перейдемъ теперь къ „восторженнымъ“.

— Вы спрашиваете: „Кто эта дама?“ — „Очень милая женщина“, отвѣчаютъ вамъ, — „но только ужасно какъ exaltée, — черезчуръ ужъ восторженна!“ Часто вотъ это что̀ значитъ: у дамы огня или восторженности на пятнадцать копеекъ; но она хочетъ убѣдить васъ, что у нея того и другого на сто рублей. Такая дама неоспоримо

принадлежитъ къ категоріи скучныхъ. Вы говорите самую обыкновенную вещь; говорите, напримѣръ, что угнетеніе возмутительно: дама дѣлаетъ прыжокъ, судорожно схватываетъ вашу руку и восклицаетъ: „благодарю васъ! о, благодарю!.. Я въ васъ не ошиблась!.. я знала, что вы благородно думаете! всегда знала!.. увѣрена была въ этомъ!.. Да, угнетеніе, — это ужасно! это возмутительно, чудовищно! омерзительно!..“ Затѣмъ слѣдуетъ новый прыжокъ и новое пожатіе руки.

Иногда, впрочемъ, искренняя, неподдѣльная восторженность такъ же скучна и утомительна, какъ и искусственная. Говорите вы о „Королѣ Лирѣ“—дама или барышня мечется, какъ Пиѳія на треножникѣ; читаете имъ стишки Мерзлякова: „ахъ, какъ мило! Charmant! Прелесть!..“ Показываете картину знаменитаго мастера: „превосходно! обворожительно! удивительно!“ Развертываете литографію съ изображеніемъ собачки: „мило! délicieux! прелесть!“ Впрочемъ, съ дамами и барышнями—особенно хорошенькими—рѣдко бываетъ скучно; приходя въ восторгъ (искусственно или естественно), онѣ оживляются и кажутся тогда еще милѣе; вы любуетесь ими, и это служитъ вамъ развлеченіемъ отъ скуки.

Но скажите на милость, что̀ дѣлать съ какимъ-нибудь толстымъ господиномъ или чахоточнымъ юношей, который тормошитъ васъ, дергаетъ и вертитъ во всѣ стороны, стараясь обратить вниманіе ваше на закатъ солнца или блескъ мѣсяца въ водѣ? Куда дѣваться отъ тѣхъ господъ, которые, въ клубѣ, въ театрѣ и на гуляньяхъ, кидаются вамъ на шею, осыпаютъ васъ звонкими поцѣлуями и съ какою-то напыщенною торжественностію благодарятъ судьбу, доставившую имъ счастіе встрѣтиться съ вами?

Въ отношеніи къ восторженному, можно всегда руководствоваться такимъ соображеніемъ: чѣмъ больше выказываетъ онъ расположенія къ эффекту, тѣмъ меньше въ немъ искренности, и, слѣдовательно, тѣмъ больше шансовъ для скуки въ его обществѣ. Восторженный всегда подверженъ крайностямъ; у него никогда нѣтъ ни въ чемъ середины: или все превосходно, изумительно, невѣроятно, непостижимо, божественно, очаровательно,—или все скверно, омерзительно и чудовищно гадко! Положиться въ чемъ-нибудь на восторженнаго или вѣрить ему—нѣтъ возможности. Онъ подружился съ вами—вы дѣлаетесь образцомъ человѣка; завтра вы ему не понравились,—вы превратите-

лись мгновенно въ послѣдняго изъ смертныхъ! Благословенны стократъ люди, восторженность которыхъ умѣряется врожденною робостью. Тутъ, по крайней мѣрѣ, дѣло ограничивается тѣмъ, что на васъ пучатъ сверкающіе зрачки и тайкомъ, украдкою, жмутъ вамъ руку, какъ бы желая сказать: „я васъ понялъ, понялъ!.. и вполнѣ оцѣняю!..“

Самые опасные изъ нихъ опять-таки любители искусствъ. Боже избави встрѣтиться съ такимъ человѣкомъ въ концертѣ, передъ изящнымъ зданіемъ или въ картинной галлереѣ! Подхвативъ васъ за руку, мечется онъ отъ картины къ статуѣ, отъ статуи къ какой-нибудь вазѣ, все щупаетъ, ко всему прикасается, перебѣгаетъ изъ залы въ другую и, наконецъ, утомивъ до-нельзя и васъ, и себя, накричавшись, намахавшись руками и обративъ на себя всеобщее вниманіе, падаетъ онъ въ кресло. Вы думаете, что все кончено: ничуть не бывало; наблюдая вашего собесѣдника, вы невольно начнете себя спрашивать: зачѣмъ, напримѣръ, упавъ въ кресло, выбралъ онъ именно такое мѣсто, которое больше всего на виду? Почему, когда убѣждаете вы его уйти, говоря, что надо, наконецъ, дать отдохнуть нервамъ, почему оттолкнетъ онъ васъ рукою и разслабленно-трогательнымъ голосомъ повторяетъ: „Нѣтъ, нѣтъ... не уводите меня!.. дайте мнѣ, дайте насмотрѣться на эту мадонну!.. О, Рафаэль! О, дивный урбинскій юноша!.. О, божественный Санціо! — сынъ добродѣтельнаго старца Санти и ученикъ Пьетро-Вануччи,—иначе: вдохновеннаго Перуджино!..“ Зачѣмъ всѣ эти фразы, и зачѣмъ, когда произноситъ онъ ихъ, глаза его перебѣгаютъ отъ мадонны къ толпѣ, отъ толпы къ мадоннѣ, и вся фигура его силится принять что-то меланхолическое, взволнованное и глубоко потрясенное?.. Не скучно ли все это?..

Но скучные люди изъ категоріи весельчаковъ, всѣ рѣшительно, должны блѣднѣть и меркнуть передъ „болтунами“. Болтуны стоятъ на первомъ планѣ, и никто никогда не собьетъ ихъ съ почетнаго мѣста. Постараемся уловить главные оттѣнки этого семейства, — столько же многочисленнаго, сколько разнообразнаго.

„Просто болтуны“—люди, болтливость которыхъ, ограничиваясь однимъ предметомъ, одною темою, разматывается постепенно, какъ клубокъ нитокъ; эти не такъ еще скучны; но вотъ другой разрядъ: это такъ называемыя

„стрекозы“. Болтливость послѣднихъ не останавливается на одной мысли, но идетъ прыжками, скачетъ, какъ стрекоза, или разсыпается какъ быстрая игра на разстроенномъ фортепіано. Примѣръ: „были вы вчера въ театрѣ? видѣли Фанни Эльслеръ?.. Отлично! не правда ли, а?.. Удивительно! Но надо, однакожъ, быть справедливымъ: хорошо, конечно; удивительно, хорошо,—но все не то, что Тальони!.. Нѣтъ!.. Тальони—геній, геній перваго разбора! Одна есть, была и будетъ! Помните ли, какъ мы тогда бѣсновались? Помните ли, что̀ было за время? Впрочемъ, и то надо сказать: были мы тогда молоды! адски молоды!.. О, молодость? „О, моя юность! о, моя свѣжесть!“ какъ говоритъ Гоголь!.. Кстати: сейчасъ заходилъ къ Базунову; видѣлъ послѣднее изданіе Гоголя: не скажу, чтобы понравилось; вообще, что касается до изданій, у насъ пока еще... Вотъ и Г. говоритъ то же; я съ нимъ вчера встрѣтился... Каковъ, однакожъ—ужъ полковникъ! а?.. Счастливо служитъ! необыкновенно счастливо! Братъ его, Пьеръ, служившій по штатской службѣ, до сихъ поръ только коллежскій асессоръ!.. Впрочемъ, самъ виноватъ! Предлагали ему тогда отправиться съ миссіонерами—отказался! Къ чему? Зачѣмъ? Онъ много проигралъ черезъ это... очень много!.. И, наконецъ, Китай уже самъ по себѣ чрезвычайно интересенъ... Теперь эта война и потомъ этотъ вопросъ о чайной свободной торговлѣ... Слышали вы что-нибудь объ этомъ вопросѣ? Любопытно знать, чѣмъ все это кончится... Но мы вспоминали молодость, Тальони! Гдѣ-то теперь Тальони? Говорятъ, купила дворецъ въ Венеціи... Счастливая! О, Италія! Италія!.. Вы не думаете ѣхать? Всѣ ѣдутъ! и мнѣ хочется; не знаю, что̀ удерживаетъ, рѣшительно не знаю! Думаю, всему виною та неподвижность, которой всѣ мы, русскіе, такъ подвержены... Тяжело какъ-то разставаться съ своими привычками, мѣстами, гдѣ родился и выросъ... Когда я жилъ въ деревнѣ... у меня деревня въ Тамбовской губерніи,—тогда, повѣрите ли...“ и т. д.

Пріемы болтуновъ такъ же разнообразны, какъ они сами. У каждаго болтуна своя метода, свой способъ приступать къ дѣлу. Самая обманчивая метода у „болтуновъ съ церемоніями“. Такой болтунъ, ворвавшись къ вамъ въ кабинетъ смѣло и рѣшительно, скорчиваетъ вдругъ испуганную физіономію, становится на цыпочки и бросается назадъ къ двери, со слезами:

— Ахъ, Боже мой! я помѣшалъ вамъ!.. Никогда не прощу себѣ этого!.. Впрочемъ, я на секунду... на одну секунду... вы заняты?..

— Да, немножко...

— Ну, такъ и есть, я это зналъ... я только мимоходомъ... я вамъ не помѣшаю...

До сихъ поръ ничего; есть еще надежда освободиться отъ посѣтителя; но этимъ обыкновенно не кончается; вошедшій господинъ проситъ позволенія выкурить папироску—„одну, единственную папироску". Вы позволяете,— и съ той минуты вы пропали! Изъявивъ согласіе на куренье папиросы, вы задѣли слабую пружину, державшую языкъ болтуна на привязи; клапанъ раскрылся, колесо завертѣлось, и остановится тогда только, когда истребится весь запасъ вращающей силы.

„Безцеремонный болтунъ" гораздо лучше. Онъ подлетаетъ на всѣхъ парусахъ, неожиданно поворачивается бортомъ и разомъ выстрѣливаетъ всѣми своими орудіями. Лучше даже такъ-называемые „перебойщики и торопыги", которые не даютъ произнести слова, перебиваютъ вашу фразу и предупреждаютъ мысль. Вы говорите:

— Я былъ вчера...

— Въ балетѣ?

— Нѣтъ...

— Въ оперѣ?

— Нѣтъ... въ Александринскомъ театрѣ, давали...

— „Горе отъ ума"?

— Да; не скажу, чтобы я остался доволенъ...

— Гриневой?

— Нѣтъ...

— Каратыгинымъ?

— Нѣтъ; общимъ расположеніемъ ролей...

Или:

— Я слышалъ, будто Кукольникъ...

— Написалъ новую драму?

— Нѣтъ...

— Ѣдетъ въ Землю Донскихъ казаковъ?

— Вовсе нѣтъ...

— Перемѣнилъ квартиру?

— Да...

— Я только что хотѣлъ сказать объ этомъ!

Рядомъ съ перебойщиками поставимъ тѣхъ, которые

спѣшатъ выразить сомнѣніе въ томъ, о чемъ вы вовсе даже и не думали.

— Знаете ли, что Бабакинъ...

— О, это неправда!

— Какъ неправда?

— Да, неправда; я знаю это изъ вѣрныхъ источниковъ...

— Что жъ вы знаете?

— Что онъ ѣдетъ за границу!

— Я вовсе не о томъ: Бабакинъ сломалъ себѣ ногу...

— Ба! это для меня новость!

Примкнемъ тутъ же „попугаевъ“, начинающихъ болтовню свою повтореніемъ того, что̀ вы уже сказали:

— Хорошій обѣдъ отличная вещь, когда не дорого сто̀итъ.

— Да, да, конечно, когда не дорого сто̀итъ!

— Въ Петербургѣ перемѣнчивая погода...

— О, да! еще бы! ужасно перемѣнчивая погода; этимъ Петербургъ отличается; иначе, впрочемъ, и т. д.

Можете проговорить самый длинный періодъ, можете высказать и уяснить вашу мысль, „попугай“ не преминетъ повторить вашъ періодъ, не преминетъ обойти кругомъ вашу мысль прежде, чѣмъ приступить къ изложенію собственной.

Трудно встрѣтить также что-нибудь убійственнѣе болтуна, одареннаго большою памятью, читающаго сплошь и рядомъ все, что̀ является въ печати, и помнящаго все то, что̀ говорили ему отъ колыбели до вчерашняго дня включительно. Онъ можетъ найти себѣ достойнаго товарища только между болтунами съ „загвоздкою“, то-есть тѣми, которыхъ поражаетъ одинъ какой-нибудь случай, мысль, личность, новость или происшествіе. Мозгъ послѣднихъ долженъ представлять подобіе греческой губки, которая всосетъ вдругъ то, къ чему прикоснется, не оставляя уже мѣста ни для чего другого. Благодаря такимъ лицамъ, сколько прекрасныхъ мотивовъ сдѣлались скучными, сколько стиховъ пріѣлось, замѣчательныхъ случаевъ потеряли интересъ.

Болтунъ съ „загвоздкой“ ничѣмъ особенно не интересуется; его поражаютъ въ одинаковой степени новое лицо, открытіе, глупый анекдотъ, важное политическое событіе, забавное происшествіе, несчастный случай. Какъ дурень съ писаной торбой, носился онъ повсюду, въ свое время, съ газомъ, пароходствомъ, электрическимъ освѣщеніемъ,

кометой и проч. Пріѣзжаетъ, наконецъ, Рашель въ Петербургъ—онъ все забылъ, чему такъ сильно наканунѣ еще поклонялся; Рашель поглотила его всего; онъ ни о чемъ больше не болтаетъ и не помышляетъ. Гдѣ бы вы его ни встрѣтили, онъ всюду разсказываетъ анекдоты о знаменитой актрисѣ, описываетъ ея парижскій отель, сообщаетъ вамъ имена ея поклонниковъ, декламируетъ стихи Расина и болтаетъ о Феликсѣ и о брильянтахъ сестры его. Послѣ представленія „Поліевкта", онъ бѣгаетъ нѣсколько дней сряду съ распростертыми руками, глазами, глупо воздѣтыми къ потолку, и повторяетъ ни къ селу, ни къ городу: „Je crois! je crois!" Говорите такому человѣку объ ужасахъ войны: „да, это ужасно!" возражаетъ онъ, „все остановилось; даже самые театры теперь закрыты!" Касаетесь ли вопроса о крестьянахъ: „Да, Г. такъ же думалъ, какъ и вы; что же вышло изъ этого? Онъ совсѣмъ разорился; теперь не на что даже взять билетъ въ театръ..."

Существуютъ еще болтуны „безмозглые" или „съ осѣчкою"; это тѣ, которые суются говорить о чемъ угодно, но никогда не досказываютъ своей мысли, даже фразы.—„Позвольте, позвольте... оно, конечно... но... Позвольте, я не могу объяснить вамъ теперь въ чемъ дѣло, не могу... но первый разъ, какъ мы встрѣтимся съ N*, я непремѣнно заведу рѣчь объ этомъ предметѣ,—и вы увидите, увидите!.." Или: „О, нѣтъ, это совсѣмъ не то; позвольте вамъ сказать: совсѣмъ не то; вы несправедливы, потому что... Ахъ, Боже мой, что же я хотѣлъ сказать?.. Позвольте... сейчасъ... Да!.. Нѣтъ, впрочемъ не то... фу, чортъ возьми, какъ это непріятно!.. Вотъ, вотъ!.. Нѣтъ, опять не то... что же такое сдѣлалось со мною?.." Или: „Послушайте! начинаетъ онъ съ горячимъ убѣжденіемъ,—послушайте: нашъ вѣкъ имѣетъ то преимущество передъ другими, что... гм! гм!.. что при существующемъ развитіи умовъ... гм!.. гм!.. (легкая осѣчка) можно надѣяться... слѣдуетъ даже непремѣнно надѣяться... (жаръ убѣжденія замѣтно охлаждается) что... если взять въ соображеніе... гм! гм!.. если взять въ примѣръ..." (молчаніе). Пружина, вращавшая колесо, лопнула, и колесо остановилось.

Пора, впрочемъ, и намъ остановиться.

III.
Унылые.

Унылый человѣкъ уже самъ по себѣ не можетъ быть веселымъ. Онъ можетъ представлять соединеніе всѣхъ возможныхъ добродѣтелей, можетъ быть очень умнымъ, ученымъ и образованнымъ, но даже и въ такомъ случаѣ ему лучше сидѣть дома, одному, или въ своемъ семействѣ или тѣсномъ кругу знакомыхъ. Стоитъ только человѣку съ унынiемъ пуститься въ свѣтъ, зажить общественною жизнію—онъ, несмотря на весь свой умъ и добродѣтели, легко превращается въ „скучнаго“.

Унылые люди бываютъ „здоровые и больные“. Первые меньше скучны. Они, по большей части, занимаютъ въ обществѣ роль пассивную: придутъ, сядутъ, молчатъ, пыжатся, вперяютъ на все и на всѣхъ грустный взглядъ и вздыхаютъ болѣе или менѣе выразительно. Вторые рѣшительно невыносимы.

Встрѣчаясь съ человѣкомъ постороннимъ, какое вамъ дѣло, скажите на милость, что у него болитъ печень, разстроены нервы, колетъ подъ ложечкой, или худо варитъ желудокъ? Въ правѣ ли онъ изливать на васъ свою жёлчь, надоѣдать вамъ разсказами о своихъ недугахъ или выказывать передъ вами раздражительность? Часто, въ оправданіе такого человѣка, вамъ скажутъ: „Онъ мизантропъ, меланхоликъ или желчный...“ Но опять-таки, позвольте васъ спросить, какое мнѣ дѣло до всего этого? Сиди онъ дома, когда такъ, дома сиди или ступай въ больницу...

Нѣтъ возможности сортировать „унылыхъ“ сообразно съ состоянiемъ ихъ здоровья или по степенямъ и характерамъ ихъ болѣзней; мы никогда бы не кончили. Будемъ брать цѣлыми классами и ограничимся общими чертами. Для начала возьмемъ хоть „самолюбивыхъ и раздражительныхъ“.

Изъ перваго отдѣла выставимъ впередъ любой субъектъ. Вы видите: онъ молодъ, холостъ, свѣжъ, имѣетъ состоянiе и даже не дуренъ собою; чего еще надо? „Онъ долженъ быть совершенно счастливъ!“ говорите вы. Ничуть не бывало; вамъ только такъ кажется. Вступите съ нимъ въ разговоръ. Вы убѣдитесь, что это существо истинно достойное состраданія: весь онъ, съ головы до ногъ, представляетъ одну сплошную рану самолюбія; самолюбіе про-

пикло даже въ мозгъ костей его и изъѣло самыя кости; съ какой стороны ни прикоснитесь, его корчитъ, ему больно, и онъ страдаетъ.

Вы не прочли послѣдняго его фельетона, послѣдней статейки или библіографическаго замѣчанія — онъ страдаетъ; прочли, но не говорите о нихъ — страдаетъ; хвалите—онъ устремляетъ на васъ подозрительно испытующій взглядъ, видитъ косвенный намекъ, иронію въ самомъ искреннемъ сужденіи—и снова страдаетъ. Вы печатаете о немъ статью, сравниваете его съ Пушкинымъ, Лермонтовымъ, Кольцовымъ,—онъ сухо благодаритъ васъ. „Что съ нимъ?“ думаете вы. Въ спискѣ великихъ именъ, съ которыми сравнивали вы его, забыли вы Грибоѣдова; онъ недоволенъ такимъ пропускомъ — и страдаетъ. Имя его помѣщается въ началѣ объявленія, это кажется ему слишкомъ уже рѣзкимъ, слишкомъ замѣтнымъ, — страдаетъ. Помѣщается имя его въ серединѣ, не довольно замѣтно,— страдаетъ. Помѣстите имя его неумышленно въ концѣ: явный знакъ пренебреженія къ личности и неуваженія къ таланту,—страдаетъ! Статуэтки его собратій рисуются на окнахъ магазиновъ; его статуэтки не имѣется,—Боже, какъ страдаетъ! Но въ этихъ корчахъ раздраженнаго самолюбія есть еще смыслъ по крайней мѣрѣ; человѣкъ этотъ хоть что-нибудь да сдѣлалъ; можетъ казаться ему, слѣдовательно, что трудъ его не оцѣненъ по достоинству, что на него мало обращено вниманія, и онъ страдаетъ, основывая все-таки на чемъ-нибудь свои страданія.

Но какъ назвать людей, которые ровно ничего не сдѣлали,—не написали даже фельетона, и между тѣмъ представляютъ точно такъ же одну сплошную рану самолюбія? Вы говорите о вашемъ сапожникѣ, имъ кажется, что вы на нихъ намекаете; ничего не говорите, не думаете даже о нихъ,—страдаютъ. Оказываете имъ важную услугу: прекрасно; они принимаютъ ее съ благодарностію; но мысль, что они одолжены именно вами, не даетъ имъ покоя,— и снова ихъ коробитъ. Вы женитесь, дѣлаетесь отцомъ семейства, получаете наслѣдство, добиваетесь мѣста, лишаетесь жены, награждены чиномъ, — все это задѣваетъ ихъ за живое, и они страдаютъ; короче сказать, не знаешь, съ какой стороны приступиться!

Но это еще ничего; встрѣчаются особы, которыя распространяютъ свое самолюбіе не только на то, когда дѣло идетъ о ихъ кожѣ или личности, но рѣшительно на все,

что хотя сколько-нибудь къ нимъ приближается, что входитъ въ кругъ ихъ жизни, быта и понятій.

Съ сокрушеннымъ сердцемъ долженъ сказать, что въ этой категоріи „скучныхъ людей по преимуществу“ не послѣднюю роль занимаютъ особы прекраснаго пола—матери семействъ, владѣлицы дачъ, собственныхъ домовъ, деревень, — словомъ, имѣющія какую-нибудь собственность,—хоть бы даже собственность заключалась въ моськѣ. Положимъ, вы встрѣтились съ одною изъ такихъ дамъ. О чемъ ни заговорите, ей непремѣнно кажется, что вы подпускаете „шпильку“. Домъ ея сыръ и холоденъ,—вы говорите о теплѣ,—даже ничего не говорите, только потираете руками,—шпилька! Дама—москвичка; вы говорите съ увлеченіемъ о Петербургѣ, — шпилька, и вдобавокъ еще шпилька, подающая поводъ къ скучному и безполезному спору. Вы хвалите военную службу,—шпилька: сыновья дамы служатъ по штатской; хвалите штатскую службу,—дама раздражается: сыновей ея обошли чиномъ. У дамы куча родственниковъ; между ними находятся помѣщики, чиновники, великіе мужи и мелюзга, богатые и бѣдные, пьяницы и шуллера; обдумывайте и взвѣшивайте каждое ваше слово, говоря вообще о помѣщичьемъ сословіи, о чиновникахъ, шуллерахъ и проч. Дача дамы въ Сокольникахъ или на Крестовскомъ,—говорите о Сокольникахъ и Крестовскомъ какъ о священныхъ рощахъ. Домъ дамы на Вшивой горкѣ — съ уваженіемъ относитесь объ этомъ переулкѣ; дама переѣхала на Никольскую—Никольская дѣлается тотчасъ же первою улицею столицы.—„Неужто, думаете вы, все, что приближается къ этой дамѣ, лучше того, что у другихъ людей? Неужто, въ самомъ дѣлѣ, башмачникъ, у котораго заказываетъ она башмаки себѣ и дѣтямъ, лучше другихъ башмачниковъ; горничная ея красивѣе и ловче другихъ; лошади сытѣе другихъ лошадей; дѣти умнѣе и воспитаннѣе другихъ дѣтей; староста ея честнѣе и проницательнѣе другихъ старостъ; виды ея деревни краше другихъ видовъ; родственники ея благороднѣе остальныхъ смертныхъ; обои ея гостиной привлекательнѣе другихъ обоевъ? И неужели даже вчерашній ея знакомый лучше моего знакомаго, котораго знаю я десять лѣтъ?..“ Непремѣнно все это должно быть лучше! Если бъ дама могла согласиться спокойно и безъ раздраженія, что то или другое хуже у нея, чѣмъ у васъ—она не была бы тогда скучною.

Переходъ отъ „самолюбиво-щекотливыхъ къ раздраженнымъ“ такъ малъ, что почти незамѣтенъ. Симптомы у нихъ одни и тѣ же. Форма послѣднихъ нѣсколько развѣ грубѣе, и въ основаніи ихъ недуга скрывается можетъ-быть больше зависти и меньше терпимости, чѣмъ въ первыхъ.

При всемъ томъ, однакожъ, если взять самую самолюбивую личность, и противопоставить ей, напримѣръ, „раздраженнаго безъ воспитанія“, разница между ними выйдетъ неизмѣримо огромная. Такому человѣку ровно ничего не стоитъ произнести съ особенною интонаціею: „Вы врете!“ когда не нравится ему ваша мысль. Вы скромно сознаетесь, что ощущеніе изящныхъ искусствъ вамъ больше по сердцу, чѣмъ греческій языкъ; если только раздраженному нравится греческій языкъ, и онъ круглый невѣжда въ дѣлѣ изящныхъ искусствъ,—онъ скажетъ не обинуясь: „Вы чушь порете! такъ могутъ говорить одни неучи!“ и проч., и проч. Вамъ нисколько не легче, когда вамъ скажутъ: „Не сердитесь на него, что „онъ такъ“... все это происходитъ, повѣрьте, отъ боли въ печени и ревматизма...“ Снова повторяю: такимъ людямъ мѣсто не въ обществѣ, а въ больницѣ.

Существуютъ еще раздраженные въ такомъ родѣ: К* (вы это навѣрное знаете) весь не стоитъ десяти копеекъ; между тѣмъ, пріятели или добрые люди хлопочутъ за него, отбиваютъ себѣ пятки въ пріемныхъ сильныхъ міра сего, и выхлопатываютъ ему мѣсто съ восемью стами рублей серебромъ жалованья. Не возмутительно ли видѣть, что К* продолжаетъ все-таки раздражаться; К* недоволенъ; страшно недоволенъ и мѣстомъ, и товарищами, которые за него хлопотали; онъ изливаетъ на все и на всѣхъ ядъ жёлчи, мечетъ огнь и пламя, осуждаетъ свѣтъ въ коварствѣ, людей въ злобѣ и черной неблагодарности. Кромѣ названія скучнаго человѣка, не заслуживаетъ ли еще К* названія грубой скотины?

Избави васъ Богъ, почтенный читатель, имѣть въ числѣ вашихъ знакомыхъ или родственниковъ одного изъ этихъ „нетерпимыхъ“. Положимъ, что таковой найдется; подвергните его испытанію, чтобы убѣдиться, что нѣтъ на землѣ существа болѣе несноснаго и менѣе позволительнаго. Положимъ, предлагаемая статья пришлась ему не по вкусу; покажите ему только видъ, что вы ее читали: онъ разбранитъ автора, разбранитъ журналъ, достанется

даже, ни за что, ни про что, всему русскому книгопечатанію; мало того, сами вы рискуете получить непріятность: онъ скажетъ, что одни ограниченные люди могутъ тратить время на чтеніе такого вздора, что вы человѣкъ безъ вкуса, безъ такта, безъ чутья, и проч. Если такой нетерпимый вашъ мужъ (о, да спасетъ васъ небо отъ этого, моя милая читательница!), — онъ, чего добраго, вырветъ даже книгу изъ рукъ вашихъ и вышвырнетъ ее за окно. Хорошо еще, если этимъ кончится.

Между раздраженными, часто, впрочемъ, попадаются субъекты, которые, относительно говоря, почти безвредны; то, по большей части, люди очень робкіе, не смѣющіе выказывать своей раздражительности, но тѣмъ не менѣе наводящіе невыносимую скуку уже однимъ своимъ присутствіемъ и унылой физіономіей, которая, замѣтьте, всегда бываетъ желтою и всегда странно какъ-то передергивается.

Другіе позволяютъ себѣ раздражаться, но не противъ васъ, а только въ вашемъ присутствіи, противъ жены, дѣтей, и чрезъ то самое ставятъ васъ въ безвыходно-фальшивое положеніе; извѣстно, что въ такомъ положеніи человѣкъ испытываетъ всегда невыносимую скуку. Васъ позвали обѣдать. Подаютъ супъ; внезапно хозяинъ дома бросаетъ ложку.

— Это чортъ знаетъ что такое! восклицаетъ онъ, обращаясь къ женѣ,—ты, душа моя, ни за чѣмъ не смотришь... Этотъ поваръ мерзавецъ!.. я ему надаю пощечинъ!.. Это, наконецъ, твое дѣло смотрѣть...

— Но, другъ мой... возражаетъ сконфуженная хозяйка.

— Но, душа моя, вскрикиваетъ мужъ,—повторяю тебѣ, это чортъ знаетъ что такое! Если ты не намѣрена заниматься хозяйствомъ, такъ ты скажи лучше... Иначе... это...

И пошла перепалка, отъ которой у васъ каждый кусокъ коломъ становится въ горлѣ.

Являюсь я однажды въ одно семейство; тамъ только что собирались ѣхать въ звѣринецъ; меня приглашаютъ ѣхать вмѣстѣ; мы отправились. При входѣ въ звѣринецъ, глава семейства беретъ на руки младшаго сына, съ тѣмъ, чтобы показать ему льва. Ребенокъ быстро отворачиваетъ голову и начинаетъ трястись всѣмъ тѣломъ.

— Вотъ левъ, самодовольно говоритъ отецъ, — что жъ ты не смотришь?.. а?..

Ребенокъ продолжаетъ трястись и отворачивать голову.

— Смотри на льва! я тебѣ приказываю! Смотри на льва!.. вскрикиваетъ отецъ, стараясь повернуть сыну голову.

Ребенокъ плачетъ. Я упрашиваю отца оставить ребенка.

— Какъ! вскрикиваетъ отецъ,—нѣтъ, не будетъ этого! Смотри на льва! Онъ сынъ военнаго, самъ будетъ военнымъ и не долженъ быть трусомъ! Смотри на льва!..

Ребенокъ заливается ревомъ. Мать присоединяетъ свои просьбы къ моимъ.

— Оставь меня! яростно возражаетъ мужъ, — я знаю, что дѣлаю! Смотри на льва! я тебѣ приказываю! смотри!

Тутъ отецъ выходитъ изъ себя, дергаетъ ребенка за руку, за ногу; ребенокъ бьется изо всей мочи, мать начинаетъ плакать, остальныя дѣти также; я поставленъ посреди всего этого въ глупѣйшее положеніе и терплю неизъяснимую скуку.

Къ категоріи раздраженныхъ слѣдуетъ также отнести людей съ крайностями. Всѣ „крайніе“ люди большею частію страшно нетерпимы; отъ нетерпимости одинъ шагъ къ раздражительности. Г* изучаетъ ассирійскія древности; М* занимается преимущественно Кривичами и Радимичами. Превосходно; предположите теперь, что Г* и М* люди съ крайностями; кончено: съ ихъ точки зрѣнія, дуракъ и невѣжда тотъ, кто равнодушенъ къ любимымъ ихъ предметамъ; передъ ассирійскими древностями и Радимичами—все дичь, чушь и выѣденнаго яйца не стоитъ!

Коснувшись ученаго сословія, мы незамѣтно перешли къ новому отдѣлу унылыхъ—„унылыхъ съ претензіею на ученость“. Тутъ опять чуть ли не первое мѣсто принадлежитъ дамамъ и барышнямъ, изучающимъ греческій языкъ, политическую экономію, философію, астрономію и проч. Учиться чему-нибудь очень похвально, и почему жъ дамѣ или барышнѣ не предоставить права изучать что угодно? Но дѣло не въ наукѣ, — дѣло въ претензіи и педантизмѣ, которые наводятъ всегда на всѣхъ адскую скуку.

Развѣ не скучно съ дамой, которая ни о чемъ знать не хочетъ, ни о чемъ больше не говоритъ, какъ о Фейербахѣ, Мальтусѣ и небесныхъ свѣтилахъ?—„Ничего, говорите вы, мнѣ это нравится!“ Очень хорошо; съ вами легко согласиться, когда дама умна въ настоящемъ смыслѣ слова, знаетъ предметъ основательно, читала съ толкомъ и серьёзно. Ну, а какъ Фейербахъ понимается вкривь и

вкось и, главное, является затѣмъ только, чтобы озадачивать ближняго и пускать пыль въ глаза?..

Развѣ не скучно, когда барышня, танцуя съ вами кадриль, ввертываетъ поминутно такія фразы:—„Oui, monsieur, je dirais avec Voltaire: la vie est un songe...“ или: „Aimez vous la philosophie?..“ Развѣ барышнѣ не скучно съ господиномъ, который, танцуя съ нею мазурку, пыхтитъ, мучится и страшно потѣетъ, стараясь занять ее глубокомысленными размышленіями и философскими истинами?

Вообще говоря, къ разряду „унылыхъ съ ученостію“ принадлежатъ безъ исключенія всѣ лица, которыя, *во-первыхъ*: танцуя кадриль, гуляя съ дамами, или сидя въ обществѣ, корчатъ глубокомысленныхъ и страстно любятъ проводить такого рода мысли:—„страшно всегда какъ-то смотрѣть на черепъ; вотъ, думаешь: тутъ кипѣли нѣкогда мысли, здѣсь зарождались поэмы, — а теперь?.. теперь?..“ или: — „Душа содрогается при мысли, что стоитъ произвести два слова: трефъ и бубень, — и человѣкъ богатый вдругъ превращается въ нищаго!..“ или: — „Жизнь! Что такое жизнь?—внѣшнія удовольствія и роскошь; въ душѣ—горькія сомнѣнія и безпокойства!..“ или: — „Человѣкъ—это цѣлый міръ... это существо, которое... которое...“ Затѣмъ слѣдуетъ обыкновенно грустно-задумчивая улыбка; философъ наклоняетъ голову и какъ бы погружается въ самого себя.

Во-вторыхъ: всѣ тѣ, которые чему-нибудь учились, но постоянно терзаются мыслію, что вы сомнѣваетесь въ томъ, что они что-нибудь знаютъ; преслѣдуемые постоянно такой мыслію, они спѣшатъ скрѣплять каждое ваше слово анекдотомъ изъ древней исторіи, приводятъ часто ни къ селу, ни къ городу ученыя цитаты и совершенно злоупотребляютъ словами: Цицеронъ, анахронизмъ, Буцефалъ, Муцій-Сцевола, Абботсфордское аббатство, псевдонимъ, Горацій Коклесъ, и проч.

Въ-третьихъ: люди, дѣйствительно знающіе что-нибудь, но совершенно лишенные находчивости и памяти.—„Позвольте... позвольте...“ говорятъ они, прерывая васъ неожиданно, — и вдругъ умолкаютъ, выказывая унылое безпокойство; послѣ того спѣшатъ они домой, роются въ книгахъ, отыскиваютъ забытое мѣсто, и на другой день, въ минуту, какъ вы меньше всего ждете, выстрѣливаютъ въ васъ ученой тирадой. Къ тому же классу причисляется каждый, кто, прочитавъ дома статью, дис-

сертацію, ученое открытіе, является къ вамъ, затрогиваетъ только-что прочитанный имъ вопросъ, обнаруживаетъ глупую радость при вашемъ незнаніи и передаетъ вамъ прочитанное какъ бы въ назиданіе.

Въ-четвертыхъ: всѣ мальчики отъ двѣнадцати до восемнадцати лѣтъ включительно, одаренные какимъ-нибудь талантомъ: пишущіе стихи, сочиняющіе повѣсти, рисующіе и считающіе себя почему-то „непонятыми“. Такихъ юношей является годъ отъ году больше и больше; они распложаются какъ кролики. Дай только Богъ, чтобы скука, которую наводятъ они въ юношескихъ лѣтахъ, вознаградилась чѣмъ-нибудь въ зрѣломъ возрастѣ!

„Фразёры“. — Подъ этимъ названіемъ разумѣютъ особъ двоякаго разбора: „фіоритуристы“ и „тупицы“.

„Фіоритуристы“ — всѣ тѣ, которые никакъ не могутъ убѣдиться, что чѣмъ проще и яснѣе выражается человѣкъ, тѣмъ лучше. Фразёрство, о которомъ мы говоримъ, проистекаетъ по большей части изъ желанія прослыть любезнымъ, — желанія, соединеннаго съ сознаніемъ своей неспособности къ любезности, преимущественно въ женскомъ обществѣ. Вы прогуливаетесь въ лодкѣ; рулемъ править барышня, и править криво и косо. „Сударыня, скажетъ фіоритуристъ, вамъ опасно ввѣрять кормило правленія!..“ или: „Я не поручилъ бы вамъ Балтійскаго флота, сударыня! Лавируя такимъ образомъ, вы умчали бы насъ въ самый центръ эскадры враждебнаго флота...“ Провинція особенно богата фіоритуристами; тамъ слышалъ я между прочимъ такую фразу: „Вы ѣдете, сударыня?.. Довольно было впрочемъ вашего короткаго пребыванія въ мѣстахъ нашихъ, чтобы построить въ сердцахъ любящихъ васъ людей храмъ вѣчныхъ воспоминаній!..“ и т. д.

„Тупицы“ — лица, окончательно обиженныя природой, отчаянно глупыя, повторяющія общія мѣста и говорящія то, что всѣ уже давно знаютъ: „Сегодня пятнадцатое число, черезъ двѣ недѣли будетъ первое!“ — „Петръ Великій геній!“ — „Я люблю то, что хорошо!“ — „Мужчины не женщины!“ — „Желѣзная дорога отличное изобрѣтеніе!“ — „Въ Петербургѣ можно все достать за деньги...“ — „Вообще говоря: болѣзнь скверная вещь!“ — „Кто же не имѣетъ недостатковъ?“ — „Зимою всегда холодно!“ — „Сегодня пятница, завтра суббота“ и т. д. Тупица любитъ иногда пофилософствовать; онъ ввертываетъ тогда подобнаго рода размышленія: — „Люди какъ рыбы, большіе по-

ѣдаютъ маленькихъ...“ Иногда тупица пускается въ остроуміе и любезность. Онъ собираетъ каламбуры, остроты, анекдотцы, водевильные куплеты; водевили Александринскаго театра доставляютъ ему бо́льшую часть его матеріала; онъ повторяетъ на каждомъ шагу выраженія:—„Какъ сказалъ одинъ д-р-р-ревній воинъ!“—„Я ѣхалъ на лодкѣ Невой... Не вой, братецъ, не вой!“ или каждое свое слово скрѣпляетъ словами:—„Ну и кончено! ну конечно!“ или задаетъ вамъ вопросъ:—„Что лучше стакана пунша?“ и самъ спѣшитъ отвѣтить: „Два стакана пунша!“

Къ тупицамъ принадлежатъ также люди, которые, проживъ съ человѣкомъ десять лѣтъ, ничего больше не въ состояніи сказать о немъ, какъ: „Да, онъ прекрасный человѣкъ!“ или: „Да, у него непріятный характеръ!“ Также тѣ, которые, находясь съ вами въ вагонѣ, поясняютъ: „Пріѣхали обѣдать“, когда пріѣхали обѣдать; „машина поѣхала“, когда поѣхала; „машина остановилась!“ когда остановилась, и т. д.

Если на похоронахъ подойдетъ къ вамъ господинъ или дама и скажетъ съ унылымъ видомъ:—„Что жъ дѣлать! всѣ мы смертны!..“ или: „какъ быть! никто не минуетъ этого!..“ или: „что жъ дѣлать! всѣ мы тамъ будемъ!..“ почти навѣрняка заключайте, что къ вамъ подходили тупицы.

Перейдемъ теперь къ „меланхоликамъ“. Меланхоликъ—который сознаетъ, что онъ скученъ и потому избѣгаетъ общества, не можетъ имѣть мѣста въ этой „статьѣ“, исключительно посвященной лицамъ, навязывающимъ себя и всякому жестоко надоѣдающимъ.

Здѣсь, слѣдовательно, идетъ рѣчь о меланхоликахъ другого разбора. Къ вамъ является господинъ, очень чисто одѣтый, очень скромнаго, тихаго вида; онъ вяло раскланивается, вяло опускается въ кресло, начинаетъ вертѣть шляпу между колѣнами и молчитъ; молчитъ часъ, другой, третій, изрѣдка развѣ, и то весьма лаконически, отвѣчая на вопросы и скрѣпляя слова свои грустной улыбкой.—„Что съ вами? спрашиваете вы: — вы нездоровы?“—„Нѣтъ-съ, ничего... я такъ!..“—и снова молчаніе. На другой день господинъ снова является, снова садится въ кресло, и снова молчитъ; на третій день то же.—„Что за чортъ! думаете вы,—чего же ему отъ меня надо?“ Ему ничего отъ васъ не надо; но вамъ его представили, вы случайно съ нимъ познакомились, и онъ считаетъ своимъ

долгомъ посѣщать васъ, посидѣть часъ-другой на вашемъ креслѣ. Быть-можетъ, кресло ему понравилось, быть-можетъ, вы сами; меланхоликъ никому не говоритъ объ этомъ. Какъ только меланхоликъ пускается въ объясненія, онъ получаетъ названіе „плаксы". „Боже мой, что съ вами?" восклицаете вы, пораженные глубокимъ унынiемъ, написаннымъ въ чертахъ N*.—„Ничего, возражаетъ протяжно заунывнымъ голосомъ N*;—ничего... такъ, знаете ли... грустно какъ-то!.."—„Но отчего же грустно?"—„Такъ, знаете ли... Когда посмотришь на жизнь... подумаешь обо всемъ этомъ..." — „Ну, такъ что жъ?"—„Невольно уже тогда какъ-то грустно дѣлается..." Другого объясненія не ждите. Замѣчательнѣе всего, что плаксы-меланхолики посѣщаютъ всевозможныя гулянья, собранія, театры; вы всегда найдете ихъ тамъ, гдѣ происходитъ веселье; какая у нихъ цѣль при этомъ — неизвѣстно. Встрѣтьте плаксу на иллюминаціи, замѣтьте ему, что лицо его кажется вамъ унылымъ, разстроеннымъ, и спросите, почему такъ?—„Чему же веселиться? возразитъ онъ.—Боже мой, неужто вы веселы? Подумайте только! сколько всѣ эти шкалики, вся эта иллюминація стоитъ денегъ! сколько труда! суеты!.. а къ чему все это?.. Къ чему?.. Для одного мига! для одного часа!.." Въ саду на минеральныхъ водахъ плакса прогуливается, какъ бы замышляя самоубiйство: „Чему бѣснуется вся эта толпа? говоритъ онъ, распуская нюни.—Взгляните, стеклась она сюда со всѣхъ концовъ Петербурга; суетится, скачетъ, прыгаетъ... Что могло привлечь ее сюда? Что?.."—Но сами-то вы зачѣмъ пріѣхали?"—„Такъ, знаете ли, грустно какъ-то было... взялъ да и поѣхалъ..." Плакса не пропускаетъ ни одной аллеи публичнаго сада, ни одного закоулка; онъ останавливается передъ каждымъ балаганомъ, зрѣлищемъ, оркестромъ; но лицо его остается неизмѣнно разстроеннымъ и какъ бы всегда сказать хочетъ:—Боже, что за пустота! и это называется „у нихъ" весельемъ!..

Говоря о скучныхъ людяхъ изъ породы плаксивыхъ, мы не ошибемся, кажется, если присоединимъ къ нимъ „мнимыхъ больныхъ", людей, наводящихъ нестерпимую скуку жалобами о своемъ животѣ, колотьяхъ и нервическомъ разстройствѣ.

Мнимый больной тотъ же лгунъ, но только лгунъ съ убѣжденiемъ, лгунъ тѣмъ болѣе несносный, что предметъ его лжи уже самъ по себѣ не имѣетъ ничего занимательнаго.

наго. И, наконецъ, какое вамъ дѣло до его убѣжденій?— вы ихъ не раздѣляете; питаете даже въ душѣ вашей твердую увѣренность, что они ни на чемъ не основаны. Но жалобы мнимаго больного занимаютъ можетъ-быть послѣднюю роль въ той скукѣ, которую онъ на васъ наводитъ. Нѣтъ существа болѣе пристрастнаго, болѣе близорукаго въ отношеніи къ самому себѣ, какъ мнимый больной; ничтожнѣйшему изъ нихъ кажется непремѣнно, что вниманіе цѣлаго міра должно быть устремлено на его печень и легкія; онъ возмущается, когда не падаете вы въ кресло и не приходите въ ужасъ, слушая разсказъ о колотьѣ въ боку, или остаетесь равнодушны при извѣстіи, что онъ дурно спалъ вчерашнюю ночь. Вмѣстѣ съ тѣмъ, мнимый больной самъ приходитъ въ ужасъ и падаетъ въ кресло, когда дѣлаете вы замѣчаніе о цвѣтѣ его лица, прыщикѣ на носу и тому подобное. Скучнѣе всего, что мнимый больной жалуется всегда почти на ту часть своего организма, которая болѣе всего здорова. Одинъ жалуется на боль и слабость въ ногахъ, говоритъ, что не можетъ иначе прогуливаться, какъ въ каретѣ; а между тѣмъ, смотришь, онъ ежедневно дѣлаетъ десять верстъ, бѣгая вокругъ бильярда. У другого ежедневно являются припадки холеры; онъ вѣчно въ какой-то тревогѣ, вѣчно разсказываетъ исторію о томъ, что желудокъ его не варитъ вотъ уже скоро пять лѣтъ; а между тѣмъ не видали вы еще человѣка, который такъ страшно пугалъ бы васъ своимъ обжорствомъ: за завтракомъ съѣдаетъ онъ двѣ котлетки, фунтъ сливочнаго масла и полную тарелку жареныхъ грибовъ! Вѣрьте имъ послѣ этого и не смѣйтесь надъ ними!

Между плаксами и меланхоликами остается еще большой пробѣлъ: мы ничего не сказали о „мнительныхъ канючкахъ, попрошайкахъ, постныхъ рожахъ“ и еще многихъ другихъ; но всего не усмотришь, не перескажешь. Перейдемъ къ „чувствительнымъ и сентиментальнымъ“.

Всѣ чувствительные и сентиментальные, по большей части, добрѣйшіе люди; они одарены прекраснѣйшимъ сердцемъ и мягкою, нѣжною душою, но чувствительность точно такъ же какъ и мечтательность, хороша и безвредна, въ смыслѣ скуки, тогда только, когда не переходитъ за предѣлъ. „Отъ прекраснаго до комическаго, или, пожалуй, до несноснаго одинъ шагъ“. Скучныхъ чувствительныхъ людей можно раздѣлить на два главные

разряда: на „счастливыхъ и несчастливыхъ“; потомъ являются еще подраздѣленія: „липкіе“ чувствительные люди и „смиренные“.

„Липкими“ принято называть смертныхъ обоего пола, которымъ свойственно внезапно полюбить встрѣчнаго и поперечнаго и прилипать къ нему сразу всѣмъ сердцемъ, всей душою и всѣми своими чувствами. Названіе „липкихъ“ основано, впрочемъ, на томъ, я полагаю, что руки особъ этого разбора сохраняютъ постоянно какое-то влажное, липкое свойство; по всѣмъ вѣроятностямъ, такое свойство дается природой нарочно съ тою цѣлію, чтобы отличить ихъ отъ другихъ людей. А впрочемъ, не знаю; извѣстно мнѣ только то, что когда „липкій“ счастливъ, влажность рукъ его несравненно меньше чувствуется: это потому, можетъ-быть, что онъ рѣже тогда жметъ вашу руку. Липкій любитъ предаваться мечтаніямъ, любитъ припоминать минуту, часъ и мельчайшія обстоятельства, при которыхъ опъ съ вами познакомился; любитъ звать васъ къ себѣ, сажаетъ васъ между женою и дѣтьми (и всегда на самомъ лучшемъ и мягкомъ мѣстѣ), и даетъ вамъ почувствовать, что считаетъ васъ не иначе, какъ членомъ своего семейства. Вы говорите, что думаете ѣхать за границу или желали бы сдѣлать кругосвѣтное путешествіе: „Да, возражаетъ онъ, — я самъ мечтаю объ этомъ! Къ несчастью, обстоятельства не позволяютъ мнѣ осуществить любезнѣйшей мечты моей; а то, какъ бы хорошо было! Мы поѣхали бы вмѣстѣ! Вмѣстѣ бродили бы всюду... вмѣстѣ бы наслаждались!.. вмѣстѣ дѣлили бы бури и опасности... Не правда ли, какъ это было бы пріятно?..“

Сентиментальный человѣкъ, который недоволенъ судьбою, хандритъ или чувствуетъ себя несчастнымъ, еще прилипчивѣе, и, слѣдовательно, еще скучнѣе. Сдѣлавшись предметомъ его дружбы или расположенія, вы превращаетесь въ жалкую жертву. Вы садитесь за столъ—онъ садится рядомъ; перешли послѣ обѣда на диванъ—онъ располагается у васъ подъ бокомъ; идете къ окну или гулять—и онъ за вами. Въ первый же часъ вашего знакомства, онъ легкими намеками объяснитъ вамъ, какъ несчастливъ онъ въ своемъ семействѣ, какъ постоянно сокрушаетъ его мысль, зачѣмъ онъ женился, и проч. Вздохи и знаки нетерпѣнія, которые выказываете вы при этомъ, объясняетъ онъ участіемъ къ себѣ; онъ думаетъ,

что нашелъ, наконецъ, сострадательную душу, нашелъ истинно доброе, благородное сердце, способное понимать горести ближняго и сильно ему сочувствующее. Вы, между тѣмъ, по мѣрѣ того, какъ усиливаются изліянія, вы ясно начинаете понимать, почему жена покинула его, почему друзья его проходятъ по улицѣ и стараются не узнавать его.

Приведемъ теперь образчикъ „смиреннаго-сентиментальнаго". Вы случайно встрѣтились съ товарищемъ дѣтства или знакомымъ, котораго не видали нѣсколько лѣтъ.

— Здравствуй, братецъ, говоритъ онъ робко.

— А, здравствуй!..

— Ты не узнаешь меня?.. присовокупляетъ онъ, протягивая вамъ руку съ такимъ видомъ, какъ будто не совсѣмъ еще увѣренъ, хотите ли вы взять ее или нѣтъ,— можетъ быть, ты не хочешь узнать меня?

— Помилуй, что̀ за странная мысль!..

— Отчего жъ?.. старыхъ друзей всегда забываютъ...

— Нисколько!

— Ну, благодарю тебя... а я ужъ думалъ, что не хочешь узнать меня. Мы часто о тебѣ вспоминаемъ... Мы не забываемъ старыхъ пріятелей...

Вы приглашаете такого человѣка обѣдать, онъ отвѣчаетъ, потупляя глаза: „Благодарю тебя; нѣтъ, я себя знаю... зачѣмъ я вамъ? я слишкомъ скучный, печальный собесѣдникъ... Я только всѣмъ вамъ помѣшаю..." Зовете его на вечеръ, гдѣ будутъ читать стихи, играть на фортепіано или пѣть,—онъ отвѣчаетъ: „Благодарю васъ;—но зачѣмъ же? къ чему? что̀ я буду тамъ дѣлать?.. я слишкомъ незамѣтный человѣкъ, чтобы принимать участіе въ такомъ блистательномъ собраніи... тамъ все бо̀льшею частію умные, извѣстные люди... но что же я такое?.. нѣтъ, я буду лишнимъ!.." Приглашаете его на дачу или прогулку: „Нѣтъ, благодарю... искренно, душевно благодарю. Для такихъ прогулокъ... словомъ, чтобы быть въ обществѣ, нужна веселость, любезность... у меня нѣтъ этого... я буду скученъ и наведу только скуку на все общество..." и т. д.

Въ основаніи такой скромности лежитъ, очень часто, толстый слой самолюбія... Но предоставимъ охотникамъ до анализа и психологамъ отыскивать и опредѣлять причины, приводящія въ дѣйствіе пружины человѣческой природы. Ограничиваясь одними внѣшними наблюденіями,

мы зашли и безъ того уже чуть ли не слишкомъ далеко...

Впрочемъ, изслѣдованіе наше почти кончено. Остается сказать нѣсколько словъ о людяхъ безъ чутья, которыхъ нарочно берегли мы для заключенія.

Начать съ того, что къ этой категоріи принадлежатъ безъ исключенія всѣ скучные люди. Скучный человѣкъ потому вѣдь только и скученъ, что нѣтъ у него чутья. Одного чутья, конечно, не достаточно, чтобы быть любезнымъ и занимательнымъ, но совершенно довольно, чтобы не быть скучнымъ.

Чутьемъ, въ томъ смыслѣ, какъ мы его здѣсь принимаемъ, называется тонкая способность понимать и чувствовать, когда надо говорить и сколько именно; гдѣ надо замолчать, дѣйствовать и бездѣйствовать, въ какой именно мѣрѣ дѣлать то и другое. Ясно, слѣдовательно, что существо, одаренное чутьемъ, ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть скучнымъ. Чутье скажетъ ему, когда слѣдуетъ укротить порывъ веселости, чтобы не пересолить; скажетъ, гдѣ остановиться на пути сердечныхъ изліяній, чтобы не наскучить; словомъ, укажетъ ему ту, почти неуловимую границу, которая раздѣляетъ скуку отъ занимательности.

Убійственнѣе всего, что чутье это не имѣетъ ничего общаго съ умомъ, познаніями, характеромъ и даже нравственными добродѣтелями! Чутье безпристрастно какъ счастье, какъ фортуна; надо думать, ходитъ оно также съ завязанными глазами и часто попадаетъ туда, гдѣ его вовсе не ждали. Что же удивительнаго послѣ того, если иногда ограниченный человѣкъ сноснѣе умнаго, унылый пріятнѣе веселаго, ученый скучнѣе неуча, и т. д.?

Вся тайна въ присутствіи или отсутствіи чутья, которое заключаетъ въ себѣ, собственно говоря, весь смыслъ, всю мораль предполагаемаго изслѣдованія. Больше, кажется, сказать нечего, кромѣ того развѣ, что въ огромной семьѣ скучныхъ людей существуютъ еще скучные писатели... Объ образчикѣ такихъ писателей, сколько замѣтно по вашимъ глазамъ, опущеннымъ на эту страницу, вы, кажется, имѣете уже нѣкоторое понятіе... Спѣшу поставить точку.

ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННЫХЪ НРАВОВЪ.

(юмористическія замѣтки.)

Читателю.

Случалось ли вамъ, почтенный читатель, разсматривать когда-нибудь такъ-называемыя „записныя книжки художниковъ?“

Здѣсь, разумѣется, нѣтъ и помину о тѣхъ книгахъ, которыя разграфлены красными и черными чернилами и усыпаны рядами цифръ и расходовъ на краски, карандаши, холстъ, сигары, чай, сахаръ и тому подобныя художественныя и хозяйственныя принадлежности. Начать съ того: художники большею частію рѣдко ведутъ свои счеты; наконецъ, каждому изъ васъ, безъ сомнѣнія, слишкомъ уже надоѣли собственные расходы, чтобы я позволилъ себѣ предлагать вамъ заглядывать еще и въ чужіе. Здѣсь собственно говорится о книжкахъ, листки которыхъ покрыты эскизами всѣхъ возможныхъ родовъ,— эскизами, набросанными безъ всякой системы, порядка, и притомъ самымъ бѣглымъ образомъ.

Безъ такой книжки не обходится ни одинъ художникъ, любящій искусство свое не только на словахъ, но и на дѣлѣ. Сидитъ ли онъ у окна своей квартиры, гуляетъ ли по улицамъ или за городомъ, — карандашъ и записная книжка всюду его сопровождаютъ. Онъ часто набрасываетъ свои эскизы вовсе не потому, чтобы нуждался въ матеріалахъ; онъ не заботится даже знать, послужатъ ли они къ чему-нибудь и можно ли будетъ впослѣдствіи составить изъ нихъ картину. Но тѣмъ не менѣе, отдаваясь невольно чувству наблюдательности, а также пови-

нуясь врожденному стремленію выражать рисункомъ свои наблюденія,—онъ неутомимо наноситъ на бумагу все, что сколько-нибудь поражаетъ его глазъ, умъ и сердце. Въ такихъ книжкахъ вы рѣдко встрѣтите что-нибудь цѣлое, оконченное. Случается, что тотъ или другой предметъ, въ какомъ бы то ни было отношеніи, въ забавномъ или серьезномъ, сильнѣе поразилъ художника; онъ не могъ отъ него оторваться, и, возвратясь домой, принялся за обдѣлку эскиза, придалъ ему видъ рисунка, оконченнаго съ любовію и тщаніемъ. Но тогда бѣглый очеркъ перестаетъ уже быть такимъ и превращается въ художественное произведеніе: онъ вырывается изъ записной книжки и поступаетъ въ портфель самого художника, или любителя. Здѣсь собственно говорится объ эскизахъ, цѣль которыхъ уже въ совершенствѣ достигнута, когда выражена мысль или уловлена главная характеристическая черта изображаемаго предмета.

Мы привели все это къ тому, почтенный читатель, чтобы указать вамъ настоящую точку зрѣнія, съ которой слѣдуетъ смотрѣть на предлагаемые теперь очерки. Это не болѣе какъ эскизы.

Я поступалъ въ отношеніи къ своей записной книжкѣ точно такъ же, какъ художникъ: набрасывалъ на листки ея все, что̀ останавливало мое вниманіе, — не имѣя при этомъ никакой особенной цѣли, не стѣсняя себя заранѣе придуманной формой. Если, кромѣ чувства наблюдательности и стремленія выражать на бумагѣ свои наблюденія, руководило мною что-нибудь,—такъ это была одна только мысль: не дѣлать ничего наобумъ и захватывать въ эскизахъ своихъ какъ можно больше правды, то-есть стараться проводить каждую черту съ натуры.

Душевно сожалѣю, что эскизы эти займутъ мѣста больше, чѣмъ тѣ, которые набрасываются карандашомъ. Въ этомъ отношеніи я всегда завидовалъ рисовальщику. Онъ можетъ въ одинъ мигъ и на небольшомъ клочкѣ бумаги выразить то, на что писателю необходимо нѣсколько листовъ, много времени и еще больше труда. Легче разсмотрѣть самый замысловатый рисунокъ, чѣмъ прочесть сряду нѣсколько самыхъ незамысловатыхъ печатныхъ страницъ. Я дѣлалъ все возможное, чтобы листки изъ моей записной книжки занимали какъ можно меньше мѣста,—и, слѣдовательно, какъ можно меньше утомляли васъ. Не знаю, насколько успѣлъ я въ этомъ. Во вся-

комъ случаѣ, прошу васъ вооружиться снисхожденіемъ (оно никогда не мѣшаетъ), прошу отложить строгость до другого, болѣе удобнаго случая, когда въ самомъ дѣлѣ она потребуется, а главное — прошу не хмурить бровей, какъ это вы дѣлаете, когда приступаете къ разсматриванію цѣлой, тщательно оконченной картины, или чтенію строго задуманнаго и строго исполненнаго литературнаго произведенія.

I.

Отраженія.

(сверху внизъ.)

Утромъ, часовъ около одиннадцати... (нѣтъ надобности распространяться о томъ, въ какой улицѣ это происходило, и даже въ какомъ городѣ) маленькая, красивая карета темно-шоколаднаго цвѣта и на лежачихъ рессорахъ остановилась подлѣ тротуара. Изъ нея вышелъ господинъ лѣтъ пятидесяти, но еще статный и, вообще, очень хорошо сохранившійся. Сѣдина едва примѣтно серебрилась въ его небольшихъ бакенбардахъ, тщательно приглаженныхъ по обѣимъ сторонамъ полныхъ щекъ, дышащихъ здоровьемъ; подбородокъ его, съ ямкой по серединѣ, лоснился какъ атласъ — такъ онъ былъ гладокъ и хорошо выбритъ. Ступивъ на тротуаръ, статный господинъ направился размѣреннымъ, сдержаннымъ шагомъ, какимъ ходятъ люди, гуляющіе не столько изъ удовольствія, сколько для моціона.

Хотя держался онъ необыкновенно сановито, — въ наружности его не было ничего натянутаго или надменнаго; совсѣмъ напротивъ: глаза смотрѣли кротко и весело, выраженіе доброты, прямодушія и крайней снисходительности отражалось въ каждой чертѣ его лица, постоянно озареннаго мягкой, пріятной улыбкой. Доброта, такъ рѣзко отпечатанная, всегда дѣйствуетъ обаятельно. Одинъ видъ этого господина пробуждалъ къ нему сочувствіе въ душѣ вашей; каждый встрѣчавшійся съ нимъ невольно становился веселѣе и начиналъ чувствовать пріятную легкость на сердцѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, каждый приходилъ также въ полное убѣжденіе, готовъ даже былъ принять присягу, что господинъ этотъ — человѣкъ съ вѣсомъ и значеніемъ. Онъ, какъ уже сказали мы, не подавалъ ровно никакого повода къ такого рода заключенію, а между

тѣмъ, могу васъ увѣрить, невозможно было оторваться отъ мысли, что вы точно встрѣтили лицо, имѣющее вѣсъ и значеніе.

Не постигаю, какъ это дѣлается. Но встрѣчая француза, итальянца, англичанина или американца, особенно послѣднихъ, вы просто скажете: это англичанинъ, это американецъ и т. д. Наружность ихъ, какова бы ни была она, не дастъ вамъ никакого понятія о ихъ званіи и общественномъ положеніи; она часто даже приведетъ васъ въ заблужденіе: вы примете важную особу за куафера, мелкаго лавочника за члена парламента и т. д. Они словно совершенно довольствуются уже тѣмъ, что кажутся англичанами, американцами и т. д.

Повторяю вамъ: не постигаю, что̀ пробуждаетъ такого рода дѣйствіе, но при встрѣчѣ съ нашими соотечественниками, тотчасъ приходятъ на умъ отличія человѣка, его званіе и мѣсто, которое занимаетъ онъ въ обществѣ. Природа ли наша, которой, какъ всѣ утверждаютъ, свойственно порываться въ ширину, тому способствуетъ, но только русскій человѣкъ не довольствуется, какъ будто, казаться только русскимъ человѣкомъ; ему какъ будто мало этого: онъ хочетъ непремѣнно, чтобы знали, сверхъ того, кто онъ такой и съ кѣмъ именно имѣешь дѣло: съ помѣщикомъ ли, секретаремъ ли палаты, предводителемъ ли дворянства, лицомъ ли высокаго общественнаго положенія, дѣйствительнымъ ли статскимъ совѣтникомъ и т. д.

Стремленіе къ выраженію своего офиціальнаго значенія такъ сильно въ русскомъ человѣкѣ, такъ неразлучно присутствуетъ въ его душѣ и мысляхъ, такъ часто приводится въ дѣйствіе, что способъ выраженія входитъ уже наконецъ въ привычку и впослѣдствіи высказывается самъ собою, безъ малѣйшаго напряженія со стороны самого лица. Вы можете забыть иногда, что вы богатый помѣщикъ, владѣлецъ несчетныхъ душъ, что вы предсѣдатель палаты или статскій совѣтникъ, но самая уже ваша фигура получила, такъ сказать, форму вашего офиціальнаго положенія, и стоитъ взглянуть на нее, чтобы тотчасъ же догадаться, кто вы такой и съ кѣмъ имѣешь дѣло.

То же самое было и съ господиномъ, вышедшимъ изъ кареты темно-шоколаднаго цвѣта. Онъ *дѣйствительно* имѣлъ вѣсъ и значеніе. (Мы подчеркиваемъ это слово потому собственно, что множество лицъ, находясь въ пол-

номъ заблужденіи касательно своего значенія и увлекаясь тщеславіемъ вѣка, принимаютъ наружную форму лицъ несравненно болѣе значительныхъ и вводятъ такимъ образомъ въ заблужденіе публику; такъ, напримѣръ, уѣздный чиновникъ можетъ показаться иногда губернскимъ, секретарь палаты предсѣдателемъ и проч., и проч.)

Не имѣй тотъ человѣкъ, о которомъ идетъ теперь рѣчь, не имѣй онъ въ самомъ дѣлѣ значенія, ему не стали бы съ утра и до вечера докучать просьбами. Входилъ ли онъ въ пріемную комнату,—десятки лицъ порывались къ нему съ прошеніями; онъ спускался на лѣстницу, — просители преслѣдовали его до кареты; въ обществѣ, — дамы мило улыбались ему и приступали съ просьбами объ опредѣленіи сына бѣдной вдовствующей старушки или о помѣщеніи семилѣтней дѣвочки, дочери подпоручицы, обремененной дюжиною другихъ малолѣтнихъ дѣвочекъ. Къ нему прибѣгали за обѣдомъ и даже не оставляли въ покоѣ во время десерта. По возвращеніи домой, онъ находилъ на письменномъ столѣ своемъ кипы писемъ, которыя необходимо требовали прочтенія и отвѣта; частныя аудіенціи поглощали остальное его время. Какъ, спросите вы, доставало его на все это? Онъ, разумѣется, слушалъ часто разсѣянно и ничего не принималъ къ сердцу, — въ противномъ случаѣ, могъ ли онъ казаться такимъ веселымъ и могъ ли такъ хорошо сохранить себя? Конечно, не могъ бы.

Но значительный человѣкъ не имѣетъ лишняго времени для прогулки. Пройдя съ четверть версты, онъ снова садится въ маленькую карету темно-шоколаднаго цвѣта, и ѣдетъ куда призываютъ его многосложныя занятія. Карета останавливается передъ подъѣздомъ большого дома. Едва кучеръ успѣлъ осадить лошадей, на подъѣздѣ показывается инвалидъ, съ лицомъ, исполненнымъ суеты и, вмѣстѣ съ тѣмъ, радостнаго благоговѣнія. Онъ отворяетъ дверцы кареты и высаживаетъ ея владѣльца, соблюдая при этомъ такую осторожность, какъ будто поддерживаетъ хрупкую вѣтку, покрытую инеемъ, который отъ перваго прикосновенія сейчасъ же долженъ осыпаться.

— Здравствуй, Тарасенко! говоритъ значительное лицо, очевидно, забавляясь суетливою озабоченностью инвалида.

— Здравія желаю, ваше превосходительство!

Тарасенко выпрямляется, комически встряхиваетъ головою и стремглавъ пускается отворять дверь подъѣзда.

При входѣ начальника въ прихожую, Тарасенко снимаетъ съ него пальто, быстро вооружается щеткой и прежде чѣмъ тотъ успѣлъ сдѣлать движеніе, приступаетъ къ чищенью его вицъ-мундира; чистить рѣшительно нечего: спина вицъ-мундира отливаетъ какъ новый бархатъ, но добраго начальника забавляетъ, повидимому, усердіе инвалида, — усердіе, отъ котораго глаза Тарасенка выскакиваютъ изъ головы и потъ проступаетъ даже на кончикѣ его носа.

— Спасибо, Тарасенко!..

— Радъ стараться, ваше превосходительство!

И, какъ бы поощренный ласковымъ обращеніемъ, инвалидъ такъ задвигалъ щеткой, что раза два неосторожно коснулся снинной лопатки. При этомъ начальникъ только усмѣхнулся.

— Виноватъ, ваше превосходительство!..

— Ничего, братецъ, ничего: спасибо!

— Радъ стараться, ваше превосходительство!

Добродушная улыбка не сходила съ лица начальника во все время, какъ поднимался онъ по лѣстницѣ; она не оставляла его, напротивъ, обозначилась еще явственнѣе, когда вступилъ онъ въ большую комнату, гдѣ ожидало его нѣсколько человѣкъ въ форменныхъ мундирахъ.

— Здравствуйте, господа!.. сказалъ начальникъ, посылая привѣтливые поклоны, между тѣмъ, какъ лица, къ которымъ они обращались, сохраняли серьезную и почтительную позу, или стояли въ наклоненномъ положеніи, какъ вѣтви плакучей березы, и, повидимому, слабли и расплывались отъ восхищенія. — Здравствуйте, господа! повторилъ онъ.

Но улыбка, появившаяся на губахъ его въ прихожей, распространилась еще болѣе; онъ вдругъ засмѣялся своимъ добрымъ, милымъ смѣхомъ, и долженъ былъ остановиться.

— Ха-ха-ха...

— Ха-ха-ха... поспѣшили отозваться, но не слишкомъ громко, нѣкоторые изъ присутствующихъ; другіе выпрямились и представили рядъ весело улыбающихся физіономій.

— Меня сейчасъ ужасно насмѣшилъ нашъ швейцаръ Тарасенко, сказалъ начальникъ.—Онъ, впрочемъ, каждое утро доставляетъ мнѣ такое удовольствіе: не успѣю снять пальто, онъ кидается на меня со всѣхъ ногъ и начинаетъ чистить мнѣ вицъ-мундиръ... Но сегодня онъ находится

въ особенномъ припадкѣ усердія; онъ, бѣдняга, такъ усердствовалъ, что раза два хватилъ меня деревяжкою щетки по лопаткѣ... Надо было видѣть въ эту минуту его физіономію... Ужасно насмѣшилъ... Ха-ха-ха...

— Хе-хе-хе... отозвались на этотъ разъ громкимъ, единодушнымъ хоромъ присутствующіе, никогда еще, во всю свою жизнь (они готовы были поклясться въ этомъ) не встрѣчавшіе такого побудительнаго повода къ смѣху.

Но такимъ необычайнымъ умѣньемъ владѣть собою обладали эти лица, что секунду спустя всѣ были опять серьезны и хранили благоговѣйное молчаніе.

— Я, господа, пріѣхалъ къ вамъ только на минуту, сказалъ начальникъ.—Новаго у васъ ничего нѣтъ. Иванъ Матвѣевичъ, вы, кажется, имѣете что-то сказать мнѣ?.. Господа, можете идти... добавилъ онъ, обратившись къ остальнымъ, которые снова приняли видъ вѣтвей плакучей березы и тотчасъ же удалились.

Въ числѣ этихъ господъ находился, между прочимъ, одинъ, весьма коротенькій, но толстый, съ шитымъ стоячимъ воротникомъ и румянымъ круглымъ лицомъ, принимавшимъ издали видъ колоссальнаго апортоваго яблока, поставленнаго на золотое блюдо. Съ перваго взгляда можно было узнать въ немъ человѣка веселаго нрава, балагура, словомъ, душу общества тѣхъ людей, которые пользовались съ нимъ одинаковою степенью кредита и состояли съ нимъ въ одинаковомъ званіи. Онъ, впрочемъ, не прочь былъ войти въ объясненія и даже посмѣяться съ тѣми, которые стояли ниже его на ступеняхъ служебнаго поприща: такъ, напримѣръ, выйдя изъ кабинета директора, обратился онъ съ ласковой улыбкой къ какому-то секретарю, который, казалось, караулилъ его у двери.

— Что, какъ нонче его превосходительство? спросилъ секретарь, представлявшій изъ себя миніатюрнаго бѣлокураго человѣка съ длиннымъ, острымъ носомъ, выражавшимъ подозрительность, и лѣвою бровью, которая какъ-то робко и безпокойно двигалась.

Это былъ тотъ самый секретарь, съ которымъ произошелъ слѣдующій анекдотъ, долго ходившій по департаменту: директоръ написалъ карандашомъ черновую бумагу и второпяхъ забылъ поставить въ одномъ мѣстѣ запятую. Чиновникъ, переписывавшій бумагу набѣло, не посмѣлъ исправить ошибки, и, отправляясь къ начальнику съ переписанной бумагой, обратился къ маленькому секретарю,

прося у него совѣта, какъ поступить,—выставить ли запятую, или такъ оставить, какъ было въ черновой?.. Секретарь былъ еще тогда коллежскимъ совѣтникомъ: уже прямое назначеніе чина его состояло, такъ сказать, въ томъ, чтобы давать совѣты; съ другой стороны, его остановило такого рода размышленіе: „А ну, какъ его превосходительство спроситъ, зачѣмъ здѣсь запятая?.. Развѣ въ черновой бумагѣ есть запятая?.. и вдругъ оробѣвшій чиновникъ скажетъ: секретарь приказалъ“... Подъ вліяніемъ такого колебанія, секретарь нагнулся къ уху чиновника и шепнулъ ему скороговоркою: „Поставьте маленькую! нужна она—хорошо, не нужна—пройдетъ незамѣченною“...

— Ну, такъ какъ сегодня его превосходительство? повторилъ секретарь.

— Ничего... возразилъ весельчакъ,—разсказывалъ очень забавную исторію: нашъ сторожъ, Тарасенко, бросился чистить ему вицъ-мундиръ и, чортъ его знаетъ, отъ излишняго ли усердія, отъ слѣпоты ли, но хватилъ его нѣсколько разъ щеткой по лопаткѣ...

— Можетъ ли быть!..

— Да; его превосходительство очень смѣялся, сказалъ весельчакъ, поворачиваясь на каблукѣ.

Присутствуй секретарь въ кабинетѣ въ то время, когда начальникъ разсказывалъ свою исторію, онъ, вѣроятно, смѣялся бы такъ же громко, какъ и другіе, быть-можетъ, даже громче, — но теперь не нашелъ онъ ровно ничего забавнаго въ томъ, что сообщилъ весельчакъ. Не переставая двигать лѣвою бровью и какъ-то озабоченно пожимая губами, прошелъ онъ черезъ двѣ комнаты и, приблизившись къ одному изъ столоначальниковъ, сказалъ, понижая голосъ:

— Ужасная случилась непріятность...

— Что такое?

— Его превосходительство...

— Что?.. произнесъ начальникъ оживляясь.

— Представьте, нашъ сторожъ Тарасенко... вотъ, что внизу стоитъ на лѣстницѣ...

— Ну, ну, ну... нетерпѣливо перебилъ столоначальникъ.

— Не знаю, пьянъ ли онъ былъ, или другое что, но только, представьте, два раза ударилъ директора щеткой по лопаткѣ...

Ракета, къ которой приставляютъ палительную свѣчку,

не взвивается такъ быстро на воздухъ, какъ быстро поднялся съ мѣста столоначальникъ при окончаніи этого разсказа.

— Гдѣ экзекуторъ?.. Не видали ли вы экзекутора?.. Гдѣ экзекуторъ?.. повторялъ онъ торопливо, переходя изъ комнаты въ комнату.

Экзекуторъ не замедлилъ отыскаться. То былъ сухопарый, желтоватый человѣкъ, съ огромными черными бакенами, имѣвшими видъ котлетки; волосы его и густыя дугообразныя брови были черны какъ смоль; все это согласовалось, какъ нельзя болѣе, съ его синимъ подбородкомъ.

— А, Петръ Петровичъ!.. воскликнулъ столоначальникъ, увидя экзекутора и ускоряя шагъ.—Ну, что, не говорилъ ли я вамъ, а?.. Что, дождались, наконецъ? дождались!.. Этого только недоставало!..

— Что такое?.. что такое?..

— Нѣтъ, спросите лучше тамъ, что такое, да, тамъ!.. проговорилъ столоначальникъ, дѣлая сильное удареніе на послѣднее слово и выразительно указывая рукою на отдаленную дверь директорскаго кабинета.

При этомъ поблѣднѣли, казалось, самые бакены экзекутора.

— Что такое?.. Ахъ, Боже мой! Что случилось?.. проговорилъ онъ, подергивая губами.

— Я, впрочемъ, предупреждалъ васъ, что это случится рано или поздно; вы до такой степени слабы, Петръ Петровичъ, до такой степени распустили вашихъ подчиненныхъ, что это ни на что не похоже!..

— Но что же такое? Что? Бога ради!..

— А то же, что вы, или тотъ чиновникъ, которому поручили вы надзоръ надъ служителями,—но это въ сущности все равно, ибо вы начальникъ и, слѣдовательно, отвѣчаете за дѣйствія ввѣренныхъ вамъ подчиненныхъ,—вы, повторяю вамъ, до такой степени распустили...

— Но, ради Создателя, что̀ случилось?..

— Случилось, что инвалидъ, сторожъ, котораго поставили вы на лѣстницѣ для сниманія шинелей,—чортъ его знаетъ, пьянъ ли онъ былъ,—но только такъ хорошо чистилъ щеткою вицъ-мундиръ директора, что ушибъ ему спину...

Экзекуторъ схватилъ себя за волосы и опрометью устремился въ дальнія комнаты, крича надорваннымъ басомъ:

— Прохоровъ!.. Гдѣ Прохоровъ?.. Подайте мнѣ сюда Прохорова, Прохорова подайте!..

Прохоровъ, коренастый человѣкъ, съ лицомъ рябымъ, какъ вафля,—точно изъ земли выросъ.

— Что вамъ угодно? спросилъ онъ.

— Что вы здѣсь дѣлаете, милостивый государь, а?.. Что вы здѣсь дѣлаете, спрашиваю я васъ?.. воскликнулъ экзекуторъ, яростно потрясая головою. — Я вамъ найду мѣсто, милостивый государь! найду мѣсто, если вамъ не угодно исполнять вашихъ обязанностей...

— Я всегда радъ...

— А, вы рады!..

— Но что такое-съ?..

— Нѣтъ, спросите-ка лучше тамъ, что такое! подхватилъ экзекуторъ, протягивая дрожащую руку по направленію къ директорскому кабинету!—да, спросите *тамъ*, что происходитъ! Знаете ли, милостивый государь мой, чѣмъ вы рискуете, а? а?..

— Что такое? Что случилось?.. спросили въ одинъ голосъ молодые и старые люди, находившіеся частію въ комнатѣ, частію привлеченные голосомъ экзекутора.

— А то случилось, что сторожъ Тарасенко, благодаря строгому наблюденію господина Прохорова, напился сегодня пьянъ, какъ стелька... и... и... не смѣю даже выговорить... при входѣ директора, разбѣжался со всѣхъ ногъ и... и... и ударилъ его щеткою въ спину... Больше ничего не случилось!.. Ахъ, Боже мой! Боже мой!..

Но Прохоровъ уже не слушалъ экзекутора. Съ лицомъ пылающимъ какъ жаровня, со стиснутыми кулаками, летѣлъ онъ со всѣхъ ногъ на лѣстницу. При видѣ Тарасенка, смиренно сидѣвшаго на скамьѣ, въ глазахъ Прохорова зажегся цѣлый фейерверкъ и поги его начали захватывать по пяти ступенекъ разомъ. Въ самую ту минуту, директоръ показался на лѣстницѣ.

Не могу объяснить вамъ, какъ это случилось, но когда его превосходительство спустился въ прихожую, — тамъ Прохорова уже не оказалось; а между тѣмъ, замѣтьте, въ этой прихожей рѣшительно не было другой выходной двери кромѣ парадной; завалился ли Прохоровъ за лавку, скрылся ли подъ шинелями при видѣ директора, но онъ исчезъ совершенно. Тарасенко, въ лицѣ котораго явственно выражалось недоумѣніе,—онъ точно былъ ошеломленъ чѣмъ-то, — подалъ пальто начальнику, который, черезъ

минуту, катилъ уже въ своей каретѣ темно-шоколаднаго цвѣта.

Часа два спустя послѣ того, я торопился домой, чтобы убѣжать отъ дождя, который усиливался съ каждой минутой. Холодная капля, упавшая мнѣ за воротникъ, заставила меня приподнять голову; смотрю, а ужъ Тарасенко пробирается подлѣ длинныхъ дрогъ ломового извозчика; на дрогахъ возсѣдаетъ его жена и теща, окруженныя всякимъ домашнимъ хламомъ, какъ-то: постелью, периной, сундучкомъ, плошками, корытцемъ и проч., и проч. Во время дождя, всѣ физіономіи принимаютъ вообще плаксивый, кислый видъ; такою же точно показалась мнѣ и физіономія Тарасенка; но этому, впрочемъ, могла также способствовать косынка, которою перевязаны были щеки Тарасенка и которая придавала лицу его какое-то бабье выраженіе.

Три дня спустя, директоръ, пріѣхавъ въ департаментъ, случайно какъ-то встрѣтилъ экзекутора.

— Гдѣ-жъ Тарасенко? спросилъ онъ съ тою доброй, милой улыбкой, которая всегда его отличала. — Что его не видать?.. Ужъ не боленъ ли онъ?..

— Его уже нѣтъ, ваше превосходительство: онъ отставленъ отъ должности...

— Это почему?

— Невозможно было оставить, ваше превосходительство,—человѣкъ самаго нетрезваго поведенія...

— Жаль, сказалъ начальникъ,—очень, очень жаль! Онъ казался мнѣ всегда такимъ кроткимъ, смиреннымъ... Очень жаль!..

Послѣ того не было уже помину объ этомъ предметѣ. Тарасенко канулъ какъ въ воду, — и все пошло опять своимъ порядкомъ, производя свои обычныя отраженія сверху внизъ.

II.

Суета.

Часъ десятый въ началѣ. Туманное петербургское утро смотритъ кислымъ, плаксивымъ свѣтомъ въ единственное окно мрачной прихожей небольшой холостой квартиры. На первомъ планѣ, у двери, на полу свирѣпо шипитъ нечищенный самоваръ, увѣнчанный чайникомъ, въ которомъ, судя по пылающимъ углямъ сквозь нижнюю рѣшётку самовара, чай настоялся до крайней степени и дол-

женъ имѣть видъ крѣпкаго пива; на второмъ планѣ столъ съ подносомъ; на немъ чистый стаканъ на блюдечкѣ, сахарница, серебряная ложечка и десяти-копеечная французская булка. Далѣе, на скомканной сосновой кровати рисуется человѣкъ въ сидячемъ положеніи. Трудно рѣшить, что̀ дѣлаетъ онъ въ настоящую минуту; даже подойдя ближе, никакъ не скажешь, — спитъ ли онъ или такъ сидитъ, погруженный въ созерцаніе своихъ мыслей. Человѣкъ этотъ принадлежитъ (то-есть не совсѣмъ, а настолько, насколько можетъ принадлежать человѣкъ, нанимающійся въ мѣсяцъ за три цѣлковыхъ),—принадлежитъ Алексѣю Васильевичу Блошкину, который покоится крѣпкимъ сномъ черезъ двѣ комнаты.

Самоваръ въ десятый разъ закипаетъ бѣлымъ ключомъ и пускаетъ вдругъ такой пронзительный свистъ, что человѣкъ встряхиваетъ головою. Онъ протяжно зѣваетъ, мутными глазами оглядываетъ самоваръ, потомъ окно, приподымается на ноги и медленнымъ шагомъ выходитъ въ сосѣднюю комнату.

Съ перваго взгляда замѣтно, что хозяинъ квартиры— человѣкъ небогатый и притомъ не домосѣдъ. Мебель второй комнаты, очевидно, поставлена только для формы: нельзя же, чтобы комната оставалась совершенно голою! Противъ зеркала, на столикѣ, сверкаетъ лампа, никогда не зажигаемая, и пепельница, въ которой никогда не бываетъ пепла.

Лакей проходитъ въ спальню. Откинутыя занавѣси и поднятыя шторы свидѣтельствуютъ, что лакей уже не въ первый разъ сюда заглядываетъ. На столѣ, подлѣ кровати со спящимъ Блошкинымъ, чикаютъ маленькіе золотые часы (не дорога вещица, но все-таки можно не безъ удовольствія вынимать ее изъ жилетнаго кармана на улицѣ, въ театрѣ и даже въ обществѣ); тутъ находится также мутный графинъ съ водою и романъ графини Дашъ, заложенный на десятой страницѣ вотъ ужъ скоро мѣсяцъ (вы вскорѣ убѣдитесь, что Блошкину рѣшительно не было времени заниматься чтеніемъ). Противъ другого окна также столъ, но уже бо̀льшаго размѣра и покрытый ситцевымъ чехломъ. На немъ зеркало, бритвенный несессеръ въ сафьяновомъ ящикѣ, фарфоровыя банки съ помадой и пудрой, духи, подпилочки для ногтей, щетки, гребни, розовый бантъ, принадлежавшій женскому маскарадному домино, развернутый бумажникъ съ листками, исписан-

ными адресами, и многочисленная коллекція золотыхъ и всякихъ другихъ рубашечныхъ запонокъ. Всѣ эти предметы невольно заставляютъ предполагать въ Блошкинѣ молодого человѣка, не пренебрегающаго наружностью. Въ комодѣ его хранится нѣсколько дюжинъ рубашекъ, изъ коихъ дюжина съ манишками, вышитыми по послѣднему фасону; носовые платки тонки и по угламъ украшены готическими буквами: А и Б. Вообще, бѣлье его и галстуки очень хороши. То же можно сказать о ботинкахъ и платьѣ, которое виситъ въ огромномъ шкапѣ: фраки, сюртуки, жилеты, панталоны и даже форменный вицъ-мундиръ, безъ сомнѣнія, вышли изъ мастерской лучшаго портного.

Въ квартирѣ своей молодой Блошкинъ кажется бѣднымъ молодымъ человѣкомъ, богатство котораго заключается въ бѣльѣ, платьѣ и золотыхъ часахъ; на улицѣ и въ обществѣ онъ имѣетъ видъ джентльмена, строго соблюдающаго наружныя условія, требуемыя свѣтомъ. Но Блошкинъ спитъ; воспользуемся случаемъ сказать нѣсколько словъ о его наружности.

Ему лѣтъ двадцать пять, двадцать шесть, никакъ не больше, но и не менѣе. Онъ не красивъ, но и не дуренъ собою. Нѣтъ ничего труднѣе сдѣлать вѣрное опредѣленіе о характерѣ Блошкина по лицу его, — до такой степени отличается оно отсутствіемъ выраженія; самъ Лафатеръ сталъ бы, кажется, втупикъ. Всѣ черты его неопредѣленно какъ-то обозначались и все было какъ-то кругло: носъ, подбородокъ, лобъ, губы, щеки,—все казалось кругленькимъ; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ общемъ, все это не представляло ничего одутловатаго, грубаго; не дышало свѣжестью, но и нельзя сказать опять, чтобы имѣло видъ болѣзненный... Волосы его, остриженные не коротко и не длинно, переходили изъ каштановаго цвѣта въ свѣтло-русый; замѣчательно было, что волосы его даже теперь, послѣ нѣсколькихъ часовъ сна, оставались приглаженными, какъ будто по нимъ тотчасъ же прошла щетка; они спускались дугами по обѣимъ сторонамъ изумительно правильнаго пробора, прохваченнаго на затылкѣ à l'anglaise. Изъ-подъ одѣяла выглядывала кисть руки его, — нѣсколько мясистая кисть, но очень красивая, съ ногтями, тщательно обдѣланными въ видѣ миндалины, полураскрытыя губы позволяютъ различать рядъ правильныхъ, бѣлыхъ зубовъ.

Какого рода сновидѣнія витаютъ въ настоящую минуту надъ головою молодого человѣка?

Сновидѣнія, многіе утверждаютъ, не что иное, какъ повтореніе въ болѣе или менѣе ясныхъ, опредѣленныхъ формахъ, повтореніе тѣхъ впечатлѣній, которыя получаемъ мы наяву и которыя, съ большею или меньшею силой, дѣйствовали на воображеніе. Мы безошибочно можемъ разсказать впечатлѣнія Блошкина; намъ въ совершенствѣ знакомы самыя задушевныя, сокровенныя его мысли и мечтанія,—словомъ, все то, что доставляетъ работу его мозгу. Голова его постоянно обработываетъ три главные предмета, которые собственно составляютъ цѣль жизни и сущность его мечтаній.

Въ молодости своей мечтаетъ онъ получить камеръюнкера; въ среднихъ лѣтахъ, мечтаетъ жениться на благовоспитанной и богатой дѣвушкѣ (онъ не прочь отъ купчихи, но только съ воспитаніемъ, которое легко бы обманывало свѣтъ въ ея происхожденіи); для зрѣлаго возраста, мечтанія его не простираются далѣе чина, который позволилъ бы ему перейти въ провинцію и занять тамъ вице-губернаторское мѣсто. Основываясь на этомъ, мы можемъ почти опредѣлительно сказать, что Блошкинъ видитъ во снѣ осуществленіе одной изъ любимѣйшихъ своихъ мыслей. Но сонъ его прерывается, можетъ-быть, на самомъ интересномъ мѣстѣ, лакеемъ, который начинаетъ раскачивать будущаго вице-губернатора за ногу.

— Алексѣй Васильичъ... вставайте!.. Девять часовъ!..

Блошкинъ открываетъ темные глазки; въ нихъ не замѣтно ни особеннаго остроумія, ни также вопіющей тупости мыслительныхъ способностей.

— Который часъ?

— Девять; пять минутъ десятаго, возражаетъ лакей.

— Ахъ, Боже мой!.. Скорѣй одѣваться... или нѣтъ: давай прежде бриться... Самоваръ поставленъ?..

— Ужъ третій разъ воду наливаю;—давно готовъ.

— Что жъ ты раньше меня не разбудилъ?.. Скорѣй бриться; ахъ, Боже мой, и въ самомъ дѣлѣ десять минутъ десятаго!..

Блошкинъ накидываетъ сѣрый байковый халатъ, покрывавшій его ноги, и бросается къ зеркалу.

По прошествіи десяти минутъ, уже выбритый и умытый, онъ приступаетъ къ туалету и одѣвается съ такою поспѣшностью, что, можно думать, его ожидаетъ любов-

ное свиданіе. Онъ не забываетъ, однакожъ, ни одной запонки, ни одной пуговки, ни одного волоска, который могъ бы придать головѣ его небрежный видъ. Надо также дивиться искусству, съ какимъ повязываетъ онъ галстукъ: разъ, два, три,—и на шеѣ появляется бантъ, надъ которымъ другой просидѣлъ бы полчаса. Алексѣй Васильичъ въ то же время прихлебываетъ чай, который дѣйствительно перепрѣлъ и на видъ крѣпче чернаго пива; но молодому человѣку не до того,—часы показываютъ половину десятаго.

— Бекешъ!

Лакей подаетъ бекешъ.

— Шляпу!

Лакей подаетъ шляпу. Надѣвъ то и другое, Блошкинъ стремительно покидаетъ комнату, спускается съ лѣстницы, выходитъ на улицу и садится на извозчика (каждая секунда дорога ему, — онъ выбираетъ, однакожъ, порядочнаго извозчика).

— Пошелъ!

Блошкинъ не перестаетъ погонять и останавливается тогда только, когда лошадь, понукаемая кнутомъ, пускается въ галопъ, что возбуждаетъ смѣхъ другихъ извозчиковъ, стоящихъ на биржѣ. Ровно въ десять часовъ молодой человѣкъ подкатываетъ къ большому дому съ подъѣздомъ, выпрыгиваетъ изъ саней, отдаетъ деньги и входитъ въ прихожую, окруженную вѣшалками со множествомъ шубъ, шинелей, пальто и бекешей.

— Его превосходительство пріѣхалъ? спрашиваетъ онъ у инвалида, исправляющаго должность швейцара.

— Сейчасъ изволили пріѣхать.

Одна секунда потребна Блошкину, чтобы снять бекешъ, и одной минуты достаточно на то, чтобы взбѣжать по лѣстницѣ и очутиться въ комнатѣ, гдѣ пишутъ, болтаютъ и расхаживаютъ лица въ вицъ-мундирахъ.

— Блошкинъ, здравствуйте! Васъ зачѣмъ-то его превосходительство спрашивалъ.

— Ахъ, Боже мой... бормочетъ молодой человѣкъ, суетливо застегивая вицъ-мундиръ и пускаясь вприпрыжку по анфиладѣ комнатъ.

— Блошкинъ, здравствуй!.. Послушай, будешь ты сегодня въ театрѣ?

— Извините, господа, некогда, послѣ...

При входѣ въ кабинетъ его превосходительства, лицо

молодого человѣка и вся его фигура пріобрѣтаютъ внезапно что-то солидное.

— Вашему превосходительству угодно было меня спрашивать? говоритъ онъ, стараясь держаться не очень прямо, но, опять-таки, и не очень развязно.

— Да; возьмите эту бумагу; распорядитесь, чтобы она была какъ можно скорѣе готова... Возьмите также и эту... Только, прошу васъ, сдѣлайте все это безъ замедленія.

Блошкинъ считается очень усерднымъ молодымъ человѣкомъ: на него не возлагаютъ большихъ надеждъ,— но, вообще, онъ на хорошемъ замѣчаніи у начальника. Если Алексѣю Васильичу некогда было отвѣчать товарищамъ на пути въ директорскій кабинетъ,— ему, безъ сомнѣнія, еще менѣе возможно исполнить это въ настоящую минуту. Онъ садится за столъ и пишетъ съ неимовѣрною быстротою, что не мѣшаетъ ему, однакожъ, соблюдать точность, которую выказывалъ онъ, когда торопился одѣваться. Написавъ первую бумагу, онъ смотритъ на часы и быстро поднимается съ мѣста.

— Сдѣлайте одолженіе, Сѣверцовъ, напишите эту бумагу... Я съ своей стороны сдѣлаю то же и для васъ въ другое время, мнѣ необходимо съѣздить на минуту... Пожалуйста, прошу васъ!..

Сѣверцовъ охотно соглашается.

На этотъ разъ, Блошкинъ нанимаетъ уже лихача и впередъ условливается, чтобы тотъ не опоздалъ на станцію желѣзной дороги, гдѣ отправленіе совершается, какъ извѣстно, ровно въ одиннадцать. На дебаркадерѣ, Алексѣй Васильичъ встрѣчаетъ двухъ-трехъ знакомыхъ лицъ,—но спѣшитъ пройти мимо: ему некогда останавливаться, онъ суетливо направляется къ отъѣзжающей дамѣ, которую окружаетъ многочисленное семейство и толпа пріятельницъ. Увидѣвъ Блошкина, отъѣзжающая дама киваетъ только головою и произноситъ разсѣянно: „bonjour!“ Ей, очевидно, не до него; она занята разговорами съ родными и близкими ея сердцу. Но Алексѣй Васильичъ считалъ своею обязанностію присутствовать на ея проводахъ и показаться на дебаркадерѣ. (Не мѣшало бы пріискать русское слово, а то все кажется, что говоришь объ Абдель-Кадерѣ.) Алексѣй Васильичъ считаетъ также своимъ непремѣннымъ долгомъ сказать нѣсколько словъ пріятельницамъ и родственницамъ отъѣзжающей. Онъ говоритъ одной: „княгинѣ будетъ холодно ѣхать... сегодня

шестнадцать градусовъ!.. "Другой: „не правда ли, какъ вообще грустно разставаться?.." Третьей: „надо, однакожъ, сознаться, желѣзная дорога отличная выдумка: княгиня немножко поскучаетъ, но зато завтра утромъ — она въ Москвѣ!"

Первый звонокъ производитъ живительное дѣйствіе на Блошкина: онъ суетливо прочищаетъ дорогу дамамъ; но болѣе всего оживляется онъ, когда раздается послѣдній свистъ паровоза и вагоны трогаются; онъ приподымаетъ шляпу, машетъ платкомъ и чуть ли даже не со слезами на глазахъ восклицаетъ, вмѣстѣ съ родственниками отъѣзжающей: „Adieu, madame la princesse! Bon voyage! Adieu! Adieu!.."

Четверть часа послѣ отъѣзда машины, онъ снова подпрыгиваетъ по лѣстничнымъ ступенямъ служебнаго мѣста. Бумаги готовы; онъ несетъ ихъ къ его превосходительству, не забывая прежде застегнуть вицъ-мундиръ.

Около двухъ часовъ чиновники начинаютъ расходиться, и Блошкинъ изъ первыхъ появляется на улицѣ. Онъ летитъ домой, чтобы перемѣнить форменное платье на утренній костюмъ, и пускается стремглавъ на дальній конецъ Петербурга, — въ Кирочную. Визиты его непродолжительны; онъ дѣлаетъ ихъ для виду, — отчасти для того также, чтобы нѣкоторымъ образомъ о себѣ напомнить. А впрочемъ, не могу опредѣлить настоящей его цѣли. Онъ пріѣзжаетъ, всходитъ на лѣстницу и является въ гостиную.

„Bonjour, madame la comtesse..." или: „M-r le comte, j'ai bien l'honneur... m-m-m..." говоритъ онъ, вызывая на лицѣ своемъ пріятную, хотя скромную улыбку. Послѣ того, Алексѣй Васильичъ занимаетъ вакантное мѣсто. Онъ считаетъ непремѣннымъ долгомъ сказать нѣсколько словъ сосѣдямъ или хозяевамъ дома.—„Были вы вчера въ оперѣ?" (если вчера была опера), или: „сегодня ужасно холодно,—шестнадцать градусовъ!.." или: „послѣднія политическія новости не предвѣщаютъ, кажется, ничего хорошаго?.." Тонъ его рѣчи больше вопросительный; онъ говоритъ рѣдко, но много слушаетъ,—и слушаетъ всегда, надо сказать, съ большимъ вниманіемъ.

Онъ ловитъ первый случай, и такъ же незамѣтно исчезаетъ изъ гостиной, какъ незамѣтно вошелъ въ нее, — и снова летитъ въ другой конецъ города.

— Bonjour, m-me la princesse...

— Mon prince, j'ai bien l'honneur... m... m...

— Были вы вчера въ оперѣ? — Сегодня ужасно холодно—шестнадцать градусовъ!.. и т. д., и т. д.—повторяетъ онъ на Вознесенской, на Владимірской и у Таврическаго сада.

Въ четыре часа вы можете всегда встрѣтить Блошкина на тротуарѣ Невскаго проспекта; руки его плотно заложены въ задніе карманы бекеши; шагъ его суетливъ, лицо выражаетъ озабоченность. Ему поминутно приходится кивать головою и раскланиваться проѣзжающимъ мимо каретамъ. Онъ терпѣть не можетъ нищихъ мальчишекъ, которые привязываются къ гуляющимъ и просятъ копеечку. Завидя издали такого мальчика, Блошкинъ ускоряетъ шагъ и несется мимо съ неуловимою быстротою. Онъ рѣшительно не имѣетъ времени остановиться поговорить съ знакомымъ.

— Bonjour, Блошкинъ! Были ли вы вчера въ оперѣ? Какъ пѣла де-Мерикъ? спрашиваютъ его мимоходомъ.

— Скверно,—была не въ голосѣ, возражаетъ Алексѣй Васильичъ тоже мимоходомъ.

Десять шаговъ далѣе, встрѣчается новый знакомый.

— Bonjour! говоритъ въ свою очередь Блошкинъ.—Были вы вчера въ оперѣ? какъ пѣла де-Мерикъ? По-моему, была не въ голосѣ, скверно пѣла!

— Что вы? Она никогда еще такъ не пѣла; она была поразительно хороша... charmante!..

Десять шаговъ далѣе, встрѣчается третій.

— Были вы вчера въ оперѣ, Блошкинъ? спрашиваетъ этотъ.—Я не былъ; какъ пѣла де-Мерикъ?

— Поразительно! — удивительно была хороша — charmante! съ убѣжденіемъ возражаетъ Блошкинъ, и устремляется къ Полицейскому мосту.

Тутъ смотритъ онъ на часы, бросается сломя голову въ сани и стрѣлою пускается домой, чтобы надѣть фракъ и поспѣть къ обѣду, куда его пригласили, самъ не зная зачѣмъ, и куда онъ ѣдетъ, самъ не зная для чего, — но ѣдетъ, однакожъ, невзирая на страшную дальность разстоянія. Замѣчательнѣе всего, что Блошкинъ никогда не опаздываетъ. Едва пробило пять, онъ появляется въ гостиную того дома, куда звали обѣдать.

Общество многочисленно, въ гостиной идетъ очень одушевленная бесѣда. Весьма натурально, хозяинъ и хозяйка дома могутъ только кивнуть Блошкину головою: „Bonjour,

m-r Blochkine!“ вотъ все, что успѣваютъ они сказать ему. Но извѣстная уже, пріятная, хотя скромная улыбка сіяетъ на лицѣ Алексѣя Васильича во все время, пока общество отправляется къ столу и усаживается. Та же улыбка отличаетъ его за столомъ, когда разговоръ дѣлается общимъ.

Разговоръ замѣчательно интересенъ. Очень развязный молодой человѣкъ повѣствуетъ о путешествіи своемъ въ Италію, откуда только что вернулся и гдѣ пробылъ два мѣсяца. Флоренція оставила въ душѣ его особенно пріятное впечатлѣніе; въ то время, какъ онъ находился въ этомъ городѣ, туда пріѣхали графиня Бабикова, княгиня Шишкина, m-me Маковская и князь Белебѣевъ; такимъ образомъ составился почти свой петербургскій кружокъ и время проходило необычайно весело. Слушатели вполнѣ соглашаются и восклицаютъ: „c'était charmant!“ хотя каждый думаетъ про себя, что разсказчику не стоило ѣздить въ Италію искать впечатлѣній, которыя могъ бы онъ, не стѣсняя себя долгимъ путемъ, встрѣтить въ Морской и Милліонной. Послѣ молодого путешественника, нитью разговора овладѣваетъ сѣдовласый дипломатъ, обстриженный подъ гребенку и до такой степени сухой, костлявый и хрупкій, что, кажется, того и смотри и разсыплется, какъ старый бисквитъ. Онъ распространяется о добродѣтеляхъ недавно умершей графини, которую всѣ знали, глубоко сожалѣетъ о ней и поминутно приговариваетъ, стуча себя подъ сердце: „Elle avait de ça, voyez vous, la vieille comtesse! Oui,—elle avait de ça!..“

Всѣмъ очень хорошо извѣстно, что этого-то именно (то-есть сердца) и не было у покойной графини; но, тѣмъ не менѣе, всѣ подымаютъ глаза къ потолку съ выраженіемъ глубокаго, искренняго сожалѣнія.

Къ концу обѣда, и гости, и хозяева проявляютъ замѣтную суетливость. Почти всѣ ѣдутъ въ оперу; весьма естественно, никому не хочется опоздать. Въ карманѣ Блошкина также билетъ... Обѣдъ кончается.

Какъ дѣлаетъ это Блошкинъ, понять рѣшительно невозможно, но только онъ подъѣзжаетъ къ театру въ то время, когда лица, съ нимъ обѣдавшія, находятся еще на половинѣ дороги. Онъ садится въ кресла въ ту самую минуту, какъ подымаютъ занавѣсъ. Со сцены льется сладкое пѣніе; публика затаила дыханіе. Но и здѣсь Алексѣй Васильичъ не можетъ оставаться покойнымъ: ему пред-

стоитъ осмотрѣть и пересчитать тѣ ложи, въ которыхъ сидятъ знакомыя ему семейства; въ антрактѣ не достанетъ на это времени,—врядъ ли успѣетъ онъ даже обѣжать всѣ ложи: у него столько знакомыхъ!

Въ партерѣ находится, впрочемъ, около двухсотъ человѣкъ, которые подвергнуты тѣмъ же самымъ заботамъ, что и Блошкинъ. Едва раздается начало финала перваго дѣйствія,—всѣ вскакиваютъ, суетливо выходятъ изъ креселъ и разсыпаются по фойе и коридорамъ. То же самое происходитъ при началѣ финала второго дѣйствія и третьяго. Въ серединѣ послѣдняго дѣйствія, суета замѣтно начинаетъ овладѣвать уже всею публикой. Не дослушавъ послѣдней аріи, публика разомъ подымается со своихъ мѣстъ и торопливо спускается къ подъѣздамъ. Справедливость требуетъ сказать, что Блошкинъ опережаетъ всѣхъ и первый садится на извозчика. Онъ спѣшитъ явиться во-время на балъ въ Малую Морскую.

Алексѣя Васильича приглашаютъ на балы какъ танцора.

Въ извѣстномъ кругу Петербурга находятся два разряда молодыхъ людей, которые, по наружному виду, почти не отличаются другъ отъ друга, но между которыми существуетъ, тѣмъ не менѣе, необъятное пространство. Одни молодые люди являются въ гостиныя этого круга когда имъ заблагоразсудится, и считаются тамъ нѣкоторымъ образомъ своими; роль другихъ скромнѣе, ограниченнѣе, — они извѣстны подъ общимъ именемъ „танцоровъ“. Къ числу послѣднихъ принадлежалъ и Блошкинъ. Нельзя даже сказать, чтобы онъ танцовалъ съ особеннымъ искусствомъ, этого не было; но хорошо то, по крайней мѣрѣ, что онъ танцовалъ безъ усталости и никогда не отказывался. Каждая хозяйка дома, приглашая Блошкина, была спокойна въ томъ отношеніи, что на ея балѣ не засидится ни одна старая дѣва, которую другіе избѣгаютъ какъ заразу и называютъ „монстромъ“. Когда въ одинъ и тотъ же вечеръ даются два бала, куда приглашенъ Блошкинъ, онъ не преминетъ показаться на обоихъ,— будь одинъ балъ у Таврическаго сада, другой за Большимъ театромъ. До сихъ поръ, по крайней мѣрѣ, ни одна хозяйка дома не погрозила ему пальчикомъ за невниманіе къ ея приглашенію. Ни одна, правда, также и не поблагодарила его за неутомимость; но онъ доволенъ уже тѣмъ, что ему не погрозили.

Если послѣ двухъ баловъ происходитъ маскарадъ—все равно, въ Большомъ ли театрѣ, или Дворянскомъ собраніи (Блошкинъ предпочитаетъ, впрочемъ, Дворянское собраніе),—вы, безъ сомнѣнія, встрѣтите его въ маскарадѣ, услышите, какъ говоритъ онъ мимо проходящимъ маскамъ: „je te connais, beau masque!“ и какъ при этомъ лукаво, хотя безвредно, улыбается.

Часу уже въ третьемъ или четвертомъ ночи возвращается онъ домой, подымается на лѣстницу своей квартиры, раздѣвается, падаетъ въ изнеможеніи на кровать, и мгновенно засыпаетъ, съ тѣмъ, конечно, чтобы провести такъ же точно другой день, третій, четвертый... и т. д. до безконечности, или, вѣрнѣе, до той минуты, когда произведутъ его въ статскіе совѣтники и назначатъ куда-нибудь вице-губернаторомъ. Тогда только перестанетъ онъ носиться турманомъ и внезапно придастъ солидность своимъ ногамъ, лицу и вообще всей фигурѣ. Плавнымъ, размѣреннымъ и мягкимъ шагомъ будетъ выходить онъ тогда въ пріемную комнату, и, выслушивая просителей, непремѣнно заложитъ правую руку за жилетъ и нѣсколько склонитъ на бокъ голову.

III.
Отраженія.

(оконныя занавѣси и портьеры.)

Въ гостиной Виленскихъ происходила большая суматоха. Но вечера, рауты и thés-dansants слишкомъ обыкновенны у Виленскихъ, чтобы приготовленія къ нимъ могли производить безпорядокъ; кромѣ того, приготовленія и суматоха, предшествующія празднествамъ, носятъ всегда отпечатокъ чего-то мѣщанскаго.

У Виленскихъ отель съ великолѣпной парадной лѣстницей, украшенной швейцаромъ, цвѣтами и растеніями. Но это собственно послѣднее дѣло. Въ наше время роскошные отели растутъ какъ грибы и ровно ничего не доказываютъ, кромѣ того развѣ, что на сооруженіе ихъ, а также и наемъ швейцара нужны только деньги. Средства Виленскихъ, говоря относительно, были даже очень ограниченны; но уже самая обстановка ихъ была такого рода, что они никогда, ни въ какомъ случаѣ и ни подъ какимъ видомъ не могли допускать у себя мѣщанскихъ обычаевъ.

Положеніе въ обществѣ нѣкоторыхъ лицъ, подобныхъ Виленскимъ, представляется намъ всегда въ видѣ пьедестала, который возноситъ ихъ надъ уровнемъ обыкновенныхъ смертныхъ, попирающихъ тротуаръ и мостовую. Человѣку, стоящему на этомъ пьедесталѣ, волей и неволей, слѣдуетъ подчиняться собственнымъ условіямъ; условія эти извѣстны: они требуютъ, прежде всего, спокойствія и величавости. Сдѣлавшись уже по этому самому предметомъ вниманія, вы невольно выставите впередъ грудь, закинете назадъ голову и примете благородную осанку. Многіе, конечно, посмотрятъ на васъ съ своей точки зрѣнія; васъ обвинятъ въ высокомѣріи, скажутъ, что вы надменны, надуты, задираете носъ и выказываете глупѣйшую и ничѣмъ не оправданную гордость; но это несправедливо,—это докажетъ только, что люди, бросающіе такого рода обвиненія, не поняли самой простой вещи, именно: вашего положенія въ свѣтѣ.

Но это еще не все: если бъ достаточно было выпучивать грудь и кидать величественные взгляды, мы вскорѣ никого бы почти не встрѣтили на мостовой; всѣ полѣзли бы на пьедесталы. Но въ томъ-то и дѣло, что это не такъ легко, какъ кажется съ перваго взгляда. Не каждый ли день имѣемъ мы случай видѣть смертныхъ, которые вспрыгиваютъ на высоту и возбуждаютъ только смѣхъ, или, что̀ еще хуже, — не удерживаются на своемъ мѣстѣ, теряютъ равновѣсіе и постыдно шлепаются на̀-землю?.. Ясно, слѣдовательно, какъ дважды два—четыре, ясно, что пребываніе на высотахъ, о которыхъ мы говоримъ, требуетъ особенной сноровки. Сноровка — или назовите какъ хотите—состоитъ вотъ въ чемъ... но для краткости возьмемъ лучше примѣръ.

Положимъ, вы адски бѣдны (можно стоять на пьедесталѣ и не имѣть гроша денегъ въ карманѣ, — это ничего); вы получили наслѣдство, или выиграли въ карты значительный кушъ денегъ (можно также вести адскую игру, стоя на пьедесталѣ; можно даже дѣлать долги и не платить ихъ; главное, во всѣхъ этихъ случаяхъ не слѣдуетъ только терять величаваго спокойствія и наружнаго достоинства); итакъ, неожиданный выигрышъ или наслѣдство наполняютъ ваше сердце порывами самой необузданной радости; но въ томъ-то и штука вся, что вы не должны выказывать того, что чувствуете, особенно такихъ мѣщанскихъ чувствъ, какъ радость или удивленіе, если

хотите удержаться на пьедесталѣ. Вамъ слѣдуетъ принять и деньги, и наслѣдство съ тѣмъ видомъ, какъ если бъ предложили вамъ папироску, — ни болѣе, ни менѣе; конечно, безъ привычки это почти невозможно; но, повторяю вамъ, въ этомъ вся штука.

Мысль объ этомъ положеніи, которымъ такъ справедливо гордились всегда Виленскіе, управляла, можно сказать, всѣми ихъ дѣйствіями. Во всю свою жизнь ни разу не измѣнили они величавому спокойствію, ни разу не потеряли равновѣсія, ни разу не забыли, что стоятъ на пьедесталѣ, и, слѣдовательно, должны подчиняться извѣстнаго рода законамъ и дѣйствовать согласно извѣстнаго рода убѣжденіямъ.

Въ наше время, поступки такъ часто противорѣчатъ образу мыслей, такъ часто приходится повторять пословицу: „на словахъ ораторъ, на дѣлѣ—плантаторъ“, что мы съ особеннымъ наслажденіемъ приведемъ здѣсь нѣсколько случаевъ изъ частной жизни Виленскихъ. Короче было бы представить васъ Виленскимъ. Но, не имѣя лично большого общественнаго значенія и притомъ находясь въ полной неизвѣстности касательно вашего положенія въ свѣтѣ, почтенный читатель, — я, при всемъ моемъ желаніи, не могу этого сдѣлать. Доступъ къ Виленскимъ очень труденъ; близкое знакомство невозможно для тѣхъ, кто не занимаетъ въ свѣтѣ одинаковаго съ ними положенія. Въ пятнадцати-лѣтнее знакомство мое съ ними, Виленскій, при встрѣчѣ со мною даже у себя дома, когда насъ никто не видитъ, подаетъ мнѣ всего два пальца... Итакъ, скрѣпивъ сердце, обратимся къ случаямъ изъ частной жизни.

Семь лѣтъ назадъ, Виленская лишилась бабушки, единственной родственницы по женской линіи; бабушка была настоящей воспитательницей внучки, которая осталась круглою сиротою на трехлѣтнемъ возрастѣ. Смерть бабушки дѣлала Виленскую полною наслѣдницею порядочнаго имѣнія; она весьма въ немъ нуждалась. Оно освобождало ее разъ навсегда отъ тяжкой обязанности обращаться къ мужу, склоняться надъ плечомъ его, прибѣгать къ нѣжнымъ и милымъ ласкамъ всякій разъ, какъ приближался срокъ платить модисткѣ. Можете судить, что должна была чувствовать Виленская и какъ трепетно забилось ея сердце! При всемъ томъ, прелестное лицо ея неизмѣнно сохраняло величавость и спокойствіе; можно

было думать, ее скорѣе печалила смерть бабушки, чѣмъ радовало наслѣдство. Всѣ положительно утверждали, что Виленская вела себя въ этомъ случаѣ съ замѣчательнымъ тактомъ. На похоронахъ, гдѣ я присутствовалъ, стараясь попадаться какъ можно чаще на глаза обоимъ Виленскимъ и придавая лицу своему выраженіе скорби и печали, — только и слышались возгласы: „m-me Vilensky s'est conduite avec dignité vraiment remarquable!..“

Очень еще недавно, вслѣдствіе какого-то объясненія съ мужемъ... а впрочемъ, не знаю,—быть-можетъ, прежде еще нервы Виленской разстроены были девятью балами, на которыхъ она сряду присутствовала, и гдѣ очень много танцовала,—но только возвратясь изъ кабинета мужа, она почувствовала вдругъ головокруженіе и тяжело опустилась на диванъ. Горничныя тотчасъ же сбѣжались; старшая камеристка быстро принялась за шнуровку и, обратившись къ другимъ, сказала, указывая на ноги барыни: „положите ей скорѣе ноги на диванъ!“ Виленская была очень блѣдна; но едва камеристка произнесла эти слова, лицо ея покрылось краской благороднаго негодованія; она раскрыла глаза, строго взглянула на горничную и мгновенно дала ей почувствовать всю грубость ея выраженія: „развѣ говорятъ: ея „ноги“? не могла сказать: „положите на диванъ ноги ея превосходительства?..“

Но намъ не перечесть всѣхъ случаевъ, которые доказываютъ, что чувство собственнаго достоинства никогда не оставляло Виленскую. Мы можемъ сказать, что въ душѣ Виленскаго сознаніе собственнаго величія, а также умѣнье владѣть собою, нисколько не были слабѣе.

Такъ, напримѣръ, Виленскій, носившій парикъ, неоднократно замѣчалъ, что волосы этого парика могли весьма легко принадлежать прежде какому-нибудь водовозу; онъ, разумѣется, шутливо развивалъ свою философскую мысль, и даже смѣялся, когда жена восклицала съ отвращеніемъ: „Ah, fi!.. fi, quelle horreur!..“ со всѣмъ тѣмъ, однакожъ, мысль, что къ темени его дѣйствительно могли прикасаться волосы водовоза или лакея, часто занимала Виленскаго; оставаясь наединѣ, онъ, повидимому, серьезно даже задумывался иногда надъ такимъ предметомъ. Не довѣряя, вѣроятно, своему куаферу (куаферъ былъ гасконецъ), и не желая тревожить себя сомнѣніемъ, онъ снялъ парикъ и съ тѣхъ поръ никогда уже его не надѣвалъ.

Но этотъ примѣръ такъ ничтоженъ, что, по-настоя-

щему, не слѣдовало бы упоминать о немъ. Приведемъ другой.

Лѣтъ пять назадъ, Виленскій лишился сына, отъ перваго брака. (Страшный случай: съ опрометчивостью, свойственною восемнадцатилѣтнему юношѣ, молодой Виленскій имѣлъ неосторожность держать пари, что выпьетъ одну за другою три бутылки шампанскаго, потомъ сядетъ на скаковую лошадь и будетъ скакать съ однимъ извѣстнѣйшимъ жокеемъ; пари, къ несчастью, состоялось, чему особенно способствовала одна хорошенькая французская актриса, въ которую безъ памяти былъ влюбленъ молодой человѣкъ и которая подожгла его самолюбіе: съ перваго прыжка скакуна, несчастный юноша, цвѣтъ и украшеніе общества, упалъ и ударился головою о барьеръ, и его подняли мертвымъ!) Можете судить о положеніи отца, когда сообщили ему о смерти нѣжно любимаго сына! Нужно самому имѣть взрослыхъ дѣтей, чтобъ вполнѣ понять его отчаяніе! Онъ былъ убитъ горемъ; въ первые два дня боялись, чтобы не произошло съ нимъ удара, и докторъ не отходилъ ни на секунду. И что жъ бы вы думали? При выносѣ тѣла, Виленскій держалъ себя такъ спокойно, плакалъ съ такимъ достоинствомъ, что привелъ всѣхъ въ справедливое умиленіе.

Я всегда питалъ къ Виленскимъ чувство невольнаго благоговѣнія; но послѣ этихъ похоронъ (я также на нихъ присутствовалъ, стараясь, попрежнему, подвертываться какъ можно чаще на глаза обоихъ супруговъ), да! только послѣ этихъ похоронъ я вполнѣ почувствовалъ ту неизмѣримую дистанцію, которая существуетъ между смертнымъ, стоящимъ на пьедесталѣ, и тѣмъ, который пресмыкается на мостовой и тротуарѣ; теперь я удивляюсь Виленскимъ. Вѣдь удивляемся же мы, слушая разсказы о римскихъ гладіаторахъ, которые, въ минуту смерти, считали долгомъ сохранять красоту формъ и спокойствіе. Не во сто ли кратъ справедливѣе удивляться современному человѣку, который подавляетъ святѣйшія чувства своего сердца для поддержки своего наружнаго достоинства?

Но мы не можемъ говорить о Виленскихъ безъ увлеченія; начавъ такимъ образомъ, мы, пожалуй, никогда не кончимъ. Обратимся къ суматохѣ, которая—теперь это уже ясно — не могла происходить безъ побудительной причины.

Великолѣпная гостиная была на себя не похожа. Вмѣсто

сладчайшаго пѣнія итальянскихъ артистовъ, которыхъ Виленскіе приглашали разъ въ зиму (не столько по собственному желанію, сколько потому, что этого почти требовало ихъ положеніе въ свѣтѣ), раздавался теперь оглушительный стукъ молотковъ; изящная французская болтовня, невольно переносившая васъ ко временамъ Мариво, уступала мѣсто русскимъ возгласамъ, которые ни въ какомъ случаѣ не могли назваться „du marivaudage"; вмѣсто ловкихъ дэнди и легкихъ, воздушныхъ дамъ, сновали взадъ и впередъ неуклюжіе мастеровые въ затрапезныхъ халатахъ. Вмѣсто жардиньерокъ съ цвѣтами, передъ окнами воздвигались безобразныя лѣстницы, опутанныя веревками. Диваны, patés и кресла, раскинутыя по гостиной въ живописномъ безпорядкѣ, громоздились теперь посреди паркета и лежали опрокинутые на спинку; передъ ними, стоя на колѣняхъ или присѣвъ на корточки, работали мастеровые: они сдирали старую шелковую обивку и накладывали вмѣсто нея ткань, имѣвшую видъ роскошнаго ковра и именуемую moquette. Занавѣси и портьеры изъ того же moquette, но только подбитаго бѣлымъ муаромъ, привѣшивались къ дверямъ и окнамъ другими мастеровыми, стоявшими на лѣстницахъ. Всей этой вознѣ слѣдовало прекратиться въ двумъ часамъ, никакъ не позже; къ этому времени въ гостиной не должно было оставаться признака безпорядка. Случилось такъ, что этотъ самый день былъ пріемнымъ днемъ Виленской. Мастеровые, понукаемые хозяиномъ, иностраннымъ господиномъ во фракѣ, работали не переводя духъ.

Хотя стукъ молотковъ не могъ проникнуть на половину хозяйки дома (всѣ двери тщательно были заперты предупредительными слугами), она проснулась, однакожъ, въ одиннадцать часовъ. Она всегда такъ рано вставала. Отъ одиннадцати до двѣнадцати она умывалась, брала ванну и причесывалась; отъ двѣнадцати до часу пила чай, одѣвалась и къ двумъ всегда уже была готова, чтобы выйти въ гостиную, или ѣхать съ визитами, смотря по тому, сама ли она принимала, или принимали другіе.

Жизнь Виленскихъ была вся распредѣлена по часамъ и протекала въ строжайшемъ порядкѣ; все дѣлалось согласно принятой формѣ и предписанному этикету. Основываясь на этомъ, первымъ дѣломъ Виленской, какъ только она встала, было послать человѣка освѣдомиться о здоровьи мужа. Но мужъ предупредилъ жену. Его камерди-

неръ встрѣтился съ ея камердинеромъ въ темномъ коридорѣ, который тянулся за парадными комнатами.

— Ну, что, какъ у васъ?.. спросилъ первый.

— Ничего... А у васъ какъ?

— И у насъ ничего!.. Слышь, братъ, подхватилъ камердинеръ Виленскаго.—сегодня дома не обѣдаютъ; самъ ѣдетъ къ кому-то, и твоя также куда-то отправляется.

— Знаю; ну что жъ?

— Анна Васильевна на чай звала, и тебѣ велѣла сказать. Вчера платье ей подарили,—Анна Васильевна продала его и сегодня на чай зоветъ,—приходи же, смотри.

— Тебѣ хорошо такъ-то разговаривать...

— А что?

— А то же, что всучила мнѣ восемь билетовъ визитныхъ... велѣла разнести непремѣнно. А когда ихъ разнесешь? Одинъ въ Милліонную, другой къ Таврическому саду, третій...

— Ну, ихъ къ чорту! перебилъ камердинеръ Виленскаго, отличавшійся веселостію,—завтра разнесешь! Завтра опять пошлютъ, такъ ужъ заодно и эти карточки разсуешь... развѣ впервые!

— Пожалуй, можно...

— Ну, такъ приходи же,—я скажу Аннѣ Васильевнѣ.

— Ладно.

— Вотъ люблю! гуляй, значитъ! гуляй!.. произнесъ камердинеръ Виленскаго, выдѣлывая комическое колѣно и дружески подмигивая товарищу.

Послѣ этого, онъ обдернулъ фракъ, принялъ важную осанку и поспѣшно возвратился въ уборную, гдѣ Виленскій сидѣлъ передъ зеркаломъ, съ намыленными щеками и подбородкомъ; за нимъ стоялъ съ бритвою въ рукѣ молодой верзила, состоявшій при немъ въ качествѣ бородобрея.

— Ея превосходительство изволятъ быть здоровы и приказали узнать, какъ здоровье вашего превосходительства, сказалъ камердинеръ строго-почтительнымъ тономъ.

— Благодари ея превосходительство; скажи: хорошо, возразилъ Виленскій, внимательно разсматривая себя въ зеркалѣ, — да приготовь одѣваться и вели подавать карету,—я сейчасъ ѣду.

— Слушаю, ваше превосходительство! проговорилъ камердинеръ, заботливо насупивая брови и удаляясь.

Бородобрей принялся тотчасъ же за свое дѣло. По мѣрѣ того, какъ бритва спимала мыльную пѣну, покрывавшую щеки и подбородокъ Виленскаго, лицо его, подобно Эльборусу или Машуку, освобождающимся отъ утреннихъ облаковъ, открывалось во всемъ своемъ величіи. Въ чертахъ его — чертахъ уже отцвѣтшихъ, хотя все еще прекрасныхъ — очевидно проступала какая-то озабоченность. Мудренаго нѣтъ: въ этотъ день Виленскому предстояло подписать счетомъ его девять бумагъ самаго важнаго содержанія, предстояло присутствовать въ двухъ комиссіяхъ совершенно разнороднаго характера, предстояло сдѣлать нѣсколько визитовъ, предстояло поспѣть къ пяти часамъ на посланническій обѣдъ. И это еще не все: вечеромъ предстояли ему два бала, гдѣ присутствіе его было необходимо; онъ, конечно, явится туда всего на полчаса, но шутка — возвращаться домой, переодѣваться, разъѣзжать по городу, подыматься и спускаться по парадныхъ лѣстницамъ! Но всѣ эти неудовольствія и многосложныя обязанности, не столько, казалось, озабочивали Виленскаго, сколько видъ, одинъ видъ бумаги, которая лежала развернутая подлѣ бритвеннаго зеркала; по крайней мѣрѣ, онъ не переставалъ бросать на нее задумчивые взгляды. Она написана была по-французски; но мы лучше переведемъ ее для удобства тѣхъ читателей, которые не имѣютъ счастія изъясняться на этомъ діалектѣ.

Представляемъ въ точности ея содержаніе:

Англійскій магазинъ.

Счетъ его превосходительства г-на Виленскаго.

126 арш. moquette . . . . . 630 руб. сер.
72 „ бѣлаго муаръ. . . . . 288 „ „

Никельсъ и Комп.

Но мы не осмѣливаемся входить въ подробности касательно того, какого рода чувства и мысли пробуждала эта бумага въ душѣ Виленскаго: достаточно сказать, что первымъ дѣломъ его, когда онъ одѣлся, было положить счетъ въ бумажникъ. Послѣ того онъ сошелъ съ парадной лѣстницы, сѣлъ въ карету и приказалъ везти себя прежде всего въ англійскій магазинъ.

Но оставимъ Виленскаго. Объясненіе его со старшимъ приказчикомъ магазина не представляетъ ничего особенно достопримѣчательнаго. Никто, конечно, не усомнится, что Виленскій, уговаривая приказчика отложить уплату счета до новаго года, сохранялъ свое обычное недосягаемое

величіе и торжественное спокойствіе. Къ тому же, такого рода объясненія слишкомъ уже обыкновенны, чтобы стоило объ этомъ распространяться.

Къ двумъ часамъ великолѣпныя занавѣски и портьеры изъ moquette, подбитаго бѣлымъ муаръ, драпировались на дверяхъ и окнахъ; patés, кресла и диваны, обитые тою же матеріей, занимали прежнія мѣста свои; тонкое, хотя едва чувствительное благоуханіе наполняло гостиную, и вы дали бы голову на отсѣченіе, что все это устроено было скорѣе руками феи, чѣмъ взъерошенными мастеровыми, съ мозолистыми пальцами и въ затрапезныхъ дырявыхъ халатахъ.

Въ два часа вышла Виленская, сопровождаемая хозяиномъ-обойщикомъ, иностранцемъ во фракѣ; за ними, въ пяти шагахъ, выступалъ огромнаго роста лакей, державшій въ рукахъ рабочій ящикъ госпожи своей, — безподобную игрушку, которая свободно могла умѣститься на самой маленькой ладони. Виленская приказала поставить рабочій ящикъ на столъ, бросила разсѣянный взглядъ на окна и двери, обратилась къ иностранцу во фракѣ и сказала:

— C'est bien... принесите мнѣ вашъ счетъ... завтра... утромъ...

Иностранецъ прижалъ шляпу къ груди своей, склонилъ на-бокъ голову и отвѣсилъ низкій поклонъ; послѣ того, сохраняя прежнюю позу свою, началъ онъ пятиться, производя маленькіе, но очень скорые шажки, подобно тому, какъ это дѣлаютъ актеры послѣ вызова на сцену. Едва скрылся онъ изъ виду, Виленская окинула быстрымъ взглядомъ занавѣски, портьеры и вновь обитую мебель; на этотъ разъ выраженіе удовольствія ясно обозначилось на лицѣ ея, которое сдѣлалось отъ того еще прекраснѣе; къ сожалѣнію, въ эту самую минуту вошелъ лакей и доложилъ:

— Ея превосходительство, генеральша Турманова...

— Проси, сказала Виленская.

Портьеры, занавѣски и новая обивка мебели перестали вдругъ существовать для Виленской; она расположилась на диванѣ и не обращала уже на нихъ вниманія. Нельзя было думать, чтобы вниманіе ея принадлежало гостьѣ,— гостья была не болѣе, какъ жена имѣвшаго счастіе служить подъ начальствомъ Виленскаго. Минуту спустя, впорхнула Турманова.

Никакое перо не въ состояніи изобразить существа болѣе граціознаго, легкаго и воздушнаго. Лишнимъ считаю описывать ея туалетъ и наружность; загляните въ послѣднюю парижскую картинку модъ,—вы будете имѣть понятіе о ея туалетѣ; что жъ касается ея наружности,—разверните лучшій англійскій кипсекъ и выберите въ немъ самую хорошенькую бѣлокурую головку. Турманова затмевала собою всѣхъ дѣйствительныхъ статскихъ совѣтницъ, когда-либо существовавшихъ, и даже теперь существующихъ. Дамы ея круга, comme de raison, не чувствовали къ ней большого расположенія; говоря о ней, онѣ остроумно замѣчали, что жизнь Турмановой можно опредѣлить тремя словами: „одѣвается, переодѣвается и раздѣвается“... Мужъ Турмановой былъ еще до сихъ поръ страстно влюбленъ въ молоденькую и хорошенькую жену свою; онъ безпрекословно исполнялъ малѣйшія ея желанія, и, можно сказать, носилъ ее на рукахъ. Но другого обращенія, впрочемъ, не могло переносить существо, столь слабое, нѣжное и воздушное.

Войдя въ гостиную и увидѣвъ Виленскую на диванѣ, Турманова была поражена самымъ пріятнымъ и неожиданнымъ сюрпризомъ; милое лицо ея озарилось вдругъ выраженіемъ дѣтской радости; едва касаясь паркета своими ножками, она поспѣшила къ хозяйкѣ дома, которая, въ свою очередь, весело кивала ей головою и, повидимому, вполнѣ раздѣляла радость гостьи. Глядя на обѣихъ дамъ, въ душѣ вашей невольно закипало негодованіе противъ тѣхъ, которые обвиняютъ свѣтскихъ женщинъ въ холодности и се sentiment de traîtrise... Но Богъ съ ними!

Виленская радостно усадила гостью въ кресло. Кресло это было, безспорно, лучшимъ мѣстомъ во всей гостиной; оно прикасалось къ дивану, гдѣ сидѣла хозяйка дома,—съ этого мѣста можно было обозрѣвать бо́льшую часть гостиной, которая, какъ уже извѣстно, заслуживала вниманія; какъ разъ противъ Турмановой, за жардиньеркой и диваномъ, возвышались три окна и далѣе двѣ двери. Великолѣпныя новыя занавѣси и портьеры имѣли видъ каскадовъ изъ живыхъ цвѣтовъ, которые ниспадали по обѣимъ сторонамъ дверей и оконъ и разсыпались роскошными букетами по кресламъ, patés и диванамъ.

Но Турманова не обратила на все это большого вниманія. Казалось даже, новыя портьеры и занавѣси не были ей по вкусу.

И дѣйствительно, оконныя занавѣси изъ moquette, особенно когда подобьютъ ихъ бѣлымъ муаръ, имѣютъ то неудобство, что не пропускаютъ свѣта и даже сильно затемняютъ комнату. Мы можемъ заключить объ этомъ потому, что даже хорошенькое, свѣженькое личико Турмановой покрылось тѣнью и потеряло всю свою веселость, какъ только очутилось оно противъ оконъ, драпированныхъ этимъ moquette.

— Скажите, chère m-me Tourmanoff, какъ пѣлъ вчера Тамберликъ?

— Не знаю, chère m-me Vilensky... я не была въ театрѣ.

— Но вчера давали Отелло... Это, кажется, любимая ваша опера...

— Надо вамъ сказать, я вообще въ послѣднее время рѣдко ѣздила въ театръ... еще рѣже ѣзжу въ свѣтъ... Я больше сижу дома...

— Это для меня новость!.. Что жъ вы дѣлаете дома?

— Какъ вы думаете?

— Занимаетесь хозяйствомъ? спросила Виленская.

Турманова была очень самолюбива. Роскошь, общественное положеніе и монументальное величіе Виленской постоянно давили ее; она всячески старалась высвободиться изъ-подъ этого гнета и дѣлала неимовѣрные скачки, имѣя цѣлію вознестись на пьедесталъ; но скачки никакъ не приводили къ желаемой цѣли, — и это обстоятельство, весьма естественно, усиливало внутреннее раздраженіе посѣтительницы. Виленская не могла сказать слова безъ того, чтобы Турманова не старалась отыскать въ немъ какого-нибудь саркастическаго намека. Такъ и теперь случилось: при послѣднемъ вопросѣ Виленской, Турманова принуждена была прибѣгнуть къ веселенькому смѣху, чтобы скрыть настоящія свои чувства.

— И, нѣтъ!.. мое хозяйство (она сдѣлала ударепіе на послѣднее слово) идетъ очень хорошо и безъ меня; вы не угадали... Представьте, я пристрастилась къ газетамъ... Вы смѣетесь?—нѣтъ, право; я нахожу чтеніе газетъ очень занимательнымъ; вы понимаете, я говорю, разумѣется, объ иностранныхъ газетахъ...

— Что жъ васъ больше всего занимаетъ?.. Политика?..

— Да, отчасти и политика... Но я больше читаю тѣ статьи, въ которыхъ говорится собственно о внутренней жизни Парижа... особенно о жизни de la société... Вчера еще прочла я въ Indépendance три статьи, въ которыхъ

разсказывается о роскоши этого общества... Ахъ, chère m-me Vilensky, вы представить себѣ не можете, что это такое! Парижское общество рѣшительно безумствуетъ! C'est à qui se ruinera le premier! Можно думать, они какъ будто задали себѣ цѣль — разориться? Роскошь, которая была при Людовикѣ XIV, ничего не значитъ передъ тѣмъ, что теперь!.. Она проявляется во всемъ: въ постройкахъ, въ туалетѣ, въ убранствѣ отелей... въ частной домашней жизни... Нужно прочесть фельетоны, напримѣръ, Жюль ле-Конта о меблировкѣ парижскихъ отелей, имѣть понятіе о томъ, до чего можетъ дойти роскошь... on ne veut que des meubles précieux!..

— Пожалуйста, chère m-me Tourmanoff, не нападайте на мебель; я сама имѣю слабость къ мебели...

— Но вамъ это простительно!.. Съ вашимъ состояніемъ вы можете позволить себѣ такую роскошь... Я говорю о тѣхъ людяхъ, которые, не имѣя состоянія, или, по крайней мѣрѣ, не бывъ очень богатыми, увлекаются примѣромъ людей съ огромными средствами... Хуже всего то, что эта роскошь точно такъ же и у насъ овладѣваетъ теперь всѣми; не каждый ли день видимъ мы примѣры въ Петербургѣ, Москвѣ и даже провинціи?.. Мы считаемъ долгомъ какимъ-то примѣнять тотчасъ же къ себѣ все, что видимъ у иностранцевъ... По моему мнѣнію,—это мое убѣжденіе, ma conviction la plus intime, — намъ во сто разъ больше слѣдуетъ воздерживаться отъ роскоши, чѣмъ другимъ европейцамъ. Это непремѣнно...

— Но почему же? Я право этого не понимаю...

— Непремѣнно, chère m-me Vilensky, непремѣнно!.. Къ этому обязываетъ насъ уже самое наше положеніе... Примите въ соображеніе, chère m-me Vilensky, одно только: кто,—надо правду сказать, il faut être juste,—кто доставляетъ намъ эти средства къ существованію? Кто доставляетъ намъ эти средства, разрабатывая ce sol ingrat?.. и какъ еще? à la sueur de son front!.. Нельзя не согласиться, chère m-me Vilensky, что мы, къ сожалѣнію, мало думаемъ объ этомъ. Не всѣ ли мы больше или меньше увлечены роскошью? Мы тратимъ огромныя деньги, разъѣзжаемъ на кровныхъ лошадяхъ, даемъ блистательные вечера, убираемъ наши отели (хорошенькіе глаза Турмановой съ неуловимой быстротою скользнули по оконнымъ занавѣсямъ и портьерамъ),—да, и забываемъ мы, между тѣмъ, что тотъ, который...

— Вы, какъ видно, chère m-me Tourmanoff, проповѣдуете филантропію? перебила Виленская, сопровождая слова свои едва примѣтною улыбкой.

— Вовсе нѣтъ, вовсе нѣтъ! развѣ это значитъ быть филантропкой, когда говоришь правду? возразила Турманова, обводя глазами гостиную.

Во взглядѣ Турмановой ничего, повидимому, не было особеннаго; тѣмъ не менѣе, отъ дѣйствія этого взгляда, тяжеловѣсныя оконныя занавѣси и портьеры покрылись какъ будто безчисленнымъ множествомъ дыръ и сдѣлались вдругъ сквозными; такъ, по крайней мѣрѣ, можно было думать, глядя на лицо генеральши, которое не только перестало заслоняться тѣнью, но озарилось даже веселостію и тѣмъ милымъ оживленіемъ, которое всегда его отличало.

— Прощайте, однакожъ, chère m-me Vilensky, сказала она вставая,—я съ вами заболталась... Ah, mon Dieu, il est déjà trois heures... Прощайте, adieu!..

Турманова протянула Виленской руку, съ чувствомъ пожала ее и выпорхнула изъ гостиной такъ же легко и свободно, какъ впорхнула въ нее.

Дѣйствительной статской совѣтницѣ предстояло еще два-три визита. Но, спускаясь съ лѣстницы Виленскихъ, она почувствовала вдругъ начало мигрени, и, сѣвъ въ карету, приказала ѣхать домой. Мигрень у Турмановой сказывался всегда тѣмъ, что въ правомъ вискѣ начинала нестерпимо ныть и биться какая-то жилка. Сотрясеніе кареты, сырой и пасмурный день,—все способствовало къ тому, разумѣется, чтобы усилить раздраженіе жилки. Первымъ вопросомъ Турмановой, по пріѣздѣ домой, было освѣдомиться, у себя ли баринъ. Съ ея убѣжденіями (убѣжденіями, такъ горячо высказанными у Виленской), ей, безъ сомнѣнія, непріятно даже было произносить слово: „баринъ“; она дѣйствительно проговорила его съ замѣтнымъ неудовольствіемъ. И если, спрашивая о мужѣ, не могла она сказать: дома ли князь, или баронъ,—въ этомъ винить надо одну покойную мать Турмановой, которая непремѣнно хотѣла выдать дочь за Турманова.

Получивъ утвердительный отвѣтъ, Турманова поднялась на лѣстницу, сбросила шубу на руки горничной и прошла къ себѣ въ гостиную,—очень большую и хорошую гостиную, оклеенную свѣтло-палевыми обоями, согласовавшимися какъ нельзя лучше съ обивкою мебели, оконными

занавѣсями и портьерами изъ превосходной шерстяной матеріи съ широкими голубыми разводами по коричневому полю. Прелестные глаза Турмановой всегда съ нѣкоторымъ самодовольствіемъ и даже любовію останавливались на этихъ предметахъ; но, увы! въ настоящую минуту, взглядъ, которымъ обвела она гостиную, выразилъ только, что жилка праваго виска, предвѣщавшая мигрень, билась невообразимо ускореннымъ тактомъ и сильно заставляла страдать бѣдную женщину. Мигрень такъ, наконецъ, усилился, что когда явился въ гостиную Турмановъ,—жена его не въ силахъ уже была подняться съ дивана, на которомъ лежала, подперевъ крошечною своею ладонью больную голову.

— Ахъ, Боже мой!.. Что съ тобою, cher ange?.. торопливо спросилъ супругъ, представлявшій изъ себя виднаго господина, съ круглымъ маленькимъ лицомъ, не отличавшимся избыткомъ остроумія, но зато преисполненнымъ выраженія добродушія (онъ былъ, впрочемъ, остроуменъ и даже глубокъ,—но добродушіе поглощало въ немъ всѣ остальныя качества).

— Оставьте меня... проговорила супруга съ раздражительностію, свойственною всѣмъ слабымъ, нервнымъ существамъ, одержимымъ сильною головною болью.

— Но что такое?..

— У меня жесточайшій мигрень... Я какъ будто предчувствовала... не даромъ не хотѣла я ѣхать сегодня къ Виленской... Оставьте меня, прошу васъ.

— Но, cher ange...

— Я ужасно разстроена! нетерпѣливо прервала супруга.

— Я всегда замѣчалъ, что всякій разъ какъ ты бываешь у Виленской, она тебя непремѣнно разстраиваетъ...

— Чѣмъ же можетъ она меня разстраивать?.. Я право не понимаю, откуда берете вы ваши замѣчанія... Если кто-нибудь разстраиваетъ меня... ce qui m'agace les nerfs, такъ это конечно... Но, во всякомъ случаѣ, это не Виленская...

— Но, cher ange...

— Мы, просто, очень много говорили сегодня, и потому, вѣроятно, у меня такъ голова разболѣлась...

— Видишь ли, душа моя, ну, не правъ ли я?.. промолвилъ супругъ,—эта Виленская вѣчно столько накричитъ и наболтаетъ...

— De mieux en mieux!.. Если бъ всѣ такъ много гово-

рили, какъ Виленская, можно бы думать, что мы живемъ въ обществѣ нѣмыхъ!.. Вы, право, сегодня удивительны! Vous êtes impayable, mon cher, съ вашими замѣчаніями... ха, ха, ха...

— Что съ тобою?..

— Ничего, c'est nerveux!.. Ужасно, однакожъ, какъ болитъ голова!.. Ахъ, кстати о Виленскихъ! Вы знаете, Виленскій сдѣлалъ сюрпризъ женѣ...

— Bah! произнесъ Турмановъ, превращаясь весь въ одну улыбку и самодовольно опускаясь въ кресло.

— Да; Виленская сказала какъ-то, что ей не нравятся портьеры и занавѣси въ гостиной... Мужъ велѣлъ тотчасъ перемѣнить и повѣсилъ moquette... C'est superbe!.. Говорите, что хотите, но я всегда буду на сторонѣ Виленскаго; всегда скажу: это образецъ предупредительныхъ мужей... Это настоящій то, что называютъ un mari galant!.. Ахъ, Боже мой, какъ несносно бьется эта жилка въ правомъ вискѣ!.. Пожалуйста, Athanase (Турманова звали Аѳанасіемъ), опустите занавѣсъ на томъ окнѣ... свѣтъ падаетъ мнѣ прямо на глаза... le jour fait mal... Онъ раздражаетъ еще больше нервы...

Супругъ любезно привсталъ съ мѣста и поспѣшилъ исполнить желаніе жены. Но потому ли, что онъ не раздѣлялъ ея предубѣжденія въ отношеніи къ дневному свѣту, или были другія причины, только, подойдя къ окну, онъ никакъ не могъ отъ него оторваться.

— Eh bien, Athanase... что жъ вы тамъ дѣлаете?..

Онъ торопливо откинулъ шерстяныя занавѣси, послѣ чего возвратился на прежнее мѣсто несравненно медленнѣе, чѣмъ покинулъ его. Лицо его было красно, какъ піонъ.

— Я забылъ сказалъ тебѣ, началъ онъ, переминаясь и очевидно стараясь скрыть свою неловкость,—я получилъ два письма изъ деревни... Одно отъ управляющаго, другое—отъ нашего дудкинскаго старосты...

— Что жъ они пишутъ?.. вѣрно опять неурожай?..

— Почемъ ты знаешь?..

— Mon Dieu, mais c'est toujours la même chanson! Вѣчно одна пѣсня!.. Управляющій и староста, право, кажется, сговорились писать каждый годъ одно и то же!.. C'est un parti pris!.. Я увѣрена, они насъ обманываютъ; иначе быть не можетъ! Нѣтъ причины, чтобы получали мы меньше доходовъ, чѣмъ другіе; c'est absurde!.. Я ни-

когда не жила въ деревнѣ, но убѣждена, что все это происходитъ отъ того, что управляющій и староста, попросту, ничего не дѣлаютъ... Да; распустили крестьянъ, которые, разумѣется, очень этому рады, лѣнятся, не занимаются полями... Повѣрьте, вотъ почему годъ отъ году у насъ меньше доходовъ!.. Да, я всегда буду утверждать, всегда! всегда! — управляющій и староста попросту font leurs choux gras... Повѣрьте мнѣ!.. Все это больше ничего, какъ de la canaille la plus fieffée canaille!..

— Успокойся, душа моя... прошу тебя, успокойся!.. Ты знаешь, какъ это тебѣ вредно... у тебя же мигрень... И наконецъ, все это не стоитъ того, чтобы выходить изъ себя... Я еще сегодня писалъ управляющему и старостѣ, и обоимъ имъ мылю хорошенько голову...

— И прекрасно дѣлаешь!.. Пожалуйста, cher Athanase... потрудись встать еще разъ... Опусти занавѣсъ на другомъ окнѣ... свѣтъ раздражаетъ мнѣ глаза... И, наконецъ, я не знаю, но эти шерстяныя занавѣси бросаютъ какой-то глупый, тусклый свѣтъ... хорошо... mercі...

Усилія, которыя дѣлала Турманова, чтобы говорить съ мужемъ, замѣтно дѣйствовали во вредъ ея головной боли. Она склонила голову на подушку и закрыла глаза.

— Cher ange... промолвилъ супругъ, торопливо возвращаясь къ дивану,—ты страдаешь!.. Не послать ли за докторомъ?..

— Нѣтъ, не надо... ничего, пройдетъ!.. возразила она слабымъ голосомъ.

Турмановъ нѣжно поцѣловалъ ея руку, умиленно поглядѣлъ ей въ лицо, потомъ неопредѣленно какъ-то обвелъ глазами гостиную, остановилъ ихъ секунды на двѣ на оконныхъ занавѣсяхъ и портьерахъ, и, какъ бы вдругъ осѣненный свѣтлой радостной мыслью, поспѣшно вышелъ на цыпочкахъ.

Войдя въ кабинетъ, онъ приблизился къ большому письменному столу, заваленному бумагами, отыскалъ между ними письмо, уже совсѣмъ вложенное въ конвертъ, развернулъ его и бѣгло прочелъ для памяти: „...Муку ни за что не продавать за ту цѣну, которую предлагаютъ; лучше повременить и подождать болѣе выгодныхъ условій...“—„Сказать фабриканту, который предлагаетъ купить лугъ, сказать ему, что онъ дуракъ. Ты самъ знаешь, Герасимъ, луговъ у насъ и безъ того не много; я даже удивляюсь, какъ могъ ты написать мнѣ о такомъ пред-

ложеніи...“ Дочитавъ до конца, Турмановъ опустилъ перо въ чернильницу и прибавилъ въ концѣ письма слѣдующее: „Обстоятельства перемѣнились; продать муку тотчасъ же; съ фабрикантомъ можешь поторговаться насчетъ луга; но, во всякомъ случаѣ, продай его, продай непремѣнно. Главное, позаботься выслать какъ можно скорѣе деньги“.

Я былъ всегда однимъ изъ самыхъ горячихъ поклонниковъ хорошенькой Турмановой; но, странно, бывалъ у нея весьма рѣдко. Можете судить о моемъ удивленіи, при полученіи слѣдующей офиціальной записки: „Mr. et M-me Tourmanoff prient M***, de leur faire l'honneur de prendre part à leur soirée du Jeudi...“

Въ назначенный четвергъ, ровно въ десять часовъ вечера, я входилъ въ гостиную Турмановыхъ. Никогда еще не видалъ я хозяйку дома такой веселой, милой и любезной: она порхала, какъ мотылекъ, отъ одного гостя къ другому; для каждаго находила милое, привѣтливое словцо; я стоялъ, какъ прикованный къ одному мѣсту, не могъ оторвать глазъ отъ нея и вполнѣ раздѣлялъ восхищеніе самого Турманова, лицо котораго сіяло, когда обращалось къ женѣ. Не могу сказать, однакожъ, чтобы мнѣ было очень весело.

Въ обществѣ Турмановыхъ, кромѣ хозяина и хозяйки дома, мнѣ былъ знакомъ всего-на-все одинъ человѣкъ; то былъ одинъ изъ столоначальниковъ Турманова. Увидѣвъ меня, онъ тотчасъ же приблизился.

— Вы ничего не замѣчаете? спросилъ онъ, пожимая мнѣ руку.

— Нѣтъ; а что?

— „Обновились!“ шепнулъ онъ съ особеннымъ какимъ-то удареніемъ и придавая костлявому лицу своему саркастическое выраженіе.

— Какъ обновились?

— Взгляните... промолвилъ онъ, подмигивая на окна и двери гостиной.

Тутъ только въ первый разъ примѣтилъ я, что портьеры и оконныя занавѣси были изъ пунцовой шелковой матеріи.

— Ну, такъ что жъ? сказалъ я, — новыя портьеры и занавѣси...

— Васъ это не удивляетъ?

— Нисколько; Турмановы имѣютъ, кажется, хорошее состояніе... Они могутъ вѣшать, что имъ угодно.

— Нѣтъ, воля ваша, смѣшно! право, смѣшно! произнесъ столоначальникъ, и, пожавъ плечами, оставилъ меня.

Я невольно проводилъ его глазами; черезъ минуту онъ подошелъ къ другому господину, и хотя мнѣ невозможно было слышать ихъ разговора, но взгляды столоначальника ясно доказывали, что опять шла рѣчь о новыхъ занавѣсяхъ и портьерахъ.

„Дались же ему эти занавѣси...“ Но не успѣлъ я мысленно произнести этихъ словъ,—смотрю: столоначальникъ подходитъ уже къ третьему лицу, толкаетъ его локтемъ и точно такъ же мигаетъ ему на окна и двери, вызывая на лицѣ своемъ рядъ улыбокъ самаго ядовитаго и сатирическаго свойства. Послѣ этого, я потерялъ его изъ виду.

— Скажи, пожалуйста, Каролина Ивановна, сказалъ столоначальникъ женѣ своей, когда, послѣ вечера, отправились они домой въ наемной каретѣ (нѣтъ надобности знать, изъ какихъ источниковъ почерпаю я свои свѣдѣнія),—скажи, пожалуйста, Каролина Ивановна (жена столоначальника была рижская уроженка), не помнишь ли ты, но только „навѣрное“, что̀ стоитъ аршинъ хорошаго драдедаму, или, знаешь... этой шерстяной матеріи съ большими разводами?..

— Знаю: зачѣмъ тебѣ?

— Видишь ли, душа моя, мнѣ хочется перемѣнить наши оконныя занавѣси. Потомъ, у насъ ничего нѣтъ передъ дверьми, такъ ужъ я, заодно, купилъ бы разомъ матеріи...

— Вотъ вздоръ какой!

— Совсѣмъ не вздоръ; теперь уже такъ заведено, чтобы передъ дверью непремѣнно что-нибудь висѣло...

— Если ужъ ты непремѣнно этого хочешь,—купи ситцу; можно найти того самаго, что покупали мы, когда дѣлали наши оконныя занавѣси...

— Нѣтъ, матушка, покорнѣйше васъ благодарю! Скорѣй же я откажу себѣ въ другомъ чемъ-нибудь, но ужъ куплю или драдедаму, или шерстяной матеріи съ крупными разводами.

— Когда тебѣ кажется, что наши занавѣси грязны, по-моему, гораздо лучше велѣть ихъ вымыть... и отдать потомъ на фабрику, чтобы снова навести глянецъ.

— Снова глянецъ! — ни за что въ свѣтѣ!.. Съ этими ситцевыми занавѣсками наша гостиная похожа на какой-то

пансіонъ... что-то такое купеческое... словомъ, я не знаю на что, но только вовсе не на гостиную порядочнаго человѣка!.. Надо тебѣ сказать, я вообще ненавижу ситецъ; съ дѣтства ненавижу его!.. съ дѣтства!..

— А я, напротивъ, очень люблю его; и пыли (она выговаривала пиль), и моли нѣтъ, и чище какъ-то... и, наконецъ, дешевле...

— Гадость! душа моя,—гадость! гадость! воля твоя, но это гадость!

— Ты, Антонъ Осиповичъ, всегда такъ: что у другихъ увидишь, то чтобы сейчасъ же и у тебя было...

— Что я увидѣлъ у другихъ? что? что такое?..

— Турмановы повѣсили новыя занавѣси и портьеры, и у тебя тотчасъ же загорѣлось!

— Ахъ, душа моя, сдѣлай милость, избавь меня отъ своихъ наставленій; повѣрь мнѣ, я вовсе въ нихъ не нуждаюсь... Меня удивляетъ одно только, Каролина Ивановна, одно удивляетъ: какъ ты не понимаешь, что есть положенія, которыя, такъ сказать, ужъ невольно принуждаютъ соблюдать наружное приличіе... Мы необходимо должны приносить жертвы свѣту; мы бываемъ у людей,— и люди у насъ бываютъ... и слѣдовательно... И, наконецъ, уже самый чинъ мой... Но вы, женщины, этого не понимаете, и потому—лишнее объ этомъ распространяться!..

Супруги замолкли, и каждый погрузился въ собственныя свои размышленія. Дѣйствіемъ этихъ размышленій было то съ одной стороны, что на другое же утро Антонъ Осиповичъ отправился къ одному знакомому человѣку, кажется, къ казначею какому-то, который давалъ взаймы деньги; знакомый человѣкъ давалъ не свои деньги,— обстоятельство, подвергавшее его большой опасности и постоянно державшее его въ страхѣ и лихорадочномъ трепетѣ, но онъ вознаграждалъ все это тѣмъ, что бралъ чудовищные проценты. По расчету Антона Осиповича, занавѣси и портьеры изъ новомодной шерстяной матеріи на три окна и двѣ двери стоили сто сорокъ два рубля пятьдесятъ копеекъ. Но, кстати ужъ, занялъ онъ двѣсти пятьдесятъ рублей, и недѣлю послѣ того задалъ очень миленькій вечерокъ съ ужиномъ и танцами.

Я всегда питалъ въ душѣ самыя враждебныя чувства къ Антону Осиповичу; постоянно бранилъ его, при всѣхъ удобныхъ случаяхъ и даже на всѣхъ перекресткахъ. Но, само собою разумѣется, это нисколько не помѣшало мнѣ

ѣхать къ нему на вечеръ. Сознаюсь чистосердечно, меня особенно привлекалъ туда ужинъ; я зналъ Антона Осиповича за весьма самолюбиваго и тщеславнаго человѣка; зналъ, что если ужъ онъ даетъ вечеръ и ужинъ, то дѣлаетъ это хорошо.

Статься можетъ, изъ числа читателей найдется такой, который не оправдаетъ моего поступка. Допустивъ возможность такого случая, я почти навѣрное скажу, что такой читатель долженъ непремѣнно быть или скромный провинціалъ, или почтенный отецъ многочисленнаго семейства, или человѣкъ, одержимый какою-нибудь нравственною болѣзнію,—мизантропіею, напримѣръ, и т. д.,— но уже во всякомъ случаѣ такой человѣкъ, который не только не посѣщаетъ столичнаго общества, но даже провинціальнаго. (Въ отношеніи свѣтскихъ обычаевъ, провинціальное общество служитъ зеркаломъ того, что дѣлается въ столичномъ свѣтѣ; зеркало это, правда, съ кривинкой; оно комически показываетъ два носа тамъ, гдѣ одинъ, или, наоборотъ, показываетъ все въ уменьшительномъ видѣ; но все-таки провинція—зеркало столицы). Но не въ этомъ дѣло... Я говорю, посѣщай такой читатель столичное или провинціальное общество, ему, конечно, было бы не безъизвѣстно, что сплетни, брань, злословіе и клевета составляютъ, можно сказать, главную приправу, главный смакъ, основу, пищу разговора, и, обыкновенно, въ грошъ не ставятся. Вы браните на чемъ свѣтъ стоитъ вашихъ знакомыхъ; знакомые бранятъ васъ не на животъ, а на смерть; тѣмъ и другимъ все это хорошо извѣстно, и, между тѣмъ, это нимало не мѣшаетъ другъ у друга пить чай, обѣдать и ужинать.

Но какъ бы тамъ нибыло, я провелъ у Антона Осиповича очень пріятно вечеръ, и даже, чего со мною никогда не бывало, пустился въ танцы.

Виновницей такого нарушенія моихъ всегдашнихъ привычекъ была одна очень хорошенькая дамочка, которой меня представили и которая пріѣхала съ мужемъ. Мужу я протянулъ только указательный палецъ и почти не обращалъ на него вниманія; то былъ одинъ изъ мелкихъ чиновниковъ, служившихъ подъ начальствомъ Антона Осиповича; его приглашали только ради жены, оно, впрочемъ, такъ и слѣдовало: онъ представлялъ изъ себя человѣка мрачнаго, несообщительнаго, въ которомъ бросалась въ глаза только та особенность, что сколько ни брилъ

онъ верхнюю губу и подбородокъ, они сохраняли постоянно сизый цвѣтъ, — точь-въ-точь, какъ у одной породы обезьянъ. Бѣдность, какъ вы сами легко можете себѣ представить, не придавала ему значенія въ глазахъ общества; онъ жилъ однимъ жалованьемъ, и въ квартирѣ его— такъ сказали мнѣ, и я убѣдился въ этомъ впослѣдствіи— въ квартирѣ его не было даже занавѣсокъ передъ окнами. Но справедливость требуетъ сказать, ему не чужды были условія свѣта; онъ былъ одѣтъ очень хорошо.

Что же касается до милой жены его, то туалетъ ея былъ почти безукоризненъ; на пухленькой ея рукѣ (ахъ, что̀ это за ручка, если бъ вы видѣли!) сверкали даже два золотые браслета, обдѣланные по послѣднему фасону; короче сказать, она была прелестна! Я такъ увлекся, что мнѣ даже въ голову не пришло взглянуть на новые занавѣси и портьеры Антона Осиповича. Мы не разлучались почти во весь вечеръ и разстались въ три часа ночи, когда всѣ стали разъѣзжаться. Нѣтъ сомнѣнія, я проводилъ ее до самыхъ дверей и даже подалъ ей руку, когда она садилась на извозчика.

— Ты, душенька, кажется, очень много танцовала съ этимъ господиномъ? спросилъ ея мужъ. (Опять умолчу объ источникѣ, доставившемъ мнѣ эти свѣдѣнія; вамъ это не интересно, и, наконецъ, не въ томъ вовсе дѣло).

На такой вопросъ мужа не послѣдовало отвѣта.

— А вѣдь у Антона Осипыча было довольно весело?.. началъ опять мужъ.

Молчаніе.

— Что съ тобой, душенька?

Молчаніе.

— Ты нездорова?

Молчаніе, сопровождаемое сильнымъ толчкомъ локтя въ правый бокъ супруга. Но сани пропадаютъ во мракѣ ночи, и что̀ дальше было—намъ не извѣстно.

Хорошенькая женщина, жена синебородаго господина, не выходила изъ головы моей во всю ночь. На другое утро, между часомъ и двумя, я отправился къ ней съ визитомъ. (Скромность не исключаетъ истины; наканунѣ, ея слова и взгляды сильно поощрили меня къ продолженію знакомства; я былъ увѣренъ, что меня хорошо примутъ). И такъ—я отправился.

Подойдя къ двери „ея“ жилища, я почувствовалъ такое волненіе, что нѣсколько разъ протянулъ къ звонку

руку, прежде чѣмъ замѣтилъ, что звонка вовсе не было. Дверь была не заперта и отворилась при первомъ моемъ прикосновеніи къ ручкѣ. Я вступилъ въ крошечную и весьма темную прихожую; тамъ никого не было.

Причина такого опустѣнія тотчасъ же, впрочемъ, мнѣ объяснилась: кухарка и горничная (если таковая находилась) должны были непремѣнно стоять гдѣ-нибудь у двери и прислушиваться къ разговору, происходившему въ комнатѣ, примыкавшей къ прихожей. Разговоръ былъ, въ самомъ дѣлѣ, такъ занимателенъ, что самъ я невольно затаилъ дыханіе и вытянулъ шею.

— Она нанимаетъ лакея, держитъ собственную лошадь... У меня кухарка, — грязная, мерзкая баба, и я ѣзжу на ванькахъ! звучалъ свѣтлый голосокъ, который, какъ наканунѣ, такъ и теперь, сладостно отзывался въ моемъ сердцѣ. — Я не хочу такъ жить! Слышите ли: не хочу!.. Почему Антонъ Осипычъ находитъ средства жить приличнымъ образомъ, а вы не находите? Почему?..

— Мѣсто его такое... съ соболѣзнованіемъ проговорилъ мужъ.

— Не смѣйте упоминать мнѣ о мѣстѣ! Я дѣлала все, что могла, чтобы опредѣлить васъ приличнымъ образомъ,— вы сами этого не захотѣли!.. Повторяю вамъ: человѣкъ, который женится на порядочной женщинѣ, долженъ знать прежде, можетъ ли онъ содержать ее приличнымъ образомъ... Думали ли вы объ этомъ? Оглянитесь кругомъ, что это?—кабакъ! харчевня! полпивная!.. Я знать ничего не хочу, дѣлайте какъ знаете, но чтобъ были у меня обои и занавѣски къ окнамъ!..

Отрывокъ изъ этого разговора и даже продолженіе его, весьма натурально, не произвели на меня ни малѣйшаго впечатлѣнія. Въ моемъ положеніи (я разсуждаю теперь какъ *дэнди*, какъ свѣтскій человѣкъ), въ моемъ положеніи, ссора между мужемъ и женою могла только меня радовать. Какое мнѣ дѣло до ея характера и отношеній къ мужу! Каковъ бы ни былъ ея нравъ, личико ея останется все такъ же прелестнымъ. Я былъ, слѣдовательно, покоенъ. Но едва возгласы ея превратились въ пронзительные крики, которые легко могли отнять у ея голоса мелодическую прелесть, я поспѣшилъ кашлянуть. Но такъ какъ это не помогло, я рѣшился постучать сапогами и умышленно уронилъ на полъ шляпу. Все смолкло въ ту

же секунду. Не успѣлъ я подскочить къ выходной двери, уже явилась кухарка. Я велѣлъ доложить о себѣ.

Не стану описывать вамъ моего визита. Достаточно сказать, мужъ почти до слезъ тронутъ былъ моимъ посѣщеніемъ: онъ не переставалъ жать мнѣ руку,—что, мимоходомъ сказать, было весьма непріятно: пожимая руку, онъ точно вкладывалъ вамъ въ ладонь живую лягушку. Что жъ касается до жены, — она была милѣе даже, чѣмъ наканунѣ! Нѣжное очертаніе ея личика, проникнутаго плѣнительной меланхоліей, ясно доказало мнѣ, что предшествовавшая ссора могла только быть вызвана мужемъ, къ которому съ той же минуты почувствовалъ я отвращеніе. Къ счастью, нѣсколько минутъ спустя, вошла кухарка и объявила ему, что пришелъ какой-то купецъ. Мы остались вдвоемъ... Но слѣдуетъ ли говорить объ этихъ дивныхъ минутахъ, которыя навѣкъ останутся запечатлѣнными въ сердцѣ?.. Нѣтъ, пройду лучше молчаніемъ...

Покидая „ея“ жилище, которое, несмотря на очевидную бѣдность и даже отсутствіе занавѣсокъ, казалось мнѣ истиннымъ раемъ, я встрѣтился подъ воротами съ купцомъ, выходившимъ отъ „ея“ мужа.

— Ба! Иванъ Терентьичъ! Такъ это вы приходили! Какими судьбами? воскликнулъ я.

— Дѣльце такое было-съ...

— Ну, что, какъ?.. Обдѣлали?

— Да что, плохо, сударь мой, плохо! возразилъ Иванъ Терентьичъ (на лицѣ его, дѣйствительно, проглядывала озабоченность).—Вчера приходилъ, совсѣмъ ужъ было покончили; нынче опять не то: никакимъ манеромъ, говоритъ, невозможно... то, да сё... Прижимаетъ, сударь мой, прижимаетъ!..

— Какъ такъ?

— Да такъ же, прижимаетъ, — и все тутъ! Главная статья: намъ время дорого... Ситецъ вздоръ; намъ это наплевать! Время, сударь мой, дорого, а не ситецъ...

— Какой ситецъ?

— Втрое давалъ, сударь мой, втрое; говорю, время только не задерживайте; онъ все свое: нѣтъ, говоритъ, денегъ твоихъ, братецъ, ненадобно; я, говоритъ, не беру, а вотъ у тебя, говоритъ, фабрика ситцевая, такъ принеси куска два ситцу на оконныя занавѣси, — тогда и дѣло сдѣлается. Спасибо, хоть сговорчивъ!..

„У нея будутъ занавѣси!“ воскликнулъ я съ такимъ

восторгомъ, что два-три человѣка, шедшіе мимо, обернулись. (Съ Иваномъ Терентьичемъ мы уже разстались.) Признаюсь вамъ, мысль эта, что у нея будутъ занавѣси, примирила меня даже съ мужемъ обожаемой мною особы. И въ самомъ дѣлѣ, другой на его мѣстѣ взялъ бы попросту деньги и проигралъ бы ихъ въ преферансъ въ клубѣ Соединеннаго Общества; потребовавъ ситецъ, онъ доказалъ, что прямымъ желаніемъ его было угодить милой женѣ. Я былъ тронутъ и не могъ утерпѣть, чтобы не проговорить внутренно: „да, и въ бѣдномъ классѣ скрываются семейныя добродѣтели!..“

По прошествіи нѣкотораго времени (вы понимаете, время это слѣдуетъ считать не днями, а часами), я снова отправился къ нимъ съ визитомъ. Боже, какъ была мила она! Она весело порхала, какъ птичка, по своей комнаткѣ. Солнечные лучи, проходя сквозь пышные розаны, отпечатанные на глянцовитомъ ситцѣ, украшавшемъ окна, казалось, усыпали розами ея пухленькія щечки. Я былъ умиленъ, восхищенъ, очарованъ. И не будь тутъ сестры хозяина дома, — бѣдной восьмидушной помѣщицы Петербургской губерніи, пріѣхавшей навѣстить брата, я, конечно, подъ вліяніемъ восторженнаго своего чувства, надѣлалъ бы множество непростительныхъ глупостей...

Кстати объ этой помѣщицѣ. Возвратившись къ себѣ домой (крошечный домикъ, состоявшій всего изъ одного бревенчатаго сруба съ подслѣповатыми аршинными окнами), она тотчасъ же послала человѣка (единственнаго мужского представителя своей дворни), послала его за тридцать верстъ, въ уѣздный городъ, для покупки кумачу. Наличныхъ денегъ было у нея всего-на все одинъ рубль двадцать копеекъ серебромъ; но купецъ повѣрилъ ей охотно на такую же сумму и отрѣзалъ одиннадцать аршинъ требуемой ткани.

Какъ ни были малы окна домика, одиннадцать аршинъ все-таки не достало на занавѣси. Но это обстоятельство не затруднило хозяйку; она тотчасъ же приступила къ кройкѣ. Мужъ началъ было ей совѣтовать выждать времени, когда будутъ деньги, и прикупить кумачу (купецъ не вѣрилъ имъ больше, какъ на рубль двадцать), но жена сказала ему дурака, ткнула въ глаза петербургскими родственниками, объявила, что живетъ онъ какъ однодворецъ и ровно ничего не смыслитъ въ приличіи. Мужъ замолкъ, а она продолжала кроить, и выкроила очень

миленькія занавѣски, которыя, если и не доходили до верхней перекладины окна, не защищали комнату отъ свѣта, зато драпировались игривыми фестончиками по боковымъ косякамъ, увеселяли взоръ хозяйки и пробуждали зависть, а съ нею вмѣстѣ и саркастическія улыбки сосѣдей и сосѣдокъ.

Но, быть-можетъ, въ настоящую минуту и на вашемъ лицѣ, почтенный мой читатель, играетъ точно такъ же саркастически-насмѣшливая улыбка.

„Что жъ такое, что всѣ они, начиная съ Виленскаго и кончая этой восьмидушной помѣщицей, повѣсили себѣ новыя занавѣси и портьеры! говорите вы, движимый тою положительностью, тѣмъ строго-практическимъ чувствомъ, которое васъ всегда отличало.—Что жъ, что у нихъ новыя занавѣси и портьеры! Зато у каждаго оказалось теперь больше долгу, чѣмъ прежде было!..“

Съ одной стороны, вы, можетъ-быть, правы. Дѣйствительно, долгу прибавилось. Но, съ другой стороны, что̀ значитъ долгъ, когда не нарушается имъ сердечное довольство? Что̀ значитъ долгъ, когда цѣною его можно купить удовлетвореніе главной душевной потребности, состоящей въ томъ, какъ извѣстно, чтобы казаться не хуже другихъ и никому не уступать въ дѣлѣ познанія свѣтскихъ потребностей и наружнаго приличія?..

ВЪ ОЖИДАНІИ ПАРОМА.

(РАЗСКАЗЪ.)

Кого хоть разъ въ жизни не застигали на нашихъ дорогахъ продолжительное ненастье, весенняя распутица или позднее осеннее время, тому, можетъ быть, лишнее описывать все, что претерпѣваетъ въ такихъ случаяхъ путешественникъ. Достаточно сказать, что курная изба, со всею ея грязью, вонью и духотою, привѣтствуется тогда съ величайшею радостью.

На мою долю выпали и грязь, и ненастье. Апрѣль стоялъ на половинѣ; зимній путь прекратился; но ѣхать пока еще можно было; почва, благодаря возвратившимся морозамъ и постоянному холодному вѣтру, держалась довольно твердо. Вдругъ вѣтеръ повернулъ съ юга; по прошествіи какого-нибудь часа, небо покрылось тучами, и частый, теплый дождь зашумѣлъ со всѣхъ сторонъ. Воздухъ сдѣлался такъ мягокъ, что земля видимо почти распускалась; низменныя мѣста дороги и колеи наливались водою; въ ровныхъ мѣстахъ было еще хуже: глина навивалась на колеса цѣлыми ворохами и мѣшала двигаться. Я торопилъ, однакожъ, ямщика. Намъ предстоялъ переѣздъ черезъ Оку. Принимая въ соображеніе время и погоду, мы легко могли засѣсть на этомъ берегу, въ случаѣ, если замѣшкаемъ. До перевоза осталось верстъ шестнадцать,—сущая бездѣлица, кажется! По желѣзной дорогѣ проѣхать такое пространство—полчаса, по шоссе—часъ, много полтора; но надо замѣтить, мы пробирались такъ-называемымъ большимъ почтовымъ трактомъ; какъ всѣ пути такого рода, дорога наша отличалась отъ полей кое-гдѣ торчавшими по сторонамъ ветелками. Тутъ уже нѣтъ возможности рас-

числить время, соображаясь съ числомъ верстъ; можете благополучно проѣхать отъ станціи до станціи; можете также просидѣть въ какой-нибудь котловинѣ, и всего чаще, подъ какимъ-нибудь мостомъ, цѣлыя сутки.

Мы едва тащились. Время отъ времени попадались подводы съ мукою, которыя безнадежно бились посреди дороги; мы подсобляли имъ выкарабкаться и продолжали путь, чтобы полверсты далѣе засѣсть, въ свою очередь, и ждать, пока не выручатъ оставшіеся позади и только-что нами же вырученные люди. Въ такомъ обмѣнѣ услугъ заключались, можно сказать, путевыя впечатлѣнія и развлеченія.

Гладкая, пустынная, какъ степь, мѣстность убѣгала во всѣ стороны; всюду мелькала темная, взбудораженная почва, по которой хлесталъ ливень; встрѣчались сломанныя оси, чахлыя ветлы и стаи галокъ, которыя, какъ бы въ контрастъ грустной неподвижности всего остального, проносились стрѣлою надъ нашими головами. Не помню, чтобы было когда-нибудь такъ печально на землѣ и на небѣ! Весеннее время года перемежается въ средней полосѣ Россіи періодами, гдѣ рѣшительно не разберешь, что происходитъ въ природѣ: признаки весны исчезаютъ совершенно; кажется, скорѣе наступила суровая, опустошительная осень; птицы, прилетѣвшія при первомъ теплomъ вѣтрѣ, Богъ вѣсть куда всѣ попрячутся; сѣрый туманъ застилаетъ окрестность; отчаянная глушь воцаряется всюду; обнаженныя деревья, обливаемыя дождемъ и колеблемыя вѣтромъ, уныло гудятъ, дополняя тоску, которая сама собою вливается въ душу...

Былъ уже часъ восьмой вечера, когда, сквозь частую сѣть дождя и начинающіяся сумерки, блеснулъ въ отдаленіи одинъ изъ поворотовъ Оки. Но прежде чѣмъ попасть на перевозъ, слѣдовало проѣхать длинную-длинную деревню, раскинутую по низменному берегу. Улица буквально запружена была лошадьми, подводами и народомъ, ждавшимъ очереди. Нечего было думать ѣхать далѣе; надо было остановиться при самомъ въѣздѣ въ деревню.

— Гдѣ паромъ, на той или на этой сторонѣ? спросилъ я, какъ только выровнялся съ ближайшими возами.

— Паромъ ушелъ... отозвалось нѣсколько голосовъ.

— Давно ли?

— Съ утра ушелъ!

— Какъ съ утра?..

— Съ утра... Канатъ порвался у парома... онъ и ушелъ...

Дождь промочилъ во многихъ мѣстахъ мое платье, и я продрогъ до костей; но при этомъ извѣстіи меня въ жаръ кинуло. Кромѣ того, что я спѣшилъ достигнуть цѣли своей поѣздки, мнѣ слишкомъ хорошо было извѣстно, что̀ значитъ дожидаться возстановленія порядка, когда наблюденія за порядкомъ, передаваясь отъ одного лица къ другому, переходятъ наконецъ къ мелкимъ властямъ, а мелкія власти, послѣ дружескаго объясненія съ содержателемъ перевоза, предоставляютъ послѣднему полную свободу дѣйствовать и распоряжаться по своему произволу.

Я рѣшился оставить лошадей, взять чемоданъ и попытаться переѣхать на лодкѣ. Съ такою мыслію направился я къ рѣкѣ. Съ каждымъ шагомъ впередъ, труднѣе было двигаться. Улица, окутанная уже полумракомъ, представляла совершенную кашу изъ подводъ, людей и лошадей; все это располагалось зря, безъ всякаго порядка, тискалось и сбивалось, уходя въ грязь по колѣно и по ступицу; иная телѣга стояла прямо, другая поперекъ; въ одномъ мѣстѣ голова лошади упиралась въ возъ, въ другомъ—заднія ноги животнаго тѣсно жались къ сосѣднимъ колесамъ; трудно было понять, какъ все это могло уставиться такимъ образомъ; но еще труднѣе было понять, какъ все это разъѣдется, какъ отцѣпится одна ось отъ другой, какъ двинутся колеса безъ того, чтобы не переломать ноги бѣднымъ клячамъ. Нескончаемый этотъ лабиринтъ неожиданно прерывался гуртомъ воловъ, которые неподвижно лежали подъ дождемъ и смутно обозначались въ сѣдомъ парѣ, клубившемся надъ ними. На самомъ берегу, у спуска къ косогору, стояли толпы народа. Крики, говоръ и шлепанье по грязи—все это мѣшалось съ грохотомъ рѣки, шумѣвшей отъ падавшаго на нее дождя, съ плескомъ волнъ. Не было возможности разобрать цѣлой рѣчи; посреди говора, ясно только слышалось: „куда лѣзешь! народъ! начальство не позволяетъ!.. слышь: начальство!..“ Слова эти, произносимыя съ сильнымъ малороссійскимъ акцентомъ, принадлежали сухопарому, рябому инвалиду очень мирнаго вида, который тутъ и тамъ появлялся съ тоненькою хворостинкой въ рукѣ. Этотъ же самый инвалидъ, на вопросъ мой: можно ли проѣхать въ

лодкѣ? отвѣчалъ, что это никакъ невозможно, что лодка была привязана къ парому, и ее унесло вмѣстѣ съ нимъ; а что вотъ какъ пріѣдетъ паромъ, тогда, пожалуй, можно и на лодкѣ переѣхать...

Скрѣпивъ сердце, я отправился назадъ искать ночлега.

Сколько ни странствуйте по нашимъ дорогамъ, сколько ни испытывайте всякаго рода дорожныхъ бѣдствій, при каждой новой поѣздкѣ вамъ непремѣнно встрѣтится новый, еще не извѣданный случай. Мнѣ, по крайней мѣрѣ, ни разу не приводилось быть жертвой порваннаго каната, хотя я много разъ слышалъ о подобныхъ случаяхъ. Этотъ канатъ не выходилъ у меня изъ головы. „Отчего бы ему оборваться?.. разсуждалъ я мысленно.—Отчего могло произойти все это?.. надо думать, вотъ какъ было: конторщикъ или управитель какого-нибудь помѣщика купилъ дешевенькія сѣмена конопли (въ расходной книгѣ выставлены были, разумѣется, сѣмена первѣйшаго сорта и самыя дорогія): уродилась плохая конопель, изъ нея вышла плохая пакля; управитель или конторщикъ ловко подсунулъ ее купцу-поставщику, который, въ свою очередь, ловко подсунулъ ее канатному фабриканту. Фабрикантъ началъ вить изъ нея особеннаго рода дешевенькіе канаты, предназначаемые на продажу лицамъ, не больно свѣдущимъ въ дѣлѣ веревочнаго производства. Содержатель парома былъ не настолько дуракъ, чтобы покупать дорогой канатъ, когда подъ руками находится дешевый. Авось сдержитъ! думалъ онъ, не видя даже лично для себя никакой потери, въ случаѣ, если и не сдержитъ; народу, съѣзжающемуся къ его перевозу, все равно, дѣваться больше вѣдь некуда, — хочешь не хочешь, переѣзжай здѣсь, а не въ другомъ мѣстѣ; ближе сорока верстъ въ обѣ стороны нѣтъ парома: потери, слѣдовательно, никакой нѣтъ для содержателя перевоза; бояться ему также нечего, послѣ предварительнаго переговора съ мелкими властями.“ Восходя такимъ образомъ къ источнику безпорядка, я мысленно говорилъ: „но отчего же, наконецъ, такая круговая порука взаимнаго надувательства и недобросовѣстности?.. Отчего же все это?.. Отчего?..“

Совсѣмъ уже стемнѣло и въ окнахъ зажигались огни, когда я возвратился къ своему ямщику. Мы направились къ ближайшей избѣ. Но такъ уже суждено было, чтобы въ этотъ день испытывать одну неудачи: въ избѣ скопилась цѣлая орда, не оставалось свободнаго уголка. Насъ

отправили въ избу насупротивъ, увѣряя, что тамъ найдемъ много свободнаго мѣста; изба принадлежала бурмистру; онъ держалъ горницу и пускалъ однихъ купцовъ и помѣщиковъ.

На этотъ разъ дѣйствительность далеко даже превзошла ожиданія. У бурмистра нашелъ я трехъ человѣкъ; съ первыхъ словъ оказалось, что то были проѣзжіе помѣщики, претерпѣвавшіе одинаковую со мною участь. Всѣ трое сидѣли вокругъ стола, уставленнаго стаканами и блюдечками: тутъ же возносился самоваръ, шипѣвшій самымъ привлекательнымъ образомъ. Минутъ черезъ десять, переодѣтый и обогрѣтый, сидѣлъ я между ними со стакаиомъ чая, радушно предложеннымъ мнѣ сосѣдомъ, человѣкомъ среднихъ лѣтъ, весьма симпатической наружности, закутаннымъ въ коричневое пальто, повязаннымъ черпымъ галстукомъ, пропускавшимъ бѣлые и тонкіе воротнички рубашки. Второй сосѣдъ былъ миніатюрный, худенькій, но живой и веселый господинъ съ крошечнымъ бѣлокурымъ лицомъ, отличавшимся необыкновенною подвижностью. Третій представлялъ изъ себя толстяка лѣтъ шестидесяти, съ шарообразною сѣдоватою головою, сѣрыми глазами навыкатѣ и коротенькой шеей; онъ сидѣлъ безъ галстука, въ халатѣ и туфляхъ, покуривая изъ коротенькаго чубука, залѣпленнаго сургучомъ, — обстоятельство, заставлявшее его поддерживать свободною рукою животъ, который, отъ чрезмѣрнаго сотрясенія туловища, приходилъ всякій разъ въ сильное колебаніе. Повидимому, ему тѣсно было даже въ халатѣ; онъ ѣхалъ, видно, на своихъ: подъ ногами его стоялъ тяжеловѣсный поставецъ, а шагахъ въ двухъ подымалась широкая, пышно взбитая перина съ ситцевымъ одѣяломъ и подушками.

Въ промежутокъ этихъ десяти минутъ, какъ я вошелъ въ избу, онъ слова не промолвилъ; во все время сохранялъ онъ какой-то неловкій, сконфуженный видъ, пыхтѣлъ и краснѣлъ, бросая, особенно на меня, недовѣрчивые, косые взгляды; компанія, очевидно, стѣсняла его. Первымъ поводомъ къ бесѣдѣ послужилъ, разумѣется, безпорядокъ, которому обязаны мы были нашимъ столкновеніемъ.

— Мошенники! неожиданно пробурчалъ толстякъ, къ совершенному удовольствію маленькаго живого господина, который, казалось, только и ждалъ, чтобы разразиться смѣхомъ.

Замѣчаніе толстяка произнесено было такимъ мрачнымъ,

такимъ недовольно-комическимъ тономъ, что дѣйствительно трудно было удержаться.

— Чего вы смѣетесь? Конечно, мошенники! повторилъ онъ, дико поглядывая на весельчака.

— Еще бы не мошенники!.. Развѣ я заступаюсь? возразилъ тотъ, продолжая надрываться. — Впрочемъ, намъ съ вами нечего много жаловаться, подхватилъ онъ преднамѣреннымъ какимъ-то тономъ и какъ бы желая подразнить старика.—Намъ съ вами грѣхъ роптать; одно развѣ: домой позже пріѣдемъ! Что жъ касается до всего остального—мы здѣсь блаженствуемъ,—именно блаженствуемъ! Видите: сидимъ въ теплой избѣ, пьемъ чай... вашъ человѣкъ даже вамъ перину постлалъ. Чего же еще?.. Нѣтъ, скажите-ка лучше, каково-то теперь бѣдному мужичонку, что стоитъ на улицѣ, вотъ что! Каково этому мужичонку, который не только не пьетъ чаю теперь и не уснетъ на перинѣ, но которому нечѣмъ даже за ночлегъ отдать, чтобы отъ дождя спрятаться? Скажите-ка лучше,—ему каково?.. Вотъ, добавилъ маленькій господинъ, живо обратясь ко мнѣ и насмѣшливо прищуривая глазки по направленію къ толстяку,—вотъ они говорили намъ, что все это ровнёхонько ничего не значитъ, что мужикъ привыкъ ко всему этому...

— Разумѣется, привыкъ! произнесъ толстякъ, нахмуривая брови и какъ-то бокомъ пятясь на своемъ стулѣ.

— Ну, а какъ вы думаете, заговорилъ въ свою очередь господинъ въ коричневомъ пальто, холодно поглядывая на толстяка,—думаете ли вы, что этотъ мужикъ, у котораго, по вашему мнѣнію, кожа должна быть дубовая, привыкъ ли онъ, напримѣръ, платить за хлѣбъ для себя собственно и за овесъ и сѣно для своей лошади, привыкъ ли онъ платить втридорога противъ того, что въ самомъ дѣлѣ стоитъ овесъ, сѣно и хлѣбъ? Не думаю, чтобъ это было ему нипочемъ!.. А между тѣмъ, могу васъ увѣрить, весь этотъ народъ, который вы видѣли здѣсь на улицѣ, находится въ такомъ положеніи! присовокупилъ онъ, перемѣняя голосъ и обратясь ко мнѣ.—Я самъ спрашивалъ: тутъ есть бѣдняки, которые ужъ третьи сутки дожидаются; извѣстно: человѣку надо ѣсть, надо, чтобъ и лошадь сыта была; какъ же не воспользоваться такимъ случаемъ? ломи съ него за все втридорога! Такихъ случаевъ, какъ тотъ, которому обязаны мы нашей встрѣчей, только и ждутъ обыватели прирѣчныхъ деревень! Надо было ви-

дѣть, что происходило въ этой самой деревнѣ (и нѣтъ причинъ, чтобы въ другихъ не было того же самаго) во время половодья, недѣли двѣ назадъ; я давно привыкъ ко всему этому, но, признаюсь, послѣдній разъ пришелъ въ ужасъ: подводъ съѣхалось, я думаю, больше, чѣмъ теперь; большая часть возвращалась изъ Москвы послѣ обоза; Ока восемь дѣнъ стояла въ разливѣ, восемь дѣнъ не было возможности попасть на ту сторону! Хлѣба, сами, полагаю, знаете, весною остается уже немного: у другого, если семья большая, въ февралѣ ужъ весь вышелъ; объ овсѣ и сѣнѣ говорить нечего! И наконецъ, не напасешься всего этого дней на десять, которые необходимы для переѣзда изъ деревни въ Москву и обратно. Вотъ тутъ-то поглядѣли бы вы, что здѣсь происходило: кто продавалъ одежду для того, чтобы прокормиться,—а время, надо замѣтить, было самое холодное и дождливое;—кто продавалъ лошадь, чтобы не дать ей издохнуть съ голоду, кто сани сбывалъ... Всѣ эти предметы отдавались, разумѣется, за самую бездѣлицу; проѣзжающій находился въ рукахъ обывателей, которые, нимало не стѣснялсь совѣстью, просто грабили! Я вамъ говорю: такая картина, что не приведи Богъ во второй разъ видѣть!.. а придется, непремѣнно придется, потому что я каждую весну и осень проѣзжаю по этой дорогѣ...

Разговоръ, къ которому тотчасъ же присталъ маленькій живой господинъ, завязался на эту тему. Мы совсѣмъ почти забыли толстяка; онъ, впрочемъ, молчалъ; казалось, онъ не доволенъ былъ предметомъ бесѣды. Переходя отъ одного вопроса къ другому, мы невольно коснулись быта народа и нравственныхъ его свойствъ. Мнѣнія были очень различны; мы вообще такъ мало обращаемъ вниманія на народъ, такъ мало знаемъ его, что иначе быть не могло; перебравъ хорошія качества нашего простолюдина, мы пришли къ его недостаткамъ; тутъ мнѣнія еще рѣзче стали отличаться одно отъ другого. Одного болѣе всего возмущала жадность къ барышу, часто даже заглушающая совѣсть и религіозное чувство; другой нападалъ на отсутствіе крѣпкаго нравственнаго начала, на малодушіе и безхарактерность; маленькій господинъ съ жаромъ обвинялъ мужика въ лѣности, которую часто даже прикладываетъ онъ къ личнымъ своимъ интересамъ. Хотя маленькій господинъ, очевидно, увлекался собственными словами и черезчуръ горячился, сужденія его показывали чело-

вѣка, не лишеннаго наблюдательности и много обращавшагося съ народомъ. По мѣрѣ того, какъ говорилъ онъ, толстякъ замѣтно дѣлался внимательнѣе, онъ началъ даже поддакивать, утвердительно потряхивалъ головою и время отъ времени бросалъ на меня и моего сосѣда торжествующіе взгляды. Слово за словомъ, рѣчь коснулась той роли, которую играютъ страсти въ душѣ простолюдина.

— Я имѣю основаніе думать, что страсти вообще, то-есть, какъ благородныя, такъ и неблагородныя, одинаково свойственны всякому человѣческому роду безъ различія состояній... сказалъ собесѣдникъ въ коричневомъ пальто,— на мои глаза (думаю и на ваши точно такъ же), не существуетъ между людьми другой разницы, какъ та, которую даютъ бо́льшая или ме́ньшая степень развитія и образованія; но въ дѣлѣ страстей, мнѣ, по крайней мѣрѣ, такъ кажется, образованіе и развитіе не имѣютъ большого значенія; они помогаютъ только страсти иначе выразиться, смягчаютъ форму; дѣйствіе страсти, сущность нравственнаго процесса остается все та же...

Такое мнѣніе не встрѣтило возраженія ни съ моей стороны, ни со стороны маленькаго господина. Казалось, это удивило толстяка; до настоящей минуты, онъ не переставалъ моргать намъ обоимъ съ видомъ взаимнаго соучастія, какъ бы ожидая, что вотъ-вотъ оба мы разразимся смѣхомъ; обманутый въ своихъ ожиданіяхъ, онъ раздулъ губы и отвернулся съ видомъ пренебреженія, какъ будто хотѣлъ сказать: „Ну, опять запороли чепуху!..“

— Мнѣ извѣстно изъ самыхъ вѣрныхъ источниковъ, продолжалъ между тѣмъ господинъ, начавшій разговоръ,— знаю вѣрно, что въ нашихъ тюрьмахъ, напримѣръ, на три тысячи преступниковъ среднимъ числомъ находится около восьмисотъ такихъ, которыхъ страсти, я разумѣю сердечныя страсти, довели до преступленія; такая пропорція что-нибудь доказываетъ въ пользу нашего общаго мнѣнія! Я убѣжденъ въ этомъ. Постоянно живу въ деревнѣ, постоянно наблюдаю; всего насмотрѣлся. Не далѣе какъ прошлою осенью былъ у меня случай съ однимъ изъ этихъ вялыхъ и апатичныхъ, какъ вы ихъ называете... Пожалуй, я разскажу вамъ, если не скучно...

Я и маленькій сосѣдъ мой выразили готовность слушать. Толстякъ ничего не сказалъ; онъ явно предубѣжденъ былъ противъ разсказчика; щетинистыя брови его выпрямились, однакожъ, и пухлое лицо повернулось въ

нашу сторону. Господинъ въ коричневомъ пальто обрѣзалъ сигару, налилъ новый стаканъ чаю и началъ такимъ образомъ:

— Я замѣтилъ, кажется, что происшествіе, о которомъ пойдетъ рѣчь, случилось осенью; но осенью оно собственно только кончилось; началось гораздо раньше,—весною прошлаго года. Верстахъ во ста отсюда, за Окою, находится у меня деревушка, вѣрнѣе, выселки изъ другой деревни, гдѣ я провожу обыкновенно лѣто; выселки отъ меня версты двѣ; народъ на оброкѣ; но ни разстояніе, ни оброчное положеніе не мѣшаютъ мнѣ знать очень хорошо, что тамъ дѣлается. Надо вамъ сказать, я самъ занимаюсь своимъ хозяйствомъ; это не весело, если хотите; куда какъ не весело! но я дѣлаю это изъ убѣжденія; дѣйствуя такимъ образомъ, мнѣ кажется, я исполняю свой долгъ,— это разъ; и, наконецъ, я приношу этимъ дѣйствительную, существенную пользу моимъ крестьянамъ, такую пользу, какую не могъ бы принести самый лучшій, добросовѣстный управитель...

— Ужъ это точно! вымолвилъ толстякъ съ увѣренностію,—эти управители—всѣ мошенники; кругомъ тебя обворуютъ.

— Совершенно справедливо! произнесъ разсказчикъ, посылая ему самый серьезный поклонъ, — вы угадали мою мысль! Но все это, господа, дѣло постороннее; я коснулся всего этого съ тою только цѣлью, чтобы понятнѣе было, какимъ образомъ могъ я извѣдать подробности моего разсказа. Итакъ, я зналъ болѣе или менѣе всѣхъ выселовскихъ мужиковъ. Въ числѣ ихъ былъ одинъ, который особенно всегда возбуждалъ мое любопытство; это потому, можетъ-быть, что я зналъ его менѣе другихъ. Такого рода личность легко, впрочемъ, могла ускользнуть отъ самаго наблюдательнаго глаза; въ жизнь мою не видалъ я человѣка болѣе безцвѣтнаго: не было ни наружной черты, ни факта изъ жизни, которые могли бы служить для поясненія его характера. Представьте себѣ жидкую, въ высшей степени разварную фигуру, съ подслѣповатымъ бѣлокурымъ лицомъ, усыпаннымъ веснушками, длинною головою, странно какъ-то приплюснутою на лбу, — головою, которая держалась всегда на-сторону и сонливо клонилась къ землѣ. Глядя издали, вы бы непремѣнно сказали: „надъ чѣмъ такъ крѣпко задумался этотъ мужичокъ? вѣрно пришибло его какимъ-нибудь горемъ“... Вблизи

оказывалось, что какъ въ глазахъ его, такъ и во всѣхъ чертахъ царствовало полнѣйшее отсутствіе жизни и даже мысли. Непомѣрная апатія и вялость еще рѣзче проявлялись, когда онъ ходилъ или принимался дѣло дѣлать: длинныя руки болтались словно сами собою; ноги, несмотря на худобу, тяжело передвигались, подгибались въ колѣняхъ, переплетались какъ у пьянаго; онъ не пилъ, однакожъ, капли въ ротъ не бралъ,—не на что было. Присоедините къ этому страшную неряшливость; она какъ бы дополняла жалкій видъ наружности. Не помню, чтобы явился онъ когда-нибудь безъ прорѣхи или заплаты; въ одеждѣ его непремѣнно чего-нибудь да недоставало: или мѣховой обшивки вокругъ шапки, или веревочки на одномъ лаптѣ, или цѣлаго плеча на полушубкѣ; и сколько бы ни пропекало его морозомъ въ прорванное мѣсто—онъ, на другой день, выходилъ съ тою же прорѣхой, какъ и наканунѣ. Та же самая распущенность была и въ домашнемъ быту его, и въ хозяйствѣ, и въ полѣ; у другихъ, напримѣръ, озими или яровое бархатомъ стелется; у него, смотришь, на десятинѣ тѣ же прорѣхи, что на рубахѣ; вездѣ плѣшины; гдѣ густо, гдѣ нѣтъ ничего... И между тѣмъ, не было возможности взыскивать съ него, заставить его быть расторопнѣе, дѣятельнѣе,—заставить, чтобъ дѣло шло иначе...

На этомъ мѣстѣ разсказа хрипѣнье толстяка перешло въ удушье, и онъ началъ выказывать сильнѣйшіе знаки нетерпѣнія.

— Вамъ, кажется, угодно что-то сказать?.. обратился къ нему разсказчикъ.

— Что ужъ тутъ говорить! комически-безнадежнымъ тономъ промолвилъ толстякъ,—а вотъ я вамъ скажу, подхватилъ онъ съ сердцемъ,—посѣчь бы его хорошенько, этого мужика,—такъ ничего бы этого не было... отличный былъ бы мужикъ.

— Вотъ оно что значитъ настоящій-то хозяинъ! воскликнулъ весельчакъ, стараясь сохранить серьезный и даже почтительный видъ,—вашу руку, милостивый государь, вашу руку! я всегда питалъ искреннее, глубочайшее уваженіе къ практическимъ людямъ;—всегда! заключилъ онъ, потрясая жирную руку толстяка, который, повидимому, недоумѣвалъ, какъ принять все это: за настоящую ли монету, или за насмѣшку.

— Теперь, довершилъ веселый господинъ, обратившись

къ разсказчику,—позвольте просить васъ продолжать: вы сказали, что нельзя было прицѣпиться къ этому мужику...

— Я, по крайней мѣрѣ, не могъ этого сдѣлать, подхватилъ разсказчикъ, — духу недоставало. Онъ рѣшительно, хоть кого бы, впрочемъ, обезоружилъ своею кротостью. Иной разъ идешь мимо его поля, невольно возьметъ досада: такъ бы вотъ, кажется, и разругалъ его и тотчасъ же заставилъ передѣлать, перепахать; но при видѣ несчастной этой фигуры, покрытой заплатами, при видѣ этого смиреннаго лица, опущеннаго къ землѣ, только отвернешься да пройдешь поскорѣе мимо. Вся эта распущенность слишкомъ уже очевидно происходила скорѣе отъ внутренняго безсилія, отъ врожденной, свойственной его природѣ лѣности и апатіи, чѣмъ отъ преднамѣренности, лѣности или вообще порочнаго какого-нибудь свойства.

„Имъ, наконецъ, и безъ того уже много помыкали. Если безотвѣтные, кроткіе люди играютъ жалкую роль въ образованномъ обществѣ, можете судить, въ какое положеніе ставятъ такія свойства въ кругу народа! Онъ находился во всеобщемъ пренебреженіи; каждый надъ нимъ трунилъ, подсмѣивался. Не было примѣра, однакожъ, чтобы онъ, съ своей стороны, кого-нибудь облаялъ; онъ не подавалъ голоса даже въ такомъ дѣлѣ, когда очевидно приходило ему въ накладъ; онъ всегда молча повиновался. Надо думать, что кроткій и смиренный по природѣ своей, онъ въ дѣтствѣ былъ сильно загнанъ или запуганъ. Тѣмъ только и обозначалось присутствіе его въ выселкахъ, что поле его и изба занимали тамъ мѣсто; на самомъ дѣлѣ, онъ какъ будто не существовалъ. Возьмите также въ расчетъ дѣйствительно самую безотрадную домашнюю обстановку: дѣтей куча, ни брата въ домѣ на подмогу, ни старика; поневолѣ упадешь духомъ и одурѣешь! Тутъ же, кстати, одно къ одному, жена попалась ему такая же ничтожная, какъ и самъ онъ. Попадись баба смѣтливая, расторопная, смышленая,—дѣло, разумѣется, шло бы другимъ порядкомъ. У насъ часто встрѣчаются бабы, которыя вертятъ и хозяйствомъ, и мужемъ, любо смотрѣть, какъ распоряжаются! Мнѣніе, будто въ домашнемъ быту народа жена играетъ второстепенную роль и всегда подчинена мужу— ошибочное мнѣніе; второстепенная роль точно присуждена ей обычаемъ; но обычай существуетъ только въ памяти народа, на словахъ существуетъ; это ничего, что мужъ

иной разъ поколотитъ; онъ поколотилъ, а она все-таки свое возьметъ. Бываетъ даже, что цѣлой деревней управляютъ бабы: заведется какая-нибудь тетка Маланья, да въ дворнѣ еще Аграфена, да къ нимъ присоединится еще мельничиха; одна къ старостѣ подольщается, другая—къ конторщику, третья за носъ водитъ мужа, который, въ свой чередъ, имѣетъ вліяніе на конторщика и на старосту. Староста, конторщикъ и мельникъ воюютъ на міру, надрываются; Маланья, Аграфена и мельничиха виду не подаютъ, такъ только какъ бы невзначай встрѣчаются и шепчутся, — а дѣло, — смотришь, — дѣло дѣлается поихнему.

„Къ несчастію, жена Якова (такъ звали моего мужика) не изъ такихъ была. Она принадлежала къ разряду такъ-называемыхъ плаксъ, канючекъ. Пустѣйшая была баба. Вотъ ее смѣло можно было упрекнуть въ лѣности! Она положительно выказывала явное нерасположеніе къ труду; даже дома рѣдко чѣмъ-нибудь занималась; вѣчно сидитъ, бывало, у сосѣдокъ или шляется по окрестнымъ деревнямъ, навѣщая кумушекъ; жалобы на бѣдность и сѣтованія на судьбу служили только придиркою къ тому, чтобы поболтать, языкъ поточить. Съ мужемъ жила она, однакожъ, смирно; мнѣ сказывали только, будто они никогда другъ съ другомъ не разговаривали; онъ молчитъ и она молчитъ, и все это не потому, чтобы имѣли они что-нибудь другъ противъ друга,—вовсе нѣтъ; такъ просто; говорить, видно не о чемъ было. Меня всегда удивляло, какъ, при такихъ странныхъ отношеніяхъ, могли у нихъ ежегодно рождаться дѣти;—а ежегодно рождались, семеро ребятишекъ было. Въ домѣ находилась еще мать Якова; но ее пока считать нечего; все равно, что была она, что нѣтъ. Она уже пятый годъ не сходила съ печки; параличъ свелъ ей лѣвую руку и ногу. Казалось бы, что при такой обстановкѣ, особенно при такихъ характерахъ, трудно ожидать въ этой семьѣ драматическаго эпизода; по всѣмъ даннымъ, этотъ Яковъ, поживши своею жалкою жизнью, долженъ бы сойти въ могилу, не оставивъ послѣ себя малѣйшаго слѣда, даже воспоминанія... Случилось, однакожъ, иначе; вотъ какъ это было.

„Одинъ изъ выселовскихъ мужиковъ, который былъ позажиточнѣе, нанялъ работницу. Взялъ онъ ее изъ-за рѣки, верстъ за десять, на какой-то миткалевой фабрикѣ. Женщина эта (она, забылъ вамъ сказать, была вдова и без-

дѣтна) пользовалась даже между фабричными не совсѣмъ благонадежной репутаціей: значитъ, ужъ хороша была. Ее знали въ околоткѣ подъ именемъ рябой Марѳутки.

„Послѣ того, какъ кончилась исторія, которую вамъ разсказываю, я имѣлъ случай ее видѣть; трудно представить наружность болѣе непривлекательную: лицо пухлое, рябое; носъ комомъ; изъ себя коротышъ какой-то; къ тому же, было ужъ ей лѣтъ сорокъ, можетъ даже и съ хвостикомъ. Но, несмотря на все это, въ выселкахъ нашлись поклонники. Марѳутка эта была, впрочемъ, баба бойкая, разбитная; она отлично играла на гармоникѣ, могла выплясывать часа по три безъ отдыха, знала наперечетъ всѣ мѣстныя пѣсни и обладала такимъ звонкимъ, пронзительнымъ голосомъ, что за версту отличишь его въ хороводѣ.

„Съ первыхъ же дней стала она какъ бѣсъ на выселкахъ: съ одними вступила въ тѣсную дружбу, съ другими успѣла поссориться. Число поклонниковъ замѣтно возрастало. Недѣли черезъ три послѣ ея прибытія, произошла даже маленькая свалка: она подралась съ одною изъ бабъ, которая, не знаю, основательно или неосновательно, но только приревновала ее къ мужу. Прошла Святая, наступила и пахота. Мужики стали выѣзжать въ поле; отправился и нашъ Яковъ съ ними.

„Въ одинъ изъ этихъ дней, мужикъ, нанимавшій Марѳу, послалъ ее за чѣмъ-то въ сосѣднюю деревню; дорога лежала черезъ тѣ самыя поля, на которыхъ работалъ народъ; нива Якова примыкала къ дорогѣ. Проходя мимо, Марѳа остановилась. До того времени, нужно замѣтить, Марѳа слова не сказала съ Яковомъ; по всей вѣроятности, рѣдко даже съ нимъ встрѣчалась; но, вѣроятно, она имѣла о немъ нѣкоторое понятіе, слышала, по крайней мѣрѣ, какъ надъ нимъ подтрунивали, и, проходя мимо, вздумалось ей въ свою очередь побалагурить. Бѣдность мужика, его вялая, кислая наружность служатъ вѣрнымъ подтвержденіемъ, что у Марѳы, кромѣ балагурства, не было другого повода вступать съ нимъ въ бесѣду. Какъ начался разговоръ, въ чемъ состоялъ онъ—неизвѣстно; но послѣ этой встрѣчи бесѣды ихъ стали повторяться. Хотя встрѣчи происходили какъ бы случайно, онѣ не ускользнули отъ глазъ любопытныхъ; это дало новую пищу смѣяться надъ Яковомъ. Марѳа сама, казалось, потѣшалась надъ нимъ вмѣстѣ съ другими; а между тѣмъ ло-

вила случаи попадаться ему на дорогѣ. Многіе видѣли, какъ иной разъ Яковъ торчалъ гдѣ-нибудь за угломъ или подлѣ рощи, переминался на одномъ мѣстѣ нѣсколько часовъ сряду и очевидно ждалъ чего-то; при встрѣчѣ съ кѣмъ-нибудь изъ крестьянъ, онъ вдругъ раскисалъ, щурился и съ пристыженнымъ, крайне жалкимъ и неловкимъ видомъ направлялся домой.

„Не могу сказать вамъ, какіе способы пустила въ ходъ Марѳа, чтобы приворожить къ себѣ, сбить съ толку и, наконецъ, совершенно погубить этого человѣка; послѣ говорили, будто все это случилось по наговору; она, говорили, опоила его какимъ-то зельемъ; но это пустяки, разумѣется. Еще труднѣе объяснить, какимъ образомъ страсть,—я говорю: страсть, потому что нельзя дать другого названія чувству, которое овладѣло Яковомъ, и, наконецъ, по заключенію этой исторіи, сами вы увидите, что одна безумная страсть въ силѣ одурманить до такой степени человѣка,—какимъ образомъ, повторяю вамъ, это вялое, повидимому совершенно безжизненное, кислое и робкое существо могло такъ сильно привязаться къ женщинѣ, которая явно вела постыдную жизнь,— словомъ, отвратительная была во всѣхъ отношеніяхъ. Началось съ того, что Яковъ пришелъ однажды домой безъ полушубка; онъ разсказалъ, что снялъ его и положилъ на межу передъ тѣмъ, чтобы сѣять; вернувшись къ межѣ, полушубка уже не было: его украли. Это случилось въ началѣ недѣли; въ слѣдующее затѣмъ воскресенье Марѳа явилась въ новомъ, красномъ какъ маковъ цвѣтъ, платкѣ и новыхъ котахъ.

„— Фу ты, какъ расфрантилась! говорили бабы,—откуда у тебя все это?..

„— Давно было; въ сундучкѣ лежало! возразила безъ малѣйшей запинки Марѳа; пухлое лицо ея лоснилось отъ удовольствія и багровѣло какъ красный сафьянъ.

„Въ этотъ день голосъ ея немолчно дребезжалъ на выселовской улицѣ; она превзошла самоё себя и въ пляскѣ, и въ пѣсняхъ. Въ скоромъ времени, со двора Якова, ночью, унесены были корыто, чугунокъ и лошадиная сбруя. Съ женою своею Яковъ не вступалъ почти въ объясненіе по этому предмету; но въ разговорѣ со старухой-матерью выказалъ рѣшительное недоумѣніе касательно того, какъ могли пропасть эти вещи: онъ въ эту ночь, какъ нарочно, спалъ на дворѣ. Спустя нѣсколько дней, у

Марѳы завелся новый передникъ, запонка, серьги и позументъ на подолѣ понёвы. Короче сказать, по мѣрѣ того, какъ у Якова происходили пропажи,—а такіе случаи повторялись чаще и чаще,—Марѳа покрывалась обновками... Ясно, что въ выселкахъ завелся воръ, который преимущественно избралъ домъ Якова, хотя въ этомъ домѣ меньше было чего взять, чѣмъ въ другихъ...

— Какой тутъ воръ! нетерпѣливо перебилъ толстякъ, поглядывая съ пренебреженіемъ на разсказчика, — какой воръ! Вамъ сказали: воръ!—вы этому и повѣрили... Этотъ же самый Яковъ, котораго вы такъ жалѣете, — онъ самъ таскалъ у себя! Утащитъ, мерзавецъ, продастъ, да Марѳѣ этой и купитъ обновку.

— Можетъ ли быть? спросилъ съ напряженнымъ изумленіемъ весельчакъ, переглядываясь со мною и разсказчикомъ.

— Разумѣется! возразилъ толстякъ.

— Они совершенно правы! подхватилъ разсказчикъ, сдерживая улыбку, — воръ точно былъ не кто другой, какъ Яковъ; объ этомъ давно даже догадались всѣ бабы; всѣмъ рѣшительно извѣстно было, что Яковъ тащитъ все изъ своего дома, закладываетъ у цѣловальника, — и на вырученныя деньги наряжаетъ Марѳу. Нашлись люди — стали ему выговаривать; но больше проходу не было отъ насмѣшекъ: стоило Якову на улицу высунуться — изъ-за угла ужъ непремѣнно кто-нибудь кричитъ: „Яковъ, ступай скорѣй, Марѳа дожидается!..“ и тому подобное. Смѣялись также и надъ Марѳой; но, вообще, она держала себя такъ бойко, такъ осаживала тѣхъ; кто приступалъ къ ней, что насмѣшки никогда не переходили за предѣлъ шутки; даже мужикъ, нанимавшій ее, не дѣлалъ ей замѣчаній; его останавливало вѣроятно опасеніе лишиться дешевой и ловкой работницы; потому что, надо сказать, Марѳа, мимо продѣлокъ своихъ, могла, когда хотѣла, заткнуть за поясъ самаго здороваго батрака. Замѣчательнѣе всего, что Яковъ не встрѣчалъ ни малѣйшаго препятствія со стороны домашнихъ; жена словомъ не обмолвилась,—виду не показывала, что что-нибудь знаетъ. Съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ открылись отношенія между Марѳой и Яковомъ, жена совсѣмъ почти дома не сидѣла; уйдетъ въ поле или къ рѣкѣ, ляжетъ ничкомъ на-земь и давай выть; голоситъ, словно по покойникѣ. Но чаще всего забиралась она къ дальнимъ родственникамъ и сосѣдямъ;

тамъ уже выгружала она свои горести и, казалось, тѣмъ охотнѣе это дѣлала, чѣмъ больше находилось слушателей. Мало или, вѣрнѣе сказать, вовсе почти не заботясь о дѣтяхъ, она колотилась теперь головою, говоря о нихъ; говорила, что вотъ пустилъ-де разбойникъ по міру сиротинокъ горькихъ; остались они, черви малые, одни какъ нива безъ огорода,—и проч., и проч. Дѣти, между тѣмъ, бѣгали по улицѣ оборванныя, неумытыя; весьма вѣроятно, часто даже бывали голодны... Разъ только, одинъ единственный разъ, старуха-мать Якова попрекнула сына. Приходитъ онъ въ избу; никого тамъ не было кромѣ старухи; по обыкновенію, лежала она на печкѣ.

„— Яковъ! говоритъ она.

„Онъ подошелъ.

„— Что, матушка?

„Надъ верхней перекладиной печки показалась сѣдая косматая голова и два мутные глаза пристально на него устремились.

„— Яковъ, произнесла старуха, не спуская съ него глазъ,—Яковъ, что ты это затѣялъ,—разбойникъ, а?..

„Больше ничего не сказала она; но самъ Яковъ признавался потомъ, что весь этотъ день ходилъ какъ шальной; словно тоска давила его, и онъ нигдѣ не находилъ себѣ мѣста. Но минулъ день—и все пошло опять своимъ порядкомъ.

„Передъ людьми и міромъ Яковъ оставался тѣмъ же робкимъ, безотвѣтнымъ, смирнымъ человѣкомъ; онъ постоянно молчалъ; знака сопротивленія не показывалъ, когда староста, не зная ужъ чѣмъ остановить его, переговоривъ предварительно со стариками, началъ водить его въ пустой сѣнной сарай и наказывать. Все это рѣшительно, однакожъ, ни къ чему не послужило. Стыдъ, совѣсть, самый страхъ,—все заглушала несчастная привязанность; это было что-то похожее на запой, противъ котораго всѣ средства оказывались безсильными. Въ домѣ его постепенно, одна за другою, исчезли: телка, двѣ овцы, горшки,—словомъ, все, что могло превращаться у цѣловальника въ наличныя деньги. Марѳа выходила по воскресеньямъ великолѣпная какъ пава, день-деньской грызла орѣхи; начали даже часто замѣчать ее навеселѣ. Наступило подъ конецъ совершенное разореніе; въ избѣ остались только лавки, стѣны, оборванные ребятишки, да старуха, которая, съ того дня, какъ сдѣлала первый намекъ

сыну, дала словно обѣтъ молчанія: слова не произносила она, хотя все видѣла, все замѣчала. Придутъ къ ней сосѣдки и родственницы, принесутъ ей и внучатамъ творожку или хлѣба, начнутъ разсказывать про сына, ругаютъ его, соболѣзнуютъ о дѣтяхъ, — старуха слова не промолвитъ: сидитъ, понуря голову, молчитъ, точно дѣло не до нея совсѣмъ. Она представляла совершенную противуположность снохѣ, которая всѣмъ уже надоѣла своими слезами и жалобами.

— Позвольте, почтеннѣйшій, позвольте, прервалъ толстякъ, насмѣшливо прищуривая заплывшіе свои глазки,— какъ же вы-то, вы, сударь мой, никакихъ мѣръ не принимали противъ такого безпорядка?..

— Признаюсь, я самъ хотѣлъ сдѣлать вамъ тотъ же вопросъ, замѣтилъ маленькій господинъ.

— Къ сожалѣнію, меня въ ту пору не было. Я пріѣхалъ домой къ концу уборки, когда Яковъ дошелъ уже до того положенія, о которомъ я говорилъ вамъ. Первымъ распоряженіемъ моимъ было отдать приказаніе, чтобы Марѳу непремѣнно выслали изъ выселокъ; потомъ велѣлъ я призвать Якова. Сначала я сильно было на него напустился; но подумавъ, въ ту же минуту, что всѣ эти разсказы о его продѣлкахъ могли быть преувеличены (мысль, которая невольно рождалась при воспоминаніи о его жизни и характерѣ), обезоруженный, сверхъ того, робкимъ, совершенно потеряннымъ видомъ этого человѣка, который стоялъ передо мной съ опущенною головою, дрожалъ какъ осиновый листъ и обливался холоднымъ потомъ,—я перемѣнилъ грозный тонъ на увѣщательный; всячески началъ я его усовѣщивать; говорилъ о грѣхѣ, о семействѣ, о голодныхъ дѣтяхъ, и такъ далѣе. Во все время онъ не проронилъ ни слова, не сдѣлалъ движенія: онъ казался убитымъ, подавленнымъ совѣстью и раскаяніемъ; изъ-подъ жиденькихъ волосъ, наполовину закрывавшихъ лицо его, я замѣтилъ слезы, которыя текли по щекамъ и разбѣгались по морщинамъ. Я выслалъ его, строго наказавъ старостѣ докладывать мнѣ о томъ, какъ пойдетъ теперь житье Якова.

„Прошелъ мѣсяцъ; я не слышалъ малѣйшей жалобы. Между нимъ и Марѳой, которая перешла версты за двѣ въ сельцо Лысково, прекратились, казалось, всѣ сношенія. Я начиналъ уже радоваться такой перемѣнѣ, какъ вдругъ узнаю, что все пошло опять на прежній ладъ;

узнаю, что Яковъ продалъ свою единственную лошадь, а деньги дѣвалъ неизвѣстно куда; должно-быть, Марѳѣ отдалъ. Теперь необходимо слѣдовало уже рѣшиться на энергическую мѣру; но, признаюсь, въ чемъ должна была состоять эта мѣра—я не могъ придумать. Отдать въ солдаты человѣка сорока пяти лѣтъ не было возможности; посадить въ острогъ, хотя бы временно, нельзя безъ причины, установленной закономъ; не говоря уже объ отвращеніи подвергнуть его домашнему наказанію (къ счастію, ограниченному правительствомъ), но и эта мѣра была уже приведена въ дѣйствіе безъ малѣйшей пользы. Отправилъ бы его на поселенье,—не принесъ бы я ровно никакой пользы его семейству. Кромѣ того, каждая изъ этихъ мѣръ казалась мнѣ черезчуръ ужъ сильною для человѣка, который хотя и служилъ худымъ примѣромъ остальнымъ крестьянамъ, хотя требовалъ наказанія, но самъ по себѣ не сдѣлалъ ничего особенно-рѣзко преступнаго. Съ нашей пошлой привычкой судить легко или рутинно о нравственныхъ свойствахъ простого класса, я вѣрить не хотѣлъ въ искренность Якова; я не предвидѣлъ, чѣмъ все это могло кончиться; напротивъ, хотя было не до смѣху,—мнѣ смѣшнымъ казался этотъ новый кавалеръ Дегріе, явившійся у меня въ выселкахъ. Какъ бы то ни было, я не зналъ, на что рѣшиться. Вотъ, однакожъ, чѣмъ все это кончилось.

„Впослѣдствіи объяснилось, что въ этотъ послѣдній мѣсяцъ между Марѳою и Яковомъ вышла разладица. Причиной была, разумѣется, Марѳа; ей безъ сомнѣнія въ голову не приходило, не могла даже понимать она и думать о томъ, какого рода чувство влекло къ ней бѣднаго мужика; видя, что взять съ него больше нечего, она стала вдругъ отъ него отбиваться. Кроткій нравъ мужика поощрялъ ее дѣйствовать грубо и безцеремонно. Она усвоилась въ деревнѣ Лысковѣ такъ же скоро, какъ въ выселкахъ, и такъ же скоро нашла тамъ обожателей. Она попалась Якову въ рощѣ (роща отдѣляла Лысково отъ выселокъ), попалась ему съ работникомъ лысковской мельницы. Раза два потомъ Яковъ, слѣдившій за нею украдкой, видѣлъ, какъ входила она въ кабакъ вмѣстѣ съ тѣмъ же работникомъ. Обращеніе ея съ Яковомъ, когда онъ началъ упрекать ее, проникнуто было дерзостью и наглостью самою возмутительною; она какъ бы не понимала, чего хотѣлъ отъ нея мужикъ, съ чего онъ къ ней при-

вязывался. Яковъ, между тѣмъ, день ото дня дѣлался сумрачнѣе. Это замѣтила его жена, мать и многіе даже изъ постороннихъ людей. Всѣ они сами потомъ говорили объ этомъ. Въ такомъ-то положеніи, вѣроятно, онъ и рѣшился продать лошадь. Можетъ-быть тутъ ревность дѣйствовала; но всего вѣроятнѣе, какъ человѣкъ слабый, безхарактерный, не могъ онъ совладать съ собою, не могъ перенести мысли о разлукѣ. Ослѣпленный страстью, онъ впередъ не загадывалъ; страхъ и послѣдствія, ожидавшія его послѣ продажи лошади—все это исчезало при одной надеждѣ, что авось-либо Марѳа снова съ нимъ сойдется, авось все пойдетъ у нихъ, хоть на время, да пойдетъ попрежнему, а тамъ, послѣ... но о томъ, что послѣ будетъ, онъ, вѣроятно, даже и не думалъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, кажется все это теперь, когда дѣло уже кончено. Кончилось это, какъ я вамъ сказывалъ, прошлою осенью.

„Выселовскіе мужики купили въ Лысковѣ десятину лѣсу для топлива. Пришли они ко мнѣ проситься на рубку. Я совѣтовалъ повременить, потому что день, выбранный ими, вовсе не отвѣчалъ такому дѣлу: вѣтеръ ревѣлъ въ поляхъ, какъ голодный волкъ, и безъ пощады рвалъ послѣдніе листья; на горизонтѣ видимо росли тяжеловѣсныя тучи; даль застилалась сумракомъ; холодно не было, но рука стыла на воздухѣ; все предвѣщало или грозу, или продолжительное ненастье. Я представлялъ имъ всевозможные резоны, говорилъ, что дорога изъ лѣсу идетъ въ гору, и что, въ случаѣ дождя, лошадямъ тяжко будетъ тащить возы, навьюченные лѣсомъ; говорилъ, что самыя дрова, смоченныя дождемъ, не просохнутъ до самаго снѣга; но нашъ мужикъ если ужъ что заломитъ, ничѣмъ его не удержишь: поставили на своемъ, поѣхали. Такъ какъ дѣло было мірское, съ ними отправился Яковъ. Началась рубка. Въ то же время, и въ томъ же лѣсу, лысковскія бабы собирали валежникъ; тутъ также и Марѳа была. Подсмотрѣвъ, когда она осталась одна, Яковъ подошелъ къ ней. Съ чего началось у нихъ—никто не знаетъ: надо думать, обращеніе Марѳы было черезчуръ уже грубо и жестоко, потому что самъ Яковъ возвысилъ голосъ; отъ словъ перешло у нихъ къ брани и, наконецъ, Яковъ, потерявъ, видно, терпѣніе, замахнулся и ударилъ ее въ лицо. Марѳѣ ничего не стоило отвѣтить тѣмъ же; но тутъ она вдругъ, ни съ того, ни съ сего, повалилась наземь и стала звать

на помощь; она кричала во всю мочь, что Яковъ убилъ ее до смерти. Когда прибѣжали на голосъ, Яковъ стоялъ у дерева; на разспросы товарищей онъ ничего не отвѣчалъ: у него точно языкъ отнялся. Марѳа, между тѣмъ, продолжала кататься по землѣ и кричала, что ее убили. Видя, что никакого толку изъ этого не выходитъ, только народъ смѣется, она встала, разразилась бранью и пошла своею дорогой; ее проводили насмѣшками, добрая часть которыхъ выпала, конечно, на долю Якова.

„Въ мірскомъ дѣлѣ, какъ и слѣдуетъ, впрочемъ, быть, не то, что на барщинѣ: время терять не любятъ, посмѣялись — и опять за работу. Но то, что я предсказывалъ мужикамъ, поневолѣ укоротило ихъ дѣятельность; къ полудню тучи окончательно заволокли небо, и дождь пошелъ, какъ изъ ведра. Нечего было думать продолжать работу.

„Вернувшись домой, Яковъ показался домашнимъ чуднымъ какимъ-то; такъ они сами потомъ выразились. Не касаясь уже того, что онъ ни съ кѣмъ слова не молвилъ, ему не сидѣлось на мѣстѣ: то встанетъ, то сядетъ, то выйдетъ въ сѣни, то обойдетъ вокругъ двора, и снова придетъ въ избу; и все это дѣлалъ онъ безо всякой причины, самъ, повидимому, не сознавая даже того, что̀ дѣлалъ. Рѣка у насъ не очень далеко: сто̀итъ обогнуть крестьянскія риги и пройти лугъ. Яковъ нѣсколько разъ отправлялся на рѣку. Движимая любопытствомъ, возбуждаемымъ загадочнымъ поведеніемъ мужа, жена выходила изъ избы и за нимъ наблюдала: подойдетъ Яковъ къ рѣкѣ и начнетъ ходить взадъ и впередъ по берегу; или спустится къ водѣ, постоитъ-постоитъ, словно въ раздумьи какомъ-то, и снова на верхъ подымется. Разъ быстрыми шагами направился онъ къ рощѣ, совсѣмъ уже подошелъ къ опушкѣ, и снова вернулся въ деревню. Во все время дождь лилъ, не переста̀вая, вѣтеръ ревѣлъ съ тою же силой, какъ и утромъ. Яковъ ничего не замѣчалъ какъ-будто; онъ продолжалъ бродить у себя по двору и по окрестности. Наконецъ наступила ночь. Въ выселкахъ всѣ улеглись и заснули. Несмотря на то, что дождь и вѣтеръ превратились съ наступленіемъ ночи въ бурю, — Яковъ все еще не возвращался. Онъ пришелъ домой около полуночи; жена и дѣти давно спали. Онъ тихо вошелъ въ избу и сѣлъ на лавку.

„По прошествіи нѣкотораго времени, онъ всталъ, бе-

режно подобрался къ печкѣ, нащупалъ въ потемкахъ стремечки, по которымъ взбираются на печь, и сѣлъ подлѣ матери. Она не спала; но Яковъ не могъ разобрать этого: старуха лежала неподвижно и молчала. Руки Якова дрожали такъ сильно, что нѣсколько разъ провелъ онъ ими по воздуху, прежде чѣмъ нащупалъ старуху.

„— Кто тутъ? спросила она, какъ бы пробуждаясь отъ сна.

„— Я, матушка!..

„— Что ты?

„— Матушка, произнесъ Яковъ,—нѣтъ больше моей моченьки... Матушка, я убью ее!..

„— Кого? спросила старуха, сохраняя прежнюю неподвижность; только голосъ ея словно нѣсколько оживился.

„— Ты, матушка, продолжалъ Яковъ,—ты хоша ничего не говорила, но все видѣла,—видѣла все мое разоренье... мою погибель... Заѣла она всю мою жизнь, змѣя подколодная... Моченьки моей нѣту... я убью ее!..

„Выраженія Якова, при объясненіи съ матерью, были вѣроятно энергичнѣе, можетъ-статься совсѣмъ даже другія; приблизительно, въ общихъ словахъ, передаю то, что̀ слышалъ, что̀ показала потомъ сама старуха. Вообще во всей этой исторіи нѣтъ ничего вымышленнаго; точь-въ-точь разсказываю, какъ дѣло происходило въ дѣйствительности; слѣдствіе, которое при мнѣ происходило, и показанія дѣйствующихъ лицъ при допросѣ доставили мнѣ всѣ свѣдѣнія.

„Старуха-мать осталась, повидимому, совершенно безчувственною къ словамъ сына; она не сдѣлала малѣйшаго замѣчанія, слова не промолвила. Но когда Яковъ въ третій разъ повторилъ: „Матушка, я убью ее!..“ она медленно приподнялась на локтѣ, кряхтя и охая, слѣзла съ печки и принялась суетливо шарить въ углу, гдѣ стоялъ столъ. Яковъ слѣзъ также съ печи и слѣдовалъ за матерью. Старуха нащупала въ ящикѣ ножъ и молча сунула его сыну, который тотчасъ же бросился изъ избы.

„По прошествіи часу, выселовскій народъ пробужденъ былъ страшными криками; всѣ впопыхахъ высыпали на улицу. У околицы нашли Якова; онъ лежалъ ничкомъ на дорогѣ, страшно билъ себя кулаками въ грудь и голову, и кричалъ во весь голосъ: „Батюшки, вяжите меня!.. Я убилъ ее!.. Батюшки, вяжите! убилъ ее, убилъ!..“ Выбѣжавъ тогда съ ножомъ изъ избы, онъ пустился сломя го-

лову въ Лысково, ворвался въ клѣть, гдѣ спала Марѳа, и нанесъ ей сряду, одну за другою, восемнадцать ранъ!.. каждая была смертельна.

Съ послѣдними словами, толстый господинъ, слушавшій разсказъ очень равнодушно, разразился вдругъ противъ Якова самою энергическою, крупною бранью. Онъ какъ будто давно уже вывелъ свое заключеніе объ этомъ человѣкѣ и ждалъ только окончанія исторіи, чтобы высказаться. Но, къ великому удивленію нашему, тотчасъ же открылось, что помѣщикъ выходилъ такъ сильно изъ себя вовсе не потому, чтобы возмущалъ его поступокъ Якова; преступленіе само по себѣ было въ глазахъ его самою обыкновенною вещью: такіе случаи часто встрѣчаются, чего же и ждать отъ полудикаго человѣка!—негодованіе толстяка выходило совсѣмъ изъ другого источника: Яковъ настолько заслуживалъ вниманія и возбуждалъ негодованія, насколько шашни его и потомъ убійство навлекли хлопотъ, безпокойствъ и неудовольствій барину; шутка платить теперь за него и семейство подушныя до слѣдующей ревизіи! А слѣдствіе-то!—слѣдствіе, котораго не было бы безъ этого мошенника Якова и которое такъ убыточно для вотчины и слѣдовательно для помѣщика! Словомъ, во всей этой исторіи толстякъ видѣлъ одного только барина; у него не было другой точки зрѣнія. Мораль его объясненій состояла въ томъ, что послабленія покуда не годятся и ведутъ только, неминуемо ведутъ помѣщика къ убыткамъ и непріятностямъ.

— У васъ, сударь мой, заключилъ онъ,—у васъ, судя по тому, какъ вы о народѣ судите, люди попросту отъ жиру бѣсятся, — именно отъ жиру! У меня бы этого не случилось; нѣтъ, шутишь! Заведись такой мужикъ, я бы далъ ему Марѳу!.. Этотъ вашъ Яковъ просто мошенникъ, я вамъ скажу; бестія продувная, сударь мой!.. да-съ, продувная бестія, который такъ только смирнячкомъ прикидывался! А вы еще заступаетесь, сударь мой, да еще жалѣете...

— Конечно, жалѣю, какъ и слѣдуетъ жалѣть всякаго человѣка, который почему бы то ни было гибнетъ; но не знаю, съ чего вы берете, что я заступаюсь! возразилъ разсказчикъ, — я привелъ этотъ фактъ единственно потому, что рѣчь, если помните, зашла у насъ о страстяхъ въ простомъ классѣ народа...

— Какія тутъ страсти, сударь мой! какія страсти! не-

терпѣливо перебилъ толстякъ тономъ пренебреженія,— все это баловство одно... Какія нашли вы еще страсти!..

— Полноте, господа! ну, стоитъ ли спорить объ этомъ! воскликнулъ маленькій собесѣдникъ, — повѣрьте, вы ихъ не убѣдите! подхватилъ онъ, обратившись къ разсказчику и мигая на толстяка,—пусть каждый остается при своемъ мнѣніи... Знаете ли что? чѣмъ спорить, разскажу-ка я вамъ лучше другую исторію... Она отчасти идетъ подъ ладъ той, которую мы сейчасъ слушали... Тутъ, съ одной стороны, дѣйствуетъ крестьянка, простая деревенская дѣвушка; съ другой—сынъ богатаго фабриканта: малый грамотный, взросшій посреди достатка, даже нѣкоторымъ образомъ шлифованный. Вы говорили, что развитіе и образованіе умягчаетъ человѣческую природу, что страсти человѣка образованнаго невольно уже какъ-то принимаютъ облагороженную форму... Предстоитъ увидѣть, насколько внѣшняя шлифовка или полуразвитіе лучше, въ нравственномъ смыслѣ,—насколько лучше они самаго полнаго невѣжества... промолвилъ онъ, украдкой взглянувъ на толстяка.—Предупреждаю васъ, происшествіе, о которомъ пойдетъ рѣчь, еще трагичнѣе того, которое вы разсказывали... оно такого рода, что будь здѣсь барышня, я бы не сталъ передавать его... Хотите слушать? Вѣдь все равно, въ ожиданіи парома намъ нечего дѣлать...

Одинъ толстякъ не согласился, казалось, съ такимъ мнѣніемъ; онъ предпочелъ, повидимому, возлечь на перину и предаться сладкому отдыху. Увидѣвъ, что я и господинъ въ коричневомъ пальто просили начать исторію и приготовлялись слушать, онъ остался на своемъ стулѣ.

— Дѣло, господа, происходило въ Ярославской губерніи, началъ маленькій господинъ, откашливаясь,—тамъ, какъ вы вѣроятно знаете, сплошь и рядомъ попадаются деревни, въ которыхъ почти совсѣмъ нѣтъ мужиковъ: они не живутъ дома. Бо́льшая часть молодцовъ, которые въ Москвѣ, Петербургѣ и губернскихъ городахъ покрикиваютъ: „Пельсины, лимоны хорошъ!..“ — „Вотъ садова ма-а-лина!..“ и проч.; бо́льшая часть того народа, который погуливаетъ по городскимъ улицамъ съ лотками на головѣ, а по проселкамъ — съ коробами за спиною; всѣ почти лавочники, зеленщики, пивовары, цѣловальники, мелкіе торгаши,—спросите у любого изъ нихъ: откуда?— онъ почти навѣрное скажетъ: ярославецъ! Домой, на побывку, приходятъ они по большей части въ зиму. Въ де-

ревняхъ остаются однѣ бабы, дѣвки, ребята да старики, которымъ бродячая жизнь уже не подъ силу.

„Въ одной изъ такихъ деревень жило, между прочимъ, семейство, состоящее изъ бабы и ея дочери, дѣвушки лѣтъ семнадцати; мужъ бабы, отецъ дѣвушки, торговалъ въ Петербургѣ. Мать держала дочь въ большой строгости; это бы еще куда ни шло; но дѣло въ томъ, что строгость эта имѣла характеръ самый безсмысленный и безтолковый; сама мать, впрочемъ, была женщина въ высшей степени взбалмошная, отчасти даже глуповатая, — съ придурью, какъ въ деревняхъ говорится. Сегодня, напримѣръ, привязывается ко всякой бездѣлицѣ; дочь шагу не смѣй ступить безъ спросу, не смѣй выйти на улицу,—ругаетъ ее наповалъ, какъ съ дубу рветъ; упрекаетъ ее въ такихъ вещахъ, которыя дѣвушкѣ даже во снѣ не грезились; иной разъ даже и поколотитъ; и все это безъ всякаго основанія, такъ себѣ, здорово живешь! Въ другое время, опять-таки безъ причины, ластится къ дочери, сама съ ней заговариваетъ и всячески выхвалять станетъ. Бѣдная дѣвушка рѣшительно сбивалась съ толку и не знала, какъ приноровиться къ матери. Такая безтолковщина въ обращеніи съ дѣтьми безпрерывно встрѣчается въ простонародьи; живя въ деревнѣ, на каждомъ шагу видишь такого рода сцены: положимъ, ребенокъ заплакалъ, мать сломя голову кидается на него съ вѣникомъ: „Ахъ ты, пострѣлъ окаянный! Уймешься ли ты?.. вотъ же тебѣ! вотъ тебѣ!.. Перестань, говорятъ! перестань!.. Ну, на пирожка... на пирожка... А, такъ ты вотъ какъ, не унимаешься!.. Вотъ же тебѣ!.. вотъ тебѣ!..“ и вѣникъ снова пускается въ ходъ; потомъ опять слышно: „Ну, уймись!.. ну, на пирожка...“ и т. д.

„Въ серединѣ лѣта, когда случилась исторія, мать удвоила вдругъ строгость; покажись ей, что между дочерью и однимъ очень молоденькимъ парнемъ, который доживалъ послѣднее лѣто въ деревнѣ, завелись шашни. Собственно говоря, особенныхъ шашней не было; дѣвушка находилась неотлучно при матери, и если встрѣчалась съ парнемъ, такъ только на улицѣ и при народѣ. Могло статься, что парень часто торчалъ подлѣ дѣвушки; чаще другихъ ловилъ ее, играя въ горѣлки. Но глупой взбалмошной бабѣ довольно было подозрѣній; не разспросивъ, не вывѣдавъ дѣла, она накинулась на дочь, и съ того же дня стала запирать ее на ночь въ лѣтничекъ, родъ клѣти,

которая примыкала къ сѣнямъ. Какъ только пригонятъ скотину, отдоятъ коровъ, отужинаютъ и уберутся, старуха ведетъ дочь въ лѣтникъ и запираетъ ее тамъ на запоръ вплоть до зари.

„Около этого времени въ деревнѣ явилось новое лицо, сынъ фабриканта изъ той же губерніи. Явился онъ вотъ по какому случаю: отецъ его купилъ у владѣтеля деревни нѣсколько десятинъ земли, съ цѣлью выстроить фабрику для тканья полотенъ. Началась стройка; но вскорѣ другія заботы отозвали старика, и онъ послалъ на свое мѣсто сына; хотѣлось, видно, ему начать пріучать парня къ дѣлу. Парню стукнуло уже двадцать-два года: до настоящей минуты онъ сидѣлъ въ лавкѣ, отмѣривалъ холстъ и ситецъ и перемигивался съ мѣщанками. Основываясь, вѣроятно, на томъ, отецъ далъ ему въ руководители и помощники своего приказчика. Пріѣхавъ въ деревню, хозяйскій сынъ и приказчикъ помѣстились наймомъ въ избѣ одного крестьянина.

„Отношенія между молодымъ человѣкомъ и приказчикомъ были такого рода: послѣдній постепенно, втихомолку отъ родителей, потакалъ дурнымъ наклонностямъ перваго: этимъ способомъ онъ совершенно овладѣлъ молодымъ человѣкомъ; онъ влѣзъ къ нему въ душу и какъ хотѣлъ, такъ и вертѣлъ имъ. Все это дѣлалось, разумѣется, неспроста; приказчикъ имѣлъ свои виды; хозяинъ былъ старъ; сынъ долженъ былъ наслѣдовать всѣмъ имѣньемъ. Вообще этотъ приказчикъ былъ мошенникъ и плутъ первой руки; кромѣ того, что онъ развращалъ сына, онъ и отца обкрадывалъ; впрочемъ, хорошъ былъ также и молодой купчикъ; они другъ друга стоили, несмотря, что послѣднему минуло только двадцать-два года.

„Дня два-три послѣ пріѣзда въ деревню, приказчикъ выводитъ купчика на улицу и говоритъ:—„Ну, говоритъ, какая только здѣсь есть дѣвушка,—чудо! говоритъ. Передъ ней всѣ эти бабы, что вы вечоръ выхваляли, самая, то-есть, выходитъ мразь,—сволочь нестоющая!..“—„Какая дѣвушка? Гдѣ?..“ спрашиваетъ купчикъ. Приказчикъ указываетъ на избу бабы, которая жила съ дочерью и о которой я вамъ сказывалъ. Купчикъ случайно увидѣлъ дѣвушку; она ему очень понравилась. Началъ онъ ухаживать; караулилъ ее на улицѣ, старался заговаривать при встрѣчахъ, прохаживался мимо оконъ; изо всего этого вышло только то, что юноша чаще видѣлъ кулакъ

матери, высунутый изъ окошка, чѣмъ самую дочку. Дѣвушка, съ своей стороны, или пряталась, или попросту отворачивалась. Быть-можетъ, поступала она такимъ образомъ изъ страха; скромность, робость также можетъ-быть тутъ дѣйствовали; безъ этихъ послѣднихъ свойствъ не могла бы она выносить такъ безропотно обращеніе взбалмошной матери. Ничего нѣтъ мудренаго, если невниманіе дѣвушки происходило также отъ того, что въ самомъ дѣлѣ нравился ей молодой парень, за котораго такъ доставалось ей отъ матери. Какъ бы тамъ ни было, купчикъ отъѣхалъ ни съ чѣмъ, какъ говорится. Онъ передалъ свои неудачи приказчику. „Ничего, говоритъ тотъ, — это значитъ не такъ взялись за дѣло; манера не годится; надо взять дѣло въ другую сторону; ничего, наша будетъ; не извольте ничего себѣ безпокоиться! Вы, говоритъ, главное, виду теперь не показывайте... дайте мнѣ уладить дѣло... Практика эта намъ знакома!..“ Узнавъ отъ хозяйки, а также и отъ другихъ бабъ, подробности о житьѣ-бытьѣ матери и дочери, приказчикъ выдумалъ такую штуку: молодой человѣкъ долженъ былъ пробраться въ лѣтничекъ до того времени, пока мать не запретъ тамъ дочку; ему слѣдовало завалиться куда-нибудь за лавку, за сундукъ, и во всю ночь пролежать такъ смирно, чтобы дѣвушка никакъ не могла подозрѣвать его присутствія; онъ долженъ былъ показаться тогда только, когда мать отворитъ лѣтникъ, чтобы выпустить дѣвушку. Купчикъ рѣшительно не понималъ, къ чему ведетъ такая штука; приказчикъ сказалъ, чтобъ онъ только слушался; слушаться будетъ — увидитъ, къ чему поведетъ выдумка. Въ тотъ же вечеръ купчикъ и его товарищъ прокрались къ ригѣ матери; выждавъ минуту, когда старуха и ея дочь вышли на улицу встрѣчать стадо,—купчикъ бросился въ лѣтникъ и спрятался; приказчикъ повторилъ ему свои наставленія и скрылся.

„Съ наступленіемъ ночи, мать, какъ это обыкновенно дѣлается, запираетъ дѣвушку; молодой человѣкъ слышитъ, какъ она раздѣвается и ложится спать; онъ находился отъ нея въ какихъ-нибудь двухъ-трехъ шагахъ, но не отступилъ, однакожъ, ни на волосъ отъ того, что говорилъ приказчикъ: во всю ночь не повернулся, не кашлянулъ. На зарѣ дѣвушка одѣлась и стала стучаться въ дверь. Въ ту самую секунду, какъ старуха отворила лѣтникъ, купчикъ ловко вышелъ изъ своей засады и показался подлѣ дѣвушки...

„Предоставляю вамъ самимъ судить объ изумленіи матери и особенно дочери. Не успѣла бѣдная дѣвочка прійти въ себя, мать яростно на нее бросилась и принялась колотить ее на-смерть; послѣ этого старуха какъ бы вдругъ очнулась, повернулась къ купчику и повалилась ему въ ноги:—Батюшка, говоритъ, не погуби только! взмилуйся, касатикъ!.. никому не разславляй, батюшка, объ этомъ дѣлѣ! не срами, касатикъ! никому не разсказывай!..“

„Молодой человѣкъ, смекнувши, къ чему могла повести выдумка приказчика, поспѣшилъ успокоить старуху: онъ клялся, что ничего никому не скажетъ, и съ того же утра смѣлѣе приступилъ къ дѣвушкѣ. Въ отвѣтъ на это, она только заливалась-плакала и осыпала его проклятіями. Жизнь ея сдѣлалась окончательно невыносимою: съ одной стороны неотступно приставалъ купчикъ, который внушалъ ей страхъ и ужасъ, съ другой—не было житья отъ матери, которая била ее съ утра до вечера. Приказчикъ между тѣмъ не переставалъ разспрашивать, какъ идутъ дѣла. Купчикъ сначала лгалъ: говорилъ, что все идетъ превосходно, что дѣло увѣнчалось блистательнѣйшимъ успѣхомъ; но разъ какъ-то, послѣ сотаго неудачнаго приступа, передалъ ему всю правду. „Объ ней нечего думать“, совѣтуетъ приказчикъ, „главная статья—больше на мать напирайте; постращайте хорошенько старуху-то; скажите, что обо всемъ размолвите по деревнѣ; увидите,—дѣло тогда само собою сладится“.

„Молодой человѣкъ согласился, что дѣло точно пойдетъ тогда вѣрнѣе; но прежде, однакожъ, чѣмъ исполнить совѣтъ, попытался онъ обратиться сначала снова къ дѣвушкѣ и взять лаской. Дѣвушка, какъ и прежде, слышать ничего не хочетъ. Юноша приходитъ разъ къ старухѣ и говоритъ:

„— Послушай, говоритъ, тетка, что жъ она?.. Коли денегъ понадобится, мы въ этомъ не постоимъ; и подарки, и все такое... я хоть сейчасъ. А только не вели ей ломаться... Теперь ужъ поздно, говоритъ.

„Старуха опять бухъ въ ноги:

„— Кормилецъ, молчи только, не сказывай! Мужъ узнаетъ—убьетъ до смерти... Ахъ она дура этакая, проклятая!..

„Накидывается она опять на дѣвушку и давай бить. Та только рыдаетъ, да головой о стѣны стукается. Такого рода сцены повторялись разъ и два; дѣло все-таки не

двигалось, вопреки обѣщаніямъ совѣтчика. Потерявъ наконецъ терпѣніе, юноша объявляетъ напрямикъ матери, что если дочь станетъ еще ломаться, — онъ рѣшительно начнетъ разсказывать по деревнѣ обо всемъ случившемся. Малый, какъ видно, былъ съ характеромъ. Объясненіе это происходило вечеромъ, послѣ пригона скотины. Купчикъ, дѣйствуя, вѣроятно, по совѣту приказчика, нарочно выбралъ такое время; онъ какъ будто не сомнѣвался уже въ успѣхѣ и билъ навѣрняка. Началось съ того, что мать снова бросилась таскать дѣвушку; она пришла въ такое бѣшенство, что, не случись тутъ купчика, она сдѣлала бы дочь калѣкой. Послѣ этого, старуха силою втаскиваетъ дочь въ лѣтникъ, кланяется въ ноги купчику, умоляетъ его молчать, сама ведетъ въ лѣтникъ и запираетъ съ дочерью...

„Очутившись наединѣ съ дѣвушкой, купчикъ замѣтилъ не безъ удивленія, что она уже болѣе не плачетъ. Ободренный этимъ, начинаетъ онъ разговаривать. Она не бранитъ его, не проклинаетъ, какъ прежде; она даже не отворачивается. Какъ окаменѣлая стоитъ она подлѣ постели; изрѣдка, подъ платкомъ, накинутымъ на плечи и совсѣмъ почти заслоняющимъ лицо ея, пробѣгаетъ судорожная дрожь; юноша объясняетъ себѣ это робостью и, ободренный болѣе и болѣе, садится подлѣ нея; она не дѣлаетъ даже сопротивленій, когда онъ начинаетъ обнимать ее. Не отвѣчая на его ласки, не смотря на него, не произнося ни слова, она совершенно ему покоряется. Одного только никакъ не могъ онъ добиться: не могъ онъ добиться отъ нея живого слова, она точно онѣмѣла. Впрочемъ, не много заботился онъ объ этомъ. На зарѣ, когда старуха отворила лѣтникъ, торжествующее лицо купчика доказывало, что онъ былъ очень доволенъ собою. Оставивъ дѣвушку въ лѣтникѣ, онъ отозвалъ старуху въ избу; ему хотѣлось сдѣлать ей подарокъ. Въ ту минуту, какъ онъ полѣзъ въ карманъ за деньгами, — въ дверяхъ неожиданно показалась дѣвушка. Лицо ея было блѣдно, растрепанные волосы разсыпались по плечамъ, въ чертахъ проступало такое отчаяніе, что мать и самъ купчикъ испугались. Дѣвушка сдѣлала два шага, взглянула на мать, произнесла проклятіе, схватила, какъ бы въ безпамятствѣ какомъ-то — схватила себя руками за голову и кинулась изъ избы. Мать пустилась за нею вдогонку; дѣвушка какъ словно исчезла; купчикъ присоединился къ старухѣ;

стали искать: обошли всѣ закоулки, обшарили ригу — нигдѣ нѣтъ; начали разспрашивать сосѣдей: не видалъ ли кто?— никто не видалъ... Словомъ, искали весь день — и нигдѣ не нашли. Къ вечеру только отыскалась она... отыскалась—на днѣ пруда, который тянулся за деревней...— Ну, какъ вы объ этомъ скажете? заключилъ разсказчикъ, неожиданно обращаясь къ толстяку. — Какъ вы скажете: съ чего утопилась эта бѣдная дѣвушка? Что̀ заставило ее поступить такимъ образомъ?..

— Съ чего утопилась? возразилъ толстякъ съ невыразимымъ спокойствіемъ. — Извѣстно, съ чего утопилась,— сдуру!..

— Вы рѣшительно, стало-быть, отвергаете въ простомъ человѣкѣ всякаго рода благородныя движенія души и даже чувство честности? воскликнулъ господинъ въ коричневомъ пальто, вдругъ разгорячаясь, такъ что краска выступила на лицѣ его.— По-вашему, надо думать, люди только тѣ, которые, какъ мы съ вами, носимъ халаты, куримъ табакъ, земли не пашемъ, въ избѣ не живемъ, нужды не терпимъ, да знаемъ, что есть на свѣтѣ Франція и были когда-то римляне?.. Мы одни, стало-быть, подхватилъ онъ, не замѣчая нашихъ взглядовъ, которые ясно говорили ему о безполезности такихъ объясненій,— одни мы можемъ чувствовать благородно и думать по-человѣчески?.. На чемъ же вы все это основываете? Вы человѣкъ уже пожилой, не можете же вы говорить безъ основанія...

— Эхъ, господа, перестаньте Бога ради! охота же вамъ! снова вмѣшался, и съ тою же поспѣшностью, какъ и прежде, маленькій господинъ. — Разговоры такого рода рѣшительно ни къ чему не ведутъ; вы ихъ не убѣдите, они— васъ; убѣждать, слѣдовательно, безполезно... Не лучше ли, право, чтобы кто-нибудь изъ васъ разсказалъ еще какую-нибудь исторію? Самое краснорѣчивѣйшее разсужденіе, какъ сказалъ одинъ изъ нашихъ писателей, не сто̀итъ самаго мелкаго разсказа, взятаго только изъ дѣйствительной жизни, и который могъ бы служить фактомъ... Только фактъ что-нибудь значитъ, остальное все туманъ... Основываясь на этомъ, позвольте, я разскажу вамъ происшествіе, которое пришло мнѣ на память. Я разсказываю плохо, но вы простите неловкость, мѣшковатость слога за смыслъ. Къ тому же, я нахожу, мы довольно уже говорили о мужикахъ... Кромѣ того, все, что̀ ни говорилось, про-

никнуто было какимъ-то мракомъ, чѣмъ-то дикимъ, грубымъ, необузданнымъ... Для разнообразія разскажу исторію изъ другого быта: начать съ того, что исторія эта не мрачнаго свойства; и потомъ, тутъ идетъ рѣчь о людяхъ, которые... ну, да вы сейчасъ увидите... присовокупилъ онъ, окидывая насъ лукавымъ взглядомъ и какъ бы приглашая не спускать глазъ съ толстяка, къ которому, какъ казалось, преимущественно хотѣлъ онъ обратить рѣчь.— Вотъ въ чемъ дѣло: верстахъ въ трехъ отъ меня жили, и теперь еще, слава Богу, живутъ и благоденствуютъ два помѣщика; одного зовутъ Кондѣй Ильичъ, другого—Михайло Васильичъ; фамиліи ихъ вамъ знать не для чего; онѣ не громки и притомъ не придадутъ интереса разсказу; безъ нихъ обойдемся. Кондѣй Ильичъ человѣкъ вида могущественнаго, сановитаго, ростъ богатырскій, косая сажень въ плечахъ; весь онъ точно цѣликомъ изъ дубоваго пня вырубленъ; въ жизнь не видалъ я такихъ огромныхъ ступней, такихъ кулаковъ и мускуловъ, какъ у Кондѣя Ильича; его, кажется, ядромъ не убьешь. Михайло Васильичъ представляетъ изъ себя человѣка тоже коренастаго, но коротенькаго, съ глазами, которые какъ словно чему-то изумились и застыли навсегда въ такомъ видѣ. Въ характерѣ Кондѣя Ильича есть что-то героическое, соотвѣтствующее его осанкѣ; онъ смѣлъ, отваженъ, дѣйствуетъ всегда напроломъ и рѣшителенъ въ высшей степени. Случается ли ему, напримѣръ, разсердиться на Михайла Васильича,—а это случается часто,—онъ тотчасъ же отыскиваетъ его, идетъ къ нему, и съ прямотою, свойственною благороднымъ людямъ, говоритъ: „Ты подлецъ и скотина!“ Михайло Васильичъ обыкновенно ничего на это не отвѣчаетъ; не можетъ онъ вообще похвастать храбростью и прямизною нрава; онъ скорѣе беретъ умомъ и хитростью. Разсердившись на сосѣда, онъ тщательно всегда скрываетъ настоящія свои чувства, старается даже избѣгать его, но, съ той же минуты, бѣжитъ на мельницу, къ приказчику сосѣдней деревни, къ понамарю и другимъ лицамъ, и наскажетъ всегда такихъ ужасовъ про Кондѣя Ильича и его семью, что у робкихъ людей пробѣгаетъ холодъ въ затылкѣ. У Кондѣя Ильича девять душъ; у Михайла Васильича семь; каждому изъ этихъ мужей уже около пятидесяти лѣтъ; словомъ, оба почтеннаго возраста.

„Съ лѣтами, враждебныя чувства, которыя питаютъ они другъ противъ друга, нимало не умягчаются: напро-

тивъ; съ годами вражда только усиливается; она, надо думать, перешла къ нимъ по наслѣдству отъ родителей, которые точно такъ же ненавидѣли другъ друга и разъ такъ даже шибко схватились, что сбѣжавшіеся шестнадцать мужиковъ того и другого никакъ не могли разнять ихъ.

„Впрочемъ, самая обстановка двухъ помѣщиковъ такого рода, что неминуемо должна разжигать ихъ другъ противъ друга; дома ихъ, поставленные еще покойными родителями, находятся на разстояніи шести саженъ; они обращены лицомъ другъ къ другу и раздѣляются дворикомъ. До сихъ поръ не рѣшено, кому принадлежитъ дворикъ. Объ этомъ обстоятельствѣ спорили одинаково безуспѣшно отцы и теперь спорятъ дѣти; какъ тѣ, такъ и эти, сотни разъ прибѣгали къ мѣстному начальству и подавали несчетное число прошеній о томъ, чтобы разъ навсегда опредѣлили, кому владѣть дворикомъ; мѣстное начальство являлось, но всякій разъ, какъ между родителями, такъ и между настоящими владѣльцами, подымалась такая война, что начальство отказывалось напрямикъ отъ всякаго посредничества; оно уже радо было, когда могло растащить ссорившихся. Какъ Кондѣю Ильичу, такъ и Михайлу Васильичу нѣтъ ни малѣйшей надобности въ этомъ дворикѣ; ими въ этомъ случаѣ управляетъ та мысль, что тотъ, кто уступитъ дворикъ, дастъ случай восторжествовать надъ собою врагу; другой причины не существуетъ. Какъ бы тамъ ни было, несчастный дворикъ служилъ и служитъ основою и театромъ всѣхъ событій, совершающихся въ этомъ уголкѣ нашего уѣзда, который, не мѣшаетъ замѣтить, богатъ такими уголками. Раздраженіе одного семейства противъ другого такъ сильно, что самое неуловимое обстоятельство способно подлить масло въ огонь. Бываетъ вотъ какъ: индѣйскій пѣтухъ Кондѣя Ильича, прогуливаясь по двору, станетъ, напримѣръ, противъ оконъ Михайла Васильича, распушитъ хвостъ и буркнетъ свою пѣсню; Михайло Васильичъ принимаетъ это тотчасъ же въ обидную для себя сторону.—Мошенники, говоритъ, нарочно подучили его!

„Въ ту же секунду, изъ-за угла летитъ на пѣтуха палка; супруга Кондѣя Ильича стремится на выручку пѣтуха; супруга Михайла Васильича выбѣгаетъ къ ней навстрѣчу; на крикъ изъ обоихъ домовъ вылетаютъ какъ пули, одинъ за другимъ, Кондѣй Ильичъ и Михайло Ва-

сильичъ: за ними бѣгутъ дѣти, потомъ золовки, свояченицы (у обоихъ число душъ собственной семьи втрое превышаетъ число душъ крестьянъ). Черезъ минуту дворъ представляетъ одну движущуюся кучу людей, изъ которой во всѣ стороны торчатъ и болтаются руки, ноги и головы. И хорошо еще, если бъ одинъ дворикъ служилъ театромъ и поводомъ для такихъ сценъ! Управляемые тѣмъ же чувствомъ, которое мѣшаетъ имъ покончить съ раздѣломъ дворика, они до сихъ поръ еще остаются черезполосными; ихъ, если хотите, давно размежевали, вырыли даже межевыя ямы и столбы поставили; но это ни къ чему не служитъ; такъ бываетъ, впрочемъ, у многихъ помѣщиковъ, которые не чета Кондѣю Ильичу и Михайлу Васильичу. Кондѣй Ильичъ подозрѣваетъ, что Михайло Васильичъ подкупилъ землемѣра; Михайло Васильичъ питаетъ съ своей стороны тѣ же подозрѣнія: оба владѣютъ тѣми же участками, какими владѣли ихъ отцы и прадѣды. Рига Кондѣя Ильича до сихъ поръ открывается на землю Михайла Васильича; бабы Михайла Васильевича полощутъ бѣлье въ пруду сосѣда; народъ и семья Кондѣя Ильича пользуются водою изъ колодца Михайла Васильича. При малѣйшей ссорѣ, Михайло Васильичъ ставитъ у колодца мужика съ дубиной; Кондѣй Ильичъ бѣжитъ къ пруду, принимаетъ героическую позу, машетъ кулаками и кричитъ:

„— Подойди только,—разобью вдребезги!..

„Однимъ словомъ, вражда, существовавшая нѣкогда между Иваномъ Иванычемъ и Иваномъ Никифорычемъ Гоголя, ровно ничего не значитъ противъ той, которая существуетъ между Кондѣемъ Ильичемъ и Михайломъ Васильичемъ.

— Что это вы, сударь мой, разсказываете! позвольте вамъ замѣтить, промолвилъ толстякъ съ замѣтнымъ неудовольствіемъ;—гдѣ вы видѣли такихъ помѣщиковъ?..

— Если вамъ не угодно вѣрить, что во всемъ этомъ не прибавлено ни одного слова, не выдумано ни одной черты,—не хотите ли сдѣлать мнѣ честь отправиться со мною ко мнѣ въ деревню; мы отсюда всего шестьдесятъ верстъ; намъ даже можетъ-быть по дорогѣ; я сочту за особенное удовольствіе познакомить васъ съ Кондѣемъ Ильичемъ и Михайломъ Васильичемъ; пожалуй, познакомлю васъ и съ другими, которые ни въ чемъ имъ не уступаютъ... Господа, промолвилъ маленькій разсказчикъ, обратясь къ намъ, — неужто вы также не даете вѣры

моему разсказу? Неужто вамъ не случалось встрѣчать такихъ помѣщиковъ, какъ мои сосѣди?

Господинъ въ коричневомъ пальто вѣрилъ совершенно; мало того: онъ насчиталъ до десятка Кондѣевъ Ильичей въ своемъ уѣздѣ; я съ своей стороны вызвался познакомить присутствующихъ также съ десяткомъ лицъ, которыя шли совершенно подъ-стать героямъ, описаннымъ разсказчикомъ.

— Можетъ, и есть такіе, только я не видалъ, не приводилось!.. пробормоталъ толстякъ.—И наконецъ, какіе же это помѣщики?.. такъ, мелюзга какая-то...

— Конечно, мелюзга, но все же они помѣщики!...

— Семь душъ всего! какіе помѣщики! упорствовалъ толстякъ, — это тоже мелочь, которую вотъ этотъ вашъ Гоголь описывалъ... они не идутъ въ счетъ...

— Ну, нѣтъ: сосчитайте-ка ихъ, — кушъ выйдетъ порядочный! перебилъ господинъ въ коричневомъ пальто.— А вы Гоголя читали? перебилъ онъ.

— Читалъ; такъ же все преувеличиваетъ и во всемъ прибавляетъ... Такихъ людей, какъ онъ описываетъ, никогда не было...

— Ну, этого опять также нельзя сказать! подхватилъ господинъ въ коричневомъ пальто, который обращался теперь къ толстяку неохотно и явно раздражался, когда говорилъ съ нимъ. — По-моему, напротивъ, нельзя не согласиться, что Гоголь не только не увеличивалъ, но даже смягчалъ, значительно смягчалъ каждое лицо, которое описывалъ; это особенно относится къ помѣщикамъ. Выставляя Собакевичей и Ноздревыхъ, онъ, если смѣю такъ выразиться, беретъ только одну сторону своихъ героевъ; они гадки и пошлы, какъ частныя личности. Описывая нашего брата, русскаго помѣщика, — одной этой стороны мало. Представьте себѣ, во сколько разъ Собакевичи и Ноздревы показались бы намъ гаже, если бъ Гоголь захотѣлъ выставить ихъ не только какъ мужей, отцовъ семейства, словомъ, какъ частныхъ лицъ,—но еще и какъ помѣщиковъ? Всякій изъ насъ помѣщикъ. Въ этомъ отношеніи мы находимся въ исключительномъ положеніи; положеніе это такъ тѣсно вяжется съ нашимъ существованіемъ, отъ него въ такой зависимости наша жизнь, что, описывая одно, необходимо коснуться другого, чтобы описаніе было полно. Я могу быть отличнымъ отцомъ и сквернымъ помѣщикомъ; примѣрнымъ мужемъ и, изъ любви къ женѣ, разорять крестьянъ, покупая женѣ

шляпки и шали, и т. д. Гоголь не трогалъ этой стороны своихъ героевъ по многимъ причинамъ. Выставь-ка онъ Собакевича и Ноздрева, какъ помѣщиковъ, — они, можетъ-быть, превратились бы въ злодѣевъ; Гоголю не хотѣлось этого... Мнѣ, признаться, всегда жаль, что онъ не дѣлалъ этого... Повторяю: наша жизнь слишкомъ тѣсно связывается съ этимъ помѣщичьимъ положеніемъ, оно играетъ въ нашемъ обществѣ слишкомъ большую роль, чтобы можно было упускать его изъ виду, описывая нашего брата! По-моему, невозможно даже имѣть вѣрнаго понятія о комъ-нибудь изъ насъ, не руководствуясь въ отношеніи другъ къ другу такимъ соображеніемъ, или, пожалуй, пословицей: покажи на дѣлѣ, каковъ ты помѣщикъ,—и я скажу тебѣ, что ты за человѣкъ!

— Совершенно справедливо! подхватилъ маленькій господинъ, — именно: дай мнѣ только понять, каковъ ты, какъ помѣщикъ, — и я скажу, что ты за человѣкъ! присовокупилъ онъ, украдкою взглянувъ на толстяка. — Но, послушайте, хотя я скажу теперь общее мѣсто, истину, давно уже всѣмъ извѣстную: заслуга Гоголя останется все-таки неизмѣримо-огромна! Уже одно то, что онъ внесъ въ нашу литературу правду! — правду, которой до него не было, и которая не мѣшаетъ Гоголю быть великимъ поэтомъ! Положимъ, выставилъ онъ частныхъ лицъ, какъ вы говорите, но зато какъ поразительно они вѣрны въ смыслѣ общечеловѣческомъ! Что ни лицо—то типъ! Онъ точно собралъ всю нашу братью, раздѣлилъ по кучкамъ, каждую кучку посадилъ въ особую клѣтку и сказалъ: это Собакевичи, это Маниловы, это Чичиковы, и т. д.,— просто клеймо положилъ! Многіе до сихъ поръ еще не любятъ Гоголя, именно, кажется, за эту сортировку! У меня, напримѣръ, тысяча душъ, я задаю обѣды, задираю свой глупый носъ, кричу на выборахъ; Гоголь объяснилъ каждому, что я не кто другой, какъ Собакевичъ; меня иначе не зовутъ, какъ Собакевичемъ; согласитесь, это очень вѣдь непріятно!.. добавилъ маленькій господинъ, засмѣялся и снова бросилъ косвенный взглядъ на толстяка, который сидѣлъ, мрачно насупивъ брови, и дышалъ особенно тяжело какъ-то; — но мы, однакожъ, далеко зашли, господа! Позвольте кончить мою исторію. Кондѣй Ильичъ и Михайло Васильичъ, точно такъ же, какъ жены ихъ, свояченицы, тёщи и проч., чрезвычайно, между тѣмъ, заботились о томъ, какъ думаютъ и что

говорятъ объ нихъ сосѣди; дома дрались они, какъ какіе-нибудь бойцы и мясники; внѣ дома оба лѣзли изъ кожи, чтобы казаться настоящими помѣщиками. Съ семьей и девятью душами не уѣдешь далеко по части важности; тщеславіе — плохая пожива! Для поддержки общественнаго мнѣнія, Кондѣй Ильичъ держитъ пару кобылъ, на которыхъ подкатываетъ къ церковной паперти, или является на ярмарки со своимъ семействомъ; у Михайла Васильича одна только лошадь, и, вмѣсто тарантаса, телѣжка; но къ телѣжкѣ своей придѣлалъ онъ складныя подножки, какъ у тарантаса, и выкрасилъ ее темнобурой краской; на лошади щегольская сбруя, съ мѣдною оковкою, которая такъ сіяетъ на солнцѣ, что рѣшительно ослѣпляетъ глаза. Оба, на ярмаркахъ и на городскихъ праздникахъ, поминутно выходятъ изъ своихъ экипажей, забѣгаютъ на видныя мѣста и кричатъ кучеру: „Эй, подавай!“ Особенно надо любоваться Кондѣемъ Ильичемъ и Михайломъ Васильичемъ, когда они входятъ въ церковь, сопровождаемые своимъ семействомъ. Кондѣй Ильичъ гордо, важно проходитъ всегда мимо помѣщиковъ; нужно видѣть, какъ, ведя свое семейство, расталкиваетъ онъ вправо и влѣво народъ, заслоняющій дорогу, и съ какимъ озабоченнымъ видомъ говоритъ: „Посторонись! посторонись!“ Михайло Васильичъ ведетъ себя гораздо деликатнѣе: при входѣ въ церковь, онъ оставляетъ семью, протискивается къ каждому помѣщику и, все равно, знакомъ ли онъ съ нимъ, или нѣтъ, протягиваетъ наотмашь руку и освѣдомляется о здоровьи. Онъ старается внушить всѣмъ, что онъ свой братъ. Онъ и жена его ведутъ тѣсную дружбу съ дьячкомъ и дьякономъ, нарочно съ тою цѣлью, чтобы въ концѣ обѣдни имъ, время отъ времени, подносили просвиру. Когда въ первый разъ удостоились они этой чести, жена Кондѣя Ильича вошла тотчасъ же въ тѣснѣйшія сношенія съ попадьей; теперь просвиру подносятъ какъ женѣ Кондѣя Ильича, такъ и женѣ Михайла Васильича.

„Несмотря, однакожъ, на толчки свои и величавый видъ, Кондѣй Ильичъ пользуется въ народѣ несравненно большею популярностью, чѣмъ сосѣдъ его. Кондѣй Ильичъ держитъ себя такъ гордо передъ мужиками и бабами только при постороннихъ,—особенно передъ помѣщиками; дома живетъ онъ за панибрата со своими мужиками: ходитъ къ нимъ въ избу, пируетъ у нихъ на крестинахъ и свадьбахъ, хлебаетъ съ ними щи изъ одной чашки

и проч.; онъ вообще невзыскателенъ въ работѣ, и если иной разъ котораго изъ нихъ поколотитъ, то это скорѣе потому, что онъ не въ духѣ, чѣмъ на основаніи какой-нибудь другой причины; мужики не ставятъ ему этого въ укоръ; они любятъ Кондѣя Ильича. Михайло Васильичъ никогда не дерется, но зато обращеніе его сухо и холодно; фамильярность съ крѣпостными считаетъ онъ несовмѣстною съ достоинствомъ дворянина и помѣщика; онъ требуетъ, главное, чтобы мужикъ и баба уважали его; требуетъ, чтобы называли его бариномъ, жену его барыней, дѣтей барченками; любитъ, чтобы мужикъ, при видѣ его, снималъ издали шапку, а баба отвѣшивала низкій поклонъ. Мужикъ и баба терпѣть его не могутъ, называютъ его гордецомъ, чуфарой...

„Но оставимъ все это; надо вамъ передать теперь одно маленькое событіе, которое случилось прошлой осенью; въ событіи этомъ нѣтъ ничего, кромѣ самаго обыкновеннаго. Это было въ сентябрѣ; не помню, они изъ-за чего-то опять поссорились. Михайло Васильичъ, по принятому издавна правилу, пустился тотчасъ же къ мельнику, управителю и понамарю; но потому ли, что злоба бушевала въ немъ сильнѣе обыкновеннаго, или находился онъ въ особомъ припадкѣ вдохновенія,—онъ наговорилъ такихъ ужасовъ про сосѣда, что подъ конецъ самъ даже испугался. Разсказы легко могли дойти до слуха Кондѣя Ильича; съ нимъ, какъ извѣстно, шутить было не совсѣмъ выгодно. Михайло Васильичъ, съ дѣтства, можно сказать, питалъ къ нему непобѣдимый страхъ, и чувство это, хотя тщательно имъ скрываемое, служило главнымъ основаніемъ ненависти къ сосѣду; что жъ мудренаго — отъ одного взгляда Кондѣя Ильича могъ бы, кажется, вскочить волдырь на лицѣ врага; ударъ долженъ былъ превращать врага въ блинъ! Подъ вліяніемъ своихъ опасеній, Михайло Васильичъ цѣлыя трое сутокъ не выходилъ изъ дому; онъ передалъ женѣ свои мысли; на общемъ семейномъ совѣщаніи рѣшено было прекратить разъ навсегда всѣ сношенія съ злодѣемъ (такъ звали могучаго Кондѣя Ильича). Для этой цѣли, Михайло Васильичъ, въ ту же ночь, собралъ своихъ семерыхъ мужиковъ, настрогалъ кольевъ, нарубилъ хворосту, и до зари воздвигъ плетень, который заслонилъ домъ его отъ дома врага. Все это было превосходно придумано; оставалось удивляться, какъ до сихъ поръ подобная мысль

не приходила въ голову хитрому Михайлу Васильичу; но, къ несчастію, въ горячкѣ своей Михайло Васильичъ не сообразилъ одного обстоятельства: плетень какъ разъ пришелся противъ риги врага! Иначе, впрочемъ, нельзя было устроить; заднія ворота риги Кондѣя Ильича отворялись на землю сосѣда; рига стояла подлѣ дома.

„На другое утро, Кондѣй Ильичъ выходитъ съ мужиками вѣять рожь; отворяютъ ворота риги, чтобы дать ходъ вѣтру;—„что за чортъ,—плетень!“ Не сомнѣваясь, что это было сдѣлано съ цѣлью досадить ему, Кондѣй Ильичъ подошелъ къ плетню, приперъ плечомъ и своротилъ его; но усиліе, употребленное имъ, не было разсчитано; онъ потерялъ балансъ и рухнулся вмѣстѣ съ плетнемъ на-земь. Не успѣлъ онъ очнуться, какъ Михайло Васильичъ налетѣлъ на него со всѣхъ ногъ и далъ ему оплеуху. Такая необычайная рѣшимость и храбрость со стороны Михайла Васильича объясняется тѣмъ, что уже слишкомъ много, вѣроятно, накипѣло злобы въ его сердцѣ; имъ овладѣло, надо думать, что-то въ родѣ корсиканской вендетты, какая-то необузданная жажда мести и бѣшенства. Кондѣй Ильичъ вскочилъ на ноги, взглянулъ, замахнулся — и Михайло Васильичъ лежалъ уже разбитый вдребезги у ногъ врага; на крикъ сбѣжались жены, золовки, свояченицы и дѣти; картина, какъ можете судить, была торжественная; все умолкло; наступила тишина; но это только была тишина передъ грозою. Полчаса спустя Михайло Васильичъ, перевязанный и упакованный, сидѣлъ въ расписной телѣжкѣ своей и катилъ во всю мочь по дорогѣ къ уѣздному городу; за нимъ поспѣвалъ во всѣ лопатки Кондѣй Ильичъ въ своемъ тарантасѣ. Оба стремились къ губернскому предводителю, который жилъ въ деревнѣ, подлѣ самаго города. Каждый выбивался изъ силъ, чтобы поспѣть первымъ. Они пріѣхали вмѣстѣ, однакожъ, вмѣстѣ ворвались въ прихожую предводителя и оттуда, послѣ доклада, вмѣстѣ бросились къ дверямъ, гдѣ и завязли.

„— Господа, сказалъ предводитель, смекнувъ въ чемъ дѣло, что, мимоходомъ сказать, было не легко, потому что оба помѣщика говорили въ одно время, опровергали клятвенно другъ друга, и раза два даже чуть-было не сцѣпились,—господа, я, право, не знаю, что мнѣ дѣлать!.. Отъ всѣхъ этихъ исторій я начинаю терять голову... Не говоря уже о срамѣ, потому что, господа, вы все-таки

дворяне... но... но такого рода исторіи служатъ еще сверхъ того дурнымъ примѣромъ... Ей-Богу, это ужасно...

„Предводитель обратился къ Михайлу Васильичу и просилъ разсказать обстоятельно, какъ было дѣло. Кондѣй Ильичъ тотчасъ же было вмѣшался, но предводитель попросилъ его помолчать до времени.

„— Помилуйте, ваше превосходительство, сказалъ Кондѣй Ильичъ,—за что же ему такое предпочтеніе?.. за что? вы прежде меня должны выслушать; я первый получилъ оскорбленіе!..

„— Можетъ-быть, можетъ-быть, возразилъ предводитель,—но только я сужу по тому, что̀ вижу... Вашъ сосѣдъ разбитъ совершенно... тогда какъ вы невредимы... тутъ уже улика налицо...

„При этомъ, Кондѣй Ильичъ отступилъ три шага; сердце его закипѣло и переполнилось негодованіемъ; онъ скрестилъ руки на могучей груди своей и произнесъ голосомъ человѣка, сраженнаго несправедливостью судьбы и людей:

„— Ваше превосходительство, гдѣ же справедливость?.. чѣмъ же я виноватъ, что у меня тѣло крѣпкое и знаковъ не остается?..

— Ваше благородіе, парòмъ пригнали!.. неожиданно прокричалъ бородастый хозяинъ избы, появляясь въ дверяхъ...

Трудно передать дѣйствіе, которое произвело на всѣхъ насъ такое извѣстіе. Разсказчикъ остановился посреди своей фразы. Впрочемъ, и то надо сказать, вздумай онъ продолжать, никто, конечно, не сталъ бы его слушать; всѣ бросились къ шапкамъ, шинелямъ и калошамъ. Толстякъ, кряхтя и задыхаясь отъ суетливости, въ одно и то же время запахивалъ халатъ, убиралъ чайныя ложечки, запиралъ поставецъ и звалъ во весь голосъ лакея. Тишина въ избѣ, прерываемая только голосомъ разсказчика и рѣдкими возраженіями слушателей, уступила мѣсто страшной вознѣ, нетерпѣливымъ возгласамъ и суматохѣ.

Но что̀ значитъ этотъ переходъ отъ тишины къ вознѣ и шуму, сравнительно съ тою перемѣною, которая произошла между отношеніями присутствующихъ? Минуту назадъ, троихъ изъ насъ тѣсно какъ будто связывала одна общая мысль; мы невольно тянулись внутренно другъ къ другу; силою этой мысли чувствовали другъ къ другу что-то близкое, родственное; одинъ мигъ, одно слово, одно пустое восклицаніе: „парòмъ пригнали“,—и все это сродство такъ же неизгладимо исчезло, какъ дымъ, когда ду-

нетъ вѣтеръ; мы были уже чужими, перестали существовать даже одинъ для другого; самая мысль, которая сродняла насъ, была забыта. У всѣхъ была теперь одна мысль: какъ бы опередить другъ друга, поспѣть скорѣе на паромъ и занять тамъ удобное, покойное мѣсто. Что же осталось бы отъ этой мысли и куда дѣлось бы то святое чувство, которое пробудила въ насъ мысль, если бъ вмѣсто перспективы занять мѣсто на паромѣ,—передъ нами открылась бы другая, болѣе важная выгода?..

Минутъ черезъ пять, мы уже ощупью пробирались между возами и, завязая въ грязи, перегоняли другъ друга съ такимъ же комическимъ усердіемъ, какъ Кондѣй Ильичъ и Михайло Васильичъ, когда спѣшили они къ предводителю.

Извѣстіе о приходѣ парома привело улицу въ сильное движеніе. Посреди непроницаемаго мрака бурной, ненастной ночи, раздавались крики, брань, скрипъ телѣгъ и нескончаемое шлепанье по лужамъ; все рвалось къ рѣкѣ; безпорядокъ былъ невообразимый. Съ помощью локтей, иногда даже пинковъ, мы подвигались, однакожъ, благополучно. Никто изъ насъ не думалъ теперь о бѣдномъ мужичкѣ, который стоялъ подъ дождемъ; никому уже въ голову не приходило уступить этому мужичку то мѣсто на паромѣ, котораго ждалъ онъ нѣсколько сутокъ,—каждый изъ насъ, безъ сомнѣнія, встрѣтилъ бы съ насмѣшкою и негодованіемъ того, кто не шутя сдѣлалъ бы намъ такое предложеніе. А сколько между тѣмъ истиннаго, неподдѣльнаго жара было въ словахъ господина въ коричневомъ пальто! Какъ горячо мы ему сочувствовали и готовы были распинаться за наши убѣжденія! Какой же толкъ въ этомъ жарѣ и убѣжденіяхъ?

Первымъ нашимъ дѣломъ, какъ только вошли мы на паромъ, было сунуть скорѣе перевозчикамъ денегъ, чтобы они поскорѣе только отчаливали (въ этомъ случаѣ мы дѣйствовали, надо сказать, съ замѣчательнымъ единодушіемъ, и снова, казалось, одна общая мысль насъ на секунду связала). Причалъ ловко отняли, и мы благополучно отвалили отъ берега.

Дождь лилъ ливмя. Уныло гудѣлъ вѣтеръ, всплескивая волны рѣки, едва отдѣлявшейся отъ темныхъ, пустынныхъ береговъ и еще болѣе темнаго неба, которое облегало, казалось, всю землю и мрачно смотрѣло...

ПОЧТЕННЫЕ ЛЮДИ,

ОБРЕМЕНЕННЫЕ МНОГОЧИСЛЕННЫМЪ СЕМЕЙСТВОМЪ.

„Le désir universel et immodéré des emplois publics est la pire des maladies sociales; elle crée une foule d'affamés capables de toutes les fureurs pour satisfaire leur appétit, et propres à toutes les bassesses dès qu'ils sont rassasiés. Un peuple des solliciteurs est le dernier des peuples: il n'y a pas d'ignominie par où on ne puisse le faire passer."

Montalembert.

Вообще говоря, изъ числа „почтенныхъ людей"... Позвольте, впрочемъ, не лишнимъ будетъ сказать, что̀ послужило поводомъ къ наблюденіямъ надъ почтенными людьми.

Года два назадъ, случилось мнѣ послать въ лавочку купить стеариновую свѣчку; ее принесли завернутую въ листѣ, исписанномъ тѣмъ четкимъ почеркомъ, который называютъ обыкновенно канцелярскимъ. Съ первыхъ же строкъ рукопись возбудила мое любопытство; она заключалась въ слѣдующемъ:

„...Никогда не забыть мнѣ этого вечера! Онъ врѣзался неизгладимыми чертами въ моей памяти: насъ собралось человѣкъ тридцать, съ цѣлію составить подписку и основательно обсудить, кому заказать серебряный кубокъ, который рѣшено было поднести „въ знакъ признательности" начальнику, отставленному отъ должности за неспособность; такъ по крайней мѣрѣ разсказывали. Намъ очень хорошо извѣстно было, что это служило ему въ то же время наградой и повышеніемъ, потому-что ему давали

мѣсто несравненно болѣе значительное прежняго. Тѣмъ не менѣе, слухи о его неспособности, сдѣлавшіеся, такъ сказать, офиціальными, глубоко оскорбляли насъ и самымъ невольнымъ образомъ повергали общество въ состояніе, близкое къ унынію.

„Въ первую минуту, когда предложена была подписка, лица присутствующихъ изобразили отрадное воодушевленіе; помнится, начались горячія пренія, споры, увѣщанія съ одной стороны, крики и даже брань съ другой; но потомъ, когда чинъ, имя, отчество и фамилія послѣдняго изъ насъ занесены были на листъ и дѣло съ кубкомъ рѣшено было отдать Сазикову,—все какъ рукой сняло; воодушевленіе уступило мѣсто сосредоточенному раздумью, лбы нахмурились, и общество погрузилось въ молчаніе. Взглянувъ на насъ, можно было думать, что тутъ собрались не чиновники, но лица, „заѣденныя горькой средой“, короче сказать, такія лица, которыя, говорятъ, нынѣ въ большой модѣ. Скука была смертельная; чтобы покончить съ нею, двое-трое взялись уже за шляпы. Въ самую эту минуту, одинъ изъ присутствующихъ, молодой человѣкъ, только-что опредѣлившійся на службу, выступилъ впередъ, обвелъ глазами общество и обратился къ намъ съ такими словами: „Мнѣ кажется, господа, мы слишкомъ уже предаемся меланхоліи... чтобы разсѣять ее, предложу вамъ вопросъ, который давно вертится у меня на языкѣ: вамъ, безъ сомнѣнія, знакома общая всѣмъ намъ способность умиляться передъ тѣмъ, что въ сущности не заслуживаетъ плевка,—и главное: извѣстна та непомѣрная щедрость, съ какою готовы мы всегда надѣлять эпитетами: *почтенный*, *многоуважаемый*, *достойный*, и пр., — такихъ людей, которые не стоятъ выѣденнаго яйца... Желалъ бы я спросить васъ, милостивые государи, изъ какого источника вытекаютъ такія свойства?!...“

„Не могу вамъ передать, какъ непріятно подѣйствовала на меня эта выходка. Начать съ того, она была совершенно неумѣстна и, вдобавокъ, принадлежала человѣку, который былъ по лѣтамъ и чину моложе присутствующихъ и долженъ бы былъ держать себя скромнѣе всѣхъ. Наконецъ, самоувѣренность тона, что-то задорное и непочтительное, лежавшее въ основаніи предложеннаго имъ вопроса, — все это не заслуживало отвѣта. Къ сожалѣнію, не всѣ раздѣляли мой образъ мыслей. Нашлись люди, которые не постыдились возражать молодому выскочкѣ;

слово за словомъ, завязался общій разговоръ и, къ великому моему удивленію, въ немъ приняли участіе даже тѣ, на которыхъ привыкъ я смотрѣть съ уваженіемъ. Удивленіе мое возросло еще болѣе, когда я сталъ прислушиваться: одни приписывали щедрость въ отношеніи къ хвалебнымъ эпитетамъ—нравственной распущенности, другіе видѣли въ этомъ лѣнь; третьи — отсутствіе того начала, изъ котораго составляется общественное мнѣніе; четвертые основывали все на добродушіи, которое смѣясь называли: перележавшимъ гороховымъ киселемъ... да, это ихъ собственное выраженіе! И представьте, хотъ бы одинъ высказалъ настоящую причину, хоть бы одинъ нашелся объяснить все это великодушіемъ, столь свойственнымъ нашей природѣ!

„Быть-можетъ, я отсталъ отъ того, что̀ принято теперь называть прогрессомъ и современнымъ развитіемъ; но все равно, я сохраню до гробовой доски свои убѣжденія, я твердъ въ нихъ и горжусь ими! Еще въ дѣтствѣ, читая старинныя хрестоматіи, я всегда съ жадностью пробѣгалъ глазами страницу, гдѣ опредѣлялся характеръ народовъ:

Испанецъ—гордъ.
Французъ—легкомысленъ.
Итальянецъ—страстенъ.
Турокъ—ревнивъ.
Нѣмецъ—разсудителенъ.

и т. д., и когда доходилъ до опредѣленія: „Русскій—великодушенъ“, я гордо подымалъ голову, сердце мое билось сильнѣе, и слезы невольно струились по щекамъ моимъ.

„Всосавъ, такъ сказать, съ молокомъ подобное убѣжденіе, я, какъ вы можете себѣ представить, не могъ оставаться равнодушнымъ слушателемъ того, что̀ говорилось въ настоящую минуту; сердце мое вскипѣло отъ негодованія; я открылъ уже ротъ, чтобы высказать свое мнѣніе, но въ эту минуту выступилъ нашъ совѣтникъ, и я поневолѣ долженъ былъ замолкнуть.

„Предоставляю вамъ судить о моихъ чувствованіяхъ, когда я услышалъ слѣдующее:

„Милостивые государи“, сказалъ совѣтникъ голосомъ, покрывшимъ на минуту всѣ голоса (съ первыхъ его словъ и движеній я могъ заключить, что онъ, такъ же какъ и я, затронутъ за живое), „милостивые государи! Прислушиваясь къ сужденіямъ вашимъ по поводу вопроса...

страннаго вопроса... скажу болѣе, не совсѣмъ умѣстнаго вопроса, предложеннаго здѣсь молодымъ человѣкомъ, я, признаюсь, отказывался вѣрить ушамъ своимъ... Какъ! вы приписываете лѣности, нравственной распущенности и т. д. такія свойства нашего характера, которыя, можно сказать, служатъ лучшимъ его украшеніемъ! Да, милостивые государи, лучшимъ украшеніемъ! скажу болѣе: приносятъ намъ величайшую честь, потому-что настоящій источникъ этихъ свойствъ не лѣность, не распущенность, какъ вамъ угодно было выразиться, но то широкое, то безграничное великодушіе, которымъ природа, столь щедрая всегда въ дарахъ своихъ, такъ обильно надѣлила душу каждаго изъ насъ! Отвергать этого вы не можете, милостивые государи, ни въ какомъ случаѣ не можете! Не можете вслѣдствіе] того же самаго великодушнаго свойства, которое, я убѣжденъ, кроется въ сердцѣ каждаго изъ васъ!! Неужели то, что ежедневно свершается въ глазахъ вашихъ, не достаточно подтверждаетъ слова мои? Неужели, говоря объ этомъ, мнѣ нужно прибѣгать къ доказательствамъ?..." („Прибѣгайте! Прибѣгайте!" раздалось нѣсколько голосовъ; я взглянулъ на совѣтника: въ жизнь свою не видалъ я лица, сіявшаго болѣе благороднымъ чувствомъ.) „Доказательствъ!" воскликнулъ совѣтникъ, воодушевляясь и простирая впередъ руку: „доказательствъ!—они вездѣ, всюду, во всемъ, милостивые государи! Да, во всемъ!! Что скажете вы, напримѣръ, касательно общаго похвальнаго стремленія занимать видныя мѣста на службѣ отечества, — приносить для этой цѣли всевозможныя жертвы, тратить деньги, унижаться передъ людьми, которыхъ часто не уважаешь,—и все это—имѣя въ виду только пользу отечества? Что скажете вы о благородствѣ, съ какимъ вообще всѣ начальствующія лица отказываются отъ собственныхъ интересовъ въ пользу подчиненныхъ и нижнихъ чиновъ, ввѣренныхъ ихъ отеческому попеченію? Какое заключеніе выведете вы изъ того стократъ счастливаго случая, который занесъ меня въ провинцію на выборы ратниковъ во время крымской кампаніи? Я видѣлъ собственными глазами, какъ многіе изъ богатыхъ помѣщиковъ, удостоенные чести выбора въ ополченцы, въ защитники отечества, великодушно уступали мѣста свои бѣднѣйшимъ изъ своихъ собратовъ и даже потомъ награждали ихъ деньгами! Что доказываетъ все это?! Но зачѣмъ

итти такъ далеко? Возьмемъ хоть то обстоятельство, которое соединило всѣхъ насъ здѣсь, въ этой залѣ. Нашъ начальникъ (голосъ совѣтника понизился; онъ очевидно былъ тронутъ и не могъ громко выговаривать слова) лишается мѣста и въ то же время получаетъ другое, которое несравненно почетнѣе и даже выгоднѣе перваго! Что жъ это такое, если не великодушіе? (Правда! Правда! закричало нѣсколько человѣкъ). Требуются ли еще новыя доказательства, милостивые государи? продолжалъ благородный ораторъ, — требуются ли они?.. И наконецъ, милостивые государи, позвольте замѣтить: отвергая такъ легкомысленно присутствіе въ насъ великодушія, вы сами себѣ жестоко противорѣчили! Сколько разъ, при мнѣ, каждый изъ васъ давалъ эпитетъ *почтеннаго*, основываясь на томъ только, что у человѣка сѣдые волосы, и не разбирая того, что онъ шуллеръ и взяточникъ; сколько разъ, руководимые благороднымъ порывомъ души, говорили вы и писали: *достойный*, *многоуважаемый* такому господину, вся заслуга котораго состояла только въ томъ, что у него было много дѣтей!.. Наконецъ, не съ каждымъ ли изъ насъ, и чуть ли не каждый день, повторяется такое обстоятельство: сидимъ мы у себя дома или въ гостяхъ; рѣчь идетъ, положимъ, о какомъ-нибудь Петрѣ Петровичѣ. — Негодяй! говоритъ одинъ. — Отъявленный мерзавецъ! подхватываетъ второй.—Представьте... начинаетъ третій, и тутъ же разсказываетъ такой фактъ о Петрѣ Петровичѣ, что мурашки пробѣгаютъ по тѣлу. Въ самую эту минуту, въ дверяхъ показывается Петръ Петровичъ, и что жъ? Мы все забываемъ въ ту же секунду, бросаемся къ нему навстрѣчу, кричимъ: почтенный Петръ Петровичъ! сажаемъ его подлѣ себя, жмемъ ему руку и предлагаемъ карточку!.. Что же это такое, какъ не избытокъ того великодушія, которое, позвольте мнѣ повторить, составляетъ основу и вмѣстѣ съ тѣмъ лучшее украшеніе каждой истинно-возвышенной души!?!..“

„При послѣднихъ словахъ я долѣе уже не могъ владѣть собою; слезы хлынули изъ глазъ моихъ и, чтобы скрыть ихъ, я поспѣшилъ взять шляпу и выбѣжалъ изъ собранія...“

Здѣсь оканчивался листъ.

Признаюсь чистосердечно, чтеніе это было для меня чѣмъ-то въ родѣ „новаго слова“, — того самаго новаго слова, которое высказалъ А. Григорьевъ въ давнемъ *Москвитянинѣ;* оно мигомъ расширило мой кругозоръ и пере-

ставило мою точку зрѣнія въ отношеніи къ самому себѣ и всему меня окружающему. Я не подозрѣвалъ въ себѣ столько великодушія, или, скорѣе, столько нравственной распущенности, потому что доводы, представленные почтеннымъ совѣтникомъ, показались мнѣ скорѣе пристрастными, чѣмъ справедливыми.

До сихъ поръ мнѣ въ голову не приходило давать какое-нибудь значеніе эпитетамъ: „почтенный, многоуважаемый“ и проч.; я разсыпалъ ихъ по привычкѣ встрѣчному и поперечному; мало того: стоило назвать кого-нибудь при мнѣ „почтеннымъ“, я совершенно удовлетворялся такимъ опредѣленіемъ. „Почтенный“, думалъ я, „чего же больше? этимъ все сказано; господинъ этотъ заслуживаетъ отнынѣ и во вѣкъ полнаго моего уваженія?“ Успокоивая себя такимъ образомъ въ отношеніи къ почтеннымъ людямъ, изъ которыхъ состояло тогда для меня чуть ли не все человѣчество, я рисковалъ окончательно притупить свои наблюдательныя способности.

Прочитавъ рукопись, я съ того же дня далъ себѣ слово воздержаться отъ тупоумной довѣрчивости. Какъ только раздавалось подлѣ меня слово: „почтенный“, я настораживалъ уши какъ заяцъ, заслышавшій лай;—какъ молодой, или, все равно, старый писатель, который, войдя въ кофейную, наполненную народомъ, старается прислушаться къ сужденіямъ о его произведеніи, только-что напечатанномъ. Стоило спросить мнѣ: „кто этотъ господинъ?“ и получить въ отвѣтъ: „почтенный человѣкъ!“—я начиналъ уже подробно о немъ спрашивать, старался дать себѣ ясный отчетъ въ его дѣйствіяхъ, старался подбиться къ нему ближе, съ тѣмъ, чтобъ окончательно увѣриться, насколько онъ въ самомъ дѣлѣ заслуживаетъ почтенія.

Занятіе это увлекло меня. Мало-по-малу „почтенный человѣкъ“ сдѣлался моею спеціальностью. Я наблюдалъ его въ домашнемъ быту, на улицѣ, въ общественной жизни, на поприщѣ гражданской и военной службы.

Результатъ моихъ наблюденій былъ такого свойства, что прежнія мои вѣрованія положительно опрокинулись навзничь.

Теперь уже ясно для меня: какъ не все то золото, что блеститъ, такъ не все то почтенно, что носитъ такое названіе! Мысль стара, если хотите; но что же новаго подъ луною, если не считать мыслей и взглядовъ, заложенныхъ въ основаніе нашихъ журналовъ!

Такъ-какъ я каждый вечеръ записываю свои наблюденія, то у меня самымъ незамѣтнымъ образомъ составилась толстѣйшая рукопись. Современемъ, я издамъ ее въ свѣтъ подъ общимъ названіемъ: *Изслѣдованія о почтенныхъ людяхъ на поприщѣ гражданскомъ и въ частной жизни.*

Я преднамѣренно выпустилъ изъ нея все, что тамъ говорится о лицахъ дѣйствительно почтенныхъ. Выставляя ихъ въ контрастъ „сомнительнымъ или несостоятельнымъ почтеннымъ людямъ", я думалъ сначала этимъ способомъ достигнуть двухъ цѣлей: принести должную дань уваженія первымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ придать вторымъ больше рельефности. Разсудивъ, однакожъ, я нашелъ, что это будетъ совершенно лишнее: истинно почтенные люди не нуждаются въ защитѣ и даже уваженіи частныхъ лицъ; они совершенно довольствуются общественнымъ уваженіемъ; всякая похвала даже противна имъ, сколько я замѣтилъ. Что же касается до „несостоятельныхъ почтенныхъ людей", они сами по себѣ довольно ярки и выпуклы.

Не странно ли думать, однакожъ, что лица эти, несмотря на свою очевидную яркость, проскользали до-сихъ-поръ, такъ сказать, незамѣтно, или, по крайней мѣрѣ, мало останавливали на себѣ вниманіе наблюдателя!

Иначе, согласитесь, съ какой стати стали бы ихъ такъ часто мѣшать съ лицами точно почтенными, стали бы ихъ ставить на одну доску, давать имъ въ обществѣ одинаковое положеніе?

Вопросъ, очевидно, такъ важенъ, что давно требуетъ разрѣшенія.

И въ самомъ дѣлѣ, гдѣ же награда истинной добродѣтели, когда поминутно и съ такимъ легкомысліемъ навязываютъ ее встрѣчному и поперечному? Этимъ способомъ добродѣтель скоро потеряетъ всю свою цѣну. Это особенно обидно въ послѣднее время, когда, какъ нарочно, все дорожаетъ — даже самые обиходные, грубые жизненные предметы. Вы проживаете годы, не видите серебрянаго рубля, между тѣмъ какъ не проходитъ такого дня, чтобы не встрѣтить нѣсколько добродѣтельныхъ почтенныхъ людей.

Избытокъ одного и недостатокъ другого, — воля ваша, что-то подозрительно.

Скромно надѣемся, что книга наша, указывая, въ чемъ состоитъ, по нашему мнѣнію, несостоятельность многихъ почтенныхъ людей, удешевитъ ихъ въ глазахъ читателя

и тѣмъ самымъ возвыситъ тѣхъ, которые въ самомъ дѣлѣ заслуживаютъ названія „почтенныхъ“.

Для образчика приведемъ отрывокъ подъ названіемъ:

„Почтенные люди, обремененные многочисленнымъ семействомъ“.

Общія черты.

Лица, составляющія категорію „почтенныхъ людей, обремененныхъ многочисленнымъ семействомъ“, такъ многочисленны, оттѣнки, отличающіе ихъ другъ отъ друга, такъ разнообразны, что нѣтъ возможности опредѣлить ихъ физіономію положительными чертами, какъ это дѣлается, напримѣръ, въ нашихъ паспортахъ; скажутъ: „лицо круглое, носъ прямой, подбородокъ круглый, ротъ круглый, глаза сѣрые“,—и типъ русскаго человѣка бросается вамъ въ глаза словно отпечатанный.

Наконецъ, для насъ не столько нужна точность физическаго портрета, сколько нравственнаго.

Касательно внѣшности, достаточно будетъ сказать, что „почтенному человѣку, обремененному многочисленнымъ семействомъ“, бываетъ обыкновенно отъ сорока-пяти лѣтъ до семидесяти-пяти. Встрѣчаются, конечно, исключенія: есть люди, которые такъ рано женятся! Есть также старички, которые, перейдя даже за семидесятилѣтній возрастъ, сохраняютъ столько еще свѣжести и силы, что дѣйствуютъ совершенно самостоятельно и такимъ образомъ принимаютъ на себя всю отвѣтственность въ своихъ поступкахъ.

Въ обоихъ случаяхъ, какъ тѣ, такъ и другіе, вступаютъ въ категорію „несостоятельныхъ“ тогда только, когда дѣйствія ихъ отвѣчаютъ слѣдующей аксіомѣ: „каждый смертный, обремененный семействомъ, пользуется по всей справедливости названіемъ *почтеннаго* и неприкосновененъ до тѣхъ поръ, пока не проникается убѣжденіемъ, что многочисленность семейства даетъ ему несомнѣнное право на вниманіе общества и на полученіе доходнаго казеннаго мѣста“.

Изъ этого вовсе не слѣдуетъ заключать, что такъ-какъ одни достаточные люди могутъ не тяготиться семействомъ и обойтись безъ мѣста, — стоитъ быть бѣднымъ, чтобы поступить въ разрядъ „несостоятельныхъ“.

Вовсе не такъ.

Напротивъ, чѣмъ бѣднѣе семейный человѣкъ, тѣмъ

меньше у него шансовъ быть „несостоятельнымъ“. Какъ только самъ онъ не виноватъ въ своей бѣдности, онъ можетъ хлопотать о мѣстѣ сколько ему угодно, можетъ прибѣгать къ покровительству сильныхъ міра сего, можетъ даже, если найдетъ полезнымъ, трогать чувствительныя сердца частымъ повтореніемъ фразы: „обремененъ многочисленнымъ семействомъ!“ Крайность, нужда въ кускѣ хлѣба служатъ ему прямымъ оправданіемъ.

Когда бѣдный семьянинъ, получивъ мѣсто, перестаетъ канючить, довольствуется своимъ положеніемъ и, чтобы сохранить его, начинаетъ работать какъ лошадь, онъ прямо уже переходитъ въ разрядъ истинно-почтенныхъ людей, достойныхъ всякаго уваженія.

Въ первоначальной рукописи приведено было множество такихъ примѣровъ; но, какъ уже сказано, я выбросилъ ихъ, чтобы спеціально заняться лицами, которыя, бывъ совершенно обезпечены, идутъ тѣмъ не менѣе по стопамъ бѣдняковъ и дѣйствуютъ на основаніи вышеприведенной аксіомы. Но этого еще мало: чтобы попасть въ самый центръ круга „сомнительныхъ“, необходимо преслѣдовать свою цѣль съ особымъ упорствомъ, необходимо пускать въ ходъ интриги, давать взятки, краснорѣчиво говорить о собственномъ достоинствѣ и добродѣтеляхъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, тереться въ переднихъ, ползать и унижаться передъ сильными, необходимо сознавать собственное свое превосходство, какъ человѣка просвѣщеннаго, передъ бѣднякомъ, и оскорбляться тѣмъ, что онъ осмѣливается идти по одной дорогѣ съ вами; а главное, необходимо искать мѣста съ тѣмъ, чтобъ оно служило ступенью къ другимъ мѣстамъ, чтобы на всѣхъ этихъ мѣстахъ получать какъ можно больше жалованья и ровно ничего не дѣлать.

Послѣднее соображеніе даетъ уже право на генеральскій чинъ въ категоріи „несостоятельныхъ почтенныхъ людей, обремененныхъ многочисленнымъ семействомъ“.

Они представляютъ, такъ сказать, совершеннѣйшій антиподъ тѣхъ, которые стремятся занять мѣсто съ цѣлью работать и быть полезными; впрочемъ, такъ какъ послѣдніе легко еще могутъ заблуждаться насчетъ себя, могутъ основывать свои стремленія на личномъ самолюбіи и тщеславіи, вѣрнѣе будетъ сказать, что первые антиподъ тѣхъ, которыхъ въ ту или другую должность призываетъ общество, имѣющее несомнѣнныя доказательства въ ихъ способностяхъ, опытѣ, трудолюбіи и знаніи дѣла.

„Несостоятельные“, кромѣ независимаго состоянія, должны еще имѣть нѣкоторое общественное положеніе.

Это ясно.

Извѣстно, что сермяга, лохмотья, прорванные локти дѣйствуютъ болѣе на улицахъ, даже въ глухихъ переулкахъ, чѣмъ въ пріемныхъ и раззолоченныхъ салонахъ сильныхъ міра сего; имъ даже въ голову не можетъ придти туда затесаться.

Можно сказать безъ преувеличенія: нѣтъ почти общественнаго положенія, которое не давало бы своего числа индивидуумовъ въ категорію „несостоятельныхъ почтенныхъ людей“. Между ними въ изобиліи встрѣчаются помѣщики, домовладѣльцы, лица отставныя, служащія по разнымъ вѣдомствамъ, литераторы, музыканты, ученые и даже художники.

Здѣсь слѣдовало бы, по-настоящему, приложить таблицу, которая сразу опредѣляла бы, какое именно изъ этихъ общественныхъ положеній даетъ болѣе обильную цифру „несостоятельныхъ“; но пока еще нельзя этого сдѣлать. Вообще у насъ нигдѣ такъ не легко сбиться съ толку, какъ въ точномъ опредѣленіи общественнаго положенія. Не на каждомъ ли шагу встрѣчается, напримѣръ, такое обстоятельство:

— Кто этотъ господинъ? спрашиваете вы.

— N. N., литераторъ (или все равно, живописецъ).

— Такъ это онъ! Я много слышалъ о немъ и его семействѣ отъ одного помѣщика, который сосѣдъ ему по имѣнью. N. N., стало быть, не только литераторъ, но еще и помѣщикъ?..

— Да; но онъ рѣдко бываетъ въ своемъ помѣстьи.

— Отчего же? Тамъ бы, кажется, всего лучше было ему работать...

— А служба!

— Какая служба?

— Да вѣдь онъ служитъ въ министерствѣ!..

— Изъ какого же рожна онъ служитъ, прости Господи! Вѣдь онъ помѣщикъ и сверхъ того еще литераторъ: онъ зарабатываетъ деньги трудомъ и кромѣ того получаетъ доходы съ имѣнія; чего жъ ему еще?..

— Да, конечно... но, знаете, надо вникнуть въ его обстоятельства: онъ обремененъ такимъ многочисленнымъ семействомъ...

Прошу сказать послѣ этого, къ какому общественному

положенію причислить N. N.? Что онъ, литераторъ, помѣщикъ или чиновникъ?

Примѣчаніе. Семейные литераторы на службѣ преимущественно принадлежатъ къ разряду „несостоятельныхъ“. Кромѣ того, что литературный трудъ при талантѣ или трудолюбіи отлично теперь вознаграждается, литераторъ-чиновникъ подбивается всегда къ такому мѣсту, которое, прибавляя въ его жизни значительную долю комфорта, не отрывало бы его вмѣстѣ съ тѣмъ отъ поэтическихъ занятій. Замѣчено также, что служащій литераторъ болѣе другихъ раздражается, негодуетъ и считаетъ вопіющею несправедливостью, когда осмѣливаются его безпокоить служебными обязанностями, возлагаемыми на него крупнымъ жалованьемъ.

Гдѣ, на какой почвѣ, въ какихъ пространствахъ дѣйствуютъ по преимуществу „сомнительные почтенные люди“?

На это отвѣчать не трудно: отъ невскихъ береговъ до величаваго Эльбруса и даже дальше; отъ западныхъ нашихъ границъ вплоть до устья Амура.

Москва и, особенно, Санктъ-Петербургъ служатъ главнымъ театромъ дѣйствій.

Не имѣя возможности распространиться подробнѣе, раздѣлимъ общую семью „несостоятельныхъ“ на три главные разряда: 1) *неслужащіе*, 2) *тѣ, которые въ отставкѣ*, 3) *состоящіе на дѣйствительной службѣ.*

I.

Неслужащіе.

Передъ нами разстилаются во всѣ стороны неоглядныя поля; рожь давно выколосилась и переливается изъ края въ край золотыми волнами; надъ нею, въ голубомъ небѣ, звонко, весело заливаются жаворонки; теплый вѣтерокъ сладко щекочетъ ноздри нѣжнымъ запахомъ полевыхъ цвѣтовъ. Но что̀ значитъ этотъ ароматъ передъ тѣмъ, который носится надъ палисадникомъ помѣщичьяго дома? Домъ виднѣется въ сторонѣ отъ деревни и тѣшитъ глазъ своею красною тесовою крышкой, выступающею на темномъ фонѣ стараго липоваго сада. Какой милый, привлекательный видъ! Широкій балконъ защищенъ отъ солнца полосатыми маркизами; вы сходите шестью ступенями въ палисадникъ; оттуда открывается видъ на луга и прудъ съ наклоненными головастыми ветлами...

Пріятное впечатлѣніе нимало не нарушается при входѣ въ домъ; напротивъ того, хозяйка дома — милѣйшая изъ женщинъ; хозяинъ — добрѣйшій изъ людей; васъ обступаетъ толпа дѣтей, одинъ привлекательнѣе другого. Съ перваго взгляда вы убѣждаетесь, что жизнь проходитъ здѣсь въ мирѣ, довольствѣ, счастіи. Васъ ведутъ въ гостиную и усаживаютъ на мягкій диванъ; вокругъ разсыпаны въ изобиліи кипсеки, изящныя бездѣлушки, картины, обличающія тонкій вкусъ и высокую степень просвѣщенія.

Но не станемъ распространяться о жизни помѣщика; къ чему повторять то, что̀ столько разъ и притомъ съ такою поразительною вѣрностію описывалось нашими повѣствователями?

Разъ, въ этомъ домѣ, даже въ этой самой гостиной, происходитъ такой разговоръ:

— Сколько всего-на-все получаемъ мы въ годъ доходу? спрашиваетъ жена.

— Если считать сады и мельницу, выйдетъ около пяти тысячъ, возражаетъ мужъ, устремляя грустный взглядъ черезъ дверь въ палисадникъ, облитый солнцемъ, — какъ видишь, продолжаетъ онъ, — съ такими деньгами намъ невозможно жить въ Москвѣ или Петербургѣ и пользоваться всѣмъ, чѣмъ здѣсь пользуемся; здѣсь мы живемъ соотвѣтственно нашему положенію; тамъ, съ тѣми же средствами, принуждены будемъ жить чуть ли не бѣднякамі!.. А между тѣмъ, переѣхать необходимо; ты сама это знаешь: необходимо оставить этотъ домъ, который такъ милъ, необходимо проститься съ тихою жизнію, которая намъ обоимъ такъ по сердцу! Мы должны принести эту жертву для дѣтей... Ты, конечно, хорошо приготовила Катю и Машу, но обѣ уже въ такомъ возрастѣ, что имъ необходимъ фундаментальный учитель музыки; необходимъ также учитель англійскаго языка (теперь это неизбѣжно, всѣ учатся по-англійски), также учитель танцевъ; cela développe! Что жъ касается Пети и Васи, ими тоже пора серьезно заняться; я, конечно, готовъ былъ бы отдать ихъ въ пансіонъ, къ какому-нибудь хорошему учителю, который взялся бы приготовить ихъ основательно, готовъ былъ бы разстаться съ ними...

— Нѣтъ, нѣтъ, ни за что! съ жаромъ перебиваетъ жена.

— То-то и есть! И тебѣ больно, и мнѣ также. Изъ этого слѣдуетъ, что надо ѣхать въ столицу; но какъ это сдѣлать? Вотъ вопросъ... Какъ тамъ жить при нашихъ

теперешнихъ средствахъ?.. Другого выхода нѣтъ, какъ поступить на службу и занять какое-нибудь мѣсто...

— Какое же мѣсто? спрашиваетъ жена.

— Все равно, мой другъ: все равно, лишь бы только отвѣчало оно моему общественному положенію и, вмѣстѣ съ тѣмъ, позволяло при нашихъ обстоятельствахъ сводить концы съ концами...

Прислушиваясь къ такимъ разговорамъ, сколько разъ восклицалъ я внутренно: „Остановись, милѣйшій изъ людей! Остановись, не досказывай послѣдней мысли!! Разсуди, что любое мѣсто, которое ты такъ случайно займешь, требуетъ своего рода знанія и дѣятельности; подумай, что нѣтъ мѣста, которое не отвѣчало бы какой-нибудь общественной или государственной потребности, что̀ въ сущности одно и то же; не приготовленный удовлетворить этой потребности, ты выполнишь ее криво и косо, вѣроятно, совсѣмъ не выполнишь, и это будетъ еще лучшее изъ того, что̀ ты сдѣлаешь! Съ твоими пятью тысячами доходу, дѣти твои получатъ прекрасное образованіе; не встрѣчаемъ ли мы на каждомъ шагу дѣтей бѣдныхъ родителей, которые отлично воспитаны и образованы? Не часто ли видимъ мы, что чѣмъ больше стоили дѣти, тѣмъ меньше стоятъ они впослѣдствіи! Понимаю, что тебѣ грустно разстаться съ удобствами и комфортомъ, тебя окружающими; даже глубоко сочувствую этому; но какъ быть? пожмись немножко, поубавь барской спеси, принеси эту жертву для дѣтей, какъ самъ ты прекрасно выразился!..“

Вы спросите, можетъ-быть, почему я восклицалъ только внутренно и не высказывалъ своихъ мыслей явно друзьямъ моимъ?

Пробовалъ, неоднократно пробовалъ; но это обыкновенно ни къ чему не вело, или вело къ тому, что въ дружескія наши отношенія проникла такая порція холоду, которая окончательно ихъ замораживала.

Попробуйте-ка итти противъ убѣжденій, всосанныхъ съ молокомъ!—убѣжденій, которыя состоятъ въ томъ, что мѣста существуютъ исключительно для поправленія нашихъ домашнихъ обстоятельствъ; что казна и общество, располагающія мѣстами,—что-то въ родѣ богадѣленъ, гдѣ должны поить и кормить каждаго, кому только вздумается жить даромъ!

Все это столько разъ опрокидывало наповалъ собствен-

ныя мои убѣжденія, что я наконецъ упалъ духомъ и рѣшился никому ничего не говорить.

Иногда причина, заставляющая искать мѣсто, бываетъ такого рода:

Домъ, полосатыя маркизы, дѣти, палисадникъ, мягкій диванъ,—словомъ, вся внѣшняя и внутренняя обстановка могутъ, пожалуй, оставаться тѣ же; но только старшій сынъ Петенька ни за что не хочетъ учиться. Онъ переходитъ изъ одного пансіона въ другой, оттуда къ учителямъ, а между тѣмъ малому минуло уже шестнадцать лѣтъ.

На семейномъ совѣтѣ рѣшаютъ, наконецъ, опредѣлить его юнкеромъ; тутъ же, кстати, рѣшаютъ, что мальчикъ съ младенчества обнаруживалъ всегда военныя наклонности; папаша припоминаетъ, какъ обрадовался разъ Петя, когда ему подарили пушку, барабанъ и каску; бабушка утверждаетъ, что любимѣйшею игрой Пети были всегда оловянные солдатики; тётушка безъ слезъ припомнить не можетъ, какъ Петя всегда радовался, когда позволяли ему ѣздить верхомъ на сѣромъ коренникѣ и т. д. Проходитъ годъ, другой: Петя рѣшительно объявляетъ, что онъ скорѣе застрѣлится, чѣмъ останется служить въ пѣхотѣ; онъ во что́ бы ни стало хочетъ быть уланомъ или гусаромъ.

— Петя, другъ мой, слабо, хотя тоскливо, возражаютъ отецъ и мать, — въ кавалеріи служить такъ дорого; мы не захотимъ, чтобы ты былъ хуже другихъ... и т. д.

Плачутъ, плачутъ, но покупаютъ лошадь, заказываютъ форму и дѣлаютъ походный несессеръ подъ аплике.

Все это, конечно, сто́итъ много денегъ, — не считая тѣхъ, которыя втихомолку суетъ мать, и тѣхъ, которыя тратитъ отецъ, чтобы заплатить долги Петруши. А между тѣмъ, Маша и Катя подрастаютъ. Петя годъ-отъ-году убавляетъ приданое сестеръ. „Какъ быть? что́ дѣлать?“ восклицаютъ нѣжные родители: „нынче молодежь стала такъ разсчетлива! Женихи не хотятъ уже довольствоваться прекраснымъ сердцемъ дѣвушки; ихъ не трогаетъ музыка, романсы и даже знаніе англійскаго языка; они говорятъ, что любовь безъ денегъ ничего больше, какъ пара лаковыхъ ботинокъ безъ подошвъ! Какъ ни бейся, слѣдовательно, надо искать мѣста!..“

Мѣсто получено.

Спустя нѣсколько времени, у васъ дѣло, судьба котораго въ рукахъ отца Петеньки, Маши и Кати. Съ пер-

выхъ же словъ открываете вы, что отецъ, не взирая на доброту его сердца, глупъ какъ барабанъ и не только ничего не можетъ рѣшить, но даже нарочно оттягиваетъ дѣло, чтобы надъ нимъ не трудиться.

„Что же это значитъ!“ думаете вы. Но задавайте себѣ этотъ вопросъ хоть до второго пришествія, вы ровно ничего не рѣшите. Придетъ ли въ голову, что не захоти Петенька въ уланы и не нуждайся Маша съ Катей въ приданомъ, ничего бы этого не было; на этомъ мѣстѣ сидѣлъ бы другой господинъ, который, можетъ-быть, сразу бы рѣшилъ ваше дѣло!

Бываетъ также вотъ какъ: папенька и маменька столько же заботятся о Петѣ, Машѣ и Катѣ, сколько слонъ о лайковыхъ перчаткахъ. Дѣти растутъ какъ грибы, съ тою только разницей, что вторые произрастаютъ въ лѣсу, тогда какъ первыя въ домѣ. Они отлично ѣдятъ, пьютъ и спятъ, съ тѣмъ чтобы по выходѣ изъ родительскаго дома точно такъ же умѣть ѣсть, пить, спать и родить дѣтей. Мыслительныя и духовныя способности маменьки поглощены нарядами. Когда что-нибудь не по ней, она, не говоря худого слова, даетъ оплеушины своимъ горничнымъ (теперь, впрочемъ, это выводится; какъ ни трудно побѣждать старыя привычки и обуздывать свои порывы, но, надо правду сказать, въ обузданіи ихъ виденъ уже нѣкоторый прогрессъ). Папенька, съ своей стороны, любитъ задавать пирушки. Можно думать, онъ бьетъ на то, чтобъ его выбрали въ предводители дворянства; ничуть не бывало! Въ немъ нѣтъ служебнаго тщеславія и на маковую росинку; онъ попросту человѣкъ весь на распашку, хлѣбосолъ, широкая натура; или онъ въ гостяхъ, или у него гости; пирушки смѣняются пирушками; сегодня всѣ у него на кулебякѣ, завтра онъ на разварной стерляди. „Деньги — навозъ, тогда только и приносятъ пользу, когда ихъ разбрасываютъ!“ говоритъ онъ, хотя и не читалъ политической экономіи. Наступаютъ выборы, надо ѣхать, а денегъ нѣтъ,—закладывай деревню! Наступаютъ именины жены, званъ весь уѣздъ, обѣщанъ балъ, а денегъ нѣтъ, — продавай рощу! и т. д. Въ одинъ прекрасный день открывается, что въ долгъ никто уже не вѣритъ и перекусить нечего; продавать, закладывать также нечего. Словомъ, какъ говорится: позавтракали трюфлями, пообѣдали хлѣбомъ, пришлось ужинать стаканомъ воды.

— Мой другъ, мы разорены! восклицаетъ жена, заламывая отчаянно руки и обливаясь потоками слезъ.

— Успокойся, душенька!.. Успокойся ради самого неба! нѣжно возражаетъ супругъ,—дѣла наши, конечно, очень плохи, но положеніе наше еще не безвыходное!.. Мы всю нашу жизнь кормили и поили уѣздъ; насъ не оставятъ!.. Скоро выборы, буду хлопотать о мѣстѣ, и заранѣе тебѣ ручаюсь за успѣхъ!..

Послѣ выборовъ являетесь вы въ общество сосѣдей, только что пріѣхавшихъ изъ губернскаго города (у всѣхъ еще горло хрипитъ отъ криковъ и желудки разстроены отъ обѣдовъ).

— Кого выбрали въ исправники? спрашиваете вы.

— Ананасова.

— Какъ, Ананасова? Того самаго Ананасова, который проѣлъ и пропилъ свое имѣніе? Онъ разорилъ свою деревню, а вы выбрали его устраивать уѣздъ! Всѣмъ извѣстно, что Ананасовъ безпутнѣйшій человѣкъ, и сверхъ того лѣнтяй и тунеядецъ перваго номера, какъ только дѣло нейдетъ объ обѣдѣ или травлѣ зайца...

— Конечно, возражаютъ вамъ,—что говорить! все это такъ; но съ другой стороны нельзя же... Онъ все-таки добрый, благородный человѣкъ... Притомъ, надо также взять въ расчетъ то обстоятельство: у него такое многочисленное семейство!..

Весь уѣздъ ломаетъ себѣ шею, подводы всюду завязаютъ, даромъ что мужички тщательно объѣзжаютъ всѣ мосты; въ продолженіе года по деревнямъ скрывается опасный бродяга, бѣжавшій изъ острога и котораго поймать никакъ не могутъ; дѣла земскаго суда лежатъ подъ спудомъ; вы говорите объ этомъ всѣмъ и каждому, указываете на Ананасова, который проводитъ дни, попивая чай съ лимономъ; намекаете на обѣды, которые онъ снова началъ задавать; не пропускаете даже того обстоятельства, что онъ завелъ уже садокъ съ налимами и стерлядями и занимается ими больше, чѣмъ своею службой; на все это отвѣчаютъ вамъ:

— Конечно, правда; но что жъ дѣлать, посудите: онъ обремененъ такимъ многочисленнымъ семействомъ!..

Спускаясь ниже по ступенямъ помѣщичьей обстановки, мы встрѣчаемъ совершенно такіе же симптомы; разница въ томъ только, что тутъ скромнѣе требованія: все ограничивается мѣстомъ смотрителя магазиновъ, или непре-

мѣннаго члена, — помощника исправника. Этотъ непремѣнный членъ не напоминаетъ ли вамъ слѣдующаго: „Софронъ, что ты дѣлаешь? — Ничего! — Ну, а ты, Антонъ, чѣмъ занимаешься? — Подсобляю Софрону!“ Но это мимоходомъ.

Былъ у меня пріятель, нѣкто Сюсюкинъ. Не долю его выпала очень миленькая деревушка душъ въ шестьдесятъ. Жить было бы очень можно. Но вмѣсто того, чтобы заняться устройствомъ Рожновки (такъ звали деревню), чего всѣ мы ждали, зная Сюсюкина за чадолюбиваго отца, онъ началъ съ того, что купилъ старшей дочери (ей было тогда семь лѣтъ) рояль, женѣ—прехорошенькій фаэтонъ, а для себя собственно завелъ три своры борзыхъ. Пріѣзжаетъ онъ разъ къ Петру Степановичу Люлюкову, родственнику, занимавшему въ уѣздѣ видное мѣсто.

— Послушай, Вольдемаръ, говоритъ ему Люлюковъ,— вѣрю, что ты разстроился; вѣрю, вполнѣ, братецъ, сочувствую твоему положенію; основываясь на этомъ, совѣтовалъ бы тебѣ послужить. Что говорить! — скучно; ты не привыкъ стѣснять себя, но теперь мѣстечко бы тебѣ пригодилось...

— Какое же я могу занять мѣсто?..

— Конечно, для начала нельзя быть очень взыскательнымъ; начни съ маленькаго; оно прочиститъ тебѣ дорогу къ другому; оно дастъ мнѣ поводъ предложить тебя на выборахъ къ другой должности...

— Что жъ мнѣ дѣлать?..

— Возьми теперь пока мѣсто смотрителя сельскихъ магазиновъ...

— Въ чемъ же состоитъ эта обязанность?

— Получать жалованье! сказалъ Люлюковъ, лукаво подмигивая лѣвымъ глазомъ.

— Какъ? И больше ничего?

— Ничего рѣшительно!

И точно; съ полученіемъ мѣста, Сюсюкинъ точно канулъ въ воду; въ продолженіе двухлѣтней его службы, ни одинъ магазинъ не видалъ его въ глаза.

Разъ одному изъ такихъ небогатыхъ помѣщиковъ я сунулся было посовѣтовать заняться устройствомъ образцоваго постоялаго двора въ нашемъ уѣздномъ городѣ. Меня дѣйствительно тронуло отчаянное положеніе, въ которомъ находилось его семейство, состоящее изъ жены, бабки, престарѣлой тещи и восьмерыхъ дѣтей, малъ-

мала-меньше. Боже, если бъ вы только видѣли, какъ онъ обидѣлся! На меня напустились даже и другіе сосѣди.

— Какъ?! Что вы говорите?!.. Въ чемъ же тогда будетъ отличіе между дворяниномъ и простымъ дворникомъ? и т. д.

А между тѣмъ никто для него ничего не дѣлалъ. Потомъ уже узналъ я, что, когда онъ съ горя сдѣлался отчаяннымъ пьяницей, надъ нимъ сжалилась одна добрая душа и предложила его въ непремѣнные члены земскаго суда.

Переходя отъ помѣщиковъ къ дворянамъ-домовладѣльцамъ, мы встрѣчаемъ до такой степени одинаковые случаи, что рѣшительно считаемъ лишнимъ о нихъ распространяться. За рѣдкими исключеніями, домъ — тоже деревня; какъ здѣсь, такъ и тамъ, нравы, потребности, взглядъ на вещи остаются неизмѣнно тѣ же.

Считаю не лишнимъ замѣтить, однакожъ, что какъ первые, такъ и послѣдніе (не выключая изъ того числа ученыхъ и художниковъ, не служащихъ, но чающихъ опредѣлиться на службу), всѣ чувствуютъ въ равной степени неодолимое отвращеніе отъ частныхъ занятій, промышленности, службы по конторамъ, частнымъ заводамъ, фабрикамъ и т. д.; они съ одинаковымъ рвеніемъ хлопочутъ о казенномъ, или, какъ еще говорится, коронномъ мѣстѣ.

Оно и понятно.

Въ первомъ случаѣ волей-неволей надо работать; даромъ не дадутъ денегъ; чуть-чуть что, и откажутъ. Казенное мѣсто (въ этомъ собственно заключается главное убѣжденіе „несостоятельныхъ почтенныхъ людей, обремененныхъ многочисленнымъ семействомъ“), во-первыхъ, легче достать; во-вторыхъ, оно ни къ чему почти не обязываетъ. Того и смотри, дадутъ еще крестъ, аренду или пенсію.

Примѣчаніе. Одинъ господинъ, которому прочелъ я эту главу въ рукописи, сообщилъ мнѣ слѣдующіе два разговора, подслушанные имъ въ разныхъ концахъ нашего отечества; помѣщаемъ ихъ съ благодарностью:

— Милостивый государь, говорилъ промотавшійся помѣщикъ одному важному лицу, у котораго просилъ мѣста,—даю вамъ мое благородное дворянское слово!..

— Дайте лучше просто честное слово, это будетъ вѣрнѣе! перебилъ тотъ.

— Славное у меня мѣсто! сказалъ разъ нѣкто Бодасовъ своему пріятелю.

— Ты хочешь сказать: доходное!

— Ты привязываешься къ словамъ: не все ли это равно! весело возразилъ Бодасовъ.

II.

Отставные.

Не желая затруднять читателя многосложными выводами и опредѣленіями, скажемъ коротко и ясно, что въ категорію „отставныхъ-несостоятельныхъ почтенныхъ людей“ не входятъ:

Во-первыхъ, лица высшихъ общественныхъ положеній и тѣ также, которыя достигли извѣстныхъ уже степеней на служебномъ поприщѣ. Причина ясная: такія лица никогда почти не бываютъ въ чистой отставкѣ. Лишившись одного мѣста, они тотчасъ же получаютъ другое, часто несравненно лучше перваго. Примѣръ этого встрѣчаемъ мы въ началѣ этого очерка, и надѣемся, онъ не первый и не послѣдній.

Во-вторыхъ, лица, вышедшія въ отставку по своему желанію. Они или богаты, или руководились въ этомъ случаѣ особенными убѣжденіями. Въ обоихъ случаяхъ, какъ тѣ, такъ и другіе тщательно избѣгаютъ службы, развѣ призоветъ ихъ къ тому само общество съ ясными доказательствами, какъ они для него необходимы.

Въ-третьихъ, лица, отставленныя не по своей винѣ.

Послѣднія у насъ чуть ли не исключеніе.

Нельзя же предполагать въ самомъ дѣлѣ такой уже страшный наплывъ способныхъ или превосходныхъ личностей, чтобы подъ конецъ ими вовсе не дорожили.

Остается, слѣдовательно, говорить о тѣхъ отставныхъ, которые, имѣя чѣмъ жить, не довольствуются своимъ состояніемъ и лѣзутъ изъ кожи, чтобы снова поступить на службу.

Первый взглядъ на индивидуума такого рода сопровождается всегда вопросомъ: „отчего онъ въ отставкѣ?..“

Вопросъ самымъ невольнымъ образомъ бросаетъ нѣкоторую тѣнь подозрѣнія на человѣка.

Положимъ, онъ лишился мѣста не по своей винѣ.

Тогда является слѣдующее размышленіе:

Слухъ, молва, замѣняющія у насъ пока такъ успѣшно

газеты, даютъ оцѣнку въ своихъ кругахъ каждому дѣйствительно полезному человѣку. Молва сыщетъ его въ отставкѣ. Ему предложатъ сто частныхъ мѣстъ прежде, чѣмъ онъ подумаетъ просить ихъ.

— Какъ же могло случиться, что ты въ отставкѣ? спрашиваешь себя снова, и вмѣстѣ съ этимъ, самъ собою, приходитъ въ голову случай съ Самосвистовымъ.

— Тебя отставили? спросилъ N. N., встрѣтивъ на улицѣ Самосвистова.

— Да, и совершенно напрасно; даже глупо сдѣлали, что отставили: я только что устроилъ свои дѣла и готовился-было приняться за служебныя...

Отставные „сомнительные“ рѣдко служили по гражданскому вѣдомству.

Сидѣніе ли на департаментскихъ и канцелярскихъ стульяхъ соединено уже съ тѣмъ, чтобы пріучать природу человѣка къ осѣдлости; мирныя ли бумажныя занятія способствуютъ къ тому, чтобы охлаждать темпераментъ и воображеніе, но только чиновникъ (за исключеніемъ развѣ экстренныхъ случаевъ) рѣдко выходитъ изъ колеи, въ которую разъ вдвинула его судьба. Онъ обращается къ пройденному поприщу безъ сожалѣнія, но и безъ злобы; поглядывая съ улыбкой кротости и умиленія въ будущее, онъ спокойно, безъ лихорадочной торопливости, двигается впередъ по предписанной ему дорогѣ. Дорога не всегда шоссейная, это правда; чины, разставленные по ней, какъ версты, постепенно затушевываются по мѣрѣ ихъ отдаленія; онъ, не унывая однакожъ, идетъ впередъ. Словомъ сказать, чиновникъ остается чиновникомъ до скончанія своего вѣка.

Исключенные изъ службы по своей винѣ (это обыкновенно или страшные тупицы, для которыхъ слѣдовало бы устроить особую богадѣльню, страннопріимный домъ, или что-нибудь въ этомъ родѣ, или положительно никуда уже не годные люди), они рѣдко ищутъ мѣста; тѣмъ рѣже это случается, чѣмъ долѣе сидѣли они на службѣ. Вообще замѣчено, что люди, привыкшіе къ воздуху и почвѣ департаментовъ и канцелярій, легко уподобляются тѣмъ растеніямъ, которыя не выносятъ пересадки, не уживаются на новой почвѣ; они положительно вянутъ, чахнутъ, большею частію спиваются съ кругу, гибнутъ или влачатъ презрѣнную жизнь, поддерживаясь на счетъ жены, которая съ дѣтьми клеитъ коробочки для аптекъ или

выпрашиваетъ подаяніе посредствомъ извѣстнаго рода писемъ.

Нужно ли говорить, что самый кровный, самый породистый типъ „отставныхъ сомнительныхъ людей обремененныхъ семействомъ“, поступаетъ въ эту категорію прямо изъ служившихъ прежде въ военномъ вѣдомствѣ?

Вы узнаете такого субъекта по слѣдующимъ примѣтамъ, — не считая, конечно, упорнаго стремленія занять казенное мѣсто:

Онъ всегда въ нѣкоторомъ родѣ проливалъ кровь за отечество, и если въ отставкѣ, то причиной этому злые люди, личные враги, не разъ даже посягавшіе на его жизнь.

Онъ скорѣе готовъ будетъ, кажется, вычистить вамъ сапоги, чѣмъ показать свой формулярный списокъ.

Вы просите его объяснить, хоть приблизительно, какого рода желаетъ онъ мѣсто; ему совершенно все равно; онъ готовъ куда угодно,—лучшее доказательство, что онъ никуда не годенъ.

Онъ съ особеннымъ стараніемъ напираетъ всегда на фразу: „многочисленное семейство“, и придаетъ ей особенно чувствительную интонацію.

Слушая его, можно думать, что общество, правительство, наконецъ вы сами виноваты отчасти, что у него такъ много дѣтей.

Напрасно будете вы увѣрять его, въ этомъ нѣтъ особенной заслуги, что такое обстоятельство могло развѣ поощряться въ древнія времена ради вопроса заселенія или пожалуй и теперь, но только на пустынныхъ берегахъ Амура; онъ непоколебимо останется при убѣжденіи, что дѣти даютъ ему право на особенное вниманіе общества. Онъ будетъ настаивать на этомъ до тѣхъ поръ, пока вы не объявите рѣшительно, что не желаете встрѣчаться съ нимъ на пути жизни.

Но этимъ еще не кончится. Въ скоромъ времени (если только вы лицо вліятельное), вы получаете письмо отъ знакомаго господина или дамы (чаще отъ дамы); въ немъ говорится, что такой-то господинъ былъ у васъ, просилъ о мѣстѣ и безуспѣшно; васъ просятъ войти въ его положеніе и постараться опредѣлить его.

— Вы писали мнѣ о такомъ-то? спрашиваете вы, встрѣчая господина или даму, писавшихъ письмо.

— Да; вы его опредѣлили?

— Нѣтъ.

— Ахъ, какой вы, право, ужасный человѣкъ!

— Помилуйте, съ какой же мнѣ стати опредѣлять его! Что онъ, инвалидъ что ли?

— Нѣтъ, но у него такое многочисленное семейство.

— Старшія дѣти его, я справлялся, опредѣлены на казенный счетъ; объ остальныхъ я буду хлопотать; что-жъ касается до него, онъ можетъ работать.

— Помилуйте, ему уже пятьдесятъ лѣтъ! Какая тутъ работа!

— Начать съ того, что люди старѣе этого да работаютъ; во-вторыхъ, у него пенсія.

— Онъ говоритъ, что этого ему недостаточно...

— Ну, это его дѣло; зачѣмъ не умѣлъ онъ быть полезнымъ настолько, чтобъ остаться на службѣ...

— Фи, какой вы холодный человѣкъ!

Когда субъектъ такого рода достигаетъ довольно крупнаго чина, онъ очень охотно принимаетъ мѣсто управляющаго большимъ имѣніемъ въ хлѣбородныхъ губерніяхъ, берется управлять заводомъ, снисходитъ даже до смотрителя большого казеннаго дома. Но положительно можно сказать, когда чинъ не великъ, любимѣйшимъ мѣстомъ „отставного несостоятельнаго“ всегда было, есть и будетъ мѣсто городничаго.

Назойливость, съ какою преслѣдуется должность городничаго, объясняется не прежде, какъ когда встрѣтите вы вашего просителя въ уѣздномъ городѣ, встрѣтите его жирнымъ, расплывшимся, сидящимъ на пролеткѣ, возимой лошадьми пожарной команды, и провожаемаго низкими, не столь почтительными, сколько робкими поклонами мѣстныхъ торгующихъ купчиковъ и мѣщанъ.

III.

Служащіе.

Обратимся снова къ важному лицу, о которомъ упоминается на первой страницѣ по поводу серебрянаго кубка.

Примѣръ этотъ, указывая только, съ одной стороны, какъ рѣдки въ настоящее время герои, способные добровольно отказываться отъ даровыхъ земныхъ благъ, объясняетъ, съ другой стороны, что недостаточно еще служить и даромъ получать жалованье, чтобы поступить въ категорію „несостоятельныхъ, служащихъ почтенныхъ лю-

дей". Для этого необходимо еще не довольствоваться своимъ мѣстомъ, необходимо лично или черезъ посредство покровителей стремиться къ болѣе выгоднымъ назначеніямъ, если можно, стараться даже занять въ одно время два, три и болѣе мѣста.

Если предположить, что въ основаніе такого рода дѣйствій входитъ поговорка: „рыба ищетъ гдѣ глубже, человѣкъ ищетъ гдѣ лучше", то прямо можно сказать, что „сомнительные почтенные люди" руководствуются ложнымъ принципомъ.

Рыба, уходя въ глубину морскую, ищетъ какъ словно тишины, уединенія, спокойствія; такое стремленіе прямо даже говоритъ въ пользу ея мирныхъ наклонностей. Лежа на брюхѣ, пропуская воду черезъ жабры, проглатывая время отъ времени собрата, для поддержанія существованія, она въ сущности не приноситъ особенной пользы, но также не причиняетъ особаго зла; въ морѣ остается все столько же рыбы и столько же воды; Нептуну и другимъ морскимъ божествамъ все равно, слѣдовательно, опускается ли рыба въ глубину, или идетъ на поверхность моря; въ обоихъ случаяхъ она имъ ничего не стоитъ. Кто знаетъ также, быть-можетъ, вовсе не лѣнь и не любовь къ комфорту влекутъ рыбу на дно морской пучины; она ищетъ тамъ спасенія отъ лютаго врага, отъ хищной акулы; вотъ эта послѣдняя такъ всегда почти лѣзетъ вверхъ, всегда рыщетъ въ какомъ-то безпокойствѣ, всегда пучитъ глаза свои съ такимъ жаднымъ, ненасытнымъ видомъ, какъ-будто ей мало плавать въ одномъ морѣ,— нѣтъ, нельзя ли еще разомъ плескаться въ трехъ-четырехъ моряхъ.

Итакъ, если ужъ пошло на сравненіе съ рыбами, вѣрнѣе будетъ, кажется, сравнить служащихъ лицъ, стремящихся зацѣпить нѣсколько мѣстъ разомъ,—съ рыбой акулой.

Свойства совершенно тѣ же. Разница единственно въ томъ, что послѣдняя дѣйствуетъ въ морѣ, тогда какъ первые на сушѣ; разница, пожалуй, еще въ наружномъ видѣ.

Наружность двуногихъ акулъ представляется большею частію въ чрезвычайно отшлифованномъ, привлекательномъ видѣ. Ихъ отличаетъ солидная и въ то же время красивая поступь, пріятность манеръ и любезность; многіе могутъ даже служить образцами въ знаніи утонченныхъ свѣтскихъ пріемовъ.

Вы очарованы обращеніемъ великолѣпнаго Македонскаго, очарованы его казенною квартирой, отдѣланною со вкусомъ, дѣлающимъ величайшую честь штатному архитектору, служащему въ томъ же вѣдомствѣ; очарованы также дѣтьми Македонскаго, маленькими Македонскими, получающими такое изящное и фундаментальное образованіе въ казенныхъ заведеніяхъ; очарованы госпожею Македонской, успѣвшею еще сохранить поэтическую прелесть своего институтскаго воспитанія; но все это именно и ставитъ васъ втупикъ, когда узнаете вы, что Македонскій хлопочетъ еще примкнуть къ своей должности директорство такого-то спеціальнаго завода.

„Боже, чего-жъ еще надо?“ восклицаете вы въ наивности души. Но, можетъ-быть, приходитъ вамъ тутъ же въ голову, можетъ-быть Македонскій особенно изучалъ такую-то отрасль промышленности; можетъ-быть имъ руководитъ мысль, „что, конечно, тяжело занимать два мѣста, но что же дѣлать? каждый долженъ быть готовъ жертвовать своимъ временемъ и спокойствіемъ, когда дѣло идетъ о пользѣ, которую мы принести можемъ...“

Ничуть не бывало!

Здѣсь вопросъ снова разрѣшается Петенькой, Машей и Катей; снова открывается, что общество или такая-то промышленность въ полной зависимости отъ Пети, Маши и Кати, и должны отвѣчать за устройство ихъ будущаго благосостоянія.

Пораженный такою странностію, начинаешь наблюдать за Македонскимъ; стараешься дознаться, чѣмъ будутъ руководствоваться, при опредѣленіи его къ директорству новой спеціальной части. Открывается... Но это уже составляетъ достояніе слѣдующей главы, гдѣ разсуждается о томъ, за что̀ даютъ мѣста и какъ они пріобрѣтаются.

Какъ видите, соединеніе въ одномъ лицѣ литератора, помѣщика и чиновника не такъ еще удивительно, какъ соединеніе въ одномъ лицѣ нѣсколькихъ, часто самыхъ разнородныхъ должностей.

Наблюденія наши нерѣдко приводили насъ къ открытію большой непослѣдовательности, чтобы не сказать безсмыслицы.

Такъ, напримѣръ, всѣмъ извѣстно, Опухловъ всю свою жизнь посвятилъ изученію свойствъ хлѣбныхъ зеренъ; смотришь, ему неожиданно дали мѣсто директора стеариноваго завода. Мерлушкинъ довелъ игру въ пикетъ и

палки до степени высокаго художества; смотришь, онъ занимается успѣшнымъ разведеніемъ рыбы въ прѣсныхъ водахъ имперіи и т. д.

— Скажите, пожалуйста, спросилъ разъ М* у своего пріятеля,—на какомъ основаніи К* засѣдаетъ въ Т* комитетѣ?

— А какъ же? Вѣдь у него собственный домъ на Литейной! отвѣчалъ пріятель.

И точно, другого основанія не было.

Затѣмъ слѣдуетъ еще опредѣленіе къ такимъ мѣстамъ, которыя ни къ чему не обязываютъ, гдѣ положительно нечего дѣлать, или гдѣ можно ничего не дѣлать...

Такихъ мѣстъ много; мы ограничимся хоть мѣстами докторовъ и архитекторовъ казенныхъ мѣстъ, такъ-какъ мы не говорили еще о служащихъ ученыхъ и художникахъ.

Уже титулъ „свободный художникъ“ ясно говоритъ, кажется, что архитекторъ лицо частное, вольнопрактикующее. Но многимъ архитекторамъ недостаточно еще, если ихъ пригласятъ произвести или поправить такую-то постройку, точно такъ же, какъ недостаточно многимъ докторамъ дѣлать свои визиты частнымъ образомъ. Тутъ вѣдь въ виду только деньги; это само собой; но кто себѣ врагъ, отчего же не получать чины, кресты, казенную квартиру, дрова и свѣчи, когда представляется возможность? Доходя такимъ образомъ до зубныхъ врачей, которые точно такъ же занимаютъ коронныя мѣста, мы всегда удивлялись, какъ еще сдерживаетъ до сихъ поръ свою зависть все неслужащее человѣчество!

— Вы намѣрены, кажется, передѣлать печи? спросилъ В. у Ф.

— Да.

— Совѣтую вамъ пригласить архитектора Z; онъ особенно много занимался новыми системами отопленія.

— Зачѣмъ же? у насъ свой архитекторъ.

— Сколько онъ получаетъ?

— Семьсотъ рублей жалованья, квартиру, отопленіе, освѣщеніе и, сверхъ того, награду въ концѣ года.

— Прекрасно; помнится, вы говорили, что въ десять послѣднихъ лѣтъ у васъ въ домѣ не происходило никакихъ построекъ и перемѣнъ; вы стало-быть даромъ истратили семь тысячъ рублей, не считая, чего стоитъ квартира, дрова и т. д.

— Все это такъ, мой почтеннѣйшій; но что же дѣлать, когда въ штатѣ у насъ полагается архитекторское мѣсто? Къ тому же, признаться, я самъ хлопоталъ объ опредѣленіи къ намъ теперешняго нашего архитектора.

— Что же побудило васъ къ этому? экономія?

— Нисколько; во-первыхъ, онъ прекраснѣйшій человѣкъ; во-вторыхъ, слѣдовало тоже взять въ расчетъ и то обстоятельство: онъ обремененъ такимъ многочисленнымъ семействомъ!...

Тотъ же разговоръ можетъ съ успѣхомъ прикидываться къ докторамъ, зубнымъ врачамъ, окулистамъ, акушерамъ и т. д.

Не думаете ли вы, что все это создано съ тою исключительною, благодѣтельною цѣлію, чтобъ избавить начальствующихъ лицъ отъ траты денегъ, когда имъ, или, все равно, ихъ женамъ, дочерямъ и родственницамъ требуется вырвать зубъ, вылѣчить мигрень или дешево выстроить дачу?...

Москва, но еще больше Петербургъ, служитъ главнымъ притокомъ всѣмъ чающимъ прирастить къ своимъ доходамъ доходы казенныхъ мѣстъ. Вслѣдствіе этого можно сказать безъ преувеличенія, что теперь въ Петербургѣ одно только свободное мѣсто, именно—Исаакіевская площадь!

IV.

Способы пріобрѣтенія мѣстъ и причины опредѣленія къ мѣстамъ.

На свѣтѣ даромъ ничего не дѣлается. Участіе, которое одинъ человѣкъ принимаетъ въ судьбѣ другого, необходимо должно на чемъ-нибудь основываться. Это такія истины, противъ которыхъ, конечно, никто не станетъ спорить.

Лица со вліяніемъ (каждый человѣкъ, сравнительно, вліятеленъ передъ другимъ, стоящимъ ниже его на ступеняхъ общественной лѣстницы) должны, слѣдовательно, точно такъ же руководствоваться какимъ-нибудь мотивомъ, чтобы стараться объ опредѣленіи ближняго.

Однимъ управляетъ въ отношеніи къ вамъ сердечное влеченіе; другой питаетъ несомнѣнную увѣренность въ вашихъ способностяхъ, талантахъ, честности, знаніи и проч.; третій беретъ во вниманіе тѣ услуги, которыхъ въ правѣ будетъ отъ васъ требовать и т. д.

„Сомнительный почтенный человѣкъ, обремененный многочисленнымъ семействомъ“, получивъ мѣсто, можетъ иногда ничего не дѣлать; но чтобы получить мѣсто, онъ неизбѣжно долженъ дѣлать что-нибудь.

Умноженіе семейства считается въ этомъ случаѣ ни во что. Мы знаемъ множество примѣровъ, которые доказываютъ, что повтореніе фразы „многочисленное семейство...“ и даже самый фактъ, что дѣтей дѣйствительно было изобиліе, ровно ни къ чему не послужили. За такими примѣрами ходить не далеко.

Всѣмъ было извѣстно, что Яхонтовъ, словно какъ нарочно, родился для такой-то должности; всю свою жизнь посвятилъ онъ изученію своей части. Однажды баронъ Фукъ, лицо, отъ котораго зависѣло мѣсто, приглашаетъ къ себѣ Яхонтова. Поговоривъ съ нимъ, баронъ Фукъ находитъ въ немъ человѣка основательнаго и между прочимъ обращаетъ къ нему такую рѣчь:—„Вижу, вы точно превосходный хозяинъ; послушайте: я купилъ недавно имѣніе и мнѣ хотѣлось бы пріобѣсти для него машины; будьте такъ добры, выберите мнѣ ихъ у лучшаго нашего механика; я отмѣтилъ что̀ мнѣ нужно на этомъ спискѣ.“—Яхонтовъ ѣдетъ къ механику; машины куплены. „Онѣ стоятъ двѣ тысячи рублей и механикъ требуетъ половину денегъ немедленно“, говоритъ Яхонтовъ, возвращаясь къ барону Фуку. У послѣдняго въ это время какъ нарочно не случилось денегъ; Яхонтовъ сказалъ, что это ничего,—и взялся отдать изъ своихъ. Проходитъ недѣля, другая; механикъ неотступно пристаетъ къ Яхонтову, прося его объ уплатѣ второй половины. Яхонтовъ отправляется къ барону и деликатно разсказываетъ ему дѣло. Баронъ Фукъ выслушалъ его на этотъ разъ съ явнымъ неудовольствіемъ: — „пусть подождетъ“, сказалъ онъ. Проходитъ мѣсяцъ. Механикъ лѣзетъ съ ножомъ къ горлу и грозитъ скандаломъ. Яхонтовъ снова ѣдетъ къ барону. На этотъ разъ баронъ, оглянувъ его съ удивленіемъ, отдалъ ему сполна всѣ деньги. Но уже съ этого дня надежду получить мѣсто какъ рукой сняло.

Тутъ многочисленности семейства было недостаточно, говорили пріятели Яхонтова,—слѣдовало еще, и это главное, слѣдовало Яхонтову *понять* барона Фука.

„Несостоятельные почтенные люди“, отыскивающіе мѣсто, кромѣ дѣтей, должны еще запасаться или быть надѣлены отъ природы особенною понятливостію, тонкимъ

чутьемъ, находчивостью, изобрѣтательностью, ловкостью, передъ которой умѣнье пройти по проволокѣ или канату сущее ребячество. Нигдѣ быть-можетъ не требуется столько такту, сколько на трудномъ пути отыскиванія хорошаго, выгоднаго мѣста.

Вотъ вамъ, напримѣръ, образчикъ безтактности:

Кислякову не везло; сколько ни бился онъ, сколько за него ни хлопотали, начальникъ не обращалъ на него вниманія. Кисляковъ рѣшился наконецъ лично дѣйствовать; для этой цѣли онъ началъ съ того, что выходилъ на улицу, какъ только начальникъ отправлялся гулять; онъ принялъ намѣреніе попадаться ему какъ можно чаще и каждый разъ отвѣшивать ему низкій поклонъ. Онъ хотѣлъ этимъ выразить ему свою почтительность, уваженіе и вмѣстѣ съ тѣмъ хотѣлъ обратить на себя выгодное вниманіе начальника. Вотъ однакожъ что вышло послѣ первыхъ трехъ попытокъ: начальникъ призвалъ ближайшаго начальника Кислякова и сказалъ ему сухо, даже съ сердцемъ: „Вашъ Кисляковъ рѣшительно надоѣлъ мнѣ; онъ поминутно кланяется мнѣ на улицѣ и тѣмъ самымъ заставляетъ меня самого, на морозѣ, вынимать руки изъ кармановъ и снимать ему шляпу; внушите ему, что кланяются только знакомымъ; кромѣ того, что я вижу въ этомъ фамильярность, онъ рѣшительно меня безпокоитъ; внушите ему это пожалуйста!“

Съ этого времени несчастный Кисляковъ пропалъ совершенно и, сколько ни хлопоталъ, никуда уже не могъ опредѣлиться.

Добросовѣстные изслѣдователи „несостоятельныхъ“ положительно утверждаютъ, что вообще плохо также достигаютъ своихъ цѣлей люди талантливые и такіе также, которыхъ называютъ: горячія головы. Первымъ сильно вредитъ излишекъ самолюбія, обидчивости и даже нѣкотораго достоинства; вторые идутъ по большей части напроломъ, лѣзутъ прямо съ параднаго крыльца, не подозрѣвая, что съ этой стороны несравненно больше препятствій, чѣмъ съ задняго хода. Человѣкъ разсудительный отлично понимаетъ, что фортуна покровительствуетъ смѣльчакамъ только развѣ въ военномъ дѣлѣ. Основываясь на этомъ, въ то время, какъ горячія головы, не разбирая преградъ, берутъ приступомъ парадную лѣстницу,—люди разсудительные пробираются по черной, знакомятся съ камердинеромъ, предлагаютъ крестить у него ребенка

или, все равно, предлагаютъ имъ другое что-нибудь не менѣе пріятное. Такой пріемъ имѣетъ даже особый технический терминъ; это называется: *снюхаться, войти въ сношенія или соприкосновенія.* Признано вообще, что въ извѣстныхъ случаяхъ успѣшнѣе дѣйствовать снизу вверхъ, чѣмъ сверху внизъ.

Аксіома. Человѣкъ, носящій въ головѣ одну назойливую мысль и постоянно ее развивающій, сильнѣе того, у кого въ головѣ копошится обиліе мыслей.

Примѣры. Одно, очень важное лицо имѣло весьма простительную слабость для человѣка уже преклонныхъ лѣтъ — поддерживать свою наружность разными косметическими средствами. Взглянувъ на себя въ зеркало до туалета, онъ съ ужасомъ видѣлъ въ немъ старую обезьяну; взглянувъ послѣ туалета, не могъ достаточно налюбоваться Аполлономъ Бельведерскимъ. Въ первомъ случаѣ ни одинъ еще смертный не видалъ его. Переходя разъ утромъ прямо изъ постели въ уборную, значительное лицо потрясено было видомъ Шилохвостова (незначительнаго чиновника въ его управленіи); Шилохвостовъ, съ своей стороны, не обнаружилъ никакого удивленія при появленіи грознаго начальника; напротивъ, онъ умышленно принялъ непочтительную позу, положилъ голову между ладонями и даже, говорятъ, просвисталъ какой-то итальянскій мотивъ; глаза его, небрежно смотрѣвшіе на знатнаго старца, ясно, казалось, говорили: нѣтъ, братъ, это не ты; онъ красавецъ — заглядѣнье; ты какой-то рыхлый старичишка. Словомъ, онъ сдѣлалъ видъ, какъ-будто не узналъ его. Начальнику это очень понравилось. Одѣвшись, онъ призвалъ Шилохвостова, который на этотъ разъ счелъ нужнымъ сробѣть и растеряться; но важное лицо обласкало его, спросило, что̀ ему надо, и узнавъ, что Шилохвостовъ присланъ съ докладомъ, по случаю болѣзни обыкновеннаго докладчика, приказалъ ему постоянно являться съ докладомъ. Шилохвостовъ лелѣялъ цѣлые два года сцену, которую такъ удачно разыгралъ. Съ тѣхъ поръ путь его умазался словно мыломъ; гдѣ онъ остановится—неизвѣстно!

Можно было бы еще привести городничаго, который, въ ожиданіи пріѣзда губернатора, цѣлые пять дней охранялъ въ чистотѣ лужу передъ подъѣздомъ уѣзднаго суда, имѣя въ виду лично перебросить черезъ нее доску въ ту минуту, какъ подъѣдетъ къ крыльцу губернаторъ; можно

бы присовокупить, что его превосходительство, обойдя въ этотъ пріѣздъ наградой всѣхъ чиновниковъ, отличилъ одного только городничаго; но и этого довольно, кажется, чтобы пояснить силу одинокой мысли, постоянно развиваемой и питаемой.

Все приведенное нами (считая также извѣстный способъ посылать просить женъ, когда онѣ хорошенькія) носитъ, впрочемъ, печать обыкновеннаго и отзывается чѣмъ-то грубымъ. Между „несостоятельными почтенными людьми“ такимъ пріемамъ даютъ значеніе не болѣе, какъ простому сложенію или вычитанію. До дифференціальнаго исчисленія доходятъ весьма немногіе.

Для разрѣшенія высшихъ задачъ въ дѣлѣ расчищенія себѣ дороги необходимо быть, такъ сказать, свыше одареннымъ. Тутъ даже ума мало; требуются многія душевныя и даже физическія качества.

Какое, напримѣръ, соединеніе энергіи и ловкости нужно, чтобы не только не останавливаться передъ лужами и грязью, но умѣть перескочить черезъ нихъ съ особенною граціей. Что скажете вы, напримѣръ, о высокомъ искусствѣ умѣть повиноваться съ такою пріятностію, чтобы лицо, отъ котораго вы зависите, находило особенное наслажденіе отдавать вамъ приказанія?

Предположите тысячу человѣкъ, скроенныхъ математически по одной мѣркѣ; предположите ихъ въ одинаковой степени равными по чину, заслугамъ и способностямъ. Если, не взирая на такія условія, одинъ изъ нихъ въ состояніи обратить на себя особенное вниманіе начальника,—смѣло заключайте, что онъ изъ числа одаренныхъ свыше. Такой случай именно произошелъ съ Берендѣевымъ. Значительное лицо, въ рукахъ котораго находилась судьба этихъ тысячи человѣкъ, скроенныхъ по одной мѣркѣ, отличило Берендѣева до такой степени, что оставило его у себя обѣдать (не въ примѣръ прочимъ), и потомъ пригласило его къ себѣ въ ложу. Мало того, въ скоромъ времени Берендѣева позвали на классическій музыкальный вечеръ, куда приглашались только избранные.

— Какъ же это такъ? говорили мы въ то время,—мы знаемъ навѣрное, что Берендѣевъ ровно ничего не смыслитъ въ классической музыкѣ...

— Ошибаетесь, отвѣтили намъ,—вчера онъ всѣхъ очаровалъ, играя *à quatre mains* Бетховенскую сонату съ дочерью значительнаго лица.

Когда Берендѣевъ успѣлъ выучиться на фортепіано, какимъ образомъ дошелъ до уразумѣнія Бетховена,—это навсегда останется его тайной. Онъ вырасталъ не по днямъ, а по часамъ, какъ сказочный герой, и постепенно поднимался въ гору. Вскорѣ стало извѣстнымъ, что Берендѣевъ постоянно засѣдаетъ въ салонѣ, куда допускались лишь высшія лица и притомъ съ оттѣнкомъ набожности.

— Какъ же такъ? спрашивали многіе,—вѣдь онъ прощелыга и, вдобавокъ, положительно ни во что не вѣруетъ.

— Что?!.. Какъ?!.. возражали на это съ горячностью,— вы, стало-быть, просто не имѣете о Берендѣевѣ никакого понятія, или принимаете его за другого! Посмотрѣли бы вы вчера, когда онъ разсказывалъ объ Іерусалимѣ; слушая его, всѣ плакали!..

По прошествіи года, не существовало чуть-чуть значительнаго дома, гдѣ бы Берендѣева не принимали съ распростертыми объятіями; онъ сдѣлался необходимымъ лицомъ на всѣхъ раутахъ, вечерахъ, интимныхъ собраніяхъ и даже домашнихъ совѣщаніяхъ.

Ему довольно было одного утра, чтобы всюду поспѣть, вездѣ перебывать, вездѣ оставить пріятное впечатлѣніе.

Въ два часа онъ приглашался къ разрѣшенію затруднительнаго финансоваго вопроса; въ три часа, гуляя по Петергофу и проходя мимо рѣшетки роскошной дачи, вы видѣли его играющимъ въ *cerceau* съ дѣтьми значительнаго лица; въ пять часовъ онъ былъ уже во фракѣ и бѣломъ галстукѣ и ѣхалъ въ Царское-Село на дипломатическій обѣдъ; въ девять часовъ входилъ онъ въ гостиную, гдѣ засѣдали министръ, генералъ и еще третье лицо безъ особеннаго значенія. „Ваше высокопревосходительство, честь имѣю кланяться; какъ здоровье вашего высокопревосходительства?“ говорилъ онъ, низко кланяясь министру.—„Ваше превосходительство, какъ ваше здоровье?“ говорилъ генералу. — „Здравствуйте!“ говорилъ третьему лицу, протягивая мизинецъ *).

Въ одиннадцать часовъ, заглянувъ на минуту въ салонъ набожной N, Берендѣевъ стремительно перелеталъ въ салонъ-помпадуръ Шарлоты Ѳедоровны, гдѣ всѣхъ очаровывалъ своею веселостію.

---

*) Въ провинціи, лица, подражающіе Берендѣеву, ввели въ обыкновеніе называть: „ваше превосходительство“ каждаго, кто только достигъ чина статскаго совѣтника; обычай этотъ поддерживается съ большимъ успѣхомъ и нравится многимъ предводителямъ дворянства.

Святители! воскликнешь бывало: святители, какъ достаетъ его на все это?! Не на шутку начинаешь думать, что Берендѣевъ, подобно Пинетти, въ состояніи выѣхать въ одно время изъ двадцати-семи заставъ Москвы. Но что̀ такое Пинетти! Онъ школьникъ передъ Берендѣевымъ! Послѣдній въ состояніи предложить руку, получить согласіе и жениться на Шарлотѣ Ѳедоровнѣ! Если онъ не сдѣлалъ этого, такъ потому единственно, что ему ничего уже не оставалось почти желать, и это „почти“ могло быть достигнуто другимъ способомъ. Онъ зналъ, что сокровеннѣйшее желаніе Шарлоты Ѳедоровны состояло въ томъ, чтобы пріобрѣсти огромный каменный домъ въ Морской; зналъ также, что пріобрѣтеніе этого дома давно гложетъ сердце значительнаго лица, пламеннаго поклонника и прямого покровителя Шарлоты Ѳедоровны. Вопросъ весь заключается въ полутораста тысячахъ, которыхъ достать положительно неоткуда. Берендѣевъ взялся уладить дѣло. Онъ отыскалъ какого-то милліонера-подрядчика, уговорилъ его купить домъ во что̀ бы то ни стало и уступить его потомъ Шарлотѣ Ѳедоровнѣ за сущую бездѣлицу. Домъ пріобрѣтенъ. Подрядчикъ получилъ на нѣсколько милліоновъ подрядовъ, и значительное лицо, въ избыткѣ благодарности, не зная уже, чѣмъ пополнить недостающее *„почти“* въ карьерѣ Берендѣева, изобрѣло для него несуществовавшее до того мѣсто.

Къ чести нашей надо сказать, у насъ нерѣдко встрѣчаются факты, которые прямо обращаются даже въ похвалу нашихъ душевныхъ и сердечныхъ свойствъ. Многіе случаи даже умилительны и, слушая ихъ, нѣтъ возможности воздержаться отъ слезъ.

Александръ Петровичъ Помпейскій, нѣжный отецъ многочисленнаго семейства, выдалъ старшую свою дочь за барона Гаденбурга. У Гаденбурга не было никакого состоянія. Состояніе Помпейскаго заключалось въ большомъ каменномъ домѣ, который приносилъ очень ограниченные доходы; половина его была почти занята семействомъ; при домѣ находился, правда, отличный старый садъ,—но согласитесь сами, что̀ сталъ бы съ нимъ дѣлать баронъ Гаденбургъ, если бы Помпейскій отдалъ его въ приданое дочери? Недостаточность средствъ зятя и старшей дочери сокрушала нѣжное сердце Помпейскаго. Неоднократно прибѣгалъ онъ къ знатному Строфокамилову, прося его объ опредѣленіи зятя, — и всякій разъ безуспѣшно. Не-

ожиданно, Строфокамиловъ переѣзжаетъ въ громадный казенный домъ, непосредственно примыкающій къ саду Помпейскаго и отдѣляющійся отъ послѣдняго только каменной стѣной. Помпейскій узнаетъ стороною, что Строфокамиловы, мужъ и жена, упомянули разъ о томъ, какъ бы хорошо было, если бы дѣти ихъ могли дышать свѣжимъ воздухомъ въ сосѣднемъ саду. Помпейскій въ ту же ночь проламываетъ казенную стѣну, устраиваетъ красивую калитку и посылаетъ ключъ къ Строфокамиловымъ. Въ тотъ же день, подъ тѣнью раскидистой березы, произошла трогательная и совершенно случайная встрѣча между госпожею Помпейской и госпожею Строфокамиловой; въ полдень нельзя было налюбоваться невинными играми маленькихъ Строфокамиловыхъ и Помпейскихъ; мѣсяцъ спустя, Помпейскій самъ рыдалъ, какъ дитя, когда Строфокамиловъ объявилъ ему, что его зять, баронъ Гаденбургъ, получилъ превосходное мѣсто.

V.

Покровители.

Подъ этимъ названіемъ слѣдуетъ разумѣть тѣхъ добродѣтельныхъ особъ обоего пола, которыя, не имѣя возможности лично дать мѣсто или награду, берутся тѣмъ не менѣе доставлять то и другое, и часто достигаютъ своей цѣли.

Дамы—надо быть справедливымъ—всего успѣшнее дѣйствуютъ на этомъ поприщѣ.

Касательно дамъ, можно, впрочемъ, вывести такую аксіому: чѣмъ покровительница красивѣе, или чѣмъ выше ея общественное положеніе, тѣмъ больше у нея шансовъ устроить ваше дѣло.

Наблюденія надъ покровителями вообще доказали, что слѣдуетъ раздѣлить ихъ на двѣ категоріи:

1) *Невинно-добродушно-наивныхъ.*

2) *Дѣйствующихъ на основаніи задней мысли.*

Первая исключительно почти состоитъ изъ тѣхъ нѣжныхъ, нервныхъ и впечатлительныхъ женскихъ существъ, которыя съ ужасомъ скрещиваютъ на груди руки и возводятъ глаза къ небу, когда узнаютъ, напримѣръ, что на свѣтѣ есть нужда и бѣдность. Достаточно произнести фразу: „многочисленное семейство“, чтобы потрясти ихъ нервы; достаточно выслушать имъ разсказъ о чужомъ горѣ,

чтобъ онѣ залились слезами, какъ петергофскій фонтанъ. Онѣ такъ добры, что готовы, кажется, выбѣжать на улицу и держать зонтикъ надъ уткой во время ненастья. Къ нимъ причисляются также старушки, которымъ стоитъ сказать съ особымъ театральнымъ эффектомъ: „*Oh, ma mère! ma mère était une sainte femme!*“ или занять ихъ разсказомъ о плачевномъ состояніи Іерусалима, чтобы расположить ихъ въ свою пользу.

Напрасно будете вы стараться открыть имъ глаза, напрасно скажете, что такой-то не стоитъ чтобъ о немъ хлопотали, что если онъ займетъ такое-то мѣсто, это скорѣе будетъ вредно, чѣмъ полезно для общества; напрасно объясните вы имъ общее правило „сомнительныхъ почтенныхъ людей“, правило, состоящее въ томъ, что проситель подаетъ умывальникъ, когда проситъ, и потомъ часто выливаетъ остатокъ воды на голову покровителя, когда достигъ своей цѣли; напрасно докажете, какъ дважды-два четыре, что такой-то проситель ничего больше, какъ кувшинъ, который нагибается, чтобы зачерпнуть, — васъ не слушаютъ; вамъ скажутъ, что вы смотрите на вещи сквозь черную призму и повторятъ съ горячностью:

— Какое мнѣ дѣло! Онъ проситъ, онъ прибѣгаетъ ко мнѣ; я должна думать о томъ только, что велитъ дѣлать христіанскій долгъ,—я должна помочь ему!..

Дама бросается въ карету, мечется изъ одного конца города въ другой, взбѣгаетъ на высочайшія лѣстницы (кучеръ ея между тѣмъ часто мерзнетъ на морозѣ), преслѣдуетъ вліятельныхъ лицъ въ салонахъ, на улицѣ, и даже задаетъ у себя музыкальные вечера и танцовальные чаи, съ тѣмъ, чтобы успѣшнѣе исполнить повелѣніе христіанскаго долга.

— Что за ангелъ эта М.! говорятъ вамъ,—представьте, моего Мишу никуда не хотѣли опредѣлить! Она такъ хлопотала, что Миша поступилъ, даже не въ примѣръ другимъ мальчикамъ, и даже безъ экзамена.

Какъ видите, результатъ дѣйствій, внушенныхъ христіанскимъ долгомъ, не всегда бываетъ справедливъ и приноситъ полезные плоды; тѣмъ не менѣе между покровителями этого рода и лицами второго разряда такая же неизмѣримая разница, какъ между истинно-почтенными людьми и „сомнительными“.

Послѣдніе краснорѣчиво доказываютъ, что съ виду даже

лучшія побужденія наши всегда скрываютъ долю личнаго интереса.

Такіе покровители, безспорно, перестали бы существовать, если бы покровительство съ одной стороны не давало возможности сознавать собственную силу и превосходство,—словомъ, не льстило бы самолюбію,—съ другой стороны, не приносило бы существенныхъ выгодъ самому покровителю.

Одна дама отказывалась хлопотать за Х., который неожиданно получилъ очень важное мѣсто. Ей передали объ этомъ.

— Боже! воскликнула она съ испугомъ, — могла ли я это предвидѣть!

Она въ ту же секунду приказала заложить карету и отправилась съ визитомъ къ женѣ Х.; дорогой заѣхала еще нарочно къ Бале, чтобы купить конфетъ для маленькихъ Х.

Хохулкинъ, напримѣръ, глубоко ненавидѣлъ Бузулукина и ужъ, конечно, не разогнулъ бы пальца, чтобы вытащить его изъ опасности. Онъ тѣмъ не менѣе бьется какъ рыба объ ледъ на дворянскихъ выборахъ, распинается и задаетъ обѣды, чтобы доставить Бузулукину почетное мѣсто.

— Взгляните, говорятъ вамъ, указывая съ умиленіемъ на сѣдую голову Хохулкина,—вотъ истинная-то добродѣтель! вотъ она гдѣ!.. Не любитъ человѣка и между тѣмъ хлопочетъ за него, какъ за родного сына!..

Да, дѣйствительно, умилительно смотрѣть на все это, но только въ другомъ смыслѣ. Бузулукинъ, избранный стараніями Хохулкина, выкажетъ ему въ знакъ благодарности истинно сыновнія чувства: онъ не допуститъ, чтобы размотанное имѣніе Хохулкина продалось съ публичнаго торга, и даже сниметъ съ него опеку!..

— Нѣтъ, я уже исправилась отъ страсти покровительствовать! говорила намъ на-дняхъ одна почтенная старушка,—я перестала охотиться за вліятельными лицами, давно не осаждаю ихъ письмами, давно не пристаю къ теткамъ зятя, пріятеля секретаря начальника отдѣленія такого-то директора! Повѣрите ли, я даже не крещу теперь малютокъ безъ разбору! И въ самомъ дѣлѣ, что же это такое: приходитъ господинъ, проситъ окрестить сына или дочь, и потомъ что жъ оказывается? Мало того, что

придется опредѣлить всѣхъ крестниковъ и крестницъ куда-нибудь на казенный счетъ, надо пристроить папеньку, его брата, свояка, зятя, и всѣмъ имъ выхлопотать или крестикъ, или награду... Нѣтъ, слуга покорный! На этотъ случай я застраховала себя теперь такою фразой: милостивый государь, говорю я,—по нашему закону это важная обязанность; я такъ глубоко проникнута ею, что рѣшительно не чувствую себя ни въ состояніи, ни въ силахъ принять на себя всю ея отвѣтственность!.. Вообще, во всемъ, что̀ касается покровительства, опытъ научилъ меня крѣпко держаться такихъ правилъ: или вовсе не покровительствовать, потому что, необдуманно дѣлая добро одному, часто причиняешь вредъ цѣлому обществу; или, ужъ если пошло на то, хлопотать о тѣхъ только, которые ищутъ частной должности; тутъ больше вѣроятія, что проситель не боится труда и не имѣетъ цѣли жить у Христа за пазушкой, какъ говорится. Но сто̀итъ только замѣтить мнѣ, что такой-то господинъ особенно настойчиво приступаетъ съ казеннымъ мѣстомъ, я напрямикъ ему отказываю!..

— И прекрасно дѣлаете! возразили присутствующіе въ одинъ голосъ.

КОШКА и МЫШКА.

(повѣсть).

I.

Осенніе виды и мальчикъ съ боченкомъ.

Къ концу осени, когда нѣтъ еще снѣга, но утромъ и вечеромъ начинаетъ порядочно уже подмораживать, выпадаютъ иногда такіе ясные, лучезарные дни, что на минуту обманываешься и думаешь: не апрѣль ли опять на дворѣ?.. Солнце горитъ такъ же ярко, въ воздухѣ столько же блеска, тѣни на обнаженныхъ холмахъ такъ же легки и прозрачны! Недостаетъ только воркованья весеннихъ ручейковъ, запаха земли и пѣсни жаворонка, чтобъ подкупить васъ совершенно.

Въ одинъ изъ такихъ дней, утромъ, часовъ около десяти, въ околицѣ села Ягодня показался бѣлокурый мальчикъ лѣтъ тринадцати. Мальчикъ, какихъ бы то ни было лѣтъ, и съ какими бы то ни было волосами: бѣлыми, черными или рыжими, принадлежитъ къ самымъ обыкновеннымъ сельскимъ явленіямъ. Но мальчикъ, о которомъ идетъ рѣчь, заслуживалъ особеннаго вниманія: онъ несъ за плечами ведерный бочепокъ, обвязанный старымъ кушакомъ, концы котораго находились въ рукахъ его. Будь за плечами этого мальчика корыто, ушатъ, связка хворосту, плетеная кошелка съ мякиной, пукъ сѣна; возсѣдай тамъ другой мальчикъ — младшій братишка, — или болтайся за плечами лапти или даже новые смазные сапоги, ничего бы не было удивительнаго, но боченокъ — особенно съ желѣзными обручами и новой точеной дере-

вянной пробкой, воля ваша, такое обстоятельство невольно возбуждало любопытство!

Начать съ того, что посудинки этого рода вовсе не въ употребленіи въ крестьянскомъ хозяйствѣ: нечего класть туда; потомъ, боченокъ не по карману; наконецъ, извѣстно было, что во всемъ околоткѣ такимъ боченкомъ обладала одна только дьячиха; и то достался онъ ей по случаю: одна изъ приходскихъ помѣщицъ подарила. Съ какой же стати мальчикъ этотъ, не принадлежащій ни съ которой стороны дому дьячихи, несъ этотъ боченокъ?.. Но мальчика мало, казалось, занимали такія соображенія. Выйдя за околицу, онъ тряхнулъ боченокъ съ самымъ беззаботнымъ видомъ, перенесъ концы кушака въ лѣвую руку, поправилъ свободною рукою шапку, которая лѣзла на глаза, и, весело посвистывая, зашагалъ по дорогѣ.

Дорога, укатанная недавно еще проѣзжавшими подводами съ овсяными и ржаными снопами, звенѣла подъ ногами и лоснилась на солнцѣ, какъ сѣрый полированный камень. Вправо отъ нея неоглядно желтѣли поля, покрытыя шершавымъ жнивьемъ; слѣва тянулись крестьянскія гумна, обнесенныя старымъ земляным валомъ, съ торчавшими кое-гдѣ плетнями и ветлами, побросавшими свои листья. Тѣнь отъ плетней и ветелъ мѣстами пересѣкала дорогу, отпечатывая на ней прихотливые узоры инея, который превращался въ капли и пропадалъ, какъ только убѣгала тѣнь и прикасались къ нему лучи солнца; отъ канавки, наполненной листомъ, кустами крапивы и полыни, побѣлѣвшими отъ измороси, несло острой свѣжестью. Но чѣмъ темнѣе рисовались плетни и стволы ветелъ, тѣмъ ослѣпительнѣе сверкали за ними скирды и крыши гуменъ; чѣмъ тише было вправо отъ дороги, тѣмъ шумнѣе было за ветлами. Тамъ изъ конца въ конецъ немолчно звучали удары цѣпа, шумѣла рожь, падавшая звонкими, сухими зернами на гладко убитый мерзлый токъ, слышался говоръ народа, шелестъ голубей и крикъ галокъ, перелетавшихъ съ мѣста на мѣсто.

Въ числѣ пернатыхъ, воробьи, какъ и всегда впрочемъ, отличались особенною егозливостью и трескотнею. Недаромъ называютъ ихъ въ простонародьи ворами и разбойниками! Глядя, какъ суетились они, какъ задирали одинокихъ галокъ и какъ потомъ таращили сѣрыя свои перышки, когда которая-нибудь изъ этихъ птицъ выказывала намѣреніе напасть въ свою очередь; какъ обсы-

пали они тогда сосѣднюю ветлу и разомъ принимались пищать и бить крылышками, — можно было думать, что они считали себя здѣсь полными хозяевами и приходили въ такую ярость потому лишь, что защищали собственность.

Такія продѣлки сильно забавляли мальчика; можно сказать, воробьи сдѣлались даже единственнымъ предметомъ его вниманія, какъ только ступилъ онъ на дорогу. Слѣдя за ними быстрыми, веселыми глазами, онъ то ускорялъ шагъ, то замедлялъ его; каждый разъ, какъ крикливая стая, сдѣлавъ неожиданный поворотъ въ воздухѣ, опускалась на макушку ветлы, мальчикъ припадалъ къ землѣ и начиналъ подкрадываться; брови его подымались и лицо выражало быстроту и лукавство; въ чертахъ и движеніяхъ явно проглядывало намѣреніе подкрасться ближе и застать птицъ врасплохъ; но нетерпѣніе всякій разъ портило дѣло: не успѣвъ сдѣлать трехъ шаговъ, онъ суетливо свѣшивалъ на-бокъ свою ношу и принимался стучать камнемъ въ дно боченка, издававшаго при этомъ какой-то глупый глухой звукъ.

Боченокъ былъ пустъ,—это ясно; иначе быть не могло: одна пустота боченка могла объяснить прыжки мальчика, легкую его поступь и веселость; не могъ бы онъ въ другомъ случаѣ бѣгать за воробьями и не сталъ бы такъ громко смѣяться, когда птицы, испуганныя грохотомъ боченка, пугливо и врозь разлетались. Мальчикъ выказывалъ, впрочемъ, такой веселый нравъ, что могъ бы, кажется, смѣяться и подъ болѣе тяжелой ношей. Веселость его проистекала, повидимому, столько же изъ нрава, сколько отъ здоровья и довольства жизнью; отъ полныхъ щекъ его, разрумяненныхъ остротою утренняго воздуха, дышало свѣжестью; въ чертахъ не было слѣда лишеній и преждевременнаго утомленія. Онъ былъ въ лаптишкахъ, старомъ полушубкѣ, очевидно принадлежавшемъ рослому человѣку, и шапкѣ, которая, конечно, могла только принадлежать владѣльцу полушубка; но все это было, однакожъ, въ порядкѣ; заплатъ было много; попадались даже заплатки изъ синяго и бураго сукна; но не висѣли онѣ лохмотьями, а тщательно обшиты были кругомъ бѣлыми здоровыми нитками; короче сказать, все показывало очень счастливаго мальчика,—мальчика береженаго, вволю пичкавшаго хлѣбъ и кашу, не лишеннаго нѣжныхъ материнскихъ попеченій. Уже самая фигура его, крѣпкая, пы-

шущая здоровьемъ и похожая издали на медвѣженка, ставшаго на заднія лапы, краснорѣчиво подтверждала такія предположенія.

Онъ продолжалъ стучать въ боченокъ и посвистывать до тѣхъ поръ, пока не миновалъ гуменъ. Тутъ онъ тряхнулъ шапкой какъ-то сверху внизъ и безъ помощи рукъ надвинулъ ее на глаза. Солнечные лучи, не заслоняемые вѣтлами и скирдами, били ему теперь прямо въ глаза. Дорога выходила на пологую, ярко освѣщенную луговину, за которой вдалекѣ круто выросталъ горный уступъ, окутанный тѣнью. Съ лѣвой стороны луговины мелькали послѣднія кровли села: тамъ же, но только несравненно ближе къ дорогѣ, возвышалась старая деревянная церковь, обнесенная рѣшеткой. Глубокій воздушный просторъ за церковью наполненъ былъ яркимъ солнечнымъ сіяніемъ; отъ церкви черезъ лугъ шла длинная тѣнь, въ которой точно такъ же серебрилась изморось, отпечатывая на травѣ углы колокольни, крестъ и тонкія полоски рѣшетки.

Мальчикъ съ боченкомъ продолжалъ спускаться и посвистывать. Внезапно онъ замолкъ и остановился. Посреди мертвой тишины послышались стоны... Они раздались за церковной оградой, гдѣ находилось кладбище... Случись такое обстоятельство ночью или даже въ сумерки, мальчикъ бросилъ бы свой боченокъ и полетѣлъ бы безъ оглядки въ село; но теперь онъ ограничился тѣмъ, что сталъ вслушиваться. Румяное лицо его, исполненное до настоящей минуты разсѣянностью и дѣтскою беззаботливостью, осмыслилось выраженіемъ вниманія. Онъ свернулъ съ дороги и пошелъ къ церкви. Стоны усиливались и превращались въ рыданія. Немного погодя, мальчикъ остановился у ограды; приложивъ щеки къ рѣшеткѣ, увидѣлъ онъ высокаго, худощаваго мужика, который закапывалъ могилу; баба, между тѣмъ, лежала навзничь подлѣ ямы и отчаянно колотилась головою о-земь.

Лицо мужика знакомо было мальчику; онъ зналъ, что мужика звали Андреемъ; онъ встрѣчалъ его въ селѣ, встрѣчалъ въ церкви по воскресеньямъ, встрѣчалъ на дорогѣ, на мельницѣ. Онъ слышалъ, какъ родные, говоря о немъ, называли его всегда бѣднымъ. Все это припомнилъ мальчикъ, и видъ знакомаго человѣка въ слезахъ и горѣ еще сильнѣе пробудилъ его любопытство. Но любопытство находило особенную пищу въ отчаяніи бабы; она билась у могилы и приговаривала нараспѣвъ:

Охъ, тяжко мнѣ... тяжко!
Ахъ ты, сизый голубь мой,
Неваглядное дитятко!..
Кто мнѣ теперь защебещетъ?
Кто меня сердцемъ порадуетъ?

— Полно, жена... Охъ!.. Знамо, тяжко! Какъ быть!.. Власть Божья!.. говорилъ въ то же время мужикъ, тяжело переводя одышку и продолжая закапывать могилу.

— Батюшка!.. батюшка! голосила еще отчаяннѣе баба, — охъ, батюшка!.. Егорушка... дитятко мое... бѣлянушка!.. Засыпали твои свѣтлые глазушки, кормилецъ мой... Не воротишься ужъ оттоль, родной мой!.. Охъ!.. Тяжко!.. Тяжко мнѣ горькой!..

— Полно!.. Ну, полно... Какъ быть!.. Христосъ съ нимъ, проговорилъ Андрей, продолжая работу и часто останавливаясь, чтобы отереть слезы, которыя текли по щекамъ его и въѣдались въ морщины.

Прислушиваясь къ такимъ рѣчамъ, мальчикъ машинально слѣдилъ глазами за лопатой Андрея. Мерзлые комки земли сыпались съ лопаты въ могилу; она постепенно мельчала. Вотъ тамъ мелькалъ еще уголокъ, куда проникалъ лучъ солнца: но земля засыпала его. И никогда уже въ этотъ уголокъ не глянетъ солнце! Никогда также не увидитъ дневного свѣта и Егорушка! Что сталось теперь съ нимъ, такъ недавно еще бѣгавшимъ, кричавшимъ и рѣзвившимся на улицѣ? Впрочемъ, ему вѣрно теплѣе теперь, чѣмъ отцу и матери, которыхъ едва прикрываютъ лохмотья! Но зато, какъ холодно ему будетъ, когда морозъ насквозь прохватитъ рыхлую землю могилки! Какъ страшно будетъ Егорушкѣ въ глухую зимнюю ночь, когда живой человѣкъ не пройдетъ мимо кладбища; когда по округу рыщетъ только сѣрый волкъ, прислушиваясь чуткимъ ухомъ къ лаю собакъ и свисту вѣтра... Вѣтеръ гудитъ въ стропилахъ колокольни и вѣетъ изъ-за угла церкви сыпучій снѣгъ... Винтомъ крутится снѣгъ въ мерзломъ воздухѣ и ложится косыми полосами поперекъ погоста...

Такія соображенія легко могли представиться воображенію мальчика съ боченкомъ за плечами, а впрочемъ не ручаюсь; достовѣрно то, что онъ отошелъ отъ ограды тогда только, когда Андрей засыпалъ могилу, поднялъ жену и повелъ ее съ погоста. Мальчикъ возвратился на дорогу; разъ или два останавливался онъ, чтобы посмо-

трѣть имъ вслѣдъ; но вдругъ, какъ бы вспомнивъ о чемъ-то, пошелъ впередъ по скату ускоренными шагами. Немного далѣе, когда совершенно уже открылся луговой скатъ, спускавшійся къ горному уступу, мальчикъ увидѣлъ бабу, которая вязала пучки льну, разостланнаго по травѣ ровными рядами; за нею тотчасъ же показались другія бабы, занимавшіяся тою же работой. Дорога проходила мимо, и первая баба окликнула мальчика, какъ только онъ съ нею поровнялся.

— Гришутка!

— Эй! весело отозвался мальчикъ.

— Откуда, изъ села?

— Да.

— Посылали стало зачѣмъ? вмѣшалась другая молоденькая бабенка, оставляя также работу и приближаясь къ мальчику;—зачѣмъ посылали?

— Вишь, боченокъ! сказалъ мальчикъ, встряхивая своей ношей.

— Здравствуй, Гришутка! промолвили еще двѣ другія, выходя на дорогу,—отколь?

— Да ужъ сказалъ—изъ села! возразилъ мальчикъ,—за боченкомъ посылали; вина хотятъ взять...

— Что у васъ, праздникъ, что ли? спросили въ одинъ голосъ бабы.

— Сестра родила... отвѣчалъ мальчикъ.

— Ой ли! Когда?..

— Ахти, касатки! воскликнула молоденькая бабенка,— кого родила, мальчика или дѣвочку?..

— Мальчика...

— То-то, я чай, дядя-то Савелій возрадовался! ась?... Семь лѣтъ ждалъ внучка-то! И ты, небось, радъ, Гришутка? а?.. Радъ, я чай? Самъ дядей сталъ теперича... Дядя теперь!.. Дядя!..

— То-то, касатушки, онъ съ нами нонче и здороваться-то не хотѣлъ! подхватила самая молоденькая, поглядывая на мальчика лукавыми глазами, — идетъ-себѣ, какъ чуфарка какой, право! Смотрѣть даже не хочетъ... Ахъ ты, дядя! дядя!.. примолвила она, засмѣявшись, и неожиданно нахлобучила ему шапку на глаза.

— Ну!.. оставь!.. Чего ты... Полно! закричалъ Гришутка, откидываясь въ сторону и дѣлая неимовѣрныя усилія бровями, чтобы приподнять шапку на лобъ.

— То-то у него щеки-то нонче какъ разгасились!

вишь красныя да жирныя какія! подхватила другая, подскакивая къ мальчику прежде, чѣмъ успѣлъ онъ поднять шапку, и прикладывая ладони къ щекамъ его, которыя были такъ свѣжи, что баба почувствовала свѣжесть даже на ладоняхъ своихъ.

— Оставьте! Ну!.. Что пристали?.. Ну!.. кричалъ мальчикъ, тщетно стараясь освободить глаза отъ шапки и отбиваясь отъ бабъ, которыя, радуясь случаю побаловать и посмѣяться, обступили его кругомъ, тискали и дергали во всѣ стороны.

— А, нутка-сь, тяжелъ ли боченокъ-то? говорила одна, налегая руками на посудинку и выгибая назадъ мальчика.

— Не пуще тяжелъ! смѣялась другая, дергая концы кушака, перехватывавшаго плечи мальчика и нагибая его впередъ.

— Бабы, — вали его на-земь! вали, разбойника! крикнула третья.

Въ ту же секунду нѣсколько рукъ обхватили его; но чье-то плечо перекосило шапку Гришки на-бокъ, и правый глазъ его освободился изъ мрака; это обстоятельство мигомъ воскресило въ немъ бодрость, начинавшую уже падать; онъ началъ рваться во всѣ стороны, работать локтями, брыкаться ногами, двигать боченкомъ, и прежде чѣмъ бабенки, посреди хохота и крика, успѣли возобновить осаду, ловко вывернулся изъ кружка и стремглавъ пустился внизъ по дорогѣ. Скачки мальчика приводили въ движеніе старую пробку, проткнутую когда-то въ бочепокъ, и которая лежала тамъ, прилѣпившись ко дну; принимая шумъ прыгавшей пробки за погоню, Гришка первую минуту летѣлъ стрѣлою и безъ огляди. Онъ вскорѣ очнулся, однакожъ, и остановился, чтобъ перевести духъ.

— Экія вѣдьмы! закричалъ онъ, быстро оборачиваясь къ верхней части луговины, гдѣ стояли бабы, хохотавшія во все горло.—Право, вѣдьмы!.. Вѣдьмы! вѣдьмы! подхватилъ онъ скороговоркою и постепенно усиливая голосъ.

Бабы захлопали въ ладоши и сдѣлали движеніе, какъ-будто пускались догонять его. Гришутка задвигалъ ногами и снова полетѣлъ безъ оглядки. Онъ остановился тогда уже, когда добѣжалъ почти до подошвы лугового ската и ясно увидѣлъ, что опасенія его ни на чемъ не основывались; бабъ не было даже видно: ленъ разстилался въ небольшой лощинѣ, которая дѣлалась замѣтною только издали; бабы принялись, видно, опять за работу

и наклоненное положеніе скрывало ихъ отъ взоровъ мальчика. Тѣмъ не менѣе, онъ счелъ долгомъ назвать ихъ нѣсколько разъ вѣдьмами; облегчивъ себя какъ-будто отъ огромной тяжести, онъ бодро тряхнулъ боченкомъ и началъ прыгать по камнямъ, служившимъ переходомъ черезъ ручей; ручей бѣжалъ между подошвой пройденнаго лугового ската и горнымъ обрывомъ, который подымался почти отвѣсно.

Въ этомъ мѣстѣ подводы переѣзжали обыкновенно въ бродъ, а дорога, перехваченная ручьемъ, снова показывала колеи свои между берегомъ и обрывомъ; она слѣдовала теченію ручья и шла влѣво. Немного погодя, мальчикъ обогнулъ часть ската, и церковь въ высотѣ предстала передъ нимъ, обращенная другимъ своимъ фасомъ; обернувшись назадъ, онъ могъ бы увидѣть также село Ягодно, которое, съ этой точки дороги, цѣликомъ почти рисовалось и смотрѣло своими окнами, игравшими на солнцѣ, на небольшую долину, по которой вился ручей. Но Гришутка не думалъ оборачиваться. Его привлекали другіе предметы; то на одномъ изъ камней усаживалась ворона и требовалось задержать шагъ, подобраться къ ней ближе и пугнуть ее съ мѣста; то останавливали его вниманіе маленькія заводья ручья, покрытыя блистающими иглами льда, не успѣвшаго еще оттаять на солнцѣ; нельзя же было пройти мимо, не надломивъ ледяной корочки, не пососавъ ее. — Ледъ теперь вдиковинку; шутка! какъ давно его не было! Трудно также было утерпѣть, чтобы не спихнуть камня, который висѣлъ надъ ручьемъ и, казалось, самъ просился упасть въ воду; или не пустить по ручью обломка древесной коры и не полюбоваться, какъ пойдетъ она вилять и прыгать между камнями; какъ бурнетъ и пропадетъ она въ пѣнѣ, сбиравшейся подлѣ уступовъ, и какъ потомъ снова поплыветъ, слѣдуя прихотливому изгибу.

Мѣстами берега покрыты были кустами лозняка, который укрѣплялся даже кое-гдѣ посреди ручья въ видѣ маленькихъ островковъ. Но какъ плачевно смотрѣли теперь эти островочки. Чѣмъ сильнѣе пронизывало ихъ солнцемъ, тѣмъ замѣтнѣе выказывалась ихъ бѣдность; вмѣсто частой, непроницаемой зелени, всюду торчали голые, холодно-лоснящіеся прутья, перепутанные поблекшей ежевикой, засыпанные у основанія листомъ, похожимъ на луковичную скорлупу и жалобно хрустѣвшимъ при ка-

момъ легкомъ вѣтрѣ. Проходя мимо, Гришутка открывалъ иногда между прутьями сѣренькое пушистое гнѣздо; такое открытіе давало ему всякій разъ случай дивиться, какъ не замѣтилъ онъ его прежде, проходя тутъ лѣтомъ. Что же была это за птица такая?.. Должно-быть крохотная какая-нибудь! и куда она теперь дѣлась.

„Погоди, постой, лѣто опять придетъ, прилетитъ она опять на прежнее мѣсто выводить яйца!..“

И мальчикъ, озираясь на стороны, старался замѣтить камень, земляной выступъ, овражекъ противъ куста съ гнѣздомъ, чтобы не обознаться, когда придетъ время прямо напасть на слѣдъ.

А между-тѣмъ, щеки долины расходились, склоны съ обѣихъ сторонъ понижались, каменистый грунтъ замѣтно дѣлался мягче и покрывался травою, по которой плавно теперь, безъ пѣны и шуму, спускался ручей. Вскорѣ открылись пространные луга, кой-гдѣ замкнутые лѣсистыми холмами. Вся эта плоскость, залитая тѣмъ же блестящимъ, хотя холоднымъ сіяньемъ, казалась совершенно гладкою; нигдѣ не было видно деревушки. Но тутъ и тамъ подымались вдалекѣ тонкія струйки дыма. Нѣсколько ближе, хотя очень еще далеко, выступало строеніе съ высокой остроконечной кровлей, которая вырѣзывалась синеватымъ треугольникомъ подъ сверкающимъ краемъ горизонта. Еще ближе, возносилась группа вѣтелъ; между головастыми ихъ стволами и сквозь голые сучья мелькалъ на солнцѣ бревенчатый новый амбаръ съ лѣпившимися къ нему избою и навѣсомъ. Ручей, откинувшись отъ дороги, дѣлалъ два, три поворота, пропадалъ раза два и снова сверкалъ у вѣтелъ; дорога шла прямо къ амбару. При видѣ старыхъ вѣтелъ и амбара, разсѣянный, безпечный видъ мальчика исчезъ тотчасъ же; онъ снова какъ-будто вспомнилъ о чемъ-то, и теперь уже съ озабоченнымъ и совершенно дѣловымъ видомъ ходко пошелъ впередъ.

Мало-по-малу, не въ дальнемъ разстояніи за вѣтлами, показался берегъ рѣки, тянувшійся прямо къ строенію съ высокой кровлей, мелькавшей въ отдаленьи. Ручей бѣжалъ къ рѣкѣ; но прежде чѣмъ въ нее скатиться, онъ замыкался плотиной и наполнялъ небольшой прудъ, обсаженный съ одного бока вѣтлами; къ тому же боку примыкалъ амбаръ, изба и плетни съ навѣсомъ. Въ лѣтнее время все это должно было пропадать въ зелени; но теперь опавшій листъ позволялъ разсматривать два водяныя

колеса, прикрѣпленныя къ амбару, и подъ ними дощаной жолобъ; сквозь щели досокъ просачивались длинныя серебристыя водяныя нити, между тѣмъ какъ съ дальняго конца жолоба каскадомъ ниспадалъ водяной стержень, обдававшій пѣной всю нижнюю часть амбара. Вода очевидно пущена была отъ избытка, потому что колеса оставались неподвижными. Прудъ сверкалъ какъ зеркало; и на незыблемой его поверхности ясно отражались стволы вѣтелъ съ ихъ прутьями, часть плетня, калитка въ плетнѣ и ярко освѣщенный амбаръ съ его кровлею, обсыпанною мучною пылью; мѣсто, гдѣ вода изъ пруда устремлялась въ жолобъ, представлялось неподвижною стеклянною массой; быстрота стремленія выказывалась только утками, которыя, какъ ни спѣшили двигать красными своими лапками, но все-таки едва плыли противъ теченія.

Обогнувъ прудъ (дорога проходила по той сторонѣ пруда и упиралась прямо въ ворота амбара, которыя были теперь заперты), Гришутка ступилъ на гибкую доску, брошенную черезъ жолобъ противъ калитки. Въ другое время, онъ, конечно, не преминулъ бы попугать утокъ, и безъ того уже бившихся изъ силъ, чтобы выплыть изъ стремнины; не преминулъ бы также остановиться посреди доски и покачаться надъ водою, въ которой представлялся онъ стоявшимъ вверхъ ногами со своимъ боченкомъ,—но надо думать, не до того теперь было. Онъ суетливо перешелъ доску, поглядѣлъ сначала въ щель калитки и, принявъ вдругъ рѣшительное намѣреніе, вступилъ на дворикъ мельницы.

II.

Семейная радость и приготовленія.

— Это ты, молодецъ?.. Что долго такъ? А я думалъ ноги твои быстрыя; думалъ—духомъ слетаешь...

Голосъ этотъ, нѣсколько надорванный, но снисходительный какой-то и очень мягкій, принадлежалъ старичку, который сидѣлъ подъ навѣсомъ двора, верхомъ на обрубкѣ бревна, и работалъ что-то топоромъ. Именно только такой голосъ и могъ принадлежать этому старику: онъ какъ-то шелъ къ нему, отвѣчалъ его кроткому, ухмыляющемуся лицу, дополнялъ, если можно такъ выразиться, то впечатлѣніе, которое производилъ старикъ съ перваго взгляда. Прозвучи голосъ его хрипло, какъ тупая пила въ гни-

ломъ деревѣ, или раздайся какъ изъ бочки, это было бы то же, какъ если бъ воробей гаркнулъ по-вороньему. Если хотите, старикъ, наружнымъ видомъ своимъ, отчасти даже смахивалъ на воробья: тѣ же прыткость и суета въ движеніяхъ, такой же вострый носъ и быстрые глаза, тѣ же, относительно разумѣется, личные размѣры; разница сходства состояла въ томъ собственно, что воробей весь сѣрый, тогда какъ у старика сѣрыми были однѣ брови; волосы его бѣлѣли какъ снѣгъ и разсыпались волокнистыми какъ трепленный ленъ, прядями по обѣимъ сторонамъ маленькаго, но чрезвычайно умнаго и оживленнаго лица.

— Что-жъ такъ долго, а? повторилъ старикъ, поглядывая на Гришку.

Нельзя сказать, чтобы мальчикъ очень смутился; онъ запнулся однакожъ, не нашелъ что̀ отвѣтить и, чтобы поправиться, поспѣшилъ спустить съ плечъ боченокъ и поставить его на видъ.

— Это-то я вижу... вижу... промолвилъ старикъ, потряхивая головою,—да былъ долго зачѣмъ?.. вотъ что...

— Бабы, дядюшка... задержали... онѣ все...

— Какія бабы? спросилъ удивленный старикъ.

— Лёнъ на лугу вязали. Я иду... а онѣ... онѣ и давай привязываться. Я и то все въ бѣжки... почитай всю дорогу... ничего съ ними не сдѣлаешь!.. озорныя такія...

— Какія же это бабы?.. Съ чего-жъ бы имъ такъ-то привязываться... Ну, братъ, тутъ что-то не ладно. Шишковато больно говоришь! Не ладно что-то, Гришунька...

При имени „Гришунька“ неловкость мальчика мигомъ пропала. Онъ зналъ очень хорошо, что когда старикъ хотѣлъ бранить его или вообще былъ не въ духѣ, то звалъ его всегда Гришкой, Григоріемъ; когда же былъ въ духѣ, другого названія не было, какъ Гришутка, Гришаха, или Гришунька. Пора было привыкнуть мальчику къ такимъ оттѣнкамъ: онъ жилъ у старика третій годъ; онъ приходился роднымъ братомъ его снохи, и старикъ взялъ его у родителей съ тѣмъ, чтобы пріучать исподволь къ мельничному дѣлу.

— Ну что-жъ смотришь-то? а?.. подхватилъ старикъ.— Боченокъ принесъ, ну и ладно; чего глядишь-то?.. али что здѣсь вдиковинку?

— Нѣтъ, дядюшка, смотрю: гдѣ-жъ это собаки-то наши? возразилъ мальчикъ, къ которому снова возвратилась его вѣтреность и разсѣянность,—собакъ не видать...

— Экъ забота припала... собакъ не видать!.. а!.. Волки съѣли.

При этомъ старикъ осклабилъ беззубыя свои десны и засмѣялся. По всему было видно, что находится онъ въ отличномъ расположеніи духа; веселость свѣтилась въ его глазахъ, проглядывала въ движеніяхъ сѣдой головы, которая самодовольно покручивалась; тѣсно было, казалось, веселости въ груди его, и она вырывалась оттуда сама собою.

— Поди, о чемъ сокрушается: о собакахъ! Эхъ, паренекъ, паренекъ!.. вотъ ужъ подлинно: молодо — зелено!.. Чѣмъ собакъ-то высматривать,—онѣ, слышь, за Петрухой побѣжали, не пропадутъ небось!—ты погляди-ка сюда лучше, сюда погляди. Совсѣмъ, почитай, ужъ покончилъ... ну, что, хорошо ли?..

Предметъ, на который указывалъ старикъ, дѣйствительно заслуживалъ вниманія: изъ-подъ навѣса, бросавшаго густую тѣнь на дворъ, высовывался длинный гибкій шестъ; въ конецъ шеста проходило старое ржавленное кольцо, отъ кольца спускались четыре коротенькія веревки, которыя расходились и прикрѣплялись концами къ угламъ деревянной рамы, обшитой внутри посконной холстиной и представлявшей подобіе неуклюжаго мѣшка.

— Ну, какова штука-то, ась? сказалъ старикъ, пригибая нѣсколько шестъ веревками и вдругъ выпуская ихъ изъ рукъ, при чемъ рама и мѣшокъ начали прыгать.

— Что-жъ это, дѣдушка? спросилъ мальчикъ, слѣдя за эволюціями мѣшка и рамы.

— А что ты думалъ?

— Качка?

— Хе, хе, хе!.. залился старикъ, — знамо, что качка, а не амбарный ящикъ, ну, молодецъ, сказывай: хорошо, что ли?

— Хорошо, дядюшка!

— Эвна! эвна! эвна! произнесъ старикъ, снова приводя въ движеніе люльку и подпираясь ладонями въ бока, — эвна! знатно будетъ лежать нашему молодцу!.. Подобью еще дно войлочкомъ, да тюфячокъ положимъ... вотъ тутъ еще маленько веревки того... самъ вижу—криво; все въ правый бокъ забираетъ. И тогда повѣсимъ!.. Хорошо будетъ спать моему внучку и твоему племяннику, Гришутка; словно въ лодочкѣ! не ворохнется.

Тутъ ухмылявшееся лицо старика сдѣлалось вдругъ серьезнымъ; онъ отвернулся и склонилъ голову.

— Дай только Господь пожить ему, сердечному... Создай такую милость, Царица Небесная!.. произнесъ онъ вполголоса, крестясь медленно, съ разстановкой.

Гришутка, не спускавшій съ него глазъ, машинально снялъ шапку.

— Ты, Гришаха, не встрѣчалъ дорогой Петра? спросилъ старикъ, расправляя брови.

— Нѣтъ, дядюшка.

— Чтой-то всѣ вы нонче какъ замѣшкались? День такой: хлопотъ полонъ ротъ, а они ухомъ не ведутъ... точно, право, зарокъ дали...

— Вотъ онъ никакъ, дядюшка... Вотъ ѣдетъ! крикнулъ Гришка и побѣжалъ отворять ворота, за которыми слышался шумъ подъѣхавшей телѣги.

Щелкнулъ деревянный засовъ, ворота пронзительно заскрипѣли и въ темномъ днѣ навѣсовъ открылся вдругъ ярко-сіяющій квадратъ съ лошадью на первомъ планѣ, телѣжкой и сидѣвшимъ въ ней молодымъ парнемъ. Но прежде чѣмъ Гришка успѣлъ взять лошадь подъ-уздцы, его чуть не сшибли съ ногъ двѣ собаки: одна сѣрая, большая, похожая на волка; другая нѣсколько меньше, черная, съ желтыми зрачками, полузаслоненными шершавыми бровями, покрытая вся взъерошенными завитками, дѣлавшими ее похожею издали на мячикъ, обшитый чернымъ мохнатымъ бараномъ.

— Дядюшка дожидаетъ, сказалъ Гришка, отбиваясь одною рукою отъ собакъ, другою хватаясь за поводья.

— Да, пора бы! давно пора! отозвался старикъ съ другого конца навѣса.

Телѣга въѣхала на дворъ. Изъ нея вылѣзъ свѣтлорусый малый, лѣтъ двадцати-семи, средняго роста, но плотный, приземистый, дышащій силою и здоровьемъ. Это былъ сынъ старика и мужъ Гришкиной сестры. Насколько бралъ онъ противъ отца силой, настолько, казалось, уступалъ ему въ расторопности, живости и той быстрой смѣткѣ и смышлености, которая отражалась въ глазахъ и каждой чертѣ старика. Малый поглядывалъ даже нѣсколько простакомъ, но, впрочемъ, былъ усердный помощникъ отцу, надежная, плотная опора его старости; малый онъ былъ кроткій, покойный, честный; свойства эти явно отпечатывались на его широкомъ, кругломъ лицѣ, опушенномъ снизу бородкой, сквозь которую просвѣчивали тол-

стыя, добрыя губы и время отъ времени сверкалъ рядъ зубовъ бѣлизны ослѣпительной.

— Что такъ поздно? спросилъ старикъ, выходя къ нему навстрѣчу.

— Ничего не сдѣлаешь, батюшка, смиренно возразилъ сынъ,—Василья дома не было: пришлось обождать.

— Ну, что-жъ, купилъ?

— Купилъ, батюшка, все купилъ, что ты наказывалъ: солонины одинъ пудъ, баранины двадцать фунтовъ, масла и гороху на кисель...

— Много, чай, разсорилъ денегъ-то? спросилъ старикъ, прищуриваясь.

— По той цѣнѣ взялъ, какъ ты сказывалъ...

— Вотъ это хорошо!.. Эй, тетка Палагея! подь къ намъ! закричалъ старикъ, суетливо обращаясь къ крылечку избы.

— Иду, кормилецъ, иду!.. прохрипѣлъ голосъ въ сѣняхъ, и появилась затѣмъ старушка со впалою грудью и лицомъ, сморщеннымъ, какъ черносливъ.

Старикъ взялъ ее изъ Ягодни, на все время, пока лежать будетъ сноха его; сверхъ обычныхъ хлопотъ по хозяйству, Палагея обязывалась, за два съ полтиной, состряпать крестинный обѣдъ, назначенный на завтра.

— Ну, тетка Палагея, стряпня твоя пріѣхала!.. Бери, кроши, повертывай, — да въ печку ставь!.. Готовы ли горшки-то?..

— Готовы, касатикъ!.. У насъ духомъ-леткомъ! Было бы изъ чего, родимый, — за мною дѣло не станетъ... Не смигнешь,—все представлю въ твое удовольствіе!.. бодрясь, говорила старуха, подходя къ телѣгѣ и принимаясь вытаскивать кулечки.

— Гришутка, полно тебѣ съ собаками-то возиться!.. вишь, время нашелъ! подсоби теткѣ Палагеѣ въ избу таскать... Ты, Петруха, присовокупилъ старикъ, понижая голосъ и указывая глазами на старуху, — ты за нею поглядывай... баба-то вострая; не доглядишь — и крупицы себѣ отсыпетъ, и ветчинки отрѣжетъ, и маслица отольетъ... Хозяйкѣ твоей, знамо, не до того теперь, — съ малымъ возится... Ну, а у священника былъ?

— Былъ.

— Что-жъ онъ?

— Какъ обѣдня отойдетъ, говоритъ, тутъ и окрестимъ; пріѣзжать велѣлъ.

— Ну, а къ свату Силаеву и куму Дрону заѣзжалъ звать ихъ?

— Нѣтъ, батюшка, не успѣлъ... Василій добре задержалъ меня съ покупками... Я схожу къ нимъ, какъ уберусь.

— Да, малый ты съ затылкомъ! рази у насъ одно это дѣло-то?.. Ну, да ладно; авось тамъ справимся какъ-нибудь... Пока ты въ село пойдешь, а я за виномъ съѣзжу; Гришунька боченокъ принесъ. Ну, и я безъ тебя не сидѣлъ скламши руки... погляди-ка поди, примолвилъ старикъ, подводя сына къ люлькѣ и снова приводя ее въ движеніе:—эвна! эвна! эвна какъ! Хорошо, что ли?

— Хорошо, батюшка... Я, батюшка, какъ по лугу ѣхалъ, повстрѣчалъ три воза изъ Протасова; къ намъ на мельницу ѣдутъ; скоро, чай, будутъ... Встрѣтился также Андрей со мною...

— Какой Андрей?

— Да нашъ, изъ Ягодни... Схоронилъ ноне опять парнишку; послѣдняго схоронилъ...

— Что ты!.. Экой горькій этотъ мужикъ, право! И что за диковина такая: не стоятъ у него ребяты да и полно! Всѣ въ одно время, почитай, рѣшились, въ одну осень нынѣшнюю... И бѣдность-то, да и горе-то... Что-жъ, не сказывалъ онъ, зачѣмъ шелъ? заключилъ старикъ, посматривая вопросительно.

— Нѣтъ, не сказывалъ; никакъ мѣшокъ несъ съ рожью; должно-быть, молоть идетъ.

— Гм! гм! хорошо все это, только не по времени; право, недосугъ; Богъ съ ними совсѣмъ и съ возами-то! Сидишь, бываетъ, дѣлать нечего, никто не ѣдетъ; нонѣ хлопотъ не оберешься,—всѣ какъ нарочно повалили...

— Я, батюшка, схожу пока хозяйку провѣдаю, перебилъ сынъ.

— Ступай!.. Я здѣсь поуправлюсь... вотъ качку надо еще приладить... Эй, Гришунька! эй!

— Что, дядюшка?

— Распряги лошадь, поставь ее на мѣсто, а телѣгу отодвинь—сейчасъ воза пріѣдутъ!

Мальчикъ побѣжалъ къ лошади; старикъ снова усѣлся верхомъ на обрубокъ и началъ тесать колышки, предназначавшіеся для распорки рамъ на люлькѣ.

Лошадь была уже распряжена и мальчикъ возился съ телѣгой, когда въ свѣтломъ отверстіи отворенныхъ воротъ

показался Андрей, тотъ самый мужикъ, который хоронилъ ребенка. Съ перваго взгляда Гришка не призналъ его, Андрей былъ очень высокъ ростомъ; но теперь согнутый въ дугу подъ тяжестью мѣшка, перекинутаго черезъ плечо, казался онъ маленькимъ человѣкомъ. На немъ были тѣ же лохмотья; къ нимъ теперь присоединялась еще шапка, которой не было у него на кладбищѣ. Медленнымъ, отягченнымъ шагомъ пошелъ онъ прямо къ старику, шаговъ за пять снялъ онъ шапку; несмотря на холодъ, лобъ его былъ совершенно мокръ и черные волосы свивались на лбу и вискахъ.

— Богъ помочь, Савелій Родіонычъ! сказалъ онъ, сбрасывая мѣшокъ на-земь.

— А! здорово, братъ, Андрей... здорово!.. сказалъ старикъ, насаживая топоръ въ обрубокъ и вставая. — Слышалъ я о твоемъ горѣ, слышалъ! сынъ сказывалъ! Какъ быть-то, братъ, какъ быть!.. Знать, такъ Господу Богу угодно... Его, знать, воля святая, подхватилъ онъ съ сожалѣньемъ. Частію также, старикъ повелъ такую рѣчь съ умысломъ: онъ не сомнѣвался, что Андрей пришелъ съ какою-нибудь просьбой и хотѣлъ ему не дать на это времени; старикъ былъ „крѣпковатъ въ счетахъ“, какъ говорятъ въ простонародьи.

Андрей слушалъ, свѣсивъ руки и потупя голову; красивое лицо его, поблѣднѣвшее отъ усталости, изрытое нуждою и лишеніями всякаго рода, выражало глубокую скорбь; но въ скорби этой было что-то покорное, тихое; онъ, какъ видно, свыкся уже съ ударами рока, не возмущался ими, и если слезы текли по раннимъ его морщинамъ, такъ это было совершенно противъ воли: не могъ онъ никакъ совладать съ ними.

— Да, проговорилъ онъ съ разстановкой,—да, Савелій Родіонычъ, — Господь послѣдняго взялъ... Одинъ былъ... и того теперь нѣту, сирота сталъ, Савелій Родіонычъ, какъ есть сирота теперь...

Онъ не договорилъ, отвернулся и отеръ лицо изнанкомъ ладони.

— Да... Какъ быть... власть Божья!.. промолвилъ Савелій тономъ, сквозь который проглядывало эгоистическое чувство счастливаго человѣка; — у тебя вотъ, Господь, Творецъ милосердный, отнялъ, а мнѣ далъ! ты нонѣ, Андрей, схоронилъ дѣтище, а у меня нонѣ въ ночь внучекъ родился! семь лѣтъ ждалъ, молилъ Господа, — не

было; а теперь послалъ Господь!.. Власть Божья! Его не переспоришь... Вѣдь у тебя было никакъ всего трое ребятъ? одинъ, помнится, косинькой такой, маленечко еще на ногу припадалъ... нога-то съ кривинкой была... Этотъ, что ли, померъ?

— Этотъ, Савелій Родіонычъ...

— Ну, этотъ, Господь съ нимъ! обиженный былъ человѣкъ... Не былъ бы тебѣ помощникомъ... Калѣка былъ!

— Нѣтъ, Савелій Родіонычъ, этого мнѣ жалчѣе... другихъ хоронилъ, словно не такъ горько было!.. Косинькаго всѣхъ жалчѣе, Савелій Родіонычъ!.. Ужъ такъ-то жалко... кажись... Пришелъ въ избу, гляжу—нѣтъ его, нѣтъ Егорушки, вспомнилъ... индо даже отъ сердца оторвалось у меня... Косинькаго всѣхъ жалчѣе!..

— Что говорить... послѣдній былъ; своя полоса мяса!.. Что говорить! сказалъ Савелій, поглядывая на стороны.— Ты, братъ Андрей, не серчай на меня... Ей-Богу некогда... недосугъ нонче... У насъ нонѣ хлопотъ-то и-и-и!..

— Я за дѣломъ къ тебѣ, Савелій Родіонычъ...

— Гм! Какое же твое дѣло?.. Коли можно...

— Да помолоть пришелъ... одинъ мѣшокъ всего...

— Ну, что-жъ, засыпай!..

— Только... нельзя ли какъ-нибудь, Савелій Родіонычъ... Какъ передъ истиннымъ Богомъ говорю: нѣтъ у меня ничего... отъ похоронъ гроша не осталось... за помолъ отдать нечего...

Савелій поморщился и почесалъ затылокъ.

— Сдѣлай милость, Савелій Родіонычъ!.. право, на хлѣбецъ, на одинъ хлѣбецъ муки нѣтъ...

Савелій смотрѣлъ въ землю и пожималъ губами.

— Дядюшка, къ намъ возы ѣдутъ! — Три воза! крикнулъ Гришка, стоявшій въ воротахъ.

— Вишь, тебѣ Господь Богъ посылаетъ, Савелій Родіонычъ! вымолвилъ Андрей.

— Н... ну Богъ съ тобой! засыпай! ступай только скорѣе, пока тѣ не подъѣхали, сказалъ старикашка, принявъ снова свой добродушный видъ.—Гришутка, отцѣпи колесо поди,—у первой снасти!..

Минуты двѣ спустя, внутри амбара послышалось шипѣнье жернова, который вскорѣ разошелся и пошелъ порхать, посылая изъ амбарной двери легкіе клубы мучной пыли.

— Петрунька, сказалъ Савелій, останавливая сына послѣ

того, какъ возы въѣхали на дворъ, установились и пущена была въ ходъ вторая снасть,—какъ же намъ, слышь, быть теперь?

— Что-жъ, батюшка?

— Ты идешь въ село теперь на крестины звать; можетъ тамъ опять промѣшкаешь; до вечера, можетъ, пробудешь; дни теперь короткіе... Тутъ вотъ эти, прости Господи, пріѣхали! прибавилъ онъ, указывая глазами на подводы,—мнѣ отъ нихъ отойти нельзя никакъ... А кто-жъ теперь за виномъ-то поѣдетъ?..

— Пошли, батюшка, Гришку,—онъ съѣздитъ!

Старикъ пожалъ губами и покачалъ головою.

— Что-жъ такое! продолжалъ сынъ, — развѣ мудрость какая! подалъ деньги цѣловальнику — и все тутъ; боченокъ вѣдь ведерный, обмѣрить нельзя: дѣло все на виду...

— На виду-то, на виду... Оно такъ... Да малый-то... думается, того... Ну, да ладно, ступай!.. произнесъ Савелій, одумавшись. — Эй, Гришка, крикнулъ онъ, когда Петръ исчезъ въ воротахъ,—поди запрягай лошадь; смотри только, какъ дугу надѣвать станешь, мнѣ скажи, самъ не затягивай...

— Дай я подсоблю ему, сказалъ Андрей, выходя изъ амбара,—мнѣ пока дѣлать нечего.

Онъ пошелъ навстрѣчу мальчику, который велъ уже лошадь. Когда подвода была готова, Савелій велѣлъ Гришкѣ надѣть шубенку и взять шапку. Тотъ вытаращилъ сначала удивленные глаза; но потомъ, какъ-будто вмѣстѣ съ этимъ приказаніемъ соединилось для него великое счастіе, полетѣлъ въ избу и разомъ даже перескочилъ черезъ всѣ ступеньки крылечка.

— Посылать его хочешь? спросилъ Андрей.

— Да, вина взять на завтра, возразилъ Савелій, запуская съ озабоченнымъ видомъ руку за пазуху и вынимая оттуда кожаный кошель. — Что это, какъ вино стало у насъ нонѣ дорого!.. Четыре цѣлковыхъ за ведро... Виданное ли это дѣло!.. И добро бы вино-то было хорошее, спорое... а то лѣшій ихъ знаетъ, прости Господи, чего туда подливаютъ, разбойники!.. Бывало, два съ полтиной платили; теперь хуже стало, а всѣ четыре цѣлковыхъ отдай... Бѣда да и только!..

— Все теперь вздорожало, Савелій Родіонычъ; за что ни возьмись, все дороже.

— Охо-хо! говорилъ Савелій, высчитывая на ладони

деньги,—стало ужъ времена такія пришли... времена такія тугія... Такія времена!

Надѣть полушубокъ и схватить шапку было для Гришки дѣломъ одной минуты; онъ возвратился на дворъ прежде еще, чѣмъ старикъ успѣлъ сосчитать деньги.

— Дядюшка, я здѣсь! сказалъ онъ, торопливо застегивая на ходу верхнюю пуговицу у полушубка и любопытно поглядывая то на лицо старика, то на ладонь съ деньгами. — Я здѣсь, дядюшка!.. повторилъ нетерпѣливо мальчикъ.

— Вижу... вижу!.. Шесть гривенъ, да полтина... да двугривенный... бормоталъ старикъ, — возьми боченокъ, Гришутка, положь его въ телѣгу, прибавилъ онъ мимоходомъ и возвышая голосъ,—еще три четвертака... Всего четыре цѣлковыхъ... Вишь ты эти деньги? заключилъ онъ, обращаясь къ мальчику.

— Вижу, дядюшка!

— Что жъ ты видишь-то?

— Деньги, дядюшка!

— Да сколько ихъ?

— Не знаю...

— То-то же и есть!.. прытокъ больно... охъ ужъ ты у меня, смотри... слушай, тутъ четыре цѣлковыхъ, продолжалъ старикъ, копотливо завертывая мелкую монету въ двѣ замасленныя рублевыя бумажки, — смотри, не оброни!..

— Нѣтъ, дядюшка, въ рукѣ держать буду: не выпущу!

Савелій покачалъ головою, молча разстегнулъ ему полушубокъ, ощупалъ овчину внутри, опять покачалъ головою; молча потомъ снялъ шапку мальчика, внимательно осмотрѣлъ тулью, приподнялъ ее и, вложивъ туда деньги, крѣпко опять надвинулъ шапку на голову Гришки.

— Смотри у меня, не сымать шапки дорогой! сказалъ онъ, — поѣдешь теперь въ кабакъ, возьмешь тамъ ведро вина, скажи цѣловальнику: „боченокъ-то ведерный, видно будетъ, какъ обмѣришь!..“ Постой! возвысилъ голосъ старикъ, видя, что мальчикъ бросился къ телѣгѣ, — погоди! экъ его носитъ какъ!.. знаешь ли еще, гдѣ кабакъ-то?

— Какъ же, дядюшка! какъ не знать... я рази впервой... кабакъ за рѣкою...

— Погоди!.. перебилъ старикъ, выказывая въ свою очередь нетерпѣніе, — постой!.. экъ его носитъ!.. ну, что ты похваляешься-то? что похваляешься? кабакъ, знаю, за

рѣкою... да вѣдь за рѣкою-то у насъ два кабака; какъ проѣдешь рѣку, отъ перевоза будутъ двѣ дороги; одна пойдетъ влѣво, другая прямо, налѣво не ѣзди; ступай прямо... слышишь?

— Слышу, дядюшка!

— А коли слышишь, садись да поѣзжай; вотъ еще что: смотри у меня, лошадь не гнать! Пріѣдешь домой, я погляжу: коли потная она, вихры намну!.. помни же, что̀ сказано: шапки не сымай дорогой; какъ въ кабакъ пріѣдешь, тогда только сыми...

Послѣднія слова сказаны были мальчику, когда онъ сидѣлъ уже въ телѣгѣ и держалъ вожжи. Андрей взялъ лошадь подъ-уздцы и вывелъ ее изъ воротъ. Гришка свистнулъ собакѣ, которая полетѣла за нимъ, и вскорѣ собака и телѣга пропали изъ виду.

— Андрей, крикнулъ старикъ, когда тотъ возвратился,— побудь пока здѣсь въ амбарѣ; погляди за помольцами, на минутку въ избу схожу, сноху провѣдаю, погляжу на внучка...

— Ладно, Савелій Родіонычъ.

— Постой!.. поди-ка сюда... вымолвилъ старикъ, направляясь къ той сторонѣ навѣса, гдѣ висѣла люлька,— ты, братъ, повыше меня, достанешь безъ подставки... сыми кольцо съ шеста... кстати, ужъ заодно пойду качу въ избѣ прилажу... погоди! присовокупилъ онъ, останавливая одной рукой Андрея, другой рукой приводя въ движеніе люльку, — теперь, кажись, ровно идетъ... Эвно! эвно!.. ладно, сымай теперь!

Андрей исполнилъ его просьбу.

— Побудь же пока въ амбарѣ-то, повторилъ дядя Савелій.

И пропустивъ кольцо въ костлявые свои пальцы, вытянувъ руки, чтобы дно люльки не тащилось по землѣ, онъ поплелся въ избу, сохраняя во все время на лицѣ самодовольную улыбку.

III.

Маленькая біографія маленькаго человѣка.

Эпоха, въ которую родился Савелій, относится къ весьма отдаленному времени. Лучшимъ доказательствомъ этого служитъ то, что помѣщики имѣли тогда право продавать крестьянъ своихъ поодиночкѣ. Теперь, благодаря про-

свѣщенію, которому такъ справедливо удивляемся и мы, и европейцы, — право продажи душъ поодиночкѣ не существуетъ.

Теперь крестьяне продаются не иначе, какъ цѣлымъ семействомъ: оно и человѣчнѣе, и даже выгоднѣе.

Сосѣду понравился, напримѣръ, вашъ столяръ; онъ предлагаетъ за него очень выгодныя условія.

— Человѣкъ отличный! говорите вы съ одушевленіемъ,—превосходный! кладъ—не человѣкъ! При случаѣ, онъ можетъ даже красить крыши, составлять лаки.... жена его также отличная женщина...

— Но жены его и дѣтей мнѣ не надобно, возражаетъ сосѣдъ,—я хочу имѣть одного только столяра; онъ одинъ мнѣ нуженъ...

— Безъ жены и дѣтей не могу... не могу! говорите вы съ убѣжденіемъ, — развѣ не знаете вы, что я уже не могу этого сдѣлать...

— Дѣлать нечего, продайте всю семью... мнѣ собственно все равно!.. Но въ такомъ случаѣ денежныя условія останутся тѣ же...

— Что вы! что вы!.. Христосъ съ вами!.. говорите вы, пораженные безстыдствомъ и наглостью сосѣда, — жена его отличная прачка; она даже тонкіе кружевные воротнички стираетъ! Отпустите ее на оброкъ,—она принесетъ вамъ вѣрныхъ пятнадцать цѣлковыхъ!.. Наконецъ, у него есть еще мальчикъ лѣтъ двѣнадцати, удивительный мальчикъ! Самоучкою выучился грамотѣ, пишетъ какъ писарь, почеркъ чисто каллиграфическій... у меня въ семействѣ даже зовутъ его каллиграфомъ... Словомъ, замѣчательный мальчикъ! Года черезъ четыре-пять, онъ принесетъ вамъ рублей тринадцать оброку, если не больше!.. Я бы никогда не разстался съ этимъ ребенкомъ и его матерью... Я уступаю ихъ единственно потому, что отецъ мнѣ не нуженъ; а такъ какъ по закону одно лицо продать невозможно, рѣшаюсь уже заодно продать все семейство...

Сосѣду столяръ нуженъ до зарѣзу, онъ предлагаетъ, сверхъ положенной суммы за отца, кое-что еще за мать и сына, — и вы остаетесь, слѣдовательно, въ барышахъ противъ того, какъ было бы при продажѣ одной души. Но все это дѣло постороннее и выставлено здѣсь единственно въ защиту успѣха нашего просвѣщеннаго вѣка.

Савелій Родіонычъ принадлежалъ къ другой губерніи, а не къ той, гдѣ теперь находился. Семи лѣтъ отъ роду,

проданъ онъ былъ на свозъ вмѣстѣ съ отцомъ и матерью въ село Ягодню, гдѣ въ то время земли было вчетверо противъ числа душъ. Переселеніе изъ родины на новое мѣсто совершилось очень благополучно; не обошлось, конечно, безъ слезъ, воплей и даже криковъ отчаянья при разлукѣ, нельзя же: сердце не камень! Привелось прощаться съ родными, которыхъ никогда больше не увидишь, привелось разставаться навѣки съ погостомъ, на которомъ покоились кости отцовъ и проч. Но нѣтъ такого горя, которое не умалялось бы временемъ. Поплакали и перестали. Семейству Савелія выстроили избенку и отвели землю. Мѣстность Ягодни, воздухъ, вода, жизнь при тогдашнемъ помѣщикѣ — все было лучше, чѣмъ на родинѣ. При всемъ томъ, переселенцамъ какъ-то не посчастливилось на новомъ мѣстѣ. Мать Савелія видимо чахла; къ началу осени слегла она, а къ концу отдала Богу грѣшную свою душу. На второй годъ, Савелій остался круглымъ сиротою, потому что отецъ его тоже „переселился“, то-есть переселился въ такой край, откуда никакой помѣщикъ—предлагай онъ хоть все свое состояніе— не могъ бы уже достать отца Савелья.

Сирота началъ переходить изъ одного семейства въ другое. На вызовъ управляющаго, нѣтъ ли желающихъ взять мальчика на воспитаніе, многія семейства изъявляли величайшую готовность; мальчика отдавали; но вскорѣ явилась необходимость отнять его у воспитателей: одни заставляли пахать его на восьмилѣтнемъ возрастѣ, другіе отдавали его внаймы въ сосѣднюю деревню, третьи выказывали явное намѣреніе воспитать его для той цѣли собственно, чтобы отдать за сына въ солдаты, когда придетъ очередь, и т. д. Такія распоряженія не отвѣчали видамъ управляющаго, который, къ счастію, былъ человѣкъ разсудительный и, главное, очень добрый. Онъ рѣшился испробовать еще разъ и отдалъ сироту одинокому мужику, жившему съ женою. Мужикъ брался воспитать мальчика; онъ обѣщалъ даже усыновить его. На этотъ разъ можно было, кажется, положиться на воспитателей. Несмотря на крайнюю бѣдность новыхъ хозяевъ мальчика, они не посылали его ни пахать, ни отдавали внаймы сосѣдямъ. Жизнь Савелія пошла не въ примѣръ лучше прежняго. Вскорѣ началъ онъ свыкаться съ хозяевами; мало-по-малу и тѣ стали привыкать къ нему. Мальчикъ былъ впрочемъ славный, — хотя надо сказать

(и въ этомъ старикъ и старуха сознавались съ сокрушеннымъ сердцемъ), — онъ поѣдалъ у нихъ множество хлѣба. „Къ росту что ли онъ такъ, или прежде добре ужъ голодалъ много, говорили они,—но только съѣдаетъ— Христосъ съ нимъ! — словно взрослый! не напасешься никакъ!..“

Годъ отъ году, однакожъ, меньше каялись они, что взяли его и меньше жалѣли хлѣба. Хлѣбъ шелъ въ прокъ мальчугану; онъ росъ, крѣпчалъ, привязывался къ старикамъ и вмѣстѣ съ тѣмъ, не шутя, дѣлался имъ полезенъ. На тринадцатомъ году, онъ свободно уже управлялся съ сохою; и это вовсе не потому, чтобы много понукалъ хозяинъ,—но по своей охотѣ. Въ прежнее время, когда выходила старику очередь ѣхать въ ночную, или отрывали его другія мірскія и барскія дѣла, — поле его часто гуляло (батрака нанять было не на что), собственныя работы его останавливались, плетень оставался недоплетеннымъ, лошадь неприбранною и проч.; теперь онъ оставлялъ малаго, и если послѣдній не приводилъ дѣла къ полному успѣху, то, по крайней мѣрѣ, все же хоть сколько-нибудь подвигалъ его. И все дѣлалось у него какъ-то скоро, охотно, весело; все какъ-то давалось ему и спорилось въ рукахъ его. Старикъ занимался нѣсколько плотничнымъ ремесломъ; Савелій любилъ присматриваться къ такой работѣ. Лѣтъ пятнадцати онъ владѣлъ топоромъ ничуть не хуже своего воспитателя. Прошелъ годъ, другой. Около этого времени, въ Ягоднѣ перестраивали церковь, которую мы видѣли. Савелій попалъ въ число плотниковъ.

Выборъ этотъ опредѣлилъ, можно сказать, судьбу его. Церковь перестраивалась своими мужиками, но ими завѣдывали два испытанные егорьевскіе плотника. Съ первыхъ же дней замѣтили они, что никто не строгалъ досокъ глаже Савелія, никто такъ чисто не выводилъ желобковъ для стока воды, никто не былъ такъ смѣтливъ, ловокъ и смѣлъ съ топоромъ и на подмосткахъ. Они дали ему рубить углы и потомъ посадили за рамы. Но гдѣ особенно отличился Савелій, такъ это когда пришлось убирать узорчатыми подзорами наружныя стѣны и церковные навѣсы. Онъ выдолбилъ въ доскѣ такой красовитый узоръ, что всѣ только ахнули и рѣшили, что лучше не выдумать. Теперь уже не существуютъ эти деревянные фестоны, служившіе когда-то лучшимъ наружнымъ

украшеніемъ церкви; обливаемые дождемъ въ продолженіе пятидесяти лѣтъ, съѣдаемые червоточиной и плѣсенью, они истребились совершенно; въ одномъ только мѣстѣ, съ восточной стороны церкви, тамъ, гдѣ алтарь и гдѣ тѣснятся могилы, осталась еще одна — сѣрая тесина съ треснувшимъ и полуосыпавшимся узоромъ; но и этотъ послѣдній остатокъ виситъ уже на одномъ гвоздѣ и день-ото-дня грозитъ упасть на ближнюю могильную плиту и разсыпаться въ прахъ.

Слухомъ, говорятъ, земля полнится. Въ окрестностяхъ сдѣлалось извѣстнымъ, что въ Ягоднѣ находится ловкій плотникъ; слухъ не замедлилъ проникнуть на мельницы, которыхъ тогда уже было довольно много въ околоткѣ. Мельники стали звать Савелія.

— Что жъ, батюшка, сказалъ Савелій, когда старикъ завелъ рѣчь объ этомъ предметѣ,—коли ты съ матушкой отпустите, я бы пошелъ, пожалуй; плотничья работа далась мнѣ; супротивъ всякаго другого дѣла имѣю я къ ней охоту... Сдается мнѣ, худобы для дома отъ этого никакой не будетъ; емельяновскій мельникъ сулитъ отъ Святой до заговѣнья сто тридцать рублей; восемьдесятъ рублей отдашь батраку; земли у насъ не Богъ знаетъ сколько, онъ съ нею управится; ты маленько еще подсобишь... Значитъ пятьдесятъ рублей въ домѣ останутся! Какъ умомъ ни раскидывай, все, значитъ, въ барышахъ останешься.

Такая рѣчь пришлась старику по душѣ и по разуму. Савелій отправился. Лишнимъ считаю распространяться о томъ, какъ жилъ Савелій на емельяновской мельницѣ. Достаточно сказать, что на второй годъ мельникъ сулилъ ему не сто тридцать, а сто восемьдесятъ, лишь бы остался работникъ. Одна изъ причинъ, почему жалованье усиливалось, заключалась отчасти въ томъ также, что сосѣдніе мельники старались всячески переманить къ себѣ работника. Такія обстоятельства достаточно, кажется, говорятъ въ пользу Савелія.

На десяти мельницахъ, по крайней мѣрѣ, извѣстно стало, что лучше емельяновскаго плотника не сыскать по округу: емельяновскія колёса его издѣлья пошли въ славу столько же по чистотѣ отдѣлки, сколько и потому также, что, принимая меньше воды, вертѣли такъ же скоро, какъ прежде. Малый, сверхъ того, былъ на всѣ руки: хочешь, приставь его въ прудкѣ, вели толчею въ

ходъ пустить, пошли на базаръ съ мукою или дай приглядѣть за помольцами — ни въ чемъ не сплохуетъ, ко всему гораздъ, нигдѣ не покривитъ душою; и малый-то какой: хмелемъ не зашибается, нравомъ кроткій, хозяина всегда готовъ уважить,—словомъ, кладъ, а не работникъ! Савелій остался у прежняго хозяина; съ него пошелъ онъ въ ходъ и не хотѣлось идти ему на новое мѣсто, тѣмъ болѣе, что на первомъ онъ привыкъ и давали ему столько же жалованья, сколько и на вторыхъ.

Маленькое хозяйство старика и старухи годъ отъ году между тѣмъ поправлялось. Савелій во-время высылалъ имъ деньги и никогда копейки отъ нихъ не утаивалъ.

— Вотъ, батюшка, скажетъ, — здѣсь трехъ цѣлковыхъ съ пятьалтыннымъ не въ достачѣ; ты не сумлѣвайся: два цѣлковыхъ пошли на полушубокъ; вотъ гляди: на спинѣ протерлось... новую овчину вставилъ, да на локти еще... Одинъ цѣлковый отдалъ за сапоги. А за пятьалтынный ты, батюшка, не серчай: набивной платокъ купилъ... въ праздникъ, знамо, поразгуляться захочешь, повяжешь на шею... у насъ всѣ такъ-то ходятъ; не хотѣлось, супротивъ другихъ-то... словно совѣстно!..

Батракъ, заступившій мѣсто Савелія, попался хорошій: поля не стояли, обработывались; не то что прежде, когда, бывало, старикъ, отвлекаемый то міромъ, то барщиной, не успѣвалъ управиться со своими дѣлами. Хлѣбушка было теперь въ достачу; оставалось даже на продажу.

Но человѣкъ такъ уже сотворенъ видно, что никогда не доволенъ настоящимъ. Сколько Провидѣніе ни расточай на него благъ своихъ, сколько ни балуй его, онъ все-таки стремится получить больше, все-таки продолжаетъ докучать Провидѣнію, прося у Него новыхъ даровъ, новаго счастія. То же было и со стариками—пріемными отцомъ и матерью Савелія. До преклонныхъ годовъ терпѣли они нужду горькую, бѣдность; Господь сжалился надъ ними: утолилъ ихъ нужду, утѣшилъ ихъ старость,ославъ имъ сына — подпору; положимъ, сынъ не былъ родной; но не все ли равно, когда жилъ онъ съ ними и радовалъ ихъ, быть-можетъ, лучше всякаго кровнаго! Такъ нѣтъ же! Стòило только помолиться старикамъ, стòило имъ порадоваться надъ Савельемъ и возблагодарить за него Бога, — начали они возсылать къ Нему новыя мольбы, начали давать волю новымъ мечтаніямъ! Утромъ, вечеромъ ли, короче сказать, когда ни встрѣчались ста-

рикъ со старухой, только и слышно было у нихъ разговору, что вотъ, дескать, конечно, Творецъ милосердый благословилъ ихъ всѣмъ, послалъ и сынка, и достатокъ, но что ко всему этому какъ словно недостаетъ еще чего-то... Что надо бы теперь поженить сынка-то, надо бы порадоваться на его счастье, надо бы внучатъ понянчить... и проч. Слова нѣтъ, при существующихъ обстоятельствахъ, такія мечтанія не были, можетъ статься, заносчивы; теперь любая дѣвка охотно пошла бы въ домъ къ нимъ; но все-таки, не доказываетъ ли это, что человѣкъ, даже преклонный, никогда не успокоивается, вѣчно будетъ уноситься мечтаніями и требовать бо̀льшаго. Дало Провидѣніе сына, — нѣтъ, мало: давай еще сыну жену, потомъ внучатъ и такъ далѣе. Старикъ и особенно старуха начали искать невѣсту. Ходить было не далеко и не долго; въ той же самой Ягоднѣ выискалась вскорѣ хорошая дѣвушка. Зимою, на побывку, пришелъ Савелій. Старики поговорили ему, показали дѣвушку; дѣвушка парню понравилась, онъ согласился—и въ тотъ же мѣсяцъ сыграли свадьбу. Мѣсяца два пожилъ онъ дома, провелъ рождественскіе праздники съ молодою женою — и снова отправился на работу. Такой уговоръ былъ у него съ содержателемъ Бархинской мельницы, слывшей въ то время первой мельницей по всей губерніи. Савелій получалъ уже теперь триста рублей въ годъ жалованья. Но счастіе не въ достаткѣ! именно: не въ достаткѣ счастіе. Сколько ни молилъ Бога Савелій, сколько ни просили старики угодниковъ, старуха ходила даже по этому предмету на богомолье; нѣтъ, не давалъ Господь дѣтей Савелью, не давалъ внучатъ старикамъ! На все остальное снизошло благословеніе; хлѣба рождалось много, скотинка велась хорошая: была корова и телка, восемь овецъ, двѣ лошади; жили они въ новой избѣ и съ широкою печью, полатями и перегородкой; остальное строеніе также все поисправилось: столбы навѣсовъ были новые, плетни стояли стѣною, крыша такъ густо покрыта была соломой, что стало бы ея на три крестьянскихъ двора; сами они, и старики, и сноха, и Савелій пользовались хорошимъ здоровьемъ,—словомъ, все было такъ, что лучше и желать нельзя, но дѣтей не давалъ Господь; не рождались дѣти, да и только!

Савелію было уже около тридцати-семи лѣтъ, когда неожиданно умеръ его помѣщикъ. Наслѣдники поспѣшили

продать Ягодню. Новый помѣщикъ пріѣхалъ въ пріобрѣтенное. Первымъ распоряженіемъ его было—собрать налицо всѣхъ мужиковъ, работавшихъ на сторонѣ и ходившихъ по оброку. Савелій только что нанялся тогда заправлять новой какой-то мельницей; онъ лишился мѣста и, сверхъ того, долженъ былъ еще заплатить неустойку.

Но мы оставимъ на время Савелья. Разскажемъ въ нѣсколькихъ словахъ исторію Ягодни за двѣнадцать лѣтъ. Жизнь крестьянина такъ тѣсно связана съ положеніемъ его деревни; положеніе деревни находится въ такой зависимости отъ жизни помѣщика, его взглядовъ, нрава и образа управленія, что, разсказывая исторію деревни, или, все равно, исторію управленія надъ нею, даешь въ то же время возможность судить о житьѣ-бытьѣ самого крестьянина.

Провидѣніе, всегда хранившее Ягодню, спасавшее ее отъ пожаровъ, неурожаевъ, моровыхъ язвъ и дурныхъ помѣщиковъ, казалось, вдругъ отъ нея отвернулось. Такъ, по крайней мѣрѣ, говорили и думали крестьяне. Въ эти двѣнадцать лѣтъ въ Ягоднѣ смѣнилось сряду пять помѣщиковъ; всѣ они, какъ на подборъ, принадлежали къ классу, извѣстному у насъ подъ именемъ: „помѣщиковъ-спекуляторовъ“. Къ этому классу, благодаря Бога, весьма немногочисленному въ нашемъ отечествѣ, принадлежатъ большею частію люди темнаго происхожденія; они выходятъ изъ семинарій, изъ уѣздныхъ судовъ, изъ заднихъ рядовъ гражданской государственной службы, дослуживаются до секретарей и коллежскихъ совѣтниковъ, иногда больше, и, набивъ копейку, пускаются пріобрѣтать имѣнія, съ цѣлью закруглить капиталъ. Такіе господа не живутъ обыкновенно въ деревняхъ своихъ. Дѣтство ихъ не запечатлѣно воспоминаніями сельской жизни,—воспоминаніями, которыя сердечно привязываютъ человѣка къ такому-то мѣсту и людямъ, ему принадлежащимъ, и заставляютъ смотрѣть на все это мимо всякихъ выгодъ и расчетовъ. Въ глазахъ помѣщика-спекулятора имѣніе представляетъ ничего больше, какъ капиталъ, изъ котораго стараются они извлечь по возможности больше процентовъ; на крестьянъ смотрятъ они, какъ на извѣстнаго рода свеклу, которую чѣмъ сильнѣе нажмешь, тѣмъ больше получишь изъ нея соку. Часто помѣщикъ-спекуляторъ стыдится пріѣхать въ свою деревню, потому что дядя его былъ тамъ дьячкомъ или дворовымъ человѣкомъ. Онъ по-

сылаетъ тогда управителя, отставного унтера какого-нибудь, или знакомаго протоколиста, которому протежируетъ и котораго выводитъ въ люди. Изъ числа помѣщиковъ, владѣвшихъ Ягодней въ продолженіе двѣнадцати лѣтъ, двое посылали туда управляющихъ, три сами являлись и лично занимались управленіемъ. Послѣдніе были самые худые. Одни дѣйствовали такимъ образомъ: не измѣняли прежней системы управленія, но только удвоили оброки; они уничтожали затяглыхъ и сажали ихъ на оброкъ; накладывали оброкъ на дѣвокъ и ребятъ свыше двѣнадцатилѣтняго возраста; женили семнадцатилѣтнихъ парней, чтобы увеличить число тяглъ; извѣстно, что съ тягла, т.-е. съ мужа и жены, можно больше взять, чѣмъ съ дѣвки и парня. Они продавали на срубъ рощи; продавали невѣстъ изъ крестьянскихъ и дворовыхъ дѣвокъ, продавали скотъ. Владѣя такимъ образомъ годъ или два имѣніемъ, собравъ два непосильные оброка, собравъ еще одинъ оброкъ впередъ за третій годъ, они неожиданно продавали Ягодню. Другими управляла иная система: они уничтожали оброкъ и сажали имѣніе на пашню; земля и народъ не знали отдыха. Правило, назначающее столько-то дней работать на барщинѣ, столько-то на себя, уничтожилось само собою; народъ неутомимо работалъ въ поляхъ, работалъ на кирпичномъ заводѣ, который вдругъ возникалъ въ Ягоднѣ, возилъ продавать кирпичъ въ городъ, пахалъ, молотилъ и вѣялъ, не зная сна и покоя. Выжавъ сокъ изъ земли и крестьянъ, разоривъ въ конецъ имѣніе, помѣщикъ наскоро подправлялъ плетни, покрывалъ крыши, подкрашивалъ амбары, воздвигалъ кой-гдѣ красивенькія рѣшетки, и, показавъ лицомъ Ягодню, выгодно сбывалъ ее другому, менѣе опытному изъ своего же брата. Результатомъ этихъ двѣнадцати лѣтъ было то, что Ягодня, слывшая какъ-то чуть ли не первой деревней уѣзда, сдѣлалась послѣдней; земля истощена, лѣса порублены, крестьяне разорены; у многихъ не только коровы не было,—не было лошади и даже курицы въ домѣ. Бо́льшая часть побиралась.

Къ этому числу не принадлежалъ, однакожъ, Савелій. Онъ былъ бѣденъ; куда!—слѣда не осталось отъ прежняго благосостоянія! но сравнительно съ другими, онъ все еще кой-какъ пробавлялся. Въ эту страшную эпоху разоренья, мужичку все-таки встрѣчалась надобность поправить уголъ избы, требовалось подвести ось телѣги, почи-

нить кадку; бабамъ нужны были деревянные гребни для мычекъ, веретена, корыта; никто лучше Савелья не могъ исполнить такихъ дѣлъ, и при этомъ всегда перепадалъ ему лишній кусокъ хлѣба. Въ эти двѣнадцать лѣтъ много, впрочемъ, измѣнилось въ его домашнемъ положеніи: старикъ и старуха приказали долго жить; но, какъ бы взамѣнъ такого горя, Господь услышалъ, наконецъ, его молитвы и послалъ ему сынка. Савелій не падалъ духомъ. Какая-то внутренняя сила,—быть-можетъ, вѣра въ Промыслъ, быть-можетъ, природная потребность дѣятельности, быть-можетъ, то и другое вмѣстѣ,—подкрѣпили его. Онъ разгибалъ спину послѣ барщины и, приходя домой, снова сгибалъ ее, всегда находя подъ рукою какую-нибудь работу. Дѣйствіемъ этого было то, что онъ ѣлъ хлѣбъ, тогда какъ другіе побирались.

Наконецъ, судьба сжалилась надъ бѣдною Ягодней. Она попала въ руки сосѣднему помѣщику, настоящему помѣщику,—коренному, какъ называли его крестьяне. Пошли тотчасъ же другіе порядки: имѣніе поступило на оброкъ, не на такой, котораго не могли платить крестьяне, но который могъ только ихъ поправить. Въ первое же воскресенье, послѣдовавшее за купчею, церковь Ягодни была полна народу. Старики стояли на колѣняхъ; бабы кланялись иконамъ и плакали; всѣ молились и благодарили Творца, внявшаго ихъ грѣшнымъ молитвамъ.

Обыватели Ягодни вздохнули. Вмѣстѣ съ ними вздохнулъ, разумѣется, и Савелій. Но вскорѣ вздохъ радости смѣнился у него тяжелымъ вздохомъ; около этого времени онъ лишился жены. Правду говорятъ: не бываетъ радостей безъ печали!

Поплакалъ, прогрустилъ Савелій; но дѣлать нечего, мертваго не воскресишь! надо было приниматься тянуть какъ-нибудь житейскую лямку. Сына своего (мальчишкѣ было тогда семь лѣтъ) поручилъ онъ женину роднѣ, а самъ, перекрестясь, снова пошелъ ходить по мельницамъ. Дѣло было знакомо, сподручно. На мельницахъ Савелія еще помнили; думали, конечно, что силы въ немъ поубавилось; думали также, отъ дѣла отвыкъ; взяли его больше за прежнюю славу. Сначала самъ Савелій такъ думалъ; но пожилъ весну, пожилъ лѣто, плечи расходились, снова явилась прежняя смѣтка — и пошло по-старому, съ тою разницею, что разуму теперь и опыту стало въ немъ больше. Мало-по-малу дѣлишки опять начали поправляться.

Землю свою передалъ онъ до времени мужу родственницы, у которой находился сынишка; избу свою онъ не только не продавалъ, но всячески даже старался ее поддерживать. Когда мальчику минуло четырнадцать лѣтъ, Савелій взялъ его съ собою и опредѣлилъ сначала безъ жалованья на ту мельницу, гдѣ самъ занималъ мѣсто перваго работника. Между тѣмъ, какъ исправлялся Савелій, поправлялись также другіе жители Ягодни; но не имѣя ремесла, не одаренные той смѣткой и дѣятельностію, которыя отличали Савелія,—они поправлялись медленнѣе. Только спустя десятокъ лѣтъ, Ягодня и ея обыватели пришли въ прежнее положеніе.

Эти десять лѣтъ принесли большія перемѣны въ бытѣ Савелія; онъ женилъ сына и самъ, къ концу этого срока, перебрался домой на жительство. Ему наскучило, видно, таскаться по чужимъ мѣстамъ, хотѣлось пожить своей волей, своимъ домкомъ-хозяйствомъ; къ тому же и кости состарѣлись, пора было на покой, на отдыхъ. Такъ разсуждали его родные и сосѣди. Савелій, надо полагать, думалъ иначе. Силы его точно истратились (ему минуло уже подъ-шестьдесятъ), лѣта ослабили его тѣло, но не угомонили духа и дѣятельности. Съ утра и до вечера копошился онъ на своемъ дворѣ, не переставалъ рубить, строгать, плесть плетни, и ни на минуту престарѣлыя руки его не остались праздными. Но, оказалось, не по душѣ, не по привычкѣ были старику такія мелкія, мирныя занятія; онъ словно скучалъ, ѣлъ мало, нигдѣ не находилъ себѣ мѣста. Въ свободное время, а такого было теперь много (онъ считался уже затяглымъ; одинъ Петръ сидѣлъ на оброкѣ и платилъ пятнадцать цѣлковыхъ), въ свободное время, старикъ отправлялся обыкновенно къ ручью, который огибалъ луговой скатъ села, гдѣ была церковь, извивался по долинѣ и падалъ въ рѣчку. При этомъ впаденіи, когда-то, въ давнія времена, находилась маленькая колотовка; отъ нея оставались теперь только старыя ветлы. Прогулки старика повторялись чаще и чаще. Ни одинъ человѣкъ,—даже сынъ и сноха, не подозрѣвали намѣреній старика. Вскорѣ все объяснилось; какъ домашніе, такъ и посторонніе узнали, что Савелій былъ у помѣщика, предложилъ ему выстроить на свой собственный счетъ мельницу, гдѣ была прежняя колотовка, предлагалъ платить за нее, вмѣстѣ съ сыномъ, тридцать рублей оброку въ годъ. Такъ всѣ и ахнули. Но ахнувъ

было еще больше, когда Савелій приступилъ къ стройкѣ; особенно когда заплатилъ за два жернова двѣсти рублей, да за амбаръ еще триста.

„Поди жъ ты!.. говорилъ народъ, — кто бы подумалъ объ этомъ?.. Виду вѣдь никакого не показывалъ; — а денегъ-то, денегъ сколько! Шутка, капиталъ какой!..“

Капиталъ былъ точно значительный. Мельница стоила Савелію шестьсотъ рублей ассигнаціями; но это еще не все: оставалось у него про запасъ еще цѣлковыхъ сорокъ. Все это, въ общей сложности, представляло капиталъ въ семьсотъ-сорокъ рублей на ассигнаціи. Дѣйствительно, страшная сумма, если принять въ соображеніе, что на составленіе ея потребовались только, всего-на-все, какихъ-нибудь десять лѣтъ! Конечно, каждая копейка этого капитала досталась потомъ; для добыванія каждаго рубля требовалось работать не разгибая спины; но что могутъ значить труды сравнительно съ такимъ огромнымъ вознагражденіемъ!..

Простымъ классомъ народа вообще управляетъ рутина: его пугаютъ всякія нововведенія: онъ боится идти новымъ путемъ и рѣдко рѣшается употребить деньги на промыселъ, на дѣло, которымъ не занимались отцы и дѣды. Сосѣди совсѣмъ не шутя жалѣли его, не шутя думали, что онъ рехнулся. Къ такому мнѣнію не мало способствовали окрестные мельники; Савелій покушался отбить у нихъ помольцевъ: они досадовали и распускали насчетъ его предпріятія самые неблагопріятные слухи, они старались даже вредить ему болѣе дѣйствительнымъ образомъ: подсылали кидать ртуть въ ручей, съ цѣлію повредить плотинѣ, которая должна была отъ этого просачиваться; говорили, что воды ручья недостаточно, чтобы поднять два жернова, что въ весенній разливъ рѣки вода пойдетъ ко двору и снесетъ мельницу, и проч.

Но не таковъ былъ Савелій, чтобы сталъ дѣйствовать наобумъ, очертя голову. Зоркій глазъ его давно высмотрѣлъ мѣстность, смѣтливый умъ исчислилъ всѣ выгоды и неблагопріятные случаи, долгій опытъ научилъ, какъ предупредить ихъ. Дѣло было слишкомъ ему знакомо, слишкомъ много лѣтъ изъ жизни своей употребилъ онъ на изученіе его, чтобы могъ обмануться. Слухи и разговоры прекратились, какъ только подняты были въ первый разъ шлюзы, оба колеса дружно завертѣлись и жернова пошли порхать такъ же скоро, какъ у сосѣдей. Всѣмъ извѣстно

теперь, что, въ своемъ округѣ, мельница дяди Савелія самая исправная, даромъ что самая маленькая и стоитъ на ручьѣ, а не на рѣчкѣ: ни разу не прорвалась ея плотина, ни разу не было недостатка въ водѣ, ни разу не подмывала она двора, ни разу не задержался помолецъ; ко всему этому слѣдуетъ прибавить, что въ эти три года помолецъ уѣзжалъ всегда довольный и въ разговорахъ никогда достаточно не нахваливался обычаемъ маленькой мельницы: тамъ оставляли на распылъ меньше муки, чѣмъ у сосѣдей, никогда не оттягивали зеренъ, мука была всегда мягкая и всегда строго наблюдалась очередь: кто первый заѣхалъ, тотъ и засыпай; не то что въ другихъ мѣстахъ: тотъ правъ всегда, кто больше посулилъ мельнику.

Годъ отъ году, жерновамъ Савелія доставалось больше работы; барышей большихъ не было, но жить было можно; хорошо можно было жить! Не встрѣчалась, не предвидѣлась пока надобность трогать запасный капиталъ, оставшійся послѣ постройки мельницы. Деньги лежали скрытно ото всѣхъ въ сундукѣ,—и радовали сердце предусмотрительнаго старика. Такъ было, по крайней мѣрѣ, до того дня, когда Савелій приготовился къ крестинамъ и дѣлалъ качку для новорожденнаго внучка, предмета столькихъ ожиданій и радостей.

IV.

Передряга.

Бѣдный Андрей, изъ Ягодни, давнымъ-давно уже отмололъ свой мѣшокъ ржи и оставилъ мельницу; мало того: изъ трехъ возовъ, такъ некстати тогда пріѣхавшихъ, оставался всего одинъ; и все-таки не видно было ни Петра, ушедшаго въ село съ приглашеніями, ни Гришутки, уѣхавшаго за виномъ. Время приближалось къ вечеру. Солнце садилось, усиливая съ каждой минутой пурпуровый блескъ холмовъ и отдаленныхъ рощъ, смотрѣвшихъ на западъ; съ востока, между тѣмъ, спускались синія, холодныя тѣни; онѣ бѣжали какъ-будто отъ солнца, быстро наполняли лощины и раскидывались все шире и шире по лугамъ, оставляя кое-гдѣ за собою верхушку ветлы или кровлю, которыя, при блескѣ заката, горѣли точно охваченныя пламенемъ. Вѣтеръ не трогалъ ни однимъ поблекшимъ стебелькомъ, ни одной соломинкой на кровлѣ; но и безъ вѣтра сильно пощипывало уши и щеки. Прозрачность воздуха и ослѣпительная ясность заката предвѣщали

на ночь морозъ порядочный; даже теперь, въ низменныхъ мѣстахъ, гдѣ тѣнь сгущалась, опавшій листь и трава покрывались сѣдою изморосью. Дорога звенѣла подъ ногами. За двѣ, за три версты можно было, кажется, различить малѣйшій звукъ: лай собакъ въ отдаленныхъ селахъ, голоса на сосѣдней мельницѣ, шумъ доски, внезапно сброшенной на мерзлую землю. Но сколько ни прислушивался Савелій, нигдѣ не раздавалось дребезжанья телѣги: Гришутка не являлся. Напрасно также глаза старика обращались къ долинѣ, по которой вилась дорога: и Петръ не показывался. Постоявъ минуты съ двѣ у воротъ, Савелій возвращался на дворъ, заглядывалъ въ амбаръ, обмѣнивался нѣсколькими словами съ помольцемъ, который домалывалъ послѣдній возъ, и снова уходилъ въ избу.

Изба его была не велика, но было въ ней и тепло, и уютно. По случаю стряпни къ крестинамъ, было въ ней даже жарко; но это ничего: когда на дворѣ морозитъ, чувствуется особенная пріятность войти въ сильно нагрѣтое жилище. Изба ничѣмъ не отличалась отъ прочихъ избъ: направо отъ двери возвышалась печь; дощаная перегородка, отдѣлявшаяся отъ печки небольшой дверцей, упиралась другимъ концомъ въ заднюю стѣну. Два окна освѣщали эту первую половину; окна смотрѣли на западъ, и заходящее солнце било такъ сильно въ перегородку, печь и на полъ, что свѣтъ отражался подъ столомъ и лавками, оставляя кое-гдѣ только непроницаемыя пятна тѣни. Въ заднемъ углу, который называется краснымъ, хотя бываетъ обыкновенно самымъ темнымъ, виднѣлись иконы, мѣдный литой крестъ, кончики желтыхъ восковыхъ свѣчъ и неуклюжій стаканчикъ изъ толстаго фіолетоваго стекла; все это располагалось на двухъ полкахъ, украшенныхъ внутри кусочками обоевъ, снаружи — грубою, но замысловатою рѣзьбою; стиль рѣзьбы былъ тотъ же, что на подзорахъ, украшавшихъ нѣкогда церковь Ягодни; она относилась, надо полагать, къ тому времени и принадлежала тому же долоту и топору. Солнечные лучи, пронизывая маленькія оконныя стекла съ радужнымъ отливомъ, золотили пыль, проходившую двумя параллельными полосами черезъ всю избу, и упирались въ чугунокъ съ водою, стоявшій у печки; надъ чугункомъ, въ темномъ, закоптѣвшемъ потолкѣ, дрожало свѣтлое пятно, которое дѣти называютъ „мышкой“. Неподалеку играла кошка и четверо полосатыхъ котятъ.

Во второй половинѣ, за перегородкой, противъ печки, помѣщалась койка, устланная соломой и покрытая войлокомъ, на которомъ лежала жена Петра. Подъ рукою ея висѣла люлька, придѣланная къ концу шеста, укрѣпленнаго въ потолкѣ; младенецъ лежалъ, однакожъ, не въ люлькѣ, а подлѣ матери. Тутъ находился также шкапикъ съ посудой, два сундучка и широкая лавка, которую Палагея, хлопотавшая у печки, уставила кореваями, горшками и пирогами. За этой перегородкой было и тѣсно, и душно. Тутъ также было окно; но солнечный лучъ, встрѣчая множество угловъ и выступовъ, цѣпляясь то за люльку, то за край лавки, то проходя по ряду пироговъ, густо зарумяненныхъ яичнымъ желткомъ, производилъ здѣсь страшную пестроту; глазъ отдыхалъ только на верхней части постели, которая тонула въ мягкомъ желтоватомъ полусвѣтѣ, гдѣ покоились голова родильницы и спавшій подлѣ нея младенецъ.

— А-ай да морозецъ! знатно завертываетъ! сказалъ Савелій, входя въ избу и потирая ладонями, напоминавшими корку старыхъ древесныхъ пней,—коли такъ денька два постоитъ, пожалуй, что и рѣка станетъ... Экъ нажарили! промолвилъ онъ, повертывая за перегородку;—словно въ банѣ, право, въ банѣ!.. только что вотъ духъ другой: пирогами попахиваетъ!.. Ну, сношенька наша любезная (до рожденья внучка онъ всегда называлъ ее просто Марьей и вообще не выказывалъ ей большой нѣжности), не знаю, что мнѣ дѣлать съ нашими молодцами: о сю пору не видать! А давно бы пора, кажется...

— Пріѣдутъ, батюшка, слабымъ голосомъ отозвалась Марья.

— Вотъ есть объ чемъ умомъ раскидывать! бойко вмѣшалась Палагея, гремя въ то же время ухватомъ,— одинъ не нашелъ, должно быть, хозяевъ. Пришелъ: „дома?“ спрашиваетъ. „Ушелъ“, говорятъ; онъ его дожидаться сѣлъ, либо искать пошелъ... Другой въ кабакѣ сидитъ; можетъ народу много — онъ и дожидаетъ, пока другихъ не отпуститъ цѣловальникъ; знамо: парень малый, большихъ не перекричитъ; тотъ и послѣ пришелъ, да первый взялъ...

— Ну, нѣтъ, не таковскій! Шустеръ,—у-у-у—шустеръ! перебилъ старикъ, грозя пальцемъ на какой-то воображаемый предметъ,—небось, въ обиду себя не дастъ, даромъ не величекъ!.. Не объ этомъ я совсѣмъ думаю: ду-

маю: парнишка-то востеръ оченно, не напроказилъ бы тамъ... Ну, да вотъ пріѣдетъ, спросимъ, спросимъ... добавилъ онъ, какъ бы заминая рѣчь и подходя къ постели родильницы.—Ну, сношенька любезная, какъ можется, а?

— Ничего, батюшка, Богъ милостивъ...

— Все ты меня... къ примѣру, меня не слушаешь!.. Вотъ что...

— Въ чемъ же, батюшка?

— А хошь бы въ томъ... оченно ужъ много труда принимаешь... ей-Богу! На первыхъ-то порахъ такъ не годится... Вѣдь вотъ нарочно качку сдѣлалъ для малаго. Нѣтъ, все подлѣ себя его содержишь, все съ нимъ возишься; ну, помилуй Богъ, еще заснешь какъ-нибудь... Долго ли до бѣды!

— И-и, касатикъ, перебила Палагея, — Христосъ съ тобою! Господъ милостивъ, до грѣха такого не допуститъ!

— Нѣтъ, бываетъ! бываетъ! подхватилъ Савелій тономъ убѣжденія,—вѣдь вотъ случилось же: выселовская Марѳа заспала ребенка-то!.. Коли не это, все равно другой случай можетъ выйти: заснетъ она, подберутся какъ-нибудь котята, лицо младенцу, Христосъ съ нимъ! исцарапаютъ... Ну, что хорошаго! Васъ, бабъ, не вразумишь никакъ! Вѣдь вотъ нарочно качку сдѣлалъ, нарочно повѣсилъ подлѣ кровати: заплакалъ младенецъ—протяни только руку, либо, коли не осилишь, Палагея подастъ... Опять же теперь другое разсужденіе: развѣ ему не покойнѣе лежать въ люлькѣ, чѣмъ на кровати?.. Онъ, вѣстимо, не скажетъ, а ужъ это всякій видитъ, что въ люлькѣ покойнѣе! Нарочно для спокою и сдѣлана...

Старикъ нагнулся къ младенцу.

— Агу, батюшка, агу! произнесъ онъ, потряхивая сѣдинами и комически какъ-то сморщиваясь.—Слышь, сношенька... дай-ка, право... дай положу его въ люлечку... Ну, что онъ тутъ? Кормила ты его?

— Кормила, батюшка...

— Ну и ладно!.. Подь, касатикъ, подь! говорилъ старикъ, подымая ребенка, между тѣмъ какъ обѣ женщины молча на него смотрѣли.

Ребенокъ былъ красенъ, какъ только-что испеченный ракъ, и представлялъ пока кусокъ мяса, окутанный въ бѣлыя пеленки: ничего не было хорошаго; при всемъ томъ, морщины Савелія сладко какъ-то раздвинулись, лицо ухмы-

лось и въ глазахъ заиграло такое чувство радости, какого не испытывалъ онъ даже тогда, когда удачно запрудилъ первый разъ мельницу, когда пущена она была въ ходъ, когда дешево купилъ онъ жернова свои... Поди жъ ты, суди послѣ этого, какъ устроена душа человѣческая, и на чемъ основываются иногда его радости!

Подержавъ ребенка на рукихъ своихъ съ такимъ видомъ, какъ бы мысленно прикидывая, сколько въ немъ вѣсу, старикъ бережно уложилъ его въ люльку.

— Ну, какъ же не покойнѣе? самодовольно воскликнулъ онъ, отступая на шагъ. — Какъ же не покойнѣе?.. Вишь: словно въ лодочкѣ... эвна! прибавилъ онъ, приводя слегка въ движеніе люльку,—эвна! эвна какъ!..

— Ахъ ты затѣйщикъ! затѣйщикъ! говорила, между тѣмъ, старая Палагея, подпираясь локтемъ въ конецъ ухвата и покачивая головою,—право затѣйщикъ!..

Во время послѣднихъ этихъ объясненій, послышался шумъ приближающейся телѣжки; но Савелій громко разговаривалъ, Палагея гремѣла ухватомъ, вниманіе снохи поглощалось ребенкомъ и болтовнею тестя; такъ что никто не примѣтилъ шума извнѣ, пока, наконецъ, телѣга не подъѣхала почти къ самымъ воротамъ.

— А, вотъ и Гришутка! сказалъ старикъ.

Въ эту минуту со двора раздались такіе отчаянные крики и вопли, что ноги присутствующихъ на секунду приросли къ землѣ. Савелій опрометью кинулся изъ избы. Петръ держалъ лошадь подъ-уздцы и печально вводилъ ее на дворъ; въ телѣгѣ, рядомъ съ Гришуткой, сидѣлъ человѣкъ съ худощавымъ, но багровымъ и рябымъ лицомъ, въ высокой бараньей шапкѣ и синемъ тулупѣ, плотно перехваченномъ ремнемъ.

Савелій узналъ въ немъ кордоннаго, отставного солдата, охранявшаго границу сосѣдней губерніи противъ контрабаднаго провоза вина. Сердце старика такъ и екнуло. Кордонный держалъ за воротъ Гришку, который ревѣлъ во весь голосъ и приговаривалъ, горько всхлипывая:

— Ей-Богу не зналъ!.. отпусти!.. Золотой, отпусти!.. батюшка, не зналъ!.. Золотой, не зналъ!..

Лицо Гришутки распухло отъ слезъ; онѣ текли ручьями изъ полузажмуренныхъ глазъ и капали въ ротъ, разѣвавшійся непомѣрно, должно-быть отъ избытка давившихъ его вздоховъ и рыданій. Шествіе закрывалъ помолецъ, остававшійся домалывать послѣдній возъ; то былъ малень-

кій черномазый мужичокъ, очень прыткаго, суетливаго вида; онъ, впрочемъ, какъ только увидѣлъ Савелія, выскочилъ впередъ, замахалъ руками и, страшно вытаращивъ глаза, крикнулъ надрывающимся отъ усердія голосомъ:

— Съ виномъ попался!.. Схватили!.. взяли! Съ виномъ взяли!..

— Съ виномъ попался!.. печально повторилъ Петръ.

— Какъ?.. Ахъ ты Господи! произнесъ Савелій, останавливаясь въ недоумѣніи.

Шумъ въ сѣняхъ и голосъ Палагеи заставили его обернуться. Марья рвалась впередъ на крылечко, такъ что Палагея едва могла удержать ее; лицо молодой женщины было блѣдно и вся она тряслась отъ головы до ногъ; увидя маленькаго своего брата въ рукахъ незнакомца, она вскрикнула и покачнулась.

— Куда! не пускай ее... Петръ, держи!.. Ахъ ты Творецъ милосердый! Уведите ее скорѣе!.. воскликнулъ Савелій.

Петръ бросился къ женѣ и съ помощью Палагеи увелъ ее въ избу. Въ это время кордонный соскочилъ съ телѣжки.

— Ты здѣсь хозяинъ? Ты за виномъ посылалъ? спросилъ онъ, обращаясь къ старику, который не могъ придти въ себя.

— Я, батюшка...

— Съ виномъ поймали!.. Эко дѣло! ахъ! Схватили! взяли! спѣшилъ пояснить черномазый мужичокъ, снова пуская въ ходъ глаза и руки.

— Точно, батюшка, поймали! сказалъ Петръ, появляясь на крыльцѣ и быстро спускаясь на дворъ.

Савелій ударилъ себя ладонями по поламъ полушубка и съ сокрушеннымъ видомъ замоталъ головою.

— Дядюшка... не зналъ я... Не зналъ, дядюшка!.. рыдая заговорилъ Гришутка,—микулинскіе мельники научили... Сказали: тотъ кабакъ ближе...

— Кто жъ за виномъ-то посылалъ? ты, что ли? повторилъ опять кордонный, дерзко поглядывая на Савелія.

— Мы посылали! отвѣчалъ Петръ, потому что отецъ моталъ только головою и билъ себя ладонями по полушубку.

— А вы кто такой? спросилъ кордонный Петра.

— Я сынъ его... Я, батюшка, подхватилъ Петръ, — встрѣлся я съ ними, какъ они ужъ къ нашимъ воротамъ подъѣхали...

— Сейчасъ только встрѣлся! вмѣшался опять маленькій помолецъ, — подъѣхали, — онъ тутъ! Смотрю: и я подошелъ!—Эко дѣло!..

— Объ этомъ послѣ разскажешь, перебилъ кордонный.— За виномъ посылалъ вотъ онъ,—стало онъ и отвѣтитъ... Эки разбойники! присовокупилъ онъ, разгорячаясь,—свой кабакъ подъ рукою... нѣтъ, въ другой посылать надо!..

— Не зналъ я ничего!.. На мельницѣ научили... промолвилъ Гришутка, истекая слезами.

— Молчи! сказалъ Петръ.

Мальчикъ приложилъ ладонь ко рту, прислонился лбомъ къ телѣжкѣ и заревѣлъ громче прежняго.

— Да что же это, батюшка... Какъ же такъ? сказалъ Савелій, нетерпѣливо махая рукою въ отвѣтъ помольцу, который мигалъ, дергалъ его за рукавъ и дѣлалъ таинственные какіе-то знаки.

— Съ виномъ попался, — и все тутъ! возразилъ кордонный, — попался въ селѣ у насъ, какъ только изъ кабака выѣхалъ; вино у нашего старосты осталось, тамъ и печать къ боченку приложили.

— Печать приложили! Припечатали!.. отчаянно возопилъ Гришутка.

— Плохо дѣло! крикнулъ помолецъ, приходя весь въ движеніе, — затаскаютъ, дѣдушка, затаскаютъ!.. Лопни глаза—затаскаютъ!..

— А то какъ же, такъ что ли сойдетъ? перебилъ кордонный,—извѣстно, проучатъ! будешь знать, какъ въ чужую губернію за виномъ ѣздить! Сказано: не смѣй, не приказано! Нѣтъ, повадились, окаянные! Нонче повѣреннаго ждемъ; ему передадутъ, примѣрно, все разскажутъ... Завтра же въ судъ представятъ...

До настоящей минуты Савелій билъ только руками по полушубку и моталъ головою, съ видомъ человѣка, поставленнаго въ самое затруднительное положеніе; при словѣ „судъ“, онъ поднялъ голову, и въ смущенныхъ чертахъ его заиграла вдругъ краска; даже шея его покраснѣла. Слово „судъ“ подѣйствовало также, казалось, и на Гришутку; между тѣмъ какъ шли послѣднія объясненія, онъ стоялъ съ разинутымъ ртомъ, въ который продолжали капать слезы; теперь онъ снова припалъ опять лбомъ къ телѣжкѣ и снова наполнилъ дворъ отчаянными рыданіями. Петръ переминался на мѣстѣ и не сводилъ глазъ съ отца.

— Вотъ бѣду-то накликали! Вотъ грѣха-то не чаяли! произнесъ наконецъ старикъ, оглядывая присутствующихъ.

Онъ еще хотѣлъ что-то прибавить, но вдругъ перемѣнилъ намѣреніе и быстрыми шагами пошелъ къ маленькой калиткѣ, выходившей къ ручью.

— Послушай, добрый человѣкъ!.. Эй, слышь! сказалъ онъ, останавливаясь въ калиткѣ и кивая кордонному, — подь, братъ, сюда... На два словечка!..

Багровое лицо кордоннаго приняло озабоченный видъ; онъ направился къ калиткѣ, показывая, что дѣлалъ это неохотно,—такъ, только изъ снисхожденія.

— Послушай, добрый человѣкъ, заговорилъ Савелій, отводя его къ пруду,—слышь, промолвилъ онъ, пожимая губами,—слышь! нельзя ли какъ... а?

— Это насчетъ чего? спросилъ тотъ болѣе смягченнымъ тономъ и какъ бы стараясь взять въ толкъ слова собесѣдника.

— Сдѣлай такую милость, упрашивалъ старикъ. — Сколько живу на свѣтѣ, грѣха такого не было. Главная причина, мальчикъ попался! черезъ него все вышло.. Ослобони какъ-нибудь... а? Слышь, добрый человѣкъ!..

— Теперь нельзя, никакимъ, то-есть, манеромъ... Печать приложили! Къ тому, дѣло было при свидѣтеляхъ... никакъ нельзя...

— Сдѣлай милость, продолжалъ старикъ, неудовольствуясь на этотъ разъ умолять голосомъ, но пуская еще въ ходъ пантомиму и убѣдительно разводя руками, которыя дрожали.

Сѣрые, плутоватые глаза кордоннаго устремились къ амбару, за которымъ слышались голоса Петра и помольца; послѣ этого, онъ отступилъ еще нѣсколько шаговъ отъ калитки.

— Слышь, добрый человѣкъ! подхватилъ одобренный Савелій,—возьми съ меня за хлопоты... только нельзя ли какъ дѣло-то это... къ примѣру... Нельзя ли какъ ослобонить... право!..

Кордонный поправилъ баранью свою шапку, почесалъ переносицу указательнымъ пальцемъ и на секунду задумался.

— Двадцать цѣлковыхъ дашь? спросилъ онъ, понижая голосъ.

Савелія такъ огорошило, что онъ открылъ только ротъ и откинулся назадъ.

— Меньше нельзя! спокойно-убѣдительнымъ тономъ подхватилъ кордонный, — разсуди: надо теперича дать старостѣ въ селѣ, дать надо мужикамъ, которые были въ свидѣтеляхъ, надо также цѣловальнику дать; не дашь — обо всемъ повѣренному разскажутъ,—ужъ это безпремѣнно, самъ знаешь: народъ нынче какой!.. Ну, и сосчитай: много ли сойдетъ мнѣ изъ двадцати цѣлковыхъ?.. Узнаетъ повѣренный—я черезъ это пропасть долженъ! Наше дѣло такое: мы, братецъ, затѣмъ къ должности приставлены; какъ, скажутъ, ты съ виномъ поймалъ, утаилъ отъ конторы, и съ мужика взялъ!.. Я черезъ это подлецомъ долженъ остаться передъ начальствомъ! Изъ того хлопочешь, чтобъ было изъ чего...

— Двадцать цѣлковыхъ за ведро вина! вымолвилъ старикъ, снова вспыхнувъ до самой шеи.

— Послушай, дядя, миролюбиво сказалъ кордонный,— ты не кричи,—не хорошо! мы не къ тому пришли сюда; говорилъ: помириться хочешь... такъ ты и дѣлай; а то, что кричать-то, не годится. По душѣ говорю, право, больше отдашь, коли въ судъ представятъ: за вино одно возьмутъ съ тебя втрое; такъ по закону отдашь за вино двѣнадцать цѣлковыхъ! да въ судѣ еще сколько разсоритъ...

Старикъ слушалъ и смотрѣлъ въ землю; теперь, болѣе чѣмъ когда-нибудь, былъ онъ, казалось, подавленъ происшедшимъ съ нимъ случаемъ.

— Эко дѣло! эка напасть! повторялъ онъ, чмокая губами, качая головой и безнадежно разводя руками.

— Батюшка, неожиданно произнесъ Петръ, появляясь въ калиткѣ,—поди-ка сюда!

Савелій поспѣшно заковылялъ къ сыну. Тотъ далъ ему знакъ повернуть за уголъ амбара. Тамъ стоялъ маленькій помолецъ, который, какъ только показался старикъ, снова весь преисполнился быстротою.

— Слышь, дядя, торопливо заговорилъ онъ, хватая старика за рукавъ и выразительно мигая на калитку, — слышь: ничего ему не давай; плюнь! плюнь, я говорю! Окромѣ него, всѣ вѣдь видѣли! видѣли, какъ малый-то попался! При народѣ было дѣло! Дашь ему — ничего не будетъ, слухи дойдутъ, все единственно! Плюнь! Сколько ни давай,—все въ судъ потребуютъ: дѣло такое; при народѣ было; дойдутъ слухи; все единственно! обмануть хочетъ!.. Плюнь, говорю!..

Мужиченокъ торопливо отскочилъ, услышавъ шаги за

калиткой. Кордонный какъ-будто догадался, о чемъ шла рѣчь за амбаромъ. Онъ окончательно убѣдился въ этомъ, когда позвалъ старика, и тотъ, вмѣсто того, чтобы пойти къ нему, задумчиво продолжалъ смотрѣть въ землю.

— Дѣло такое настоящее, сказалъ кордонный, бросая злобный взглядъ на помольца, который зѣвалъ на стропилы навѣсовъ, какъ ни въ чемъ не бывало,—мы черезъ это пропасть можемъ... Всякъ себя оберегаетъ: дѣло такое! Представятъ завтра повѣренному, ты его и проси... Этакой народъ! сказано: въ чужой кабакъ не ходи — нѣтъ! Теперь и развѣдывайся!.. А я что?.. я не могу. Повѣреннаго проси!

Послѣднія слова сказаны были уже за воротами. Кордонный поправилъ шапку и ворча что-то подъ носъ быстро пошелъ по дорогѣ.

— Должно-быть слышалъ, о чемъ мы здѣсь разговаривали... вдругъ возвратилась вся его прыткость,—вѣстимо слышалъ, либо догадался, все единственно! Видитъ: взять нечего, разговаривать не сталъ! Сколько просилъ, дядя? сколько?

— Двадцать цѣлковыхъ!..

— Ахъ онъ, шитая рожа! Экъ, разбойникъ! ахъ ты! воскликнулъ мужиченокъ, порываясь какъ-то разомъ во всѣ стороны,—двадцать цѣлковыхъ! поди ты!.. Экъ махнулъ! Ахъ, бестія! Эти цѣловальники, нѣтъ ихъ хуже! самые что ни есть мошенники... душа вонъ! Ей-Богу! Ахъ ты шитая рожа, поди-жъ ты!.. Ахъ онъ!..

Савелій не обращалъ никакого вниманія на слова помольца: онъ не отрывалъ глазъ отъ земли и, повидимому, размышлялъ самъ съ собою. Никогда еще не чувствовалъ онъ себя столько разстроеннымъ. Это потому, быть можетъ, что во всю свою жизнь никогда еще не былъ такъ спокоенъ и счастливъ, какъ въ послѣдніе эти три года,—когда выстроилъ мельницу и жилъ самъ по себѣ, съ сыномъ и снохою.

— Эко дѣло! проговорилъ онъ наконецъ голосомъ, который показывалъ, что складъ его размышленій былъ самый безотрадный.—Вотъ не чаяли горя-то! вотъ ужъ не чаяли!..

Помолецъ снова приступилъ-было и уже схватилъ его за рукавъ, но Савелій махнулъ только рукою, отвернулся и медленнымъ, отягченнымъ шагомъ побрелъ въ избу.

V.

Объясненія.—Надежды.—Послѣдствія.

Минутъ пять спустя, старикъ снова показался на крылечкѣ.

— Григорій! крикнулъ онъ, озираясь вокругъ съ недовольнымъ видомъ.—Григорій! повторилъ онъ возвышая голосъ.

Гришка не откликался.

— Должно-быть, гдѣ-нибудь за амбаромъ, отозвался Петръ, принявшійся распрягать лошадь.

— Уберешь лошадь, позови его ко мнѣ, сказалъ Савелій, уходя опять въ избу.

Распрягши лошадь, Петръ нѣсколько разъ окликнулъ мальчика; отвѣта не было. Петръ повелъ лошадь и мимоходомъ заглянулъ въ амбарную дверь.

— Что, ай малаго-то нѣту? Неужели убѣгъ? заботливо освѣдомился маленькій помолецъ, осклабляя зубы, которые были такъ же почти бѣлы теперь, какъ лицо его, выпачканное мукою,—никакъ старикъ кликалъ? Какъ не осерчать! осерчаешь! вишь набѣдовалъ какъ... насдобилъ! Стало быть запужался... завалился куда-нибудь... Испугаешься!.. подожмешь хвостъ!.. Пойдемъ; я поищу; отчего-жъ? поискать можно!.. Пойдемъ.

Петръ велъ между-тѣмъ лошадь въ клѣтушку, прилаженную къ задней части навѣсовъ; услужливый мужиченокъ слѣдовалъ за нимъ, стараясь попасть въ ногу и поминутно хватая его за рукавъ, какъ бы желая обратить вниманіе Петра на каждый уголъ, щель, гдѣ, по мнѣнію мужичка, долженъ былъ непремѣнно сидѣть мальчикъ. Оба они вошли въ клѣть.

— Здѣсь! вотъ онъ! взялъ! взялъ! держу! закричалъ во все горло помолецъ, хватая Гришутку, который стоялъ смиренно, забившись лицомъ въ уголъ.

— Вижу, вижу! ну, что кричишь-то?—сказалъ Петръ.

Ободренный словами и голосомъ Петра, Гришутка, остолбенѣвшій въ первую минуту отъ страха, зажмурилъ вдругъ глаза, раскрылъ ротъ и залился жалобнымъ воплемъ.

— Ну, о чемъ плачешь-то? о чемъ?—промолвилъ Петръ.—Пойдемъ, отецъ зоветъ; эхъ ты, страмникъ! страмникъ!.. право страмникъ этакой!

— Высѣкутъ, это какъ есть! И-и высѣкутъ!—подхва-

тилъ, двигая руками и глазами, помолецъ,—какъ не высѣчь? Надо, не балуй!..

— Ничего этого не будетъ, сказалъ Петръ,—старикъ, Гришутка, ничего не сдѣлаетъ, только спроситъ... Не бойся! развѣ не знаешь?.. Не плачь, а то хуже...—добавилъ онъ, взявъ за руку нѣсколько утѣшеннаго мальчика.

Черненькій мужиченокъ сопровождалъ ихъ до самаго крылечка; онъ вѣроятно пошелъ бы дальше, но вспомнилъ, что рожь приходила къ концу въ ящикѣ, и опрометью побѣжалъ въ амбаръ. Савелій находился за перегородкой, гдѣ лежала сноха его.

— Подойди сюда,—сказалъ онъ мальчику, который смотрѣлъ бычкомъ въ землю и пыжился изъ всей мочи, чтобы удержаться отъ слезъ.—Ну, видишь, смотри!—примолвилъ старикъ, обращаясь къ снохѣ,—видишь, ничего съ нимъ не сдѣлали! не сковали, не повезли въ острогъ... Цѣлъ, видишь! Было изъ чего полошиться, бѣжать на стужу... словно полоумная какая, право!.. Хошь бы о себѣ-то подумала, объ ребенкѣ подумала... А то: зря выбѣжала на стужу, вся раскрымшись; ну есть ли разумъ-то? И стоитъ ли онъ того, чтобы сокрушаться-то о немъ?.. озорникъ этакой!.. Поди сюда,—промолвилъ старикъ, снова поворачиваясь къ мальчику и выходя въ первую половину избы,—зачѣмъ поѣхалъ ты въ чужой кабакъ, а? Развѣ я не говорилъ тебѣ, куда ѣхать? сказывай... а?.. не говорилъ развѣ?.. ну, какой твой будетъ отвѣтъ, а?..—заключилъ онъ, садясь на лавку.

Изъ объясненій мальчика открылось (голосъ его звучалъ такою искренностью, что нельзя было ему не повѣрить, и наконецъ, всѣ слова его потомъ оправдались), открылось, что виновниками всего случившагося были старшіе сыновья хозяина микулинской мельницы, той самой, что виднѣлась въ отдаленіи. Встрѣтивъ Гришку на плотинѣ, они спросили, куда онъ ѣхалъ; онъ сказалъ; они увѣрили его, что кабакъ, куда посылалъ его дядя Савелій, былъ теперь запертъ; цѣловальникъ уѣхалъ съ женою на свадьбу сестры и возвратится только завтра; они говорили, что все равно, вино можно взять въ другомъ кабакѣ, что тотъ кабакъ еще ближе перваго, что тамъ вино не въ примѣръ даже лучше и что дядя Савелій скажетъ еще спасибо. Гришутка повѣрилъ и отправился. Онъ клялся и призывалъ всѣхъ святыхъ въ свидѣтели, что не сымалъ шапки во всю дорогу; выйдя изъ кабака

онъ благополучно поѣхалъ въ обратный путь; но при выѣздѣ изъ села налетѣлъ на него кордонный; его схватили, повели къ старостѣ и отняли у него вино.

Дойдя до мѣста, когда къ боченку приложили печать, разсказчикъ остановился и снова залился горькими слезами, какъ будто въ этомъ именно печатаніи боченка и заключалось собственно все несчастье. Но Савелій не слушалъ уже его. Онъ смотрѣлъ даже въ другую сторону. Онъ притупленно молчалъ и только, время отъ времени, досадливо потряхивалъ сѣдинами, произнося упреки, относившіеся, впрочемъ, болѣе къ Микулинскому мельнику и сыновьямъ его. Пора бы имъ, кажется, войти въ совѣсть! пора бы оставить его въ покоѣ! Чего имъ еще отъ него надо? Развѣ онъ на рѣкѣ поставилъ свою мельницу? Развѣ перебилъ у нихъ воду? У нихъ мельница-крупчатка о семи поставахъ, работаютъ они годъ круглый, тысячи добываютъ! Неужто мало имъ этого?.. Неужто зависть беретъ, и не довольно вредили они ему?.. Богачи, крупчатку имѣютъ, тысячи наживаютъ, а завидуютъ какой-нибудь колотовкѣ о двухъ колесишкахъ! Чай пьютъ, калачи ѣдятъ крупичатые, а завидуютъ крохамъ бѣднаго человѣка! Богачи, купцы, а на какія срамныя дѣла пускаются! мальчика подучаютъ ѣхать въ чужой кабакъ, чтобы подвести подъ бѣду родителей!..

Подъ вліяніемъ такихъ соображеній, приправленныхъ еще мыслью, что дѣло съ боченкомъ не обойдется даромъ, дядя Савелій сдѣлался ворчливъ и несообщителенъ. Въ эти послѣдніе три года, какъ устроилась мельница, никто изъ домашнихъ не видалъ его такимъ пасмурнымъ, недовольнымъ. За ужиномъ, гдѣ старикъ бывалъ обыкновенно такимъ болтливымъ, онъ едва сказалъ нѣсколько словъ. Онъ послалъ Петра разсчитаться съ помольцемъ, и прежде всѣхъ завалился на печку.

Петръ, его жена и старая Палагея, разсуждая о завтрашнемъ днѣ, думали, однакожъ, что авось-либо на завтра сердце старика какъ-нибудь разойдется. Предположенія ихъ оправдались. Заря слѣдующаго утра показала имъ, что лицо Савелія совсѣмъ уже не было такимъ, какъ наканунѣ; лобъ его, правда, морщился; но морщины выражали скорѣе суетливость, чѣмъ мрачное настроеніе духа. Онъ тотчасъ же послалъ Петра за виномъ; противъ всякаго ожиданія, не выказалъ онъ даже большой досады, отсчитывая ему слѣдуемые четыре цѣлковыхъ; раза два пожалъ только губами и крякнулъ.

Прибытіе кума и кумы, поѣздка въ церковь, обрядъ крещенія, возвращеніе домой—все это замѣтно развлекло старика. Съѣхались гости, пошли поздравленія и угощенія. Не обошлось безъ того, разумѣется, чтобы не упомянуть о происшедшей вечоръ непріятности; но рѣчь объ этомъ предметѣ, благодаря стаканчикамъ винца, которые успѣли уже пропустить собесѣдники, приняла такой путанный характеръ, такъ часто прерывалась всякаго рода восклицаніями и взрывами хохота, что не имѣла никакихъ послѣдствій на расположеніе престарѣлаго хозяина. Вообще крестинный обѣдъ прошелъ весело. Савелій, сидѣвшій между кумомъ Дрономъ и сватомъ Стегнѣемъ, смѣялся даже громче ихъ, когда, къ концу угощенья, старая Палагея выскочила вдругъ изъ-за перегородки и, прищелкивая пальцами, начала отхватывать какія-то диковинныя колѣнца.

Хорошее расположеніе старика не прерывалось даже и на другой день. Онъ спалъ еще, когда на дворъ въѣхало семь подводъ съ рожью. Одно развѣ могло нѣсколько озабочивать старика: внучекъ, который былъ такъ покоенъ, началъ вдругъ ни съ того, ни съ сего кричать; вмѣстѣ съ этимъ узналъ онъ также, что Марья сильно жаловалась на головную боль. Легко могло статься, что простудилась она, выбѣжавъ на крыльцо, когда привезли Гришку; но отчего бы ребенку плакать? отчего бы ему не брать груди?.. Напрасно увѣряла Палагея, что всѣ дѣти кричатъ на второй день, что крикъ внучка, можетъ, происходитъ оттого также, что просто не въ охоту грудь матери, и лучше будетъ, коли дадутъ ему рожокъ; но слова ея пропадали, казалось, даромъ. Старикъ качалъ головою и пожималъ губами.

Надо было, однакожъ, обратиться къ дѣлу; не всякій день является по семи помольцевъ на мельницѣ! Двое сутокъ сряду отбою не было отъ помольцевъ; жернова работали безъ отдыха и мучная пыль не переставала клубиться надъ амбаромъ. Въ день крестинъ и послѣдовавшій затѣмъ день Савелій не проходилъ мимо Гришки, чтобы не погрозить ему пальцемъ, или не остановиться, подпершись въ бока, и не сказать ему: „Эхъ, ты у меня... Эхъ!.. Смотри!..“

Но теперь все это миновало; онъ звалъ его Гришуткой, Гринькой и Гришахой; словомъ, все пошло опять постарому, пока неожиданно, на четвертый день послѣ кре-

стинъ, утромъ явился сотскій. Онъ былъ отъ станового пристава. Это обстоятельство навзничь опрокинуло мирное теченіе мыслей въ головѣ Савелія. Было отчего, впрочемъ. Оказывалось, что на Савелія поступила въ станъ „бумага“ за противозаконный провозъ вина изъ чужой губерніи. Становой велѣлъ ему тотчасъ же явиться на становую квартиру. Сотскій издавна знакомъ былъ Савелію; пошли спросы-разспросы. Сотскій сказалъ, что дѣло, собственно, не большой важности; придется только поплатиться; но сколько придется отдать—этого не зналъ онъ положительно.

— Такъ точно, хрипѣлъ сотскій, представлявшій изъ себя совершенное подобіе гриба, закутаннаго въ чахлую шинелишку, такого же цвѣта и такую же морщинистую, какъ лицо его,—денегъ съ тебя возьмутъ, такъ по положенію, это такъ точно; главная причина, проси Никифора Иваныча (такъ звали станового), его проси, чтобъ до суда не доводилъ; поблагодарить придется, не безъ этого, такъ точно; главное, безъ денегъ не суйся; возьми денегъ; требуется; лучше дай, сразу рѣши дѣло, отрѣжь; таскать начнутъ—дороже обойдется, не въ примѣръ дороже, это такъ точно...

Во время этого объясненія, Петръ стоялъ шагахъ въ трехъ и тревожно смотрѣлъ на отца, который билъ себя по полушубку и вообще выказывалъ величайшее безпокойство. Гришка, пропавшій при первомъ появленіи сотскаго, сидѣлъ между тѣмъ въ самомъ темномъ углу клѣтушки; онъ былъ ни живъ, ни мертвъ. Но никто объ немъ не думалъ; не до него было совсѣмъ. Мигомъ заложена была телѣжка. Пока Петръ, по приказанію отца, отсыпалъ сотскому мучицы, Савелій одѣлся. Онъ не послушалъ однакожъ сотскаго, не взялъ денегъ. Ему хотѣлось прежде уяснить хорошенько всѣ обстоятельства, убѣдиться, точно ли дѣло такой важности, какъ показалось со страху, точно ли судъ вступится въ такую бездѣлицу. „Что жъ такое, что мальчикъ кабакомъ обознался?“ разсуждалъ онъ. „Развѣ кто-нибудь отъ этого отпирается? Коли въ самомъ дѣлѣ по закону такъ требуется, онъ, пожалуй, готовъ отдать, что̀ слѣдуетъ, — его грѣхъ! Но больше давать за что же? Лучше съѣздить лишній разъ домой, достать сколько денегъ требуется, чѣмъ брать ихъ съ собою... Можетъ, такъ какъ-нибудь, и безо всего еще обойдется; возьмешь деньги, того и смотри пронюхаютъ

какъ-нибудь; тогда ужъ не отвертишься, возьмутъ, потому статья такая будетъ подходящая..."

Такъ разсуждалъ самъ съ собою старикъ, всячески стараясь ободрять себя; между тѣмъ, руки его дрожали и подъ сердце подступали тоска и безпокойство. Онъ довезъ сотскаго до Ягодни, и прямо пустился на становую квартиру. Становой уѣхалъ въ городъ и раньше двухъ дней не могъ возвратиться. Савелій узналъ, сверхъ того, что и письмоводителя также не было. Оставался только писарь, но послѣдній не могъ дать никакого объясненія касательно дѣла; онъ совѣтовалъ старику ѣхать въ городъ и скорѣе явиться къ становому. Покормивъ лошадь, Савелій въ тотъ же вечеръ поѣхалъ въ городъ. Отъ стана до города считалось верстъ тридцать; ему хотѣлось поспѣть туда чѣмъ свѣтъ на другое утро.

Мысли, бродившія въ головѣ старика, были такого свойства, что, конечно, не могли развлекать его пріятнымъ образомъ. Во всю дорогу, лицо его сохраняло озабоченное, задумчивое выраженіе; ни разу не оживилось оно той добродушной улыбкой, которая снова, казалось, установилась на губахъ его. Впрочемъ, и самое время измѣнилось теперь, противъ того, какъ было въ послѣдніе дни. Рыхлыя, тяжелыя тучи покрывали небо; наканунѣ, въ эту самую пору, поля ярко еще освѣщались закатомъ—теперь наступали сумерки; даль начинала уже пропадать, заслоняясь густымъ, сизымъ мракомъ. Пасмурное небо смотрѣло непривѣтливо, тускло; сѣро и голо было въ окрестности. Въ воздухѣ также произошла большая перемѣна; вмѣсто сухой морозной свѣжести, румянившей щеки и пріятно щекотавшей ноздри, дулъ теперь мягкій, но сильный, порывистый вѣтеръ. Въ мутной глубинѣ сгущавшихся сумерекъ слышно было, какъ шумѣли рощи. Сухіе листья, кружась и шуршукая, проносились мимо; отставшій листокъ падалъ иногда на дорогу и, какъ бы не рѣшаясь пуститься одиноко въ сумрачную даль глухого поля, долго-долго катился по дорогѣ, пока, наконецъ, не встрѣчалъ новыхъ товарищей, которые подхватывали его и снова увлекали дальше... Мѣстами, на пути, попадались ручьи и рѣки; дня три назадъ морозъ покрылъ ихъ ледяною корой и смѣло можно было на ней держаться; вода теперь отовсюду просачивалась и ледъ осаживался. Недѣля было ждать однакожъ ненастья. Время дождей и грязи давно миновало. Рыхлыя тучи и мягкость воздуха пред-

вѣщали другое; съ минуты на минуту надо было ждать снѣга; снѣгъ, какъ говорится, висѣлъ надъ головою.

Савелій ѣхалъ всю ночь. Былъ уже часъ шестой, когда, сквозь рѣдѣющій мракъ, показались наконецъ городскія церкви, едва тронутыя блѣдной утренней зарею.

VI.

Кошка и мышка.

Городъ, куда не замедлилъ въѣхать Савелій, считался,— и совершенно справедливо, — однимъ изъ самыхъ значительныхъ нашихъ уѣздныхъ городовъ. Когда-то думали даже сдѣлать его губернскимъ. Онъ раскидывался по берегу большой, судоходной рѣки; здѣсь ежегодно грузилось нѣсколько тысячъ судовъ, уносившихъ въ Москву и Нижній рожь, овесъ и пшеницу. Бо́льшая часть обывателей занималась оптовой хлѣбной торговлей. Нельзя было сдѣлать десяти шаговъ на любой улицѣ, чтобы не пройти мимо лабаза, украшеннаго снаружи скамьею съ намалеванной по срединѣ шашечной доскою, на которой возсѣдали хозяева съ сѣдыми, черными и рыжими бородами. Многія изъ этихъ бородъ имѣли милліоны. Городъ богатѣлъ и процвѣталъ годъ отъ году.

Все это не мѣшало однакожъ, что въ городѣ никакъ не могла утвердиться контора дилижансовъ. Контора устроилась прекрасно, экипажи были отличны; цѣна за мѣста назначена была самая умѣренная; отъ города до Москвы брали всего четыре цѣлковыхъ. Но почетное купечество находило болѣе выгоднымъ ѣздить съ вольными ямщиками, которые держали кибитки, устроенныя такимъ образомъ, что, въ случаѣ надобности (а надобность всегда встрѣчалась), можно было помѣщаться человѣкамъ тремъ на козлахъ и человѣкамъ пяти въ рогожномъ мѣшкѣ, прикрѣпленномъ въ задней части кузова. Послѣднія мѣста обходились въ одинъ рубль. Бѣдные пустые дилижансы съ сокрушеннымъ сердцемъ взирали на то, какъ почтенное купечество погружалось въ мѣшки, проскакивало до Москвы вверхъ ногами и, погрызывая сайку, лукаво на нихъ посматривало. Контора не могла долго бороться противъ такой опасной конкуренціи: рогожные мѣшки одержали побѣду, и дилижансы скоро закрылись.

Часовъ около девяти, Савелій отправился отыскивать станового; онъ былъ у него на квартирѣ, но тамъ ска-

зали, что Никифоръ Ивановичъ ушелъ въ уѣздный судъ. Уѣздный и земскій суды помѣщались въ большомъ двухъ-этажномъ домѣ, смотрѣвшемъ на соборъ и отличавшемся бѣлизною наружныхъ стѣнъ. Уѣздный судъ былъ во второмъ этажѣ. Поднявшись по лѣстницѣ, Савелій вступилъ въ темную прихожую, казавшуюся еще чернѣе отъ множества шинелей, висѣвшихъ на стѣнахъ. Тутъ стояло довольно много мужиковъ, попадались даже бабы. Едва вошелъ Савелій, одна изъ бабъ тотчасъ же обратилась къ нему и, утирая слезы, сказала:

— Батюшка... кормилецъ, взмилуйся!.. Мужъ у меня ратникъ, годъ слуху объ немъ не имѣю; не знаю, живъ ли, умеръ ли... Была у ротнаго, сюда прислалъ, кормилецъ...

— Чего жъ тебѣ надо? нетерпѣливо спросилъ Савелій.

— Батюшка, не сказываютъ ничего объ мужѣ-то... Пришла сюда бумага объ немъ,—да не сказываютъ... Просила-просила, — пятьалтынный спрашиваютъ; безъ этого не сказываютъ... А нѣтъ у меня ничего, кормилецъ; пришла я, отецъ, за сорокъ верстъ... взмилуйся, не можешь ли?..

— Какъ же, много у меня! Дѣло-то, можетъ, твоего хуже... проговорилъ Савелій, хмуря лобъ и не обращая вниманія на сосѣдей, которые скалили зубы.

Онъ далъ ей, однакожъ, грошъ и, чтобы избавиться отъ дальнѣйшихъ преслѣдованій, протискался впередъ къ двери. Посреди второй комнаты, окруженной столами, за которыми человѣкъ десять трещали перомъ, стоялъ, раздвинувъ ноги, толстый господинъ съ шитымъ воротникомъ и толстыми руками, заложенными за фалды; раздувъ брюзгливо губы, насупивъ брови, онъ неохотно слушалъ какого-то бѣлокураго человѣка, который шепталъ ему на ухо, страшно егозилъ и весь расплывался, таялъ и умилялся. Господинъ съ шитымъ воротникомъ видимо скучалъ; глаза его воспаленными бѣлками блуждали по сторонамъ; они остановились на двери въ ту самую минуту, какъ бѣлая голова Савелія высунулась изъ толпы.

— Чего тебѣ? густымъ басомъ спросилъ его господинъ съ шитымъ воротникомъ, очевидно съ тою только цѣлью, чтобы развлечь себя.

Савелій сказалъ, что онъ собственно затѣмъ здѣсь, чтобы видѣть станового Никифора Иваныча, который, такъ сказали ему, здѣсь находился.

— Никифоръ Иванычъ! забасилъ стоячій воротникъ,

тяжело поворачиваясь на каблукѣ и не обращая никакого вниманія на бѣлокураго человѣка, который продолжалъ припадать къ его уху и попрежнему егозилъ, таялъ, млѣлъ и умиленно что-то нашёптывалъ.

Въ сосѣдней комнатѣ послышался голосъ и чьи-то быстрые шаги; секунду спустя, въ дверяхъ показался Никифоръ Иванычъ,—человѣкъ молодой, круглый, румяный и очень снисходительнаго вида. Савелій выступилъ два шага и поклонился.

— Что скажешь? ласково спросилъ становой, закинулъ руки за фалды и началъ перекачиваться съ носковъ на каблуки и обратно.

Савелій сказалъ, что за нимъ посылали, и передалъ ему свое дѣло.

— Знаю, знаю, перебилъ становой, — такъ это, братъ, ты попался? хорошъ гусь! Дѣло твое теперь уже не у меня; оно поступило сюда къ исправнику; я собственно затѣмъ тебя и вызвалъ въ станъ, чтобы ты немедленно сюда явился.

Ободренный ласковымъ видомъ станового, Савелій началъ просить, нельзя ли ему какъ-нибудь вступиться, ослобонить его.

— Что ты, братецъ, не понимаешь развѣ, что ли? Русскимъ языкомъ говорю: дѣло о тебѣ поступило уже къ исправнику; я тутъ ничего не могу; проси исправника, или вотъ, чего же лучше: сходи къ откупщику, его попроси; онъ же, на твое счастіе, вчера въ городъ пріѣхалъ; его проси, а я ничего не могу.

Савелій слушалъ все это понуря голову и переминая въ рукахъ шапку. Живая смѣтливость и воспріимчивость духа, которыхъ не могли побѣдить годы, теперь какъ будто его оставили. Умъ его, такъ быстро соображавшій размѣры колесъ относительно количества воды, такъ хитро придумывавшій шестерни и всякія улучшенія въ плотинахъ, такъ ловко примѣнявшій самое незамѣтное обстоятельство къ успѣху мельничнаго и плотничнаго дѣла, не давалъ ему теперь никакого объясненія и совѣта.

„Гришутка попался съ виномъ, это точно; вино по закону запрещено брать въ чужомъ уѣздѣ или губерніи, это такъ; становой вызвалъ его по этому случаю; оказывается, что дѣло уже перешло къ исправнику; почему жъ къ исправнику? неужто въ самомъ дѣлѣ такъ важно это

дѣло и будутъ его судить? его? За что же? Такая дрянь нестоящая,—ведро вина!—и сколько возни, хлопотъ, быть-можетъ, даже издержекъ?.. Что же тамъ за откупщикъ такой? Неужто властенъ онъ надъ исправникомъ? Надо къ откупщику идти... надо... А ну, какъ держитъ онъ руку исправника?..“

Все это сбивало старика съ толку и наполняло туманомъ его голову. Въ этихъ комнатахъ, передъ этими пишущими людьми, передъ этими господами въ свѣтлыхъ пуговицахъ, онъ чувствовалъ себя какъ будто на другой планетѣ, въ другомъ мірѣ, чувствовалъ себя совершенно отчужденнымъ, уничтоженнымъ, подавленнымъ, безъ силы, безъ воли и разума. Нѣтъ, здѣсь не то, что на улицѣ Ягодни, гдѣ каждый былъ ровня, каждый готовъ былъ его послушать, каждому почти былъ онъ нуженъ при случаѣ; здѣсь не то, что на мельницахъ, гдѣ все представлялось ему такимъ понятнымъ и яснымъ; здѣсь никто не нуждается въ колесахъ, плотинахъ, совѣтахъ насчетъ жернововъ, толчеи и снастей; здѣсь на все это плевать хотятъ и требуется здѣсь совсѣмъ другое... Робость невольно прокрадывалась въ душу старика; ласковое обращеніе станового ободрило его только на минуту. Какъ только исчезъ Никифоръ Иванычъ, два-три мужика приступили къ Савелію съ разспросами, но онъ не отвѣчалъ; онъ торопливо вышелъ на лѣстницу, надѣлъ шапку, потомъ снялъ ее, два раза перекрестился и, спустившись на улицу, спросилъ, куда итти къ откупщику.

Домъ откупщика знакомъ былъ каждому въ городѣ; Савелію стоило только обратиться съ вопросомъ своимъ къ первому человѣку, чтобы узнать дорогу. Къ тому же, домъ находился недалеко отъ присутственныхъ мѣстъ; это было большое каменное зданіе, выходившее однимъ бокомъ на пространный дворъ, обнесенный вокругъ деревянными навѣсами и другими строеніями. Савелій засталъ на дворѣ человѣкъ тридцать народа; всѣ они очевидно принадлежали къ дому; кто перекатывалъ бочки, кто набивалъ обручи, кто таскалъ мѣшки съ солодомъ. Противъ одного изъ строеній, находившагося ближе къ дому, стояла распряженная карета, возлѣ которой возился кучеръ въ черномъ плисовомъ казакинѣ. Откупщикъ дѣйствительно только-что наканунѣ прибылъ. Онъ заглядывалъ сюда разъ или два въ годъ, когда проѣзжалъ черезъ губернію, которую держалъ на откупу. Для такихъ

случаевъ въ домѣ, нанимаемомъ собственно для конторы, оставлялось нѣсколько комнатъ. Откупщикъ съ семействомъ своимъ жилъ или въ Москвѣ, или въ Петербургѣ; и тутъ, и тамъ имѣлъ онъ собственные дома; сверхъ того, въ окрестностяхъ обѣихъ столицъ были у него дачи, отдѣланныя съ баснословнымъ великолѣпіемъ. Все это возникло вдругъ, какъ бы по мановенію волшебнаго жезла.

Роскошь Пукина (такъ звали откупщика) давно проникла черезъ молву до уѣзднаго города, куда прибылъ онъ наканунѣ. Многіе изъ обывателей уѣзда были у Пукина въ Москвѣ и Петербургѣ; возвращаясь во-свояси, они по цѣлымъ недѣлямъ ни о чемъ больше не говорили, какъ объ убранствѣ комнатъ Пукина, о его обѣдахъ, лошадяхъ, цѣльныхъ зеркальныхъ окнахъ, рѣзныхъ потолкахъ и о томъ невѣроятномъ богатствѣ, которое позволяло ему бросать дѣньги, какъ песокъ. Ясно, что пріѣздъ такого человѣка долженъ былъ всегда производить впечатлѣніе въ уѣздномъ городѣ. Въ промежутокъ трехъ-четырехъ дней пребыванія Пукина, должностныя лица и многіе изъ частныхъ обывателей почти не выходили изъ дома откупщика: они пили у него чай, завтракали, обѣдали, играли въ карты и ужинали. Такъ было и теперь. Въ то время, какъ Савелій входилъ на дворъ конторы, у Пукина сидѣли гости.

Ранній часъ утра не позволялъ обществу быть многочисленнымъ; оно состояло пока изъ исправника и городничаго. Оба сидѣли съ хозяиномъ дома въ большой залѣ, смотрѣвшей окнами на дворъ. Тутъ находился также управляющій конторою и два повѣренныхъ; но послѣдніе не принадлежали обществу,—ихъ считать нечего; первый стоялъ поодаль въ какомъ-то подобострастномъ оцѣпенѣніи, два другіе торчали въ дверяхъ, сохраняя на лицахъ выраженіе благоговѣйнаго умиленія.

Не слѣдуетъ, впрочемъ, думать, чтобы обращеніе исправника и городничаго отличалось особенною фамильярностью; разница между первыми и вторыми состояла почти въ томъ, что первые стояли, тогда какъ вторые сидѣли. Иначе даже быть не могло. Начать съ того, что Пукинъ былъ благодѣтель городничаго: онъ выхлопоталъ ему мѣсто, размѣстилъ дѣтей его, помогъ выстроить домъ послѣ пожара, далъ разъ двѣ тысячи рублей, которыхъ не досталъ при какомъ-то казенномъ отчетѣ, и тѣмъ спасъ protég

своего отъ позора и гибели. Городничій ясно понималъ, можетъ-статься, что благодѣтель дѣйствовалъ не спроста; понималъ онъ это, но, съ своей стороны, лѣзъ изъ кожи, желая доказать Пукину свою благодарность: позволялъ держать кабаки открытыми до часу ночи, и даже всю ночь, скрывалъ всѣ случаи, происходившіе въ этихъ пріютахъ и проч., и проч. При всемъ томъ, мѣра благодѣянія превышала все-таки выраженія благодарности, и городничій не могъ считать Пукина за обыкновеннаго человѣка. Что-жъ касается исправника, онъ стѣснялъ себя передъ откупщикомъ совершенно безкорыстно; онъ зналъ, что Пукинъ слишкомъ привыкъ къ лести и подобострастію, чтобы можно было подъѣхать къ нему такими путями. Исправникъ просто не могъ побѣдить въ себѣ чувства невольной робости и удивленія при видѣ человѣка, который изъ ничего сдѣлалъ себѣ милліоны и бросалъ деньгами, какъ пескомъ. Пукинъ возбуждалъ, впрочемъ, удивленіе и не такихъ добродушныхъ людей, какъ исправникъ. Одни удивлялись его генію, другихъ поражало безграничное его тупоуміе; замѣчательнѣе всего, что тѣ и другіе были совершенно правы.

Геній Пукина заключался въ слѣдующемъ: не далѣе четырнадцати лѣтъ назадъ онъ служилъ на побѣгушкахъ и, какъ говорили, исправлялъ даже самыя низкія должности у откупщика Сандараки, успѣвшаго также нажить милліоны и носящаго теперь фамилію Сандаракина. Пукинъ понравился, получилъ мѣсто повѣреннаго, потомъ дистанціоннаго, и, наконецъ, попалъ въ управляющіе конторой. Счастье ли тому способствовало, или такъ распоряжался ужъ Пукинъ, но въ два года уѣздъ, подъ его управленіемъ, далъ Сандараки вдвое больше прежняго. Изобрѣтательность Пукина была изумительна; она удивляла даже Сандараки, который самъ прошелъ огонь, воду и мѣдныя трубы и давно уже ничему не удивлялся. Извѣстность Пукина росла между откупщиками; начали его переманивать, но Пукинъ остался вѣренъ Сандараки. Послѣдній далъ ему небольшой пай въ какомъ-то большомъ предпріятіи и послалъ его уполномоченнымъ на свое мѣсто. Въ актѣ сказано было, что Сандараки даетъ мѣщанину Пукину два пая; но Пукинъ изъ двухъ ухитрился сдѣлать двадцать два, хватилъ неслыханный кушъ и учтиво когда раскланялся съ Сандараки, который долженъ былъ поневолѣ молчать: предпріятіе было такого рода, что обя-

зывало не раскрывать тайны. Пукинъ вышелъ сухъ и бѣлъ, какъ лебедь изъ воды, расцвѣлъ, выросъ, представилъ залоги и самъ сѣлъ въ откупщики. Онъ, говорили, былъ уже тогда въ семистахъ тысячахъ. Дѣло его пошло отлично, счастіе ни разу не измѣнило. Откупщики только ахали; многіе, несмотря на молодость Пукина, стали обращаться къ нему за совѣтами. Вскорѣ Пукинъ нашелъ покровителей между людьми сильными. Онъ такъ пошелъ вдругъ въ ходъ, что всѣ объ немъ заговорили. Онъ бралъ теперь по десяти городовъ на откупъ, бралъ цѣлыя губерніи, — и ни разу не оборвался. Начали его бояться: стоило Пукину явиться на переторжку—ему давали огромныя отступныя суммы, чтобъ онъ только не набивалъ цѣнъ, и т. д. — словомъ, въ четырнадцать лѣтъ, изъ человѣка, исполнявшаго низкія должности у Сандараки, Пукинъ сдѣлался милліонеромъ. Въ этомъ, по мнѣнію многихъ, заключалась геніальность Пукина.

Тупоуміе откупщика основывалось вотъ на чемъ: какъ только явились у него милліоны (извѣстно, какъ легко они ему достались), онъ вообразилъ себя какимъ-то всеобъемлющимъ человѣкомъ; отправляясь съ этой точки зрѣнія на пути богатства, Пукинъ тотчасъ же заразился самымъ непомѣрнымъ тщеславіемъ. Пройдя отъ доски до доски всю школу надувательства, онъ позволялъ теперь надувать себя самымъ жалкимъ образомъ. Двумъ-тремъ негодяямъ, движимымъ очевиднымъ расчетомъ, ничего не стоило, напримѣръ, увѣрить его, что онъ, Пукинъ, ничему никогда не учившійся, едва знающій грамоту, — былъ все-таки умнѣе ихъ всѣхъ; они твердили ему съ утра до вечера, что онъ обладаетъ способностями министра, что на него устремлены взоры государства, что онъ, Пукинъ, человѣкъ популярный! Пукинъ, при всей своей плутоватости, чистосердечно всему повѣрилъ, — повѣрилъ какъ простофиля. Въ ослѣпленіи своемъ онъ толковалъ о Европѣ, разрѣшалъ вопросы высшей политики, высказывалъ сужденія о литературѣ, не понимая страшнаго комизма той роли, которую на себя принялъ. Ѳиміамъ, который воскуряли подленькіе сеиды и мюриды, сос вившіе дворъ его, рѣшительно вскружилъ Пукину голо Онъ помѣшался на томъ, чтобъ быть популярнымъ чтобъ объ немъ говорили. Съ этою цѣлью собственно палъ онъ такія безумныя деньги. Стоило явиться ка нибудь дорогой вещи, будь эта вещь: домъ, лошадь,

тина, главное, чтобъ она была дорога и пришлась не по карману такому-то графу и князю, — Пукинъ тотчасъ же покупалъ ее.

Все для той же цѣли купилъ онъ домъ въ Москвѣ и отдѣлалъ его великолѣпно, купилъ домъ въ Петербургѣ и отдѣлалъ его еще великолѣпнѣе. Онъ покупалъ картины, бронзу, рѣдкости. Пукинъ находился въ полномъ убѣжденіи, что совершенно достаточно знать толкъ въ пивѣ и пѣникѣ, чтобы умѣть цѣнить произведенія искусства; онъ сдѣлался меценатомъ, покровительствовалъ художникамъ; и тутъ, такъ же какъ и вездѣ, сыпалъ деньги самымъ безтолковымъ образомъ. Художникамъ было это, конечно, съ руки: они сбывали ему свой хламъ, получая за него больше, чѣмъ за лучшія свои картины. Но Пукину было все равно, онъ не гнался за достоинствомъ,— да и грѣхъ ему было! — ему нужно было только знаменитое имя на картинѣ, нужно было много картинъ, чтобъ говорили: „извѣстная галлерея Пукина!"—вотъ за чѣмъ онъ гнался.

Роскошная жизнь, великолѣпные обѣды, на которые не стыдились являться очень умные люди, чтобы поѣсть, попить и потомъ посмѣяться надъ Пукинымъ, — все это, весьма естественно, имѣло нѣкоторое вліяніе на мѣщанина, бывшаго на побѣгушкахъ у Сандараки. Изъ разбитнаго Степки, перетянутаго сначала полушубкомъ, потомъ чуйкой, потомъ уѣзднымъ сюртучкомъ съ высокой тальей, — образовался господинъ, съ величественной, комически-горделивой осанкой, покровительственно улыбающейся физіономіей, глубокомысленно раздувающій ноздри и съ достоинствомъ махающій руками. Онъ самодовольно судилъ и рядилъ теперь обо всемъ, не терпѣлъ возраженія и мрачно хмурилъ брови, когда что-нибудь не по немъ выходило. Такимъ являлся онъ дома, сидя въ бархатныхъ своихъ креслахъ, на улицѣ — въ своей бекешѣ или трехтысячной шубѣ. На самомъ же дѣлѣ, былъ онъ тотъ же Степка, тотъ же приказчикъ питейнаго дома, но только въ бобрахъ вмѣсто овчины и смотрѣвшій не изъ кабака теперь, но изъ кареты, или изъ окна роскошнаго дома, въ которомъ каждый кирпичъ представлялся воображенію ведромъ пѣнника, сильно разбавленнаго водою...

Но мы, кажется, довольно уже говорили о Пукинѣ, чтобъ стоило еще распространяться о его наружности.

Достаточно сказать, что Степанъ Петровичъ Пукинъ изволили откушать чай, одѣлись и вельможественно расхаживали по залѣ, возбуждая удивленіе городничаго и исправника и подобострастное благоговѣніе управителя конторы и двухъ повѣренныхъ. Онъ сдѣлалъ такимъ образомъ нѣсколько поворотовъ, когда въ дверяхъ залы показался становой Никифоръ Иванычъ.

— Честь имѣю явиться-съ, Степанъ Петровичъ! весело сказалъ Никифоръ Иванычъ, дѣлая нѣсколько шаговъ впередъ и протягивая руку хозяину дома.

Такая смѣлость, и еще въ становомъ, видимо не понравилась откупщику, онъ небрежно кивнулъ головою и подалъ палецъ, украшенный богатымъ перстнемъ.

— Здравствуйте, сухо сказалъ онъ. — У васъ тамъ въ стану опять что-то случилось, отрывисто прибавилъ откупщикъ,—первый разъ слышу, чтобъ въ одномъ и томъ же стану такъ часто случались у насъ непріятности...

— Что такое? спросилъ Никифоръ Иванычъ, съ недоумѣніемъ поглядывая на городничаго и исправника, которые укорительно качали головою.

— До меня то и дѣло доходятъ слухи, продолжалъ Пукинъ,—что въ вашемъ стану народъ поминутно попадается съ кондрабаднымъ виномъ.

— Невозможно справиться, Степанъ Петровичъ, возразилъ сконфуженный становой, — мой станъ пограничный, входитъ угломъ въ сосѣднюю губернію; наконецъ что-жъ мнѣ дѣлать? я радъ былъ бы, чтобъ этого не случалось... но это совершенно не въ моей власти.

— Я вамъ говорилъ, Никифоръ Иванычъ! произнесъ значительно исправникъ.

— Ваше дѣло ихъ преслѣдовать, Никифоръ Иванычъ,— преслѣдовать и преслѣдовать! съ жаромъ сказалъ городничій, выпуская клубъ дыма.

Городничій курилъ сигару, предложенную ему Пукинымъ; куря ее, городничій раздувалъ ноздри, щурилъ глаза, сладко вдыхалъ дымъ,—словомъ, всячески старался показать хозяину дома, что испытываетъ неописанное наслажденіе и блаженство.

— Садитесь! сухо сказалъ Пукинъ, обращаясь къ становому и принимаясь снова расхаживать.

Услышавъ шумъ на дворѣ, онъ повернулъ туда голову и подошелъ къ окну. Кучеръ Пукина гналъ въ шею какого-то сѣденькаго старичка, который хотѣлъ что-т

объяснить стоявшимъ тутъ же мужикамъ и порывался впередъ.

— Спросить, что тамъ такое? произнесъ откупщикъ, кивая головою двумъ повѣреннымъ.

Тѣ полетѣли стрѣлою; черезъ минуту возвратились они и, перебивая другъ друга, сообщили, что какой-то мужикъ хочетъ непремѣнно видѣть Степана Петровича.

— Спросить, что ему надо... или нѣтъ, привести его сюда! сказалъ Пукинъ.

На этотъ разъ, за повѣренными кинулся самъ управляющій конторой. Они ввели Савелія.

— Что тебѣ надо? спросилъ Пукинъ, снисходя къ такой роли, по какому-то странному капризу, свойственному богатымъ, избалованнымъ людямъ.

— Это тотъ самый мужикъ, который... началъ-было становой.

— Что такое? нетерпѣливо перебилъ его Пукинъ.

— Который, подхватилъ Никифоръ Иванычъ, — въ послѣдній разъ съ виномъ попался.

— Точно такъ... ваша милость... заикаясь сказалъ Савелій,—по нечаянности, простите, сударь... вамъ Господь вдвое воздастъ... Сказываютъ... теперича съ меня двѣнадцать цѣлковыхъ потребуютъ... простите сударь!.. вамъ Господь втрое воздастъ!..

Добродушіе старика, который, не шутя, казалось, думалъ, что Пукинъ гонится за двѣнадцатью цѣлковыми, вырвало у послѣдняго невольный смѣхъ; съ этимъ смѣхомъ обратился онъ къ исправнику и городничему; тѣ также засмѣялись и пожали плечами.

— Простите... сударь... Помилуйте!.. повторилъ Савелій упавшимъ какимъ-то голосомъ.

Онъ чувствовалъ себя здѣсь еще болѣе отчужденнымъ, чѣмъ даже въ судѣ, передъ лицами съ свѣтлыми пуговицами. Такъ ли ужъ настроили старика впечатлѣнія нынѣшняго дня, или напуганъ онъ былъ повѣренными,—но внутренній голосъ шепталъ ему, что передъ нимъ теперь сила и воля страшная, — сила и воля, которыя все ломили, передъ которыми все должно было уступать и склоняться. Робость подступала къ его сердцу и путала его мысли; онъ казался такимъ жалкимъ, маленькимъ, раздавленнымъ, уничтоженнымъ; комкая свою шапчонку, не смѣлъ онъ поднять глазъ и слышалъ только, какъ венѣло въ ушахъ его и какъ стучало сердце.

А между тѣмъ, другой какой-то голосъ, извнѣ какъ словно вторгавшійся въ залу откупщика, — голосъ, сначала тихій, потомъ постепенно укрѣпляющійся, начиналъ ходить внутри и вокругъ всей конторы... Голосъ съ каждой секундой разрастался и пріобрѣталъ больше и больше силы... Буря, опустошающая села, ломающая столѣтніе дубы, подымающая къ небесамъ волны морскія, уносящая кровли и хижины какъ щепки, — не такъ, казалось, ревѣтъ и грохочетъ, какъ ревѣлъ теперь этотъ голосъ, потрясавшій до основанія, до послѣднихъ сводовъ каменное зданіе конторы... Звукъ откупщицкаго баса терялся и пропадалъ какъ едва примѣтная пискотня едва примѣтной мухи... Все заглушалось голосомъ, который, постепенно возвышаясь, вырастая сильнѣе и яростнѣе, покрывалъ шумъ города и все дальше и дальше распространялся, какъ громовые раскаты... И ясно, казалось, ясно для всякаго слуха говорилъ голосъ: — „Не бойся, дядя Савелій! не робѣй! смотри прямо,—смѣло и прямо смотри въ глаза откупщику Пукину! Не пугайся его, дядя Савелій, не кажись такимъ маленькимъ и подавленнымъ! Смѣлѣй, дядюшка Савелій, смѣлѣй! Выпрями спину, подыми сѣдую голову, взгляни ему гордо въ глаза! Не ты передъ нимъ маленькій, — онъ передъ тобой прахъ и крошка! Ты вѣдь также капиталистъ, дядя Савелій.— У тебя сорокъ цѣлковыхъ,—и каждый грошъ твоего капитала выбитъ честнымъ трудомъ и покрытъ потомъ;— каждый грошъ его милліоновъ заклейменъ плутней! кто же изъ васъ двухъ богаче? Кто?.. Не робѣй же, дядя Савелій,—не робѣй! Ободрись и прямо смотри на откупщика Пукина, онъ прахъ передъ тобою,—честный ты труженикъ, честная, простая душа! Прахъ передъ тобою—частицей той могучей, прочной силы, передъ которой откупщикъ Пукинъ съ его милліонами ничтоженъ, какъ самая ничтожная пылинка, сорванная вѣтромъ съ кучи негоднаго сора!..“

Но слова таинственнаго голоса, — слова внятныя и ясныя для всѣхъ, — проходили неслышными мимо ушей Савелія. Вмѣсто того, чтобы ободриться, продолжалъ онъ комкать свою шапчонку, продолжалъ обливаться потомъ не находя даже смѣлости повторить свое оправданіе „Простите... батюшка!.. Помилуйте!“—вотъ все, что мо сказать онъ, когда Пукинъ снова къ нему обратился.

— Который случай?—спросилъ Пукинъ, поворачива къ управляющему.

— Двадцать-седьмой-съ! — живо возразилъ тотъ, таращa глаза и страстно какъ-то впиваясь въ лицо начальника.

Пукинъ значительно приподнялъ брови.

— Нельзя простить, сказалъ онъ, взглянувъ на Савелія, который завертѣлъ опять шапкой,—вы этакъ всѣ, пожалуй, станете ѣздить въ сосѣднюю губернію; васъ поучить надо хорошенько, поучить — непремѣнно!.. Андрей Андреичъ, добавилъ онъ, подзывая исправника, который шарахнулся къ нему со всѣхъ ногъ, — пожалуйста, подхватилъ Пукинъ, отводя исправника нѣсколько въ сторону, — подержите у себя этого старика; онъ заплатитъ установленный штрафъ, — это само собою; но вы, сверхъ того, подержите его еще у себя на домашнемъ арестѣ; они больше даже этого боятся, чѣмъ штрафа; нужно, чтобъ знали въ народѣ, что такія продѣлки даромъ не обходятся...

Во все это время, исправникъ моргалъ глазами, внимательно слушалъ и одобрительно кивалъ головою; какъ только Пукинъ кончилъ, исправникъ обратился къ Савелію, велѣлъ ему итти къ себѣ на квартиру и дожидаться тамъ его возвращенія.

— Нельзя, господа, никакъ намъ нельзя пропускать такіе случаи безнаказанно! заговорилъ Пукинъ, входя въ роль оратора, которая всегда ему очень нравилась.— Какое-нибудь ведро вина, сто, тысячу ведеръ, для насъ ничего не составляютъ! вы понимаете, тутъ дѣло не въ ведрѣ вина, а въ искорененіи злоупотребленія, въ нарушеніи порядка, нарушеніи нашихъ постановленій! Сказано народу: не ходи въ чужую губернію; онъ долженъ повиноваться! Не повинуется — заставь повиноваться!.. И наконецъ, имѣемъ мы, кажется, полное право требовать повиновенія въ отношеніи къ нашимъ постановленіямъ! Платимъ мы милліоны за такую-то губернію, такой-то городъ; я заплатилъ, далъ деньги, купилъ право—народъ долженъ пить у меня, а не у другого!.. Что жъ бы это такое было? Хорошо бы шли откупа! Да они плевка бы тогда не стоили! не стоило бы рукъ марать!.. продолжалъ Пукинъ, самодовольно поглядывая на присутствующихъ, которые сохраняли, за исключеніемъ, можетъ-быть, одного станового, сохраняли такой видъ, какъ будто прислушивались къ сладчайшей музыкѣ.

Они даже били тактъ головою... Савелій сидѣлъ между

тѣмъ на дворѣ исправника и ждалъ, когда тотъ явится, чтобы рѣшить его участь. Онъ ждалъ долго. По прошествіи трехъ часовъ, разнесся слухъ, что исправникъ рано дома не будетъ: онъ остается обѣдать у откупщика и проведетъ тамъ остатокъ вечера. Извѣстіе это принесъ старый инвалидъ, занимавшій должность разсыльнаго въ канцеляріи исправника.

— Гдѣ тутъ мужикъ, который къ откупщику ходилъ... ты что ли? спросилъ неожиданно разсыльный, взглянувъ на Савелія.

— Я, касатикъ...

— Тебя велѣно не пускать отсюда; задержать велѣно.

— Какъ же такъ, батюшка... Что же это?.. проговорилъ Савелій, озираясь кругомъ, какъ потерянный.

— Такъ приказано! возразилъ разсыльный, не давая другого отвѣта.

Домашнему аресту въ квартирѣ исправника подвергаются только тѣ крестьяне, которые по незначительности вины не могутъ быть посажены въ острогъ; такое право предоставлено исправнику; но онъ можетъ приводить его въ исполненіе и не приводить—по своему произволу; нѣтъ ему никакой охоты держать у себя на дворѣ посторонняго человѣка; правда, можетъ онъ заставить арестанта возить воду, колоть дрова, топить печи и проч.; но игра свѣчъ не стоитъ. Сажая подъ арестъ, исправникъ, по большей части, дѣлаетъ дружеское одолженіе помѣщику, который проситъ его объ этомъ, не зная какъ справиться съ крестьяниномъ, требующимъ нѣкоторой острастки. Домашній арестъ входитъ, слѣдовательно, въ составъ частныхъ, домашнихъ мѣръ. Для негодяя арестанта мѣра эта недѣйствительна, если она не соединяется съ розгами; ничего не стоитъ ему убѣжать — никто за нимъ не присматриваетъ: ему скажутъ только, чтобы не смѣлъ онъ никуда выходить,—и только.

Савелій покорился судьбѣ своей и рѣшился терпѣливо дожидаться исправника. Его безпокоила мысль о домашнихъ: что-то скажутъ они, какъ увидятъ, что онъ не возвращается; пройдетъ эта ночь — и будетъ уже двое сутокъ, какъ онъ выѣхалъ изъ дому. Не мало также сокрушала его лошадь, оставленная на постояломъ дворѣ; кто объ ней позаботится? Кто дастъ корму? Вотъ ужъ часовъ шесть будетъ, какъ она, сердечная, ничего не ѣла. Старикъ сообщилъ свои безпокойства другому инвалиду, нѣ-

сколько помоложе перваго и, какъ казалось, болѣе снисходительному. Инвалидъ не обманулъ его ожиданій:— точно оказался добрякомъ. Онъ согласился вывести старика, какъ только смеркнется, и сходить съ нимъ на постоялый дворъ; за все это просилъ онъ только гривенникъ; онъ требовалъ, однакожъ, чтобы арестантъ не дѣлалъ сопротивленій, когда придетъ время назадъ возвращаться. Савелію доставленъ былъ такимъ образомъ случай переговорить съ хозяиномъ постоялаго двора; тотъ согласился оставить у себя лошадь и кормить ее.

Савелій тѣмъ охотнѣе началъ сокрушаться о семействѣ, что ничто уже его не развлекало. Исправникъ явился домой ночью; на другое утро всталъ онъ поздно, велѣлъ сказать просителямъ, чтобъ приходили завтра, и снова на весь день отправился къ откупщику. Тоска еще неотвязчивѣе, чѣмъ наканунѣ, приступила къ Савелію.

„За что же здѣсь держатъ? Хоть бы сказали, по крайней мѣрѣ, чего хотятъ? Коли штрафъ заплатить требуется, онъ готовъ это сдѣлать; но что же значитъ, что не выпускаютъ его отсюда?.. У него свои дѣла есть: у всякаго есть дѣла свои!.. Теперь самое время помола; одному Петру не управиться. Кромѣ того, живучи въ городѣ, приходится кормить лошадь ни за что, ни про что... вездѣ убытки, изъянъ!..“

Онъ не переставалъ ходить по двору и безпокойно потряхивать сѣдою головою: тоска подмывала его и не сидѣлось ему на мѣстѣ; посидитъ минуты двѣ, ударитъ себя ладонями по поламъ полушубка, — и снова пошелъ кружить по двору исправника. Въ такомъ положеніи находился Савелій, когда неожиданно попался ему благодѣтель. Благодѣтель былъ не кто другой, какъ писарь, или письмоводитель исправника,—человѣкъ съ косымъ лѣвымъ глазомъ и флюсомъ на правой щекѣ, туго перетянутой косынкой. Савелій замѣтилъ, что писарь утромъ и въ обѣдъ прошелъ мимо него два раза и кашлянулъ; но старикъ сначала не обратилъ на это вниманія и ограничивался тѣмъ, что вставалъ и кланялся. Вечеромъ, на второй день, письмоводитель снова явился, прошелся по двору и кашлянулъ; на этотъ разъ, однакожъ, онъ остановился, подозвалъ старика и сказалъ:

— Ну что, старче, скучаешь, а?..

— Вся душа изныла, батюшка. Хлѣба даже лишился... отвѣчалъ Савелій,—хоть бы узнать только, когда конецъ-

то этому будетъ... Кажись все бы отдалъ, чтобы только выпустили!.. Похлопочи, батюшка!.. вѣкъ буду за тебя молить Бога!..

— Что жъ, это можно... сказалъ письмоводилъ, моргая косымъ глазомъ,—похлопотать можно... только безъ денегъ нельзя...

— Мы, отецъ, не постоимъ въ этомъ; сколько надо, готовъ отдать... Только ослобони Христа ради!.. Ослобони, батюшка!

— Тридцать цѣлковыхъ, ласково сказалъ письмоводитель.

Савелія при этомъ встряхнуло, словно кто-нибудь далъ ему тумака въ спину.

— Тридцать цѣлковыхъ, продолжалъ письмоводитель, поправляя платокъ, перевязывавшій щеку,—менѣе нельзя; изъ нихъ, штрафныхъ за вино отдать надо двѣнадцать цѣлковыхъ; потомъ придется еще кой-кому дать... безъ того не выпустятъ! Не скупись, старикъ, ой, не скупись! тебя же жалѣючи говорю; вѣдь хуже будетъ: продержатъ здѣсь недѣль шесть пожалуй; тамъ пожалуй въ острогъ еще посадятъ... Ну что тебѣ: разъ отдалъ—и дѣло кончилъ; убытковъ меньше будетъ; а ужъ я похлопочу, дѣло сдѣлаю; одно говорю: выпустимъ.

— Батюшка! воскликнулъ Савелій,—у меня и денегъ-то такихъ нѣтъ... Гдѣ жъ ихъ взять-то? Гдѣ?

— Найди какъ-нибудь, твое дѣло! У тебя лошадь здѣсь есть,—продай! Говорю: дашь эти деньги—дѣло рѣшеное, покончeнное; это все въ нашихъ рукахъ! Ни за какія деньги не захочу я въ подлецахъ остаться; сказалъ: сдѣлаю, стало можно, потому и говорю; у насъ случаи такіе бывали; не впервой; свертимъ, говорю: дай только деньги!..

Надо было на что-нибудь рѣшиться: или сидѣть здѣсь въ мучительной неизвѣстности, подвергая себя изъяну, или отдать деньги. Савелій думалъ, и какъ ни тяжело было—рѣшился на послѣднее. Затрудненіе состояло въ томъ теперь, какъ дать слухъ домой и вытребовать сына, потому что лошадь свою Савелій ни за что не хотѣ продавать. Продать ее можно было одному хозяину стоялаго двора; но тотъ, зная положеніе продавца, нечно, дастъ за нее втрое меньше противъ цѣны наст щей. Съ такими мыслями сидѣлъ онъ на третьи сут когда услышалъ за собою шаги; поднявъ голову, увид

онъ младшаго инвалида, который шелъ къ нему торопливо.

— Старикъ, тебя спрашиваютъ, сказалъ инвалидъ, указывая на калитку, — никакъ сынъ пришелъ провѣдать...

Савелій опрометью бросился къ калиткѣ; увидѣвъ Петра, онъ въ радостяхъ трижды поцѣловался.

— Къ тебѣ, батюшка, сказалъ Петръ, оглядывая отца безпокойными глазами (онъ едва переводилъ духъ, и, казалось, столько же происходило это отъ внутренняго волненія, сколько и отъ усталости), — добре ужъ очень объ тебѣ соскучились... Сутки нейдешь, вторыя нѣтъ тебя,— пошелъ я на становую квартиру; оттуда сюда... Началъ по постоялымъ дворамъ спрашивать, — никто не знаетъ! Тутъ напалъ на нашу лошадь... мнѣ все сказали...

— Да, перебилъ Савелій, прищуривая глаза и съ горечью потряхивая сѣдинами,—жилъ вѣкъ, ничего со мною такого не было... привелось подъ старость!.. Дорого обошлось намъ это ведро вина!.. пуще того сумлѣнья одного сколько!.. какъ быть... за грѣхи, видно, Господь наказываетъ!..

Старикъ провелъ ладонью по глазамъ и задумался.

— У насъ, батюшка, тоже есть дома не ладно, сказалъ Петръ,—мальчикъ мой добре разнемогся...

Старикъ перекрестился, не подымая головы.

— Не знаю, что такое сдѣлалось, продолжалъ Петръ,— кричитъ день-деньской и ночь всю... весь даже извелся; однѣ косточки остались!.. Палагея сказывала: у жены молоко вишь какъ-то попортилось... очень ужъ въ ту пору она испугалась, какъ Гришку схватили... сама опосля сказывала; да это не отъ того пришало къ мальчику: онъ и рожка не беретъ... чѣмъ живъ,—Богъ вѣдаетъ!..

— Видно, произнесъ старикъ, покашливая, — видно, горе-то не въ одиночку ходитъ... не въ одиночку!.. Прогнѣвили, знать, Господа!..

Старикъ отвелъ сына нѣсколько въ сторону и передалъ ему отъ слова до слова разговоръ съ письмоводителемъ; требованіе тридцати цѣлковыхъ озадачило Петра ничуть не менѣе, чѣмъ отца; но это потому такъ было, что Петръ не подозрѣвалъ даже, чтобы такая сумма могла у нихъ находиться. Узнавъ объ этомъ, Петръ началъ упрашивать старика отдать деньги. Онъ говорилъ, что деньгъ этихъ пока имъ не надобно; что живутъ они и безъ нихъ по милости Создателя; что работы вволю теперь и

коли Богъ благословитъ—наживутъ они опять столько же. Старикъ долго крѣпился, молчалъ, пожималъ губами; наконецъ, разсказалъ сыну, гдѣ лежали деньги, и велѣлъ ѣхать домой какъ можно поспѣшнѣе.

Отсутствіе Петра продолжалось почти цѣлыя сутки; отъ города до мельницы, если даже ѣхать на-перекоски, считалось верстъ сорокъ. Лошадь плохо была кормлена; пришлось ѣхать медленно; пришлось даже лишній разъ остановиться на перепутьи и дать вздохнуть бѣдному животному. Наконецъ Петръ явился.

Старикъ переговорилъ еще разъ съ письмоводителемъ и отдалъ ему требуемыя деньги. Письмоводитель дѣйствительно не показалъ себя подлецомъ; онъ сдержалъ слово. Остается совершенно неизвѣстнымъ, какъ устроилъ онъ дѣло (надо думать, исправникъ отчасти участвовалъ въ заговорѣ); Савелій въ тотъ же вечеръ получилъ свободу и могъ отправиться на всѣ четыре стороны. Онъ расплатился съ хозяиномъ постоялаго двора, далъ лошади перехватить корму и, несмотря, что на дворѣ была уже ночь (старика сильно тревожила мысль о внучкѣ, которому было хуже), сѣлъ съ сыномъ въ телѣжку и покатилъ изъ города.

VII.

Возвращеніе на мельницу.

Савелій и Петръ подвигались медленно. Въ ночь выпалъ снѣгъ; необыкновенная мягкость воздуха дѣлала его рыхлымъ и мягкимъ; онъ ворохами навивался на колеса и такъ отягощалъ телѣжку, что лошадь съ трудомъ ее тащила. Тучи заслоняли небо; но снѣжная бѣлизна окрестности распространяла ясность, и ночь была не такъ черна, какъ ожидали путешественники. Тѣмъ не менѣе, лошадь часто сбивалась съ колеи; мѣстами дорога вовсе пропадала; Петру и Савелію приходилось пробивать первый зимній путь. Совсѣмъ уже разсвѣло, когда прибыли они въ Ягодню. Они завернули къ куму Дрону, взяли у него сани, перепрягли лошадь и, не теряя секунды, опять отправились. Минуты двѣ какія-нибудь потребовалось, чтоб спуститься по луговому скату; санишки летѣли сами с собою, раскатываясь то вправо, то влѣво, и каждый раз загребая глыбы снѣга. Лошадь, почуявъ стойло, пустила вскачь. Миновали ручей.

Весело подъѣзжать къ дому. Весело глядѣть, какъ постепенно показывается и вырастаетъ вдалекѣ родимая кровля. По лицамъ Савелія и Петра нельзя было сказать, чтобъ они были веселы; смущеніе и безпокойство обозначались въ чертахъ отца; тяжелое предчувствіе сильнѣе вторгалось въ его душу, по мѣрѣ приближенія къ мельницѣ. Онъ слова не говорилъ съ сыномъ. Петръ также молчалъ. Молча вылѣзли они изъ саней и отворили ворота.

При появленіи ихъ на дворъ, Гришутка выглянулъ изъ-за угла амбара; онъ скрылся въ ту же секунду, и потомъ видно было сквозь щели плетня, какъ проскочилъ зайцемъ и пропалъ за клѣтушкой. Не знаю, обратилъ ли на это вниманіе Петръ; но старикъ ничего не замѣтилъ. Оба поспѣшили къ крыльцу. Вопль, неожиданно раздавшійся въ избѣ, рванулъ ихъ за сердце; они переглянулись. Въ эту минуту на крылечкѣ показалась Палагея. Нечего уже было разспрашивать: лицо Палагеи и, еще болѣе, вопль, свободно вылетавшій теперь въ полураствореннуюдверь избы, ясно сказали, что все кончено...

— Очень ужъ больно убивается... проговорила Палагея,—подите къ ней... Нонче померъ, Христосъ съ нимъ, на самой на зарѣ...

Отецъ и сынъ вошли въ избу. Младенецъ, покрытый бѣлымъ платкомъ, лежалъ подъ образами, тускло отражавшими крошечное пламя желтой восковой свѣчки. Марья сидѣла подлѣ; обхвативъ руками тѣло младенца, спрятавъ лицо въ ногахъ его, она неутѣшно плакала. Потеря ребенка, котораго она ждала шесть лѣтъ, котораго девять мѣсяцевъ потомъ такъ радостно носила подъ сердцемъ, тяжко отзывалась въ душѣ ея; но къ этому примѣшивалось еще другое чувство: младенецъ тѣснѣе какъ-то привязывалъ къ ней мужа, очевидно располагалъ къ ней тестя. Душа ея, горько настроенная потерею ребенка, создавала новыя, преувеличенныя опасенія: она теряла увѣренность въ любовь мужа и расположеніе тестя.

Савелій, въ глазахъ котораго крошечное пламя свѣчки принимало видъ большого мутнаго круга, тутъ же увидѣлъ, что ему еще приходится утѣшать сноху и сына. Сдѣлавъ три земные поклона, онъ велѣлъ Петру остаться съ женою, а самъ спустился на дворъ и началъ распрягать лошадь. Поставивъ ее на мѣсто, онъ снялъ съ переладины навѣса двѣ новенькія тесенки и медленно по-

влекъ ихъ къ обрубку, гдѣ дней пять назадъ сколачивалъ люльку. Съ люлькой больше было хлопотъ, чѣмъ въ теперешней работѣ. Когда Петръ вышелъ къ отцу, гробикъ совсѣмъ почти былъ оконченъ.

— Петръ, сказалъ старикъ, — тебѣ со мною итти не зачѣмъ, посиди пока съ женою; я одинъ схожу; тягость въ немъ небольшая!.. Самъ снесу его, самъ схороню... Ты здѣсь побудь... Да гдѣ же Григорій? Что я его не вижу... Гдѣ онъ?

Петръ словно по чутью какому-то пошелъ прямо къ клѣти. Минуту спустя, онъ вывелъ оттуда Гришку; мальчикъ не смѣлъ поднять головы и вообще выказывалъ знаки сильнаго испуга.

— Поди сюда, Григорій! произнесъ старикъ кроткимъ голосомъ. — Куда ты все прячешься... зачѣмъ?.. Это не хорошо... Побудь здѣсь... Вотъ я его возьму съ собою, промолвилъ Савелій, обратившись къ сыну, — онъ подсобитъ; къ попу сходитъ и лопату снесетъ... Ты поди пока, посиди съ ними...

Ласковое обращеніе старика произвело, повидимому, на Гришку совсѣмъ другое дѣйствіе, чѣмъ слѣдовало ожидать; вмѣсто того, чтобы ободриться, онъ кисло какъ-то пожималъ губами и плаксиво моргалъ глазами; онъ не трогался съ мѣста, не смѣлъ поднять головы, такъ что къ верху выглядывали только два вихра на его затылкѣ и уши, которыя были такъ же красны, какъ лицо его. Но старикъ, принявшійся за крышку гробика, снова забылъ какъ будто о существованіи мальчика. Вскорѣ, однакожъ, былъ онъ развлеченъ стукомъ лошадиныхъ копытъ и голосомъ помольца, который въѣзжалъ на дворъ мельницы. Помолецъ поздоровался, спросилъ, есть ли свободная снасть и можно ли засыпать.

— Засыпай, добрый человѣкъ, засыпай... промолвилъ Савелій тѣмъ же кроткимъ, разслабленнымъ голосомъ, съ какимъ обращался къ Гришкѣ, — которая снасть понравится, въ ту и засыпай...

— Что же это... Никакъ у васъ покойникъ? спросилъ помолецъ.

— Внучекъ... тихо сказалъ Савелій, подбирая какъ-вовнутрь губы свои, которыя начали вдругъ морщиться,— внучекъ... Вотъ былъ онъ... а теперь... теперь и нѣту...

Полчаса спустя на дворѣ мельницы опять раздались вопли и крики; теперь были они только сильнѣе; Мар

стояла на крылечкѣ; съ одной стороны держала ее Палагея, съ другой Петръ. Она рвалась къ Савелію, который выходилъ изъ воротъ, придерживая гробикъ, перевязанный кушакомъ, переходившимъ черезъ плечо старика; Гришка, также безъ шапки, слѣдовалъ за нимъ съ лопатой и скребкомъ на плечѣ. Во всю дорогу Савелій не обернулся къ своему спутнику, слова съ нимъ не промолвилъ: Гришка нарочно, казалось, ступалъ осторожнѣе и старался не шумѣть скребкомъ и лопатой, чтобы не обращать на себя вниманія. Время отъ времени, онъ заходилъ въ сторону и сбоку поглядывалъ на лицо дяди Савелія; но въ этихъ взглядахъ далеко уже не было того лукавства, той быстроты, какими отличались они нѣсколько дней назадъ, когда мальчикъ выступалъ по той же дорогѣ съ боченкомъ за спиною. Самыя мысли его были теперь какъ словно другія. Онъ не думалъ спихивать камней въ ручей, не думалъ подкрадываться къ воронамъ, садившимся иногда въ десяти шагахъ отъ дороги. Самые воробьи не занимали его, хотя, надо сказать, они такъ же шумливо, какъ и тогда, егозили въ ветлахъ, прыгали по плетнямъ и били крылышками, купаясь въ рыхломъ снѣгу.

Поднявшись въ Ягодню, старикъ зашелъ прежде всѣхъ къ куму Дрону, потомъ къ свату Стегнѣю, и попросилъ ихъ подсобить ему выкопать могилку. Тѣ сначала поохали, потомъ начали вспоминать о томъ, давно ли было, какъ пировали они на крестинахъ; но видя, что Савелію было не въ охоту плакать, взяли скребки и отправились. Пока рыли могилу, Савелій послалъ Гришку за попомъ. Обрядъ похоронъ совершился очень скоро. Немного погодя, на томъ мѣстѣ, гдѣ была яма, поднялся небольшой холмикъ. Снѣгъ валилъ густыми хлопьями, и прежде, чѣмъ Савелій успѣлъ уровнять землю, снѣгъ обсыпалъ ее точно пухомъ.

— Ну, проговорилъ Савелій, вздохнувъ какъ то въ два пріема,—ну, внучекъ, прости!.. Думалъ, поживешь съ нами... въ утѣху будешь... Прости, внучекъ!..

— Полно, кумъ, сказалъ Дронъ,—есть о чемъ сокрушаться! Добро бы ужъ ходилъ внучекъ-то, либо лепетать началъ, а то всего только пять дней было ему...

— Богъ дастъ, другого наживешь внучка-то! проговорилъ, въ свою очередь, сватъ Стегнѣй,—сноха не старая, сынъ парень также молодякъ; какіе года ему!..

Въ отвѣтъ на такія утѣшенія, Савелій махнулъ только

рукою и отвернулся. Кумъ Дронъ и сватъ Стегнѣй переглянулись, какъ-будто сказать хотѣлъ другъ другу: „Оставить надо; не до того теперь!“ простились и пошли по домамъ.

Савелій, сопровождаемый Гришкой, который, попрежнему, шелъ въ нѣкоторомъ отдаленіи, ступалъ бережно и старался не обращать на себя вниманія, покинулъ кладбище. Неподалеку отъ церкви встрѣтились они съ Андреемъ. Савелій находился въ родствѣ съ Дрономъ и Стегнѣемъ: первый доводился ему кумомъ, второй сватомъ; Андрей былъ ему чужой, а между-тѣмъ, Савелій обошелся съ нимъ гораздо ласковѣе, чѣмъ съ двумя первыми. Онъ приподнялъ шапку въ отвѣтъ на поклонъ Андрея и даже замедлилъ шагъ.

— Савелій Родіонычъ, сказалъ Андрей своимъ грудным тихимъ голосомъ;—послушай: у меня трое было... трое ужъ взрослыхъ! Дѣвочкѣ моей пошелъ двѣнадцатый годъ; Егорушкѣ семь лѣтъ было... И тѣхъ схоронилъ, Савелій Родіонычъ!.. Какъ тутъ быть-то! Знать, такъ ужъ намъ Господь посылаетъ; Онъ даетъ дѣтей, Онъ и отнимаетъ... Говорю тебѣ: у меня трое было,—всѣхъ схоронилъ!

— Братецъ ты мой, промолвилъ Савелій, въ первый разъ въ этотъ день возвышая голосъ,—возьми въ толкъ: вѣдь шесть лѣтъ ждалъ внучка-то! Шесть лѣтъ просилъ о немъ Господа! Ужъ, кажется, я ли ему не радовался! Какъ радовался-то!.. А тутъ еще одно къ одному, другой случай вышелъ... Совсѣмъ сокрушился!..

— Слышалъ я, слышалъ... Сказывали! подхватилъ Андрей,—пожалѣлъ я тебя, Савелій Родіонычъ... Ну и въ этомъ также, Савелій Родіонычъ... въ этомъ также... разсуди: у тебя достатокъ: деньги были... Случились такой грѣхъ съ другимъ, съ бѣднымъ, тутъ что дѣлать? Какъ тутъ быть? Вѣстимо жаль... Ну, да Богъ съ ними! по крайности хоть ослобонился...

—Братецъ мой, послѣднее вѣдь отдалъ! Всего только и было! сказалъ Савелій, покачивая головою съ боку на бокъ,—только всего добра и было! Десять лѣтъ трудился, десять лѣтъ спины не разгибалъ и потомъ обливался!.. Развѣ онѣ даромъ мнѣ достались, эти деньги-то? Подумай тоже и ты: развѣ я нашелъ ихъ, сидючи на печкѣ, да руки скламши? Десять годовъ работалъ, берегъ—и все пошло прахомъ! Въ одинъ день—все ушло... и куда ушло, подумаешь!

— Полно, Савелій Родіонычъ, полно! Господь наказываетъ, Господь и милуетъ! Кабы не Господь, на кого бы еще надѣяться! Моя жизнь тошнѣе твоей, и-и! куда! а вѣдь живу же, живу!.. Живутъ люди и не въ такой горести, Савелій Родіонычъ, право такъ! Право!

Бесѣдуя такимъ образомъ, они незамѣтно спустились къ ручью, который просачивался теперь въ снѣжныхъ сугробахъ холодною темно-синею лентою. Тутъ Андрей и Савелій разстались; одинъ пошелъ въ Ягодню, другой направился къ мельницѣ.

Снѣгъ продолжалъ валить хлопьями. Церковь на возвышеніи и даже ближняя часть лугового ската исчезали совершенно, какъ бы задернутыя бѣлымъ, медленно колеблющимся пологомъ. Въ двадцати шагахъ нельзя было различать предметовъ на днѣ долины. Мало-по-малу, однакожъ, въ воздухѣ стало проясниваться: снѣжная, движущаяся сѣтка замѣтно рѣдѣла. Мѣстами открывались клочки сѣраго неба, которое постепенно синѣло и сгущалось, приближаясь къ дальнему горизонту. Немного погодя, снѣгъ пересталъ падать; изрѣдка только то тутъ, то тамъ, мимо синяго горизонта, медленно пролетали, кружась и тихо опускаясь, одинокіе снѣжные хлопья.

Но перемѣна погоды встрѣчала глубокое равнодушіе со стороны Савелія; въ этомъ случаѣ, какъ и во всѣхъ впрочемъ случаяхъ, представлялъ онъ рѣзкую противоположность съ Гришуткой. Послѣдній, надо думать, обладалъ большою твердостью духа и способенъ былъ переносить съ болѣе философскимъ спокойствіемъ удары рока. Онъ повидимому замѣтно ободрялся; казалось даже, успѣлъ овладѣть всегдашнимъ своимъ расположеніемъ, или старался, по крайней мѣрѣ, развлечь себя и разсѣять. Онъ внимательно слѣдилъ за одиноко-кружившимися въ воздухѣ снѣговыми хлопьями, выводилъ носкомъ лаптя вычурные фестоны по снѣгу, не пропускалъ случая выставить изнанку ладони навстрѣчу спускавшимся снѣжинкамъ; часто даже улучалъ минуту и, закинувъ назадъ голову, ловилъ ихъ на языкъ. Правда, стоило Савелію кашлянуть или сдѣлать движеніе рукою, Гришутка выпрямлялся, выравнивалъ на плечѣ своемъ скребокъ и лопатку и вообще принималъ озабоченный, суетливо-дѣловой видъ; но это продолжалось минуту, много двѣ, послѣ чего онъ снова овладѣлъ собою и снова старался себя разсѣять.

Такъ вышли они на лугъ, который, подъ снѣжнымъ

покровомъ своимъ, убѣгалъ какъ будто еще дальше къ блѣдно-лиловымъ рощамъ и темно-синему небосклону. Тишина была мертвая; все пропало, казалось, подъ снѣгомъ и погрузилось въ глубокій сонъ. Кровля маленькой мельницы и осѣнявшія ее старыя ветлы одиноко бѣлѣли, возвышаясь подъ сизымъ, отдаленнымъ горизонтомъ. Тамъ было такъ же тихо, какъ и во всей окрестности. Не слышно было ни шума воды, ни того глухого, ровно-вздрагивающаго гула, который показываетъ, что жернова на всемъ ходу и колеса дружно повертываются. Помолецъ окончилъ, видно, свою работу и уѣхалъ; — оно и лучше было. Такъ думалъ Савелій. На дворѣ и въ домѣ засталъ онъ ту же тишину; тишина снизошла даже какъ-будто въ самую душу обывателей маленькой мельницы. Петръ смотрѣлъ теперь не такъ печально; Марья замѣтно успокоилась. При видѣ тестя, возвращающагося съ пустыми руками, она снова заплакала; но слезы ея не сопровождались криками и воплями отчаянія; слезы ея пріостановились даже, когда Савелій подошелъ къ ней и ласково началъ утѣшать ее, ссылаясь на Промыслъ, на волю Божію.

— Знаю, батюшка, Божью волю не намъ судить, ее не переспоришь, — а все горько! сказала Марья голосомъ, надорваннымъ печалью.—Не забыть мнѣ, долго не забыть моего дитятку... Такъ я къ нему привыкла, такъ привязалась!.. Кажись, батюшка, вѣкъ буду я имъ беременна! вѣкъ буду носить его!.. вѣкъ его не забуду!

Но въ горестныя минуты человѣку всегда свойственно терять надежду въ будущее, всегда свойственно преувеличивать свои страданія! Не прошло года, и уже между жителями маленькой мельницы помину не было о минувшихъ несчастіяхъ. Мирная, безмятежная радость изображалась на всѣхъ лицахъ, особенно на старческомъ лицѣ дѣдушки Савелія, которому снова пришлось сидѣть на обрубкѣ подъ навѣсомъ, снова пришлось хлопотать надъ люлькой.

Пришлось также опять за виномъ посылать; но поѣхалъ уже Петръ, а не Гришка, хотя, надо сказать, послѣдній ни за что бы теперь не попался; Гришутка з мѣтно меньше зѣвалъ на стороны и вообще выказывал меньше разсѣянности. Крестины прошли на этотъ ра несравненно веселѣе, чѣмъ въ былое время. Сватъ Стегнѣ кумъ Дронъ и Палагея пѣли пѣсни; Савелій радостно п тряхивалъ сѣдинами, отпускалъ ласковыя шуточки сно

и поминутно трепалъ по плечу Андрея, который часто заглядывалъ теперь на маленькую мельницу. Самая мельница словно раздѣляла радость своихъ хозяевъ. Въ день крестинъ, возы съ рожью не только наполняли дворъ, но даже стояли за воротами, жернова порхали, какъ бы порываясь пуститься въ плясъ; колесо вертѣлось безъ отдыха, обдавая пѣной нижнюю часть амбара, тогда какъ кровля, тихо вздрагивая, посылала въ воздухъ легкія облака мучной пыли.

Микулинскій мельникъ и сыновья его продолжаютъ коситься на маленькую мельницу. Но Савелій не обращаетъ на нихъ никакого вниманія. Мельница его годъ отъ году процвѣтаетъ, годъ отъ году появляется на ней больше помольцевъ, такъ что снова приходится жернова мѣнять, совсѣмъ почти износились; впрочемъ, есть теперь на что купить, слава Богу! Но это съ одной только стороны старика радуетъ; съ другой стороны, другая радость: у него внучекъ, крѣпенькій, здоровый мальчуганъ, котораго, можно сказать безъ преувеличенія, самъ дѣдушка почти выняньчилъ.

Часто, въ ясные солнечные дни, можно видѣть, какъ внучекъ ступаетъ по двору и, переваливаясь съ ноги на ногу, наподобіе утки, спѣшитъ убѣжать отъ дѣда, который выбивается изъ силъ, повидимому, чтобы поймать ребенка, хлопаетъ въ ладоши, и во все время преслѣдованія не перестаетъ ухмыляться въ сѣдую свою бороду. Но веселые крики ребенка, хлопанье въ ладоши дѣда, голосъ Петра, пѣсня Марьи постепенно умолкаютъ, по мѣрѣ того, какъ вечерняя заря угасаетъ на небѣ. Ночь спускается на землю... Все утихаетъ, кромѣ маленькой мельницы, которая, ровно вздрагивая, одна шумитъ посреди заснувшей окрестности, напоминая какъ будто о старомъ своемъ хозяинѣ. Онъ также не зналъ никогда отдыха и вѣкъ свой трудился, даже въ то время, какъ спали другіе.

ПАХАТНИКЪ И БАРХАТНИКЪ.

(повѣсть).

Не будетъ пахатника, не будетъ и бархатника.
Русская пословица.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Пахатникъ.

I.

Такого продолжительнаго, нестерпимо-жаркаго лѣта не могли запомнить даже самые старые люди. Съ половины іюня до конца іюля ни разу не освѣжило дождемъ воздуха; раскаленная земля трескалась, превращалась въ камень или пыль, которая лежала тяжелымъ рыжеватымъ пластомъ на дорогахъ. Каждое утро солнце восходило багровымъ шаромъ и, подымаясь выше въ сверкающемъ, безоблачномъ небѣ, совершало свой кругъ, никому не давая отдохнуть отъ зноя. Все живущее словно умаялось и повѣсило голову. Цвѣты, не защищенные лѣсомъ или тѣнью рощи, пересохли; горохъ пожелтѣлъ преждевременно; проходя полемъ, слышно было, какъ лопались его стручья, разсыпая словно дробь свои зёрна. Трава, скошенная утромъ, начинала къ полудню пучиться, подымалась ворохомъ и звонко хрустѣла, когда брали ее въ руки. Стада упорно жались къ ручьямъ и рѣчкамъ во всякое время дня, коровы и лошади по цѣлымъ часамъ недвижно стояли по брюхо въ водѣ; можно было бы принять ихъ за окаменѣлыхъ, если бъ не двигали онѣ хв

стами, стараясь отогнать мухъ и оводовъ, которые роями носились и жужжали въ воздухѣ.

Во всей природѣ, которая какъ будто изнемогала и тяжело переводила дыханіе, одни насѣкомыя бодрствовали; чѣмъ горячѣе жарило солнце, тѣмъ больше ихъ появлялось и тѣмъ громче раздавались жужжанье и шорохъ. Тамъ, гдѣ полуизсохшіе ручьи впадали въ рѣчки, роями стояли коромысла, блистая на солнцѣ своими кисейными глянцовитыми крылышками и зелеными, словно стеклянными головками; запыленные шмели и безчисленные милліоны всякихъ мухъ и мошекъ облипали каждаго, кто только останавливался.

Въ поляхъ весь этотъ шелестъ заглушался трескотнею кузнечиковъ; изъ-подъ каждой травки, изъ-подъ каждаго стебелька немолчно дребезжалъ тотъ жесткій, металлическій звукъ, который всегда какъ бы дополняетъ впечатлѣніе страшной засухи; въ сырое время кузнечикъ поетъ не такъ звонко. Въ поляхъ, часамъ къ двумъ-тремъ пополудни, зной особенно былъ чувствителенъ. Солнечные лучи, насквозь пронизывая рожь до корня, нагрѣли, казалось, самые стебли; даже тамъ, въ глубинѣ колосьевъ, бросало въ испарину; чувствовалось, что пышетъ отъ почвы, какъ отъ жерла раскаленной печки. Васильковъ совсѣмъ не было; они давно пересохли, оставивъ тощіе зеленоватые стебли; одна павилика, туго оплетая подошву колосьевъ, разливала въ воздухѣ тонкій миндальный запахъ и пестрила своими бѣлорозовыми колокольчиками жаркое, лучезарное сіянье, наполнявшее глубину поля.

II.

Несмотря, однакожъ, на удушливый зной, отъ котораго сохло въ горлѣ и потомъ обливало тѣло, все пространство поля покрыто было народомъ; куда ни обращались глаза, отягченные солнечнымъ сверканьемъ, всюду надъ моремъ колосьевъ мелькали, то опускаясь, то подымаясь, бѣлыя рубашки бабъ; перегнувъ въ три погибели спину, прикрытую мокрой сорочкой, онѣ вязали снопы; мужья ихъ, отцы и братья выступали между тѣмъ одинъ за другимъ, звонко размахивая косами.

Работа кипѣла; время было такое, что нельзя было ни на одинъ часъ отложить покоса; благодаря жаркому іюлю, едва успѣли откоситься и убрать сѣно, какъ рожь

поспѣла; тамъ совсѣмъ уже налился и дозрѣвалъ овесъ,—того и смотри, сыпаться станетъ. Изрѣдка останавливался тотъ или другой работникъ, отиралъ рукавомъ загорѣлый лобъ и принимался точить косу, издававшую при этомъ сухой, острый звукъ, вторившій какъ нельзя лучше дребезжанью кузнечиковъ. Изрѣдка, та или другая баба разгибала спину, оглядывалась и торопливо направлялась выпить кваску изъ сѣраго кувшинчика, спрятаннаго въ укромномъ мѣстѣ, или шла къ люлькѣ, скрывавшей ребенка. Но едва мать успѣвала раскрыть холстяной пологъ люльки, едва припадала грудью къ губамъ младенца, голосъ старосты снова призывалъ ее къ работѣ.

— Эй, бабы, бабы! покрикивалъ онъ, являясь то тутъ, то тамъ;—что-то ужъ больно часто бѣгаете! Покормили разъ-другой—и шабашъ! Главная причина, не надо бы вовсе таскать съ собою ребятишекъ,—вотъ-что! Оставляли бы дома лучше старухамъ да бабкамъ!..

— Хорошо, Гаврило Леонычъ, коли есть такія, возразила молоденькая живая бабенка,—коли не на кого оставить, поневолѣ тащишь...

— Все же такъ часто бѣгать не приходится, возразилъ староста.—Говорю: покорми разъ-другой—и шабашъ!.. Ну ступай, ступай, полно разговаривать!.. довершилъ Гаврило Леонычъ, направляясь въ другую сторону.

Немного погодя, посреди звяканья косъ и шума падающей рядами ржи, голосъ его раздавался на дальнемъ концѣ поля.

III.

Въ голосѣ этомъ не было впрочемъ ничего повелительнаго или грознаго; съ появленіемъ старосты никто не бросалъ въ его сторону боязливыхъ взглядовъ. Косы, правда, начинали скорѣе двигаться и бабы усерднѣе принимались вязать снопы, но это очевидно происходило не столько отъ страха, сколько отъ жалкой привычки русскаго простолюдина жить и дѣйствовать не иначе, какъ съ помощью понуканья. Гаврилу слушали точно такъ же, какъ стали бы слушать любого мужика, поставленнаго и старосты главнымъ управляющимъ.

Гаврило ничѣмъ не отличался отъ остальныхъ мужиковъ своей деревни; онъ только зналъ счеты и разбирал грамоту; основываясь на этомъ, его выбрали въ начальники и выдавали ему ежегодно пятнадцать рублей ж

лованья изъ главной конторы, которая находилась верстахъ въ семидесяти, въ сосѣднемъ уѣздѣ. Гаврило сильно даже скучалъ своею должностью; пуще всего сокрушало старосту, что, будучи самъ человѣкомъ домовитымъ и хозяиномъ, онъ принужденъ былъ поминутно отрываться отъ дѣла и ѣздить въ контору изъ-за каждой бездѣлицы, иногда даже такъ, безо всякой надобности. Случалось, самое нужное дѣло на рукахъ,—нѣтъ, бросай все и отправляйся! Кромѣ того, всякій разъ надо было неизбѣжно стоять съ-глазу-на-глазъ передъ управляющимъ, который внушалъ Гаврилѣ, точно такъ же, какъ и всѣмъ, находившимся въ зависимости отъ конторы, страхъ непобѣдимый. Короче сказать, староста готовъ былъ ежегодно приплачивать еще своихъ денегъ, лишь бы освободили его отъ должности; то же самое готовъ былъ сдѣлать каждый крестьянинъ, принадлежавшій деревнѣ Антоновкѣ.

Не только въ нравственномъ отношеніи, но и по наружности, Гаврило во всемъ былъ сходенъ съ мужиками, работавшими въ полѣ. Ему было лѣтъ пятьдесятъ; на лицѣ его, покрытомъ мелкими морщинками, явно проглядывалъ нравъ мягкій, сговорчивый и веселый. Онъ носилъ на головѣ шапку на манеръ гречишника, изъ-подъ которой, съ той или другой стороны, всегда выглядывалъ кончикъ клѣтчатаго платка; платокъ служилъ скорѣе для того, чтобы утирать лицо, чѣмъ для настоящаго употребленія. Выходя въ поле, Гаврило постоянно вертѣлъ въ рукахъ палочку, служившую ему биркой; на ней-то надрѣзывалъ онъ ножомъ число копенъ, скирдъ, сноповъ и проч. Какъ потомъ могъ онъ добраться толку и распутать на своей биркѣ всѣ эти насѣчки, зарубки и крестики,—это останется вѣчной неразгаданной тайной.

IV.

— Ну, братцы, подкашивай, подкашивай! понукалъ Гаврило, переходя отъ одного ряда косарей къ другому, — по-настоящему, къ вечеру рѣшить бы надо!.. Вотъ развѣ бабы не успѣютъ снопы довязать...

— Нѣтъ, сватъ Гаврило, нонче не управимся, замѣтилъ коротенкій кудрявый мужичокъ, останавливаясь, чтобы снять шапку и отереть лицо, — добре ужъ оченно паритъ; раза три махнешь косой, такъ инда всего тебя размочалитъ. Невмоготу даже...

— Не одному тебѣ, всѣмъ жарко!.. Ну-ка, сватъ, полно, бери косу-то, бери! подхватывалъ Гаврило, — оттого, что жарко, оттого и откоситься скорѣй надобно; погоди-ка денька три, въ колосѣ совсѣмъ ничего не останется... Эку сухмень сотворилъ Господь!.. эку сухмень!..

— Вездѣ сухо, вездѣ зерно сыплется, промолвилъ высокій рыжій мужикъ съ коротенькой, крутой, кудрявой бородкой.—Вотъ уже третій день никто въ свое поле не заглядывалъ! присовокупилъ онъ, не оборачиваясь къ старостѣ и продолжая косить, — значитъ, здѣсь справляйся, а со своимъ добромъ какъ знаешь, — пропадать должно!..

— Это точно, проговорилъ старый мужичокъ, усыпанный веснушками,—хошь бы на одинъ день ослобонили!.. Здѣсь хлѣбъ уберегай, а со своимъ управляйся какъ Богъ велитъ.

— Толкуютъ, точно первинку разсказываютъ, точно про то никто не знаетъ! перебилъ Гаврило, встряхивая шапкой,—опять-таки, я что ли тому причиной?.. Такъ велѣно; кто велѣлъ,—сами знаете; поди-тка сладь съ нимъ! „Чтобы все поле, говоритъ, на мірской магазинъ которое отрѣзано, убрать, говоритъ, къ воскресенью; уберутъ, говоритъ, — тогда за свое пускай принимаются!“ Самъ обѣщался навѣдаться; самъ до всего доходитъ. А мнѣ что? Мое дѣло сторона; какъ велятъ, такъ и дѣлаю...

— Надо, значитъ, самимъ итти просить въ контору, сказалъ рыжій мужикъ.

— Поди-ка сунься,—много возьмешь! замѣтилъ Гаврило.

— Значитъ, продолжалъ опять рыжій мужикъ, размахивая такъ сильно косою, что звонъ ея сдѣлался вдругъ слышнѣе другихъ косъ,—значитъ, оброкъ только для виду для одного; слава только: вотъ дескать на оброкъ отпущены! Поглядѣть,—выходитъ хуже барщины! Барщинные по крайности оброка не знаютъ; у насъ деньги оброчныя отдай само собою, а тамъ еще плетни плети вокругъ садовъ, луга коси господскіе, дороги починяй; пришла пора рабочая, хоть бы вотъ теперича,—итти бы убирать свой хлѣбъ,—нѣтъ, сюда ступай... Дни вишь такіе выговорили!.. Сосчитай-ка эти выговоренные дни, — много ли время на свое дѣло останется?.. Право, барщина сходнѣе.

— Знамо такъ; Филиппъ правду сказываетъ... Это точно какъ есть!.. отозвались ближайшіе мужики.

— Поди-ка столкуй съ управителемъ, поговори ем

что онъ тебѣ скажетъ, произнесъ Гаврило съ сердцемъ,— ужъ было такое дѣло, изъ другихъ вотчинъ пріѣзжали, говорили ему, — съ тѣмъ и уѣхали! Ты свое, — онъ свое: „знать, говоритъ, ничего не хочу; мое дѣло, говоритъ, было бы прежде всего исправно!..“ А что насчетъ работы, какую теперь справляемъ, продолжалъ разсудительно Гаврило, — надо правду сказать, — браниться да жаловаться не за что: поле не господское, „мірское“ *) — стало, все единственно, для себя трудимся!

— Главная причина, дядя Гаврило, заговорилъ опять мужичокъ съ веснушками: не ко времени работа, — вотъ что! Этимъ пуще всего народъ обижается; у самихъ хлѣбъ сыплется, а ты здѣсь валандайся; оно хоть и мірское дѣло,—а свое все жалчѣе упустить.

— Потому и говорить вамъ: братцы, велѣно! какъ ни бейся, сдѣлать надо; работай дружнѣе, не тормози рукъ; здѣсь скоро отдѣлаемся, за свое скорѣй примемся... Ну, дружнѣй, ребята, подкашивай, подкашивай, — къ вечеру чтобы совсѣмъ убраться!.. подхватилъ Гаврило, возвышая голосъ и принимаясь снова ходить по полю.—Эй вы, бабы, — полно вамъ безпереч къ люлькамъ бѣгать!.. Охъ, эти бабы пуще всего!.. Авдотья, ты никакъ съ самаго обѣда торчишь у люльки, ни одного снопа не связала... Брось, говорю!.. Эки, право, ни стыда въ нихъ нѣтъ, ни совѣсти!..

V.

Во время этихъ разговоровъ, съ той стороны, гдѣ деревня заслонялась пологими холмами, показался мужикъ. Съ перваго взгляда легко было замѣтить, что онъ не принадлежалъ къ числу обывателей Антоновки, или если принадлежалъ, то по какимъ-нибудь обстоятельствамъ освобожденъ былъ отъ работы.

Длинныя ноги его, обутыя въ довольно плохенькіе сапоги, передвигались безо всякой поспѣшности; онъ разсѣянно посматривалъ направо и налѣво, время отъ времени посвистывалъ, и вообще имѣлъ видъ человѣка, ко-

*) Мірскимъ полемъ называется часть земли, которая отрѣзывается крестьянамъ для посѣва хлѣба, поступающаго потомъ въ такъ называемые магазины. Такой запасъ ржи и овса дѣлается на случай неурожая, недостатка зеренъ для посѣва. Въ деревняхъ, гдѣ существуетъ порядокъ, строго наблюдаютъ, чтобы въ магазинѣ всегда находился запасъ зеренъ, который обезпечивалъ бы въ случаѣ несчастія все населеніе деревни.

торый лишенъ всякихъ заботъ и вышелъ въ поле единственно затѣмъ только, чтобы прогуляться. Ему было лѣтъ подъ сорокъ; рубашка его начала просвѣчиваться на локтяхъ и швы во многихъ мѣстахъ пообсѣклись; но зато подпоясанъ онъ былъ новымъ гаруснымъ шнуркомъ и на головѣ его, покрытой рѣденькими черными завитками, красовался совершенно новый картузъ съ козырькомъ, въ родѣ тѣхъ, какіе носятъ подгородные мѣщане и фабричные. Самъ онъ скорѣе похожъ былъ на мѣщанина, чѣмъ на обыкновеннаго поселянина; несмотря на знойное лѣто, загаръ едва коснулся его лица и шеи; на лицѣ его, довольно еще красивомъ, не было слѣда тѣхъ морщинъ, той загрубѣлости, которыя преждевременно накладываетъ тяжелое, трудовое житье. Взглядъ его, обращавшійся какъ-то сверху внизъ,—точно онъ считалъ себя значительнѣе всѣхъ тѣхъ, съ кѣмъ встрѣчался,—не былъ лишенъ живости, точно такъ же какъ и остальныя черты лица; въ движеніяхъ замѣтно однакожъ проглядывали лѣнь, вялость, сонливость.

Человѣкъ этотъ не былъ совершенно чужимъ и незнакомымъ лицомъ въ здѣшнихъ мѣстахъ; едва поровнялся онъ съ первыми косарями, многіе его окликнули:

— Ѳедотъ, здорово! Откуда?

— Съ люблинской мельницы...

— Дѣло, что ли, есть?

— Да, лаконически отвѣчалъ Ѳедотъ, слегка приподымая картузъ и продолжая идти далѣе.

Замѣчательно, что въ голосѣ каждаго, кто обращался къ Ѳедоту, звучала веселость; каждый почти, заговаривая съ нимъ, прищуривалъ глаза и осклаблялъ зубы. Случалось, что иной мужичокъ,—особенно изъ молодыхъ и которые были попроще,—видя, какъ осклаблялись другіе,—схватывался попросту за бока и громко начиналъ смѣяться. Въ такихъ случаяхъ Ѳедотъ выше только подымалъ голову, весь какъ словно отъ макушки до пятокъ преисполнялся чувствомъ собственнаго достоинства и шелъ мимо, сохраняя такой видъ, какъ будто на пути попался муравей, не стоящій никакого вниманія.

Приближаясь къ мѣсту, гдѣ сосредоточивалась главная дѣятельность и куда сошелся почти весь народъ, Ѳедотъ спросилъ, какъ бы найти ему дядю Карпа? Карпъ, оказалось, косилъ въ числѣ передовыхъ косарей и находился на дальнемъ концѣ поля. Ѳедотъ медленно, какъ бы же

лая похвастать своей неторопливостью, направился въ указанную сторону. Проходя мимо подводъ, которыя пріѣхали за снопами, мимо бабъ, вязавшихъ снопы, и мужиковъ, шумѣвшихъ косами, — Ѳедотъ снова освѣдомился, гдѣ отыскать дѣдушку Карпа.

Признавъ наконецъ того, кого отыскивалъ, Ѳедотъ встрепенулся и ускорилъ шагъ; онъ словно вдругъ вспомнилъ о чемъ-то; лицо его выразило озабоченность, суетливость; онъ пошелъ такъ скоро, и началъ такъ размахивать руками, что потъ выступилъ на лицѣ и даже шеѣ; подойдя къ Карпу, который продолжалъ усердно косить, не замѣчая приближающагося,—Ѳедотъ, и безъ того запыхавшійся, старался еще показать видъ, что едва переводитъ духъ отъ усталости.

VI.

— Дядя Карпъ, здорово! Къ тебѣ... озабоченнымъ тономъ проговорилъ Ѳедотъ, снимая картузъ и отирая плоскій бѣлый лобъ съ прилипнувшими къ нему жиденькими кудрями.

— А, Ѳедотъ! воскликнулъ сѣдой, какъ лунь, старичокъ, быстро поворачивая къ Ѳедоту сухощавое лицо, изрытое глубокими морщинами,—какъ ты здѣсь?..

— Къ тебѣ, дядя Карпъ... Ухъ, умаялся!—дай духъ переведу, сказалъ Ѳедотъ, стараясь показать вдвое больше усталости, чѣмъ было на самомъ дѣлѣ.—Примѣрно, такое дѣло... переговорить надо...

Тутъ Ѳедотъ нахмурилъ брови, покосился на стороны и, замѣтивъ, что ближайшіе мужики остановились и посматривали въ его сторону, началъ мигать Карпу на сосѣднюю ниву, гдѣ не было еще ни одного косаря.

— Говори здѣсь,—все одно, сказалъ старикъ.

— Нельзя, суетливо перебилъ Ѳедотъ,—никакимъ тоесть манеромъ... дѣло такое... Отойдемъ, говорю...

Онъ дернулъ старика за рукавъ рубахи и силою почти отвелъ его шаговъ за десять.

— Аксенъ Андреевъ прислалъ, произнесъ онъ, быстро оглядываясь и какъ бы желая убѣдиться, что никто не слушаетъ.

— Это зачѣмъ?

— Насчетъ избы; ты избу приторговалъ... Прислалъ: „скажи, говоритъ, Карпу,—онъ тебѣ родственникъ, часто видаетесь,—скажи: задатку надо прибавить!..“

— Вѣдь я далъ ему задатокъ, и дѣло совсѣмъ порѣшили; чего-же еще? произнесъ старикъ нетерпѣливо.

— Говоритъ, много на избу охотниковъ...

— Ну...

— Много очень народу избу торгуютъ и деньги сейчасъ отдаютъ... „Коли, говоритъ, Карпъ прибавитъ задатку, я обожду, пожалуй, а то, говоритъ, несходно!“ Я затѣмъ и пришелъ къ тебѣ; ты, дядя, нонче же безпремѣнно сходи къ Аксену. Онъ такъ и наказывалъ: сегодня переговори съ нимъ; дѣло примѣрно такое, никакимъ манеромъ нельзя оставить! примолвилъ разсудительнымъ тономъ Ѳедотъ и даже зажмурилъ глаза.—Избу я видѣлъ: изба знатная; и цѣна не большая... упустить никакъ невозможно!..

Старикъ не слушалъ послѣднихъ словъ Ѳедота; съ досадливымъ, безпокойнымъ выраженіемъ лица смотрѣлъ онъ въ землю.

— Когда видалъ ты Аксена? спросилъ онъ.

— Нынче утромъ, въ самый обѣдъ. Какъ сказалъ онъ объ этомъ, —„дѣло такое, думаю себѣ, упустить нельзя; Карпъ Иванычъ сродственникъ, оставить не годится“,— прямо къ тебѣ бросился...

— Какъ же попалъ ты туда къ Аксену? спросилъ Карпъ, медленно направляясь къ прежнему своему мѣсту.

— Встрѣтились, по сосѣдству... Я теперь на люблинской мельницѣ... вотъ уже съ недѣлю живу въ работникахъ...

— Какъ! ты, стало, ужъ не на фабрикѣ у Василья Иванова?

— Нѣтъ, разсчитался!.. Хозяева добрѣ оченно ужъ зазнались... Мнѣ здѣсь сходнѣе: хозяева—лучше быть нельзя, обходительные такіе, и жалованья больше... въ недѣлю три цѣлковыхъ получаю...

Карпъ недовѣрчиво покачалъ головою.

— Ей-Богу, три цѣлковыхъ! съ живостью подхватилъ Ѳедотъ.

— Ты никакъ на мельницахъ-то прежде не живалъ... промолвилъ Карпъ равсѣянно.

— Какъ не живалъ? возразилъ Ѳедотъ съ увѣренностью;—вотъ-те разъ! Передъ тѣмъ какъ на фабрику поступилъ, только и работалъ что на однѣхъ мельницахъ! дѣло привычное... всѣ статьи примѣрно знаю; другой мельникъ того не сдѣлаетъ.

Хотя старикъ вполовину слушалъ Ѳедота, но снова покачалъ головою.

Прійдя на свое мѣсто, онъ далеко не былъ такъ бодръ и веселъ, какъ когда подошелъ къ нему Ѳедотъ; сѣдыя брови старика не оставляли нахмуреннаго положенья; несмотря на нѣсколько минутъ отдыха, онъ дышалъ тяжелѣе, чѣмъ когда безъ устали размахивалъ косою.

— Подсоби, Ѳедотъ, сказалъ онъ,—подсоби маленько, чтобъ упущенія не было; я тѣмъ временемъ дойду до снохи кваску выпью...

— Давай, давай!.. Намъ не впервые! бойко и съ величайшей готовностью проговорилъ Ѳедотъ.—Ступай, дядя, справимся!..

Ѳедотъ выпрямился, молодецки поправилъ картузъ, поплевалъ въ ладони и взялъ косу.

VII.

— Никакъ подсобить хочешь?.. произнесъ сосѣдній мужикъ.

— Намъ это дѣло въ привычку! хвастливо возразилъ Ѳедотъ,—въ нашихъ мѣстахъ,—мы на Окѣ живемъ,—луга такіе: конца краю не видно, глазомъ не обведешь! Мѣсяцъ цѣлый косимъ: весь міръ коситъ, а все остается верстъ на десять нескошеннаго мѣста... такъ и оставляемъ... скотъ травитъ.

Сказавъ это, Ѳедотъ снова поправилъ картузъ, снова поплевалъ въ ладонь и молодецки махнулъ косою; но луга косить, видно, не то что рожь; подъ косою Ѳедота жнивья осталось вдвое больше, чѣмъ слѣдовало, и колосья, захваченные имъ, легли не въ-рядъ, а раскидались на стороны. Два молодые парня, работавшіе слѣва, громко засмѣялись.

Ѳедотъ повернулся къ нимъ спиною и осмотрѣлъ косу.

— Ну, ужъ коса! сказалъ онъ съ усмѣшкою, обращаясь къ мужику, который началъ разговоръ,—диковинное дѣло, какъ только Карпъ управляется... Какъ есть, ничего не беретъ! Дай-ка, братецъ ты мой, точило... Эхъ, была у меня коса, — вотъ такъ ужъ точно коса! подхватилъ Ѳедотъ, принимаясь водить брускомъ по лезвію,—и теперь еще двѣ такія же дома остались,—вотъ такъ косы! Случается найдешь на такое мѣсто—конятникомъ заросло,—такія мѣста есть,—махнешь косою—словно трава валится! Въ нашихъ мѣстахъ все такія-то косы; по два рубля пла-

тимъ; этихъ, какими вы косите, у насъ въ заводѣ нѣтъ, впервые вижу...

— Слышь, братъ, сказалъ словоохотливый мужичокъ,— ты этакъ по одной-то половинѣ не води точиломъ... этакъ совсѣмъ косу затупишь.

— Ничего, ладно, живетъ! возразилъ Ѳедотъ, возвращая ему точило.

Не поворачиваясь къ двумъ смѣявшимся парнямъ, Ѳедотъ снова принялся за работу: но дѣло попрежнему не клеилось; чѣмъ больше онъ храбрился, чѣмъ сильнѣе махалъ косою, тѣмъ дѣло меньше спорилось,—выходило и криво и косо.

— А, Ѳедотъ! отколь Богъ принесъ? неожиданно спросилъ Гаврило.

— Къ Карпу за дѣломъ пришелъ... Онъ отошелъ кваску испить; подсобить попросилъ...

— Да что ты, братъ, косы, что ли, въ руки не бралъ? сказалъ Гаврило.—Смотри-ка, что натворилъ!..

Молодые парни опять засмѣялись; даже словоохотливый мужичокъ началъ ухмыляться.

— Натворишь поневолѣ! возразилъ Ѳедотъ, тыкая съ сердцемъ косу въ землю,— вишь, у васъ косы-то какія... мнѣ не въ привычку...

— А какъ же Карпъ-то коситъ? вѣдь ладно же выходитъ, не по-твоему!..

— Не такую мы косьбу видали! сказалъ Ѳедотъ тономъ надменнаго пренебреженія, скрывавшимъ обиженное чувство.— Въ степи жить приходилось, рожь-то вдвое повыше вашей,—косили не хуже другихъ!.. По два цѣлковыхъ въ день получалъ... стало, не даромъ; дѣло свое знаемъ...

Онъ замолкъ, увидѣвъ приближающагося Карпа.

Гаврило и сосѣдніе ребята начали было трунить надъ Ѳедотомъ, указывая Карпу на работу его родственника; но ни Карпъ, ни Ѳедотъ ничего не отвѣчали. Первый молча взялъ свою косу и продолжалъ работу, которая пошла какъ по маслу; второй, поправивъ картузъ, обратился къ старику и громко вымолвилъ:

— Приходи же, смотри, какъ я сказывалъ...

— Ладно, приду, отвѣчалъ Карпъ, не поворачиваясь.

Такая невнимательная выходка со стороны старика,— и еще при людяхъ,—въ конецъ, повидимому, разобидѣла Ѳедота; куда ни обращались глаза, онъ всюду встрѣчалъ

ухмыляющіяся лица. Помявшись съ минуту на мѣстѣ, какъ человѣкъ, который ищетъ угла, чтобы спрятаться, Ѳедотъ вдругъ повернулся спиною и никому не поклонившись, никому не сказавъ слова, пустился мелкимъ, пристыженнымъ шажкомъ въ обратный путь.

По мѣрѣ того, однакожъ, какъ удалялся онъ отъ мѣста, гдѣ претерпѣлъ столько неудачъ, станъ его замѣтно выпрямлялся и глаза снова начали посматривать сверху внизъ; проходя мимо подводъ и бабъ, онъ выступалъ уже величественнымъ, сдержаннымъ шагомъ; дальше, онъ началъ насвистывать; еще дальше—вся фигура его приняла беззаботный видъ человѣка, который вышелъ прогуляться для собственнаго удовольствія; наконецъ Ѳедотъ окончательно пропалъ изъ виду.

VIII.

Извѣстіе, сообщенное Ѳедотомъ, сильно, казалось, встревожило стараго Карпа. До того времени болтливый и разговорчивый, онъ впалъ вдругъ въ крайнюю несообщительность; на разспросы сосѣдей, желавшихъ узнать, зачѣмъ былъ Ѳедотъ, старикъ отдѣлывался, говоря, что родственникъ приходилъ безо всякой цѣли, а чаще всего отмалчивался. Онъ точно такъ же усердно продолжалъ косить, хотя уже видно было, что работа шла теперь машинально и косою водило не столько сознаніе, сколько привычка такого занятія. Потъ лилъ съ него ручьями; онъ оставался однакожъ къ этому менѣе прежняго чувствительнымъ; онъ рѣже даже останавливался, чтобы дать себѣ отдыхъ, остыть и поправить спину.

Несмотря на то, что солнце совсѣмъ уже скатилось къ горизонту, въ полѣ было почти такъ же душно, какъ въ полдень. Воздухъ, напитанный испареніями, былъ неподвиженъ; самые тонкіе стебельки, приходившіе въ колебаніе безъ всякой видимой причины, стояли теперь какъ околдованные; облако пыли, поднятое стадомъ, которое полчаса назадъ прогнали въ деревню по отдаленному холму, стояло такъ же высоко и только постепенно мѣняло свой цвѣтъ, превращаясь изъ золотистаго въ багровое, по мѣрѣ ого, какъ ниже опускалось солнце.

Наконецъ, солнце скрылось.

— Дядя Карпъ, народъ по домамъ пошелъ! сказалъ сѣдній мужичокъ.

— Шабашъ! послышалось въ отдаленіи.—Шабашъ, дой! подхватили ближайшіе косари.

Карпъ молча подбросилъ косу на плечо и поднялъ голову.

Въ разныхъ концахъ поля народъ направлялся къ деревнѣ; то тутъ, то тамъ раздавался скрипъ навьюченныхъ снопами телѣгъ, которыя тяжело покачивались, пробираясь по пашнѣ.

Карпъ направился ускореннымъ шагомъ, въ надеждѣ догнать сноху свою; но ея нигдѣ не было; она не кормила ребенка, и какъ всѣ бабы, избавленныя отъ такой заботы, успѣла, вѣроятно, отойти очень далеко. Попадались только тѣ бабы, которыя поневолѣ должны были отставать, потому что еле-еле передвигали ногами, неся на спинѣ люльку, а въ рукахъ серпъ и кувшинчикъ.

При поворотѣ съ поля на дорогу, Карпъ встрѣтился съ Гаврилой.

— Ну, братъ, Карпъ Иванычъ, разобидѣли мы твоего Ѳедота, смѣясь, заговорилъ староста,—пошелъ отъ насъ—никому даже слова не промолвилъ; что за человѣкъ такой уродился! Сказываютъ, опять перемѣнилъ мѣсто; на люблинской мельницѣ нанялся теперь... Зачѣмъ это приходилъ онъ? Тебя, что ли, провѣдать?

— Эхъ! произнесъ старикъ, махнувъ рукою.

— Развѣ что неладно?

— Такое дѣло, совсѣмъ даже въ сумлѣнье приводитъ; зарѣцкій Аксенъ, что̀ лѣсомъ торгуетъ, прислалъ его ко мнѣ...

— Зачѣмъ?

— Сказывалъ я тебѣ, приторговалъ я у него избу, началъ Карпъ такимъ голосомъ, какъ будто у него накипѣло въ сердцѣ и онъ радъ былъ, наконецъ, высказаться,—задатку взялъ онъ съ меня семьдесятъ рублевъ; дѣло совсѣмъ сладили; теперь прислалъ Ѳедота, говоритъ: „прибавить надо къ прежнему задатку“; очень, вишь, много народу на ту избу охотятся и деньги всѣ сейчасъ отдаютъ; „не сходно, говоритъ, ждать до осени!“ Самъ суди, Гаврило Леонычъ, откуда взять теперь денегъ? Хлѣбъ не убранъ, и хошь бы и убранъ былъ,—все одно не время его продавать; только въ убытокъ продашь. Вотъ дѣло какое,—шутъ его возьми! Я третій годъ с избой гоняюсь; такъ было обрадовался; моя совсѣмъ плоха насилу прозимовали... Коли Аксенъ заартачится, не знаю право, гдѣ ужъ искать избу; въ своей зиму никакъ проживешь; вся кругомъ какъ есть промерзаетъ... Эхъ

шутъ его возьми! скрутилъ онъ меня этимъ по рукамъ и ногамъ...

— Почемъ за избу-то проситъ?

— Уговоръ былъ двѣсти-тридцать рублевъ, совсѣмъ ужъ было поладили...

— Сходно; по теперешнимъ цѣнамъ начто сходнѣе.

— Объ томъ и сокрушаешься; сходнѣе не найти; потому больше и жаль, Гаврило Леонычъ... вымолвилъ старикъ, насупивъ брови.

Немного погодя, сквозь сѣрѣющія сумерки открылась деревня; войдя въ околицу, Карпъ и Гаврило разстались.

IX.

Антоновка выстроена была подъ самымъ скатомъ, на плоской луговинѣ, которую огибала небольшая рѣчка; во всякое время на улицѣ стояла топь непроходимая; только теперешнее лѣто могло вполнѣ просушить ее и превратить грязь въ слой пыли. Избы шли въ два порядка, со множествомъ узенькихъ проулковъ; въ глубинѣ деревни, тамъ, гдѣ рѣчка дѣлала поворотъ и пропадала, высоко подымалось нѣсколько старинныхъ ветелъ; дальше, за ветлами, снова шли пологіе холмы, исполосованные оврагами и темными клиньями сосновыхъ перелѣсковъ.

Изба Карпа выходила угломъ въ проулокъ и на улицу; она, дѣйствительно, никуда больше не годилась, какъ въ ломъ; бокъ ея, смотрѣвшій на улицу, круто выпучивался и, безъ сомнѣнія, давно бы повалился, если бъ хозяинъ не позаботился подпереть его двумя осиновыми плахами; всѣ пазы были вымазаны глиной, которая истрескалась отъ жары и во многихъ мѣстахъ отвалилась. Изба была одною изъ самыхъ старыхъ въ деревнѣ; Карпъ, доживавшій уже седьмой десятокъ, не помнилъ, когда ее ставили. Ветхость избы еще замѣтнѣе бросалась въ глаза отъ сосѣдства съ плетнями, которые отличались плотностью, стояли прямо на толстыхъ высокихъ кольяхъ. Карпъ не осиливалъ только съ избою; все остальное, что зависѣло отъ его рукъ и средствъ, смотрѣло какъ нельзя приглядѣе и обличало домовитаго, дѣятельнаго хозяина.

Войдя на дворъ, Карпъ встрѣченъ былъ блеяніемъ овецъ, фырканьемъ трехъ лошадей и глухимъ чмоканьемъ коровы, которая въ сумеркахъ принимала видъ огромнаго бѣлаго камня, брошеннаго посреди двора. Старикъ повѣсилъ подъ навѣсъ косу, вступилъ въ темныя сѣни, но наткнулся на кого-то и поспѣшно отступилъ на шагъ.

— Ай, дѣдушка, чуть Ваську не уронилъ! раздался тоненькій голосокъ.

При этомъ на крыльцо выступила дѣвочка лѣтъ семи, державшая на рукахъ толстаго, какъ пузырь, ребенка, который кряхтѣлъ и отдувался, какъ словно не его тащила дѣвочка, а онъ несъ ее на рукахъ своихъ.

— А сама что подъ ноги лѣзешь! проговорилъ ворчливо дѣдушка, входя въ избу.

Въ избѣ царствовала уже тьма кромѣшная; отъ жары едва можно было переводить духъ; мухи, бившіяся на потолкѣ и въ окнахъ, наполняли ее глухимъ журчаньемъ. Заслышавъ шумъ у печки, Карпъ обратился въ ту сторону.

— Старуха, ужинать собирай; я чаялъ, все ужъ у васъ готово...

— Сейчасъ, батюшка; сейчасъ сноха вынесетъ столъ на крылечко; здѣсь пуще жарко... Нонче печь топили; новые хлѣбы, изъ новой муки пекла; мука бѣлая, хорошая, на скусъ хлѣбы прошлогодняго лучше...

Но и это обстоятельство, всегда почти тѣшащее душу простолюдина, столь бѣднаго на прихоти и радости всякаго рода, не произвело никакого дѣйствія на Карпа.

Онъ повѣсилъ голову, вышелъ изъ избы и снова въ сѣняхъ чуть было не сшибъ съ ногъ дѣвочку, которая, вся изогнувшись на одинъ бокъ, тащила толстаго Ваську.

— Охъ! крикнула дѣвочка, съ трудомъ пятясь назадъ,—охъ, дѣдушка,—Васька! Ваську чуть не уронилъ!..

— А ты опять подъ ноги лѣзешь!

— Что ты его взаправду все таскаешь,—сядь поди съ нимъ, Дуня! Сядь, проговорила сноха, явившаяся на крылечко собирать ужинъ.

— Здорово, батюшка! раздался голосъ изъ-подъ навѣса, и на дворѣ показался рослый мужикъ, лицо котораго невозможно было разсмотрѣть за темнотою.

Это былъ сынъ Карпа и мужъ молодой женщины, хлопотавшей съ ужиномъ. Карпъ лѣтъ уже семь освобожденъ былъ, за старостью, отъ всякой работы; онъ постоянно, однакожъ, ходилъ въ поле и исполнялъ всѣ мірскія господскія повинности; старикъ находилъ расчетъ работать за сына, который въ это время управлялся въ собственномъ полѣ или занимался дома; расчетъ былъ вѣренъ: Петръ (такъ звали сына) былъ однимъ изъ лучшихъ работниковъ Антоновки.

Выйдя изъ-подъ навѣса, Петръ махнулъ рукою и погналъ лошадей къ воротамъ.

— Погоди, Петруха, сказалъ старикъ прежде еще, чѣмъ сынъ коснулся воротъ,—кто нынче у насъ въ ночномъ? Чей чередъ?

— Андрей Воробей съ ребятами поѣдетъ.

— Смотри, молодого сѣраго меренка не спутывай; онъ не сильно боекъ, не уйдетъ отъ табуна; боюсь, какъ спутаешь, зашибутъ его копытами... У Гаврилы кобыла бойкая такая, сколькихъ ужъ зашибла!

— Ладно, батюшка!

Сѣрый этотъ меренокъ дороже былъ Карпу всей остальной скотины; въ продолженіе десяти лѣтъ, старику, несмотря на всѣ старанія, никакъ не удавалось вывести ни одной лошаденки своего завода; всѣ или дохли, или оказывались слабыми; этотъ конекъ вознаградилъ его, наконецъ, за всѣ неудачи: сѣрый меренокъ, которому пошелъ уже четвертый годъ, удался во всѣхъ статьяхъ; старикъ не могъ на него нарадоваться и берегъ его пуще глазу.

Петръ отворилъ ворота и вышелъ съ лошадьми на улицу. Немного погодя, онъ вернулся, поднялся на крыльцо и сѣлъ подлѣ отца на лавку, которую поставила жена.

X.

— Что, какъ нонче день? спросилъ старикъ.

— Ничего, батюшка, ладно; рожь совсѣмъ рѣшилъ, завтра возить стану.

— Сыплется, чай?

— Сыплется, только не много; въ пору захватили; умолотъ будетъ знатный!..

Въ эту минуту старуха поставила на столъ чашку съ тертымъ горохомъ, приправленнымъ масломъ.

— Ты, касатикъ, хлѣбца-то новенькаго отвѣдай, сказала она, подавая мужу полновѣсный ломоть и крѣпко нажимая его пальцами, какъ бы желая доказать этимъ мягкость и доброкачественность хлѣба, — отвѣдай, батюшка: съ прошлаго года новенькаго хлѣбца не ѣли...

— Ой! бабушка, пропусти! ой, не пролѣзу; охъ!.. отчаянно прокричала вдругъ Дуня, стараясь пролѣзть между столомъ и лавкой и всѣми силами упирая животъ Васьки въ край лавки, а собственный затылокъ въ столъ. — Ой, не пролѣзу! бабушка, пропусти! повторила она, но уже со слезами въ голосѣ.

— Ступай, родная; ступай, Христосъ съ тобою... промолвила бабушка, торопливо отодвигая лавку.

— Ой, тятька, пропусти... ой, уроню Ваську! снова закричала Дуня, увязая на этотъ разъ между столомъ и колѣнями отца.

Петръ привсталъ и подсобилъ дочкѣ усѣсться съ Васькой между собой и дѣдомъ.

Во время этихъ переходовъ и неудачъ, повторявшихся сто разъ въ день, на долю Васьки выпадало всегда большее число испытаній, даромъ что сидѣлъ онъ постоянно на рукахъ сестры и казался вдвое ея сильнѣе. Часто тоненькія руки Дуни туго обхватывали Ваську поперекъ живота; часто, заигравшись на улицѣ съ подругами и поспѣшая на зовъ матери или бабушки, она второпяхъ брала Ваську такимъ образомъ, что онъ совсѣмъ перевѣшивался на бокъ, цѣпляясь ручонками за ея рубашку; случалось даже Васькѣ висѣть головою внизъ и болтать въ воздухѣ ногами; но все это было ему рѣшительно нипочемъ; въ какое бы трудное положеніе ни приводила его Дуня, онъ казался совершенно довольнымъ и никогда не пищалъ; но зато стоило сестрѣ попробовать посадить его на лавку или на траву,—Васька мгновенно багровѣлъ, начиналъ трясти руками, наливался весь кровью, такъ что даже кожа его лоснилась,—и разражался вдругъ пронзительнымъ воемъ, который сію же минуту привлекалъ и мать, и бабушку.

Усѣвшись со своимъ неизбѣжнымъ спутникомъ, который открылъ ротъ, какъ только услышалъ запахъ ѣды,—Дуня придвинулась къ чашкѣ; ложка дѣвочки ни разу не коснулась ея губъ безъ того, чтобы сначала не попасть въ ротъ брата; она пичкала его съ такимъ усердіемъ, Васька такъ уписывалъ, что отецъ и мать только посмѣивались.

Одна бабушка не раздѣляла ихъ веселости.

— Ѣшь, батюшка; кушай на здоровье, касатикъ, Христосъ съ тобою! повторяла старушка озабоченнымъ голосомъ.

Послѣ ужина Карпъ обратился къ востоку, перекрестился и потребовалъ шапку.

— Куда ты? Никакъ итти собрался? спросила старуха

— Да; дѣло такое вышло... Шапку давай! повторилъ Карпъ, усаживаясь на ступени крыльца, чтобы снять лапти.

— Куда ты, батюшка? Никакъ взаправду итти хочешь? спросилъ въ свою очередь Петръ.

— Да, на рѣку надо сходить...

— Ты бы завтра; не то мнѣ вели,—я сбѣгаю.

— Нѣтъ, дѣло такое, надо самому итти, — приду, отдохну потомъ.

Карпъ взялъ шапку и вышелъ за ворота, плотно заперевъ ихъ за собою.

XI.

Темная звѣздная ночь давнымъ-давно обняла небо.

Выйдя за околицу, Карпъ нѣсколько разъ шмыгнулъ босою ногою по травѣ; нога его осталась почти сухою; воздухъ, не освѣженный росою, былъ тяжелъ, душенъ, точно передъ грозою; нигдѣ, однакожъ, не видно было признака тучи: только зарницы, вспыхивая поминутно, обливали окрестность красноватымъ свѣтомъ.

Дорога на Оку шла все время по берегу маленькой рѣчки; сдѣлавъ крутой поворотъ за Антоновкой, рѣчка протекала дномъ плоской долины и версты три далѣе впадала въ Оку. Мѣстами бока долины суживались, мѣстами расходились, образуя по обѣимъ сторонамъ рѣчки болѣе или менѣе пространныя луговины.

Приближаясь къ первому изъ этихъ луговъ, Карпъ услышалъ лошадиное фырканье, сопровождаемое визгомъ и глухими ударами копытъ. При блескѣ зарницъ различилъ онъ табунъ, который только что выгнали въ „ночное“. Старикъ свернулъ съ дороги и пошелъ къ лошадямъ. Почти въ ту же минуту его окликнули:

— Кто идетъ?..

— Я, отозвался Карпъ, направляясь прямо къ длинному человѣку, который такъ же скоро шелъ къ нему навстрѣчу.

— Ты, Карпъ Иванычъ? заговорилъ длинный человѣкъ тоненькой, надорванной фистулой, которая заслужила ему еще съ дѣтства прозвище Воробья,—я вечоръ еще собирался поговорить съ тобою...

— Объ чемъ это?

— Сродственникъ твой Ѳедотъ, что женатъ на твоей племянницѣ, нанялся теперь на люблинской мельницѣ...

— Знаю: ну такъ что жъ?

— Скажи ему, произнесъ Воробей, неожиданно оживляясь, при чемъ голосъ его сдѣлался еще пронзительнѣе,— скажи ему, коли станетъ онъ шляться у моей риги, или застану его опять у себя въ огородѣ,—ему такъ не сойдетъ; тамъ что ни выйдетъ, на себя пусть пеняетъ!..

— Что ты, Андрей; въ другомъ чемъ не постою за него, а насчетъ то-есть баловства такого, чтобы на чужое добро польстился,—этого за нимъ никогда не водилось; никогда объ этомъ слуху даже не было...

— Я не насчетъ того говорю, подхватилъ Воробей тѣмъ же раздраженнымъ голосомъ, — я знаю, чего ему надо; онъ, собака, къ сестрѣ моей подлащивается, вотъ что! Она хошь и солдатка, человѣкъ вольный, а пока съ нами живетъ, не хочу я этого сраму брать... Не хочу, чтобы ходилъ онъ къ намъ! Ей Богу, провалиться на мѣстѣ,—коли еще разъ застану въ ригѣ или увижу въ огородѣ, — ей Богу, мы съ братомъ намнемъ ему бока, такъ что не встанетъ!.. Такъ и скажи, коли увидишь; такъ и скажи! Ей Богу, исколотимъ всего въ одинъ синякъ! Такъ и скажи!

Въ отвѣтъ на это Карпъ только тряхнулъ шапкой и досадливо кряхнулъ. Разсудивъ, что при теперешнемъ настроеніи Воробья нечего думать поручать ему присмотрѣть за мереномъ, старикъ простился съ Андреемъ и, обѣщавъ поговорить Ѳедоту, поплелся далѣе.

Вскорѣ шумъ табуна началъ удаляться и наконецъ совсѣмъ пропалъ.

Мертвая тишина стояла надъ рѣкою и склонами долины, которые то озарялись зарницами, то погружались въ темноту непроницаемую.

Карпъ услышалъ шумъ небольшой мельницы, которую также содержалъ богатый люблинскій мельникъ. Люблинская мельница находилась уже при самомъ впаденіи рѣчки въ Оку. Миновавъ плотину и пройдя вдоль забора, ограждавшаго мельничный дворъ, за которымъ раздался сиплый лай цѣпной собаки, Карпъ продолжалъ путь другимъ берегомъ рѣки.

Съ этой стороны бокъ долины неожиданно измѣнялся; склонъ ея подымался круче, и весь, сверху до низу, покрытъ былъ густымъ орѣшникомъ; мѣстами, какъ основы великановъ, возвышались надъ чащей сухіе столѣтніе дубы, простиравшіе къ небу черныя, причудливо изогнутыя вѣтви. Немного далѣе, лѣсъ, какъ словно насильственно раздвинутый, оставлялъ съ вершины холма до низу совершенно голую почву, покрытую рядами ямъ и бугровъ, которые, каждый разъ какъ вздрагивала зарница, придавали перелѣску особенно мрачный, пустынный характеръ.

XII.

Мѣсто это считалось вообще „недобрымъ“ въ околоткѣ. Тутъ, сказывали, находилась когда-то деревня, которая до послѣдней щепочки выгорѣла отъ громоваго огня. Носились также слухи, будто въ давнія времена Ока, при весеннемъ разлитіи, принесла сюда росшиву, нагруженную татарскимъ золотомъ; барка застряла именно въ этомъ мѣстѣ, послѣ чего ее до верху занесло иломъ. Лѣтъ тридцать назадъ, нашелся одинокій старый мужичокъ (Карпъ помнилъ его очень хорошо), который не шутя прельстился сокровищами, скрывавшимися будто бы въ этомъ мѣстѣ. Онъ сталъ ходить сюда чаще и чаще; сначала ходилъ онъ такъ ради любопытства; осмотрѣться, что ли, ему прежде хотѣлось,—неизвѣстно; потомъ началъ брать съ собою скребокъ и уже каждый день, съ утра до вечера, съ зари до зари, проводилъ время, взрывая и ворочая землю. Такъ провелъ онъ цѣлое лѣто. Онъ съ каждымъ днемъ замѣтно болѣе и болѣе впадалъ въ раздумье; мало-по-малу пересталъ онъ съ людьми разговаривать, началъ дичиться и бѣгать отъ ближайшихъ знакомыхъ. Разъ,— это было уже осенью, — батраки люблинской мельницы, проходя мимо этого мѣста холодною морозною зарею, нашли старика распростертаго навзничь, съ лопатою въ рукахъ: стали его окликать, подошли ближе,—онъ былъ мертвъ.

Множество бабъ и даже нѣкоторые, повидимому, степенные люди положительно утверждали, что самимъ имъ случалось, проходя мимо Глинища (такъ звали мѣсто), слышать подземный жалобный стонъ, отъ котораго сами собою начинали шевелиться уши и холодъ пробѣгалъ по спинѣ и волосамъ. Короче сказать, мѣсто считалось „проклятымъ“ и рѣдкій человѣкъ, даже средь бѣлаго дня, не проходилъ мимо, не ускоряя шага.

Но Карпъ, надо полагать, не вѣрилъ такимъ слухамъ; быть-можетъ также, чувство страха ослаблялось въ немъ привычкой; болѣе шестидесяти лѣтъ ходилъ онъ мимо Глинища и во все это время ни разу съ нимъ ничего не случилось. Мудренаго нѣтъ тоже, мысли Карпа слишкомъ сильно заняты были предстоящей бесѣдой съ Аксеномъ, чтобы могъ онъ обратить на что-нибудь вниманіе.

По мѣрѣ приближенія къ Окѣ, лѣсъ рѣдѣлъ и щеки долины расходились, оставляя мѣсто просторнымъ лугамъ. Въ непроницаемо-темной глубинѣ сверкнула наконецъ

Ока; по мѣрѣ того какъ рѣка открывалась, удушливый воздухъ замѣтно освѣжался. Слѣва, надъ берегомъ, возносились черными неправильными углами строенія большой люблинской мельницы. Дорога дѣлала неожиданно поворотъ и прямо вела къ парому. Въ то время, когда Карпъ проходилъ мимо пристани, парома не было; недвижною темною точкой стоялъ онъ, казалось, на гладкой поверхности рѣки, отражавшей миріады мигающихъ звѣздъ. Далѣе, шагахъ во ста отъ пристани, громоздилась куча бревенъ; тутъ же насупротивъ возвышалось нѣсколько новыхъ, не покрытыхъ срубовъ.

Проходя мимо одного изъ нихъ, Карпъ невольно пріостановился и оглядѣлъ его сверху до низу; это была та самая изба, которую онъ приторговалъ у Аксена.

Карпъ прямо пошелъ къ маленькой крытой избушкѣ, въ которой, лѣтнею порою, помѣщался обыкновенно Аксенъ.

У входа, на травѣ, раскинувшись на войлокѣ и прикрывшись полушубкомъ, лежалъ человѣкъ, который храпѣлъ „во всю ивановскую“.

XIII.

— Аксенъ! сказалъ Карпъ, нагибаясь къ спавшему и слегка подталкивая его.—Аксенъ Андреевъ!..

— [illegible] говорилъ Аксенъ, высовывая изъ-подъ овчины голову и прерывая свой сонъ безо всякаго затрудненія, съ легкостью, свойственною вообще тѣмъ дѣятельнымъ простолюдинамъ, для которыхъ первый жизненный вопросъ—дѣло, барышъ, и которые отдаются отдыху не въ условный часъ, не когда захочется, а когда свободно и гдѣ придется.

— Къ тебѣ, Аксенъ Андреичъ! вымолвилъ старикъ не совсѣмъ увѣреннымъ голосомъ,—въ другое время недосугъ ходить; ты присылалъ ко мнѣ нонче Ѳедота.

— Посылать—не посылалъ, только велѣлъ сказать при случаѣ: ты бы ко мнѣ какъ-нибудь понавѣдался.

— Сказалъ онъ... Я все въ толкъ не возьму, Аксенъ, право, въ толкъ не возьму; вѣдь я тебѣ семьдесятъ рублей задатку отдалъ...

— Отдалъ.

— Тогда уговоръ у насъ былъ: семьдесятъ рублей за датку, а въ осень, послѣ уборки, остальныя деньги... Со всѣмъ было того — поладили; теперь что жъ это будет такое? Вѣдь этакъ, Аксенъ, не годится, право не годится..

— Экой ты, братецъ мой, чудной какой!—право, чудной! Я отъ задатка твоего развѣ отказываюсь? Говорю только: надо какъ-нибудь сладить, потому выходитъ дѣло совсѣмъ не сходное. Всякъ свой барышъ наблюдаетъ; ты норовишь себѣ потрафить,—я себѣ... Вотъ теперича человѣкъ двадцать напрашиваются на избу-то! — и деньги всѣ сейчасъ отдаютъ, какъ есть до копейки. На прошлой недѣлѣ выселковскій мужичокъ приходилъ ко мнѣ; такъ тотъ тридцать рублей лишку давалъ, въ упросъ просилъ, отдай только! Разсуди самъ таперича: люди деньги выкладываютъ, барыши даютъ; за тобой надо ждать еще два мѣсяца, пожалуй что и тогда не раздѣлаешься съ хлѣбомъ,—не соберешься съ деньгами... Суди, сходно ли? А насчетъ задатка говорить нечего, возьми его хоть завтра...

— Что-жъ ты прежде мнѣ объ этомъ не сказывалъ? произнесъ старикъ досадливымъ голосомъ; — вишь время какое, — самая уборка! Самъ знаешь: гдѣ нашему брату достать денегъ?.. Гдѣ ихъ взять!

— Денегъ у тебя не спрашиваю; можетъ, такъ какъ-нибудь безъ денегъ сойдемся.

Карпъ ясно понялъ, что Аксенъ не спроста отказывался отъ денегъ, что вѣрно держалъ на умѣ какое-нибудь намѣреніе. Старикъ не показалъ, однакожъ, виду своего недоумѣнья; онъ сдѣлался только внимательнѣе прежняго.

— Вотъ къ осени коровъ стану бить на мясо, проговорилъ Аксенъ, — не найдется ли у тебя лишней скотины?...

— Всего одна корова.

— Ну, въ другомъ чемъ сойдемся... У тебя меренокъ сѣрый трехгодовалый... его отдай; цѣну, какую положишь, та и пойдетъ въ счетъ избы...

Предложеніе Аксена поразило Карпа самымъ неожиданнымъ образомъ. Онъ зналъ очень хорошо, что Аксенъ не тотъ человѣкъ, чтобы сталъ говорить зря и наобумъ касательно пріобрѣтенія лошади, что вѣрно онъ имѣлъ свои виды, что все это давно было у него обдумано.

Несмотря на свою наружную простоту и сговорчивость, Аксенъ принадлежалъ къ числу самыхъ тонкихъ, самыхъ пронырливыхъ и хитрыхъ мужиковъ уѣзда. Способность его пронюхивать барышъ тамъ, гдѣ другіе барыша не подозрѣвали, могла только равняться съ его оборотли-

востью и неутомимою дѣятельностью. Аксена видѣли всюду, на всѣхъ ярмаркахъ, базарахъ, по пристанямъ въ торговые дни; онъ велъ торговлю сплавнымъ лѣсомъ, досками, солилъ солонину, торговалъ говядиной, жегъ кирпичи и известку, скупалъ рощи, сымалъ сады у помѣщиковъ. Нельзя сказать, чтобы товаръ его былъ хорошъ и отличался доброкачественностью; все дѣлалось спѣшно, зря, на живую руку: говядина была тощая, яблоки снимались незрѣлыми, срубленный лѣсъ продавался всегда сырымъ, кирпичи были не допечены.—„Ничего, сойдетъ!“ говорилъ всегда Аксенъ. И точно, крестьяне и помѣщики уѣзда поневолѣ должны были обращаться къ Аксену, который силою денегъ и дѣятельности завладѣлъ мелкою торговлею уѣзда.

Карпъ зналъ также, — и это всего болѣе приводило старика въ разстройство, — что, при простотѣ своей и сговорчивости, Аксенъ—человѣкъ крѣпкій, какъ кремень: если ужъ что заберетъ въ голову, ни за что не отступится. Нечего, значитъ, было и разговаривать; надо было тутъ же рѣшиться или уступить сѣраго меренка, или взять назадъ задатокъ и отказаться отъ избы. Тѣмъ не менѣе Карпу обидно какъ-то показалось уступить сразу, съ перваго слова.

— Разсуди теперь и ты, Аксенъ Андреичъ, произнесъ онъ внушительно, — у меня двѣ лошади: хорошо, отдамъ я тебѣ меренка, какъ же я при одной останусь?..

— Скоро осень, а тамъ и зима привалитъ; больше одной лошади держать тогда не зачѣмъ; у васъ же всѣ на оброкѣ, обозовъ не справляютъ, зачѣмъ двѣ лошади? Куда ихъ? только кормъ травить понапрасну... Пожалуй, я и на то согласенъ: до того времени, какъ въ полѣ работа не кончится, оставь у себя мерена, я за этимъ не погонюсь.

— Кто-жъ тебѣ объ немъ сказывалъ? спросилъ Карпъ, у котораго при этомъ словно подступило къ сердцу.

— Мало ли сюда ходитъ всякаго народу... изъ вашей деревни, изъ другихъ также;—пуще, признаться, хвасталъ сродственникъ твой Ѳедотъ...

— Онъ-то, собака, изъ чего? промолвилъ старикъ, быстро сжимая кулаки и такъ же скоро разжимая ихъ, чтобы не замѣтилъ этого собесѣдникъ.

— Ужъ этого я не знаю; только каждый день придетъ и давай хвалить... Заѣзжай, говоритъ, погляди да п

гляди! Было мнѣ къ вамъ по дорогѣ, я и подъѣхалъ къ вашему табуну... Ѳедотъ со мной ввязался; онъ и лошадь указалъ... Точно, лошаденка складная; шестьдесятъ рублевъ можно дать.

Подвернись въ эту минуту Ѳедотъ, старикъ разругалъ бы его на всѣ бока; мало того, вцѣпился бы, кажется, въ жиденькую бородку родственника и трясъ бы ее до тѣхъ поръ, пока волоска не осталось.

Тутъ между Карпомъ и Аксеномъ завязался сильный торгъ, который кончился тѣмъ, что Аксенъ прибавилъ за мерена еще четыре съ полтиной; на томъ дѣло и остановилось. Эти шестьдесятъ четыре съ полтиной, приложенные къ прежнимъ семидесяти рублямъ, составляли сумму, которая, въ качествѣ задатка, совершенно удовлетворяла Аксена; съ Карпа оставалось получить около ста рублей; Аксенъ соглашался ждать эти деньги до осени, какъ прежде было условлено.

— Когда же за мереномъ-то прислать? спросилъ Аксенъ.

— Хошь завтра, хошь послѣзавтра, — когда хочешь! проговорилъ Карпъ отрывисто.

Онъ поправилъ шапку, которая во время этихъ разговоровъ совсѣмъ скосилась на сторону и, простившись съ Аксеномъ, повернулъ на дорогу.

— Эй, слышь, Карпъ! крикнулъ Аксенъ, дѣлая шагъ впередъ; — слышь, — Ѳедотъ ко мнѣ просился; взять его, что ли?

— Провались онъ совсѣмъ! нетерпѣливо возразилъ Карпъ.

— Не брать, стало, что ли?

— Вѣдь онъ, собака его ѣшь, двѣ недѣли всего нанялся на люблинской мельницѣ,—чего ему еще? спросилъ Карпъ, останавливаясь.—Три цѣлковыхъ въ недѣлю жалованья одного получаетъ, чего-жъ еще—собакѣ!

— Онъ, что ли, тебѣ сказывалъ? смѣясь, вымолвилъ Аксенъ,—ну, здоровъ значитъ врать-то! Всего за четыре рубли въ мѣсяцъ живетъ: за ту же цѣну и ко мнѣ просится; такъ какъ же, по-твоему, взять его, что ли?

— А песъ его возьми совсѣмъ! съ сердцемъ сказалъ Карпъ, удаляясь.

XIV.

Когда Карпъ подошелъ въ окраинѣ той части берега, дѣ находилась пристань, пароѣмъ стоялъ уже на причалѣ.

Фигуры двухъ перевозчиковъ смутно обозначались на пескѣ берега; сколько можно судить по голосамъ, тутъ кромѣ перевозчиковъ находилось еще нѣсколько человѣкъ. Всѣ они сидѣли у самой воды и громко разговаривали. Проходя мимо, Карпъ явственно услышалъ голосъ Ѳедота.

Первымъ движеніемъ старика было сойти по скату берега, и тутъ же, при людяхъ, осрамить Ѳедота и разругать его на чемъ свѣтъ стоитъ; но онъ удержался, разсудивъ тотчасъ же, что этимъ дѣла не поправишь. Къ тому же, степенный нравъ старика противился всякому шуму и брани,—особенно на міру, при чужихъ людяхъ.

„Ну его, поганца! подвернется гдѣ-нибудь въ одиночку, — я ему тогда все припомню!“ подумалъ старикъ, отводя глаза отъ парома.

Голосъ Ѳедота громко раздавался; замѣтно было, онъ говорилъ съ жаромъ и увлеченьемъ.

Карпъ невольно замедлилъ шагъ; минуту спустя, онъ остановился и насторожилъ слухъ; любопытно стало ему послушать, о чемъ это такъ горячо тараторилъ его родственникъ.

— Эка невидаль пять пудовъ поднять! какъ жилъ я на крупчатой мельницѣ подъ Коломной, такіе у насъ батраки были, мѣшка по четыре пшеницы въ третій верхъ таскали! Значитъ, пудовъ по десяти! Самому бывало не однова случалось... Извѣстно, былъ я въ ту пору помоложе!.. Да это что, братцы, — вотъ дѣдъ былъ у меня, такъ точно была силища! Супротивъ него такихъ теперь и людей нѣтъ! Пойдемъ, бывало, на пристань въ базарный день, распоясается: — „выходи!“ кричитъ; перваго, кто покуражился, хлобызнетъ, бывало, подъ сусолы, либо подъ микитки, — тутъ тому и конецъ... Бывало, часа по три безъ отдыха бьется, весь даже синій сдѣлается, словно чугунный котелъ; а все, кто не подвернется,—такъ и кладетъ лоскомъ. „Нѣтъ еще, говоритъ, человѣка такого, кто бы побѣдилъ меня! Былъ бы только, говоритъ, крестъ на человѣкѣ, со всякимъ буду драться, никого не боюсь! “ Такая была крѣпкая скотина!.. А насчетъ того, о че прежде спрашивали, братцы,—это мнѣ наплевать! я бы и самъ у Герасима (такъ звали люблинскаго мельника), ни за что не остался! Нанялся я у него потому больш что надо какъ-нибудь время проволочить недѣльки е

на четыре! съ увѣренностью продолжалъ Ѳедотъ,—такой уговоръ былъ у меня съ купцомъ Бахрушинымъ... Прокофій Андреевичъ — звать... Вы, чай, объ немъ слыхали? первѣйшій купецъ въ Коломнѣ, мильонщикъ, торгуетъ на первый сортъ, и въ Москвѣ также лавку свою содержитъ... Такой уговоръ былъ у насъ:—„какъ подѣлюсь, говоритъ, съ братомъ, ты, Ѳедотъ Васильичъ, ко мнѣ поступай, и жалованье, примѣрно, и все такое, говоритъ, будетъ тебѣ по самому настоящему положенью“... Онъ сродни мнѣ доводится... по женѣ... Потому жена моя купеческаго званья... Жду, значитъ, теперича этого раздѣла промежъ братьевъ; по той самой причинѣ и поступилъ сюда... Главная причина, мы къ этой мельницкой должности не пріучены; жили все по торговой части, этимъ больше сызмалѣтства занимались, и родители мои также... Упокойный родитель трактиръ содержалъ; также лавку съ краснымъ товаромъ.

— Вы, значитъ, въ городѣ жили? спросилъ одинъ изъ слушателей.

— Нѣтъ, дома; только у насъ село больше другого города; церквей однѣхъ семь и всѣ каменныя; дома также всѣ каменные; фабрикъ однѣхъ никакъ пять или шесть... Все богачи содержатъ, купцы московскіе и серпуховскіе... Мы къ торговлѣ съ малыхъ лѣтъ пріобучены... Во всемъ, значитъ, привычка требуется... Посади теперь любого изъ васъ, братцы, въ лавку либо въ трактиръ, какъ есть ни одинъ не управится,—въ лѣсу все единственно!..

— Гдѣ! куда тебѣ! Ужъ это какъ есть! отозвалось нѣсколько слушателей.

— Главная причина, Прокофій Андреичъ потому и звалъ меня; знаетъ, я ихнее дѣло наскрозь произошелъ... Хозяйка моя тѣмъ временемъ своимъ домомъ станетъ управляться... У нея двѣ батрачки... да еще дѣвочку нанимаетъ для подмоги.

— Что жъ много? спросилъ кто-то.

— А ты думаешь, какъ? еще словоохотливѣе заговорилъ Ѳедотъ,—у меня домъ-то немалое количество: въ три сруба выстроенъ!.. Въ нашихъ мѣстахъ всѣ такъ строятъ; нѣтъ этихъ здѣшнихъ избъ... Внизу стряпаютъ; работницы и батраки живутъ...

— Ты развѣ и батраковъ держишь?

— А то какъ же? Двухъ нанимаю... Кто жъ бы землюто сталъ пахать?.. У насъ земли и луговъ не то, что

здѣсь... Ну, внизу батраки, вверху горница, — мы съ женою занимаемъ... Вотъ, братцы, коли кто изъ васъ въ Москву пойдетъ, заходите дорогой... Меня не будетъ—все единственно, къ хозяйкѣ моей зайдите; скажите: „Ѳедотъ, молъ, прислалъ"; сами посмотрите наше житье... Прошлаго года домъ мой подъ трактиръ нанимали, только не отдалъ; несходно... И хозяйка такъ говоритъ: „не отдавай, говоритъ, Ѳедотъ Васильичъ; самимъ потомъ нанимать надо, одно на одно выйдетъ..." Заходите же, братцы; посмотрите на мое житье, сами скажете: изъ какого, молъ, дьявола таскаться такъ-то Ѳедоту по мельницамъ!..

— То-то и я такъ думаю... проговорилъ тономъ недовѣрія и насмѣшки одинъ изъ слушателей,—хошь бы теперича набиваешься ты къ Аксену въ работники... Изъ какой такой неволи?..

— Эхъ, братецъ ты мой! произнесъ Ѳедотъ съ такимъ выраженіемъ, что можно было думать, онъ обращался къ пустому и вздорному малому, который совался въ разговоръ затѣмъ только, чтобы противорѣчить.—Говорю вамъ, братцы, пуще всего надо проволочить время. Пока Прокофій Андреичъ съ братомъ не подѣлятся,—все же одно, дѣлать нечего, деньги свои понапрасну проживать, что ли?

— Денежки-то, стало, водятся?

— Да, проговорилъ Ѳедотъ съ какою-то густотою въ голосѣ, — послѣ упокойнаго родителя тысчонки двѣ можетъ осталось... и теперича есть...

— Врешь! отозвались почти всѣ въ одинъ голосъ.

— Приходите, покажу... И больше было, только домъ дорого сталъ, на стройку много пошло...

— Гдѣ-жъ у тебя эти деньги? спросилъ кто-то.

— Извѣстно, въ сундукѣ спрятаны; гдѣ жъ имъ больше быть?..

— Ужъ подлинно: охота пуще неволи! снова замѣтилъ собесѣдникъ, обращавшійся съ недовѣрчивостью.—Будь у меня такія деньги, сталъ бы я, какъ же, по чужимъ людямъ шляться...

— Говоришь такъ, братецъ ты мой, потому,—денегъ у тебя нѣтъ своихъ,—вотъ что! было бы, сталъ бы беречь ихъ, все единственно... Коли сила есть въ тебѣ, почему жъ и не поработать? разсудительно продолжалъ Ѳедотъ,—бережешь пуще къ старости, было бы тогда чѣмъ прожить вотъ что! Хоронишь также деньги изъ осторожности: люди

бы не зарились, взаймы не просили: покажи только; тотъ: „Ѳедотъ Васильичъ, ссуди“; другой: „Ѳедотъ Васильичъ, ссуди“... Дашь, — поди ищи потомъ, не то и вовсе пропали... Ужъ вѣдь бывали статьи такія! У меня сродство большое... Есть богатые, есть и бѣдные... всякіе есть!.. Вотъ бы хошь теперь въ Антоновкѣ, можетъ знаете, старикъ живетъ, Карпомъ звать?.. сродни приводится... Также не мало ему отъ меня денегъ-то перепало... почитай, я его и поправилъ... Теперь избу новую торгуетъ... Покажи только деньги, вынь ихъ, сейчасъ пристанетъ: „дай, да дай!..“ Потому больше ихъ и хоронишь!..

XV.

Карпъ слушалъ-слушалъ, и только качалъ головою, пожималъ губами и время отъ времени ударялъ ладонями по колѣнямъ. При послѣднихъ словахъ Ѳедота онъ только плюнулъ.

— Ахъ ты, провалъ тебя возьми! собака ты этакая, непутная!.. проговорилъ онъ, выходя на дорогу и ускоряя шагъ.

Перебирая все, что привелось теперь слышать, старикъ невольно забылъ на минуту свое горе; онъ началъ даже усмѣхаться.

Дѣйствительно, было надъ чѣмъ потѣшиться. Во всемъ, что говорилъ Ѳедотъ, не было правды на маковую росинку. Жилъ онъ въ маленькой разоренной деревушкѣ, гдѣ не было даже часовни; домъ его состоялъ изъ полуобвалившейся дымной лачужки, имѣвшей видъ заплаты даже въ сосѣдствѣ невзрачныхъ избенокъ; не было у него ни сохи, ни лошади, ни коровы; землю свою отдавалъ онъ за девять рублей въ годъ одному изъ сосѣдей. Жена Ѳедота доводилась, какъ извѣстно, Карпу племянницей; она была круглая сирота и самъ же Карпъ снарядилъ ей, по силѣ своей, кой-какое приданое. Она существовала тѣмъ, что ходила работать то къ одной сосѣдкѣ, то къ другой, и жила въ страшной бѣдности. Ѳедотъ не заглядывалъ домой по цѣлымъ полугодамъ. Къ какому бы мѣсту онъ ни прилаживался, ему нигдѣ не уживалось; онъ самъ отходилъ, или его разсчитывали.

Въ первые два-три дня онъ приводилъ въ восхищеніе самаго взыскательнаго хозяина; расторопность его и усердіе въ работѣ—не имѣли границъ; онъ разомъ хватался за все, и все кипѣло и выправлялось въ рукахъ его;

не только прикладывалъ онъ стараніе къ той части, для которой собственно его наняли, но радѣлъ и надсаживался тамъ, гдѣ, казалось, его вовсе не спрашивали; онъ выметалъ дворъ, чистилъ хозяйскій самоваръ, приколачивалъ жерди или доски тамъ, гдѣ онѣ доставляли удобство; и вдругъ, на третій или четвертый день, все это радѣніе плашмя падало; онъ ни съ того, ни съ сего насупливался, переставалъ говорить, словно его чѣмъ обидѣли, и наконецъ вовсе бросалъ заниматься дѣломъ: проводилъ день-деньской сидя у вороть или такъ билъ баклуши. И все это происходило вовсе не потому, чтобы дѣйствительно нашелъ онъ поводъ быть чѣмъ-нибудь недовольнымъ; такой ужъ видно капризъ напалъ. Вдругъ казалось ему, что хозяева не довольно его цѣнятъ и не отдаютъ ему должнаго уваженія; или выходило все изъ того, что онъ вдругъ обижался, зачѣмъ, при возвращеніи съ работы, хозяева не поставили ему самовара, тогда какъ онъ прежде вовсе не думалъ объ этомъ, никогда этого не случалось, никогда даже не думали уговариваться насчетъ самовара ни хозяева, ни самъ Ѳедотъ. Какъ только такая дурь попадала Ѳедоту въ голову, онъ дѣлался невыносимъ. Онъ начиналъ смотрѣть на всѣхъ свысока, дѣлался недоступно-гордымъ и уже съ этой минуты никого не удостоивалъ словомъ; едва-едва даже отвѣчалъ хозяевамъ, когда тѣ спрашивали о самомъ важномъ дѣлѣ.

Разсказы Ѳедота не долго, впрочемъ, занимали Карпа; пославъ его мысленно къ нечистому, старикъ снова обратился къ настоящимъ своимъ дѣламъ и снова отдался прежнимъ тревожнымъ думамъ; къ нимъ присоединялась теперь мысль объ утратѣ сѣренькаго меренка, котораго онъ такъ долго ждалъ, берегъ и холилъ съ такою заботливостью.

Такимъ образомъ Карпъ незамѣтно почти возвратился въ Антоновку; онъ не пошелъ къ околицѣ, но повернулъ задами деревни, прошелъ къ себѣ въ ригу, помолился и растянулся на соломѣ, прикрывъ лицо шапкой.

XVI.

Въ сельской трудовой жизни, особенно съ апрѣля до октября, время пролетаетъ съ неимовѣрной быстротою; не успѣваешь кончить съ одной работой, смотришь, уже другая наготовѣ; въ иную пору скопляется вдругъ столько занятій, что длинный лѣтній день кажется короткимъ. Не-

смотря, что дѣло, повидимому, очень немногосложно: все ограничивается овсомъ, рожью и сѣномъ,—руки неутомимо работаютъ и потъ льется ручьями въ продолженіе цѣлыхъ шести мѣсяцевъ.

Самыя эти занятія такъ разнообразны и несхожи одно съ другимъ, что каждое изъ нихъ не только вноситъ новыя условія въ жизнь простолюдина, но совершенно даже даетъ новую физіономію деревнѣ и окрестности. Всего какихъ-нибудь четыре недѣли назадъ, деревни и села были пусты и оживлялись только по праздникамъ или къ вечеру, послѣ солнечнаго заката. Жизнь сосредоточивалась въ полѣ; тамъ кипѣла полная дѣятельность; тамъ отъ зари до зари неумолкаемо звенѣли косы, скрипѣли воза и раздавался говоръ. Теперь все перемѣнилось; теперь, въ свою очередь, опустѣло поле; самыя стрекозы и мухи неизвѣстно куда вдругъ дѣлись; изрѣдка слышится протяжное посвистываніе пастуха, который лѣниво подгоняетъ тощее крестьянское стадо.

Время и дожди не мало также содѣйствовали къ тому, чтобы дать окрестности другой характеръ; жара миновала и вмѣстѣ съ тѣмъ поблѣднѣло лучезарное небо, на которое нельзя было взглянуть не прищурясь. Рощи смотрятъ теперь бодро, хотя по опушкамъ начинаетъ кое-гдѣ показываться желтый листъ; луга сбросили болѣзненный видъ и снова стелются яркимъ зеленымъ бархатомъ; темныя увлаженныя десятины, только что засѣянныя подъ озимь, рѣзко отдѣляясь отъ блѣдно-желтаго жнивья, придаютъ картинность мѣстности, которая прежде затушевывалась скучнымъ, однообразнымъ сѣрымъ тономъ. Съ рѣчкой также произошла перемѣна; она стала полнѣе, такъ что сѣдые листья лопуха, которыми покрыты были песчаные откосы береговъ, кажутся теперь плавающими надъ водою. Ручьи, едва замѣтно пробиравшіеся между каменьями, звонко гремятъ теперь, унося съ быстротою обломки древесной коры и сухіе листья; но уже въ укромныхъ мѣстахъ, густо обросшихъ зарею и травами, тамъ, гдѣ ручьи впадаютъ въ рѣку, — не роятся коромысла со своими стеклянными головками и кисейными крыльями.

Но что особенно бросалось въ глаза, такъ это перемѣна въ Антоновкѣ. Она словно обновилась. Всѣ почти избы покрыты новой соломой; на задахъ деревни неуклюжія риги заслонены скирдами, которыя, привлекательно круглясь въ сжатомъ пространствѣ гуменъ, гордо возно-

сятъ свои остроконечныя макушки. Со всѣхъ сторонъ раздаются учащенные удары цѣповъ или слышится шумъ подбрасываемаго на воздухъ зерна, которое звонко падаетъ на гладко-убитый токъ.

Въ этой дѣятельности, сосредоточенной въ деревнѣ, всегда какъ-то меньше суетливости, чѣмъ въ полѣ, даромъ что тамъ она сжата, здѣсь разсѣяна на большомъ пространствѣ. Въ полѣ чувствуется всегда присутствіе чего-то спѣшнаго, судорожно-хлопотливаго,—словно весь работающій людъ находится подъ вліяніемъ тревожнаго какого-то ожиданія; въ деревнѣ совсѣмъ не то; прислушайтесь осенью, въ будничный день, къ деревенскимъ звукамъ—въ нихъ нѣтъ ничего безпокойнаго. Со всѣхъ сторонъ бьютъ цѣпы, шумитъ рожь, а между тѣмъ нѣтъ тревоги, нѣтъ суетливости; отовсюду вѣетъ миромъ и кротостью,—чѣмъ-то такимъ, что сообщаетъ душѣ спокойное, удовлетворенное чувство.

Тайна этого не заключается ли въ тѣхъ высокихъ скирдахъ ржи и овса, которые заслоняютъ гумно каждаго почти крестьянина?..

XVII.

Хотя ворота барновой риги,—тѣ ворота, которыя отворялись на токъ,—были настежь раскрыты, нечего было думать приступать съ этой стороны. Изъ воротъ вылетало, клубясь и подымаясь кверху, цѣлое облако пыли; передъ входомъ громоздился ворохъ куколи, мякины и всякаго сору; кромѣ того, легкая летѣвшая пыль ослѣпила бы глаза. Надо было обогнуть строеніе и войти въ другія ворота, также настежь отворенныя, но обращенныя къ полямъ, откуда тянулъ легкій вѣтерокъ.

При входѣ въ ригу, сначала рѣшительно ничего нельзя было разсмотрѣть отъ рѣзкаго перехода изъ свѣта подъ темную крышу, но это проходило скоро. Прежде всего выставлялись горы взбитой соломы и между ними, сквозь облако пыли, виднѣлись Карпъ, его сынъ и сноха, которые, стоя другъ противъ друга, неистово махали цѣпами, стараясь повидимому истребить другъ друга; потомъ, п взглядѣ на верхъ, постепенно выяснялись кривыя стр пила и пучки соломы, изъ которыхъ поминутно вылета. ласточки, стремительно пропадавшія въ свѣтломъ пят воротъ. Подъ конецъ, глазъ совершенно привыкалъ, н чиналъ даже любоваться коричневымъ полусвѣтомъ, к

торый наполнялъ ригу и постепенно темнѣлъ, приближаясь къ воротамъ, какъ бы для того, чтобы еще рѣзче выставить всю миловидность свѣтлаго пейзажа съ клочкомъ голубого неба, зеленымъ лужкомъ и сверкающимъ бѣлымъ облакомъ, отражавшимся въ поворотѣ рѣчки.

Судя по солнцу, время приближалось къ полудню, когда за плетнемъ неожиданно раздались чьи-то охи; вслѣдъ затѣмъ въ свѣтломъ пространствѣ воротъ показалась Дуня.

Пройдя отъ дому до риги, она совсѣмъ уже запыхалась и черезъ силу поддерживала Ваську; выпучивъ глаза и засунувъ въ ротъ указательный палецъ, Васька такъ же мало повидимому заботился о рукахъ сестры, какъ паша какой-нибудь о диванѣ, на которомъ покоится.

— Ухъ! вымолвила Дуня, переваливая Ваську на другое плечо. — Дѣдушка, староста зоветъ! подхватила она торопливо, — стучитъ подъ окнами, народъ собираетъ... Подъ ветлой на улицѣ народъ собирается!..

— Чего имъ тамъ надо!.. произнесъ Карпъ, опуская цѣпъ.

— Не знаю, дѣдушка! отозвалась внучка, думавшая, что вопросъ къ ней относился.

— Гаврило никакъ въ контору не ѣздилъ... замѣтилъ Петръ.

— Оттуда, можетъ, приказъ прислали, сказалъ Карпъ, надѣвая шапку и утирая рукавомъ лицо, совсѣмъ почернѣвшее отъ пыли.—Скоро время обѣдать, вымолвилъ онъ, останавливаясь въ воротахъ, — вы, какъ копну домолотите, домой ступайте, я скоро приду.

— Ладно, батюшка! отозвался сынъ, принимаясь снова за цѣпъ.

XVIII.

Народъ дѣйствительно собирался къ ветлѣ, бросавшей тѣнь на тесовую крышу мірского магазина. Еще издали Карпъ услышалъ шумный говоръ. Судя по тому, съ какою поспѣшностью крестьяне шли къ сборному мѣсту, надо было думать, причина сбора была немаловажная и слухъ ней успѣлъ уже обѣжать деревню.

Карпъ ускорилъ шагъ.

— Карпъ, слышалъ? обратился къ нему старый мужикъ, толкавшійся вмѣстѣ съ другими.

— Ничего не знаю...

— Оброкъ требуютъ!

— Какъ такъ?

— Теперь, говорятъ, требуютъ...

— Срокъ къ Кузьмѣ и Демьяну; всегда такъ отдавали... Еще семь недѣль до срока остается...

— Теперь, говорю, требуютъ! Изъ конторы писарь съ бумагой пріѣхалъ; сказываютъ, наказъ такой изъ Питера баринъ прислалъ...

— Кто сказывалъ-то?

— Гаврило; онъ и бумагу читалъ...

Карпъ, приведенный въ смущенье такимъ извѣстіемъ, началъ протискиваться въ кружокъ, чтобы узнать что-нибудь повѣрнѣе; но толку нельзя было добиться никакого; всѣ говорили въ одно и то же время, и всѣ говорили разное, перетолковывая каждый по-своему. Теперь, какъ и всегда впрочемъ въ случаяхъ мірской сходки, первымъ дѣйствующимъ лицомъ являлся рыжій Филиппъ, тотъ самый, который смѣлѣе другихъ выражалъ когда-то въ полѣ свое мнѣнье.

Голосъ его на этотъ разъ не покрывалъ остальныхъ голосовъ; тѣмъ не менѣе, плечистая фигура его, цѣлою головою почти превышавшая толпу, появлялась то въ одномъ концѣ сборища, то въ другомъ; шапка его то и дѣло пригибалась къ уху товарищей, съ которыми не переставалъ онъ втихомолку, но съ одушевленіемъ разговаривать.

— Гдѣ жъ староста? Куда его носитъ! всѣ никакъ собрались... Кого еще надо?.. громко наконецъ произнесъ Филиппъ, выпрямляя голову.—Эй, Гаврило! крикнулъ онъ еще громче, поглядывая на улицу и обращаясь къ старостѣ, который обходилъ послѣднія избы, постукивая въ окна.—Эй, староста! ступай! Всѣ ужъ здѣсь!..

— Иду! отозвался Гаврило, торопливо направляясь къ магазину.

Толпа разступилась и замкнула въ свой кругъ старосту. Человѣкъ десять, изъ которыхъ одинъ только разбиралъ печать, но не могъ читать писаннаго, легли Гаврилѣ почти на спину.

— Что вы, братцы! сказалъ староста, ворочаясь мѣстѣ, — думаете, что я отъ васъ утаить хочу, что грамотѣ писано... Бери, читай самъ, кто хочетъ...

— Ну, читай, читай! нетерпѣливо вымолвилъ Филиппъ, становясь къ старостѣ ближе всѣхъ. — Помолчи только, братцы, ничего какъ есть не слышно.

Вмигъ все замолкло.

Гаврило вынулъ изъ-за пазухи письмо и прочелъ довольно внятно и толково слѣдующее:

„Гаврило Андреевъ, съ полученіемъ сего, приказываю тебѣ собрать мірскую сходку и объявить о немедленномъ сборѣ оброка; въ случаѣ если выйдутъ какія замедленія, приказываю тебѣ не медля явиться въ контору и донести мнѣ объ этомъ.

Старшій управляющій конторой Поповъ".

Громкій ропотъ пробѣжалъ въ толпѣ; все заколыхалось и пришло въ движеніе.

XIX.

— Что жъ намъ, братцы, дѣлать теперича? спросилъ Гаврило съ недоумѣвающимъ видомъ.

— А то дѣлать — не отдавать оброка, — вотъ и все! сказалъ Филиппъ, оглядываясь вокругъ и стараясь увѣриться, не торчитъ ли гдѣ-нибудь писарь, присланный изъ конторы. — Сказано: срокъ къ Кузьмѣ и Демьяну, — тому, стало, и быть! прибавилъ онъ рѣшительно.

— Писарь сказывалъ мнѣ, началъ Гаврило, — изъ Питера въ контору такой приказъ пришелъ; самъ баринъ велѣлъ оброкъ представить...

— Господа нашего положенія не вѣдаютъ; это все вертятъ эти мошенники управители! заговорилъ опять Филиппъ.—Православные! воскликнулъ онъ, неожиданно обращаясь къ толпѣ, при чемъ лицо его сдѣлалось вдругъ такимъ же краснымъ, какъ волосы и коротенькая курчавая бородка, — православные! что жъ вы стоите, молчите? Надо всѣмъ отвѣтъ держать!.. Что жъ это такое! одно, выходитъ, разоренье! До оброка цѣлыхъ семь недѣль сроку остается... Откуда теперь взять его? У многихъ хлѣбъ еще въ полѣ; а хошь и обмолотились, куда его продашь? Цѣны нѣтъ никакой теперь. Даромъ, что ли, отдавать?

Въ толпѣ опять разомъ все заговорило, такъ что въ первую минуту невозможно было разобрать слова.

— Погодите маленько, братцы, дайте слово сказать! крикнулъ Гаврило.

Снова наступило молчаніе.

— Обо всемъ этомъ, что ты говоришь, Филиппъ, сами мы знаемъ, началъ Гаврило,—надо, примѣрно, не объ этомъ... Настоящимъ дѣломъ разсудить надо... Оброка, говоришь,

не платить... Велятъ—такъ заплатишь... Надо настоящее говорить... потому словесами одними ничего не сдѣлаешь...

— Изволь, я и настоящее скажу... Давно бы сказалъ... ты же перебиваешь! Настоящее то, что въ контору надо ѣхать къ управителю! возразилъ Филиппъ.—Велѣли міру собраться — и собрался; міромъ и положили: время такое,—нѣтъ силы возможности отдавать оброка; къ Кузьмѣ-Демьяну отдадимъ, какъ слѣдуетъ по положенью... Теперь нѣтъ цѣны на хлѣбъ... Продать теперь — значитъ разоренье одно... такъ и сказать надо!..

Всѣ въ одинъ голосъ подхватили мысль Филиппа. Напрасно Гаврило убѣждалъ въ безполезности поѣздки къ управителю съ такимъ порученьемъ, напрасно приводилъ изъ опыта разные примѣры, — міръ поставилъ на томъ, чтобы Гаврило ѣхалъ.

Рѣшивъ такимъ образомъ, толпа стала расходиться, собираясь на улицѣ маленькими кучками, въ которыхъ громко говорили.

Карпъ вернулся домой чуть ли не изъ послѣднихъ.

Войдя на дворъ, онъ засталъ жену и сноху подъ навѣсомъ, гдѣ стояли лошади; обѣ женщины, припавъ къ плетню лицомъ, жадно къ чему-то прислушивались. До слуха старика долетѣли въ то же время крики, раздававшіеся у сосѣда.

Скрипъ воротъ заставилъ бабъ обернуться; обѣ побѣжали къ Карпу.

— Батюшка, касатикъ, заговорила старуха, — сейчасъ Воробей съ братомъ сестру свою, солдатку, били... Такъ били, — у насъ даже слышно было... Пришли они какъ народъ сталъ расходиться—и давай колотить... Слышимъ, кричатъ... Что такое, думаемъ?.. Подошли послушать: ужъ такъ-то кричитъ—и-и-и!..

Карпъ сейчасъ же смекнулъ, въ чемъ дѣло; но онъ былъ слишкомъ не въ духѣ, чтобы вступить въ разговоръ и дать женѣ и снохѣ объясненіе того, что происходило у сосѣда. Онъ сдѣлалъ видъ, какъ будто не обратилъ никакого вниманія на слова жены.

Поднявшись на крыльцо, онъ сказалъ только бабамъ, чтобы скорѣе собирали обѣдать.

XX.

Несмотря на то, что зори по утрамъ начинали быть довольно холодны, Карпъ все еще продолжалъ спать въ

ригѣ. Въ ночь, которая слѣдовала послѣ сборища у магазина, Карпъ, начинавшій уже засыпать, внезапно пробудился и сталъ прислушиваться. Слухъ его явственно различилъ шорохъ; но гдѣ онъ раздавался, внутри или снаружи риги, — этого въ первую минуту не могъ разобрать старикъ... Наконецъ, слышно стало, что кто-то царапался вдоль плетня и перебиралъ ногами въ высокой крапивѣ, окружавшей ригу. Немного погодя, чьи-то руки ощупали деревянный засовъ и бережно начали отворять ворота.

— Кто тутъ? крикнулъ Карпъ, торопливо приподымаясь съ соломы.

— Я... дядюшка Карпъ... проговорилъ кто-то, шмыгнувъ въ ригу.

— Кто ты? еще громче крикнулъ Карпъ, дѣлая шагъ впередъ.

— Не призналъ, что ли?.. Я, я, — Ѳедотъ! произнесъ голосъ, явно старавшійся принять характеръ примирительный, заискивающій.

— Такъ это ты! могъ только выговорить старикъ, озадаченный такимъ неожиданнымъ появленіемъ.

— Было мнѣ по дорогѣ, думалъ отдохнуть у тебя, подхватилъ Ѳедотъ скороговоркою и какъ бы стараясь замять рѣчь старика.—Аксенъ просилъ сходить въ Андреевское... насчетъ, то-есть—корова тамъ у барыни продается... такъ посмотрѣть просилъ... Я у него живу теперича... Ну, запоздалъ маленько... Дѣло не спѣшное, думаю; дай зайду къ дядѣ Карпу, отдохну до зари...

— Врешь, врешь! безстыжіе твои глаза! заговорилъ сквозь зубы и какъ бы съ озлобленіемъ старикъ.—Врешь! знаю я, зачѣмъ ты сюда шляешься! Знаю, съ какими коровами ходишь... Собака ты этакая!..

— За что жъ ты ругаешься...

— Ахъ, ты, непутный ты этакой! продолжалъ Карпъ, все болѣе и болѣе разгорячаясь.—Будь я помоложе, — я бы въ тебѣ мѣста цѣлаго не оставилъ!..

— Не тотъ я человѣкъ, чтобы меня трогать! обиженнымъ тономъ возразилъ Ѳедотъ, — никто еще меня не рогалъ... Это ужъ я вижу: значитъ, тебѣ на меня наговорили...

— Нѣтъ, не наговорили!.. Кто разболталъ Аксену про Серина, а? — кто?.. Говори, черезъ кого, коли не черезъ тебя, лошадь отошла отъ двора моего?..

— Слушай, Карпъ Иванычъ, снова скороговоркою началъ Ѳедотъ,—провалиться мнѣ на этомъ мѣстѣ, отсохни мои руки, лопни мои глаза...

— Молчи, безстыжій! Не божись лучше, не грѣши... Самъ я про все знаю.—Стой, погоди! воскликнулъ Карпъ, думая, что Ѳедотъ хочетъ улизнуть, тогда какъ Ѳедотъ отступалъ только въ сторону, боясь, чтобы Карпъ его не ударилъ. — Сказывай, благо пришло къ случаю: какія и когда давалъ ты мнѣ деньги? а? Говори, когда я бралъ у тебя? Зачѣмъ же ты разсказываешь, что ссужалъ меня деньгами, и теперь хоронишь, которыя остались,—боишься, не сталъ бы я просить на избу...

— Отсохни мои руки, лопни мои глаза... началъ было Ѳедотъ, но Карпъ не далъ ему договорить.

— Молчи, окаянный, не божись, самъ слышалъ!

— Ничего я этого не говорилъ.

— Врешь! Какъ шелъ я намедни ночью отъ Аксена, самъ слышалъ, какъ ты на парѣмѣ...

— Что ты? перебилъ Ѳедотъ, — ноги моей никогда на парѣмѣ не было! Все это, Карпъ Иванычъ, одни сплетки про меня пущаютъ, подхватилъ онъ невиннымъ голосомъ.—И охота только слушать тебѣ... Меня всѣ знаютъ!.. Не тотъ я человѣкъ совсѣмъ.

— Ну теперь, продолжалъ Карпъ, не обращая вниманія на оправданіе своего родственника, — сказывай, зачѣмъ пришелъ? Чего надо?.. Сестра Воробья, солдатка, приманила!.. На себя бы ты поглядѣлъ!.. Тебѣ ли, лысому чорту, такими дѣлами заниматься?.. Хоть бы людей-то постыдился, коли въ тебѣ ни стыда нѣтъ, ни совѣсти! Вѣдь черезъ тебя ссоры только въ семьѣ да брань: и то сегодня, черезъ тебя, братья ее таскали... Да и тебѣ такъ не сойдетъ... Воробей съ братомъ сами мнѣ сказывали; попадись только имъ, — тутъ тебѣ и голову положить! Они и день и ночь на сторожбѣ, какъ бы только поймать тебя; можетъ, и теперь ужъ укараулили...

— Все это сплетки одни; какъ предъ Богомъ, сплетки... неувѣренно и даже плаксиво проговорилъ Ѳедотъ.

— Ладно, сплетки!.. А пока ступай отъ меня! провливай! чтобъ духу твоего здѣсь не было!..

— Дядя Карпъ, пусти переночевать,—сдѣлай милость Что жъ я, чужой тебѣ, что ли? робко промолвилъ Ѳедотъ

— Вонъ ступай, безстыжіе твои глаза! Вонъ!

— Дядя Карпъ, сдѣлай милость...

— Не пущу! заключилъ Карпъ, выталкивая Ѳедота, который пятился назадъ.—Вонъ ступай, говорю; вонъ,— и на глаза мнѣ не показывайся!..

Карпъ заперъ ворота и возвратился на солому. Шуму никакого не было теперь слышно за плетнями; изрѣдка,— и то едва примѣтно,—раздавался трескъ сухихъ стеблей, ломавшихся подъ ногами, которыми очевидно переступали съ большою осторожностью. Наконецъ все замолкло, кромѣ пѣтуховъ, которые начали вдругъ драть горло, почуявъ полночь.

XXI.

Но не успѣлъ Карпъ заснуть, шумъ въ воротахъ снова привлекъ его вниманіе; на этотъ разъ кто-то смѣло стучался.

— Кто тутъ? съ досадою крикнулъ старикъ.

— Я, дядя Карпъ! отозвался голосъ Филиппа.

Карпъ поднялся на ноги и отворилъ ригу.

— Я затѣмъ къ тебѣ въ такую пору, — не видать теперича... Не станутъ, значитъ, болтать... сказалъ Филиппъ.—Слышь, дядюшка, вотъ дѣло какое: я, почитай, ужъ со всѣми перемолвилъ, всѣ въ одномъ утвердились: до Кузьмы-Демьяна не отдавать оброка! Тутъ толковать нечего; знамо, не барину нужно; господа люди понятные; одна тутъ управительская воля. „Какъ, молъ, хочу, такъ и верчу!“ вотъ что! Управитель у насъ новый; возьметъ такую привычку, — житья намъ не будетъ... Мы вотъ на чемъ положили: извѣстно, одинъ человѣкъ упрется, ничего не сдѣлаетъ,—въ рогъ согнутъ! А какъ міромъ что скажутъ, коли весь міръ въ согласіи,—тутъ хошь-не-хошь, ничего не возьмешь; съ цѣлой деревней ничего нельзя сдѣлать; всѣхъ къ становому не отправишь.

— Такъ-то такъ, Филиппъ, отозвался старикъ,—не вышло бы только худо изъ этого...

— Эхъ! братецъ ты мой, говорю тебѣ, — весь міръ въ согласіи; главная причина, крѣпко только надо другъ за дружку держаться! Мы чего добиваемся? Хотимъ держаться до поры возможности, чтобы время протянуть до срока; установится на хлѣбъ цѣна настоящая, хлѣбъ продадимъ тогда и оброкъ бери... Такъ, что ли?

— Хорошо, какъ бы такъ-то...

— Главная причина, подхватилъ Филиппъ съ воодушевленіемъ, — не выдавать другъ друга! Примѣрно, хоть

тебя спросятъ:—„Зачѣмъ не продаешь хлѣбъ?“—„Я, говори, ничего... міръ не велитъ; всѣмъ міромъ такъ положили ждать до осени!..“ Такъ всѣ уговорились, я со всѣми перетолковалъ; всѣ на одномъ стоятъ: не продавать хлѣба до Кузьмы-Демьяна, пока цѣна не установится... Смотри, Карпъ, не выдавай; говори заодно со всѣми...

— Кому убытки, — мнѣ разоренье, сказалъ Карпъ. — коли мнѣ продать хлѣбъ теперь, безъ цѣны,—да изъ тѣхъ денегъ оброкъ отдать, ничего на избу не останется... Надо также и на зиму малость денегъ оставить...

— То-то же и есть!.. У тебя изба, у другого свои дѣла; у всякаго такъ-то!.. Такъ слышь: какъ другіе, такъ и ты дѣлай; такой ужъ уговоръ; я затѣмъ и зашелъ къ тебѣ, чтобы какъ, то-есть, повѣрнѣе... Ну, прощай, время итти... заключилъ Филиппъ, суетливо выходя изъ риги.

Карпъ снова отправился на солому; но сколько ни ворочался онъ съ боку на бокъ, на этотъ разъ долго не могъ заснуть; сонъ сморилъ его тогда только, какъ пропѣли вторые пѣтухи.

XXII.

На другой день, вечеромъ, Карпъ, осмотрѣвъ свое озимое поле и оставшись очень доволенъ всходами, возвращался въ Антоновку, когда, не далеко отъ поворота въ околицу, услышалъ за собою трескотню телѣжки. Онъ оглянулся; узнавъ по гнѣдой вислоухой лошади владѣльца телѣги, Карпъ остановился; лицо его замѣтно оживилось любопытствомъ. Немного погодя, телѣга съ сидѣвшимъ въ ней старостой Гаврилой поровнялась съ Карпомъ.

Уже одна наружность Гаврилы свидѣтельствовала, что поѣздка его была крайне неуспѣшна; онъ сидѣлъ нахохлившись, какъ воробей послѣ дождя; глаза его противъ обыкновенія мрачно, недоброжелательно какъ-то поглядывали изъ-подъ шапки, пропускавшей большой клинъ клѣтчатаго платка, котораго онъ не думалъ поправлять.

— Что, какъ? спросилъ Карпъ, слѣдуя рядомъ съ телѣгой, которая продолжала приближаться къ околицѣ.

— Эхъ! былъ только отвѣтъ старосты.

— Худо, стало-быть?

Гаврило тряхнулъ только шапкой.

— Напрасно, значитъ, съѣздилъ?

— Говорилъ тогда,— нѣтъ, не вѣрили! вымолвилъ наконецъ староста.—Вышло все по-моему, какъ я говорилъ: ничего этого, о чемъ мы толковали, не беретъ въ разсужденье!.. Только ругается... Грозитъ еще станового прислать...

Карпъ зачмокалъ губами, отнялъ руку отъ перекладины телѣги и также нахохлился.

Такимъ образомъ вступили они въ околицу.

Появленіе Гаврилы на улицѣ произвело ожидаемое дѣйствіе; многіе увидѣли старосту — и слухъ о его возвращеніи мигомъ распространился по деревнѣ. Едва подъѣхалъ онъ къ избѣ своей и вылѣзъ изъ телѣги, его окружила толпа еще многочисленнѣе той, которая стояла у магазина.

Все, что было взрослаго въ Антоновкѣ, знало болѣе или менѣе причину отъѣзда старосты, и всѣ любопытствовали узнать, какой будетъ отвѣтъ изъ конторы.

Въ первыя двѣ-три минуты Гаврило не могъ выговорить слова, — его рѣшительно затормошили; наконецъ, когда старые люди подали голосъ, призывая всѣхъ къ молчанію,—Гаврило передалъ міру почти то же, что сообщилъ Карпу.

— Писарь, который вечоръ пріѣзжалъ сюда, — не совралъ намъ, продолжалъ Гаврило,—точно, грамота такая пришла изъ Питера! Мнѣ земскій сказывалъ; онъ и письмо барина видѣлъ...

— Да ты сказалъ ли управителю, о чемъ міръ проситъ? неожиданно вмѣшался Филиппъ, просовываясь впередъ.

До той минуты онъ молча стоялъ въ толпѣ и только прислушивался.

— Ругается, кричитъ,—вотъ-те и все тутъ! ничего не сдѣлаешь! отвѣтилъ Гаврило, разводя руками, — знай, только кричитъ: „станового пришлю!..“

— Эка невидаль! перебилъ Филиппъ, — присылай, пожалуй! Мы становому то же скажемъ...

— Какъ же, станетъ онъ слушать! Онъ, знамо, управительскую руку держитъ, вымолвилъ Гаврило, — что скажетъ ему управитель,—тому и быть...

— Это какъ есть!.. Что онъ скажетъ,—тому и быть!.. Эхъ-ма... послышалось отовсюду на разные тоны.

— Православные! заговорилъ опять Филиппъ, съ живостью обращаясь къ толпѣ, — неужто взаправду разоряться? По-моему вотъ что дѣлать: самимъ къ управи-

телю ѣхать; выбрать изъ міра человѣкъ пятокъ и ѣхать... А коли не поможетъ, напишемъ тогда письмо къ барину; изъ Коломны, по почтѣ, чрезъ пять дней въ Питеръ доставятъ... Это всего вѣрнѣе... Помереть мнѣ, коли всѐ это дѣло не отъ управителя; помереть,—коли баринъ объ этомъ вѣдаетъ...

Одобрительный говоръ пробѣжалъ въ толпѣ.

— Православные! крикнулъ ободренный Филиппъ, все болѣе и болѣе воодушевляясь, — выходи, братцы, кто къ управителю поѣдетъ! Савелій, ступай сюда въ кругъ, обратился онъ къ рослому, смуглому мужику, стоявшему ближе другихъ.

— Охотниковъ безъ меня много... проговорилъ Савелій, запинаясь и пятясь назадъ.

— Стегнѣй, выходи! крикнулъ Филиппъ другому мужику съ оживленнымъ, рѣшительнымъ выраженіемъ лица.

Живое и рѣшительное лицо быстро скрылось въ толпѣ.

— Кумъ Демьянъ, поѣдемъ! опаски никакой нѣтъ; удастся—ладно, не удастся—письмо написать можно; поѣдемъ! выходи, становись въ кругъ!..

Но кумъ Демьянъ, шумѣвшій до сихъ поръ столько же, сколько самъ Филиппъ,—былъ, повидимому, другого мнѣнія. Онъ глухо пробормоталъ что-то, и съ этой минуты никто уже не слыхалъ его голоса.

Филиппъ, у котораго побѣлѣли губы, обратился еще къ тремъ-четыремъ человѣкамъ, но такъ же безуспѣшно.

Толпою, гдѣ плечо одного чувствовало плечо другого, всѣ надсаживали горло, выказывали смѣлость, рѣшимость— и, казалось, готовы были города брать; но, странное дѣло, какъ только дѣло касалось каждой личности порознь,— едва требовалось провѣрить силу убѣжденій цѣлаго общества по силѣ убѣжденія каждаго лица отдѣльно,—каждый, къ кому ни обращались, напрямикъ отказывался дѣйствовать и даже назадъ пятился.

— Полно, Филиппъ! ничего изъ того не будетъ, проговорилъ Гаврило, поглядывая на Филиппа, который, казалось, съ трудомъ удерживалъ кипѣвшее въ немъ негодованіе.

— Извѣстно, ничего не будетъ, когда сначала всѣ заодно, а какъ пришло къ дѣлу, — всѣ врозь, сказалъ Филиппъ. — Испугались, что ли?.. примолвилъ онъ, мрачно озираясь вокругъ.

— Что ты храбришься-то! ѣхалъ бы самъ, коль охота есть! иронически замѣтилъ Гаврило.

Въ толпѣ многіе засмѣялись.

Это окончательно взорвало Филиппа.

— Что жъ, и поѣду, сказалъ онъ, обмѣривая глазами Гаврилу, — ты, можетъ, ничего этого не сказалъ, какъ надобно, управителю... добре ужъ оченно страхъ взялъ!.. Потомъ пріѣхалъ, разсказываешь! такое-то молъ рѣшеніе,— а тутъ тебѣ и повѣрили...

— Повѣрили! повѣрили! перебилъ староста, передразнивая Филиппа, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, изъ предосторожности отодвигаясь назадъ.—Поѣзжай самъ, говорю,—авось сладишь...

Вмѣсто отвѣта, Филиппъ снова обратился къ толпѣ:

— Что жъ, православные, никто, стало, не ѣдетъ?.. всѣ отъ слова отступились!..

Каждый разъ, какъ взглядъ его куда-нибудь устремлялся, тамъ тотчасъ же воцарялось молчаніе и въ толпѣ замѣтно рѣдѣло.

Филиппъ плюнулъ на-земь, рванулся впередъ и быстрыми шагами пошелъ къ своему дому.

— Экой горячій! Бѣдовый!.. Рыжіе и всѣ такіе-то!.. Куды бравый какой!.. раздалось въ толпѣ.

Общее мнѣніе было таково, что Филиппъ нахвасталъ,— хотя до сихъ поръ никто еще не могъ привести случая, когда бы Филиппъ поступилъ такимъ образомъ. Вскорѣ объ немъ совсѣмъ забыли. Вездѣ, во всѣхъ отдѣльныхъ кружкахъ только и толку было, что объ извѣстіи, привезенномъ Гаврилой, — о томъ, что такая ужъ, знать, напасть пришла, — и дѣлать нечего: наступили, знать, времена такія тяжкія!

XXIII.

Между тѣмъ, братъ Филиппа и другіе члены его семейства, которое было очень многочисленно, спѣшили возвратиться домой.

Увидя, что Филиппъ не шутя приготовляется въ путь, всѣ приступили къ нему, убѣждая его не ѣхать. Но Филиппъ ничего не хотѣлъ слушать; онъ велѣлъ бабамъ итти въ избу и оставилъ при себѣ только брата, съ которымъ жилъ всегда очень дружно; они до сихъ поръ ни разу даже не поссорились.

Братъ началъ въ свою очередь убѣждать Филиппа оставить свое намѣреніе.

— Вотъ вздоръ какой! Чего ты опасаешься? возразилъ Филиппъ голосомъ, который показывалъ, что сердце его еще не улеглось и кипѣло остаткомъ негодованія.

— Боюсь, братъ, не вышло бы худа изъ этого...

— Это насчетъ меня, думаешь? Ничего не будетъ! Каковъ ни есть управитель, онъ все же свой разсудокъ имѣетъ; увидитъ — не пьяница я, не бунтовщикъ какой; пріѣхалъ просить объ настоящемъ дѣлѣ.

— Хорошо, какъ послушаетъ; сказываютъ, не такой человѣкъ...

— Вретъ Гаврило! нетерпѣливо перебилъ Филиппъ. — Отсохни правая моя рука, коли не вретъ! Самъ разсуди: статочное ли дѣло, чтобы человѣкъ, какой онъ ни есть, слушать не сталъ, коли толкомъ, настоящее говорятъ? Побожиться радъ,—Гаврило ничего этого, что надо было, не сказалъ управителю; такая ужъ душа соломенная! Не токмо передъ управителемъ, другой разъ и передъ своимъ-то братомъ,—кто побойчѣе,—и то молчитъ... Ты ничего этого не опасайся. Пріѣду, скажу: такъ и такъ, повременить только просимъ до срока,—какъ по положенью... цѣна уставится,—къ Кузьмѣ-Демьяну все какъ есть представимъ...

— Дѣлай, какъ знаешь; я бы не поѣхалъ, сказалъ братъ.

— Это почему?

— Потому, если и ладно сойдетъ, послушаетъ тебя управитель,—не стоятъ они того, чтобы хлопотать...

— Думаешь, за міръ просить ѣду?.. съ живостью произнесъ Филиппъ. — Нѣтъ, подождутъ теперича! Пускай опять Гаврилу посылаютъ,—чортъ съ ними! Какъ знаютъ, такъ пускай сами раздѣлываются... Какъ только къ дѣлу пришло, всѣ одинъ за однимъ отступились... Ѣду за себя просить, — за семью свою. Намъ всего накладнѣе приходится; хлѣба продашь вдвое, — деньги выручишь тѣ же: по семейству по нашему, давай Богъ, чтобъ, при настоящей-то цѣнѣ, на зиму хлѣба достало, покупать не пришлось; потому больше и ѣду. Нѣтъ, раздѣлывайся они какъ сами вѣдаютъ!.. Я теперь, что хошь мнѣ давай, пальца не согну для міра,—шабашъ!..

Братъ, побѣжденный отчасти такими доводами, не старался болѣе удерживать Филиппа и помогъ ему даже прячь лошадь.

XXIV.

Какъ только узнали въ деревнѣ объ отъѣздѣ Филиппа, мнѣніе объ немъ тотчасъ же перемѣнилось. Даже тѣ, которые на сходкѣ подтрунивали надъ нимъ заодно съ Гаврилой и говорили, что Филиппъ только храбрится и хвастаетъ, не переставали теперь выхвалять его, величали его самымъ толковымъ, дѣловымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ самымъ смѣлымъ мужикомъ деревни. Всѣ домохозяева, повѣсившіе-было голову, снова исполнились надеждой и воспрянули духомъ, — точно такъ же, какъ въ то время, когда ждали возвращенія Гаврилы. Деревня снова громко заговорила.

Гаврило, переходя изъ избы въ другую, напрасно убѣждалъ всѣхъ, что поѣздка Филиппа не принесетъ никакой пользы, кромѣ той развѣ, что его самого хорошенько проучатъ и сдѣлаютъ посмирнѣе,—что управитель,—если бъ даже не понуждало его къ тому письмо барина,—совсѣмъ не таковскій человѣкъ, чтобы сталъ кого-нибудь слушать; напрасно убѣждалъ онъ покориться и приступить къ сбору оброка,—никто не трогался съ мѣста; отовсюду встрѣчалъ онъ одинъ отвѣтъ: „торопиться некуда; время терпитъ; дай Филиппу пріѣхать,—что Филиппъ скажетъ!“...

На другой день вечеромъ напрасно однакожъ прождали Филиппа; онъ не возвращался.

— „Что жъ бы это значило?..“ спрашивали другъ друга сосѣди.

Въ домѣ самого Филиппа началась между тѣмъ тревога: мать, жена и сестры его, одна за другой, выбѣгали на дорогу за околицу; часто та или другая выжидали его тамъ по цѣлому часу. Безпокойство замѣтно также начало овладѣвать братомъ. На слѣдующій день, въ домѣ Филиппа раздались всхлипыванья.

Прошелъ и этотъ день. Филиппъ все-таки не возвращался. Всхлипыванья въ его домѣ превратились въ громкій вопль. Братъ началъ-было уговаривать мать и сестеръ, стараясь всячески ихъ обнадежить,—ничего не помогало; ь женѣ брата онъ уже не приступался; она лежала ничомъ на дворѣ и голосила словно по покойникѣ.

Наконецъ, на четвертый только день, поздно вечеромъ, распространился слухъ, что Филиппъ пріѣхалъ. Немного погодя, стали разглашать по деревнѣ странныя вѣсти: говорили, будто Филиппъ какъ только вышелъ изъ телѣжки,

прямо отправился къ себѣ въ ригу; ни съ кѣмъ изъ домашнихъ онъ не поздоровался, никому даже слова не промолвилъ. Обрадованная жена, съ которой жилъ онъ всегда ладно, бросилась-было къ нему съ воплемъ, — онъ грубо отвелъ ее руками и сказалъ только:—„что тебѣ... давно, что ли, не видала?..“ Послѣ того пошелъ онъ въ ригу. Жена, мать и сестры послѣдовали за нимъ, желая добиться какого-нибудь толку,—онъ всѣхъ разогналъ, всѣмъ велѣлъ идти домой и допустилъ къ себѣ одного брата. Войдя въ ригу, Филиппъ съ сердцемъ бросилъ на-земь полушубокъ, бросилъ шапку и ничкомъ повалился на солому. Два-три человѣка, которымъ потомъ удалось говорить съ братомъ, спѣшили сообщить, что Филиппъ велѣлъ брату везти хлѣбъ и продать его за первую цѣну, какую дадутъ.

— „Стало, и намъ то же дѣлать!“ былъ общій отзывъ.

Слухъ обо всемъ этомъ не замедлилъ, конечно, достигнуть ушей Карпа.

— Оброкъ не пуще великъ, а много придется теперь за него хлѣба отдать! задумчиво промолвилъ старикъ, обратившись къ сыну, который передалъ ему общую вѣсть.— Хлѣба, который останется — только на зиму хватитъ для семейства.... Сколько ни считалъ я всѣ эти дни, не выручишь денегъ тѣхъ, что за избу отдать надобно... Такъ, стало, тому и быть! довершилъ онъ угрюмо.

Карпъ, точно такъ же какъ и остальные обыватели Антоновки, лишившись всякой надежды на благопріятный поворотъ дѣла, упалъ вдругъ духомъ и толковалъ теперь о томъ только, чтобы насыпать возы и везти хлѣбъ на продажу.

Такъ какъ пятнадцать рублей, получаемые Гаврилой въ видѣ жалованья, засчитывались ему ежегодно въ оброкъ,—староста на свой счетъ не очень сокрушался. Онъ тревожился тѣмъ только, что управитель, того и смотри, пришлетъ за нимъ и потребуетъ отчетъ за медленный сборъ мірского оброка. Движимый такою мыслью, онъ еще неусыпнѣе началъ убѣждать всѣхъ и каждаго, что если ужъ вышло такое невзгодье — откладывать нечего; чѣмъ скорѣе отдашь деньги, тѣмъ скорѣе отвяжешься отъ управительскаго надзора и непріятностей, которыя грозятъ міру въ случаѣ промедленія.

— Главная причина, въ спокойствіи тогда оставятъ вотъ что! повторялъ староста; — станемъ оттягивать, — осерчаетъ, ужъ это навѣрное такъ; пожалуй, еще стан(

вого пришлетъ... расправа начнется... что жъ хорошаго??..

На этотъ разъ никто не возражалъ ему; вмѣсто смѣлыхъ, бойкихъ отвѣтовъ, онъ встрѣчалъ одну молчаливую покорность.

Рѣшено было всѣмъ міромъ понавѣдаться завтра же утромъ къ Дроздову и условиться съ нимъ насчетъ цѣнъ. Впрочемъ, это были одни только пустые разговоры; никто не сомнѣвался, что все равно надо будетъ отдать хлѣбъ за ту цѣну, которую назначитъ Дроздовъ.

XXV.

То же самое ожидало крестьянъ, если бъ они повезли теперь хлѣбъ въ ближайшіе уѣздные города. Купцы очень хорошо знаютъ, что если мужикъ въ такую пору пріѣхалъ съ хлѣбомъ,—видимое дѣло, его прижали, ему до зарѣзу надобны деньги; они спѣшатъ воспользоваться такимъ благопріятнымъ обстоятельствомъ, и въ свою очередь его прижимаютъ. Городскіе кулаки еще плутоватѣе, еще неумолимѣе деревенскихъ. Уже одно то, что крестьянинъ насыпаетъ дома рожь настоящей мѣрой, а купецъ принимаетъ ее по своей мѣрѣ, несравненно бо̀льшаго объема, — заставляетъ всегда перваго избѣгать продажи въ городѣ.

На этомъ основаніи антоновцы рѣшились прибѣгнуть къ Дроздову; къ тому же онъ проживалъ отъ деревни верстахъ въ пяти всего-на-все.

Дроздовъ или, лучше, Никаноръ, потому что такъ обыкновенно называлъ его народъ, — былъ простой откупившійся на волю мужикъ, содержавшій большую миткалевую фабраку.

Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ средней Россіи такихъ фабрикъ развелось, — особенно въ послѣдніе годы, — такое множество, что нѣтъ почти деревни, гдѣ бы не возвышалось неуклюжаго бревенчатаго строенія, изъ котораго съ утра и до вечера слышится шумъ разматываемой бумаги и щелкотня ткацкихъ становъ. Надъ этими фабриками не существуетъ ни присмотра, ни контроля; хозяева, обезпечивая себя ежегодно домашними расчетами съ мелкими мѣстными властями,—пріобрѣтаютъ положеніе, которое ничѣмъ почти не отличается отъ положенія начальниковъ дикихъ племенъ на самыхъ отдаленныхъ архипелагахъ Тихаго океана. Самоуправство является здѣсь въ полномъ своемъ безобразіи. Хозяева по произ-

волу измѣняютъ заработную плату; назначается такая-то цѣна за основу; основа готова,—хозяинъ перемѣнилъ цѣну, и работникъ получаетъ меньше того, на что разсчитывалъ. Бѣдные крестьяне сосѣднихъ деревень посылаютъ на фабрику своихъ дѣвочекъ и мальчиковъ для размотки бумаги; нѣтъ возможности приходить всякій день за нѣсколько верстъ и уходить вечеромъ; дѣти ночуютъ на фабрикахъ; все это спитъ гдѣ ни попало и въ повалку; можете судить о томъ, что здѣсь происходитъ и какъ, по мѣрѣ процвѣтанія фабрикъ, должна процвѣтать нравственность. Мало того, хозяева рѣдко или, вѣрнѣе, никогда не разсчитываются съ народомъ на чистыя деньги. Они покупаютъ въ городахъ залежалыя партіи сапоговъ, оптомъ скупаютъ шапки, подмоченную соль, годовалую муку, перепрѣвшую крупу и т. д. и разсчитываются такимъ матеріаломъ, ставя за него всегда втридорога противъ того, что стоитъ онъ имъ самимъ. Народъ, слѣдовательно, обутъ и одѣтъ скверно, ѣстъ худую пищу и постоянно безъ гроша денегъ.

Многіе изъ этихъ хозяевъ владѣютъ большими капиталами. Никаноръ принадлежалъ къ числу послѣднихъ. Впрочемъ, онъ продолжалъ только дѣло, начатое еще покойнымъ его родителемъ.

XXVI.

Взглянувъ на лицо фабриканта, нельзя было повѣрить, чтобы могъ онъ такъ успѣшно вести дѣла свои. Наружность Никанора ставила втупикъ, — такъ рѣзко противорѣчила она его дѣйствіямъ. На всемъ свѣтѣ не было, казалось, тупоумнѣе человѣка. Безцвѣтные на выкатѣ глаза, какъ у разварной рыбы, смотрѣли мутно, какъ будто угасла въ нихъ способность осмысливать предметы; плоскіе какъ щепки, волосы мертвенно висѣли по обѣимъ сторонамъ пухлаго, но крайне-болѣзненнаго лица, окруженнаго рѣдкими бакенами и такою же чахлой, жидкой бородкой; всѣ черты выражали одну сонливость, вялость, неспособность. Все въ немъ было одно къ одному; говорилъ онъ вяло, словно клещами хомутъ натягивалъ; ногами своими, обутыми въ башмаки, передвигалъ медленно, словно противъ воли. Ходилъ онъ всегда запахиваясь въ длинный бумажный набивной халатъ такого же почти грязновато-больного цвѣта, какъ и лицо его. Словомъ, не было возможности повѣрить, чтобы такой человѣкъ

былъ на что-нибудь роденъ. Дѣла его между тѣмъ шли блистательно; онъ ворочалъ такими деньгами, что ничего не значило ему усадить въ своемъ приходѣ пятьдесятъ тысячъ на постройку огромной кирпичной церкви съ круглымъ зеленымъ куполомъ.

Это не мѣшало однакожъ самому Никанору жить, какъ говорится, свинья-свиньей. Домъ его, очень помѣстительный, съ нижнимъ этажемъ кирпичнымъ, а верхомъ деревяннымъ, былъ крытъ желѣзомъ и выкрашенъ зеленой краской, оставшейся отъ церковнаго купола. Внизу помѣщались подвалы для склада товара и контора. Верхній этажъ изъ шести-семи комнатъ занималъ Никаноръ съ своимъ семействомъ.

Жилъ онъ собственно въ одной только изъ этихъ комнатъ; остальныя стояли пустыми; кое-гдѣ развѣ попадалась скамья или стояла кадушка съ квашеной капустой, прижатой кирпичомъ. Въ комнатѣ Никанора рамы не выставлялись со времени постройки дома; тамъ съ трудомъ можно было переводить дыханіе; все смотрѣло до невѣроятности грязно,—начиная съ самой хозяйки и ея засусленныхъ, золотушныхъ дѣтей и кончая зеленымъ, какъ словно прокислымъ самоваромъ и стеклами оконъ, почти до темноты засиженными мухами.

У дверей, въ высокомъ буромъ футлярѣ, доходившемъ до потолка, чикали часы съ циферблатомъ, размалеванными цвѣтами; въ углу стоялъ неприслоненный къ стѣнѣ диванъ, покрытый ободранной кожей: но Боже-было-упаси сѣсть на него; особенною опастностью угрожали гвоздики и тесемка, обшивавшая кое-гдѣ кожу; подъ каждымъ гвоздемъ и складкой сидѣло, мирно пріютясь, цѣлое гнѣздо клоповъ. Все это, кромѣ, впрочемъ, дивана, который постоянно, годы цѣлые, оставался на своемъ мѣстѣ,—чистилось и переставлялось разъ въ годъ,—именно на Страстной недѣлѣ передъ свѣтлымъ праздникомъ; тогда цѣлые ушаты воды разомъ проливались въ этомъ второмъ этажѣ; хляскъ воды раздавался повсюду; вода, не находя себѣ выхода, скорѣе всего утекала въ широкія щели кой-какъ сколоченнаго пола, удобряла земляную настилку, и этимъ способомъ разводила миріады блохъ, которыя несмѣтными легіонами появлялись уже къ Святой.

Но Никаноръ и его семейство такъ сжились со всѣмъ этимъ, что всякое другое мѣсто показалось бы имъ крайне неудобнымъ. Незачѣмъ было, слѣдовательно, измѣнять по-

рядка, начатаго, блаженной памяти, упокойнымъ родителямъ,—порядка, которымъ удовлетворялся сынъ и вѣрно будетъ удовлетворяться золотушное потомство.

XXVII.

Карпъ былъ одинъ изъ первыхъ, который явился къ Никанору. Войдя въ контору, старикъ засталъ тамъ хозяина. Въ конторѣ никого почти не было; стояли только двѣ бабы и оборванная дѣвочка, пришедшія за бумагой для размотки.

Тѣмъ не менѣе Никаноръ сдѣлалъ видъ, какъ будто не замѣтилъ вошедшаго. Онъ никогда не кланялся первымъ простому мужику. Никаноръ прежде былъ проще; гордость напала на него съ той самой поры, какъ воздвигъ онъ церковь и къ концу каждой обѣдни поминали его, какъ строителя храма, и подносили ему просвиру.

Карпъ подошелъ къ прилавку, раздѣлявшему контору на двѣ половины, и поклонился.

— Чего надо? спросилъ Никаноръ, едва поворачиваясь.

— Хлѣбца привезъ, Никаноръ Иванычъ... десять четвертей: не возьмешь ли?.. задобривающимъ голосомъ сказалъ Карпъ.

— Не надыть! возразилъ фабрикантъ какъ бы сквозь сонъ.

— Что жъ такъ?.. Возьми, сдѣлай милость!..

— Столько хлѣба навезли,—дѣвать некуда.

— Всего вѣдь десять четвертей!

— Къ тому же денегъ теперь нѣту... началъ было Никаноръ, но Карпъ перебилъ его:

— У тебя?.. У кого жъ и быть деньгамъ-то!.. Возьми, пожалуйста!

— Пять съ полтиной, коротко и сухо проговорилъ наконецъ Никаноръ.

— Какъ, за четверть? воскликнулъ Карпъ, между тѣмъ какъ фабрикантъ повернулся къ нему бокомъ и, казалось, пересталъ даже его слушать.—Побойся Бога! къ Кузьмѣ-Демьяну четверть-то девять рублей стоитъ; три рубля съ полтиной на четверть хочешь нажить... Бога ты побойся!

На мутномъ лицѣ Никанора промелькнула тѣнь пренебреженья.

— Чего ты присталъ ко мнѣ, произнесъ онъ, не возвышая однакожъ голоса, — говорю не надо: вези куда знаешь... гдѣ сходнѣе...

Въ эту минуту батрачка позвала хозяина наверхъ; почти въ то же время въ контору вошелъ еще мужичокъ изъ Антоновки.

Карпъ передалъ ему свой разговоръ съ фабрикантомъ.

— Дѣлать, знать, нечего, Карпъ Иванычъ; отдать надо, отвѣчалъ тотъ, — больше не дастъ; вечоръ ужъ трое изъ нашихъ къ нему пріѣзжали; за ту же цѣну отдали.

— Знаю, сказывали мнѣ, вымолвилъ старикъ. — Я думалъ, посовѣстится, не надбавитъ ли какимъ случаемъ; потому и разговоръ такой повелъ съ нимъ.

— Какъ же, жди отъ него совѣсти, экъ захотѣлъ!.. И я свои два воза за тѣ же деньги ссыпалъ, дѣлать-то нечего!..

Съ возвращеніемъ Никанора дѣло Карпа было кончено. Фабрикантъ, поручая приказчику сходить и смѣрять привезенную рожь, говорилъ такъ же сонливо, вяло и неохотно; казалось, онъ не подозрѣвалъ даже, какой огромный оборотъ дѣлалъ, скупая въ настоящее время хлѣбъ изъ Антоновки.

Получивъ деньги, Карпъ сѣлъ въ пустую телѣжку и вмѣстѣ съ сыномъ, помѣстившимся на другой подводѣ, отправился домой.

Путемъ-дорогой старикъ принялся въ сотый разъ сводить свои счеты; онъ какъ будто все еще не довѣрялъ прежнимъ своимъ соображеніемъ и думалъ — авось-либо выйдетъ какъ-нибудь по другому.

Нѣтъ, по другому не выходило! Прежніе расчеты были совершенно вѣрны. Отдавъ пятьдесятъ-два съ полтиной оброку, отложивъ десять четвертей на зиму для семейства, Карпъ могъ продать всего-на-все шесть четвертей ржи и четыре четверти овса. Какъ умомъ ни раскидывай, не было возможности, даже при самыхъ счастливыхъ обстоятельствахъ, выручить изъ этого столько денегъ, чтобы добавить Аксену за срубъ, отдать плотникамъ за постановку избы, печнику за печь — и мало ли еще сколько денегъ требуется при сооруженіи новаго дома!

Касательно перваго задатка, отданнаго Аксену, Карпъ не безпокоился; Аксенъ былъ извѣстенъ своею честностью; старикъ ни на минуту не сомнѣвался, что получитъ свои деньги. Но вотъ что неотступно его тревожило, — тревожила мысль о второмъ задаткѣ, о сѣромъ меренкѣ, который, какъ на зло, приглянулся Аксену такъ, что послѣдній имъ не нахваливался. Тутъ какъ быть? Какъ тутъ раз-

считываться? Вѣрнѣе всего, Аксенъ оставитъ его за собою; вѣдь ему надо получить вознагражденіе за убытки; на избу много было охотниковъ; не случись Карпа, Аксенъ давно бы продалъ ее съ барышами.

Карпъ такъ углубился въ свои соображенія, что поднялъ голову тогда только, какъ лошадь остановилась передъ его воротами.

Послѣ дождя, лившаго всю ночь и все утро, избенка какъ нарочно представлялась такой кислой, такъ грустно поглядывала на улицу своими крошечными окнами, полусгнившими углами и выдавшейся мокрой стѣною, что вчужѣ забирала жалость.

Понятно, такой видъ не могъ порадовать и развлечь ея владѣльца.

XXVIII.

Время, между тѣмъ, шло своимъ чередомъ, свершая въ природѣ обычные, неумолимо-неизмѣнные перевороты. Давно ли, кажется, поля, луга и рощи дышали такимъ оживленьемъ? Все это миновало! Первыми возвѣстниками наступающихъ холодовъ были, по обыкновенію, ласточки; онѣ отлетѣли съ первыми морозными утренниками. За ними, въ похолодѣвшемъ воздухѣ, пронеслись длинныя бѣлыя нити тенетника; потомъ, въ свѣтломъ, хотя уже блѣдно-зеленоватомъ небѣ, пролетѣли журавли, возбуждая отдаленнымъ крикомъ своимъ громкіе возгласы деревенскихъ мальчишекъ.

Давно ли, наконецъ, антоновская роща, одѣтая съ макушки до корня зеленью клена, березы, орѣшника и разнаго рода кустарниковъ, наполнялась веселымъ трескомъ, свистомъ и пѣніемъ каждый разъ, какъ проникалъ въ нее первый солнечный лучъ? Давно ли, кажется, было все это!.. Теперь, отъ маковки до корня, стоитъ она обнаженная, и хотя бы три раза въ сутки начинался день, не пошлетъ уже ему навстрѣчу веселыхъ, привѣтливыхъ звуковъ. Въ сѣрой, сквозящей глубинѣ рощи мелькаютъ одни голые стволы и перекрещиваются во всѣ стороны почернѣвшія обнаженныя вѣтви. Вмѣсто прохлады отовсюду несетъ сыростью и крѣпкимъ запахомъ опавшихъ листьевъ, которы наполняютъ глубину кустарниковъ и густо устилаютъ до рогу. Изрѣдка, кое-гдѣ, тоскливо въ разладъ, чиликнет краснобрюхій снѣгирь или вдругъ въ сторонѣ зашурш каютъ листья и черезъ дорогу пугливо пробѣжитъ заяцъ

Все остальное, куда ни обращаются глаза, носитъ ту же печать опустѣнія. Окрестность словно состарѣлась; колеи, которыми изрыты дороги, кажутся глубокими морщинами; рѣчка, такъ долго отражавшая въ послѣднее время свинцовыя, сѣрыя тучи, усвоила навсегда какъ будто цвѣтъ ихъ, отвѣчающій, впрочемъ, общему тону печали, которымъ окутались не только окрестность, но и самое небо.

Куда дѣвался также веселый видъ деревни, когда, бывало, при заходящемъ солнцѣ, ослѣпительно сверкаютъ соломенныя крыши избушекъ; когда старыя ветлы, бросая черезъ рѣку на лугъ длинныя густыя тѣни, постепенно зарумяниваются, покрываясь багрянцемъ заката; когда весь деревенскій людъ, высыпая въ эту пору на улицу и—то уходя въ сизую тѣнь, бросаемую избушками, то выступая на свѣтъ—начинаетъ пѣть пѣсни и водить хороводы, играя на солнцѣ ярко-алыми и синими платками и рубашками... Куда все это дѣлось! Антоновки узнать невозможно. Она также отжила, какъ будто вдругъ состарѣлась. Стѣны избушекъ, вымоченныя безпрерывными дождями, такъ же почти черны, какъ улица, которая превратилась въ грязь, замѣсилась и стала непроходимою; старыя ветлы обнажили свои головастые пни, и вѣтви на нихъ торчатъ кверху, какъ волосы на головѣ взъерошеннаго человѣка. Солома на крышахъ сдѣлалась совсѣмъ сѣрою и едва-едва отдѣляется теперь на сѣромъ небѣ.

Небо пока не шлетъ еще дождя, но въ отдаленіи начинаютъ уже клубиться тяжелыя, мрачно-сизыя тучи.

XXIX.

Дядя Карпъ, котораго ненастье отрывало поминутно отъ начатой работы, спѣшилъ воспользоваться этимъ временемъ. Обрадованный, что пересталъ наконецъ дождикъ, онъ, съ помощью сына, съ утра еще выкатилъ двѣ пустыя кадки; онѣ служили старику козлами для подмостокъ; приставленныя къ наружной стѣнѣ избы и устланныя досками, кадки давали Карпу возможность достать рукою почти до крыши.

Взгромоздившись на подмостки, Карпъ старательно набивалъ глину въ пазы и трещины избенки; онъ то-и-дѣло обращался къ снохѣ, которая тутъ же въ сторонѣ мѣшала лопатою сырую глину. Бѣдная бабенка едва успѣ-

вала управиться; съ одной стороны кричалъ свекоръ, съ другой поминутно высовывалась изъ окна свекровь съ хозяйственными разспросами, съ третьей—приводилось гнать Дуню, которая, несмотря на холодъ, никакъ не хотѣла итти въ избу. По всей вѣроятности, Дуня согрѣвалась Васькой; крѣпко перехвативъ брата поперекъ живота, она переносила его съ одного плеча на другое; но какъ терпѣлъ Васька, — это дѣлалось рѣшительно непонятнымъ! Мальчикъ перешелъ уже отъ багроваго цвѣта въ синій; но ничего однакожъ; Васька не плакалъ; онъ только кряхтѣлъ и пыжился, и то, повидимому, не столько отъ стужи, сколько отъ того, что вздрагивавшая сестра слишкомъ ужъ сильно нажимала ему животъ.

Подлѣ другой стѣны, со стороны улицы, происходила также работа; Петръ приваливалъ къ стѣнѣ солому, укрѣпляя ее жердями.

По мѣрѣ того, какъ съ той и съ другой стороны подвигалась работа, избушка принимала видъ больной, хилой старушенки, которую обкладываютъ пластырями и кругомъ обвязываютъ и кутаютъ.

На улицѣ никого почти не было, кромѣ семейства Карпа. Изрѣдка проходилъ кто-нибудь. Такъ прошла баба съ ворохомъ неразмотанной бумаги на спинѣ. Поровнявшись съ избою Карпа, она остановилась, поздоровалась со старикомъ и его снохою.

— Карпъ Иванычъ, сказала она,—тебѣ сродственникъ твой Ѳедотъ велѣлъ кланяться!

— Ну его совсѣмъ! ворчливо проговорилъ старикъ, продолжая шлепать глиной.

— Ты, Дарья, откуда? спросила сноха,—я думала, ты отъ Никанора.

— И то, оттуда; вишь, взяла ребятамъ разматывать! возразила Дарья, встряхивая бумагой.

— Гдѣ-жъ ты Ѳедота видѣла? Онъ вѣдь у Аксена живетъ; развѣ такъ повстрѣчались?

— Нѣтъ, касатка, нанялся онъ теперь къ Никанору; у Никанора живетъ въ работникахъ.

При этомъ Карпъ сердитѣе только шлепнулъ глиной.

Немного спустя послѣ ухода Дарьи, мѣсто ея заступилъ маленькій живой мужичокъ съ веснушками, который в время уборки ржи бесѣдовалъ съ Гаврилой.

Поглядѣвъ съ минуту молча на работу Карпа, онъ на конецъ придвинулся.

— Ничего отъ этого, сватъ, теплѣе не будетъ, сказалъ онъ,—я, какъ не было у меня новой избы, свою старую тоже глиной обмазалъ,—продуваетъ; такъ-то продуваетъ,—хуже быть нельзя.

— Коли хорошо, крѣпко смазать, — не продуетъ! отозвался Карпъ неохотно.

— Хуже, сватъ, право, хуже; тогда снутри прѣть начнетъ; у меня то же было; пойдутъ морозы, — въ окнахъ, повѣришь ли, вотъ какія сосульки намерзнутъ! добавилъ мужичокъ, показывая отъ плеча до ладони.

Карпъ ничего не отвѣтилъ.

— Сейчасъ, сватъ, къ Филиппу заходилъ, продолжалъ словоохотливый мужичокъ, — дома нѣту, уѣхалъ; сказываютъ,—опять запилъ; года три за нимъ этого не было: зарокъ, сказываютъ, на себя наложилъ, чтобъ не пить... Теперь опять, сказываютъ, зашибается... Э! да никакъ дождикъ?.. промолвилъ онъ, подымая голову.

Карпъ, сноха и Петръ, слышавшіе весь этотъ разговоръ, сдѣлали то же самое.

Сѣрыя тучи, которыя бѣжали, казалось, надъ самою крышею, дѣйствительно начинали отдѣлять дождевыя капли; въ то же время вѣтеръ сильнѣе зашевелилъ соломой.

— Прощай, сватъ! надо скорѣй до дождя укрыться!.. сказалъ мужичокъ, направляясь къ избѣ, которая стояла на самомъ краю деревни.

Пока онъ приближался къ дому, тучи, давно уже потоплявшія своею тѣнью окрестность, быстро надвигались на Антоновку. Съ каждой минутой, мѣстность, лежавшая за старыми ветлами, заслонялась и пропадала; вотъ и ветлы начали показываться какъ бы сквозь сѣрую дымку и вскорѣ пропали; дождикъ замѣтно дѣлался чаще и усиливался. Въ дальнемъ концѣ деревни, кто-то закутанный съ головою, баба ли, мужикъ ли, разобрать было невозможно,—промелькнулъ черезъ улицу.

На минуту можно еще было различать, какъ Карпъ, его сынъ и сноха бѣгали и суетились, убирая свои кадки; но и они не замедлили исчезнуть за частою сѣтью дождя, который, крутясь и двигаясь по волѣ вѣтра, ударилъ косымъ ливнемъ и заслонилъ наконецъ самую Антоновку.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Бархатникъ.

XXX.

Позвольте теперь перенести васъ изъ унылой деревушки, утопающей въ грязи и облитой дождемъ, прямо въ центръ Петербурга. Переходъ, конечно, очень рѣзокъ; но тѣмъ лучше, мнѣ кажется. Безъ контрастовъ и неожиданныхъ переходовъ отъ худого къ хорошему, отъ мрачнаго къ веселому и обратно, не только романы и повѣсти, но и самая жизнь была бы однообразна и слѣдовательно невыносимо скучна.

Итакъ, поспѣшимъ войти черезъ парадную дверь въ одинъ изъ самыхъ большихъ домовъ Малой Морской. Признакомъ, что домъ, при основаніи своемъ, исключительно предназначался для помѣщенія жильцовъ богатыхъ или такихъ, которые во что бы ни стало хотѣли прослыть за богатыхъ,—служила широкая, устланная ковромъ лѣстница, украшенная каминами и швейцаромъ.

Намъ незачѣмъ подыматься слишкомъ высоко; достаточно остановиться во второмъ этажѣ противъ двери съ мѣдной дощечкой, на которой награвировано: „Аркадій Андреевичъ Слободской".

Аркадій Андреевичъ, вмѣстѣ съ домашней его обстановкой,—начиная съ круга знакомыхъ и кончая мебелью его обширной квартиры,—составляютъ главный предметъ настоящаго повѣствованія. Мебель, особенно гостиной и кабинета, такъ великолѣпна, что, я увѣренъ, если бъ любое кресло перенести вдругъ въ Антоновку и поставить посреди улицы, ни одинъ изъ тамошнихъ обывателей ни за что не опредѣлилъ бы, что это за штука такая; самъ приходскій священникъ сильно бы затруднился дать ему вдругъ, сразу, настоящее имя, и только развѣ послѣ нѣкотораго размышленія могъ бы рѣшить, что издѣлію сему всего болѣе подобаетъ находиться въ храмѣ для замѣщенія стариннаго сѣдалища въ алтарѣ.

Аркадій Андреевичъ былъ холостъ, любилъ роскошь и рѣшительно не видѣлъ надобности себѣ въ ней отказывать; у него было около семи тысячъ душъ, въ числѣ которыхъ если не ошибаюсь, состояли также знакомыя антоновскія души.

Часовъ въ двѣнадцать утра, въ богато-убранномъ к

бинетѣ Слободского находилось уже нѣсколько посѣтителей. По мѣрѣ того, какъ приближался день, посѣтители умножались; многіе являлись, впрочемъ, минутъ только на пять; спѣшно выкуривъ папироску, повертѣвшись передъ каминомъ, они такъ же скоро исчезали. Всѣ входили совершенно безцеремонно; брали со стола сигары и папиросы и во всемъ поступали какъ у себя дома. Кто усаживался, укладывая удобно ноги на сосѣднее кресло, кто попросту разваливался на кушеткѣ противъ пылающаго камина, кто расхаживалъ взадъ и впередъ, пуская кверху дымъ, который расходился мутными, сѣрыми клубами, потому что самое утро было мутно, сѣро и ненастно. Всѣ они по большей части были товарищами Слободского по службѣ; нѣкоторые, подобно ему, вышли въ отставку; другіе ходили въ мундирахъ. Хозяинъ дома, заслонивъ себя отъ каминнаго жара стеклянными ширмами, располагался въ вольтеровскихъ креслахъ.

Это былъ человѣкъ лѣтъ двадцати-восьми, съ чертами лица чрезвычайно правильными и красивыми, но уже замѣтно начинающими отцвѣтать. Военная служба не оставила на немъ ни малѣйшаго отпечатка; онъ такъ же изящно одѣвался и такъ же свободно двигался въ сѣрыхъ панталонахъ, сѣромъ жилетѣ и сѣрой жакетѣ англійскаго покроя, какъ будто вѣкъ не носилъ другого платья; въ пріемахъ его не было ничего жесткаго, натянутаго; во всей фигурѣ его, начиная съ маленькихъ, красивыхъ ушей и кончая бѣлой, нѣжной кистью руки, было что-то женственное, изнѣженное. Онъ казался усталымъ, хотя всего часъ назадъ вышелъ изъ постели. Слободской не переставалъ говорить то съ тѣмъ, то съ другимъ изъ гостей своихъ; въ голосѣ его и во взглядахъ проглядывало однакожъ полнѣйшее равнодушіе, если не всегда къ предмету бесѣды, то всегда почти къ собесѣднику.

Слободской далеко не былъ мизантропомъ; равнодушіе его проистекало частію изъ жизненнаго опыта, частію изъ того также, что онъ никого не любилъ искренно изъ тѣхъ, съ кѣмъ постоянно жилъ и въ кругу которыхъ ежедневно вращался. Выраженіе: „mon ami, — il n'y a pas d'amis!“ изобрѣтеніемъ котораго былъ онъ очень доволенъ, повторялось имъ каждый разъ, какъ только слышалъ онъ слово—„другъ“. Слободской, тративши большія деньги на обѣды, гдѣ за каждаго пріятеля приходилось иногда платить рублей тридцать и сорокъ, пожалѣлъ бы между тѣмъ

десять цѣлковыхъ, чтобы спасти пріятеля, которому случилось бы обкушаться на его обѣдѣ.

Онъ раздѣлялъ своихъ знакомыхъ и пріятелей на три разряда. Къ первому принадлежали лица, которыя въ самомъ дѣлѣ были къ нему привязаны и любили его; до сихъ поръ онъ встрѣтилъ одного только такого; но и того убили на Кавказѣ. Ко второму разряду причислялись тѣ, которые ѣздили къ нему ради удобствъ, хорошихъ сигаръ, надежды выгодно промѣнять лошадь, занять денегъ или ради того также, что надо же дѣться куда-нибудь и вертѣть языкомъ,—благо онъ существуетъ; третій родъ пріятелей состоялъ изъ лицъ, которыя положительно его ненавидѣли, но видѣлись съ нимъ, частью чтобы скрыть настоящія свои чувства, частью потому, что пòшло, глупо расходиться съ человѣкомъ, не имѣя, кромѣ затаенной ненависти, другой, болѣе основательной причины.

Изъ числа послѣднихъ не было къ счастію ни одного между посѣтителями настоящаго утра: всѣ они по большей части принадлежали ко второй категоріи. Несмотря на положительную глупость многихъ изъ нихъ, каждый, повидимому, въ отношеніяхъ своихъ къ Слободскому стоялъ на настоящей точкѣ зрѣнія; никто не обманывался въ его чувствахъ; но никому, казалось, не было дѣла до этого, никто объ этомъ не заботился; каждый думалъ о себѣ самомъ, о своемъ удобствѣ, о хорошей сигарѣ; — и точно такъ же чувствовалъ къ хозяину самое полное равнодушіе.

Все это нисколько не мѣшало вести самую короткую, дружескую бесѣду.

XXXI.

— По-моему, одно изъ самыхъ главныхъ, самыхъ натуральныхъ чувствъ человѣка, — это чувство благодарности! говорилъ Слободской, продолжая начатый разговоръ и преимущественно обращаясь къ смуглому господину среднихъ лѣтъ, лежавшему на кушеткѣ съ сигарою въ зубахъ.—Человѣкъ, не имѣющій такого чувства, на мои глаза, существо недоконченное, что-то въ родѣ получеловѣка!... И вотъ именно этого-то чувства, — не весело в этомъ сознаться, но надо говорить правду, — именно это го-то чувства не вижу я въ нашемъ простомъ народѣ...

Господинъ, лежавшій на кушеткѣ, выразительно усмѣхнулся.

— Я говорю такъ рѣшительно потому, что основывая

свои сужденія на собственномъ опытѣ, продолжалъ Слободской.—При покойномъ отцѣ, крестьянамъ моимъ было такъ плохо, какъ хуже быть не можетъ: отецъ почти безвыѣздно жилъ въ Парижѣ; въ имѣньяхъ распоряжались управляющіе, — грабили, разумѣется, и разоряли крестьянъ до невозможности; когда я вступилъ во владѣніе имѣньями, первымъ дѣломъ моимъ было искоренить весь старый порядокъ и злоупотребленія; я смѣнилъ управляющихъ, уничтожилъ барщину и посадилъ мужиковъ на оброкъ, зная, что такое положеніе для нихъ несравненно легче барщины. Сотни, тысячи помѣщиковъ берутъ двадцать, двадцать пять рублей и болѣе оброку; я назначилъ всего пятнадцать съ семейства, — съ тягла, какъ тамъ называютъ... Кажется, сдѣлано было все, что только можно сдѣлать! Какой же вышелъ результатъ? Крестьяне сдѣлались только неисправнѣе; съ перваго же года до настоящей минуты, я только и слышу, что о недоимкахъ и недочетахъ, чего прежде, при отцѣ, никогда не бывало!.. Далеко итти не зачѣмъ; я теперь болѣе мѣсяца безъ денегъ... Пишу, пишу,—недѣли проходятъ, прежде чѣмъ пришлютъ изъ той или другой конторы какихъ-нибудь четыре-пять тысячъ! Послѣ всего этого, поневолѣ прійдешь къ убѣжденію, что при снисходительномъ, гуманномъ, какъ говорятъ теперь, управленіи, народъ дѣлается только неисправнѣе и балуется; управлять имъ, какъ видно, можетъ только страхъ; горько сознаться,— но это такъ!..

— Что жъ вы хотите, Слободской, чтобъ я сказалъ вамъ на это?.. произнесъ небрежнымъ тономъ и по-французски господинъ, лежавшій на кушеткѣ, — мнѣ отвѣчать нечего; вы, по этому предмету, давно знаете мои убѣжденія!..

XXXII.

Убѣжденія этого господина заключались въ томъ, что онъ называлъ Россію непроходимою тундрой и отвергалъ въ русскомъ народѣ, котораго величалъ тунгусомъ, всякую способность къ развитію. Происходя изъ чисто-русской фамиліи Ипатовыхъ (невозможно, кажется, подозрѣвать примѣсь чего-нибудь иноземнаго), онъ ненавидѣлъ все русское, и нельзя было лучше польстить ему, какъ сказавъ, что онъ, по выговору, привычкамъ своимъ и наружности, представляетъ совершеннѣйшій типъ фран-

цуза или англичанина. Не имѣя понятія о самыхъ главныхъ основныхъ фактахъ отечественной исторіи, — фактахъ, извѣстныхъ почти каждому школьнику, не прочитавъ во всю жизнь ни одной русской книги, потому что, какъ самъ онъ говорилъ, вся русская литература не стоила маленькой комедіи Октава Фелье или пословицы Мюссе, оставаясь такъ же равнодушенъ, какъ какой-нибудь японецъ, къ самымъ живымъ событіямъ, совершающимся въ отечествѣ,—онъ въ то же время съ неимовѣрною жадностію поглощалъ иностранныя газеты, revue и брошюры.

Трудно найти человѣка, который былъ бы сильнѣе Ипатова, когда рѣчь заходила объ административномъ, политическомъ или финансовомъ вопросѣ Европы. Онъ зналъ имена всѣхъ замѣчательныхъ дѣятелей континента и Британіи и могъ сообщать мельчайшія подробности изъ ихъ біографіи. Пренія верхней и нижней палаты, виды англійской политики, подробности касательно борьбы виговъ и тори, направленіе наполеоновской политики, отношеніе французскаго государства къ восточному и итальянскому вопросу, политическое состояніе Австріи и Германіи,—все это занимало Ипатова и дѣйствительно знакомо было ему въ той самой степени, какъ мало знакома была Россія и вообще все отечественное.

Всего замѣчательнѣе, что Ипатовъ никогда не бывалъ за границей; всю свою жизнь провелъ онъ въ Петербургѣ, изрѣдка посѣщая Москву, чтобы повидаться съ теткой, надъ которой громко всегда смѣялся, называя ее княгиней Халдиной.

Онъ проводилъ время, читая или рыская по гостинымъ, гдѣ, на изящнѣйшемъ французскомъ нарѣчіи, разсказывалъ о ходѣ современныхъ европейскихъ дѣлъ, и каждый разъ, какъ представлялся случай, проливалъ потоки жёлчи, костя на чемъ свѣтъ стоитъ Россію.

Предположеніе, будто основаніемъ жёлчи служило оскорбленное самолюбіе, совершенно несправедливо; съ самой юности до настоящаго времени, не произошло съ Ипатовымъ рѣшительно ничего такого, что, хотя бы кончикомъ волоска, могло задѣть его самолюбіе. Другіе слагали причину его жёлчи и раздражительности на бѣдность, которую скрывалъ Ипатовъ тщательнѣе своихъ пороковъ, но и это не основательно; Россія виновата была въ этомъ, конечно, никакъ не болѣе Англіи, Франціи, Германіи, и т. д.

Въ послѣднее время Ипатовъ сдѣлался еще замѣтно терпимѣе; прежде онъ былъ рѣшительно невыносимъ. Манія его къ чужеземному доходила до того, что онъ никогда ни съ кѣмъ не хотѣлъ слова сказать по-русски; такъ, напримѣръ, во время обѣда, желая выпить стаканъ воды, онъ обращался всегда къ сосѣду и говорилъ по-французски: „Сдѣлайте милость, скажите лакею, чтобы налилъ мнѣ воды!“

Я самъ лично былъ свидѣтелемъ такого факта; хотите—вѣрьте, хотите—нѣтъ!

XXXIII.

— Я давно слышалъ, продолжалъ Слободской, закуривая новую сигару и опрокидываясь на спинку креселъ,—будто вся эта дикость, недобросовѣстность, — словомъ, весь этотъ нравственный упадокъ народа происходитъ отъ крѣпостного состоянія; я не защищаю его,—нѣтъ; но все-таки желательно бы знать, подхватилъ онъ, пуская струю дыма,—почему, несмотря на крѣпостное состояніе, которое началось не на прошлой недѣлѣ, въ прежнее время шло какъ-то исправнѣе; самый народъ былъ лучше и нравственнѣе?..

— Полно, пожалуйста, Слободской! съ жаромъ заговорилъ бѣлокурый молодой человѣкъ, до сихъ поръ ходившій молча по кабинету. — Удивляюсь только, какъ можешь ты это говорить! Что теперь худо,—никто въ этомъ не сомнѣвается; но что прежде было хуже,—это такъ же вѣрно, какъ то, что ты теперь въ Малой Морской; дѣло въ томъ, что прежде жили мы въ невѣдѣніи счастливомъ, какъ говорится, — о Россіи понятія не имѣли; все было отъ насъ шито да крыто: теперь начинаемъ мы мало-помалу съ ней знакомиться...

Ипатовъ прислушивался къ рѣчи молодого человѣка, какъ къ чему-то очень забавному и вмѣстѣ съ тѣмъ достойному сожалѣнія; онъ считалъ всегда, что знакомство съ Россіей достигнуто въ совершенствѣ, когда произнесешь слово — „тундра“; по его мнѣнію, это легче было, чѣмъ выкурить папироску.

— Да, я утверждаю, подхватилъ тотъ же молодой человѣкъ съ прежнимъ оживленіемъ,—всему виновато крѣпостное состояніе; только оно одно могло постепенно привести въ такой упадокъ нравственность крестьянина...

— Эхъ, досадно, право, слушать, сказалъ, нетерпѣливо

вставая, плотный кавалерійскій ротмистръ съ рыжими бакенами, расходившимися вѣеромъ, — у меня даже кровь въ голову бросается, когда онъ начинаетъ проповѣдывать! Знаете ли вы, Лиговской, что русскій мужикъ во сто кратъ счастливѣе меня съ вами,—да-съ!..

— Вотъ это прекрасно...

— Да, счастливѣе, подхватилъ ротмистръ, багровѣя.— Что ему дѣлается! Хлебаетъ себѣ щи, пичкаетъ съ утра до вечера пироги и сметану, да на печкѣ валяется... А тутъ, подлѣ, жена... какая-нибудь толстая, бѣлая, румяная баба...

Всѣ засмѣялись, кромѣ Лиговского.

— Превосходно знаете вы, стало-быть, положеніе нашего простолюдина, произнесъ онъ, — не только не ѣстъ онъ пироговъ, но часто нечѣмъ печь истопить,—ту печь, на которой, по словамъ вашимъ, онъ весь день валяется!.. Слава Богу, мы начинаемъ теперь иначе смотрѣть на вещи; я думаю, нѣтъ теперь человѣка, который не ждалъ бы ото всей души скораго уничтоженія крѣпостного права; я увѣренъ, что какъ только...

— Лиговской! Лиговской!.. смѣясь, закричалъ хозяинъ дома, указывая на верхній косякъ двери.—Лиговской, посмотри... Ты, кажется, знаешь правило!..

Къ верхнему косяку пришпиленъ былъ булавкой кусокъ бумаги съ крупною надписью: „Здѣсь не говорятъ объ эманципаціи!“

— Скажи-ка лучше, подхватилъ Слободской,—ты, который часто видишься съ Берестовымъ, — разыгралъ ли онъ свою комедію, разошелся ли, наконецъ, со своей танцоркой?

— Нѣтъ, каждый день ссорятся, расходятся, потомъ мирятся и снова сходятся,—совершенно какъ старый Исаакіевскій мостъ, отвѣчалъ разсѣянно Лиговской,—мнѣ кажется, они вѣкъ проживутъ такимъ образомъ.

— Съ этими барынями всегда легче сойтись, чѣмъ разойтись... сказалъ Слободской. — Сначала онѣ ни за что какъ будто не хотятъ начинать; потомъ, какъ начнутъ, ни за что не хотятъ кончить! Это всегдашняя исторія... Скажи, пожалуйста, ну а графъ Пирхъ все еще влюбленъ?

— Развѣ онъ у тебя не бываетъ?

— Бываетъ, но только давно что-то блистаетъ своимъ отсутствіемъ.

— Влюбленъ попрежнему! Утромъ проѣзжаетъ своихъ лошадей мимо ея оконъ; въ шесть часовъ вечера провожаетъ ея карету до театра; послѣ театра торчитъ на театральномъ подъѣздѣ...

— Но какъ дѣло его? идетъ успѣшно?

— Кажется; не знаю только, чѣмъ кончится.

— Ничѣмъ не кончится! замѣтилъ ротмистръ.—Пирхъ въ конецъ промотался, — даромъ что нѣмецъ; говорятъ, онъ даже долговъ не платитъ...

— Ну, это еще не доказательство? Долги платятъ теперь одни только наслѣдники... и то въ первое время своего богатства... Увидите, господа, Пирхъ достигнетъ своей цѣли; тамъ, гдѣ другой беретъ браслетами, Пирхъ возьметъ терпѣніемъ... И наконецъ, что жъ мудренаго: оба они могутъ быть влюблены другъ въ друга...

— Какая тутъ любовь! перебилъ Лиговской съ тѣмъ же самымъ жаромъ, какъ говорилъ объ эманципаціи и состояніи народа,—какая любовь! — если есть что-нибудь у нихъ,—такъ просто обмѣнъ двухъ капризовъ.

— Ну, прощайте, господа! сказалъ Ипатовъ, приподымаясь съ кушетки.—Какъ скоро рѣчь зашла о балетѣ и театрѣ, вы, по обыкновенію, никогда не кончаете,—прощайте, Слободской!..

— Прощайте! я тоже ухожу, вымолвилъ ротмистръ, пристегивая палашъ. — Ты не забылъ, Слободской, что обѣщалъ сегодня Острейху пріѣхать посмотрѣть его лошадей?

— Нѣтъ; но стоитъ ли? Хороши ли лошади?

— Знатные есть кони! Я купилъ у него верховую.

— Доволенъ?

— Не совсѣмъ... Лошадь во всѣхъ статьяхъ красива, проговорилъ ротмистръ, насупливая брови,—но я погорячился; нахожу въ ней сухость какую-то въ аллюрѣ; своего, природнаго въ ней мало... Понимаешь, братецъ, — нѣтъ подъ сѣдломъ фантазіи; фантазіи нѣтъ! Такъ ты пріѣдешь?

— Да, въ три часа, какъ обѣщалъ, отвѣчалъ Слободской, поглядывая на булевскіе часы, украшавшіе каминъ.

XXXIV.

Выходя изъ кабинета, Ипатовъ и ротмистръ встрѣтили въ дверяхъ камердинера, который несъ на подносѣ нѣсколько конвертовъ, запечатанныхъ казенною печатью.

— Сейчасъ съ почты принесли, проговорилъ камердинеръ, подавая ихъ барину.

Слободской распечаталъ одну повѣстку за другою, бѣгло взглянулъ на цифру, потомъ придвинулся къ столу, черкнулъ на обратной сторонѣ довѣренность на имя камердинера и велѣлъ ему, не медля ни минуты, съѣздить сначала въ полицію для удостовѣренія подписи, потомъ въ почтамтъ для полученія денегъ.

Камердинеръ вышелъ.

Въ общей сложности, повѣстки объявляли о полученіи изъ разныхъ губерній суммы въ пять тысячъ. Слободской ждалъ гораздо больше: въ другое время онъ жестоко бы разсердился и тотчасъ же написалъ бы громовое письмо въ главную свою контору. Но нынѣшнее утро застало его въ хорошемъ расположеніи духа. Это обстоятельство спасло главную контору, а слѣдовательно и все, что находилось въ ея зависимости, отъ передрягъ, суеты, безпокойствъ и даже притѣсненій всякаго рода.

Слезно прибѣгаемъ къ Провидѣнію, моля Его продлить хорошее расположеніе духа Аркадія Андреевича Слободского.

— Слушай, Лиговской, сказалъ Слободской, поворачивая кресла къ молодому человѣку, который стоялъ спиною къ камину, расправивъ въ обѣ стороны фалды сюртука,— я ждалъ ухода Ипатова и милѣйшаго изъ ротмистровъ, чтобы пригласить тебя сегодня въ ложу.

— Спасибо; все та же ложа — литера Ц съ лѣвой стороны?

— Да. Такъ ты пріѣдешь?

— Непремѣнно; но скажи, пожалуйста, весело подхватилъ Лиговской, — какъ идутъ твои собственныя дѣла съ маленькой Никошиной?.. О другихъ ты разспрашиваешь, о себѣ никогда ничего не скажешь...

— Мои дѣла, смѣясь, возразилъ Слободской,—мои дѣла пока еще въ будущемъ! Они ограничиваются, утромъ — прогулкою по Театральной улицѣ...

— Говорятъ — улица любви! съ комическимъ укоромъ подсказалъ Лиговской. — Вступивъ въ кругъ театраловъ, ты долженъ говорить ихъ языкомъ и называть вещи настоящимъ ихъ именемъ.

— Вечеромъ, когда балетъ, продолжалъ Слободской,— сижу въ ложѣ, гдѣ у насъ происходитъ стрѣльба...

— Которая, прибавь, идетъ очень удовлетворительно;

въ прошлый вторникъ, я сидѣлъ въ креслахъ; едва вошелъ ты въ ложу,—она не спускала съ тебя глазъ; стоя за кулисами, она также исправно на тебя пострѣливала... Прелесть, какая миленькая дѣвочка! Но я не объ этомъ... Мнѣ хотѣлось узнать, не приступишь ли ты къ болѣе дѣйствительнымъ мѣрамъ?

— Нѣтъ еще; до сихъ поръ не могъ даже хорошенько узнать, есть ли у нея какая-нибудь родственная обстановка...

— Да, это статья не послѣдняя!

— Еще бы!

— Надо бы попросить барыню Берестова разузнать объ этомъ... Но, впрочемъ, вотъ и Димъ! спроси у него. Здравствуй, Димъ!..

XXXV.

Восклицаніе это относилось къ молодому человѣку лѣтъ двадцати-трехъ, худенькому, тщедушному, но съ пріятнымъ лицомъ, исполненнымъ огня и одушевленія, не совсѣмъ обыкновенныхъ. Въ юношѣ этомъ было что-то особенное, — какая-то внутренняя притягательная сила, которая невольно влекла къ нему и располагала въ его пользу.

Онъ дѣйствительно любимъ былъ всѣми, кто только зналъ его, — начиная съ лицъ высшаго общества, къ которому принадлежалъ онъ, и кончая скромными кружками бѣдныхъ студентовъ и художниковъ. Лучшимъ доказательствомъ хорошей природы его служило то, что всеобщее баловство и своего рода популярность не имѣли на него никакого дѣйствія; онъ былъ скромнѣе, проще и добродушнѣе многихъ, никому невѣдомыхъ юношей, съ которыми водилъ дружбу и которая, скажемъ мимоходомъ, сильно не нравилась его отцу, матери и другимъ родственникамъ.

Предразсудки и обстоятельства его окружавшіе служили съ раннихъ лѣтъ преградою всѣмъ его стремленіямъ, не дали развиться ни одному изъ его талантовъ, лишили его всякаго направленія; онъ ни на чемъ не остановился. А между тѣмъ, уже по одному тому, за что брался онъ иногда, — видно было, что могло бы выйти изъ него при другихъ условіяхъ. Никогда не учась рисовать, онъ набрасывалъ эскизы и композиціи, которые обличали богатоодаренное воображеніе и сильное артистическое чутье; не

учась никогда музыкѣ, онъ бѣгло разыгрывалъ à livre ouvert какіе угодно пассажи, игралъ на память цѣлыя оперы; врожденное музыкальное дарованіе высказывалось въ его вкусѣ, въ способности быстро понимать и сильно чувствовать истинно хорошее,—даже въ манерѣ пѣть романсы, которые передавалъ онъ часто лучше многихъ извѣстныхъ артистовъ. Артистическая природа еще сильнѣе выказывалась въ его разговорѣ, отличавшемся живописностью и пластикой; двумя-тремя мѣткими выраженіями умѣлъ онъ обрисовать живую фигуру или перенести слушателя въ тотъ кругъ, который хотѣлъ изобразить. Принимаясь за книгу случайно, урывками, онъ прочелъ очень много: и здѣсь точно такъ же выборъ его—показывалъ вкусъ и вѣрное чутье. Словомъ, если бъ раздѣлить дарованія этого юноши между пятью французами и пятью англичанами,—вышло бы навѣрное десять замѣчательныхъ людей. Изъ Дима ничего не вышло; вышелъ только милый, умный, занимательный малый, который съ шестнадцати лѣтъ рисовалъ карикатуры въ альбомы барынь высшаго круга, пѣлъ романсы и цыганскія пѣсни въ обществѣ камелій, былъ необходимымъ членомъ всѣхъ холостыхъ обѣдовъ и попоекъ, являлся на всѣхъ загородныхъ гуляньяхъ, скачкахъ и празднествахъ, на всѣхъ вечерахъ и пикникахъ съ актрисами, лоретками и цыганками,—гдѣ снова пѣлъ романсы, танцовалъ, произносилъ комическіе спичи и пилъ наравнѣ съ самыми застарѣлыми питуками веселыхъ сборищъ.

Папенька его, въ это время, неизбѣжно сидѣлъ въ англійскомъ клубѣ, гдѣ провелъ болѣе двадцати лѣтъ своего существованія; маменька, которой давно минуло за сорокъ, сидѣла въ театрѣ, или разряженная въ пухъ и прахъ, въ manches courtes и décolletée, вертѣлась на какомъ-нибудь балѣ, окруженная роемъ молодыхъ людей, въ числѣ которыхъ одинъ особенно отличался всегда своимъ постоянствомъ.

Димъ, настоящее имя котораго было Дмитрій, а фамилія графъ Волынскій,—вошелъ не одинъ къ Слободскому. Его сопровождалъ тоже молодой человѣкъ, но только плотный, коренастый, съ крутыми огромными икрами, выпяченной грудью, коротенькой шеей и шарообразною головою, обстриженной подъ гребенку. Господинъ этотъ, по фамиліи Свинцовъ, былъ фанатическимъ поклонникомъ Волынскаго; онъ точно влюбленъ былъ въ него до идіот-

ства; онъ не отставалъ отъ него ни на шагъ, стремительно летѣлъ туда, гдѣ могъ быть Волынской,—словомъ, не могъ безъ него обходиться; каждое слово Волынскаго, каждая его выходка, каждая плохая острота имѣли свойство приводить Свинцова въ восторгъ и восхищенье неописанные.

— Здравствуй, Димъ! ты какъ нельзя кстати, сказалъ Слободской, здороваясь съ Волынскимъ и пожимая руку Свинцову, котораго называлъ всегда субъектомъ, вполнѣ достойнымъ своей фамиліи, — мы говорили здѣсь съ Лиговскимъ о Фанни Никошиной...

— За которой онъ звѣрски ухаживаетъ, хотя и скрываетъ это! подсказалъ Лиговской.

— Положимъ!.. перебилъ Слободской.—Я до сихъ поръ не знаю, есть ли у ней родня какая-нибудь, папенька, маменька, бабушки, тетушки и т. д., проговорилъ онъ съ комической интонаціей.

— Если ты точно влюбленъ—не испытывай, пожалуйста, моей деликатности, сказалъ Димъ, улыбаясь,—спроси лучше, хорошенькія ли у ней ножки; мнѣ въ тысячу разъ пріятнѣе будетъ тебѣ отвѣтить...

— О ея ножкахъ я и безъ тебя знаю!.. Изъ того, что ты говоришь, я долженъ слѣдовательно заключить, что Фанни обременена многочисленнымъ и, вдобавокъ, что всего прискорбнѣе, добродѣтельнымъ семействомъ...

Вмѣсто отвѣта, Волынскій подошелъ къ роялю, сѣлъ на табуретъ и взялъ нѣсколько аккордовъ.

Свинцовъ засуетился, поспѣшно поставилъ каску и подошелъ къ роялю.

— Я лучше спою вамъ вещь, которую оба вы, и ты, и Лиговской, вѣрно не слыхали...

— О, это превосходно!.. Восхитительно!.. Какъ онъ поетъ это, господа!.. Послушайте, это просто—просто восхитительно! произнесъ Свинцовъ, сіяя весь съ головы до ногъ безсмысленнымъ восторгомъ.

— Свинцовъ, я уже сказалъ тебѣ разъ навсегда, — меньше восторга и больше скромности въ отношеніи ко мнѣ, сказалъ Волынскій, откашливаясь.

— Что это такое? спросили Лиговской и хозяинъ дома.

— „La chanson du pain“ Пьера Дюпона:

„Quand dans l'air et sur la rivière
De moulins se tait le tic-tac —“

— Слушайте!

Но не успѣлъ онъ спѣть первой фразы, какъ въ кабинетѣ неожиданно явилось новое лицо.

XXXVI.

На этотъ разъ предсталъ господинъ лѣтъ уже подъ пятьдесятъ, высокій, плотный, въ черномъ сюртукѣ, застегнутомъ на всѣ пуговицы, по-военному. Лицо его, брюзглое и морщинистое, какъ печеное яблоко, украшалось сверху коротко обстриженными волосами, посрединѣ круто завинченными усами; и то, и другое было такъ дурно выкрашено черною краской, что всюду просвѣчивала сѣдина и рыжеватый корень; золотые очки и коричневыя перчатки, которыя такъ были широки, что сами собою сползали съ пальцевъ, дополняли его наружный видъ.

— А, князь! закричали присутствующіе въ одинъ голосъ.

— Bonjour! отвѣчалъ съ какимъ-то недовольнымъ, нахмуреннымъ выраженіемъ князь, поочередно пожимая всѣмъ руки.

— Что съ вами? Вы сегодня, кажется, не въ духѣ, спросилъ Слободской.

— Нѣтъ... ничего... возразилъ князь, насупливая брови.

— Полно врать, пожалуйста! крикнулъ Волынскій, который со всѣми рѣшительно, даже съ дряхлыми стариками, былъ на ты,—всѣ знаютъ, что такое!..

— Если знаете, стало-быть, спрашивать нечего! сухо возразилъ князь, принимаясь ходить изъ угла въ уголъ по кабинету.

— Самъ разсуди, братецъ, началъ Волынскій, умышленно-серьезнымъ тономъ, — какъ же ты хочешь, чтобы Фисочка Вишнякова, которой, скажемъ мимоходомъ, протежируешь ты чортъ знаетъ изъ чего, нашла себѣ обожателя? Не самъ ли ты увѣрилъ ее, что у нея есть талантъ, бѣгалъ къ театральному начальству и хлопоталъ, чтобы перевели ее изъ балета въ Александринскій театръ; кто ее тамъ увидитъ? Останься она въ балетѣ — другое дѣло!.. И, наконецъ, талантъ ея совсѣмъ не изъ тѣхъ, который можетъ обратить на нее вниманіе...

— Совсѣмъ не о талантѣ рѣчь! съ жаромъ заговорилъ князь,—я говорю только,—вотъ дѣвушка съ самыми блистательными условіями, молоденькая, хорошенькая, ангельски-кроткаго характера, не имѣющая никакого родства, кромѣ старой бабушки, которая безвыѣздно живетъ

въ Кронштадтѣ, и при всемъ томъ, дѣвушка эта никого не находитъ, кто бы обратилъ на нее вниманіе! Да знаете ли вы: elle n'a pas de chemises! понижая голосъ и съ сильнымъ драматическимъ оттѣнкомъ, добавилъ князь, не замѣчавшій, что присутствующіе переглядывались и посмѣивались.

— Ну, такъ купи ей дюжину рубашекъ — и дѣлу конецъ! сказалъ Волынскій.

— Не могу же я одѣвать всю дирекцію! возразилъ князь патетически, — да, господа, это просто срамъ! подхватилъ онъ съ возраставшимъ негодованіемъ.—Въ прежнее время этого бы не случилось! Нынѣшняя молодежь— просто дрянь!.. Да!.. Это какія-то вялыя сосульки, и больше ничего! Я не могу говорить... объ этомъ равнодушно... Это... просто чортъ знаетъ что такое!

Всего замѣчательнѣе было то, что князь въ негодованіи своемъ былъ какъ нельзя болѣе искрененъ. Проведя болѣе тридцати лѣтъ въ театральномъ обществѣ, въ пользу котораго отказался отъ своего собственнаго, онъ такъ съ нимъ сблизился и сроднился, такъ усвоилъ себѣ закулисную точку зрѣнія, что не шутя принималъ къ сердцу судьбу каждой неустроенной молоденькой танцовщицы или актрисы; онъ бился и хлопоталъ изо всей мочи, чтобы какъ-нибудь уладить дѣло. Для этого онъ давалъ у себя обѣды, устраивалъ танцовальные вечера, куда приглашалась молодежь и театральныя дамы, сочинялъ пикники, составлялъ въ лѣтнее время разныя увеселительныя прогулки, катанья въ лодкахъ, и проч., и проч. Князь крестилъ почти во всѣхъ устроенныхъ имъ семействахъ. Когда, съ его точки зрѣнія,—которая, какъ мы уже сказали, была закулисная точка зрѣнія, — удавалось ему устроить судьбу какой-нибудь Ашеньки, Пашеньки или Глашеньки, онъ на нѣсколько дней совершенно перерождался, расправлялъ брови, не переставалъ мурлыкать подъ носъ какія-то пѣсенки и крѣпко потиралъ ладонями отъ восхищенья; весело постукивая тростью по плитамъ невскаго тротуара, князь подходилъ тогда къ каждому знакомому и, радостно потирая руками, произносилъ:

— L'affaire est arrangée! Nous avons baclé l'affaire!

XXXVII.

— Знаешь, князь, сказалъ Волынскій, перебирая клавиши,—не шутя тебѣ совѣтую, — напусти-ка ты стараго Галича на свою protegée...

— Ну его, стараго шута!

— Представьте, господа, этотъ старикашка, Галичъ, не шутя, кажется, рехнулся! сказалъ Волынскій.— Вчера сидѣлъ я съ нимъ въ ложѣ князя; на сцену выходитъ Цвѣткова; клянусь вамъ, она ни разу на насъ не взглянула; напротивъ, умышленно даже отворачивалась; князь, который на томъ свѣтѣ отвѣтитъ за Галича, потому что первый втравилъ его въ театръ и волокитство, — князь говоритъ ему: — „ты ничего не замѣчаешь, она съ тебя глазъ не сводитъ!“ Смотрю, Галичъ закрылъ вдругъ глаза, припалъ головою къ перегородкѣ ложи и, пожимая намъ нѣжно руки, проговорилъ глухимъ, потухающимъ голосомъ:—„mercі, mercі!..“

Всѣ засмѣялись. Самъ князь улыбнулся, и съ той минуты словно повеселѣлъ.

— Но лучше всего, это исторія съ поэмой...

— Какой поэмой? спросилъ Лиговской.

— Какъ! развѣ ты не знаешь?

— Нѣтъ.

— Галичъ, котораго опять-таки подбилъ князь, — сунулся на подъѣздъ актеровъ послѣ спектакля и сказалъ Цвѣтковой какой-то комплиментъ... Та что-то ему отвѣтила, надо думать пріятное, потому что Галичъ въ тотъ же вечеръ полетѣлъ къ старухѣ, сестрѣ своей, и наотрѣзъ объявилъ ей о своемъ намѣреніи жениться на Цвѣтковой! Бѣдная старуха, говорятъ, покатилась на диванъ, и часа два не могли привести ее въ чувство... Дня четыре назадъ, сидимъ мы послѣ обѣда у князя,—является Галичъ. Въ жизни не видалъ я болѣе уморительной и вмѣстѣ съ тѣмъ жалкой фигуры...

Волынскій подогнулъ колѣни, повѣсилъ голову на-бокъ и такъ поразительно живо представилъ Галича,—что всѣ снова разразились смѣхомъ.

— Князь, которому Галичъ сообщилъ уже свою поэму въ честь Цвѣтковой, началъ его упрашивать прочесть намъ ее; я думалъ, старикъ начнетъ ломаться, — ничуть не бывало! Онъ беретъ восторженную, самодовольную позу и начинаетъ декламировать... Больше всего, промолвилъ, смѣясь, Волынскій,— больше всего понравились мнѣ слѣдующіе стихи:

„Я на Араратъ ее поставлю,
И весь міръ думать заставлю:
— Вотъ та, которую я люблю!!“

— Не правда ли, это прелесть! я тотчасъ же и музыку сочинилъ... Что-то торжественное, во вкусѣ марша Черномора изъ „Руслана и Людмилы“... заключилъ Волынскій, подходя къ роялю въ сопровожденіи Свинцова.

— Пой, я пока одѣнусь: меня ждутъ въ три часа, сказалъ Слободской, направляясь къ уборной.

Онъ возвратился, однакожъ, увидѣвъ камердинера, входившаго съ толстыми пакетами, запечатанными пятью печатями.

Слободской сорвалъ обертки, положилъ деньги въ столъ и, заперевъ его ключикомъ, который носилъ всегда въ карманѣ,—ушелъ въ уборную.

Въ продолженіе четверти часа долетали до его слуха звуки фортепіано и пѣніе, прерываемое время отъ времени криками—„браво“ и громкимъ хлопаньемъ.

— Господа, произнесъ Слободской, выходя въ кабинетъ совсѣмъ уже одѣтый, — я предлагаю вамъ сдѣлать мнѣ сегодня маленькое удовольствіе... Сегодня, какъ вамъ извѣстно,—балетъ; пріѣзжайте всѣ ко мнѣ въ ложу; ложа обыкновенная—литера Ц съ лѣвой стороны.

— Господа, вмѣшался Лиговской, — отказать ему нѣтъ возможности! Знаете сами, какой день сегодня; сегодня Фанни Никошина,—нечего объяснять вамъ, какое значеніе имѣетъ она для хозяина дома сего,—Фанни танцуетъ сегодня свое первое на... Это нѣкоторымъ образомъ ея дебютъ!

— Еще бы! непремѣнно! Просить нечего! заговорили присутствующіе, съ участіемъ окружая Слободского, который смѣялся, какъ человѣкъ, которому ничего больше не оставалось дѣлать.

— Господа, да будетъ вамъ извѣстно, сказалъ окончательно развеселившійся князь, — я пріѣду въ ложу первымъ; безъ букета никто не впускается; „c'est de rigueur!“

— Спасибо, князь! вымолвилъ Слободской, — я прошу васъ объ этомъ, господа, не столько для своихъ цѣлей, сколько, не шутя, для того, что надо же поощрить молоденькій, начинающій талантъ.

— Знаемъ! знаемъ! замѣтилъ Волынскій.

Всѣ снова засмѣялись.

Слободской позвонилъ, открылъ ящикъ въ столѣ и вынулъ нѣсколько ассигнацій.

— Сходи сію же минуту къ Казанскому собору въ цвѣточную лавку, сказалъ онъ, подавая деньги вошед-

шему камердинеру,—спроси два лучшихъ букета изъ бѣлыхъ камелій,—не забудь: бѣлыхъ камелій! Скажи только хозяину: для господина Слободского,—онъ знаетъ! А что, коляска готова?

— Готова.

— Ну, господа, извините; надо ѣхать; далъ слово, заключилъ онъ, поглядывая на часы.

Всѣ взялись за шляпы и вышли изъ кабинета вмѣстѣ съ хозяиномъ дома.

XXXVIII.

Острейхъ жилъ въ Сергіевской. Слободской проскакалъ слѣдовательно по всему Невскому и Литейной въ тотъ часъ именно, когда на первой изъ этихъ улицъ, даже въ дурную погоду, бываетъ особенно людно. Коляска произвела свой всегдашній эффектъ.

Онъ имѣлъ обыкновеніе выѣзжать на страшной парѣ вороныхъ, которыхъ охотники называли „чертями и дьяволами“, а остальные смертные — „лошадьми непозволительнаго свойства“, — и при этомъ всегда бранили полицію, позволяющую скакать по городу во всѣ лопатки. Такія жалобы не совсѣмъ были справедливы; полиція нисколько не была виновата, что коляска Слободского опрокидывала извозчичьи дрожки, разъ задѣла четырехъ подмастерьевъ со шкапомъ на головѣ, а разъ совсѣмъ сбила съ ногъ и чуть не задавила какую-то старушку, проходившую черезъ улицу. Полиція неоднократно отбирала лошадей у Слободского. Слободской ограничивался тѣмъ, что смѣнялъ кучера, покупалъ новую отличную пару, промѣнивалъ ее на свою прежнюю, и снова „черти и дьяволы“ появлялись на Невскомъ.

Слободской вовсе не думалъ встрѣтить у Острейха многочисленную компанію. Когда онъ пріѣхалъ, общество находилось въ конюшнѣ: тамъ началась уже выводка и продажа.

На свою долю Слободской купилъ маленькаго англійскаго пони; онъ вовсе не былъ ему нуженъ, но такъ ужъ пришлось,—съ языка сорвалось, какъ говорится. Пріобрѣтеніе пони внушило Слободскому мысль заказать легонькій кабріолетъ, въ которомъ, не обременяя маленькаго коня и сидя только съ грумомъ, можно было бы ѣздить въ лѣтнее время на острова и посѣщать мысъ Елагина острова. Съ такою мыслью, Слободской, привыкшій испол-

нять свои прихоти и фантазіи тотчасъ же, не откладывая минуты, отправился къ своему каретнику.

Оттуда проѣхалъ онъ въ Большую Милліонную къ сестрѣ, съ которой не видался болѣе восьми дней.

Сестра его была женою великолѣпнаго, блистательнаго господина, который задавалъ каждую зиму роскошные балы и праздники, куда съѣзжался весь городъ, но который вмѣстѣ съ тѣмъ сидѣлъ постоянно безъ гроша денегъ, такъ что въ послѣдніе два года, несмотря на строжайшія предписанія докторовъ, не находилъ никакой возможности отправить жену и дѣтей въ Гапсаль для излѣченія здоровья.

Отъ сестры Слободской проѣхалъ къ одной свѣтской дамѣ, которой говорилъ „вы“ при мужѣ и „ты“, когда супругъ находился въ отсутствіи. Онъ ѣхалъ къ ней единственно съ тою цѣлью, чтобы только показаться на глаза и этимъ способомъ избавить себя, хоть на время, отъ преслѣдованій и длинныхъ писемъ, исполненныхъ опасеній, упрековъ, и часто, — что было всего невыносимѣе, — писемъ закапанныхъ слезами. Связь эта, продолжавшаяся всего десять мѣсяцевъ, но стоившая ему три года постоянныхъ и почти безнадежныхъ ухаживаній, — страхъ теперь ему прискучила и была въ тягость. Онъ бросился въ театральство и распускалъ слухъ о волокитствѣ за маленькой Фанни, въ той надеждѣ, что это, по всей вѣроятности, дойдетъ до дамы его сердца и ускоритъ между ними разрывъ.

Узнавъ отъ швейцара, что барина нѣтъ дома, но барыня принимаетъ, Слободской, который прежде послѣ такого извѣстія радостно взбѣгалъ по лѣстницѣ,—страшно теперь надулся. Онъ надулся еще болѣе, заставъ барыню совершенно одну.—„Хоть бы лакей какой-нибудь торчалъ въ дверяхъ!..“ досадливо подумалъ онъ, ожидая начала докучливыхъ объясненій. Онъ не ошибся: дѣйствительно, началась одна изъ тѣхъ сценъ, когда женщина, чувствуя себя оскорбленною, но столько еще любящая, что мысль о разлукѣ тяжелѣй всего переносится, забываетъ вдругъ всю мелочь самолюбія и явно, не скрываясь, отдается своему горю. Но странно, чѣмъ справедливѣе были ея упреки, чѣмъ обильнѣй лились слезы, тѣмъ болѣе и болѣе ожесточалось сердце Слободского, тѣмъ сильнѣе разгоралось въ его груди чувство досады и даже злобы. Наконецъ онъ всталъ, произнесъ мелодраматическимъ тономъ: —

„Encore des larmes, madame! Encore des reproches! C'est horrible vraiment!...“—и торопливо вышелъ.

Онъ заѣхалъ еще въ два дома, чтобы оставить карточку, и велѣлъ везти себя какъ можно скорѣе въ Малую Морскую. Ему оставалось ровно столько времени, чтобы успѣть переодѣться. Онъ ѣхалъ на полу-официальный именинный обѣдъ, который можно было-бы назвать обѣдомъ проклятій, потому что тотъ, кто давалъ обѣдъ, проклиналъ его еще за три дня,—и тѣ, которыхъ звали, также проклинали его въ свою очередь.

Тѣмъ не менѣе обѣдъ прошелъ какъ нельзя лучше, хозяинъ и хозяйка дома были очаровательно любезны; гости также, и всѣ весело встали изъ-за стола, помышляя объ одномъ только: какъ бы поскорѣе удрать, не обижая хозяина, который съ своей стороны думалъ: какъ бы только поскорѣе освободиться!

Слободской ускользнулъ первымъ. Онъ заѣхалъ опять домой и снова переодѣлся.

— Въ Большой театръ! закричалъ онъ, влѣзая въ карету, которая стремглавъ понеслась, едва захлопнулись дверцы.

XXXIX.

Туманъ, который опустился на Петербургъ часамъ къ семи, былъ такъ густъ, что карета нѣсколько разъ должна была останавливаться, — частью, чтобы не налетѣть на другіе экипажи, катившіе по тому же направленію, — частью потому также, что лошади скользили и спотыкались на торцѣ, увлаженномъ сыростью. На театральной площади было еще хуже. Сотни экипажей стремительно неслись на площадь и храбро врѣзывались въ туманную мглу, которая ходила волнами и постепенно сгущалась; ничего нельзя было различить. Слышались только со всѣхъ сторонъ крики, неистовый грохотъ колесъ и быстрый лошадиный топотъ.

Бо̀льшей возни и суматохи не могло быть, кажется, на днѣ Краснаго моря, когда волны его, разступившись стѣною, вдругъ сомкнулись и закрыли фараоново войско.

Все это выпутывалось какимъ-то чудомъ и подкатывало къ ярко-освѣщеннымъ подъѣздамъ. Изъ экипажей поминутно выходили воздушныя, какъ сильфиды, дамы, которыя быстро исчезали въ дверяхъ, распространяя въ воздухѣ тонкій, благоухающій запахъ фіалки, ess-bouquet и

геліотропа. Въ коридорахъ было почти такъ же жарко, какъ было сыро и холодно на улицѣ. Тамъ уже съ трудомъ можно было двигаться. Львы и денди всѣхъ возможныхъ возрастовъ и слоевъ общества, офицеры всѣхъ возможныхъ полковъ, дамы, молоденькія и старыя, въ бальныхъ нарядахъ, ливрейные лакеи и капельдинеры,— все это двигалось взадъ и впередъ, взбиралось по лѣстницамъ и хлопало дверьми ложъ и партера.

Въ залѣ, наводненной свѣтомъ, было еще шумливѣе. Поминутно, то тутъ, то тамъ, ряды ложъ унизывались хорошенькими женщинами, блиставшими своими нарядами, плечами и драгоцѣнными каменьями. Хорошо было, что съ перваго взгляда доставлялась возможность вѣрно судить о томъ, чѣмъ именно слѣдовало любоваться; выставлялось только то, что дѣйствительно заслуживало вниманія; здѣсь, при всемъ желаніи усмотрѣть что-нибудь другое, — можно было видѣть одну только профиль; тутъ показывалась на всеобщее удивленье часть спины, отъ которой рябило въ глазахъ и сладко вздрагивало сердце; тамъ поражала чудная бѣлизна руки съ обнаженнымъ локтемъ, который привлекательно лоснился на красномъ бархатѣ перилъ. Иногда въ той или другой ложѣ усаживалась въ кресло ветхая фигура, представлявшая одну груду драгоцѣнныхъ камней, которые блескомъ своимъ привлекали на минуту всеобщее вниманіе.

Въ глубинѣ ложъ, не считая постоянныхъ лицъ, общество то-и-дѣло смѣнялось; множество мужчинъ, старыхъ и молодыхъ, со звѣздами и безъ звѣздъ, статскихъ и военныхъ, желая до начала представленія воспользоваться свободнымъ временемъ, спѣшили отдать свои визиты и пробирались изъ яруса въ ярусъ. Въ качествѣ гостей, въ ложи являлись иногда мужья; повертѣвшись съ минуту, они спѣшили исчезнуть, чтобы скорѣе занять свое мѣсто въ креслахъ — и оставляли за спиною женъ изящнѣйшихъ молодыхъ людей, которымъ жены давали держать букетъ, бинокль, бросая на нихъ украдкою нѣжные, выразительные взгляды.

Въ половинѣ осьмого, зала театра окончательно наполнилась; въ партерѣ не было уже свободнаго мѣста. Начинали чувствоваться жаръ и духота; въ разныхъ концахъ раздавалось хлопанье и шумѣли ногами, требуя, чтобы скорѣе подняли занавѣсъ. Звуки инструментовъ, которые настраивали въ оркестрѣ, говоръ въ ложахъ и

креслахъ, шумъ шаговъ, хлопанье,—все это замѣтно угомонилось, какъ только въ оркестрѣ появился капельмейстеръ.

Въ то же время, въ литерной ложѣ налѣво—выставились впередъ Слободской, князь Лиговской и Волынскій, за спиною котораго показалось сіяющее безсмысленной веселостью лицо Свинцова.

Наконецъ, грянулъ оркестръ, проиграли увертюру, и при внезапно-воцарившемся молчаніи подняли занавѣсъ. Въ залѣ сдѣлалось свѣжѣе, точно пахнуло свѣжестью изъ роскошнаго тропическаго лѣса, изображеннаго на декораціи.

Несмотря на величавыя тѣлодвиженія индійскаго набоба, котораго невольники принесли въ паланкинѣ, несмотря на изумительные прыжки вновь ангажированнаго бордоскаго танцора, — тишина въ залѣ не прерывалась до той минуты, пока изъ-за кулисы не выбѣжала маленькая Фанни. Сигналъ аплодисментамъ, поданный изъ литерной ложи налѣво, былъ тотчасъ же подхваченъ въ креслахъ и другихъ частяхъ залы, гдѣ разсажены были агенты Слободского. Каждое движеніе Фанни сопровождалось криками „браво“ и хлопаньемъ; наконецъ, когда послѣ не совсѣмъ удавшагося пируэта остановилась она и поклонилась публикѣ,—къ ногамъ ея упала цѣлая дюжина букетовъ, брошенныхъ изъ знакомой литерной дожи; въ числѣ букетовъ особенно бросались въ глаза два изъ бѣлыхъ камелій, стоившіе пятьдесятъ рублей,—кто знаетъ, можетъ-быть тѣ самые пятьдесятъ рублей, добытіе которыхъ произвело (если помнитъ читатель) — цѣлую драму въ семействѣ стараго Карпа, изъ Антоновки...

Но не время ли намъ остановиться, и здѣсь — именно здѣсь, а не въ другомъ мѣстѣ—окончить нашу повѣсть?

Намъ, конечно, ничего бы не стоило описать, какъ Слободской и его общество отправились послѣ спектакля на театральный подъѣздъ, какъ веселились они на вечерѣ у m-lle Emilie, какъ потомъ отправились всѣ вмѣстѣ ужинать къ Борелю и какъ наконецъ, часу уже въ третьемъ ночи, поѣхали всей гурьбой къ цыганамъ; — но веселое расположеніе автора вдругъ измѣнило ему; онъ извиняется передъ читателями, которые останутся недовольны такимъ рѣзкимъ окончаніемъ, и скорѣе ставитъ точку.

Оглавленіе VIII тома.

	стр.
Скучные люди. Физіологическій очеркъ.	5
Очерки современныхъ нравовъ. Юмористическія замѣтки. .	39
Въ ожиданіи парома. Разсказъ.	84
Почтенные люди, обремененные многочисленнымъ семействомъ.	123
Кошка и мышка. Повѣсть.	159
Пахатникъ и бархатникъ. Повѣсть	230

DUE APR 25 '44

CANCELLED
MAY 25 1978

DUE DEC 20 47

MAR 27 '57

NOV 26 '57 H